Б. Л. Пастернак

ДОКТОР ЖИВАГО

В настоящем издании сохраняются основные особенности авторской орфографии и пунктуации.

К ЧИТАТЕЛЮ

Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.

Борис Пастернак

За тридцать лет широкой известности роман «Доктор Живаго» стал источником самой разнообразной критической литературы на всех языках мира. В связи с его публикацией в «Новом мире» (№1–4, 1988) эта литература начинает быстро пополняться отечественной критикой. Поразительно разнообразие трактовок этого произведения, написанного с намеренной стилистической простотой. Недаром один из читателей написал в «Огонек», что затратил много усилий, пытаясь даже читать между строк, и при этом не обнаружил ничего, способного послужить причиной многолетнего запрета, наложенного у нас на «Доктора Живаго».

Тут возразить нечего.

Автор романа меньше всего думал о публицистике и политическом споре. Он ставил себе совсем иные — художественные — задачи. В этом причина того, что, став вначале предметом политического скандала и небывалой сенсационной известности, книга постепенно превратилась в объект спокойного чтения, любви, признания и изучения.

Художник, по определению Райнера Марии Рильке, одного из самых духовно близких Пастернаку европейских писателей XX века, это человек, который пишет с натуры. Его цель — неискаженно передать, как он сам воспринимает события внешнего мира. Пластически воплотить, преобразить эти события в явления мира духовного, мира человеческого восприятия. Дать этим событиям новую, в случае успеха длительную жизнь в памяти людей и образе их существования.

В молодости Пастернак писал: «Недавно думали, что сцены в книге инсценировки. Это заблуждение. Зачем они ей? Забыли, что единственное, что в нашей власти, это суметь не исказить голоса жизни, звучащего в нас.

Неумение найти и сказать правду — недостаток, которого никаким умением говорить не правду не покрыть. Книга — живое существо. Она в памяти и в полном рассудке: картины и сцены — это то, что она вынесла из прошлого, запомнила и не согласна забыть».

И далее: «Живой действительный мир — это единственный, однажды удавшийся и все еще без конца удачный замысел воображения… Он служит поэту примером в большей еще степени, нежели натурой и моделью».

Выразить атмосферу бытия, жизнь в слове — одна из самых древних, насущных задач человеческого сознания. Тысячелетиями повторяется, что не хлебом единым жив человек, но и всяким словом Божьим. Речь идет о живом слове, выражающем и несущем жизнь.

В русской литературе это положение приобрело новый животрепещущий интерес, главным образом благодаря художественному гению Льва Толстого. В дополнение к этому Достоевский многократно утверждал, что если миру суждено спастись, то его спасет красота.

Словами одного из героев «Доктора Живаго» Пастернак приводит это положение к форме общественно-исторической закономерности: «Я думаю, — говорит в романе Н. Н. Веденяпин, — что, если бы дремлющего в человеке зверя можно было остановить угрозою, все равно, каталажки или загробного воздаяния, высшею эмблемою человечества был бы цирковой укротитель с хлыстом, а не жертвующий собой проповедник. Но в том-то и дело, что человека столетиями поднимала над животным и уносила ввысь не палка, а музыка: неотразимость безоружной истины, притягательность её примера.

До сих пор считалось, что самое важное в Евангелии нравственные изречения и правила, заключенные в заповедях, а для меня самое главное то, что Христос говорит притчами из быта, поясняя истину светом повседневности.

В основе этого лежит мысль, что жизнь символична, потому что она значительна».

В этом утверждении, читаемом без затруднения и простом по стилю, много существенных, далеко не сразу понятных наблюдений. В частности, из него следует, что красота, без которой мертво даже самое высокое нравственное утверждение, это свет повседневности, то есть именно та правда жизни, которую ищет и стремится выразить художник, лирик по преимуществу.

Бессмертное общение между смертными и есть Духовная жизнь, историческое сознание людей. А символичность жизни, иными словами, возможность записать, выразить её знаком, символом, объясняется тем, что жизнь — значительное, содержательное, осмысленное явление.

«Доктор Живаго» стал итогом многолетней работы Бориса Пастернака, исполнением пожизненно лелеемой мечты. С 1918 года он неоднократно

начинал писать большую прозу о судьбах своего поколения и был по разным причинам вынужден оставлять эту работу неоконченной. За это время во всем мире, и в России особенно, все неузнаваемо изменилось. В ответ менялись замысел, герои и их судьбы, стиль автора и сам язык, на котором он считал возможным говорить с современниками.

Совершенствуясь от опыта к опыту, текст следовал душевному состоянию своего творца, его ощущению времени. На страницах писем и рукописей, исписанных четким, одухотворенно летящим почерком Пастернака, постоянно упоминается работа над прозой.

В 1915–1917 годах, одновременно с первыми книгами своих стихотворений, Пастернак написал несколько новелл, из которых была напечатана только «Апеллесова черта». Вскоре автор перестал считать удачной не только эту новеллу, но и её манеру, замысел, подчиненный тогдашнему пониманию задач искусства. Эти мысли высказаны им в короткой повести «Письма из Тулы». Новые взгляды Пастернак стремился воплотить в начатом тогда же романе. Посылая его отделанное начало (примерно пятую часть) редактору и критику В. Полонскому, он писал:

«Вот история этой вещи. До 17 года у меня был путь — внешне общий со всеми; но роковое своеобразие загоняло меня в тупик, и я раньше других, и пока, кажется, я единственно, — осознал с болезненностью тот тупик, в который эта наша эра оригинальности в кавычках заводит… И я решил круто повернуть. Я решил, что буду писать, как пишут письма, не по-современному, раскрывая читателю все, что думаю и думаю ему сказать, воздерживаясь от технических эффектов, фабрикуемых вне его поля зрения и подаваемых ему в готовом виде, гипнотически и т. д. Я таким образом решил дематерьялизовать прозу…»

Так появилась известная повесть «Детство Люверс».

До начала тридцатых годов Пастернак время от времени упоминает о продолжении и развитии сюжетных линий романа.

Появляются прозаические (1922 год), а затем — стихотворные главы романа «Спекторский» и «Повесть», в начале которой читаем:

«Вот уже десять лет передо мною носятся разрозненные части этой повести, и в начале революции кое-что попало в печать.

Но читателю лучше забыть об этих версиях, а то он запутается в том, кому из лиц какая в окончательном розыгрыше досталась доля. Часть их я переименовал; что же касается самих судеб, то как я нашел их в те годы на снегу под деревьями, так они теперь и останутся, и между романом в стихах под названием «Спекторский», начатым позднее, и предлагаемой прозой разночтения не будет: это — одна жизнь» (1929 год).

Трагические события в истории страны — коллективизация, надвигающийся террор — и происходившая на этом фоне личная семейная драма требовали перелома и в отношении к себе, своей работе. Пастернак пишет итогово-биографическую «Охранную грамоту» (1931 год).

Замысел работы о судьбах поколения после пятилетнего перерыва приобретает новые черты:

«А я, хотя и поздно, взялся за ум. Ничего из того, что я написал, не существует. Тот мир прекратился, и этому новому мне нечего показать. Было бы плохо, если бы я этого не понимал. Но, по счастью, я жив, глаза у меня открыты, и вот я спешно переделываю себя в прозаика Диккенсовского толка, а потом, если хватит сил, в поэта — Пушкинского. Ты не вообрази, что я думаю себя с ними сравнивать. Я их называю, чтобы дать тебе понятье о внутренней перемене.

Я мог бы сказать то же самое и по-другому. Я стал частицей своего времени и государства, и его интересы стали моими», — читаем в письме к отцу 25 декабря 1934 года.

Период, связанный с Первым съездом писателей (1932–1936), стал временем наибольшей общественной деятельности Пастернака.

Во многом это объяснялось инициативой Горького и Бухарина. О Пастернаке писали и говорили. На него возлагали надежды. На съезде он был выбран в правление Союза, несмотря на то, что в своей речи сказал: «При огромном тепле, которым окружает нас народ и государство, слишком велика опасность стать социалистическим сановником. Подальше от этой ласки во имя её прямых источников…»

Пастернак чувствовал большую ответственность, участвовал в собраниях и дискуссиях, отстаивая свое мнение самостоятельного художника. Ему резко возражали. Все это тяготило его, как утомительная и бесполезная трата времени. Он страдал от бессонницы и переутомления. После вынужденной поездки в Париж на Конгресс писателей в защиту культуры летом 1935 года заболел и поехал в Болшевский санаторий. Вспоминая об этом периоде, Пастернак писал В. Ф. Асмусу:

> «Тогда я был на 18 лет моложе, Маяковский не был еще обожествлен, со мной носились, посылали за границу, не было чепухи и гадости, которую я бы не сказал или не написал и которой бы не напечатали, у меня в действительности не было никакой болезни, а я был тогда непоправимо несчастен и погибал, как заколдованный злым духом в сказке. Мне хотелось чистыми средствами и по-настоящему сделать во славу окружения, которое мирволило мне, что-нибудь такое, что

выполнимо только путем подлога. Задача была неразрешима, это была квадратура круга, я бился о неразрешимость намерения, которое застилало мне все горизонты и загораживало все пути, я сходил с ума и погибал. Удивительно, как я уцелел, я должен был умереть…»

(3 марта 1953 года).

К осени тридцать пятого года Пастернак вернулся домой и мог возобновить работу над романом, который, судя по уцелевшим листам, сложенным как обложка рукописи, мог быть, в частности, назван «Записки Патрикия Живульта». Несколько разрозненных фрагментов этой работы были напечатаны тогда же в «Литературной газете», «Огоньке», журнале «30 дней». В целом же начало прозы 1936 года случайно сохранилось в бумагах журнала «Знамя» и было опубликовано лишь в 1980 году в «Новом мире».

В конце тридцатых годов Пастернак зарабатывал переводами.

Тем не менее он исподволь, урывками продолжал писать роман. В письме отцу, художнику Л. О. Пастернаку, от 2 мая 1937 года читаем:

«Ядром, ослепительным ядром того, что можно назвать счастьем, я сейчас владею. Оно в той, потрясающе медленно накопляющейся рукописи, которая опять, после многолетнего перерыва ставит меня в обладанье чем-то объемным, закономерно распространяющимся, живо прирастающим, точно та вегетативная нервная система, расстройством которой я болел два года тому назад, во всем здоровьи смотрит на меня с её страниц и ко мне отсюда возвращается.

Помнишь мою вещичку, называвшуюся «Повестью»? То был, по сравнению с этой работой, декадентский фрагмент, а это разрастается в большое целое, с гораздо более скромными, но зато и более устойчивыми средствами. Вспомнил же я её потому, что если в ней и были какие достоинства, то лишь внутреннего порядка. Та же пластическая убежденность работает и тут, но вовсю и, как я сказал, в простой, более прозрачной форме. Мне все время в голову приходит Чехов, а те немногие, которым я кое-что показывал, опять вспоминают про Толстого. Но я не знаю, когда это напечатаю, и об этом не думаю (когда-то еще напишу?)».

Осенью 1939 года Пастернак бегло упоминает продолжение прозы, говоря о своих рабочих планах в записке к Лидии Корнеевне Чуковской.

В первую же военную зиму рукописи Пастернака сгорели при пожаре. Он о них не жалел.

Разразившаяся вслед за годами террора война в защиту от фашистского нападения на стороне сил и стран, которые вызывали искреннее сочувствие Пастернака, объединила всех участием в общих лишениях, горестью потерь, радостью спасшихся и обретенных. Пастернак писал, что «трагический, тяжелый период войны был живым периодом и, в этом отношении, вольным, радостным возвращением чувства общности со всеми». Это позволило ему по-новому представить себе замысел лирической эпопеи — романа о самом главном, об атмосфере европейской истории, в которой, как в родном доме, формировалось его поколение.

И «когда после великодушия судьбы, сказавшегося в факте победы, пусть и такой ценой купленной победы, когда после такой щедрости исторической стихии повернули к жестокости и мудрствованиям самых тупых и темных довоенных годов», Пастернак не отказался от своих свободных планов, а, по его словам, «испытал во второй (после 1936 года) раз чувство потрясенного отталкивания от установившихся порядков, еще более сильное и категорическое, чем в первый раз».

Занятая позиция представлялась ему радостным возвращением к свободе и независимости, к чему-то всеми временно забытому, к реальности мирного времени, к производительной жизни, к Божьему замыслу о человеке.

Закончив несколько крупных переводных работ, он с конца 1945 года пишет прозу. Сменив несколько названий: «Мальчики и девочки», «Свеча горела», — роман к осени 1946 года был назван «Доктор Живаго».

Окружающие события не способствовали рабочим планам Пастернака. Идеологический погром, начавшийся с августа 1946 года, сопровождался новыми волнами репрессий. Пастернак жил в сознании, что его могут в любую минуту арестовать. Он не таился. «Разумеется, я всегда ко всему готов. Почему со всеми могло быть, а со мной не будет», — повторял он в разговорах и письмах.

Он зарабатывал переводами. Много и постоянно помогал близким, знакомым и нуждающимся. Последний сборник его стихов был издан в 1945 году. Следующий, напечатанный в 1948-м, был остановлен, тираж пущен в макулатуру. Ежегодно приходилось делать крупные переводы: трагедии Шекспира, «Фауст» Гете, все стихи Бараташвили, Петефи, многое и многое другое. Переиздания сопровождались требованиями улучшений и переработок. Пастернак писал с горечью:

> «Явление обязательной редактуры при труде любой степени зрелости — одно из зол нашего времени. Это черта нашего

общественного застоя, лишенного свободной и разномыслящей критики, быстро и ярко развивающихся судеб и, за невозможностью истинных новинок, занятого чисткой, перекраиванием и перелицовыванием вещей, случайно сделанных в более счастливое время».

Полосы утомления, горя и мрака были нередки, но он преодолевал их, гордясь плодотворностью своего каторжного труда, и говорил: «Но писать-то я буду в двадцать пятые часы суток свой роман». В том, что он пишет, никогда не было тайны.

Чтения первых глав в знакомых домах начались с осени 1946 года. Летом 1948-го четыре части, первоначально составлявшие первую книгу, были перепечатаны на машинке, и десять авторских копий обошли широкий круг, пересылались по почте в разные адреса, постепенно зачитывались до неразличимости. Автор получал спектр откликов — от похвал до порицания, от развернутых отзывов до беглых извещений. Такова была минимальная по плотности атмосфера, в которой он мог продолжать свою работу, слыша и учитывая отзвук.

Осенью 1952 года Пастернака с тяжелым инфарктом миокарда отвезли в Боткинскую больницу. Опасность и близость конца он воспринял как весть об освобождении. Через три месяца он поразительно сказал об этом в письме к Нине Александровне Табидзе: «В минуту, которая казалась последнею в жизни, больше, чем когда-либо до нее, хотелось говорить с Богом, славословить видимое, ловить и запечатлевать его. „Господи, — шептал я, — благодарю тебя за то, что ты кладешь краски так густо и сделал жизнь и смерть такими, что твой язык — величественность и музыка, что ты сделал меня художником, что творчество — твоя школа, что всю жизнь ты готовил меня к этой ночи“. И я ликовал и плакал от счастья». Спустя четыре года он выразил это состояние в стихотворении «В больнице».

В четвертом номере «Знамени» за 1954 год появилось 10 стихотворений Юрия Живаго со вступительной заметкой:

«Б. Пастернак. Стихи из романа в прозе „Доктор Живаго“.

Роман предположительно будет дописан летом. Он охватывает время от 1903 до 1929 года, с эпилогом, относящимся к Великой Отечественной войне.

Герой — Юрий Андреевич Живаго, врач, мыслящий, с поисками, творческой и художественной складки, умирает в 1929 году.

После него остаются записки и среди других бумаг написанные в молодые годы отделанные стихи, часть которых здесь предлагается и

которые во всей совокупности составляют последнюю, заключительную главу романа. Автор».

Знаменательно, что Пастернак относит смерть главного героя к 1929 году, времени слома образа жизни страны, кануну самоубийства Маяковского, году, который в «Охранной грамоте» назван последним годом поэта.

Роман о докторе Живаго и стихи, написанные от его имени, стали выражением радости, превозмогающей страх смерти. «По наполнению, по ясности, по поглощенности любимой работой жизнь последних лет почти сплошной праздник души для меня. Я более чем доволен ею, я ею счастлив, и роман есть выход и выражение этого счастья», — писал Пастернак в 1955 году. Послевоенная одинокая и независимая жизнь была каждодневным преодолением смертной тяжести, светлым ощущением бессмертия, верностью ему.

Он по собственному опыту говорил, что бессмертие — это другое имя жизни, немного усиленное. Духовное преодоление смерти Пастернак считал основой своего понимания новой христианской истории человечества.

«Века и поколения только после Христа вздохнули свободно.

Только после него началась жизнь в потомстве, и человек умирает не на улице под забором, а у себя в истории, в разгаре работ, посвященных преодолению смерти, умирает, сам посвященный этой теме», — говорит в романе Веденяпин.

В свете этой исторической традиции жизнь отдельного человека, социально не выделенного, не претендующего на привилегии, на то, чтобы с ним считались больше, чем с другими, более того — общественно лишнего, становится Божьей повестью. Вечной темой искусства.

Творчески одаренный герой романа стремится к занятию своим делом, и его взгляд становится, силою обстоятельств, мерой и трагической оценкой событий века, а стихотворения — поддержкой и подтверждением надежд и веры в долгожданное просветление и освобождение, предвестие которых составляет историческое содержание всех послевоенных лет.

Читая и перечитывая роман, приходишь к мысли, что главное в нем скорее показано читателю, чем сказано ему в жесткой, настоятельной форме. Любовь к жизни, чуткость к её голосу, доверие к её неискаженным проявлениям — первейшая забота автора. Это проявляется всего сильнее в речи и действиях главного, — лирического героя — Юрия Живаго. Он ценит чувство меры и знает, к каким гибельным последствиям приводит

насильственное вмешательство человека в природу и историю.

В первую очередь ему с детства ненавистны те, кто себялюбиво вносит в жизнь соблазн, пошлость, разврат, кому не претит власть сильного над слабым, унижение человеческого достоинства. Эти отвратительные черты воплощены для Юрия в адвокате Комаровском, сыгравшем трагическую роль в его судьбе.

Живаго склонен сочувствовать нравственным идеалам революции, восхищаться её героями, людьми прямых действий, как Антипов-Стрельников. Но он ясно видит и то, к чему неизменно приводят эти действия. Насилие, по его наблюдениям, ни к чему, кроме насилия, не ведет. Общий производительный ход жизни нарушается, уступая место разрухе и бессмысленным, повторяющим прежние, призывам и приказам. Он видит, как власть идеологической схемы губит всех, оборачиваясь трагедией и для того, кто её исповедует и применяет. Есть основания считать, что именно эта убежденность отличает «Доктора Живаго» от прозы, над которой Пастернак работал до войны.

Юрию Андреевичу кажется дикой сама идея переделывать жизнь, поскольку жизнь не материал, а действующее начало, по своей активности намного превосходящее возможности человека.

Результат его действий лишь в меру внимания и подчинения ей соответствует его благим намерениям. Фанатизм губителен.

В одном из черновых вариантов романа отношению Живаго к Стрельникову давалось такое объяснение:

> «Как он любил всегда этих людей убеждения и дела, фанатиков революции и религии! Как поклонялся им, каким стыдом покрывался, каким немужественным казался себе всегда перед лицом их. И как никогда, никогда не задавался целью уподобиться им и последовать за ними. Совсем в другом направлении шла его работа над собой. Голой правоты, голой истины, голой святости неба не любил он. И голоса евангелистов и пророков не покоряли бы его своей все вытесняющей глубиной, если бы в них не узнавал он голоса земли, голоса улицы, голоса современности, которую во все века выражали наследники учителей — художники. Вот перед кем по совести благоговел он, а не перед героями, и почитал совершенство творения, вышедшего из несовершенных рук, выше бесплодного самоусовершенствования человека».

Работая над романом, Пастернак понимал, что пишет о прошлом. Для того, чтобы его текст преобразил полузабытые события в слово,

необходимое современникам и рассчитанное на участие в духовной жизни последующих поколений, приходилось думать о языке, освобождать его от устаревающих частностей, острота и выразительность которых по опыту и в предвиденье не были долговечны. Он говорил, что намеренно упрощает стиль, стараясь «в современном переводе, на нынешнем языке, более обычном, рядовом и спокойном», передать хоть некоторую часть того неразделенного мира, хоть самое дорогое — издали, из веков отмеченное евангельской темой «тепловое, цветовое, органическое восприятие жизни».

Ранней весной 1956 года Пастернак дал полную рукопись романа в редакции журналов «Новый мир», «Знамя», а потом и в издательство «Художественная литература». Летом на дачу в Переделкино приехал сопровождаемый представителем иностранной комиссии Союза писателей сотрудник итальянского радиовещания в Москве, коммунист Серджио Д'Анджело. Он попросил рукопись для ознакомления и в этой официальной обстановке получил ее. К автору рукопись не вернулась. Анджело передал её итальянскому коммунистическому издателю Дж. Фельтринелли, который, ввиду того что международная конвенция по авторскому праву в то время не была признана СССР, мог печатать роман без его разрешения. Тем не менее он известил Пастернака, что хочет издать роман на итальянском языке. 30 июня 1956 года Пастернак ответил ему, что будет рад, если роман появится в переводе, но предупреждал: «Если его публикация здесь, обещанная многими журналами, задержится и Вы её опередите, ситуация будет для меня трагически трудной».

Издание романа в Советском Союзе стало невозможным вследствие позиции, занятой руководством Союза писателей. Она отразилась в коллективном письме членов редколлегии «Нового мира», подписанном А. Агаповым, Б. Лавреневым, К. Фединым, К. Симоновым и А. Кривицким, и определила отечественную судьбу Книги на 32 года вперед. В Италии же тем временем перевод был успешно сделан, и, несмотря на то что А. Сурков специально ездил в Милан, чтобы от имени Пастернака забрать рукопись для доработки, Фельтринелли 15 ноября 1957 года выпустил книгу в свет. Вскоре им были выпущены два русских издания, обеспечившие ему авторское право во всем мире, кроме СССР. К концу 1958 года роман был издан на всех европейских языках.

В это время Пастернак написал автобиографический очерк «Люди и положения» и заканчивал стихотворную книгу «Когда разгуляется». Работа шла в напряженной обстановке вызовов, писем и тревоги. Он дважды тяжело болел и более полугода провел в больницах и санатории. Волнения и страдания не повлияли на приподнято просветленное ощущение единства

со всем миром, ясное восприятие истории и жажду успеть еще многое сделать.

Летом 1958 года он писал Н. А. Табидзе:

«Я думаю, несмотря на привычность всего того, что продолжает стоять перед нашими глазами и что мы продолжаем слышать и читать, ничего этого больше нет, это уже прошло и состоялось, огромный, неслыханных сил стоивший период закончился и миновал. Освободилось безмерно большое, покамест пустое и не занятое место для нового и еще небывалого, для того, что будет угадано чьей-либо гениальной независимостью и свежестью, для того, что внушит и подскажет жизнь новых чисел и дней. Сейчас мукою художников будет не то, признаны ли они и признаны ли будут застаивающейся, запоздалой политической современностью или властью, но неспособность совершенно оторваться от понятий, ставших привычными, забыть навязывающиеся навыки, нарушить непрерывность. Надо понять, что все стало прошлым, что конец виденного и пережитого был уже, а не еще предстоит.

Надо отказаться от мысли, что все будет продолжать объявляться перед тем, как начинать существовать, и допустить возможность такого времени, когда все опять будет двигаться и изменяться без предварительного объявления. Эта трудность есть и для меня. «Живаго» это очень важный шаг, это большое счастье и удача, какие мне даже не снились. Но это сделано, и вместе с периодом, который эта книга выражает больше всего, написанного другими, книга эта и её автор уходят в прошлое, и передо мною, еще живым, освобождается пространство, неиспользованность и чистоту которого надо сначала понять, а потом этим понятым наполнить».

С 1946 года Нобелевский комитет шесть раз рассматривал кандидатуру Пастернака, выдвинутую на получение премии. В седьмой раз, осенью 1958 года, она была ему присуждена «за выдающиеся достижения в современной лирической поэзии и продолжение традиций великой русской прозы».

В политическом комментарии присуждение премии было произвольно и однозначно связано с выходом романа «Доктор Живаго», не изданного в СССР и якобы антисоветского.

Разразился чудовищный скандал. Отчет о «Деле Пастернака», в котором ничто не соответствовало реальному положению вещей, занял бы сотни страниц.

То что присужденная ему почетная награда была обращена в позор и бесчестие, стало для Пастернака глубоким горем. Он был вынужден отказаться от премии «в связи с тем, какой смысл ей придан в обществе, к которому он принадлежит».

Переиздания его переводов были остановлены, сделанный осенью 1958 года перевод «Марии Стюарт» Словацкого не решались опубликовать, театральные постановки прекращены или, если шли, то без упоминания имени Пастернака.

Только летом 1959 года с трудом удалось получить заказ на новую работу — перевод «Стойкого принца» Кальдерона.

Но Пастернак недаром писал, что нужно

…быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.

Вскоре он начинает работать над пьесой «Слепая красавица» о крепостном театре в России. Говоря шире — о крепостном праве, реформах 1860-х годов и судьбе русского художника.

10 февраля 1960 года Пастернаку исполнилось 70 лет. Шел поток поздравительных писем из всех стран мира. На праздничном обеде были знакомые из артистического круга.

Пастернака периодически беспокоили боли в левой половине спины. Он старался не обращать на них внимания, но к концу апреля они настолько усилились, что пришлось позвать врача. С начала мая он слег в постель. Ему становилось все хуже.

Поначалу считалось, что это второй инфаркт миокарда. Сделанный в двадцатых числах рентгеновский снимок показал распространенный рак левого легкого.

За день до конца Пастернак позвал нас, чтобы сказать, как мучит его двойственность его признания, которое обернулось полной неизвестностью в России. «Вся моя жизнь была только единоборством с царящей и торжествующей пошлостью за свободный и играющий человеческий талант. На это ушла вся жизнь», — говорил он.

Прошло тридцать лет. Лишенная каких-либо истинных причин и тем не менее абсолютная невозможность отечественного издания романа стала своеобразным олицетворением наступившего безвременья и общественного застоя.

Еще в 1953 году Пастернак писал Н. Н. Асееву о задачах искусства:

«Отличие современной советской литературы от всей

предшествующей кажется мне более всего в том, что она утверждена на прочных основаниях независимо от того, читают её или не читают.

Это — гордое, покоящееся в себе и самоутверждающее явление, разделяющее с прочими государственными установлениями их незыблемость и непогрешимость.

Но настоящему искусству в моем понимании далеко до таких притязаний. Где ему повелевать и предписывать, когда слабостей и грехов на нем больше, чем добродетелей. Оно робко желает быть мечтою читателя, предметом читательской жажды и нуждается в его отзывчивом воображении не как в дружелюбной снисходительности, а как в составном элементе, без которого не может обойтись построение художника, как нуждается луч в отражающей поверхности или в преломляющей среде, чтобы играть и загораться».

В кругах московской интеллигенции «Доктор Живаго», несмотря на запреты и изъятия, был достаточно известен, целое поколение выросло и сформировалось с глубоким внутренним учетом его текста.

По временам возникали издательские предположения. Мы регулярно писали заявки и письма. Издательство встречало их с видимым одобрением и сочувствием, но на каком-то решающем литературно-бюрократическом уровне следовал жесткий и не допускающий возражения отказ.

В переделкинский дом Пастернака шли люди и хотели узнать о нем и его работах. Члены семьи, сменяя друг друга, рассказывали им о судьбе Пастернака в доме, где все сохранялось как при его жизни. Так продолжалось до осени 1984 года, когда семья была административно выселена и вещи вывезены из дома.

В начале 1988 года «Доктор Живаго» вышел в «Новом мире».

Сплошь и рядом видишь, как номера журнала читают в электричках, автобусах, стоя в очередях. Первые впечатления разнообразны и сбивчивы, — в значащее художественное слово нужно глубоко вчитаться.

Этой цели и должна послужить книга, которую автору и его поколению не суждено было дождаться.

май 1988

ПЕРВАЯ КНИГА

ЧАСТЬ первая.
ПЯТИЧАСОВОЙ СКОРЫЙ

1

Шли и шли и пели «Вечную память», и когда останавливались, казалось, что её по залаженному продолжают петь ноги, лошади, дуновения ветра.

Прохожие пропускали шествие, считали венки, крестились.

Любопытные входили в процессию, спрашивали: «Кого хоронят?» Им отвечали: «Живаго». «Вот оно что. Тогда понятно». — «Да не его. Её». — «Все равно. Царствие небесное. Похороны богатые».

Замелькали последние минуты, считанные, бесповоротные.

«Господня земля и исполнение ея, вселенная и вси живущие на ней». Священник крестящим движением бросил горсть земли на Марью Николаевну. Запели «Со духи праведных». Началась страшная гонка. Гроб закрыли, заколотили, стали опускать.

Отбарабанил дождь комьев, которыми торопливо в четыре лопаты забросали могилу. На ней вырос холмик. На него взошел десятилетний мальчик.

Только в состоянии отупения и бесчувственности, обыкновенно наступающих к концу больших похорон, могло показаться, что мальчик хочет сказать слово на материнской могиле.

Он поднял голову и окинул с возвышения осенние пустыри и главы монастыря отсутствующим взором. Его курносое лицо исказилось. Шея его вытянулась. Если бы таким движением поднял голову волчонок, было бы ясно, что он сейчас завоет. Закрыв лицо руками, мальчик зарыдал. Летевшее навстречу облако стало хлестать его по рукам и лицу мокрыми плетьми холодного ливня.

К могиле прошел человек в черном, со сборками на узких облегающих рукавах. Это был брат покойной и дядя плакавшего мальчика, расстриженный по собственному прошению священник Николай Николаевич Веденяпин. Он подошел к мальчику и увел его с кладбища.

2

Они ночевали в одном из монастырских покоев, который отвели дяде по старому знакомству. Был канун Покрова. На другой день они с дядей должны были уехать далеко на юг, в один из губернских городов Поволжья, где отец Николай служил в издательстве, выпускавшем прогрессивную газету края. Билеты на поезд были куплены, вещи увязаны и стояли в келье. С вокзала по соседству ветер приносил плаксивые пересвистывания маневрировавших вдали паровозов.

К вечеру сильно похолодало. Два окна на уровне земли выходили на уголок невзрачного огорода, обсаженного кустами желтой акации, на мерзлые лужи проезжей дороги и на тот конец кладбища, где днем похоронили Марию Николаевну. Огород пустовал, кроме нескольких муаровых гряд посиневшей от холода капусты. Когда налетал ветер, кусты облетелой акации метались, как бесноватые, и ложились на дорогу.

Ночью Юру разбудил стук в окно. Темная келья была сверхъестественно озарена белым порхающим светом. Юра в одной рубашке подбежал к окну и прижался лицом к холодному стеклу.

За окном не было ни дороги, ни кладбища, ни огорода. На дворе бушевала вьюга, воздух дымился снегом. Можно было подумать, будто буря заметила Юру и, сознавая, как она страшна, наслаждается производимым на него впечатлением. Она свистела и завывала и всеми способами старалась привлечь Юрино внимание. С неба оборот за оборотом бесконечными мотками падала на землю белая ткань, обвивая её погребальными пеленами. Вьюга была одна на свете, ничто с ней не соперничало.

Первым движением Юры, когда он слез с подоконника, было желание одеться и бежать на улицу, чтобы что-то предпринять.

То его пугало, что монастырскую капусту занесет и её не откопают, то что в поле заметет маму, и она бессильна будет оказать сопротивление тому, что уйдет еще глубже и дальше от него в землю.

Дело опять кончилось слезами. Проснулся дядя, говорил ему о Христе и утешал его, а потом зевал, подходил к окну и задумывался. Они начали одеваться. Стало светать.

3

Пока жива была мать, Юра не знал, что отец давно бросил их, ездит по разным городам Сибири и заграницы, кутит и распутничает, и что он давно просадил и развеял по ветру их миллионное состояние. Юре всегда

говорили, что он то в Петербурге, то на какой-нибудь ярмарке, чаще всего на Ирбитской.

А потом у матери, всегда болевшей, открылась чахотка. Она стала ездить лечиться на юг Франции и в Северную Италию, куда Юра её два раза сопровождал. Так, в беспорядке и среди постоянных загадок прошла детская жизнь Юры, часто на руках у чужих, которые все время менялись. Он привык к этим переменам, и в обстановке вечной нескладицы отсутствие отца не удивляло его.

Маленьким мальчиком он застал еще то время, когда именем, которое он носил, называлось множество саморазличнейших вещей.

Была мануфактура Живаго, банк Живаго, дома Живаго, способ завязывания и закалывания галстука булавкою Живаго, даже какой-то сладкий пирог круглой формы, вроде ромовой бабы, под названием Живаго, и одно время в Москве можно было крикнуть извозчику «к Живаго!», совершенно как «к черту на кулички!», и он уносил вас на санках в тридесятое царство, в тридевятое государство. Тихий парк обступал вас. На свисающие ветви елей, осыпая с них иней, садились вороны. Разносилось их карканье, раскатистое, как треск древесного сука. С новостроек за просекой через дорогу перебегали породистые собаки. Там зажигали огни. Спускался вечер. Вдруг все это разлетелось. Они обеднели.

4

Летом тысяча девятьсот третьего года на тарантасе парой Юра с дядей ехали по полям в Дуплянку, имение шелкопрядильного фабриканта и большого покровителя искусств Кологривова, к педагогу и популяризатору полезных знаний Ивану Ивановичу Воскобойникову.

Была Казанская, разгар жатвы. По причине обеденного времени или по случаю праздника в полях не попадалось ни души. Солнце палило недожатые полосы, как полуобритые арестантские затылки.

Над полями кружились птицы. Склонив колосья, пшеница тянулась в струнку среди совершенного безветрия или высилась в крестцах далеко от дороги, где при долгом вглядывании принимала вид движущихся фигур, словно это ходили по краю горизонта землемеры и что-то записывали.

— А эти, — спрашивал Николай Николаевич Павла, чернорабочего и сторожа из книгоиздательства, сидевшего на козлах боком, сутуло и перекинув нога за ногу, в знак того, что он не заправский кучер и правит не по призванию, — а это как же, помещиковы или крестьянские?

— Энти господсти, — отвечал Павел и закуривал, — а вот эфти, — отвозившись с огнем и затянувшись, тыкал он после долгой паузы концом кнутовища в другую сторону, — эфти свои.

Ай заснули? — то и дело прикрикивал он на лошадей, на хвосты и крупы которых он все время косился, как машинист на манометры.

Но лошади везли, как все лошади на свете, то есть коренник бежал с прирожденной прямотой бесхитростной натуры, а пристяжная казалась непонимающему отъявленной бездельницей, которая только и знала, что, выгнувшись лебедью, отплясывала вприсядку под бренчание бубенчиков, которое сама своими скачками подымала.

Николай Николаевич вез Воскобойникову корректуру его книжки по земельному вопросу, которую ввиду усилившегося цензурного нажима издательство просило пересмотреть.

— Шалит народ в уезде, — говорил Николай Николаевич. — В Паньковской волости купца зарезали, у земского сожгли конный завод. Ты как об этом думаешь? Что у вас говорят в деревне?

Но оказывалось, что Павел смотрит на вещи еще мрачнее, чем даже цензор, умерявший аграрные страсти Воскобойникова.

— Да что говорят? Распустили народ. Баловство, говорят. С нашим братом нешто возможно? Мужику дай волю, так ведь у нас друг дружку передавят, истинный Господь. Ай заснули?

Это была вторая поездка дяди и племянника в Дуплянку. Юра думал, что он запомнил дорогу, и всякий раз, как поля разбегались вширь и их тоненькой каемкой охватывали спереди и сзади леса, Юре казалось, что он узнает то место, с которого дорога должна повернуть вправо, а с поворота показаться и через минуту скрыться десятиверстная Кологривовская панорама с блещущей вдали рекой и пробегающей за ней железной дорогой. Но он все обманывался. Поля сменялись полями. Их вновь и вновь охватывали леса. Смена этих просторов настраивала на широкий лад. Хотелось мечтать и думать о будущем.

Ни одна из книг, прославивших впоследствии Николая Николаевича, не была еще написана. Но мысли его уже определились. Он не знал, как близко его время.

Скоро среди представителей тогдашней литературы, профессоров университета и философов революции должен был появиться этот человек, который думал на все их темы и у которого, кроме терминологии, не было с ними ничего общего.

Все они скопом держались какой-нибудь догмы и довольствовались словами и видимостями, а отец Николай был священник, прошедший

толстовство и революцию и шедший все время дальше. Он жаждал мысли, окрыленно-вещественной, которая прочерчивала бы нелицемерно различимый путь в своем движении и что-то меняла в свете к лучшему и которая даже ребенку и невежде была бы заметна, как вспышка молнии или след прокатившегося грома. Он жаждал нового.

Юре хорошо было с дядей. Он был похож на маму. Подобно ей он был человеком свободным, лишенным предубеждения против чего бы то ни было непривычного. Как у нее, у него было дворянское чувство равенства со всем живущим. Он так же, как она, понимал все с первого взгляда и умел выражать мысли в той форме, в какой они приходят в голову в первую минуту, пока они живы и не обессмыслятся.

Юра был рад, что дядя взял его в Дуплянку. Там было очень красиво, и живописность места тоже напоминала маму, которая любила природу и часто брала Юру с собой на прогулки. Кроме того Юре было приятно, что он опять встретится с Никой Дудоровым, гимназистом, жившим у Воскобойникова, который наверное презирал его, потому что был года на два старше его, и который, здороваясь, с силой дергал руку книзу и так низко наклонял голову, что волосы падали ему на лоб, закрывая лицо до половины.

5

— Жизненным нервом проблемы пауперизма, — читал Николай Николаевич по исправленной рукописи.

— Я думаю, лучше сказать — существом, — говорил Иван Иванович и вносил в корректуру требующееся исправление.

Они занимались в полутьме стеклянной террасы. Глаз различал валявшиеся в беспорядке лейки и садовые инструменты. На спинку поломанного стула был наброшен дождевой плащ. В углу стояли болотные сапоги с присохшей грязью и отвисающими до полу голенищами.

— Между тем статистика смертей и рождений показывает, — диктовал Николай Николаевич.

— Надо вставить, за отчетный год, — говорил Иван Иванович и записывал.

Террасу слегка просквaживало. На листах брошюры лежали куски гранита, чтобы они не разлетелись.

Когда они кончили, Николай Николаевич заторопился домой.

— Гроза надвигается. Надо собираться.

— И не думайте. Не пущу. Сейчас будем чай пить.

— Мне к вечеру надо обязательно в город.

— Ничего не поможет. Слышать не хочу.

Из палисадника тянуло самоварной гарью, заглушавшей запах табака и гелиотропа. Туда проносили из флигеля каймак, ягоды и ватрушки. Вдруг пришло сведенье, что Павел отправился купаться и повел купать на реку лошадей. Николаю Николаевичу пришлось покориться.

— Пойдемте на обрыв, посидим на лавочке, пока накроют к чаю, — предложил Иван Иванович.

Иван Иванович на правах приятельства занимал у богача Кологривова две комнаты во флигеле управляющего. Этот домик с примыкающим к нему палисадником находился в черной, запущенной части парка со старой полукруглою аллеей въезда. Аллея густо заросла травою. По ней теперь не было движения, и только возили землю и строительный мусор в овраг, служивший местом сухих свалок. Человек передовых взглядов и миллионер, сочувствовавший революции, сам Кологривов с женою находился в настоящее время за границей. В имении жили только его дочери Надя и Липа с воспитательницей и небольшим штатом прислуги.

Ото всего парка с его прудами, лужайками и барским домом садик управляющего был отгорожен густой живой изгородью из черной калины. Иван Иванович и Николай Николаевич обходили эту заросль снаружи, и по мере того как они шли, перед ними равными стайками на равных промежутках вылетали воробьи, которыми кишела калина. Это наполняло её ровным шумом, точно перед Иваном Ивановичем и Николаем Николаевичем вдоль изгороди текла вода по трубе.

Они прошли мимо оранжереи, квартиры садовника и каменных развалин неизвестного назначения. У них зашел разговор о новых молодых силах в науке и литературе.

— Попадаются люди с талантом, — говорил Николай Николаевич. — Но сейчас очень в ходу разные кружки и объединения. Всякая стадность — прибежище неодаренности, все равно верность ли это Соловьеву, или Канту, или Марксу. Истину ищут только одиночки и порывают со всеми, кто любит её недостаточно. Есть ли что-нибудь на свете, что заслуживало бы верности? Таких вещей очень мало. Я думаю, надо быть верным бессмертию, этому другому имени жизни, немного усиленному.

Надо сохранять верность бессмертию, надо быть верным Христу!

Ах, вы морщитесь, несчастный. Опять вы ничегошеньки не поняли.

— Мда, — мычал Иван Иванович, тонкий белокурый вьюн с ехидною бородкой, делавшей его похожим на американца времен Линкольна (он

поминутно захватывал её в горсть и ловил её кончик губами). — Я, конечно, молчу. Вы сами понимаете — я смотрю на эти вещи совершенно иначе. Да, кстати. Расскажите, как вас расстригали. Я давно хотел спросить. Небось перетрухнули? Анафеме вас предавали? А?

— Зачем отвлекаться в сторону? Хотя, впрочем, что ж. Анафеме? Нет, сейчас не проклинают. Были неприятности, имеются последствия. Например, долго нельзя на государственную службу. Не пускают в столицы. Но это ерунда. Вернемся к предмету разговора. Я сказал — надо быть верным Христу. Сейчас я объясню. Вы не понимаете, что можно быть атеистом, можно не знать, есть ли Бог и для чего он, и в то же время знать, что человек живет не в природе, а в истории, и что в нынешнем понимании она основана Христом, что Евангелие есть её обоснование. А что такое история? Это установление вековых работ по последовательной разгадке смерти и её будущему преодолению. Для этого открывают математическую бесконечность и электромагнитные волны, для этого пишут симфонии. Двигаться вперед в этом направлении нельзя без некоторого подъема. Для этих открытий требуется духовное оборудование. Данные для него содержатся в Евангелии. Вот они. Это, во-первых, любовь к ближнему, этот высший вид живой энергии, переполняющей сердце человека и требующей выхода и расточения, и затем это главные составные части современного человека, без которых он немыслим, а именно идея свободной личности и идея жизни как жертвы. Имейте в виду, что это до сих пор чрезвычайно ново.

Истории в этом смысле не было у древних. Там было сангвиническое свинство жестоких, оспою изрытых Калигул, не подозревавших, как бездарен всякий поработитель. Там была хвастливая мертвая вечность бронзовых памятников и мраморных колонн. Века и поколенья только после Христа вздохнули свободно. Только после него началась жизнь в потомстве, и человек умирает не на улице под забором, а у себя в истории, в разгаре работ, посвященных преодолению смерти, умирает, сам посвященный этой теме. Уф, аж взопрел, что называется. А ему хоть кол теши на голове!

— Метафизика, батенька. Это мне доктора запретили, этого мой желудок не варит.

— Ну да Бог с вами. Бросим. Счастливец! Вид-то от вас какой — не налюбуешься! А он живет и не чувствует.

На реку было больно смотреть. Она отливала на солнце, вгибаясь и выгибаясь, как лист железа. Вдруг она пошла складками. С этого берега на тот поплыл тяжелый паром с лошадьми, телегами, бабами и мужиками.

— Подумайте, только шестой час, — сказал Иван Иванович.

— Видите, скорый из Сызрани. Он тут проходит в пять с минутами.

Вдали по равнине справа налево катился чистенький желто-синий поезд, сильно уменьшенный расстоянием. Вдруг они заметили, что он остановился. Над паровозом взвились белые клубочки пара. Немного спустя пришли его тревожные свистки.

— Странно, — сказал Воскобойников. — Что-нибудь неладное. Ему нет причины останавливаться там на болоте.

Что-то случилось. Пойдемте чай пить.

6

Ники не оказалось ни в саду, ни в доме. Юра догадывался, что он прячется от них, потому что ему скучно с ними, и Юра ему не пара. Дядя с Иваном Ивановичем пошли заниматься на террасу, предоставив Юре слоняться без цели вокруг дома.

Здесь была удивительная прелесть! Каждую минуту слышался чистый трехтонный высвист иволог, с промежутками выжидания, чтобы влажный, как из дудки извлеченный звук до конца пропитал окрестность. Стоячий, заблудившийся в воздухе запах цветов пригвожден был зноем неподвижно к клумбам. Как это напоминало Антибы и Бордигеру! Юра поминутно поворачивался направо и налево. Над лужайками слуховой галлюцинацией висел призрак маминого голоса, он звучал Юре в мелодических оборотах птиц и жужжании пчел. Юра вздрагивал, ему то и дело мерещилось, будто мать аукается с ним и куда-то его подзывает.

Он пошел к оврагу и стал спускаться. Он спустился из редкого и чистого леса, покрывавшего верх оврага, в ольшаник, выстилавший его дно.

Здесь была сырая тьма, бурелом и падаль, было мало цветов и членистые стебли хвоща были похожи на жезлы и посохи с египетским орнаментом, как в его иллюстрированном священном писании.

Юре становилось все грустнее. Ему хотелось плакать. Он повалился на колени и залился слезами.

— Ангеле Божий, хранителю мой святый, — молился Юра, — утверди ум мой во истиннем пути и скажи мамочке, что мне здесь хорошо, чтобы она не беспокоилась. Если есть загробная жизнь, Господи, учини мамочку в рай, идеже лицы святых и праведницы сияют яко светила. Мамочка была такая хорошая, не может быть, чтобы она была грешница, помилуй ее,

Господи, сделай, чтобы она не мучилась. Мамочка! — в душераздирающей тоске звал он её с неба, как новопричтенную угодницу, и вдруг не выдержал, упал наземь и потерял сознание.

Он не долго лежал без памяти. Когда он очнулся, он услышал, что дядя зовет его сверху. Он ответил и стал подыматься. Вдруг он вспомнил, что не помолился о своем без вести пропадающем отце, как учила его Мария Николаевна.

Но ему было так хорошо после обморока, что он не хотел расставаться с этим чувством легкости и боялся потерять его. И он подумал, что ничего страшного не будет, если он помолится об отце как-нибудь в другой раз.

— Подождет. Потерпит, — как бы подумал он. Юра его совсем не помнил.

7

В поезде в купе второго класса ехал со своим отцом, присяжным поверенным Гордоном из Оренбурга, гимназист второго класса Миша Гордон, одиннадцатилетний мальчик с задумчивым лицом и большими черными глазами. Отец переезжал на службу в Москву, мальчик переводился в московскую гимназию. Мать с сестрами были давно на месте, занятые хлопотами по устройству квартиры.

Мальчик с отцом третий день находился в поезде.

Мимо в облаках горячей пыли, выбеленная солнцем, как известью, летела Россия, поля и степи, города и села. По дорогам тянулись обозы, грузно сворачивая с дороги к переездам, и с бешено несущегося поезда казалось, что возы стоят не двигаясь, а лошади подымают и опускают ноги на одном месте.

На больших остановках пассажиры как угорелые бегом бросались в буфет, и садящееся солнце из-за деревьев станционного сада освещало их ноги и светило под колеса вагонов.

Все движения на свете в отдельности были рассчитанно-трезвы, а в общей сложности безотчетно пьяны общим потоком жизни, который объединял их. Люди трудились и хлопотали, приводимые в движение механизмом собственных забот.

Но механизмы не действовали бы, если бы главным их регулятором не было чувство высшей и краеугольной беззаботности. Эту беззаботность придавало ощущение связности человеческих существований, уверенность в их переходе одного в другое, чувство счастья по поводу того, что все

происходящее совершается не только на земле, в которую закапывают мертвых, а еще в чем-то другом, в том, что одни называют царством Божиим, а другие историей, а третьи еще как-нибудь.

Из этого правила мальчик был горьким и тяжелым исключением.

Его конечною пружиной оставалось чувство озабоченности, и чувство беспечности не облегчало и не облагораживало его. Он знал за собой эту унаследованную черту и с мнительной настороженностью ловил в себе её признаки. Она огорчала его.

Ее присутствие его унижало.

С тех пор как он себя помнил, он не переставал удивляться, как что при одинаковости рук и ног и общности языка и привычек можно быть не тем, что все, и притом чем-то таким, что нравится немногим и чего не любят? Он не мог понять положения, при котором, если ты хуже других, ты не можешь приложить усилий, чтобы исправиться и стать лучше. Что значит быть евреем? Для чего это существует? Чем вознаграждается или оправдывается этот безоружный вызов, ничего не приносящий, кроме горя?

Когда он обращался за ответом к отцу, тот говорил, что его исходные точки нелепы и так рассуждать нельзя, но не предлагал взамен ничего такого, что привлекло бы Мишу глубиною смысла и обязало бы его молча склониться перед неотменимым.

И делая исключение для отца и матери, Миша постепенно преисполнился презрением к взрослым, заварившим кашу, которой они не в силах расхлебать. Он был уверен, что когда он вырастет, он все это распутает.

Вот и сейчас, никто ни решился бы сказать, что его отец поступил не правильно, пустившись за этим сумасшедшим вдогонку, когда он выбежал на площадку, и что не надо было останавливать поезда, когда, с силой оттолкнув Григория Осиповича и распахнувши дверцу вагона, он бросился на всем ходу со скорого вниз головой на насыпь, как бросаются с мостков купальни под воду, когда ныряют.

Но так как ручку тормоза повернул не кто-нибудь, а именно Григорий Осипович, то выходило, что поезд продолжает стоять так необъяснимо долго по их милости.

Никто толком не знал причины проволочки. Одни говорили, что от внезапной остановки произошло повреждение воздушных тормозов, другие, что поезд стоит на крутом подъеме и без разгона паровоз не может его взять. Распространяли третье мнение, что так как убившийся видное лицо, то его поверенный, ехавший с ним в поезде, потребовал, чтобы с

ближайшей станции Кологривовки вызвали понятых для составления протокола. Вот для чего помощник машиниста лазил на телефонный столб. Дрезина наверное уже в пути.

В вагоне чуть-чуть несло из уборных, зловоние которых старались отбить туалетной водой, и пахло жареными курами с легким душком, завернутыми в грязную промасленную бумагу. В нем по-прежнему пудрились, обтирали платком ладони и разговаривали грудными скрипучими голосами седеющие дамы из Петербурга, поголовно превращенные в жгучих цыганок соединением паровозной гари с жирною косметикой. Когда они проходили мимо Гордоновского купе, кутая углы плеч в накидки и превращая тесноту коридора в источник нового кокетства, Мише казалось, что они шипят или, судя по их поджатым губам, должны шипеть: «Ах, скажите, пожалуйста, какая чувствительность! Мы особенные! Мы интеллигенты! Мы не можем!»

Тело самоубийцы лежало на траве около насыпи. Струйка запекшейся крови резким знаком чернела поперек лба и глаз разбившегося, перечеркивая это лицо словно крестом вымарки.

Кровь казалась не его кровью, вытекшею из него, а приставшим посторонним придатком, пластырем, или брызгом присохшей грязи, или мокрым березовым листком.

Кучка любопытных и сочувствующих вокруг тела все время менялась. Над ним хмуро без выражения стоял его приятель и сосед по купе, плотный и высокомерный адвокат, породистое животное в вымокшей от пота рубашке. Он изнывал от жары и обмахивался мягкой шляпой. На все расспросы он нелюбезно цедил, пожимая плечами и даже не оборачиваясь: «Алкоголик. Неужели непонятно? Самое типическое следствие белой горячки».

К телу два или три раза подходила худощавая женщина в шерстяном платье с кружевной косынкою. Это была вдова и мать двух машинистов, старуха Тиверзина, бесплатно следовавшая с двумя невестками в третьем классе по служебным билетам. Тихие, низко повязанные платками женщины безмолвно следовали за ней, как две сестры за настоятельницей. Эта группа вселяла уважение. Перед ними расступались.

Муж Тиверзиной сгорел заживо при одной железнодорожной катастрофе. Она становилась в нескольких шагах от трупа, так, чтобы сквозь толпу ей было видно, и вздохами как бы проводила сравнение. «Кому как на роду написано, — как бы говорила она. — Какой по произволению Божию, а тут, вишь, такой стих нашел — от богатой жизни и ошаления рассудка».

Все пассажиры поезда перебывали около тела и возвращались в вагон только из опасения, как бы у них чего не стащили.

Когда они спрыгивали на полотно, разминались, рвали цветы и делали легкую пробежку, у всех было такое чувство, будто местность возникла только что благодаря остановке, и болотистого луга с кочками, широкой реки и красивого дома с церковью на высоком противоположном берегу не было бы на свете, не случись несчастия.

Даже солнце, тоже казавшееся местной принадлежностью, по-вечернему застенчиво освещало сцену у рельсов, как бы боязливо приблизившись к ней, как подошла бы к полотну и стала бы смотреть на людей корова из пасущегося по соседству стада.

Миша потрясен был всем происшедшим и в первые минуты плакал от жалости и испуга. В течение долгого пути убившийся несколько раз заходил посидеть у них в купе и часами разговаривал с Мишиным отцом. Он говорил, что отходит душой в нравственно чистой тишине и понятливости их мира, и расспрашивал Григория Осиповича о разных юридических тонкостях и кляузных вопросах по части векселей и дарственных, банкротств и подлогов.

— Ах вот как? — удивлялся он разъяснениям Гордона. — Вы располагаете какими-то более милостивыми узаконениями. У моего поверенного иные сведения. Он смотрит на эти вещи гораздо мрачнее.

Каждый раз, как этот нервный человек успокаивался, за ним из первого класса приходил его юрист и сосед по купе и тащил его в салон-вагон пить шампанское. Это был тот плотный, наглый, гладко выбритый и щеголеватый адвокат, который стоял теперь над телом, ничему на свете не удивляясь. Нельзя было отделаться от ощущения, что постоянное возбуждение его клиента в каком-то отношении ему на руку.

Отец говорил, что это известный богач, добряк и шелапут, уже наполовину невменяемый. Не стесняясь Мишиного присутствия, он рассказывал о своем сыне, Мишином ровеснике, и о покойнице жене, потом переходил к своей второй семье, тоже покинутой.

Тут он вспоминал что-то новое, бледнел от ужаса и начинал заговариваться и забываться.

К Мише он выказывал необъяснимую, вероятно, отраженную и, может быть, не ему предназначенную нежность. Он поминутно дарил ему что-нибудь, для чего выходил на самых больших станциях в залы первого класса, где были книжные стойки и продавали игры и достопримечательности края.

Он пил не переставая и жаловался, что не спит третий месяц и, когда

протрезвляется хотя бы ненадолго, терпит муки, о которых нормальный человек не имеет представления.

За минуту до конца он вбежал к ним в купе, схватил Григория Осиповича за руку, хотел что-то сказать, но не мог и, выбежав на площадку, бросился с поезда.

Миша рассматривал небольшой набор уральских минералов в деревянном ящичке — последний подарок покойного. Вдруг кругом все задвигалось. По другому пути к поезду подошла дрезина. С нее соскочил следователь в фуражке с кокардой, врач, двое городовых. Послышались холодные деловые голоса. Задавали вопросы, что-то записывали. Вверх по насыпи, все время обрываясь и съезжая по песку, кондуктора и городовые неловко волокли тело. Завыла какая-то баба. Публику попросили в вагоны и дали свисток. Поезд тронулся.

8

«Опять это лампадное масло!» — злобно подумал Ника и заметался по комнате. Голоса гостей приближались. Отступление было отрезано. В спальне стояли две кровати, Воскобойниковская и его, Никина. Недолго думая, Ника залез под вторую. Он слышал, как искали, кликали его в других комнатах, удивлялись его пропаже. Потом вошли в спальню.

— Ну что ж делать, — сказал Веденяпин, — пройдись, Юра, может быть, после найдется товарищ, поиграете.

Некоторое время они говорили об университетских волнениях в Петербурге и Москве, продержав Нику минут двадцать в его глупой унизительной засаде. Наконец они ушли на террасу. Ника тихонько открыл окно, выскочил в него и ушел в парк.

Он был сегодня сам не свой и предшествующую ночь не спал.

Ему шел четырнадцатый год. Ему надоело быть маленьким. Всю ночь он не спал и на рассвете вышел из флигеля. Всходило солнце, и землю в парке покрывала длинная, мокрая от росы, петлистая тень деревьев. Тень была не черного, а темно-серого цвета, как промокший войлок. Одуряющее благоухание утра, казалось, исходило именно от этой отсыревшей тени на земле с продолговатыми просветами, похожими на пальцы девочки.

Вдруг серебристая струйка ртути, такая же, как капли росы в траве, потекла в нескольких шагах от него. Струйка текла, текла, а земля её не впитывала. Неожиданно резким движением струйка метнулась в сторону и скрылась. Это была змея медянка.

Ника вздрогнул.

Он был странный мальчик. В состоянии возбуждения он громко разговаривал с собой. Он подражал матери в склонности к высоким материям и парадоксам.

«Как хорошо на свете!» — подумал он. — «Но почему от этого всегда так больно? Бог, конечно, есть. Но если он есть, то он это я. Вот я велю ей», — подумал он, взглянув на осину, всю снизу доверху охваченную трепетом (ее мокрые переливчатые листья казались нарезанными из жести), — «вот я прикажу ей» — и в безумном превышении своих сил он не шепнул, но всем существом своим, всей своей плотью и кровью пожелал и задумал: «Замри!» — и дерево тотчас же послушно застыло в неподвижности. Ника засмеялся от радости и со всех ног бросился купаться на реку.

Его отец, террорист Дементий Дудоров, отбывал каторгу, по высочайшему помилованию взамен повешения, к которому он был приговорен. Его мать из грузинских княжен Эристовых была взбалмошная и еще молодая красавица, вечно чем-нибудь увлекающаяся — бунтами, бунтарями, крайними теориями, знаменитыми артистами, бедными неудачниками.

Она обожала Нику и из его имени Иннокентий делала кучу немыслимо нежных и дурацких прозвищ вроде Иночек или Ноченька и возила его показывать своей родне в Тифлис. Там его больше всего поразило разлапое дерево на дворе дома, где они остановились. Это был какой-то неуклюжий тропический великан.

Своими листьями, похожими на слоновые уши, он ограждал двор от палящего южного неба. Ника не мог привыкнуть к мысли, что это дерево — растение, а не животное.

Мальчику было опасно носить страшное отцовское имя. Иван Иванович с согласия Нины Галактионовны собирался подавать на высочайшее имя о присвоении Нике материнской фамилии.

Когда он лежал под кроватью, возмущаясь ходом вещей на свете, он среди всего прочего думал и об этом. Кто такой Воскобойников, чтобы заводить так далеко свое вмешательство?

Вот он их проучит!

А эта Надя! Если ей пятнадцать лет, значит, она имеет право задирать нос и разговаривать с ним как с маленьким? Вот он ей покажет! «Я её ненавижу, — несколько раз повторил он про себя. — Я её убью! Я позову её кататься на лодке и утоплю».

Хороша также и мама. Она надула, конечно, его и Воскобойникова,

когда уезжала. Ни на каком она не на Кавказе, а просто-напросто свернула с ближайшей узловой на север и преспокойно стреляет себе в Петербурге вместе со студентами в полицию. А он должен сгнить заживо в этой глупой яме. Но он их всех перехитрит. Утопит Надю, бросит гимназию и удерет подымать восстание к отцу в Сибирь.

Край пруда порос сплошь кувшинками. Лодка взрезала эту гущу с сухим шорохом. В разрывах заросли проступала вода пруда, как сок арбуза в треугольнике разреза.

Мальчик и девочка стали рвать кувшинки. Оба ухватились за один и тот же нервущийся и тугой, как резина, стебель. Он стянул их вместе. Дети стукнулись головами. Лодку как багром подтянуло к берегу. Стебли перепутывались и укорачивались, белые цветы с яркою, как желток с кровью, сердцевиной уходили под воду и выныривали со льющеюся из них водою.

Надя и Ника продолжали рвать цветы, все более накреняя лодку и почти лежа рядом на опустившемся борту.

— Надоело учиться, — сказал Ника. — Пора начинать жизнь, зарабатывать, идти в люди.

— А я как раз хотела попросить тебя объяснить мне квадратные уравнения. Я так слаба в алгебре, что дело чуть не кончилось переэкзаменовкой.

Нике в этих словах почудились какие-то шпильки. Ну, конечно, она ставит его на место, напоминая ему, как он еще мал. Квадратные уравнения! А они еще и не нюхали алгебры.

Не выдавая, как он уязвлен, он спросил притворно равнодушно, в ту же минуту поняв, как это глупо:

— Когда ты вырастешь, за кого ты выйдешь замуж?

— О, это еще так далеко. Вероятно ни за кого. Я пока не думала.

— Не воображай, пожалуйста, что мне это очень интересно.

— Тогда зачем спрашиваешь?

— Ты дура.

Они начали ссориться. Нике вспомнилось его утреннее женоненавистничество. Он пригрозил Наде, что если она не перестанет говорить дерзости, он её утопит.

— Попробуй, — сказала Надя.

Он схватил её поперек туловища. Между ними завязалась драка. Они потеряли равновесие и полетели в воду.

Оба умели плавать, но водяные лилии цеплялись за их руки и ноги, а дна они еще не могли нащупать. Наконец, увязая в тине, они выбрались на

берег. Вода ручьями текла из их башмаков и карманов. Особенно устал Ника.

Если бы это случилось совсем еще недавно, не дальше чем нынешней весной, то в данном положении, сидя мокры-мокрешеньки вдвоем после такой переправы, они непременно бы шумели, ругались бы или хохотали.

А теперь они молчали и еле дышали, подавленные бессмыслицей случившегося. Надя возмущалась и молча негодовала, а у Ники болело все тело, словно ему перебили палкою ноги и руки и продавили ребра.

Наконец тихо, как взрослая, Надя проронила: «Сумасшедший!»

— и он также по-взрослому сказал: «Прости меня».

Они стали подниматься к дому, оставляя мокрый след за собой, как две водовозные бочки. Их дорога лежала по пыльному подъему, кишевшему змеями, невдалеке от того места, где Ника утром увидал медянку.

Ника вспомнил волшебную приподнятость ночи, рассвет и свое утреннее всемогущество, когда он по своему произволу повелевал природой. Что приказать ей сейчас? — подумал он. Чего бы ему больше всего хотелось? Ему представилось, что больше всего хотел бы он когда-нибудь еще раз свалиться в пруд с Надею и много бы отдал сейчас, чтобы знать, будет ли это когда-нибудь или нет.

ЧАСТЬ вторая.

ДЕВОЧКА ИЗ ДРУГОГО КРУГА

1

Война с Японией еще не кончилась. Неожиданно её заслонили другие события. По России прокатывались волны революции, одна другой выше и невиданней.

В это время в Москву с Урала приехала вдова инженера-бельгийца и сама обрусевшая француженка Амалия Карловна Гишар с двумя детьми, сыном Родионом и дочерью Ларисою. Сына она отдала в кадетский корпус, а дочь в женскую гимназию, по случайности ту самую и тот же самый класс, в которых училась Надя Кологривова.

У мадам Гишар были от мужа сбережения в бумагах, которые раньше поднимались, а теперь стали падать. Чтобы приостановить таяние своих средств и не сидеть сложа руки, мадам Гишар купила небольшое дело, швейную мастерскую Левицкой близ Триумфальных ворот у наследников портнихи, с правом сохранения старой фирмы, с кругом её прежних заказчиц и всеми модистками и ученицами.

Мадам Гишар сделала это по совету адвоката Комаровского, друга своего мужа и своей собственной опоры, хладнокровного дельца, знавшего деловую жизнь в России как свои пять пальцев.

С ним она списалась насчет переезда, он встречал их на вокзале, он повез через всю Москву в меблированные комнаты «Черногория» в Оружейном переулке, где снял для них номер, он же уговорил отдать Родю в корпус, а Лару в гимназию, которую он порекомендовал, и он же невнимательно шутил с мальчиком и заглядывался на девочку так, что она краснела.

2

Перед тем как переселиться в небольшую квартиру в три комнаты, находившуюся при мастерской, они около месяца прожили в «Черногории».

Это были самые ужасные места Москвы, лихачи и притоны, целые улицы, отданные разврату, трущобы «погибших созданий».

Детей не удивляла грязь в номерах, клопы, убожество меблировки.

После смерти отца мать жила в вечном страхе обнищания. Родя и Лара привыкли слышать, что они на краю гибели. Они понимали, что они не дети улицы, но в них глубоко сидела робость перед богатыми, как у питомцев сиротских домов.

Живой пример этого страха подавала им мать. Амалия Карловна была «полная блондинка лет тридцати пяти, у которой сердечные припадки сменялись припадками глупости. Она была страшная трусиха и смертельно боялась мужчин. Именно поэтому она с перепугу и от растерянности все время попадала к ним из объятия в объятие.

В «Черногории» они занимали двадцать третий номер, а в двадцать четвертом со дня основания номеров жил виолончелист Тышкевич, потливый и лысый добряк в паричке, который молитвенно складывал руки и прижимал их к груди, когда убеждал кого-нибудь, и закидывал голову назад и вдохновенно закатывал глаза, играя в обществе и выступая на концертах. Он редко бывал дома и на целые дни уходил в Большой театр или Консерваторию. Соседи познакомились. Взаимные одолжения сблизили их.

Так как присутствие детей иногда стесняло Амалию Карловну во время посещений Комаровского, Тышкевич, уходя, стал оставлять ей ключ от своего номера для приема её приятеля.

Скоро мадам Гишар так свыклась с его самопожертвованием, что несколько раз в слезах стучалась к нему, прося у него защиты от своего покровителя.

3

Дом был одноэтажный, недалеко от угла Тверской.

Чувствовалась близость Брестской железной дороги. Рядом начинались её владения, казенные квартиры служащих, паровозные депо и склады.

Туда ходила домой к себе Оля Демина, умная девочка, племянница одного служащего с Москвы-Товарной.

Она была способная ученица. Ее отмечала старая владелица и теперь стала приближать к себе новая. Оле Деминой очень нравилась Лара.

Все оставалось, как при Левицкой. Как очумелые, крутились швейные машины под опускающимися ногами или порхающими руками усталых мастериц. Кто-нибудь тихо шил, сидя на столе и отводя на отлет руку с иглой и длинной ниткой. Пол был усеян лоскутками. Разговаривать приходилось громко, чтобы перекричать стук швейных машин и переливчатые трели Кирилла Модестовича, канарейки в клетке под

оконным сводом, тайну прозвища которой унесла с собой в могилу прежняя хозяйка.

В приемной дамы живописной группой окружали стол с журналами. Они стояли, сидели и полуоблокачивались в тех позах, какие видели на картинках, и, рассматривая модели, советовались насчет фасонов. За другим столом на директорском месте сидела помощница Амалии Карловны из старших закройщиц, Фаина Силантьевна Фетисова, костлявая женщина с бородавками в углублениях дряблых щек.

Она держала костяной мундштук с папиросой в пожелтевших зубах, щурила глаз с желтым белком и, выпуская желтую струю дыма ртом и носом, записывала в тетрадку мерки, номера квитанций, адреса и пожелания толпившихся заказчиц.

Амалия Карловна была в мастерской новым и неопытным человеком. Она не чувствовала себя в полном смысле хозяйкою.

Но персонал был честный, на Фетисову можно было положиться.

Тем не менее время было тревожное. Амалия Карловна боялась задумываться о будущем. Отчаяние охватывало ее. Все валилось у нее из рук.

Их часто навещал Комаровский. Когда Виктор Ипполитович проходил через всю мастерскую, направляясь на их половину и мимоходом пугая переодевавшихся франтих, которые скрывались при его появлении за ширмы и оттуда игриво парировали его развязные шутки, мастерицы неодобрительно и насмешливо шептали ему вслед: «Пожаловал», «Ейный», «Амалькина присуха», «Буйвол», «Бабья порча».

Предметом еще большей ненависти был его бульдог Джек, которого он иногда приводил на поводке и который такими стремительными рывками тащил его за собою, что Комаровский сбивался с шага, бросался вперед и шел за собакой, вытянув руки, как слепой за поводырем.

Однажды весной Джек вцепился Ларе в ногу и разорвал ей чулок.

— Я его смертью изведу, нечистую силу, — по-детски прохрипела Ларе на ухо Оля Демина.

— Да, в самом деле противная собака. Но как же ты, глупенькая, это сделаешь?

— Тише, ты не ори, я вас научу. Вот яйца есть на Пасху каменные. Ну вот у вашей маменьки на комоде…

— Ну да, мраморные, хрустальные.

— Ага, вот-вот. Ты нагнись, я на ухо. Надо взять, вымочить в сале, сало пристанет, наглотается он, паршивый пес, набьет, сатана, пестерь, и — шабаш! Кверху лапки! Стекло!

Лара смеялась и с завистью думала: девочка живет в нужде, трудится. Малолетние из народа рано развиваются. А вот поди же ты, сколько в ней еще неиспорченного, детского. Яйца, Джек — откуда что берется? «За что же мне такая участь, — думала Лара, — что я все вижу и так о всем болею?»

4

«Ведь для него мама — как это называется… Ведь он — мамин, это самое… Это гадкие слова, не хочу повторять. Так зачем в таком случае он смотрит на меня такими глазами? Ведь я её дочь».

Ей было немногим больше шестнадцати, но она была вполне сложившейся девушкой. Ей давали восемнадцать лет и больше. У нее был ясный ум и легкий характер. Она была очень хороша собой.

Она и Родя понимали, что всего в жизни им придется добиваться своими боками. В противоположность праздным и обеспеченным, им некогда было предаваться преждевременному пронырству и теоретически разнюхивать вещи, практически их еще не касавшиеся. Грязно только лишнее. Лара была самым чистым существом на свете.

Брат и сестра знали цену всему и дорожили достигнутым. Надо было быть на хорошем счету, чтобы пробиться. Лара хорошо училась не из отвлеченной тяги к знаниям, а потому что для освобождения от платы за учение надо было быть хорошей ученицей, а для этого требовалось хорошо учиться. Так же хорошо, как она училась, Лара без труда мыла посуду, помогала в мастерской и ходила по маминым поручениям. Она двигалась бесшумно и плавно, и все в ней — незаметная быстрота движений, рост, голос, серые глаза и белокурый цвет волос были под стать друг другу.

Было воскресенье, середина июля. По праздникам можно было утром понежиться в постели подольше. Лара лежала на спине, закинувши руки назад и положив их под голову.

В мастерской стояла непривычная тишина. Окно на улицу было отворено. Лара слышала, как громыхавшая вдали пролетка съехала с булыжной мостовой в желобок коночного рельса и грубая стукотня сменилась плавным скольжением колеса как по маслу.

«Надо поспать еще немного», — подумала Лара. Рокот города усыплял, как колыбельная песня.

Свой рост и положение в постели Лара ощущала сейчас двумя точками — выступом левого плеча и большим пальцем правой ноги. Это были плечо и нога, а все остальное — более или менее она сама, её душа

или сущность, стройно вложенная в очертания и отзывчиво рвущаяся в будущее.

«Надо уснуть», — думала Лара и вызывала в воображении солнечную сторону Каретного ряда в этот час, сараи экипажных заведений с огромными колымагами для продажи на чисто подметенных полах, граненое стекло каретных фонарей, медвежьи чучела, богатую жизнь. А немного ниже, в мыслях рисовала себе Лара, — учение драгун во дворе Знаменских казарм, чинные ломающиеся лошади, идущие по кругу, прыжки с разбега в седла и проездка шагом, проездка рысью, проездка вскачь. И разинутые рты нянек с детьми и кормилиц, рядами прижавшихся снаружи к казарменной ограде. А еще ниже, думала Лара, — Петровка, Петровские линии.

«Что вы, Лара! Откуда такие мысли? Просто я хочу показать вам свою квартиру. Тем более что это рядом».

Была Ольга, у его знакомых в Каретном маленькая дочь именинница. По этому случаю веселились взрослые — танцы, шампанское. Он приглашал маму, но мама не могла, ей нездоровилось. Мама сказала: «Возьмите Лару. Вы меня всегда предостерегаете: „Амалия, берегите Лару“. Вот теперь и берегите ее». И он её берег, нечего сказать! Ха-ха-ха!

Какая безумная вещь вальс! Кружишься, кружишься, ни о чем не думая. Пока играет музыка, проходит целая вечность, как жизнь в романах. Но едва перестают играть, ощущение скандала, словно тебя облили холодной водой или застали неодетой. Кроме того, эти вольности позволяешь другим из хвастовства, чтобы показать, какая ты уже большая.

Она никогда не могла предположить, что он так хорошо танцует. Какие у него умные руки, как уверенно берется он за талию! Но целовать себя так она больше никому не позволит. Она никогда не могла предположить, что в чужих губах может сосредоточиться столько бесстыдства, когда их так долго прижимают к твоим собственным.

Бросить эти глупости. Раз навсегда. Не разыгрывать простушки, не умильничать, не потуплять стыдливо глаз. Это когда-нибудь плохо кончится. Тут совсем рядом страшная черта.

Ступить шаг, и сразу же летишь в пропасть. Забыть думать о танцах. В них все зло. Не стесняться отказывать. Выдумать, что не училась танцевать или сломала ногу.

5

Осенью происходили волнения на железных дорогах московского узла.

Забастовала Московско-Казанская железная дорога. К ней должна была примкнуть Московско-Брестская. Решение о забастовке было принято, но в комитете дороги не могли столковаться о дне её объявления. Все на дороге знали о забастовке, и требовался только внешний повод, чтобы она началась самочинно.

Было холодное пасмурное утро начала октября. В этот день на линии должны были выдавать жалованье. Долго не поступали сведения из счетной части. Потом в контору прошел мальчик с табелью, выплатной ведомостью и грудой отобранных с целью взыскания рабочих книжек. Платеж начался. По бесконечной полосе незастроенного пространства, отделявшего вокзал, мастерские, паровозные депо, пакгаузы и рельсовые пути от деревянных построек правления, потянулись за заработком проводники, стрелочники, слесаря и их подручные, бабы поломойки из вагонного парка.

Пахло началом городской зимы, топтанным листом клена, талым снегом, паровозной гарью и теплым ржаным хлебом, который выпекали в подвале вокзального буфета и только что вынули из печи. Приходили и отходили поезда. Их составляли и разбирали, размахивая свернутыми и развернутыми флагами. На все лады заливались рожки сторожей, карманные свистки сцепщиков и басистые гудки паровозов. Столбы дыма бесконечными лестницами подымались к небу. Растопленные паровозы стояли готовые к выходу, обжигая холодные зимние облака кипящими облаками пара.

По краю полотна расхаживали взад и вперед начальник дистанции инженер путей сообщения Фуфлыгин и дорожный мастер привокзального участка Павел Ферапонтович Антипов. Антипов надоедал службе ремонта жалобами на материал, который отгружали ему для обновления рельсового покрова. Сталь была недостаточной вязкости. Рельсы не выдерживали пробы на прогиб и излом и по предположениям Антипова должны были лопаться на морозе. Управление относилось безучастно к жалобам Павла Ферапонтовича. Кто-то нагревал себе на этом руки.

На Фуфлыгине была расстегнутая дорогая шуба с путейским кантиком и под нею новый штатский костюм из шевиота. Он осторожно ступал по насыпи, любуясь общей линией пиджачных бортов, правильностью брючной складки и благородной формой своей обуви.

Слова Антипова влетали у него в одно ухо и вылетали в другое. Фуфлыгин думал о чем-то своем, каждую минуту вынимал часы, смотрел на них и куда-то торопился.

— Верно, верно, батюшка, — нетерпеливо прерывал он Антипова, —

но это только на главных путях где-нибудь или на сквозном перегоне, где большое движение. А вспомни, что у тебя? Запасные пути какие-то и тупики, лопух да крапива, в крайнем случае — сортировка порожняка и разъезды маневровой «кукушки». И он еще недоволен! Да ты с ума сошел! Тут не то что такие рельсы, тут можно класть деревянные.

Фуфлыгин посмотрел на часы, захлопнул крышку и стал вглядываться в даль, откуда к железной дороге приближалась шоссейная. На повороте дороги показалась коляска. Это был свой выезд Фуфлыгина. За ним пожаловала жена. Кучер остановил лошадей почти у полотна, все время сдерживая их и потпрукивая на них тоненьким бабьим голоском, как няньки на квасящихся младенцев, — лошади пугались железной дороги. В углу коляски, небрежно откинувшись на подушки, сидела красивая дама.

— Ну, брат, как-нибудь в другой раз, — сказал начальник дистанции и махнул рукой — не до твоих, мол, рельсов. Есть поважнее материи.

Супруги укатили.

6

Через часа три или четыре, поближе к сумеркам, в стороне от дороги в поле как из-под земли выросли две фигуры, которых раньше не было на поверхности, и, часто оглядываясь, стали быстро удаляться. Это были Антипов и Тиверзин.

— Пойдем скорее, — сказал Тиверзин. — Я не шпиков остерегаюсь, как бы не выследили, а сейчас кончится эта волынка, вылезут они из землянки и нагонят. А я их видеть не могу. Когда всё так тянуть, незачем и огород городить. Не к чему тогда и комитет, и с огнем игра, и лезть под землю! И ты тоже хорош, эту размазню с Николаевской поддерживаешь.

— У моей Дарьи тиф брюшной. Мне бы её в больницу. Покамест не свезу, ничего в голову не лезет.

— Говорят, выдают сегодня жалованье. Схожу в контору. Не платежный бы день, вот как перед Богом, плюнул бы я на вас и, не медля ни минуты, своей управой положил бы конец гомозне.

— Это, позвольте спросить, каким же способом?

— Дело нехитрое. Спустился в котельную, дал свисток и кончен бал.

Они простились и пошли в разные стороны.

Тиверзин шел по путям в направлении к городу. Навстречу ему попадались люди, шедшие с получкою из конторы. Их было очень много. Тиверзин на глаз определил, что на территории станции расплатились почти со всеми.

Стало смеркаться. На открытой площадке возле конторы толпились незанятые рабочие, освещенные конторскими фонарями.

На въезде к площадке стояла Фуфлыгинская коляска. Фуфлыгина сидела в ней в прежней позе, словно она с утра не выходила из экипажа. Она дожидалась мужа, получавшего деньги в конторе.

Неожиданно пошел мокрый снег с дождем. Кучер слез с козел и стал поднимать кожаный верх. Пока, упершись ногой в задок, он растягивал тугие распорки, Фуфлыгина любовалась бисерно-серебристой водяной кашей, мелькавшей в свете конторских фонарей. Она бросала немигающий мечтательный взгляд поверх толпившихся рабочих с таким видом, словно в случае надобности этот взгляд мог бы пройти без ущерба через них насквозь, как сквозь туман или изморось.

Тиверзин случайно подхватил это выражение. Его покоробило.

Он прошел, не поклонившись Фуфлыгиной, и решил зайти за жалованьем попозже, чтобы не сталкиваться в конторе с её мужем. Он пошел дальше, в менее освещенную сторону мастерских, где чернел поворотный круг с расходящимися путями в паровозное депо.

— Тиверзин! Куприк! — окликнуло его несколько голосов из темноты. Перед мастерскими стояла кучка народу. Внутри кто-то орал и слышался плач ребенка. — Киприян Савельевич, заступитесь за мальчика, — сказала из толпы какая-то женщина.

Старый мастер Петр Худолеев опять по обыкновению лупцевал свою жертву, малолетнего ученика Юсупку.

Худолеев не всегда был истязателем подмастерьев, пьяницей и тяжелым на руку драчуном. Когда-то на бравого мастерового заглядывались купеческие дочери и поповны подмосковных мануфактурных посадов. Но мать Тиверзина, в то время выпускница епархиалка, за которую он сватался, отказала ему и вышла замуж за его товарища, паровозного машиниста Савелия Никитича Тиверзина.

На шестой год её вдовства, после ужасной смерти Савелия Никитича (он сгорел в 1888 году при одном нашумевшем в то время столкновении поездов), Петр Петрович возобновил свое искательство, и опять Марфа Гавриловна ему отказала. С тех пор Худолеев запил и стал буянить, сводя счеты со всем светом, виноватым, как он был уверен, в его нынешних неурядицах.

Юсупка был сыном дворника Гимазетдина с тиверзинского двора. Тиверзин покровительствовал мальчику в мастерских. Это подогревало в Худолееве неприязнь к нему.

— Как ты напилок держишь, азиат, — орал Худолеев, таская Юсупку за

волосы и костыляя по шее. — Нешто так отливку обдирают? Я тебе спрашиваю, будешь ты мне работу поганить, касимовская невеста, алла мулла косые глаза?

— Ай не буду, дяинька, ай не буду, не буду, ай больно!

— Тыщу раз ему сказывали, вперед подведи бабку, а тады завинчивай упор, а он знай свое, знай свое. Чуть мне шпентель не сломал, сукин сын.

— Я шпиндил не трогал, дяинька, ей-Богу, не трогал.

— За что ты мальчика тиранишь? — спросил Тиверзин, протиснувшись сквозь толпу.

— Свои собаки грызутся, чужая не подходи, — отрезал Худолеев.

— Я тебя спрашиваю, за что ты мальчика тиранишь?

— А я тебе говорю, проходи с Богом, социал-командир. Его убить мало, сволочь этакую, чуть мне шпентель не сломал. Пущай мне руки целует, что жив остался, косой черт, — уши я ему только надрал да за волосы поучил.

— А что же, по-твоему, ему за это надо голову оторвать, дядя Худолей? Постыдился бы право. Старый мастер, дожил до седых волос, а не нажил ума.

— Проходи, проходи, говорю, покуда цел. Дух из тебя я вышибу учить меня, собачье гузно! Тебя на шпалах делали, севрюжья кровь, у отца под самым носом. Мать твою, мокрохвостку, я во как знаю, кошку драную, трепаный подол!

Все происшедшее дальше заняло не больше минуты. Оба схватили первое, что подвернулось под руку на подставках станков, на которых валялись тяжелые инструменты и куски железа, и убили бы друг друга, если бы народ в ту же минуту не бросился кучею их разнимать. Худолеев и Тиверзин стояли, нагнув головы и почти касаясь друг друга лбами, бледные с налившимися кровью глазами. От волнения они не могли выговорить ни слова. Их крепко держали, ухвативши сзади за руки. Минутами, собравшись с силой, они начинали вырываться, извиваясь всем телом и волоча за собой висевших на них товарищей. Крючки и пуговицы у них на одёже пообрывались, куртки и рубахи сползли с оголившихся плеч. Нестройный гам вокруг них не умолкал.

— Зубило! Зубило у него отыми — проломит башку. — Тише, тише, дядя Петр, вывернем руку! — Это всё так с ними хороводиться? Растащить врозь, посадить под замок — и дело с концом.

Вдруг нечеловеческим усилием Тиверзин стряхнул с себя клубок навалившихся тел и, вырвавшись от них, с разбега очутился у двери. Его кинулись было ловить, но увидав, что у него совсем не то на уме, оставили в покое. Его окружала осенняя сырость, ночь, темнота.

— Ты им стараешься добро, а они норовят тебе нож в ребро, — ворчал он и не сознавал, куда и зачем он идет.

Этот мир подлости и подлога, где разъевшаяся барынька смеет так смотреть на дуралеев-тружеников, а спившаяся жертва этих порядков находит удовольствие в глумлении над себе подобным, этот мир был ему сейчас ненавистнее, чем когда-либо. Он шел быстро, словно поспешность его походки могла приблизить время, когда все на свете будет разумно и стройно, как сейчас в его разгоряченной голове. Он знал, что их стремления последних дней, беспорядки на линии, речи на сходках и их решение бастовать, не приведенное пока еще в исполнение, но и не отмененное, — все это отдельные части этого большого и еще предстоящего пути.

Но сейчас его возбуждение дошло до такой степени, что ему не терпелось пробежать все это расстояние разом, не переводя дыхания. Он не соображал, куда он шагает, широко раскидывая ноги, но ноги прекрасно знали, куда несли его.

Тиверзин долго не подозревал, что после ухода его и Антипова из землянки на заседании было постановлено приступить к забастовке в этот же вечер. Члены комитета тут же распределили между собой, кому куда идти и кого где снимать.

Когда из паровозоремонтного, словно со дна Тиверзинской души, вырвался хриплый, постепенно прочищающийся и выравнивающийся сигнал, от входного семафора к городу уже двигалась толпа из депо и с товарной станции, сливаясь с новою толпой, побросавшей работу по Тиверзинскому свистку из котельной.

Тиверзин много лет думал, что это он один остановил в ту ночь работы и движение на дороге. Только позднейшие процессы, на которых его судили по совокупности и не вставляли подстрекательства к забастовке в пункты обвинения, вывели его из этого заблуждения.

Выбегали, спрашивали:

— Куда народ свищут? — Из темноты отвечали:

— Небось и сам не глухой. Слышишь — тревога. Пожар тушить. — А где горит? — Стало быть горит, коли свищут.

Хлопали двери, выходили новые. Раздавались другие голоса.

— Толкуй тоже — пожар! Деревня! Не слушайте дурака. Это называется зашабашили, понял? Вот хомут, вот дуга, я те больше не слуга. По домам, ребята.

Народу все прибывало. Железная дорога забастовала.

7

Тиверзин пришел домой на третий день продрогший, невыспавшийся и небритый. Накануне ночью грянул мороз, небывалый для таких чисел, а Тиверзин был одет по-осеннему. У ворот встретил его дворник Гимазетдин.

— Спасибо, господин Тиверзин, — зарядил он. — Юсуп обида не давал, заставил век Бога молить.

— Что ты очумел, Гимазетдин, какой я тебе господин? Брось ты это, пожалуйста. Говори скорее, видишь мороз какой.

— Зачем мороз, тебе тепло, Савельич. Мы вчерашний день твой мамаша Марфа Гавриловна Москва-Товарная полный сарай дров возили, одна береза, хорошие дрова, сухие дрова.

— Спасибо, Гимазетдин. Ты еще что-то сказать хочешь, скорее, пожалуйста, озяб я, понимаешь.

— Сказать хотел, дома не ночуй, Савельич, хорониться надо.

Постовой спрашивал, околодочный спрашивал, кто, говорит, ходит. Я говорю, никто не ходит. Помощник, говорю, ходит, паровозная бригада ходит, железная дорога ходит. А чтобы кто-нибудь чужой, ни-ни!

Дом, в котором холостой Тиверзин жил вместе с матерью и женатым младшим братом, принадлежал соседней церкви святой Троицы. Дом этот был заселен некоторою частью причта, двумя артелями фруктовщиков и мясников, торговавших в городе с лотков вразнос, а по преимуществу мелкими служащими Московско-Брестской железной дороги.

Дом был каменный с деревянными галереями. Они с четырех сторон окружали грязный немощеный двор. Вверх по галереям шли грязные и скользкие деревянные лестницы. На них пахло кошками и квашеной капустой. По площадкам лепились отхожие будки и кладовые под висячими замками.

Брат Тиверзина был призван рядовым на войну и ранен под Вафангоу. Он лежал на излечении в Красноярском госпитале, куда для встречи с ним и принятия его на руки выехала его жена с двумя дочерями. Потомственные железнодорожники Тиверзины были легки на подъем и разъезжали по всей России по даровым служебным удостоверениям. В настоящее время в квартире было тихо и пусто. В ней жили только сын да мать.

Квартира помещалась во втором этаже. Перед входною дверью на галерее стояла бочка, которую наполнял водой водовоз. Когда Киприян Савельевич поднялся в свой ярус, он обнаружил, что крышка с бочки

сдвинута набок и на обломке льда, сковавшего воду, стоит примерзшая к ледяной корочке железная кружка.

— Не иначе — Пров, — подумал Тиверзин, усмехнувшись. — Пьет, не напьется, прорва, огненное нутро.

Пров Афанасьевич Соколов, псаломщик, видный и нестарый мужчина, был дальним родственником Марфы Гавриловны.

Киприян Савельевич оторвал кружку от ледяной корки, надвинул крышку на бочку и дернул ручку дверного колокольчика.

Облако жилого духа и вкусного пара двинулось ему навстречу.

— Жарко истопили, маменька. Тепло у нас, хорошо.

Мать бросилась к нему на шею, обняла и заплакала. Он погладил её по голове, подождал и мягко отстранил.

— Смелость города берет, маменька, — тихо сказал он, — стоит моя дорога от Москвы до самой Варшавы.

— Знаю. Оттого и плачу. Несдобровать тебе. Убраться бы тебе, Куприньку, куда-нибудь подальше.

— Чуть мне голову не проломил ваш миленький дружок, любезный пастушок ваш, Петр Петров.

Он думал рассмешить ее. Она не поняла шутки и серьезно ответила:

— Грех над ним смеяться, Куприньку. Ты б его пожалел.

Отпетый горемыка, погибшая душа.

— Забрали Антипова Пашку. Павла Ферапонтовича. Пришли ночью, обыск, все перебуторили. Утром увели. Тем более Дарья его тиф это, в больнице. Павлушка малый, — в реальном учится, — один в доме с теткой глухой. Притом гонят их с квартиры. Я считаю, надо мальчика к нам. Зачем Пров заходил?

— Почем ты знаешь?

— Бочка, вижу, не покрыта и кружка стоит. Обязательно, думаю, Пров бездонный воду хлобыстал.

— Какой ты догадливый, Куприньку. Твоя правда. Пров, Пров, Пров Афанасьевич. Забежал попросить дров взаймы — я дала. Да что я дура, — дрова! Совсем из головы у меня вон, какую он новость принес. Государь, понимаешь, манифест подписал, чтобы все перевернуть по-новому, никого не обижать, мужикам землю и всех сравнять с дворянами. Подписанный указ, ты что думаешь, только обнародовать. Из синода новое прошение прислали, вставить в ектинью, или там какое-то моление заздравное, не хочу врать. Провушка сказывал, да я вот запамятовала.

8

Патуля Антипов, сын арестованного Павла Ферапонтовича и помещенной в больницу Дарьи Филимоновны, поселился у Тиверзиных. Это был чистоплотный мальчик с правильными чертами лица и русыми волосами, расчесанными на прямой пробор. Он их поминутно приглаживал щеткою и поминутно оправлял куртку и кушак с форменной пряжкой реального училища. Патуля был смешлив до слез и очень наблюдателен. Он с большим сходством и комизмом передразнивал все, что видел и слышал.

Вскоре после манифеста семнадцатого октября задумана была большая демонстрация от Тверской заставы к Калужской. Это было начинание в духе пословицы «у семи нянек дитя без глазу».

Несколько революционных организаций, причастных к затее, перегрызлись между собой и одна за другой от нее отступились, а когда узнали, что в назначенное утро люди все же вышли на улицу, наскоро послали к манифестантам своих представителей.

Несмотря на отговоры и противодействие Киприяна Савельевича, Марфа Гавриловна пошла на демонстрацию с веселым и общительным Патулей.

Был сухой морозный день начала ноября, с серо-свинцовым спокойным небом и реденькими, почти считанными снежинками, которые долго и уклончиво вились, перед тем как упасть на землю и потом серою пушистой пылью забиться в дорожные колдобины.

Вниз по улице валил народ, сущее столпотворение, лица, лица и лица, зимние пальто на вате и барашковые шапки, старики, курсистки и дети, путейцы в форме, рабочие трамвайного парка и телефонной станции в сапогах выше колен и кожаных куртках, гимназисты и студенты.

Некоторое время пели «Варшавянку», «Вы жертвою пали» и «Марсельезу», но вдруг человек, пятившийся задом перед шествием и взмахами зажатой в руке кубанки дирижировавший пением, надел шапку, перестал запевать и, повернувшись спиной к процессии, пошел впереди и стал прислушиваться, о чем говорят остальные распорядители, шедшие рядом. Пение расстроилось и оборвалось. Стал слышен хрустящий шаг несметной толпы по мерзлой мостовой.

Доброжелатели сообщали инициаторам шествия, что демонстрантов впереди подстерегают казаки. О готовящейся засаде телефонировали в близлежащую аптеку.

— Так что же, — говорили распорядители. — Тогда главное —

хладнокровие и не теряться. Надо немедленно занять первое общественное здание, какое попадется по дороге, объявить людям о грозящей опасности и расходиться поодиночке.

Заспорили, куда будет лучше всего. Одни предлагали в Общество купеческих приказчиков, другие в Высшее техническое, третьи в Училище иностранных корреспондентов.

Во время этого спора впереди показался угол казенного здания. В нем тоже помещалось учебное заведение, годившееся в качестве прибежища ничуть не хуже перечисленных.

Когда идущие поравнялись с ним, вожаки поднялись на полукруглую площадку и знаками остановили голову процессии.

Многостворчатые двери входа открылись, и шествие в полном составе, шуба за шубой и шапка за шапкой стало вливаться в вестибюль школы и подниматься по её парадной лестнице.

— В актовый зал, в актовый зал! — кричали сзади единичные голоса, но толпа продолжала валить дальше, разбредаясь в глубине по отдельным коридорам и классам.

Когда публику все же удалось вернуть, и все расселись на стульях, руководители несколько раз пытались объявить собранию о расставленной впереди ловушке, но их никто не слушал.

Остановка и переход в закрытое помещение были поняты как приглашение на импровизированный митинг, который тут же и начался.

Людям после долгого шагания с пением хотелось посидеть немного молча, и чтобы теперь кто-нибудь другой отдувался за них и драл свою глотку. По сравнению с главным удовольствием отдыха безразличны были ничтожные разногласия говоривших, почти во всем солидарных друг с другом.

Поэтому наибольший успех выпал на долю наихудшего оратора, не утомлявшего слушателей необходимостью следить за ним.

Каждое его слово сопровождалось ревом сочувствия. Никто не жалел, что его речь заглушается шумом одобрения. С ним торопились согласиться из нетерпения, кричали «позор», составляли телеграмму протеста и вдруг, наскучив однообразием его голоса, поднялись как один и, совершенно забыв про оратора, шапка за шапкой и ряд за рядом толпой спустились по лестнице и высыпали на улицу. Шествие продолжалось.

Пока митинговали, на улице повалил снег. Мостовые побелели.

Снег валил все гуще.

Когда налетели драгуны, этого в первую минуту не подозревали в задних рядах. Вдруг спереди прокатился нарастающий гул, как когда

толпою кричат «ура». Крики «караул», «убили» и множество других слились во что-то неразличимое. Почти в ту же минуту на волне этих звуков по тесному проходу, образовавшемуся в шарахнувшейся толпе, стремительно и бесшумно пронеслись лошадиные морды и гривы и машущие шашками всадники.

Полувзвод проскакал, повернул, перестроился и врезался сзади в хвост шествия. Началось избиение.

Спустя несколько минут улица была почти пуста. Люди разбегались по переулкам. Снег шел реже. Вечер был сух, как рисунок углем. Вдруг садящееся где-то за домами солнце стало из-за угла словно пальцем тыкать во все красное на улице: в красноверхие шапки драгун, в полотнище упавшего красного флага, в следы крови, протянувшиеся по снегу красненькими ниточками и точками.

По краю мостовой полз, притягиваясь на руках, стонущий человек с раскроенным черепом. Снизу шагом в ряд ехало несколько конных. Они возвращались с конца улицы, куда их завлекло преследование. Почти под ногами у них металась Марфа Гавриловна в сбившемся на затылок платке и не своим голосом кричала на всю улицу: «Паша! Патуля!»

Он все время шел с ней и забавлял ее, с большим искусством изображая последнего оратора, и вдруг пропал в суматохе, когда наскочили драгуны.

В переделке Марфа Гавриловна сама получила по спине нагайкой, и хотя её плотно подбитый ватою шушун не дал ей почувствовать удара, она выругалась и погрозила кулаком удалявшейся кавалерии, возмущенная тем, как это ее, старуху, осмелились при всем честном народе вытянуть плеткой.

Марфа Гавриловна бросала взволнованные взгляды по обе стороны мостовой. Вдруг она по счастью увидала мальчика на противоположном тротуаре. Там в углублении между колониальной лавкой и выступом каменного особняка толпилась кучка случайных ротозеев.

Туда загнал их крупом и боками своей лошади драгун, въехавший верхом на тротуар. Его забавлял их ужас, и, загородив им выход, он производил перед их носом манежные вольты и пируэты, пятил лошадь задом и медленно, как в цирке, подымал её на дыбы. Вдруг впереди он увидел шагом возвращающихся товарищей, дал лошади шпоры и в два-три прыжка занял место в их ряду.

Народ, сжатый в закоулке, рассеялся. Паша, раньше боявшийся подать голос, кинулся к бабушке.

Они шли домой. Марфа Гавриловна все время ворчала:

— Смертоубийцы проклятые, окаянные душегубы! Людям радость,

царь волю дал, а эти не утерпят. Все бы им испакостить, всякое слово вывернуть наизнанку.

Она была зла на драгун, на весь свет кругом и в эту минуту даже на родного сына. В моменты запальчивости ей казалось, что все происходящее сейчас, это всё штуки Куприньких путаников, которых она звала промахами и мудрофелями.

— Злые аспиды! Что им, оглашенным, надо? Никакого понятия!

Только бы лаяться да вздорить. А этот, речистый, как ты его, Пашенька? Покажи, милый, покажи. Ой помру, ой помру! Ни дать ни взять как вылитый. Тру-ру ру-ру-ру. Ах ты зуда-жужелица, конская строка!

Дома она накинулась с упреками на сына, не в таких, мол, она летах, чтобы её конопатый болван вихрастый с коника хлыстом учил по заду.

— Да что вы, ей-Богу, маменька! Словно я, право, казачий сотник какой или шейх жандармов.

9

Николай Николаевич стоял у окна, когда показались бегущие.

Он понял, что это с демонстрации, и некоторое время всматривался вдаль, не увидит ли среди расходящихся Юры или еще кого-нибудь. Однако знакомых не оказалось, только раз ему почудилось, что быстро прошел этот (Николай Николаевич забыл его имя), сын Дудорова, отчаянный, у которого еще так недавно извлекли пулю из левого плеча и который опять околачивался, где не надо.

Николай Николаевич приехал сюда осенью из Петербурга. В Москве у него не было своего угла, а в гостиницу ему не хотелось. Он остановился у Свентицких, своих дальних родственников. Они отвели ему угловой кабинет наверху в мезонине.

Этот двухэтажный флигель, слишком большой для бездетной четы Свентицких, покойные старики Свентицкие с незапамятных времен снимали у князей Долгоруких. Владение Долгоруких с тремя дворами, садом и множеством разбросанных в беспорядке разностильных построек выходило в три переулка и называлось по-старинному Мучным городком.

Несмотря на свои четыре окна, кабинет был темноват. Его загромождали книги, бумаги, ковры и гравюры. К кабинету снаружи примыкал балкон, полукругом охватывавший этот угол здания. Двойная стеклянная дверь на балкон была наглухо заделана на зиму.

В два окна кабинета и стекла балконной двери переулок был виден в длину — убегающая вдаль санная дорога, криво расставленные домики,

кривые заборы.

Из сада в кабинет тянулись лиловые тени. Деревья с таким видом заглядывали в комнату, словно хотели положить на пол свои ветки в тяжелом инее, похожем на сиреневые струйки застывшего стеарина.

Николай Николаевич глядел в переулок и вспоминал прошлогоднюю петербургскую зиму, Гапона, Горького, посещение Витте, модных современных писателей. Из этой кутерьмы он удрал сюда, в тишь да гладь первопрестольной, писать задуманную им книгу. Куда там! Он попал из огня да в полымя. Каждый день лекции и доклады, не дадут опомниться. То на Высших женских, то в Религиозно-философском, то на Красный Крест, то в Фонд стачечного комитета. Забраться бы в Швейцарию, в глушь лесного кантона. Мир и ясность над озером, небо и горы, и звучный, всему вторящий, настороженный воздух.

Николай Николаевич отвернулся от окна. Его поманило в гости к кому-нибудь или просто так без цели на улицу. Но тут он вспомнил, что к нему должен прийти по делу толстовец Выволочнов, и ему нельзя отлучаться. Он стал расхаживать по комнате. Мысли его обратились к племяннику.

Когда из приволжского захолустья Николай Николаевич переехал в Петербург, он привез Юру в Москву в родственный круг Веденяпиных, Остромысленских, Селявиных, Михаелисов, Свентицких и Громеко. Для начала Юру водворили к безалаберному старику и пустомеле Остромысленскому, которого родня запросто величала Федькой. Федька негласно сожительствовал со своей воспитанницей Мотей и потому считал себя потрясателем основ, поборником идеи. Он не оправдал возложенного доверия и даже оказался нечистым на руку, тратя в свою пользу деньги, назначенные на Юрино содержание. Юру перевели в профессорскую семью Громеко, где он и по сей день находился.

У Громеко Юру окружала завидно благоприятная атмосфера.

— У них там такой триумвират, — думал Николай Николаевич:

Юра, его товарищ и одноклассник гимназист Гордон и дочь хозяев Тоня Громеко. Этот тройственный союз начитался «Смысла любви» и «Крейцеровой сонаты» и помешан на проповеди целомудрия.

Отрочество должно пройти через все неистовства чистоты. Но они пересаливают, у них заходит ум за разум.

Они страшные чудаки и дети. Область чувственного, которая их так волнует, они почему-то называют «пошлостью» и употребляют это выражение кстати и некстати. Очень неудачный выбор слова! «Пошлость» — это у них и голос инстинкта, и порнографическая литература, и эксплуатация женщины, и чуть ли не весь мир физического.

Они краснеют и бледнеют, когда произносят это слово!

Если бы я был в Москве, — думал Николай Николаевич, — я бы не дал этому зайти так далеко. Стыд необходим, и в некоторых границах…

— А, Нил Феоктистович! Милости просим, — воскликнул он и пошел навстречу гостю.

10

В комнату вошел толстый мужчина в серой рубашке, подпоясанный широким ремнем. Он был в валенках, штаны пузырились у него на коленках. Он производил впечатление добряка, витающего в облаках. На носу у него злобно подпрыгивало маленькое пенсне на широкой черной ленте.

Разоблачаясь в прихожей, он не довел дело до конца. Он не снял шарфа, конец которого волочился у него по полу, и в руках у него осталась его круглая войлочная шляпа. Эти предметы стесняли его в движениях и не только мешали Выволочнову пожать руку Николаю Николаевичу, но даже выговорить слова приветствия, здороваясь с ним.

— Э-мм, — растерянно мычал он, осматриваясь по углам.

— Кладите где хотите, — сказал Николай Николаевич, вернув Выволочнову дар речи и самообладание.

Это был один из тех последователей Льва Николаевича Толстого, в головах которых мысли гения, никогда не знавшего покоя, улеглись вкушать долгий и неомраченный отдых и непоправимо мельчали.

Выволочнов пришел просить Николая Николаевича выступить в какой-то школе в пользу политических ссыльных.

— Я уже раз читал там.

— В пользу политических?

— Да.

— Придется еще раз.

Николай Николаевич поупрямился и согласился. Предмет посещения был исчерпан. Николай Николаевич не удерживал Нила Феоктистовича. Он мог подняться и уйти. Но Выволочнову казалось неприличным уйти так скоро. На прощанье надо было сказать что-нибудь живое, непринужденное. Завязался разговор, натянутый и неприятный.

— Декадентствуете? Вдались в мистику?

— То есть это почему же?

— Пропал человек. Земство помните?

— А как же. Вместе по выборам работали.

— За сельские школы ратовали и учительские семинарии. Помните?

— Как же. Жаркие были бои. Вы потом, кажется, по народному здравию подвизались и общественному призрению. Не правда ли?

— Некоторое время.

— Нда. А теперь эти фавны и ненюфары, эфебы и «будем как солнце». Хоть убейте, не поверю. Чтобы умный человек с чувством юмора и таким знанием народа… Оставьте, пожалуйста… Или, может быть, я вторгаюсь… Что-нибудь сокровенное?

— Зачем бросать наудачу слова, не думая? О чем мы препираемся? Вы не знаете моих мыслей.

— России нужны школы и больницы, а не фавны и ненюфары.

— Никто не спорит.

— Мужик раздет и пухнет от голода…

Такими скачками подвигался разговор. Сознавая наперед никчемность этих попыток, Николай Николаевич стал объяснять, что его сближает с некоторыми писателями из символистов, а потом перешел к Толстому.

— До какой-то границы я с вами. Но Лев Николаевич говорит, что чем больше человек отдается красоте, тем больше отдаляется от добра.

— А вы думаете, что наоборот? Мир спасет красота, мистерии и тому подобное, Розанов и Достоевский?

— Погодите, я сам скажу, что я думаю. Я думаю, что если бы дремлющего в человеке зверя можно было остановить угрозою, все равно, каталажки или загробного воздаяния, высшею эмблемой человечества был бы цирковой укротитель с хлыстом, а не жертвующий собою проповедник. Но в том-то и дело, что человека столетиями поднимала над животным и уносила ввысь не палка, а музыка: неотразимость безоружной истины, притягательность её примера. До сих пор считалось, что самое важное в Евангелии нравственные изречения и правила, заключенные в заповедях, а для меня самое главное то, что Христос говорит притчами из быта, поясняя истину светом повседневности. В основе этого лежит мысль, что общение между смертными бессмертно и что жизнь символична, потому что она значительна.

— Ничего не понял. Вы бы об этом книгу написали.

Когда ушел Выволочнов, Николаем Николаевичем овладело страшное раздражение. Он был зол на себя за то, что выболтал чурбану Выволочнову часть своих заветных мыслей, не произведя на него ни малейшего впечатления. Как это иногда бывает, досада Николая Николаевича вдруг изменила направление. Он совершенно забыл о Выволочнове, словно его никогда не бывало.

Ему припомнился другой случай. Он не вел дневников, но раз или два в году записывал в толстую общую тетрадь наиболее поразившие его мысли. Он вынул тетрадь и стал набрасывать крупным разборчивым почерком. Вот что он записал.

«Весь день вне себя из-за этой дуры Шлезингер. Приходит утром, засиживается до обеда и битых два часа томит чтением этой галиматьи. Стихотворный текст символиста А. для космогонической симфонии композитора Б. с духами планет, голосами четырех стихий и прочая и прочая. Я терпел, терпел и не выдержал, взмолился, что, мол, не могу, увольте.

Я вдруг все понял. Я понял, отчего это всегда так убийственно нестерпимо и фальшиво даже в Фаусте. Это деланный, ложный интерес. Таких запросов нет у современного человека.

Когда его одолевают загадки вселенной, он углубляется в физику, а не в гекзаметры Гезиода.

Но дело не только в устарелости этих форм, в их анахронизме. Дело не в том, что эти духи огня и воды вновь неярко запутывают то, что ярко распутано наукою. Дело в том, что этот жанр противоречит всему духу нынешнего искусства, его существу, его побудительным мотивам.

Эти космогонии были естественны на старой земле, заселенной человеком так редко, что он не заслонял еще природы. По ней еще бродили мамонты и свежи были воспоминания о динозаврах и драконах. Природа так явно бросалась в глаза человеку и так хищно и ощутительно — ему в загривок, что, может быть, в самом деле все было еще полно богов. Это самые первые страницы летописи человечества, они только еще начинались.

Этот древний мир кончился в Риме от перенаселения.

Рим был толкучкою заимствованных богов и завоеванных народов, давкою в два яруса, на земле и на небе, свинством, захлестнувшимся вокруг себя тройным узлом, как заворот кишок.

Даки, герулы, скифы, сарматы, гиперборейцы, тяжелые колеса без спиц, заплывшие от жира глаза, скотоложество, двойные подбородки, кормление рыбы мясом образованных рабов, неграмотные императоры. Людей на свете было больше, чем когда-либо впоследствии, и они были сдавлены в проходах Колизея и страдали.

И вот в завал этой мраморной и золотой безвкусицы пришел этот легкий и одетый в сияние, подчеркнуто человеческий, намеренно провинциальный, галилейский, и с этой минуты народы и боги прекратились и начался человек, человек-плотник, человек-пахарь,

человек-пастух в стаде овец на заходе солнца, человек, ни капельки не звучащий гордо, человек, благодарно разнесенный по всем колыбельным песням матерей и по всем картинным галереям мира».

11

Петровские линии производили впечатление петербургского уголка в Москве. Соответствие зданий по обеим сторонам проезда, лепные парадные в хорошем вкусе, книжная лавка, читальня, картографическое заведение, очень приличный табачный магазин, очень приличный ресторан, перед рестораном — газовые фонари в круглых матовых колпаках на массивных кронштейнах.

Зимой это место хмурилось с мрачной неприступностью. Здесь жили серьезные, уважающие себя и хорошо зарабатывающие люди свободных профессий.

Здесь снимал роскошную холостяцкую квартиру во втором этаже по широкой леснице с широкими дубовыми перилами Виктор Ипполитович Комаровский. Заботливо во все вникающая и в то же время ни во что не вмешивающаяся Эмма Эрнестовна, его экономка, нет — кастелянша его тихого уединения, вела его хозяйство, неслышимая и незримая, и он платил ей рыцарской признательностью, естественной в таком джентльмене, и не терпел в квартире присутствия гостей и посетительниц, не совместимых с её безмятежным стародевическим миром. У них царил покой монашеской обители — шторы опущены, ни пылинки, ни пятнышка, как в операционной.

По воскресеньям перед обедом Виктор Ипполитович имел обыкновение фланировать со своим бульдогом по Петровке и Кузнецкому, и на одном из углов выходил и присоединялся к ним Константин Илларионович Сатаниди, актер и картежник.

Они пускались вместе шлифовать панели, перекидывались короткими анекдотами и замечаниями настолько отрывистыми, незначительными и полными такого презрения ко всему на свете, что без всякого ущерба могли бы заменить эти слова простым рычанием, лишь бы наполнять оба тротуара Кузнецкого своими громкими, бесстыдно задыхающимися и как бы давящимися своей собственной вибрацией басами.

12

Погода перемогалась. «Кап-кап-кап» долбили капли по железу водосточных труб и карнизов. Крыша перестукивалась с крышею, как весною. Была оттепель.

Всю дорогу она шла, как невменяемая, и только по приходе домой

поняла, что случилось.

Дома все спали. Она опять впала в оцепенение и в этой рассеянности опустилась перед маминым туалетным столиком в светло-сиреневом, почти белом платье с кружевной отделкой и длинной вуали, взятыми на один вечер в мастерской, как на маскарад. Она сидела перед своим отражением в зеркале и ничего не видела. Потом положила скрещенные руки на столик и упала на них головою.

Если мама узнает, она убьет ее. Убьет и покончит с собой.

Как это случилось? Как могло это случиться? Теперь поздно.

Надо было думать раньше.

Теперь она, — как это называется, — теперь она — падшая.

Она — женщина из французского романа и завтра пойдет в гимназию сидеть за одной партой с этими девочками, которые по сравнению с ней еще грудные дети. Господи, Господи, как это могло случиться!

Когда-нибудь, через много-много лет, когда можно будет, Лара расскажет это Оле Деминой. Оля обнимет её за голову и разревется.

За окном лепетали капли, заговаривалась оттепель. Кто-то с улицы дубасил в ворота к соседям. Лара не поднимала головы. У нее вздрагивали плечи. Она плакала.

13

— Ах, Эмма Эрнестовна, это, милочка, неважно. Это надоело.

Он расшвыривал по ковру и дивану какие-то вещи, манжеты и манишки и вдвигал и выдвигал ящики комода, не соображая, что ему надо.

Она требовалась ему дозарезу, а увидеть её в это воскресенье не было возможности. Он метался, как зверь, по комнате, нигде не находя себе места.

Она была бесподобна прелестью одухотворения. Ее руки поражали, как может удивлять высокий образ мыслей. Ее тень на обоях номера казалась силуэтом её неиспорченности. Рубашка обтягивала ей грудь простодушно и туго, как кусок холста, натянутый на пяльцы.

Комаровский барабанил пальцами по оконному стеклу, в такт лошадям, неторопливо цокавшим внизу по асфальту проезда.

«Лара», — шептал он и закрывал глаза, и её голова мысленно появлялась в руках у него, голова спящей с опущенными во сне ресницами, не ведающая, что на нее бессонно смотрят часами без отрыва. Шапка её волос, в беспорядке разметанная по подушке дымом своей красоты ела Комаровскому глаза и проникала в душу.

Его воскресная прогулка не удалась. Комаровский сделал с Джеком несколько шагов по тротуару и остановился. Ему представились Кузнецкий, шутки Сатаниди, встречный поток знакомых. Нет, это выше его сил! Как это все опротивело!

Комаровский повернул назад. Собака удивилась, остановила на нем неодобрительный взгляд с земли и неохотно поплелась сзади.

— Что за наваждение! — думал он. — Что все это значит?

Что это — проснувшаяся совесть, чувство жалости или раскаяния? Или это — беспокойство? Нет, он знает, что она дома у себя и в безопасности. Так что же она не идет из головы у него!

Комаровский вошел в подъезд, дошел по лестнице до площадки и обогнул ее. На ней было венецианское окно с орнаментальными гербами по углам стекла. Цветные зайчики падали с него на пол и подоконник. На половине второго марша Комаровский остановился.

Не поддаваться этой мытарящей, сосущей тоске! Он не мальчик, он должен понимать, что с ним будет, если из средства развлечения эта девочка, дочь его покойного друга, этот ребенок, станет предметом его помешательства. Опомниться! Быть верным себе, не изменять своим привычкам. А то все полетит прахом.

Комаровский до боли сжал рукой широкие перила, закрыл на минуту глаза и, решительно повернув назад, стал спускаться. На площадке с зайчиками он перехватил обожающий взгляд бульдога.

Джек смотрел на него снизу, подняв голову, как старый, слюнявый карлик с отвислыми щеками.

Собака не любила девушки, рвала ей чулки, рычала на нее и скалилась. Она ревновала хозяина к Ларе, словно боясь, как бы он не заразился от нее чем-нибудь человеческим.

— Ах, так вот оно что! Ты решил, что все будет по-прежнему — Сатаниди, подлости, анекдоты? Так вот тебе за это, вот тебе, вот тебе, вот тебе!

Он стал избивать бульдога тростью и ногами. Джек вырвался, воя и взвизгивая, и с трясущимся задом заковылял вверх по лестнице скрестись в дверь и жаловаться Эмме Эрнестовне.

Проходили дни и недели.

14

О какой это был заколдованный круг! Если бы вторжение Комаровского в Ларину жизнь возбуждало только её отвращение, Лара

взбунтовалась бы и вырвалась. Но дело было не так просто.

Девочке льстило, что годящийся ей в отцы красивый, седеющий мужчина, которому аплодируют в собраниях и о котором пишут в газетах, тратит деньги и время на нее, зовет божеством, возит в театры и на концерты и, что называется, «умственно развивает» ее.

И ведь она была еще невзрослою гимназисткой в коричневом платье, тайной участницей невинных школьных заговоров и проказ. Ловеласничанье Комаровского где-нибудь в карете под носом у кучера или в укромной аванложе на глазах у целого театра пленяло её неразоблаченной дерзостью и побуждало просыпавшегося в ней бесенка к подражанию.

Но этот озорной школьнический задор быстро проходил. Ноющая надломленность и ужас перед собой надолго укоренялись в ней. И все время хотелось спать. От недоспанных ночей, от слез и вечной головной боли, от заучивания уроков и общей физической усталости.

15

Он был её проклятием, она его ненавидела. Каждый день она перебирала эти мысли заново.

Теперь она на всю жизнь его невольница, чем он закабалил ее? Чем вымогает её покорность, а она сдается, угождает его желаниям и услаждает его дрожью своего неприкрашенного позора?

Своим старшинством, маминой денежной зависимостью от него, умелым ее, Лары, запугиванием? Нет, нет и нет. Все это вздор.

Не она в подчинении у него, а он у нее. Разве не видит она, как он томится по ней? Ей нечего бояться, её совесть чиста.

Стыдно и страшно должно быть ему, если она уличит его. Но в том-то и дело, что она никогда этого не сделает. На это у нее не хватит подлости, главной силы Комаровского в обращении с подчиненными и слабыми.

Вот в чем их разница. Этим и страшна жизнь кругом. Чем она оглушает, громом и молнией? Нет, косыми взглядами и шепотом оговора. В ней все подвох и двусмысленность. Отдельная нитка, как паутинка, потянул — и нет ее, а попробуй выбраться из сети — только больше запутаешься.

И над сильным властвует подлый и слабый.

16

Она говорила себе:

— А если бы она была замужем? Чем бы это отличалось? Она вступила на путь софизмов. Но иногда тоска без исхода охватывала ее.

Как ему не стыдно валяться в ногах у нее и умолять: «Так не может продолжаться. Подумай, что я с тобой сделал. Ты катишься по наклонной плоскости. Давай откроемся матери. Я женюсь на тебе».

И он плакал и настаивал, словно она спорила и не соглашалась. Но все это были одни фразы, и Лара даже не слушала этих трагических пустозвонных слов.

И он продолжал водить её под длинною вуалью в отдельные кабинеты этого ужасного ресторана, где лакеи и закусывающие провожали её взглядами и как бы раздевали. И она только спрашивала себя: разве когда любят, унижают?

Однажды ей снилось. Она под землей, от нее остался только левый бок с плечом и правая ступня. Из левого соска у неё растет пучок травы, а на земле поют «Черные очи да белая грудь» и «Не велят Маше за реченьку ходить».

17

Лара не была религиозна. В обряды она не верила. Но иногда для того, чтобы вынести жизнь, требовалось, чтобы она шла в сопровождении некоторой внутренней музыки. Такую музыку нельзя было сочинять для каждого раза самой. Этой музыкой было слово Божие о жизни, и плакать над ним Лара ходила в церковь.

Раз в начале декабря, когда на душе у Лары было, как у Катерины из «Грозы», она пошла помолиться с таким чувством, что вот теперь земля расступится под ней и обрушатся церковные своды. И поделом. И всему будет конец. Жаль только, что она взяла с собой Олю Демину, эту трещотку.

— Пров Афанасьевич, — шепнула ей Оля на ухо.

— Тсс. Отстань, пожалуйста. Какой Пров Афанасьевич?

— Пров Афанасьевич Соколов. Наш троюродный дядюшка. Который читает.

— А, это она про псаломщика. Тиверзинская родня. Тсс. Замолчи. Не мешай мне, пожалуйста.

Они пришли к началу службы. Пели псалом: «Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его».

В церкви было пустовато и гулко. Лишь впереди тесной толпой сбились

молящиеся. Церковь была новой стройки. Нерасцвеченное стекло оконницы ничем не скрашивало серого заснеженного переулка и прохожих и проезжих, которые по нему сновали. У этого окна стоял церковный староста и громко на всю церковь, не обращая внимания на службу, вразумлял какую-то глуховатую юродивую оборванку, и его голос был того же казенного будничного образца, как окно и переулок.

Пока, медленно обходя молящихся, Лара с зажатыми в руке медяками шла к двери за свечками для себя и Оли и так же осторожно, чтобы никого не толкнуть, возвращалась назад, Пров Афанасьевич успел отбарабанить девять блаженств, как вещь, и без него всем хорошо известную.

Блажени нищие духом… Блажени плачущие… Блажени алчущие и жаждущие правды…

Лара шла, вздрогнула и остановилась. Это про нее. Он говорит: завидна участь растоптанных. Им есть что рассказать о себе. У них все впереди. Так он считал. Это Христово мнение.

18

Были дни Пресни. Они оказались в полосе восстания. В нескольких шагах от них на Тверской строили баррикаду. Ее было видно из окна гостиной. С их двора таскали туда ведрами воду и обливали баррикаду, чтобы связать ледяной броней камни и лом, из которых она состояла.

На соседнем дворе было сборное место дружинников, что-то вроде врачебного или питательного пункта.

Туда проходили два мальчика. Лара знала обоих. Один был Ника Дудоров, приятель Нади, у которой Лара с ним познакомилась. Он был Лариного десятка — прямой, гордый и неразговорчивый. Он был похож на Лару и не был ей интересен.

Другой был реалист Антипов, живший у старухи Тиверзиной, бабушки Оли Деминой. Бывая у Марфы Гавриловны, Лара стала замечать, какое действие она производит на мальчика. Паша Антипов был так еще младенчески прост, что не скрывал блаженства, которое доставляли ему её посещения, словно Лара была какая-нибудь березовая роща в каникулярное время с чистою травою и облаками, и можно было беспрепятственно выражать свой телячий восторг по её поводу, не боясь, что за это засмеют.

Едва заметив, какое она на него оказывает влияние, Лара бессознательно стала этим пользоваться. Впрочем, более серьезным приручением мягкого и податливого характера она занялась через

несколько лет, в гораздо более позднюю пору своей дружбы с ним, когда Патуля уже знал, что любит её без памяти и что в жизни ему нет больше отступления.

Мальчики играли в самую страшную и взрослую из игр, в войну, притом в такую, за участие в которой вешали и ссылали.

Но концы башлыков были у них завязаны сзади такими узлами, что это обличало в них детей и обнаруживало, что у них есть еще папы и мамы. Лара смотрела на них, как большая на маленьких.

Налет невинности лежал на их опасных забавах. Тот же отпечаток сообщался от них всему остальному. Морозному вечеру, поросшему таким косматым инеем, что вследствие густоты он казался не белым, а черным. Синему двору. Дому напротив, где скрывались мальчики. И главное, главное — револьверным выстрелам, все время щелкавшим оттуда. «Мальчики стреляют», — думала Лара.

Она думала так не о Нике и Патуле, но обо всем стрелявшем городе. «Хорошие, честные мальчики, — думала она. — Хорошие, оттого и стреляют».

19

Узнали, что по баррикаде могут открыть огонь из пушки и что их дом в опасности. О переходе куда-нибудь к знакомым в другую часть Москвы поздно было думать, их район был оцеплен. Надо было приискать угол поближе, внутри круга. Вспомнили о «Черногории».

Выяснилось, что они не первые. В гостинице все было занято.

Многие оказались в их положении. По старой памяти их обещали устроить в бельевой.

Собрали самое необходимое в три узла, чтобы не привлекать внимание чемоданами, и стали со дня на день откладывать переход в гостиницу.

Ввиду патриархальных нравов, царивших в мастерской, в ней до последнего времени продолжали работать, несмотря на забастовку. Но вот как-то в холодные, скучные сумерки с улицы позвонили. Вошел кто-то с претензиями и упреками. На парадное потребовали хозяйку. В переднюю унимать страсти вышла Фаина Силантьевна.

— Сюда, девоньки! — вскоре позвала она туда мастериц и по очереди стала всех представлять вошедшему.

Он с каждою отдельно поздоровался за руку прочувствованно и неуклюже и ушел, о чем-то уговорившись с Фетисовой.

Вернувшись в зал, мастерицы стали повязываться шалями и вскидывать

руки над головами, продевая их в рукава тесных шубеек.

— Что случилось? — спросила подоспевшая Амалия Карловна.

— Нас сымают, мадам. Мы забастовали.

— Разве я… Что я вам сделала плохого? — Мадам Гишар расплакалась.

— Вы не расстраивайтесь, Амалия Карловна. У нас зла на вас нет, мы очень вами благодарны. Да ведь разговор не об вас и об нас. Так теперь у всех, весь свет. А нешто супротив него возможно?

Все разошлись до одной, даже Оля Демина и Фаина Силантьевна, шепнувшая на прощание хозяйке, что инсценирует эту стачку для пользы владелицы и заведения. А та не унималась.

— Какая черная неблагодарность! Подумай, как можно ошибаться в людях! Эта девчонка, на которую я потратила столько души! Ну хорошо, допустим, это ребенок. Но эта старая ведьма!

— Поймите, мамочка, они не могут сделать для вас исключения, — утешала её Лара. — Ни у кого нет озлобления против вас. Наоборот. Все, что происходит сейчас кругом, делается во имя человека, в защиту слабых, на благо женщин и детей. Да, да, не качайте так недоверчиво головой. От этого когда-нибудь будет лучше мне и вам.

Но мать ничего не понимала.

— Вот так всегда, — говорила она, всхлипывая. — Когда мысли и без того путаются, ты ляпнешь что-нибудь такое, что только вылупишь глаза. Мне гадят на голову, и выходит, что это в моих интересах. Нет, верно, правда выжила я из ума.

Родя был в корпусе. Лара с матерью одни слонялись по пустому дому. Неосвещенная улица пустыми глазами смотрела в комнаты. Комнаты отвечали тем же взглядом.

— Пойдемте в номера, мамочка, пока не стемнело. Слышите, мамочка? Не откладывая, сейчас.

— Филат, Филат! — позвали они дворника. — Филат, проводи нас, голубчик, в «Черногорию».

— Слушаюсь, барыня.

— Захватишь узлы, и вот что, Филат, присматривай тут, пожалуйста, пока суд да дело. И зерна и воду не забывай Кириллу Модестовичу. И все на ключ. Да, и, пожалуйста, наведывайся к нам.

— Слушаюсь, барыня.

— Спасибо, Филат. Спаси тебя Христос. Ну, присядем на прощание, и с Богом.

Они вышли на улицу и не узнали воздуха, как после долгой болезни. Морозное, как под орех разделанное пространство, легко перекатывало во

все стороны круглые, словно на токарне выточенные, гладкие звуки. Чмокали, шмякали и шлепались залпы и выстрелы, расшибая дали в лепешку.

Сколько ни разуверял их Филат, Лара и Амалия Карловна считали эти выстрелы холостыми.

— Ты, Филат, дурачок. Ну ты сам посуди, как не холостые, когда не видно, кто стреляет. Кто же это, по-твоему, святой дух стреляет, что ли? Разумеется, холостые.

На одном из перекрестков их остановил сторожевой патруль.

Их обыскали, нагло оглаживая их с ног до головы, ухмыляющиеся казаки. Бескозырки на ремешках были лихо сдвинуты у них на ухо. Все они казались одноглазыми.

Какое счастье! — думала Лара. Она не увидит Комаровского все то время, что они будут отрезаны от остального города! Она не может развязаться с ним благодаря матери. Она не может сказать: мама, не принимайте его. А то все откроется. Ну и что же? А зачем этого бояться? Ах, Боже, да пропади все пропадом, только бы конец. Господи, Господи, Господи! Она сейчас упадет без чувств посреди улицы от омерзения. Что она сейчас вспомнила?! Как называлась эта страшная картина с толстым римлянином в том первом отдельном кабинете, с которого все началось? «Женщина или ваза». Ну как же. Конечно. Известная картина. «Женщина или ваза». И она тогда еще не была женщиной, чтобы равняться с такой драгоценностью. Это пришло потом. Стол был так роскошно сервирован.

— Куда ты как угорелая? Не угнаться мне за тобой, — плакала сзади Амалия Карловна, тяжело дыша и еле за ней поспевая.

Лара шла быстро. Какая-то сила несла ее, словно она шагала по воздуху, гордая, воодушевляющая сила.

«О как задорно щелкают выстрелы, — думала она. — Блаженны поруганные, блаженны оплетенные. Дай вам Бог здоровья, выстрелы! Выстрелы, выстрелы, вы того же мнения!».

20

Дом братьев Громеко стоял на углу Сивцева Вражка и другого переулка. Александр и Николай Александрович Громеко были профессора химии, первый — в Петровской Академии, а второй — в университете. Николай Александрович был холост, а Александр Александрович женат на Анне Ивановне, урожденной Крюгер, дочери фабриканта-железоделателя и владельца заброшенных бездоходных рудников на принадлежавшей ему

огромной лесной даче близ Юрятина на Урале.

Дом был двухэтажный. Верх со спальнями, классной, кабинетом Александра Александровича и библиотекой, будуаром Анны Ивановны и комнатами Тони и Юры был для жилья, а низ для приемов. Благодаря фисташковым гардинам, зеркальным бликам на крышке рояля, аквариуму, оливковой мебели и комнатным растениям, похожим на водоросли, этот низ производил впечатление зеленого, сонно колышущегося морского дна.

Громеко были образованные люди, хлебосолы и большие знатоки и любители музыки. Они собирали у себя общество и устраивали вечера камерной музыки, на которых исполнялись фортепианные трио, скрипичные сонаты и струнные квартеты.

В январе тысяча девятьсот шестого года, вскоре после отъезда Николая Николаевича за границу, в Сивцевом должно было состояться очередное камерное. Предполагалось сыграть новую скрипичную сонату одного начинающего из школы Танеева и трио Чайковского.

Приготовления начались накануне. Передвигали мебель, освобождая зал. В углу тянул по сто раз одну и ту же ноту и разбегался бисерными арпеджиями настройщик. На кухне щипали птицу, чистили зелень и растирали горчицу на прованском масле для соусов и салатов.

С утра пришла надоедать Шура Шлезингер, закадычный друг Анны Ивановны, её поверенная.

Шура Шлезингер была высокая худощавая женщина с правильными чертами немного мужского лица, которым она несколько напоминала государя, особенно в своей серой каракулевой шапке набекрень, в которой она оставалась в гостях, лишь слегка приподнимая приколотую к ней вуальку.

В периоды горестей и хлопот беседы подруг приносили им обоюдное облегчение. Облегчение это заключалось в том, что Шура Шлезингер и Анна Ивановна говорили друг другу колкости все более язвительного свойства. Разыгрывалась бурная сцена, быстро кончавшаяся слезами и примирением. Эти регулярные ссоры успокоительно действовали на обеих, как пиявки от прилива крови.

Шура Шлезингер была несколько раз замужем, но забывала мужей тотчас по разводе и придавала им так мало значения, что во всех своих повадках сохраняла холодную подвижность одинокой.

Шура Шлезингер была теософка, но вместе с тем так превосходно знала ход православного богослужения, что даже toure transportee[1] в состоянии полного экстаза не могла утерпеть, чтобы не подсказывать священнослужителям, что им говорить или петь. «Услыши, Господи»,

«иже на всякое время», «честнейшую херувим» — все время слышалась её хриплая срывающаяся скороговорка.

Шура Шлезингер знала математику, индийское тайноведение, адреса крупнейших профессоров Московской консерватории, кто с кем живет, и, Бог ты мой, чего она только не знала. Поэтому её приглашали судьей и распорядительницей во всех серьезных случаях жизни.

В назначенный час гости стали съезжаться. Приехали Аделаида Филипповна, Гинц, Фуфковы, господин и госпожа Басурман, Вержицкие, полковник Кавказцев. Шел снег, и когда отворяли парадное, воздух путано несся мимо, весь словно в узелках от мелькания больших и малых снежинок. Мужчины входили с холода в болтающихся на ногах глубоких ботиках и поголовно корчили из себя рассеянных и неуклюжих увальней, а их посвежевшие на морозе жены в расстегнутых на две верхних пуговицы шубках и сбившихся назад пуховых платках на заиндевевших волосах, наоборот, изображали прожженных шельм, само коварство, пальца в рот не клади. «Племянник Кюи», — пронесся шепот, когда приехал новый, в первый раз в этот дом приглашенный пианист.

Из зала через растворенные в двух концах боковые двери виднелся длинный, как зимняя дорога, накрытый стол в столовой.

В глаза бросалась яркая игра рябиновки в бутылках с зернистой гранью. Воображение пленяли судки с маслом и уксусом в маленьких графинчиках на серебряных подставках, и живописность дичи и закусок, и даже сложенные пирамидками салфетки, стойком увенчивавшие каждый прибор, и пахнувшие миндалем сине-лиловые цинерарии в корзинах, казалось, дразнили аппетит. Чтобы не отдалять желанного мига вкушения земной пищи, поторопились как можно скорее обратиться к духовной. Расселись в зале рядами.

«Племянник Кюи», — возобновился шепот, когда пианист занял свое место за инструментом. Концерт начался.

Про сонату знали, что она скучная и вымученная, головная.

Она оправдала ожидания, да к тому же еще оказалась страшно растянутой.

Об этом в перерыве спорили критик Керимбеков с Александром Александровичем. Критик ругал сонату, а Александр Александрович защищал. Кругом курили и шумели, передвигая стулья с места на место.

Но опять взгляды упали на сиявшую в соседней комнате глаженую скатерть. Все предложили продолжать концерт без промедления.

Пианист покосился на публику и кивнул партнерам, чтобы начинали. Скрипач и Тышкевич взмахнули смычками. Трио зарыдало.

Юра, Тоня и Миша Гордон, который полжизни проводил теперь у Громеко, сидели в третьем ряду.

— Вам Егоровна знаки делает, — шепнул Юра Александру Александровичу, сидевшему прямо перед его стулом.

На пороге зала стояла Аграфена Егоровна, старая седая горничная семьи Громеко, и отчаянными взглядами в Юрину сторону и столь же решительными вымахами головы в сторону Александра Александровича давала Юре понять, что ей срочно надо хозяина.

Александр Александрович повернул голову, укоризненно взглянул на Егоровну и пожал плечами. Но Егоровна не унималась. Вскоре между ними из одного конца зала в другой завязалось объяснение, как между глухонемыми. В их сторону смотрели. Анна Ивановна метала на мужа уничтожающие взгляды.

Александр Александрович встал. Надо было что-нибудь предпринять. Он покраснел, тихо под углом обошел зал и подошел к Егоровне.

— Как вам не стыдно, Егоровна! Что это вам, право, приспичило? Ну, скорее, что случилось?

Егоровна что-то зашептала ему.

— Из какой Черногории?

— Номера.

— Ну так что же?

— Безотлагательно требовают. Какие-то ихние кончаются.

— Уж и кончаются. Воображаю. Нельзя, Егоровна. Вот доиграют кусочек, и скажу. А раньше нельзя.

— Номерной дожидается. И то же самое извозчик. Я вам говорю, помирает человек, понимаете? Господского звания дама.

— Нет и нет. Великое дело пять минут, подумаешь.

Александр Александрович тем же тихим шагом вдоль стены вернулся на свое место и сел, хмурясь и растирая переносицу.

После первой части он подошел к исполнителям и, пока гремели рукоплескания, сказал Фадею Казимировичу, что за ним приехали, какая-то неприятность и музыку придется прекратить.

Потом движением ладоней, обращенных к залу, Александр Александрович остановил аплодисменты и громко сказал:

— Господа. Трио придется приостановить. Выразим сочувствие Фадею Казимировичу. У него огорчение. Он вынужден нас покинуть. В такую минуту мне не хотелось бы оставлять его одного. Мое присутствие, может быть, будет ему необходимо. Я поеду с ним. Юрочка, выйди, голубчик, скажи, чтобы Семен подавал к подъезду, у него давно заложено. Господа, я

не прощаюсь. Всех прошу оставаться. Отсутствие мое будет кратковременно.

Мальчики запросились прокатиться с Александром Александровичем ночью по морозу.

21

Несмотря на нормальное течение восстановившейся жизни, после декабря все еще постреливали где-нибудь, и новые пожары, какие бывают постоянно, казались догорающими остатками прежних.

Никогда еще они не ехали так далеко и долго, как в эту ночь. Это было рукой подать — Смоленский, Новинский и половина Садовой. Но зверский мороз с туманом разобщал отдельные куски свихнувшегося пространства, точно оно было не одинаковое везде на свете. Косматый, рваный дым костров, скрип шагов и визг полозьев способствовали впечатлению, будто они едут уже Бог знает как давно и заехали в какую-то ужасающую даль.

Перед гостиницей стояла накрытая попоной лошадь с забинтованными бабками, впряженная в узкие щегольские сани. На месте для седоков сидел лихач, облапив замотанную голову руками в рукавицах, чтобы согреться.

В вестибюле было тепло, и за перилами, отделявшими вешалку от входа, дремал, громко всхрапывал и сам себя этим будил швейцар, усыпленный шумом вентилятора, гуденьем топящейся печки и свистом кипящего самовара.

Налево в вестибюле перед зеркалом стояла накрашенная дама с пухлым, мучнистым от пудры лицом. На ней был меховой жакет, слишком воздушный для такой погоды. Дама кого-то дожидалась сверху и, повернувшись спиной к зеркалу, оглядывала себя то через правое, то через левое плечо, хороша ли она сзади.

В дверь с улицы просунулся озябший лихач. Формою кафтана он напоминал какой-то крендель с вывески, а валивший от него клубами пар еще усиливал это сходство.

— Скоро ли они там, мамзель, — спросил он даму у зеркала.

— С вашим братом свяжешься, только лошадь студить.

Случай в двадцать четвертом был мелочью в обычном каждодневном озлоблении прислуги. Каждую минуту дребезжали звонки и вылетали номерки в длинном стеклянном ящике на стене, указуя, где и под каким номером сходят с ума и, сами не зная, чего хотят, не дают покоя коридорным.

Теперь эту старую дуру Гишарову отпаивали в двадцать четвертом,

давали ей рвотного и полоскали кишки и желудок.

Горничная Глаша сбилась с ног, подтирая там пол и вынося грязные и внося чистые ведра. Но нынешняя буря в официантской началась задолго до этой суматохи, когда еще ничего не было в помине и не посылали Терешку на извозчике за доктором и за этою несчастною пиликалкой, когда не приезжал еще Комаровский и в коридоре перед дверью не толклось столько лишнего народу, затрудняя движение.

Сегодняшний сыр-бор загорелся в людской оттого, что днем кто-то неловко повернулся в узком проходе из буфетной и нечаянно толкнул официанта Сысоя в тот самый момент, когда он, изогнувшись, брал разбег из двери в коридор с полным подносом на правой, поднятой кверху руке. Сысой грохнул поднос, пролил суп и разбил посуду, три глубоких тарелки и одну мелкую.

Сысой утверждал, что это судомойка, с нее и спрос, с нее и вычет. Теперь была ночь, одиннадцатый час, половине скоро расходиться с работы, а у них до сих пор еще шла по этому поводу перепалка.

— Руки-ноги дрожат, только и забот день и ночь обнявшись с косушкой, как с женой, нос себе налакал инда как селезень, а потом зачем толкали его, побили ему посуду, пролили уху! Да кто тебя толкал, косой чорт, нечистая сила? Кто толкал тебя, грыжа астраханская, бесстыжие глаза?

— Я вам сказывал, Матрена Степановна, — придерживайтесь выраженьев.

— Добро бы что-нибудь стоящее, ради чего шум и посуду бить, а то какая невидаль, мадам Продам, недотрога бульварная, от хороших делов мышьяку хватила, отставная невинность. В Черногорских номерах пожили, не видали шилохвосток и кобелей.

Миша и Юра похаживали по коридору перед дверью номера. Все ведь вышло не так, как предполагал Александр Александрович. Он представлял себе — виолончелист, трагедия, что-нибудь достойное и чистоплотное. А это чорт знает что. Грязь, скандальное что-то и абсолютно не для детей.

Мальчики топтались в коридоре.

— Вы войдите к тетеньке, молодые господа, — во второй раз неторопливым тихим голосом убеждал подошедший к мальчикам коридорный. — Вы войдите, не сумлевайтесь. Они ничего, будьте покойны. Они теперь в полной цельности. А тут нельзя стоять.

Тут нынче было несчастье, кокнули дорогую посуду. Видите — услужаем, бегаем, теснота. Вы войдите.

Мальчики послушались.

В номере горящую керосиновую лампу вынули из резервуара, в котором она висела над обеденным столом, и перенесли за дощатую перегородку, вонявшую клопами, на другую половину номера.

Там был спальный закоулок, отделенный от передней и посторонних взоров пыльной откидной портьерой. Теперь в переполохе её забывали опускать. Ее пола была закинута за верхний край перегородки. Лампа стояла в алькове на скамье.

Этот угол был резко озарен снизу словно светом театральной рампы.

Травились йодом, а не мышьяком, как ошибочно язвила судомойка.

В номере стоял терпкий, вяжущий запах молодого грецкого ореха в неотверделой зеленой кожуре, чернеющей от прикосновения.

За перегородкой девушка подтирала пол и, громко плача и свесив над тазом голову с прядями слипшихся волос, лежала на кровати мокрая от воды, слез и пота полуголая женщина.

Мальчики тотчас же отвели глаза в сторону, так стыдно и непорядочно было смотреть туда. Но Юру успело поразить, как в некоторых неудобных, вздыбленных позах, под влиянием напряжения и усилий, женщина перестает быть тем, чем её изображает скульптура, и становится похожа на обнаженного борца с шарообразными мускулами в коротких штанах для состязания.

Наконец-то за перегородкой догадались опустить занавеску.

— Фадей Казимирович, милый, где ваша рука? Дайте мне вашу руку, — давясь от слез и тошноты, говорила женщина. — Ах, я перенесла такой ужас! У меня были такие подозрения! Фадей Казимирович… Мне вообразилось… Но по счастью оказалось, что все это глупости, мое расстроенное воображение. Фадей Казимирович, подумайте, какое облегчение! И в результате… И вот… И вот я жива.

— Успокойтесь, Амалия Карловна, умоляю вас, успокойтесь.

Как это все неудобно получилось, честное слово, неудобно.

— Сейчас поедем домой, — буркнул Александр Александрович, обращаясь к детям.

Пропадая от неловкости, они стояли в темной прихожей, на пороге неотгороженной части номера и, так как им некуда было девать глаза, смотрели в его глубину, откуда унесена была лампа. Там стены были увешаны фотографиями, стояла этажерка с нотами, письменный стол был завален бумагами и альбомами, а по ту сторону обеденного стола, покрытого вязаной скатертью, спала сидя девушка в кресле, обвив руками его спинку и прижавшись к ней щекой. Наверное, она смертельно устала, если шум и движение кругом не мешали ей спать.

Их приезд был бессмыслицей, их дальнейшее присутствие здесь — неприличием.

— Сейчас поедем, — еще раз повторил Александр Александрович. — Вот только Фадей Казимирович выйдет. Я прощусь с ним.

Но вместо Фадея Казимировича из-за перегородки вышел кто-то другой. Это был плотный, бритый, осанистый и уверенный в себе человек. Над головою он нес лампу, вынутую из резервуара. Он прошел к столу, за которым спала девушка, и вставил лампу в резервуар. Свет разбудил девушку. Она улыбнулась вошедшему, прищурилась и потянулась.

При виде незнакомца Миша весь встрепенулся и так и впился в него глазами. Он дергал Юру за рукав, пытаясь что-то сказать ему.

— Как тебе не стыдно шептаться у чужих? Что о тебе подумают? — останавливал его Юра и не желал слушать.

Тем временем между девушкой и мужчиной происходила немая сцена. Они не сказали друг другу ни слова и только обменивались взглядами. Но взаимное понимание их было пугающе волшебно, словно он был кукольником, а она послушною движениям его руки марионеткой.

Улыбка усталости, появившаяся у нее на лице, заставляла девушку полузакрывать глаза и наполовину разжимать губы. Но на насмешливые взгляды мужчины она отвечала лукавым подмигиванием сообщницы. Оба были довольны, что все обошлось так благополучно, тайна не раскрыта и травившаяся осталась жива.

Юра пожирал обоих глазами. Из полутьмы, в которой никто не мог его видеть, он смотрел не отрываясь в освещенный лампою круг. Зрелище порабощения девушки было неисповедимо таинственно и беззастенчиво откровенно. Противоречивые чувства теснились в груди у него. У Юры сжималось сердце от их неиспытанной силы.

Это было то самое, о чем они так горячо год продолдонили с Мишей и Тоней под ничего не значащим именем пошлости, то пугающее и притягивающее, с чем они так легко справлялись на безопасном расстоянии на словах, и вот эта сила находилась перед Юриными глазами, досконально вещественная и смутная и снящаяся, безжалостно разрушительная и жалующаяся и зовущая на помощь, и куда девалась их детская философия и что теперь Юре делать?

— Знаешь, кто этот человек? — спросил Миша, когда они вышли на улицу. Юра был погружен в свои мысли и не отвечал.

— Это тот самый, который спаивал и погубил твоего отца. Помнишь, в вагоне, — я тебе рассказывал.

Юра думал о девушке и будущем, а не об отце и прошлом. В первый

момент он даже не понял, что говорит ему Миша. На морозе было трудно разговаривать.

— Замерз, Семен? — спросил Александр Александрович. Они поехали.

ЧАСТЬ третья.

ЕЛКА У СВЕНТИЦКИХ

1

Как-то зимой Александр Александрович подарил Анне Ивановне старинный гардероб. Он купил его по случаю. Гардероб черного дерева был огромных размеров. Целиком он не входил ни в какую дверь. Его привезли в разобранном виде, внесли по частям в дом и стали думать, куда бы его поставить. В нижние комнаты, где было просторнее, он не годился по несоответствию назначения, а наверху не помещался вследствие тесноты. Для гардероба освободили часть верхней площадки на внутренней лестнице у входа в спальню хозяев.

Собирать гардероб пришел дворник Маркел. Он привел с собой шестилетнюю дочь Маринку. Маринке дали палочку ячменного сахара. Маринка засопела носом и, облизывая леденец и заслюнявленные пальчики, насупленно смотрела на отцову работу.

Некоторое время все шло как по маслу. Шкап постепенно вырастал на глазах у Анны Ивановны. Вдруг, когда только осталось наложить верх, ей вздумалось помочь Маркелу. Она стала на высокое дно гардероба и, покачнувшись, толкнула боковую стенку, державшуюся только на пазовых шипах.

Распускной узел, которым Маркел стянул наскоро борта, разошелся. Вместе с досками, грохнувшимися на пол, упала на спину и Анна Ивановна и при этом больно расшиблась.

— Эх, матушка-барыня, — приговаривал кинувшийся к ней Маркел, — и чего ради это вас угораздило, сердешная. Кость-то цела? Вы пощупайте кость. Главное дело кость, а мякиш наплевать, мякиш дело наживное и, как говорится, только для дамского блезиру. Да не реви ты, ирод, — напускался он на плакавшую Маринку. — Утри сопли да ступай к мамке. Эх, матушка-барыня, нужли б я без вас этой платейной антимонии не обосновал? Вот вы верно думаете, будто на первый взгляд я действительно дворник, а ежели правильно рассудить, то природная наша стать столярная, столярничали мы. Вы не поверите, что этой мебели, этих шкапов-буфетов, через наши руки прошло в смысле лака или, наоборот, какое дерево красное, какое орех. Или, например, какие, бывало, партии в смысле богатых невест так, извините за выражение, мимо носа и плывут, так и

плывут. А всему причина — питейная статья, крепкие напитки.

Анна Ивановна с помощью Маркела добралась до кресла, которое он ей подкатил, и села, кряхтя и растирая ушибленное место. Маркел принялся за восстановление разрушенного. Когда крышка была наложена, он сказал:

— Ну, теперь только дверцы, и хоть на выставку.

Анна Ивановна не любила гардероба. Видом и размерами он походил на катафалк или царскую усыпальницу. Он внушал ей суеверный ужас. Она дала гардеробу прозвище «Аскольдовой могилы». Под этим названием Анна Ивановна разумела Олегова коня, вещь, приносящую смерть своему хозяину. Как женщина беспорядочно начитанная, Анна Ивановна путала смежные понятия.

С этого падения началось предрасположение Анны Ивановны к легочным заболеваниям.

2

Весь ноябрь одиннадцатого года Анна Ивановна пролежала в постели. У нее было воспаление легких.

Юра, Миша Гордон и Тоня весной следующего года должны были окончить университет и Высшие женские курсы. Юра кончал медиком, Тоня — юристкой, а Миша — филологом по философскому отделению.

В Юриной душе все было сдвинуто и перепутано, и все резко самобытно — взгляды, навыки и предрасположения. Он был беспримерно впечатлителен, новизна его восприятий не поддавалась описанию.

Но как ни велика была его тяга к искусству и истории, Юра не затруднялся выбором поприща. Он считал, что искусство не годится в призвание в том же самом смысле, как не может быть профессией прирожденная веселость или склонность к меланхолии.

Он интересовался физикой, естествознанием и находил, что в практической жизни надо заниматься чем-нибудь общеполезным.

Вот он и пошел по медицине.

Будучи четыре года тому назад на первом курсе, он целый семестр занимался в университетском подземелье анатомией на трупах. Он по загибающейся лестнице спускался в подвал. В глубине анатомического театра группами и порознь толпились взлохмаченные студенты. Одни зубрили, обложившись костями и перелистывая трепаные, истлевшие учебники, другие молча анатомировали по углам, третьи балагурили, отпускали шутки и гонялись за крысами, в большом количестве бегавшими по каменному полу мертвецкой. В её полутьме светились, как фосфор,

бросающиеся в глаза голизною трупы неизвестных, молодые самоубийцы с неустановленной личностью, хорошо сохранившиеся и еще не тронувшиеся утопленницы. Впрыснутые в них соли глинозема молодили их, придавая им обманчивую округлость. Мертвецов вскрывали, разнимали и препарировали, и красота человеческого тела оставалась верной себе при любом, сколь угодно мелком делении, так что удивление перед какой-нибудь целиком грубо брошенной на оцинкованный стол русалкою не проходило, когда переносилось с нее к её отнятой руке или отсеченной кисти. В подвале пахло формалином и карболкой, и присутствие тайны чувствовалось во всем, начиная с неизвестной судьбы всех этих простертых тел и кончая самой тайной жизни и смерти, располагавшейся здесь в подвале как у себя дома или как на своей штаб-квартире.

Голос этой тайны, заглушая все остальное, преследовал Юру, мешая ему при анатомировании. Но точно так же мешало ему многое в жизни. Он к этому привык, и отвлекающая помеха не беспокоила его.

Юра хорошо думал и очень хорошо писал. Он еще с гимназических лет мечтал о прозе, о книге жизнеописаний, куда бы он в виде скрытых взрывчатых гнезд мог вставлять самое ошеломляющее из того, что он успел увидать и передумать. Но для такой книги он был еще слишком молод, и вот он отделывался вместо нее писанием стихов, как писал бы живописец всю жизнь этюды к большой задуманной картине.

Этим стихам Юра прощал грех их возникновения за их энергию и оригинальность. Эти два качества, энергии и оригинальности, Юра считал представителями реальности в искусствах, во всем остальном беспредметных, праздных и ненужных.

Юра понимал, насколько он обязан дяде общими свойствами своего характера.

Николай Николаевич жил в Лозанне. В книгах, выпущенных им там по-русски и в переводах, он развивал свою давнишнюю мысль об истории как о второй вселенной, воздвигаемой человечеством в ответ на явление смерти с помощью явлений времени и памяти.

Душою этих книг было по-новому понятое христианство, их прямым следствием — новая идея искусства.

Еще больше, чем на Юру, действовал круг этих мыслей на его приятеля. Под их влиянием Миша Гордон избрал своей специальностью философию. На своем факультете он слушал лекции по богословию и даже подумывал о переходе впоследствии в духовную академию.

Юру дядино влияние двигало вперед и освобождало, а Мишу — сковывало. Юра понимал, какую роль в крайностях Мишиных увлечений

играет его происхождение. Из бережной тактичности он не отговаривал Мишу от его странных планов. Но часто ему хотелось видеть Мишу эмпириком, более близким к жизни.

3

Как-то вечером в конце ноября Юра вернулся из университета поздно, очень усталый и целый день не евши. Ему сказали, что днем была страшная тревога, у Анны Ивановны сделались судороги, съехалось несколько врачей, советовали послать за священником, но потом эту мысль оставили. Теперь ей лучше, она в сознании и велела, как только придет Юра, безотлагательно прислать его к ней.

Юра послушался и, не переодеваясь, прошел в спальню.

Комната носила следы недавнего переполоха. Сиделка бесшумными движениями перекладывала что-то на тумбочке. Кругом валялись скомканные салфетки и сырые полотенца из-под компрессов. Вода в полоскательнице была слегка розовата от сплюнутой крови. В ней валялись осколки стеклянных ампул с отломанными горлышками и взбухшие от воды клочки ваты.

Больная плавала в поту и кончиком языка облизывала сухие губы. Она резко осунулась с утра, когда Юра видел её в последний раз.

— Не ошибка ли в диагнозе? — подумал он. — Все признаки крупозного. Кажется, это кризис. Поздоровавшись с Анною Ивановной и сказав что-то ободряюще пустое, что говорится всегда в таких случаях, он выслал сиделку из комнаты. Взяв Анну Ивановну за руку, чтобы сосчитать пульс, он другой рукой полез в тужурку за стетоскопом. Движением головы Анна Ивановна показала, что это лишнее. Юра понял, что ей нужно от него что-то другое. Собравшись с силами, Анна Ивановна заговорила:

— Вот, исповедывать хотели… Смерть нависла… Может каждую минуту… Зуб идешь рвать, боишься, больно, готовишься… А тут не зуб, всю, всю тебя, всю жизнь… хруп, и вон, как щипцами… А что это такое?.. Никто не знает… И мне тоскливо и страшно.

Анна Ивановна замолчала. Слезы градом катились у нее по щекам. Юра ничего не говорил. Через минуту Анна Ивановна продолжала:

— Ты талантливый… А талант, это… не как у всех… Ты должен что-то знать… Скажи мне что-нибудь… Успокой меня.

— Ну что же мне сказать, — ответил Юра, беспокойно заерзал по стулу, встал, прошелся и снова сел. — Во-первых, завтра вам станет лучше — есть признаки, даю вам голову на отсечение. А затем — смерть,

сознание, вера в воскресение…

Вы хотите знать мое мнение естественника? Может быть, как-нибудь в другой раз? Нет? Немедленно? Ну как знаете.

Только это ведь трудно так, сразу.

И он прочел ей экспромтом целую лекцию, сам удивляясь, как это у него вышло.

— Воскресение. В той грубейшей форме, как это утверждается для утешения слабейших, это мне чуждо. И слова Христа о живых и мертвых я понимал всегда по-другому. Где вы разместите эти полчища, набранные по всем тысячелетиям? Для них не хватит вселенной, и Богу, добру и смыслу придется убраться из мира.

Их задавят в этой жадной животной толчее.

Но все время одна и та же необъятно тождественная жизнь наполняет вселенную и ежечасно обновляется в неисчислимых сочетаниях и превращениях. Вот вы опасаетесь, воскреснете ли вы, а вы уже воскресли, когда родились, и этого не заметили.

Будет ли вам больно, ощущает ли ткань свой распад? То есть, другими словами, что будет с вашим сознанием? Но что такое сознание? Рассмотрим. Сознательно желать уснуть — верная бессонница, сознательная попытка вчувствоваться в работу собственного пищеварения — верное расстройство его иннервации. Сознание яд, средство самоотравления для субъекта, применяющего его на самом себе. Сознание — свет, бьющий наружу, сознание освещает перед нами дорогу, чтоб не споткнуться. Сознание это зажженные фары впереди идущего паровоза. Обратите их светом внутрь и случится катастрофа.

Итак, что будет с вашим сознанием? Вашим. Вашим. А что вы такое? В этом вся загвоздка. Разберемся. Чем вы себя помните, какую часть сознавали из своего состава? Свои почки, печень, сосуды? Нет, сколько ни припомните, вы всегда заставали себя в наружном, деятельном проявлении, в делах ваших рук, в семье, в других. А теперь повнимательнее. Человек в других людях и есть душа человека. Вот что вы есть, вот чем дышало, питалось, упивалось всю жизнь ваше сознание. Вашей душою, вашим бессмертием, вашей жизнью в других. И что же? В других вы были, в других и останетесь. И какая вам разница, что потом это будет называться памятью. Это будете вы, вошедшая в состав будущего.

Наконец, последнее. Не о чем беспокоиться. Смерти нет.

Смерть не по нашей части. А вот вы сказали талант, это другое дело, это наше, это открыто нам. А талант — в высшем широчайшем понятии есть дар жизни.

Смерти не будет, говорит Иоанн Богослов, и вы послушайте простоту его аргументации. Смерти не будет, потому что прежнее прошло. Это почти как: смерти не будет, потому что это уже видали, это старо и надоело, а теперь требуется новое, а новое есть жизнь вечная.

Он расхаживал по комнате, говоря это. «Усните», — сказал он, подойдя к кровати и положив руки на голову Анны Ивановны.

Прошло несколько минут. Анна Ивановна стала засыпать.

Юра тихо вышел из комнаты и сказал Егоровне, чтобы она послала в спальню сиделку. — Чорт знает что, — думал он, — я становлюсь каким-то шарлатаном. Заговариваю, лечу наложением рук. На другой день Анне Ивановне стало лучше.

4

Анне Ивановне становилось все легче и легче. В середине декабря она попробовала встать, но была еще очень слаба. Ей советовали хорошенько вылежаться.

Она часто посылала за Юрой и Тонею и часами рассказывала им о своем детстве, проведенном в дедушкином имении Варыкине, на уральской реке Рыньве. Юра и Тоня никогда там не бывали, но Юра легко со слов Анны Ивановны представлял себе эти пять тысяч десятин векового, непроходимого леса, черного как ночь, в который в двух-трех местах вонзается, как бы пырнув его ножом своих изгибов, быстрая река с каменистым дном и высокими кручами по Крюгеровскому берегу.

Юре и Тоне в эти дни шили первые в их жизни выходные платья, Юре — черную сюртучную пару, а Тоне — вечерний туалет из светлого атласа с чуть-чуть открытой шеей. Они собирались обновить эти наряды двадцать седьмого, на традиционной ежегодной елке у Свентицких.

Заказ из мужской мастерской и от портнихи принесли в один день. Юра и Тоня примерили, остались довольны и не успели снять обнов, как пришла Егоровна от Анны Ивановны и сказала, что она зовет их. Как были в новых платьях, Юра и Тоня прошли к Анне Ивановне.

При их появлении она поднялась на локте, посмотрела на них сбоку, велела повернуться и сказала:

— Очень хорошо. Просто восхитительно. Я совсем не знала, что уже готово. А ну-ка, Тоня, еще раз. Нет, ничего. Мне показалось, что мысок немного морщит. Знаете, зачем я вас звала? Но сначала несколько слов о тебе, Юра.

— Я знаю, Анна Ивановна. Я сам велел показать вам это письмо. Вы,

как Николай Николаевич, считаете, что мне не надо было отказываться. Минуту терпения. Вам вредно разговаривать.

Сейчас я вам все объясню. Хоть ведь и вам все это хорошо известно.

Итак, во-первых. Есть дело о Живаговском наследстве для прокормления адвокатов и взимания судебных издержек, но никакого наследства в действительности не существует, одни долги и путаница, да еще грязь, которая при этом всплывает.

Если бы что-нибудь можно было обратить в деньги, неужто же я подарил бы их суду и ими не воспользовался? Но в том-то и дело, что тяжба — дутая, и чем во всем этом копаться, лучше было отступиться от своих прав на несуществующее имущество и уступить его нескольким подставным соперникам и завистливым самозванцам. О посягательствах некоей Madame Alice, проживающей с детьми под фамилией Живаго в Париже, я слышал давно. Но прибавились новые притязания, и не знаю, как вы, но мне все это открыли совсем недавно.

Оказывается, еще при жизни мамы отец увлекался одной мечтательницей и сумасбродкой, княгиней Столбуновой-Энрици. У этой особы от отца есть мальчик, ему теперь десять лет, его зовут Евграф.

Княгиня — затворница. Она безвыездно живет с сыном в своем особняке на окраине Омска на неизвестные средства. Мне показывали фотографию особняка. Красивый пятиоконный дом с цельными окнами и лепными медальонами по карнизу. И вот все последнее время у меня такое чувство, будто своими пятью окнами этот дом недобрым взглядом смотрит на меня через тысячи верст, отделяющие Европейскую Россию от Сибири, и рано или поздно меня сглазит. Так на что мне это все: выдуманные капиталы, искусственно созданные соперники, их недоброжелательство и зависть? И адвокаты.

— И все-таки не надо было отказываться, — возразила Анна Ивановна. — Знаете, зачем я вас звала, — снова повторила она и тут же продолжала:

— Я вспомнила его имя. Помните, я вчера про лесника рассказывала? Его звали Вакх. Не правда ли, бесподобно? Черное лесное страшилище, до бровей заросшее бородой, и — Вакх! Он был с изуродованным лицом, его медведь драл, но он отбился. И там все такие. С такими именами. Односложными. Чтобы было звучно и выпукло. Вакх. Или Лупп. Или, предположим, Фавст. Слушайте, слушайте. Бывало, доложат что-нибудь такое. Авкт или там Фрол какой-нибудь, как залп из обоих дедушкиных охотничьих стволов, и мы гурьбой моментально шмыг из детской на кухню. А там, можете себе представить, лесовик-угольщик с живым

медвежонком или обходчик с дальнего кордона с пробой ископаемого. И дедушка всем по записочке. В контору. Кому денег, кому крупы, кому оружейных припасов. И лес перед окнами. А снегу, снегу! Выше дома! — Анна Ивановна закашлялась.

— Перестань, мама, тебе вредно так, — предостерегла Тоня.

Юра поддержал ее.

— Ничего. Ерунда. Да, кстати. Егоровна насплетничала, будто бы вы сомневаетесь, ехать ли вам послезавтра на елку.

Чтобы я больше этих глупостей не слышала! Как вам не стыдно. И какой ты, Юра, после этого врач? Итак, решено. Вы едете без разговоров. Но вернемся к Вакху. Этот Вакх был в молодости кузнецом. Ему в драке отбили внутренности. Он сделал себе другие, из железа. Какой ты чудак, Юра. Неужели я не понимаю? Понятно, не буквально. Но так народ говорил.

Анна Ивановна снова закашлялась, на этот раз гораздо дольше. Приступ не проходил. Она все не могла продышаться.

Юра и Тоня подбежали к ней в одну и ту же минуту. Они стали плечом к плечу у её постели. Продолжая кашлять, Анна Ивановна схватила их соприкоснувшиеся руки в свои и некоторое время продержала соединенными. Потом, овладев голосом и дыханием, сказала:

— Если я умру, не расставайтесь. Вы созданы друг для друга. Поженитесь. Вот я и сговорила вас, — прибавила она и заплакала.

5

Уже весной тысяча девятьсот шестого года, перед переходом в последний класс гимназии, шесть месяцев её связи с Комаровским превысили меру Лариного терпения. Он очень ловко пользовался её подавленностью, и когда ему бывало нужно, не показывая этого, тонко и незаметно напоминал ей о её поругании. Эти напоминания приводили Лару в то именно смятение, которое требуется сластолюбцу от женщины. Смятение это отдавало Лару во все больший плен чувственного кошмара, от которого у нее вставали волосы дыбом при отрезвлении. Противоречия ночного помешательства были необъяснимы, как чернокнижие. Тут все было шиворот-навыворот и противно логике, острая боль заявляла о себе раскатами серебряного смешка, борьба и отказ означали согласие, и руку мучителя покрывали поцелуями благодарности.

Казалось, этому не будет конца, но весной, на одном из последних уроков учебного года, задумавшись о том, как участятся эти приставания

летом, когда не будет занятий в гимназии, последнего Лариного прибежища против частых встреч с Комаровским, Лара быстро пришла к решению, надолго изменившему её жизнь.

Было жаркое утро, собиралась гроза. В классе занимались при открытых окнах. Вдалеке гудел город, все время на одной ноте, как пчелы на пчельнике. Со двора доносился крик играющих детей. От травянистого запаха земли и молодой зелени болела голова, как на масленице от водки и блинного угара.

Учитель истории рассказывал о Египетской экспедиции Наполеона. Когда он дошел до высадки во Фрежюсе, небо почернело, треснуло и раскололось молнией и громом, и в класс через окна вместе с запахом свежести ворвались столбы песку и пыли. Две школьные подлизы услужливо кинулись в коридор звать дядьку закрывать окна, и когда они отворили дверь, сквозняк поднял и понес со всех парт по классу промокашки из тетрадей.

Окна закрыли. Хлынул грязный городской ливень, перемешанный с пылью. Лара вырвала листок из записной тетради и написала соседке по парте, Наде Кологривовой:

«Надя, мне нужно устроить жизнь отдельно от мамы. Помоги мне найти несколько уроков повыгоднее. У вас много знакомств среди богатых».

Надя ответила тем же способом:

«Липе ищут воспитательницу. Поступи к нам. Вот было бы здорово! Ты ведь знаешь, как тебя любят папа и мама».

6

Больше трех лет Лара прожила у Кологривовых как за каменной стеной. Ниоткуда на нее не покушались, и даже мать и брат, к которым она чувствовала большое отчуждение, не напоминали ей о себе.

Лаврентий Михайлович Кологривов был крупный предприниматель-практик новейшей складки, талантливый и умный. Он ненавидел отживающий строй двойной ненавистью: баснословного, способного откупить государственную казну богача и сказочно далеко шагнувшего выходца из простого народа. Он прятал у себя нелегальных, нанимал обвиняемым на политических процессах защитников и, как уверяли в шутку, субсидируя революцию, сам свергал себя как собственника и устраивал забастовки на своей собственной фабрике. Лаврентий Михайлович был меткий стрелок и страстный охотник и зимой в девятьсот

пятом году ездил по воскресеньям в Серебряный бор и на Лосиный остров обучать стрельбе дружинников.

Это был замечательный человек. Серафима Филипповна, его жена, была ему достойной парой. Лара питала к обоим восхищенное уважение. Все в доме любили её как родную.

На четвертый год Лариной беззаботности к ней пришел по делу братец Родя. Фатовато покачиваясь на длинных ногах и для пущей важности произнося слова в нос и неестественно растягивая их, он рассказал ей, что юнкера его выпуска собрали деньги на прощальный подарок начальнику училища, дали их Роде и поручили ему приискать и приобрести подарок. И вот эти деньги третьего дня он проиграл до копейки. Сказав это, Родя плюхнулся всей долговязой своей фигурой в кресло и заплакал.

Лара похолодела, когда это услышала. Всхлипывая, Родя продолжал:

— Вчера я был у Виктора Ипполитовича. Он отказался говорить со мной на эту тему, но сказал, что если бы ты пожелала… Он говорит, что, хотя ты разлюбила всех нас, твоя власть над ним еще так велика… Ларочка… Достаточно одного слова… Понимаешь ли ты, какой это позор и как это затрагивает честь юнкерского мундира?.. Сходи к нему, чего тебе стоит, попроси его… Ведь ты не допустишь, чтобы я смыл эту растрату своей кровью.

— Смыл кровью… Честь юнкерского мундира, — с возмущением повторяла Лара, взволнованно расхаживая по комнате. — А я не мундир, у меня чести нет, и со мной можно делать что угодно. Понимаешь ли ты, о чем просишь, вник ли в то, что он предлагает тебе? Год за годом, сизифовыми трудами строй, возводи, недосыпай, а этот пришел, и ему все равно, что он дунет, плюнет и все разлетится вдребезги! Да ну тебя к чорту. Стреляйся, пожалуйста. Какое мне дело? Сколько тебе надо?

— Шестьсот девяносто с чем-то рублей, скажем для ровного счета семьсот, — немного замявшись, сказал Родя.

— Родя! Нет, ты с ума сошел! Соображаешь ли ты, что говоришь? Ты проиграл семьсот рублей? Родя! Родя! Знаешь ли ты, в какой срок обыкновенный человек, вроде меня, может честным трудом выколотить такую сумму?

После некоторой паузы она прибавила, холодно и отчужденно:

— Хорошо. Я попробую. Приходи завтра. И принеси с собой револьвер, из которого ты хотел застрелиться. Ты передашь его мне в мою собственность. С хорошим запасом патронов, помни.

Эти деньги она достала у Кологривова.

7

Служба у Кологривовых не помешала Ларе окончить гимназию, поступить на курсы, успешно пройти их и приблизиться к их окончанию, которое ей предстояло в будущем тысяча девятьсот двенадцатом году.

Весной одиннадцатого кончила гимназию её питомица Липочка.

У нее уже был жених, молодой инженер Фризенданк, из хорошей и состоятельной семьи. Родители одобряли Липочкин выбор, но были против того, чтобы она вступала в брак так рано, и советовали ей подождать. На этой почве происходили драмы. Избалованная и взбалмошная Липочка, любимица семьи, кричала на отца и мать, плакала и топала ногами.

В богатом доме, где Лару считали родною, не помнили долга, сделанного ею для Роди, и о нем не напоминали.

Этот долг Лара давным-давно вернула бы, если бы у нее не было постоянных расходов, назначение которых она скрывала.

Она тайно от Паши посылала деньги его отцу, ссыльнопоселенцу Антипову, и помогала его часто хворавшей сварливой матери. Кроме того она под еще большим секретом сокращала расходы самого Паши, без его ведома приплачивая его квартирным хозяевам за его стол и комнату.

Паша, бывший немного моложе Лары, любил её до безумия и во всем слушался. По её настояниям он по окончании реального засел за дополнительные латынь и греческий, чтобы попасть в университет филологом. Лара мечтала через год, когда они сдадут государственные, обвенчаться с Пашею и уехать, он — учителем мужской, а она — учительницей женской гимназии на службу в какой-нибудь из губернских городов Урала.

Паша жил в комнате, которую Лара сама приискала и сняла ему у тихих квартирохозяев в новоотстроенном доме по Камергерскому, близ Художественного театра.

Летом одиннадцатого года Лара в последний раз побывала с Кологривовыми в Дуплянке. Она любила это место до самозабвения, больше самих хозяев. Это хорошо знали, и относительно Лары существовал на случай этих летних поездок такой неписаный уговор. Когда привозивший их жаркий и черномазый поезд уходил дальше, и среди воцарившейся безбрежно-обалделой и душистой тишины взволнованная Лара лишалась дара речи, её отпускали одну пешком в имение, пока с полустанка таскали и клали на телегу багаж, а дуплянский кучер в безрукавом ямском казакине с выпущенными в проймы рукавами красной рубахи рассказывал господам, садившимся в коляску, местные новости

истекшего сезона.

Лара шла вдоль полотна по тропинке, протоптанной странниками и богомольцами, и сворачивала на луговую стежку, ведшую к лесу. Тут она останавливалась и, зажмурив глаза, втягивала в себя путано-пахучий воздух окрестной шири. Он был роднее отца и матери, лучше возлюбленного и умнее книги. На одно мгновение смысл существования опять открывался Ларе. Она тут, — постигала она, — для того, чтобы разобраться в сумасшедшей прелести земли и все назвать по имени, а если это будет ей не по силам, то из любви к жизни родить преемников, которые это сделают вместо нее.

В это лето Лара приехала переутомленною от черезмерных трудов, которые она на себя взвалила. Она легко расстраивалась. В ней развилась мнительность, ранее ей не свойственная. Эта черта мельчила Ларин характер, который всегда отличала широта и отсутствие щепетильности.

Кологривовы не отпускали ее. Она была окружена у них прежнею лаской. Но с тех пор как Липа стала на ноги, Лара считала себя в этом доме лишнею. Она отказывалась от жалованья. Ей его навязывали. Вместе с тем деньги требовались ей, а заниматься на звании гостьи самостоятельным заработком было неловко и практически неисполнимо.

Лара считала свое положение ложным и невыносимым. Ей казалось, что все тяготятся ею и только не показывают. Она сама была в тягость себе. Ей хотелось бежать куда глаза глядят от себя самой и Кологривовых, но по понятиям Лары до этого надо было вернуть Кологривовым деньги, а взять их в данное время ей было неоткуда. Она чувствовала себя заложницей по вине этой глупой Родькиной растраты и не находила себе места от бессильного возмущения.

Во всем ей чудились признаки небрежности. Оказывали ли ей повышенное внимание наезжавшие к Кологривовым знакомые, это значило, что к ней относятся как к безответной «воспитаннице» и легкой добыче. А когда её оставляли в покое, это доказывало, что её считают пустым местом и не замечают.

Приступы ипохондрии не мешали Ларе разделять увеселения многочисленного общества, гостившего в Дуплянке. Она купалась и плавала, каталась на лодке, участвовала в ночных пикниках за реку, пускала вместе со всеми фейерверки и танцевала. Она играла в любительских спектаклях и с особенным увлечением состязалась в стрельбе в цель из коротких маузерных ружей, которым, однако, предпочитала легкий Родин револьвер. Она пристрелялась из него до большой меткости и в шутку жалела, что она женщина и ей закрыт путь

дуэлянта-бретера. Но чем больше веселилась Лара, тем ей становилось хуже. Она сама не знала, чего хочет.

Особенно это усилилось по возвращении в город. Тут к Лариным неприятностям примешались легкие размолвки с Пашею (серьезно ссориться с ним Лара остерегалась, потому что считала его своею последнею защитой). У Паши за последнее время появилась некоторая самоуверенность. Наставительные нотки в его разговоре смешили и огорчали Лару.

Паша, Липа, Кологривовы, деньги — все это завертелось в голове у ней. Жизнь опротивела Ларе. Она стала сходить с ума.

Ее тянуло бросить все знакомое и испытанное и начать что-то новое. В этом настроении она на Рождестве девятьсот одиннадцатого года пришла к роковому решению. Она решила немедленно расстаться с Кологривовыми и построить свою жизнь как-нибудь одиноко и независимо, а деньги, нужные для этого, попросить у Комаровского. Ларе казалось, что после всего случившегося и последовавших за этим лет её отвоеванной свободы он должен помочь ей по-рыцарски, не вступая ни в какие объяснения, бескорыстно и без всякой грязи.

С этой целью она двадцать седьмого декабря вечером отправилась в Петровские линии и, уходя, положила в муфту заряженный Родин револьвер на спущенном предохранителе с намерением стрелять в Виктора Ипполитовича, если он ей откажет, превратно поймет или как-нибудь унизит.

Она шла в страшном смятении по праздничным улицам и ничего кругом не замечала. Задуманный выстрел уже грянул в её душе, в совершенном безразличии к тому, в кого он был направлен. Этот выстрел был единственное, что она сознавала. Она его слышала всю дорогу, и это был выстрел в Комаровского, в себя самое, в свою собственную судьбу и в дуплянский дуб на лужайке с вырезанной в его стволе стрелковою мишенью.

8

— Не трогайте муфты, — сказала она охавшей и ахавшей Эмме Эрнестовне, когда та протянула к Ларе руки, чтобы помочь ей раздеться.

Виктора Ипполитовича не оказалось дома. Эмма Эрнестовна продолжала уговаривать Лару войти и снять шубку.

— Я не могу. Я тороплюсь. Где он?

Эмма Эрнестована сказала, что он в гостях на елке. С адресом в руках

Лара сбежала по мрачной, живо ей все напомнившей лестнице с цветными гербами на окнах и направилась в Мучной городок к Свентицким.

Только теперь, во второй раз выйдя на улицу, Лара толком осмотрелась по сторонам. Была зима. Был город. Был вечер.

Была ледяная стужа. Улицы покрывал черный лед, толстый, как стеклянные донышки битых пивных бутылок. Было больно дышать.

Воздух забит был серым инеем, и казалось, что он щекочет и покалывает своею косматою щетиной точно так же, как шерстил и лез Ларе в рот седой мех её обледенелой горжетки. С колотящимся сердцем Лара шла по пустым улицам. По дороге дымились двери чайных и харчевен. Из тумана выныривали обмороженные лица прохожих, красные, как колбаса, и бородатые морды лошадей и собак в ледяных сосульках. Покрытые толстым слоем льда и снега окна домов точно были замазаны мелом, и по их непрозрачной поверхности двигались цветные отсветы зажженных елок и тени веселящихся, словно людям на улице показывали из домов туманные картины на белых, развешанных перед волшебным фонарем простынях.

В Камергерском Лара остановилась. — Я больше не могу, я не выдержу, — почти вслух вырвалось у ней. — Я подымусь и все расскажу ему, — овладев собою, подумала она, отворяя тяжелую дверь представительного подъезда.

9

Красный от натуги Паша, подперев щеку языком, бился перед зеркалом, надевая воротник и стараясь проткнуть подгибающуюся запонку в закрахмаленные петли манишки. Он собирался в гости и был еще так чист и неискушен, что растерялся, когда Лара, войдя без стука, застала его с таким небольшим недочетом в костюме. Он сразу заметил её волнение. У нее подкашивались ноги. Она вошла, шагами расталкивая свое платье, словно переходя его вброд.

— Что с тобой? Что случилось? — спросил он в тревоге, подбежав к ней навстречу.

— Сядь рядом. Садись такой, как ты есть. Не принаряжайся.

Я тороплюсь. Мне надо будет сейчас уйти. Не трогай муфты.

Погоди. Отвернись на минуту.

Он послушался. На Ларе был английский костюм. Она сняла жакет, повесила его на гвоздь и переложила Родин револьвер из муфты в карман жакета. Потом, вернувшись на диван, сказала:

— Теперь можешь смотреть. Зажги свечу и потуши электричество.

Лара любила разговаривать в полумраке при зажженных свечах.

Паша всегда держал для нее про запас их нераспечатанную пачку.

Он сменил огарок в подсвечнике на новую целую свечу, поставил на подоконник и зажег ее. Пламя захлебнулось стеарином, постреляло во все стороны трескучими звездочками и заострилось стрелкой. Комната наполнилась мягким светом. Во льду оконного стекла на уровне свечи стал протаивать черный глазок.

— Слушай, Патуля, — сказала Лара. — У меня затруднения.

Надо помочь мне выбраться из них. Не пугайся и не расспрашивай меня, но расстанься с мыслью, что мы, как все. Не оставайся спокойным. Я всегда в опасности. Если ты меня любишь и хочешь удержать меня от гибели, не надо откладывать, давай обвенчаемся скорее.

— Но это мое постоянное желание, — перебил он ее. — Скорее назначай день, я рад в любой, какой ты захочешь. Но скажи мне проще и яснее, что с тобой, не мучай меня загадками.

Но Лара отвлекла его в сторону, незаметно уклонившись от прямого ответа. Они еще долго разговаривали на темы, не имевшие никакого отношения к предмету Лариной печали.

10

Этой зимою Юра писал свое ученое сочинение о нервных элементах сетчатки на соискание университетской золотой медали. Хотя Юра кончил по общей терапии, глаз он знал с доскональностью будущего окулиста.

В этом интересе к физиологии зрения сказались другие стороны Юриной природы — его творческие задатки и его размышления о существе художественного образа и строении логической идеи.

Тоня и Юра ехали в извозчичьих санках на елку к Свентицким.

Оба прожили шесть лет бок о бок начало отрочества и конец детства. Они знали друг друга до мельчайших подробностей. У них были общие привычки, своя манера перекидываться короткими остротами, своя манера отрывисто фыркать в ответ. Так и ехали они сейчас, отмалчиваясь, сжав губы на холоде и обмениваясь короткими замечаниями. И думали каждый о своем.

Юра вспоминал, что приближаются сроки конкурса и надо торопиться с сочинением, и в праздничной суматохе кончающегося года, чувствовавшейся на улицах, перескакивал с этих мыслей на другие.

На гордоновском факультете издавали студенческий

гектографированный журнал, Гордон был его редактором. Юра давно обещал им статью о Блоке. Блоком бредила вся молодежь обеих столиц, и они с Мишею больше других.

Но и эти мысли ненадолго задерживались в Юрином сознании.

Они ехали, уткнув подбородки в воротники и растирая отмороженные уши, и думали о разном. Но в одном их мысли сходились.

Недавняя сцена у Анны Ивановны обоих переродила. Они словно прозрели и взглянули друг на друга новыми глазами.

Тоня, этот старинный товарищ, эта понятная, не требующая объяснений очевидность, оказалась самым недосягаемым и сложным из всего, что мог себе представить Юра, оказалась женщиной.

При некотором усилии фантазии Юра мог вообразить себя взошедшим на Арарат героем, пророком, победителем, всем чем угодно, но только не женщиной.

И вот эту труднейшую и все превосходящую задачу взяла на свои худенькие и слабые плечи Тоня (она с этих пор вдруг стала казаться Юре худой и слабой, хотя была вполне здоровой девушкой). И он преисполнился к ней тем горячим сочувствием и робким изумлением, которое есть начало страсти.

То же самое, с соответствующими изменениями, произошло по отношению к Юре с Тоней.

Юра думал, что напрасно все-таки они уехали из дому. Как бы чего-нибудь не случилось в их отсутствие. И он вспомнил.

Узнав, что Анне Ивановне хуже, они, уже одетые к выезду, прошли к ней и предложили, что останутся. Она с прежней резкостью восстала против этого и потребовала, чтобы они ехали на елку. Юра и Тоня зашли за гардину в глубокую оконную нишу посмотреть, какая погода. Когда они вышли из ниши, оба полотнища тюлевой занавеси пристали к необношенной материи их новых платьев. Легкая льнущая ткань несколько шагов проволоклась за Тонею, как подвенечная фата за невестой. Все рассмеялись, так одновременно без слов всем в спальне бросилось в глаза это сходство.

Юра смотрел по сторонам и видел то же самое, что незадолго до него попадалось на глаза Ларе. Их сани поднимали неестественно громкий шум, пробуждавший неестественно долгий отзвук под обледенелыми деревьями в садах и на бульварах.

Светящиеся изнутри и заиндевелые окна домов походили на драгоценные ларцы из дымчатого слоистого топаза. Внутри них теплилась святочная жизнь Москвы, горели елки, толпились гости и играли в прятки

и колечко дурачащиеся ряженые.

Вдруг Юра подумал, что Блок это явление Рождества во всех областях русской жизни, в северном городском быту и в новейшей литературе, под звездным небом современной улицы и вокруг зажженной елки в гостиной нынешнего века. Он подумал, что никакой статьи о Блоке не надо, а просто надо написать русское поклонение волхвов, как у голландцев, с морозом, волками и темным еловым лесом.

Они проезжали по Камергерскому. Юра обратил внимание на черную протаявшую скважину в ледяном нарасте одного из окон.

Сквозь эту скважину просвечивал огонь свечи, проникавший на улицу почти с сознательностью взгляда, точно пламя подсматривало за едущими и кого-то поджидало.

«Свеча горела на столе. Свеча горела…» — шептал Юра про себя начало чего-то смутного неоформившегося, в надежде, что продолжение придет само собой, без принуждения. Оно не приходило.

11

С незапамятных времен елки у Свентицких устраивали по такому образцу. В десять, когда разъезжалась детвора, зажигали вторую для молодежи и взрослых, и веселились до утра. Более пожилые всю ночь резались в карты в трехстенной помпейской гостиной, которая была продолжением зала и отделялась от него тяжелою плотною занавесью на больших бронзовых кольцах. На рассвете ужинали всем обществом.

— Почему вы так поздно? — на бегу спросил их племянник Свентицких Жорж, пробегая через переднюю внутрь квартиры к дяде и тете. Юра и Тоня тоже решили пройти туда поздороваться с хозяевами и мимоходом, раздеваясь, посмотрели в зал.

Мимо жарко дышащей елки, опоясанной в несколько рядов струящимся сиянием, шурша платьями и наступая друг другу на ноги,двигалась черная стена прогуливающихся и разговаривающих, не занятых танцами.

Внутри круга бешено вертелись танцующие. Их кружил, соединял в пары и вытягивал цепью сын товарища прокурора лицеист Кока Корнаков. Он дирижировал танцами и во все горло орал с одного конца зала на другой: «Grand rond! Chaine chinoise!»[2]— и все делалось по его слову. «Une valse s'il vous plait!»[3]— горланил он таперу и в голове первого тура вел свою даму a trois temps, a deux temps[4] все замедляя и суживая разбег до еле заметного переступают на одном месте, которое уже не было вальсом, а только его замирающим отголоском. И все аплодировали, и эту

движущуюся, шаркающую и галдящую толпу обносили мороженым и прохладительными.

Разгоряченные юноши и девушки на минуту переставали кричать и смеяться, торопливо и жадно глотали холодный морс и лимонад и, едва поставив бокал на поднос, возобновляли крик и смех в удесятеренной степени, словно хватив какого-то веселящего состава.

Не заходя в зал, Тоня и Юра прошли к хозяевам на зады квартиры.

12

Внутренние комнаты Свентицких были загромождены лишними вещами, вынесенными из гостиной и зала для большего простора.

Тут была волшебная кухня хозяев, их святочный склад. Здесь пахло краской и клеем, лежали свертки цветной бумаги и были грудами наставлены коробки с котильонными звездами и запасными елочными свечами.

Старики Свентицкие расписывали номерки к подаркам, карточки с обозначением места за ужином и билетики к какой-то предполагавшейся лотерее. Им помогал Жорж, но часто сбивался в нумерации, и они раздраженно ворчали на него. Свентицкие страшно обрадовались Юре и Тоне. Они их помнили маленькими, не церемонились с ними и без дальних слов усадили за эту работу.

— Фелицата Семеновна не понимает, что об этом надо было думать раньше, а не в самый разгар, когда гости. Ах ты Параскева-путаница, что ты, Жорж, опять натворил с номерами!

Уговор был бонбоньерки с драже на стол, а пустые — на диван, а у вас опять шалды-балды и все шиворот-навыворот.

— Я очень рада, что Анете лучше. Мы с Пьером так за нее беспокоились.

— Да, но, милочка, ей как раз хуже, хуже, понимаешь, а у тебя всегда все dewant-derriere[5].

Юра и Тоня полвечера проторчали с Жоржем и стариками за их елочными кулисами.

13

Все то время, что они сидели со Свентицкими, Лара была в зале. Хотя она была одета не по-бальному и никого тут не знала, она то давала безвольно, как во сне, кружить себя Коке Корнакову, то, как в воду

опущенная, без дела слонялась кругом по залу.

Лара уже один или два раза в нерешительности останавливалась и мялась на пороге гостиной, в надежде на то, что сидевший лицом к залу Комаровский заметит ее. Но он глядел в свои карты, которые держал в левой руке щитком перед собой, и либо действительно не видел ее, либо притворялся, что не замечает. У Лары дух захватило от обиды. В это время из зала в гостиную вошла незнакомая Ларе девушка. Комаровский посмотрел на вошедшую тем взглядом, который Лара так хорошо знала.

Польщенная девушка улыбнулась Комаровскому, вспыхнула и просияла. При виде этого Лара чуть не вскрикнула. Краска стыда густо залила ей лицо, у нее покраснели лоб и шея. «Новая жертва», — подумала она. Лара увидела как в зеркале всю себя и всю свою историю. Но она еще не отказалась от мысли поговорить с Комаровским и, решив отложить попытку до более удобной минуты, заставила себя успокоиться и вернулась в зал.

С Комаровским за одним столом играло еще три человека. Один из его партнеров, который сидел рядом с ним, был отец щеголя лицеиста, пригласившего Лару на вальс. Об этом Лара заключила из двух-трех слов, которыми она перекинулась с кавалером, кружась с ним по залу. А высокая брюнетка в черном с шалыми горящими глазами и неприятно по-змеиному напруженной шеей, которая поминутно переходила то из гостинной в зал на поле сыновней деятельности, то назад в гостиную к игравшему мужу, была мать Коки Корнакова. Наконец, случайно выяснилось, что девушка, подавшая повод к сложным Лариным чувствованиям, сестра Коки, и Ларины сближения не имели под собой никакой почвы.

— Корнаков, — представился Кока Ларе в самом начале. Но тогда она не разобрала. — Корнаков, — повторил он на последнем скользящем кругу, подведя её к креслу, и откланялся.

На этот раз Лара расслышала. — Корнаков, Корнаков, — призадумалась она. — Что-то знакомое. Что-то неприятное.

Потом она вспомнила. Корнаков — товарищ прокурора московской судебной палаты. Он обвинял группу железнодорожников, вместе с которыми судился Тиверзин. Лаврентий Михайлович по Лариной просьбе ездил его умасливать, чтобы он не так неистовствовал на этом процессе, но не уломал. — Так вот оно что! Так, так, так. Любопытно. Корнаков. Корнаков.

14

Был первый или второй час ночи. У Юры стоял шум в ушах.

После перерыва, в течение которого в столовой пили чай с птифурами, танцы возобновились. Когда свечи на елке догорали, их уже больше никто не сменял.

Юра стоял в рассеянности посреди зала и смотрел на Тоню, танцевавшую с кем-то незнакомым. Проплывая мимо Юры, Тоня движением ноги откидывала небольшой трен слишком длинного атласного платья и, плеснув им, как рыбка, скрывалась в толпе танцующих.

Она была очень разгорячена. В перерыве, когда они сидели в столовой, Тоня отказалась от чая и утоляла жажду мандаринами, которые она без счета очищала от пахучей легко отделявшейся кожуры. Она поминутно вынимала из-за кушака или из рукавчика батистовый платок, крошечный как цветы фруктового дерева, и утирала им струйки пота по краям губ и между липкими пальчиками. Смеясь и не прерывая оживленного разговора, она машинально совала платок назад за кушак или за оборку лифа.

Теперь, танцуя с неизвестным кавалером и при повороте задевая за сторонившегося и хмурившегося Юру, Тоня мимоходом шаловливо пожимала ему руку и выразительно улыбалась. При одном из таких пожатий платок, который она держала в руке, остался на Юриной ладони. Он прижал его к губам и закрыл глаза. Платок издавал смешанный запах мандариновой кожуры и разгоряченной Тониной ладони, одинаково чарующий. Это было что-то новое в Юриной жизни, никогда не испытанное и остро пронизывающее сверху донизу. Детски-наивный запах был задушевно-разумен, как какое-то слово, сказанное шопотом в темноте. Юра стоял, зарыв глаза и губы в ладонь с платком и дыша им. Вдруг в доме раздался выстрел.

Все повернули головы к занавеси, отделявшей гостиную от зала. Минуту длилось молчание. Потом начался переполох. Все засуетились и закричали. Часть бросилась за Кокой Корнаковым на место грянувшего выстрела. Оттуда уже шли навстречу, угрожали, плакали и, споря, перебивали друг друга.

— Что она наделала, что она наделала, — в отчаянии повторял Комаровский.

— Боря, ты жив? Боря, ты жив, — истерически выкрикивала госпожа Корнакова. — Говорили, что здесь в гостях доктор Дроков. Да, но где же

он, где он? Ах, оставьте, пожалуйста!

Для вас царапина, а для меня оправдание всей моей жизни. О мой бедный мученик, обличитель всех этих преступников! Вот она, вот она дрянь, я тебе глаза выцарапаю, мерзавка! Ну теперь ей не уйти! Что вы сказали, господин Комаровский? В вас? Она стреляла в вас? Нет, я не могу. У меня большое горе, господин Комаровский, опомнитесь, мне сейчас не до шуток. Кока, Кокочка, ну что ты скажешь! На отца твоего… Да… Но десница Божья… Кока! Кока!

Толпа из гостиной вкатилась в зал. В середине, громко отшучиваясь и уверяя всех в своей совершенной невредимости, шел Корнаков, зажимая чистою салфеткою кровоточащую царапину на легко ссаженной левой руке. В другой группе несколько в стороне и позади вели за руки Лару.

Юра обомлел, увидав ее. — Та самая! И опять при каких необычайных обстоятельствах! И снова этот седоватый. Но теперь Юра знает его. Это видный адвокат Комаровский, он имел отношение к делу об отцовском наследстве. Можно не раскланиваться, Юра и он делают вид, что незнакомы. А она…

Так это она стреляла? В прокурора? Наверное, политическая.

Бедная. Теперь ей не поздоровится. Как она горделиво хороша! А эти! Тащат ее, черти, выворачивая руки, как пойманную воровку.

Но он тут же понял, что ошибается. У Лары подкашивались ноги. Ее держали за руки, чтобы она не упала, и с трудом дотащили до ближайщего кресла, в которое она и рухнула.

Юра подбежал к ней, чтобы привести её в чувство, но для большего удобства решил сначала проявить интерес к мнимой жертве покушения. Он подошел к Корнакову и сказал:

— Здесь просили врачебной помощи. Я могу подать ее.

Покажите мне вашу руку… Ну, счастлив ваш Бог. Это такие пустяки, что я не стал бы перевязывать. Впрочем, немного йоду не помешает. Вот Фелицата Семеновна, мы попросим у нее.

На Свентицкой и Тоне, быстро приблизившихся к Юре, не было лица. Они сказали, чтобы он все бросил и шел скорее одеваться, за ними приехали, дома что-то неладное. Юра испугался, предположив самое худшее, и, позабыв обо всем на свете, побежал одеваться.

15

Они уже не застали Анну Ивановну в живых, когда с подъезда в Сивцевом сломя голову вбежали в дом. Смерть наступила за десять минут

до их приезда. Ее причиной был долгий припадок удушья вследствие острого, вовремя не распознанного отека легких.

Первые часы Тоня кричала благим матом, билась в судорогах и никого не узнавала. На другой день она притихла, терпеливо выслушивая, что ей говорили отец и Юра, но могла отвечать только кивками, потому что, едва она открывала рот, горе овладевало ею с прежнею силой и крики сами собой начинали вырываться из нее как из одержимой.

Она часами распластывалась на коленях возле покойницы, в промежутках между панихидами обнимая большими красивыми руками угол гроба вместе с краем помоста, на котором он стоял, и венками, которые его покрывали. Она никого кругом не замечала.

Но едва её взгляды встречались с глазами близких, она поспешно вставала с полу, быстрыми шагами выскальзывала из зала, сдерживая рыданье, стремительно взбегала по лесенке к себе наверх и, повалившись на кровать, зарывала в подушки взрывы бушевавшего в ней отчаяния.

От горя, долгого стояния на ногах и недосыпания, от густого пения, и ослепляющего света свечей днем и ночью, и от простуды, схваченной на этих днях, у Юры в душе была сладкая неразбериха, блаженно-бредовая, скорбно-восторженная.

Десять лет тому назад, когда хоронили маму, Юра был совсем еще маленький. Он до сих пор помнил, как он безутешно плакал, пораженный горем и ужасом. Тогда главное было не в нем. Тогда он едва ли даже соображал, что есть какой-то он, Юра, имеющийся в отдельности и представляющий интерес или цену.

Тогда главное было в том, что стояло кругом, в наружном.

Внешний мир обступал Юру со всех сторон, осязательный, непроходимый и бесспорный, как лес, и оттого-то был Юра так потрясен маминой смертью, что он с ней заблудился в этом лесу и вдруг остался в нем один, без нее. Этот лес составляли все вещи на свете — облака, городские вывески, и шары на пожарных каланчах, и скакавшие верхом перед каретой с божьей Матерью служки с наушниками вместо шапок на обнаженных в присутствии святыни головах. Этот лес составляли витрины магазинов в пассажах и недосягаемо высокое ночное небо со звездами, боженькой и святыми.

Это недоступно высокое небо наклонялось низко-низко к ним в детскую макушкой в нянюшкин подол, когда няня рассказывала что-нибудь божественное, и становилось близким и ручным, как верхушки орешника, когда его ветки нагибают в оврагах и обирают орехи. Оно как бы окуналось у них в детской в таз с позолотой и, искупавшись в огне и

золоте, превращалось в заутреню или обедню в маленькой переулочной церквушке, куда няня его водила. Там звезды небесные становились лампадками, боженька — батюшкой и все размещались на должности более или менее по способностям. Но главное был действительный мир взрослых и город, который подобно лесу, темнел кругом. Тогда всей своей полузвериной верой Юра верил в Бога этого леса, как в лесничего.

Совсем другое дело было теперь. Все эти двенадцать лет школы, средней и высшей, Юра занимался древностью и законом Божьим, преданиями и поэтами, науками о прошлом и о природе, как семейною хроникой родного дома, как своею родословною.

Сейчас он ничего не боялся, ни жизни ни смерти, все на свете, все вещи были словами его словаря. Он чувствовал себя стоящим на равной ноге со вселенною и совсем по-другому выстаивал панихиды по Анне Ивановне, чем в былое время по своей маме.

Тогда он забывался от боли, робел и молился. А теперь он слушал заупокойную службу как сообщение, непосредственно к нему обращенное и прямо его касающееся. Он вслушивался в эти слова и требовал от них смысла, понятно выраженного, как это требуется от всякого дела, и ничего общего с набожностью не было в его чувстве преемственности по отношению к высшим силам земли и неба, которым он поклонялся как своим великим предшественникам.

16

«Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Что это? Где он? Вынос. Выносят. Надо проснуться. Он в шестом часу утра повалился одетый на этот диван. Наверное у него жар. Сейчас его ищут по всему дому, и никто не догадается, что он в библиотеке спит-не проснется в дальнем углу, за высокими книжными полками, доходящими до потолка.

«Юра, Юра!» — зовет его где-то рядом дворник Маркел.

Начался вынос, Маркелу надо тащить вниз на улицу венки, а он не может доискаться Юры, да вдобавок еще застрял в спальне, где венки сложены горою, потому что дверь из нее придерживает открывшаяся дверца гардероба и не дает Маркелу выйти.

— Маркел! Маркел! Юра! — зовут их снизу.

Маркел одним ударом расправляется с образовавшимся препятствием и сбегает с несколькими венками вниз по лестнице.

«Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный» — тихим веянием проволакивается по переулку и остается в нем, как будто провели

мягким страусовым пером по воздуху, и все качается: венки и встречные, головы лошадей с султанами, отлетающее кадило на цепочке в руке священника, белая земля под ногами.

— Юра! Боже, наконец-то. Проснись, пожалуйста, — трясет его за плечо доискавшаяся его Шура Шлезингер. — Что с тобой?

Выносят. Ты с нами?

— Ну конечно.

17

Отпевание кончилось. Нищие, зябко переступая с ноги на ногу, теснее сдвинулись в две шеренги. Колыхнулись и чуть-чуть переместились похоронные дроги одноколка с венками, карета Крюгеров.

Ближе к церкви подтянулись извозчики. Из храма вышла заплаканная Шура Шлезингер и, подняв отсыревшую от слез вуаль, скользнула испытующим взором вдоль линии извозчиков. Отыскав в их ряду носильщиков из бюро, она кивком подозвала их к себе и скрылась с ними в церкви. Из церкви валило все больше народу.

— Вот и Анина-Иваннина очередь. Приказала кланяться, вынула, бедняжка, далекий билет.

— Да, отпрыгалась, бедная. Поехала, стрекоза, отдыхать.

— У вас извозчик или вы на одиннадцатом номере?

— Застоялись ноги. Чуточку пройдемся и поедем.

— Заметили, как Фуфков расстроен? На новопреставленную смотрел, слезы градом, сморкается, так бы и съел. А рядом муж.

— Он всю жизнь на нее запускал глазенапа.

С такими разговорами тащились на другой конец города на кладбище. В этот день отдало после сильных морозов. День был полон недвижной тяжести, день отпустившего мороза и отошедшей жизни, день, самой природой как бы созданный для погребения.

Погрязневший снег словно просвечивал сквозь наброшенный креп, из-за оград смотрели темные, как серебро с чернью, мокрые елки и походили на траур.

Это было то самое, памятное кладбище, место упокоения Марии Николаевны. Юра последние годы совсем не попадал на материнскую могилу. «Мамочка», — посмотрев издали в ту сторону, прошептал он почти губами тех лет.

Расходились торжественно и даже картинно по расчищенным дорожкам, уклончивые извивы которых плохо согласовались со скорбной

размеренностью их шага. Александр Александрович вел под руку Тоню. За ними следовали Крюгеры. Тоне очень шел траур.

На купольных цепях крестов и на розовых монастырских стенах лохматился иней, бородатый, как плесень. В дальнем углу монастырского двора от стены к стене были протянуты веревки с развешенным для сушки стираным бельем — рубашки с тяжелыми, набрякшими рукавами, скатерти персикового цвета, кривые, плохо выжатые простыни. Юра вгляделся в ту сторону и понял, что это то место на монастырской земле, где тогда бушевала вьюга, измененное новыми постройками.

Юра шел один, быстрой ходьбой опережая остальных, изредка останавливаясь и их поджидая. В ответ на опустошение, произведенное смертью в этом медленно шагавшем сзади обществе, ему с непреодолимостью, с какою вода, крутя воронки, устремляется в глубину, хотелось мечтать и думать, трудиться над формами, производить красоту. Сейчас, как никогда, ему было ясно, что искусство всегда, не переставая, занято двумя вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь. Большое, истинное искусство, то, которое называется Откровением Иоанна, и то, которое его дописывает.

Юра с вожделением предвкушал, как он на день-на два исчезнет с семейного и университетского горизонта и в свои заупокойные строки по Анне Ивановне вставит все, что ему к той минуте подвернется, все случайное, что ему подсунет жизнь: две-три лучших отличительных черты покойной; образ Тони в трауре; несколько уличных наблюдений по пути назад с кладбища; стираное белье на том месте, где давно когда-то ночью завывала вьюга и он плакал маленьким.

ЧАСТЬ четвертая.

НАЗРЕВШИЕ НЕИЗБЕЖНОСТИ

1

Лара лежала в полубреду в спальне на кровати Фелицаты Семеновны. Вокруг нее шептались Свентицкие, доктор Дроков, прислуга.

Пустой дом Свентицких был погружен во тьму, и только в середине длинной анфилады комнат, в маленькой гостиной, горела на стене тусклая лампа, бросая свет вперед и назад вдоль этого сквозного, в одну линию вытянутого ряда.

По этому пролету не как в гостях, а словно у себя дома злыми и решительными шагами расхаживал Виктор Ипполитович. Он то заглядывал в спальню, осведомляясь, что там делается, то направлялся в противоположный конец дома и мимо елки с серебряными бусами доходил до столовой, где стол ломился под нетронутым угощением и зеленые винные бокалы позвякивали, когда за окном по улице проезжала карета или по скатерти между тарелок прошмыгивал мышонок.

Комаровский рвал и метал. Разноречивые чувства теснились в его груди. Какой скандал и безобразие! Он был в бешенстве. Его положение было в опасности. Случай подрывал его репутацию.

Надо было любой ценой, пока не поздно, предупредить, пресечь сплетни, а если весть уже распространилась, замять, затушить слухи при самом возникновении. Кроме того, он снова испытал, до чего неотразима эта отчаянная, сумасшедшая девушка. Сразу было видно, что она не как все. В ней всегда было что-то необыкновенное. Однако как чувствительно и непоправимо, по-видимому, исковеркал он её жизнь! Как она мечется, как все время восстает и бунтует в стремлении переделать судьбу по-своему и начать существовать сызнова.

Надо будет со всех точек зрения помочь ей, может быть, снять ей комнату, но ни в коем случае не трогать ее, напротив, совершенно устраниться, отойти в сторону, чтобы не бросать тени, а то вот ведь она какая, еще что-нибудь выкинет, чего доброго!

А сколько еще хлопот впереди! Ведь за это по головке не погладят. Закон не дремлет. Еще ночь и не прошло двух часов с той минуты, как разыгралась эта история, а уже два раза являлись из полиции, и Комаровский выходил на кухню для объяснения с околоточным и все

улаживал.

А чем дальше, тем все будет сложнее. Потребуются доказательства, что Лара целилась в него, а не в Корнакова. Но и этим дело не ограничится. Часть ответственности будет с Лары снята, но она будет подлежать судебному преследованию за оставшуюся часть.

Разумеется, он всеми силами этому воспрепятствует, а если дело будет возбуждено, достанет заключение психиатрической экспертизы о невменяемости Лары в момент совершения покушения и добьется прекращения дела.

За этими мыслями Комаровский стал успокаиваться. Ночь прошла. Полосы света стали шнырять из комнаты в комнату, заглядывая под столы и диваны, как воры или ломбардные оценщики.

Наведавшись в спальню и удостоверившись, что Ларе не стало лучше, Комаровский от Свентицких поехал к своей знакомой, юристке и жене политического эмигранта Руфине Онисимовне Войт-Войтковской. Квартира в восемь комнат была теперь выше её потребностей и ей не по средствам. Она сдавала внаймы две комнаты. Одну из них, недавно освободившуюся, Комаровский снял для Лары. Через несколько часов Лару перевезли туда в лихорадочном жару и полуобморочном состоянии. У нее была нервная горячка.

2

Руфина Онисимовна была передовой женщиной, врагом предрассудков, доброжелательницей всего, как она думала и выражалась, «положительного и жизнеспособного».

У нее на комоде лежал экземпляр Эрфуртской программы с надписью составителя. На одной из фотографий, прибитых к стене, её муж, «мой добрый Войт», был снят на народном гуляний в Швейцарии вместе с Плехановым. Оба были в люстриновых пиджаках и панамах.

Руфина Онисимовна с первого взгляда невзлюбила свою больную квартирантку. Она считала Лару злостной симулянткой. Припадки Лариного бреда казались Руфине Онисимовне сплошным притворством. Руфина Онисимовна готова была побожиться, что Лара разыгрывает помешанную Маргариту в темнице.

Руфина Онисимовна выражала Ларе свое презрение повышенным оживлением. Она хлопала дверьми и громко напевала, вихрем носясь по своей части квартиры, и по целым дням проветривала у себя комнаты.

Ее квартира была в верхнем этаже большого дома на Арбате.

Окна этого этажа, начиная с зимнего солнцеворота, наполнялись через край голубым светлым небом, широким, как река в половодье. Ползимы квартира была полна признаками будущей весны, её предвестиями.

В форточки дул теплый ветер с юга, на вокзалах белугой ревели паровозы, и болеющая Лара, лежа в постели, предавалась на досуге далеким воспоминаниям.

Очень часто ей вспоминался первый вечер их приезда в Москву с Урала, лет семь-восемь тому назад, в незабвенном детстве.

Они ехали в пролетке полутемными переулками через всю Москву в номера с вокзала. Приближающиеся и удаляющиеся фонари отбрасывали тень их горбящегося извозчика на стены зданий.

Тень росла, росла, достигала неестественных размеров, накрывала мостовую и крыши, обрывалась. И все начиналось сначала.

В темноте над головой трезвонили московские сорок сороков, по земле со звоном разъезжали конки, но кричащие витрины и огни тоже оглушали Лару, как будто и они издавали какой-то свой звук, как колокола и колеса.

На столе в номере её ошеломил неимоверной величины арбуз, хлеб-соль Комаровского им на новоселье. Арбуз казался Ларе символом властности Комаровского и его богатства. Когда Виктор Ипполитович ударом ножа раскроил надвое звонко хряснувшее, темно-зеленое, круглое диво с ледяной, сахаристой сердцевиной, у Лары захватило дух от страха, но она не посмела отказаться.

Она через силу глотала розовые душистые куски, которые от волнения становились у нее поперек горла.

И ведь эта робость перед дорогим кушаньем и ночною столицей потом так повторилась в её робости перед Комаровским — главная разгадка всего происшедшего. Но теперь он был неузнаваем. Ничего не требовал, не напоминал о себе и даже не показывался. И постоянно, держась на расстоянии, благороднейшим образом предлагал свою помощь.

Совсем другое дело было посещение Кологривова. Лара очень обрадовалась Лаврентию Михайловичу. Не потому чтобы он был так высок и статен, а благодаря выпиравшей из него живости и таланту гость занял собою, своим искрящимся взглядом и своей умною усмешкою полкомнаты. В ней стало теснее.

Он сидел, потирая руки, перед Лариной кроватью. Когда его вызывали в Петербург в Совет министров, он разговаривал с сановными старцами так, словно это были шалуны приготовишки. А тут перед ним лежала недавняя часть его домашнего очага, что-то вроде его родной дочери, с которою, как со всеми домашними, он перекидывался взглядами и

замечаниями только на ходу и мельком (это составляло отличительную прелесть их сжатого, выразительного общения, обе стороны это знали). Он не мог относиться к Ларе тяжело и безразлично, как ко взрослой.

Он не знал, как с ней говорить, чтобы не обидеть ее, и сказал, усмехнувшись ей, как ребенку:

— Что же вы это, матушка, затеяли? Кому нужны эти мелодрамы? — Он смолк и стал рассматривать пятна сырости на потолке и обоях. Потом, укоризненно покачал головой, продолжал:

— В Дюссельдорфе выставка открывается международная — живописи, скульптуры, садоводства. Собираюсь.

Сыровато у вас. И долго это вы намерены болтаться между небом и землею? Здесь ведь не Бог весть какое раздолье. Эта Войтесса, между нами говоря, порядочная дрянь. Я её знаю.

Переезжайте. Довольно вам валяться. Поболели и ладно. Пора подыматься. Перемените комнату, займитесь предметами, кончайте курсы. Есть у меня один художник знакомый. Он уезжает на два года в Туркестан. У него мастерская разгорожена переборками, и, собственно говоря, это целая небольшая квартира. Кажется, он готов передать её вместе с обстановкой в хорошие руки.

Хотите, устрою? И затем вот что. Позвольте уж я по-деловому. Я давно хотел, это моя священная обязанность… С тех пор как Липа… Вот тут небольшая сумма, наградные за её окончание…

Нет, позвольте, позвольте… Нет, прошу вас, не упирайтесь…

Нет, извините, пожалуйста.

И, уходя, он заставил ее, несмотря на её возражения, слезы и даже что-то вроде драки, принять от него банковский чек на десять тысяч.

Выздоровев, Лара переехала на новое пепелище, расхваленное Кологривовым. Место было совсем поблизости у Смоленского рынка. Квартира находилась наверху небольшого каменного дома в два этажа, старинной стройки. Низ занимали торговые склады. В доме жили ломовые извозчики. Двор был вымощен булыжником и всегда покрыт рассыпанным овсом и рассоренным сеном. По двору, воркуя, похаживали голуби. Они шумной стайкой подпархивали над землей, не выше Лариного окна, когда по каменному сточному жолобу двора табунком пробегали крысы.

3

Много горя было с Пашею. Пока Лара серьезно хворала, его не допускали к ней. Что должен был он почувствовать? Лара хотела убить

человека, по Пашиным понятиям, безразличного ей, а потом очутилась под покровительством этого человека, жертвы своего неудавшегося убийства. И это все после памятного их разговора рождественскою ночью, при горящей свече! Если бы не этот человек, Лару бы арестовали и судили. Он отвел от нее грозившую ей кару. Благодаря ему она осталась на курсах, цела и невредима. Паша терзался и недоумевал.

Когда ей стало лучше, Лара вызвала Пашу к себе. Она сказала:

— Я плохая. Ты не знаешь меня, я когда-нибудь расскажу тебе. Мне трудно говорить, ты видишь, я захлебываюсь от слез, но брось, забудь меня, я тебя не стою.

Пошли душераздирающие сцены, одна невыносимее другой.

Войтковская, — потому что это происходило еще во время Лариного пребывания на Арбате, — Войтковская при виде заплаканного Паши кидалась из коридора на свою половину, валилась на диван и хохотала до колик, приговаривая: «Ой не могу, ой не могу! Вот это можно сказать действительно… Ха-ха-ха! Богатырь! Ха-ха-ха! Еруслан Лазаревич!»

Чтобы избавить Пашу от пятнающей привязанности, вырвать её с корнем и положить конец мучениям, Лара объявила Паше, что на отрез отказывается от него, потому что не любит его, но так рыдала, произнося это отречение, что ей нельзя было поверить.

Паша подозревал её во всех смертных грехах, не верил ни одному её слову, готов был проклясть и возненавидеть, и любил её дьявольски, и ревновал её к её собственным мыслям, к кружке, из которой она пила, и к подушке, на которой она лежала. Чтобы не сойти с ума, надо было действовать решительнее и скорее.

Они решили пожениться, не откладывая, еще до окончания экзаменов. Было предположение венчаться на Красную горку.

Свадьбу по Лариной просьбе опять отложили.

Их венчали в Духов день, на второй день Троицы, когда с несомненностью выяснилась успешность их окончания. Всем распоряжалась Людмила Капитоновна Чепурко, мать Туси Чепурко, Лариной однокурсницы, вместе с ней окончившей. Людмила Капитоновна была красивая женщина с высокой грудью и низким голосом, хорошая певица и страшная выдумщица. В придачу к действительным примерам и поверьям, известным ей, она на ходу экспромтом сочиняла множество собственных.

Была ужасная жара в городе, когда Лару «повезли под злат-венец», как цыганским Панинским басом мурлыкала себе под нос Людмила Капитоновна, убирая Лару перед выездом. Были пронзительно желты

золотые купола церквей и свежий песочек на дорожках гуляний. Запылившаяся зелень березок, нарубленных накануне к Троицыну дню, понуро висла по оградам храмов, свернувшись в трубочку и словно обгорелая. Было трудно дышать, и в глазах рябило от солнечного блеска. И словно тысячи свадеб справляли кругом, потому что все девушки были завиты и в светлом, как невесты, и все молодые люди, по случаю праздника, напомажены и в черных парах в обтяжку. И все волновались, и всем было жарко.

Лагодина, мать другой Лариной товарки, бросила Ларе горсть серебряной мелочи под ноги, когда Лара вступила на коврик к будущему богатству, а Людмила Капитоновна с тою же целью посоветовала Ларе, когда она станет под венец, креститься не голой, высунутой рукой, а полуприкрытой краешком газа или кружева. Потом она сказала, чтобы Лара держала свечу высоко, тогда она будет в доме верховодить. Но, жертвуя своей будущностью в пользу Пашиной, Лара опускала свечу как можно ниже, и всё понапрасну, потому что сколько она ни старалась, все выходило, что её свеча выше Пашиной.

Из церкви вернулись прямо на пирушку в мастерскую художника, тогда же обновленную Антиповыми. Гости кричали «горько, не пьется», — а с другого конца согласным ревом ответствовали: «надо подсластить», — и молодые, конфузливо ухмыляясь, целовались. Людмила Капитоновна пропела им величание — «Виноград» с двойным припевом «Дай вам Бог любовь да совет» и песню «Расплетайся трубчата коса, рассыпайтесь русы волоса».

Когда все разошлись и они остались одни, Паше стало не по себе от внезапно наступившей тишины. На дворе против Лариного окна горел фонарь на столбе, и, как ни занавешивалась Лара, узкая, как распиленная доска, полоса света проникала сквозь промежуток разошедшихся занавесок. Эта светлая полоса не давала Паше покою, словно кто-то за ними подсматривал. Паша с ужасом обнаруживал, что этим фонарем он занят больше, чем собою, Ларою и своей любовью к ней.

За эту ночь, продолжительную как вечность, недавний студент Антипов, «Степанида» и «Красная Девица», как звали его товарищи, побывал на верху блаженства и на дне отчаяния. Его подозрительные догадки чередовались с Лариными признаниями. Он спрашивал, и за каждым Лариным ответом у него падало сердце, словно он летел в пропасть. Его израненное воображение не поспевало за новыми открытиями.

Они проговорили до утра. В жизни Антипова не было перемены

разительнее и внезапнее этой ночи. Утром он встал другим человеком, почти удивляясь, что его зовут по-прежнему.

4

Через десять дней друзья устроили им проводы в той же комнате. Паша и Лара оба кончили, оба одинаково блестяще, оба получили предложения в один и тот же город на Урале, куда и должны были выехать на другой день утром.

Опять пили, пели и шумели, но на этот раз только одна молодежь, без старших.

За перегородкой, отделявшей жилые закоулки от большой мастерской, где собрались гости, стояла большая багажная и одна средняя корзины Лары, чемодан и ящик с посудою. В углу лежало несколько мешков. Вещей было много. Часть их уходила на другой день утром малою скоростью. Всё почти было уложено, но не до конца. Ящик и корзины стояли открытые, не доложенные доверху. Лара время от времени вспоминала про что-нибудь, переносила забытую вещь за перегородку и, положив в корзину, разравнивала неровности.

Паша уже был дома с гостями, когда Лара, ездившая в канцелярию курсов за метрикой и бумагами, вернулась в сопровождении дворника с рогожею и большой связкою крепкой толстой веревки для увязывания завтрашней клади. Лара отпустила дворника и, обойдя гостей, с частью поздоровалась за руку, а с другими перецеловалась, а потом ушла за перегородку переодеваться. Когда она вышла переодетая, все захлопали, загалдели, стали рассаживаться, и начался шум, как несколько дней тому назад на свадьбе. Наиболее предприимчивые взялись разливать водку соседям, множество рук, вооружившись вилками, потянулось в центр стола за хлебом и к блюдам с кушаньями и закусками. Ораторствовали, крякали, промочивши горло, и наперебой острили. Некоторые стали быстро пьянеть.

— Я смертельно устала, — сказала Лара, сидевшая рядом с мужем. — ты все успел, что хотел сделать?

— Да.

— И все-таки я замечательно себя чувствую. Я счастлива. А ты?

— Я тоже. Мне хорошо. Но это долгий разговор.

На вечеринку с молодою компанией в виде исключения был допущен Комаровский.

В конце вечера он хотел сказать, что осиротеет после отъезда своих

молодых друзей, что Москва станет для него пустынею, Сахарой, но так расчувствовался, что всхлипнул и должен был повторить прерванную от волнения фразу снова. Он просил Антиповых позволения переписываться с ними и наведаться к ним в Юрятин, место их нового жительства, если он не выдержит разлуки.

— Это совершенно лишнее, — громко и невнимательно отозвалась Лара. — И вообще все это ни к чему — переписываться, Сахара и тому подобное. А приезжать туда и не думайте. Бог даст без нас уцелеете, не такая мы редкость, не правда ли, Паша? Авось найдется вашим молодым друзьям замена.

И совершенно забыв, с кем и о чем она говорит, Лара что-то вспомнила и, торопливо встав, ушла за перегородку на кухню.

Там она развинтила мясорубку и стала распихивать разобранные части по углам посудного ящика, подтыкая их клочьями сена. При этом она чуть не занозила себе руку отщепившейся от края острою лучиной.

За этим занятием она упустила из виду, что у нее гости, перестав их слышать, как вдруг они напомнили о себе особенно громким взрывом галдежа из-за перегородки, и тогда Лара подумала, с какой старательностью пьяные всегда любят изображать пьяных, и с тем более бездарной, и любительской подчеркнутостью, чем они пьянее.

В это время совсем другой, особенный звук привлек её внимание со двора сквозь открытое окно. Лара отвела занавеску и высунулась наружу.

По двору хромающими прыжками передвигалась стреноженная лошадь. Она была неизвестно чья и забрела во двор, наверное, по ошибке. Было уже совершенно светло, но еще далеко до восхода солнца. Спящий и как бы совершенно вымерший город тонул в серо-лиловой прохладе раннего часа. Лара закрыла глаза. Бог знает в какую деревенскую глушь и прелесть переносило это отличительное и ни с чем не сравнимое конское кованое переступание.

С лестницы позвонили. Лара навострила уши. Из-за стола пошли отворять. Это была Надя! Лара кинулась навстречу вошедшей. Надя была прямо с поезда, свежая, обворожительная и вся как бы благоухала дуплянскими ландышами. Подруги стояли, будучи не в силах сказать ни слова, и только ревели, обнимались и чуть не задушили друг друга.

Надя привезла Ларе от всего дома поздравления и напутствия и в подарок от родителей драгоценность. Она вынула из саквояжа завернутую в бумагу шкатулку, развернула её и, отщелкнув крышку, передала Ларе редкой красоты ожерелье.

Начались охи и ахи. Кто-то из пьяных, уже несколько

протрезвившийся, сказал:

— Розовый гиацинт. Да, да, розовый, вы что думаете. Камень не ниже алмаза.

Но Надя спорила, что это желтые сапфиры.

Усадив её рядом с собой и угощая, Лара положила ожерелье около своего прибора и смотрела на него, не отрываясь.

Собранное в горсточку на фиолетовой подушке футляра, оно переливалось, горело и то казалось стечением по каплям набежавшей влаги, то кистью мелкого винограда.

Кое-кто за столом тем временем успел прийти в чувство.

Очнувшиеся снова пропустили по рюмочке за компанию с Надей.

Надю быстро напоили.

Скоро дом представлял сонное царство. Большинство, предвидя завтрашние вокзальные проводы, осталось ночевать. Половина давно уже храпела по углам вповалку. Лара сама не помнила, как очутилась одетая на диване рядом с уже спавшею Ирой Лагодиной.

Лара проснулась от громкого разговора над самым ухом. Это были голоса чужих, пришедших с улицы во двор за пропавшею лошадью. Лара открыла глаза и удивилась: «Какой этот Паша, в самом деле, неугомонный, стоит верстой среди комнаты и все без конца что-то шарит». В это время предполагаемый Паша повернулся к ней лицом, и она увидала, что это совсем не Паша, а какое-то рябое страшилище с лицом, рассеченным шрамом от виска к подбородку. Тогда она поняла, что к ней забрался вор, грабитель, и хотела крикнуть, но оказалась не в состоянии издать ни звука. Вдруг она вспомнила про ожерелье и, украдкой поднявшись на локте, посмотрела искоса на обеденный стол.

Ожерелье лежало на месте среди крошек хлеба и огрызков карамели, и недогадливый злоумышленник не замечал его в куче объедков, а только ворошил уложенное белье и приводил в беспорядок Ларину упаковку. Хмельной и полусонной Ларе, плохо сознававшей положение, стало особенно жалко своей работы. В негодовании она снова хотела крикнуть и снова не могла открыть рот и пошевелить языком. Тогда она с силой толкнула спавшую рядом Иру Лагодину коленом под ложечку, и когда та вскрикнула не своим голосом от боли, вместе с ней закричала и Лара. Вор уронил узел с накраденным и опрометью кинулся из комнаты.

Кое-кто из повскакавших мужчин, насилу уяснив себе, в чем дело, бросились вдогонку, но грабителя и след простыл.

Происшедший переполох и его дружное обсуждение послужили сигналом к общему вставанию. Остаток хмеля у Лары как рукой сняло.

Неумолимая к их упрашиваниям дать им подремать и поваляться еще немного, Лара подняла всех спящих, наскоро напоила их кофе и разогнала по домам впредь до новой встречи на вокзале к моменту отхода их поезда.

Когда все ушли, закипела работа. Лара со свойственною ей быстротой носилась от портпледа к портпледу, распихивала подушки, стягивала ремни и только умоляла Пашу и дворничиху не помогать, чтобы не мешать ей.

Все произошло как следует, вовремя. Антиповы не опоздали.

Поезд тронулся плавно, словно подражая движению шляп, которыми им махали на прощание. Когда перестали махать и троекратно рявкнули что-то издали (вероятно, «ура»), поезд пошел быстрее.

5

Третий день стояла мерзкая погода. Это была вторая осень войны. Вслед за успехами первого года начались неудачи.

Восьмая армия Брусилова, сосредоточенная в Карпатах, готова была спуститься с перевалов и вторгнуться в Венгрию, но вместо этого отходила, оттягиваемая назад общим отступлением. Мы очищали Галицию, занятую в первые месяцы военных действий.

Доктор Живаго, которого звали прежде Юрою; а теперь один за другим звали всё чаще по имени-отчеству, стоял в коридоре акушерского корпуса гинекологической клиники, против двери палаты, в которую поместили только что привезенную им жену Антонину Александровну. Он с ней простился и дожидался акушерки, чтобы уговориться с ней о том, как она будет извещать его, в случае надобности, и как он будет у нее осведомляться о состоянии Тониного здоровья.

Ему было некогда, он торопился к себе в больницу, а до этого должен был еще заехать к двум больным с визитом на дом, а он попусту терял драгоценное время, глазея в окно на косую штриховку дождя, струи которого ломал и отклонял в сторону порывистый осенний ветер, как валит и путает буря колосья в поле.

Еще было не очень темно. Глазам Юрия Андреевича открывались клинические задворки, стеклянные террасы особняков на Девичьем поле, ветка электрического трамвая, проложенная к черному ходу одного из больничных корпусов.

Дождь лил самым неутешным образом, не усиливаясь и не ослабевая, несмотря на неистовства ветра, казалось, обострявшиеся от невозмутимости низвергавшейся на землю воды.

Порывы ветра терзали побеги дикого винограда, которыми была увита одна из террас. Ветер как бы хотел вырвать растение целиком, поднимал на воздух, встряхивал на весу и брезгливо кидал вниз, как дырявое рубище.

Мимо террасы к клинике подошел моторный вагон с двумя прицепами. Из них стали выносить раненых.

В московских госпиталях, забитых до невозможности, особенно после Луцкой операции, раненых стали класть на лестничных площадках и в коридорах. Общее переполнение городских больниц начало сказываться на состоянии женских отделений.

Юрий Андреевич повернулся спиной к окну и зевал от усталости. Ему не о чем было думать. Неожиданно он вспомнил. В хирургическом отделении Крестовоздвиженской больницы, где он служил, умерла на днях больная. Юрий Андреевич утверждал, что у нее эхинококк печени. Все с ним спорили. Сегодня её вскроют. Вскрытие установит истину. Но прозектор их больницы — запойный пьяница. Бог его знает, как он за это примется.

Быстро стемнело. Стало невозможно разглядеть что-нибудь за окном. Словно мановением волшебного жезла во всех окнах зажглось электричество.

От Тони через маленький тамбурчик, отделявший палату от коридора, вышел главный врач отделения мастодонт-гинеколог, на все вопросы всегда отвечавший возведением глаз к потолку и пожиманием плеч. Эти движения на его мимическом языке означали, что, как ни велики успехи знания, есть, мой друг Горацио, загадки, перед которыми наука пасует.

Он прошел мимо Юрия Андреевича, с улыбкой поклонившись ему, и произвел несколько плавательных движений пухлыми руками с толстыми ладонями в смысле того, что приходится ждать и смиряться, и направился по коридору покурить в приемную.

Тогда к Юрию Андреевичу вышла ассистентка неразговорчивого гинеколога, по словоохотливости полная ему противоположность.

— На вашем месте я поехала бы домой. Я вам завтра позвоню в Крестовоздвиженскую общину. Едва ли это начнется раньше. Я уверена, что роды будут естественные, без искусственного вмешательства. Но, с другой стороны, кое-какая узость таза, второе затылочное положение, в котором лежит плод, отсутствие у нее болей и незначительность сокращений вызывают некоторые опасения. Впрочем, рано предсказывать. Все зависит от того, какие она будет вырабатывать потуги, когда начнутся роды. А это покажет будущее.

На другой день в ответ на его телефонный звонок подошедший к

аппарату больничный сторож велел ему не вешать трубки, пошел справляться, протомил его минут десять и принес в грубой и несостоятельной форме следующие сведения: «Велено сказать, скажи, говорят, привез жену слишком рано, надо забирать обратно». Взбешенный Юрий Андреевич потребовал к телефону кого-нибудь более осведомленного. — «Симптомы обманчивы, — сказала ему сестра, — пусть доктор не тревожится, придется потерпеть сутки-другие».

На третий день он узнал, что роды начались ночью, на рассвете прошли воды и с утра не прекращаются сильные схватки.

Он сломя голову помчался в клинику и, когда шел по коридору, слышал через полуоткрытую по нечаянности дверь душераздирающие крики Тони, как кричат задавленные с отрезанными конечностями, извлеченные из-под колес вагона.

Ему нельзя было к ней. Закусив до крови согнутый в суставе палец, он отошел к окну, за которым лил тот же косой дождь, как вчера и позавчера.

Из палаты вышла больничная сиделка. Оттуда доносился писк новорожденного.

— Спасена, спасена, — радостно повторял про себя Юрий Андреевич.

— Сынок. Мальчик. С благополучным разрешением от бремени, — нараспев говорила сиделка. — Сейчас нельзя. Придет время — покажем. Тогда придется раскошелиться на родильницу.

Намучилась. С первым. С первым завсегда мука.

— Спасена, спасена, — радовался Юрий Андреевич, не понимая того, что говорила сиделка, и того, что она своими словами зачисляла его в участники совершившегося, между тем как при чем он тут? Отец, сын — он не видел гордости в этом даром доставшемся отцовстве, он не чувствовал ничего в этом с неба свалившемся сыновстве. Все это лежало вне его сознания.

Главное была Тоня, Тоня, подвергшаяся смертельной опасности и счастливо её избегнувшая.

У него был больной невдалеке от клиники. Он зашел к нему и через полчаса вернулся. Обе двери, из коридора в тамбур и дальше, из тамбура в палату, были опять приоткрыты. Сам не сознавая, что он делает, Юрий Андреевич прошмыгнул в тамбур.

Растопырив руки, перед ним как из-под земли вырос мастодонт-гинеколог в белом халате.

— Куда? — задыхающимся шёпотом, чтобы не слышала родильница, остановил он его. — Что вы, с ума сошли? Раны, кровь, антисептика, не говоря уж о психическом потрясении. Хорош! А еще врач.

— Да разве я… Я только одним глазком. Отсюда. Сквозь щелку.

— А, это другое дело. Так и быть. Но чтобы мне!.. Смотрите! Если заметит, убью, живого места не оставлю!

В палате спиной к двери стояли две женщины в халатах, акушерка и нянюшка. На нянюшкниой руке жилился писклявый и нежный человеческий отпрыск, стягиваясь и растягиваясь, как кусок темно-красной резины. Акушерка накладывала лигатуры на пуповину, чтобы отделить ребенка от последа. Тоня лежала посередине палаты на хирургической койке с подъемною доскою. Она лежала довольно высоко. Юрию Андреевичу, который всё преувеличивал от волнения, показалось, что она лежит примерно на уровне конторок, за которыми пишут стоя.

Поднятая к потолку выше, чем это бывает с обыкновенными смертными, Тоня тонула в парах выстраданного, она как бы дымилась от изнеможения. Тоня возвышалась посреди палаты, как высилась бы среди бухты только что причаленная и разгруженная барка, совершающая переходы через море смерти к материку жизни с новыми душами, переселяющимися сюда неведомо откуда. Она только что произвела высадку одной такой души и теперь лежала на якоре, отдыхая всей пустотой своих облегченных боков. Вместе с ней отдыхали ее надломленные и натруженные снасти и обшивка, и ее забвение, ее угасшая память о том, где она недавно была, что переплыла и как причалила.

И так как никто не знал географии страны, под флагом которой она пришвартовалась, было неизвестно, на каком языке обратиться к ней.

На службе все наперерыв поздравляли его. — Как быстро они узнали! — удивлялся Юрий Андреевич.

Он прошел в ординаторскую, которую назвали кабаком и помойной ямой, потому что вследствие тесноты, вызванной загруженностью больницы, теперь в этой комнате раздевались, заходя в нее в калошах с улицы, забывали в ней посторонние предметы, занесенные из других помещений, сорили окурками и бумагой.

У окна ординаторской стоял обрюзгший прозектор и, подняв руки, рассматривал на свет поверх очков какую-то мутную жидкость в склянке.

— Поздравляю, — сказал он, продолжая смотреть в том же направлении и даже не удостоив Юрия Андреевича взглядом.

— Спасибо. Я тронут.

— Не стоит благодарности. Я тут ни при чем. Вскрывал Пичужкин. Но все поражены. Эхинококк. Вот это, говорят, диагност! Только и разговору.

В это время в комнату вошел главный врач больницы. Он поздоровался с обоими и сказал:

— Чорт знает что. Проходной двор, а не ординаторская, что за безобразие! Да, Живаго, представьте — эхинококк! Мы были не правы. Поздравляю. И затем — неприятность. Опять пересмотр вашей категории. На этот раз отстоять вас не удастся. Страшная нехватка военно-медицинского персонала. Придется вам понюхать пороху.

6

Антиповы сверх ожидания очень хорошо устроились в Юрятине.

Гишаров поминали тут добром. Это облегчило Ларе трудности, сопряженные с водворением на новом месте.

Лара вся была в трудах и заботах. На ней были дом и их трехлетняя девчурка Катенька. Как ни старалась рыжая Марфутка, прислуживавшая у Антиповых, её помощь была недостаточна.

Лариса Федоровна входила во все дела Павла Павловича. Она сама преподавала в женской гимназии. Лара работала не покладая рук и была счастлива. Это была именно та жизнь, о которой она мечтала.

Ей нравилось в Юрятине. Это был её родной город. Он стоял на большой реке Рыньве, судоходной на своем среднем и нижнем течении, и находился на линии одной из уральских железных дорог.

Приближение зимы в Юрятине ознаменовывалось тем, что владельцы лодок поднимали их с реки на телегах в город. Тут их развозили по своим дворам, где лодки зимовали до весны под открытым небом. Перевернутые лодки, белеющие на земле в глубине дворов, означали в Юрятине то же самое, что в других местах осенний перелет журавлей или первый снег.

Такая лодка, под которою Катенька играла как под выпуклою крышею садового павильона, лежала белым крашеным дном вверх на дворе дома, арендованного Антиповыми.

Ларисе Федоровне по душе были нравы захолустья, по-северному окающая местная интеллигенция в валенках и теплых кацавейках из серой фланели, их наивная доверчивость. Лару тянуло к земле и простому народу.

По странности как раз сын московского железнодорожного рабочего Павел Павлович оказался неисправимым столичным жителем. Он гораздо строже жены относился к юрятинцам. Его раздражали их дикость и невежество.

Теперь задним числом выяснилось, что у него была необычайная способность приобретать и сохранять знания, почерпнутые из беглого чтения. Он уже и раньше, отчасти с помощью Лары, прочел очень много.

За годы уездного уединения начитанность его так возросла, что уже и Лара казалась ему недостаточно знающей. Он был головою выше педагогической среды своих сослуживцев и жаловался, что он среди них задыхается. В это военное время ходовой их патриотизм, казенный и немного квасной, не соответствовал более сложным формам того же чувства, которое питал Антипов.

Павел Павлович кончил классиком. Он преподавал в гимназии латынь и древнюю историю. Но в нем, бывшем реалисте, вдруг проснулась заглохшая было страсть к математике, физике и точным наукам. Путем самообразования он овладел всеми этими предметами в университетском объеме. Он мечтал при первой возможности сдать по ним испытания при округе, переопределиться по какой-нибудь математической специальности и перевестись с семьею в Петербург. Усиленные ночные занятия расшатали здоровье Павла Павловича. У него появилась бессонница.

С женой у него были хорошие, но слишком непростые отношения. Она подавляла его своей добротой и заботами, а он не позволял себе критиковать ее. Он остерегался, как бы в невиннейшем его замечании не послышался ей какой-нибудь мнимо затаенный упрек, в том, например, что она белой, а он — черной кости, или в том, что до него она принадлежала другому.

Боязнь, чтобы она не заподозрила его в какой-нибудь несправедливо-обидной бессмыслице, вносила в их жизнь искусственность. Они старались переблагородничать друг друга и этим всё осложняли.

У Антиповых были гости, несколько педагогов — товарищей Павла Павловича, начальница Лариной гимназии, один участник третейского суда, на котором Павел Павлович тут однажды выступал примирителем, и другие. Все они, с точки зрения Павла Павловича, были набитые дураки и дуры. Он поражался Ларе, любезной со всеми, и не верил, чтобы кто-нибудь тут мог искренне нравиться ей.

Когда гости ушли, Лара долго проветривала, подметала комнаты, мыла с Марфуткою на кухне посуду. Потом, удостоверившись, что Катенька хорошо укрыта и Павел спит, быстро разделась, потушила лампу и легла рядом с мужем с естественностью ребенка, взятого в постель к матери.

Но Антипов притворялся, что спит, — он не спал. У него был припадок обычной за последнее время бессонницы. Он знал, что проваляется еще так без сна часа три-четыре. Чтобы нагулять себе сон и избавиться от оставленного гостями табачного чада, он тихонько встал и в шапке и шубе поверх нижнего белья вышел на улицу.

Была ясная осенняя ночь с морозом. Под ногами у Антипова звонко

крошились хрупкие ледяные пластинки. Звездное небо, как пламя горящего спирта, озаряло голубым движущимся отсветом черную землю с комками замерзшей грязи.

Дом, в котором жили Антиповы, находился в части города, противоположной пристани. Дом был последним на улице. За ним начиналось поле. Его пересекала железная дорога. Близ линии стояла сторожка. Через рельсы был проложен переезд.

Антипов сел на перевернутую лодку и посмотрел на звезды.

Мысли, к которым он привык за последние годы, охватили его с тревожною силой. Ему представилось, что их рано или поздно надо додумать до конца, и лучше это сделать сегодня.

Так дальше не может продолжаться, — думал он. — Но ведь все это можно было предвидеть раньше, он поздно хватился.

Зачем позволяла она ему ребенком так заглядываться на себя и делала из него, что хотела? Отчего не нашлось у него ума вовремя отказаться от нее, когда она сама на этом настаивала зимою перед их свадьбой? Разве он не понимает, что она любит не его, а свою благородную задачу по отношению к нему, свой олицетворенный подвиг? Что общего между этой вдохновенной и похвальною миссией и настоящей семейной жизнью? Хуже всего то, что он по сей день любит её с прежнею силой. Она умопомрачительно хороша. А может быть и у него это не любовь, а благодарная растерянность перед её красотою и великодушием?

Фу ты, разберись-ка в этом! Тут сам чорт ногу сломит.

Так что же в таком случае делать? Освободить Лару и Катеньку от этой подделки? Это даже важнее, чем освободиться самому. Да, но как? Развестись? Утопиться? — Фу, какая гадость, — возмутился он. — Ведь я никогда не пойду на это.

Тогда зачем называть эти эффектные мерзости хотя бы в мыслях?

Он посмотрел на звезды, словно спрашивая у них совета. Они мерцали, частые и редкие, крупные и мелкие, синие и радужно-переливчатые. Неожиданно их мерцание затмилось, и двор с домом, лодкою и сидящим на ней Антиповым озарился резким, мечущимся светом, словно кто-то бежал с поля к воротам, размахивая зажженным факелом. Это, выбрасывая в небо клубы желтого, огнем пронизанного дыма, шел мимо переезда на запад воинский поезд, как они без счету проходили тут днем и ночью начиная с прошлого года.

Павел Павлович улыбнулся, встал с лодки и пошел спать.

Желаемый выход нашелся.

7

Лариса Федоровна обомлела и сначала не поверила своим ушам, когда узнала о Пашином решении. — Бессмыслица. Очередная причуда, — подумала она. — Не обращать внимания, и сам обо всем забудет.

Но выяснилось, что приготовлениям мужа уже две недели давности, бумаги в воинском присутствии, в гимназии имеется заместитель, и из Омска пришло извещение о его приеме в тамошнее военное училище. Подошли сроки его отъезда.

Лара завыла, как простая баба, и, хватая Антипова за руки, стала валяться у него в ногах.

— Паша, Пашенька, — кричала она, — на кого ты меня и Катеньку оставляешь? Не делай этого, не делай! Ничего не поздно. Я все исправлю. Да ты ведь толком и доктору-то не показывался. С твоим-то сердцем. Стыдно? А приносить семью в жертву какому-то сумасшествию не стыдно? Добровольцем! Всю жизнь смеялся над Родькой пошляком и вдруг завидно стало!

Самому захотелось саблей позвенеть, поофицерствовать. Паша, что с тобой, я не узнаю тебя! Подменили тебя, что ли, или ты белены объелся? Скажи мне на милость, скажи честно, ради Христа, без заученных фраз, это ли нужно России?

Вдруг она поняла, что дело не в этом. Неспособная осмыслить частности, она уловила главное. Она угадала, что Патуля заблуждается насчет её отношения к нему. Он не оценил материнского чувства, которое она всю жизнь подмешивает в свою нежность к нему, и не догадывается, что такая любовь больше обыкновенной женской.

Она закусила губы, вся внутренне съежилась, как побитая, и, ничего не говоря и молча глотая слезы, стала собирать мужа в дорогу.

Когда он уехал, ей показалось, что стало тихо во всем городе и даже в меньшем количестве стали летать по небу вороны. «Барыня, барыня», — безуспешно окликала её Марфутка.

«Мама, мамочка», — без конца лепетала Катенька, дергая её за рукав. Это было серьезнейшее поражение в её жизни. Лучшие, светлейшие её надежды рухнули.

По письмам из Сибири Лара знала все о муже. Скоро у него наступило просветление. Он очень тосковал по жене и дочери.

Через несколько месяцев Павла Павловича выпустили досрочно прапорщиком и так же неожиданно отправили с назначением в действующую армию. Он проехал в крайней экстренности далеко стороной

мимо Юрятина и в Москве не имел времени с кем-либо повидаться.

Стали приходить его письма с фронта, более оживленные и не такие печальные, как из Омского училища. Антипову хотелось отличиться, чтобы в награду за какую-нибудь военную заслугу или в результате легкого ранения отпроситься в отпуск на свидание с семьей. Возможность выдвинуться представилась.

Вслед за недавно совершенным прорывом, который стал впоследствии известен под именем Брусиловского, армия перешла в наступление. Письма от Антипова прекратились. Вначале это не беспокоило Лару. Пашино молчание она объясняла развивающимися военными действиями и невозможностью писать на маршах.

Осенью движение армии приостановилось. Войска окапывались.

Но об Антипове по-прежнему не было ни слуху ни духу. Лариса Федоровна стала тревожиться и наводить справки, сначала у себя в Юрятине, а потом по почте в Москве и на фронте, по прежнему полевому адресу Пашиной части. Нигде ничего не знали, ниоткуда не приходило ответа.

Как многие дамы-благотворительницы в уезде, Лариса Федоровна с самого начала войны оказывала посильную помощь в госпитале, развернутом при Юрятинской земской больнице.

Теперь она занялась серьезно начатками медицины и сдала при больнице экзамен на звание сестры милосердия.

В этом качестве она отпросилась на полгода со службы из гимназии, оставила квартиру в Юрятине на попечение Марфутки и с Катенькой на руках поехала в Москву. Тут она пристроила дочь у Липочки, муж которой, германский подданный Фризенданк, вместе с другими гражданскими пленными был интернирован в Уфе.

Убедившись в бесполезности своих розысков на расстоянии, Лариса Федоровна решила перенести их на место недавних происшествий. С этою целью она поступила сестрой на санитарный поезд, отправлявшийся через город Лиски в Мезо-Лаборч, на границу Венгрии. Так называлось место, откуда Паша написал ей свое последнее письмо.

8

На фронт в штаб дивизии пришел поезд-баня, оборудованный на средства жертвователей Татьянинским комитетом помощи раненым.

В классном вагоне длинного поезда, составленного из коротких некрасивых теплушек, приехали гости, общественные деятели из Москвы,

с подарками солдатам и офицерам. В их числе был Гордон. Он узнал, что дивизионный лазарет, в котором, по его сведениям, работал друг его детства Живаго, размещен в близлежащей деревне.

Гордон достал разрешение, необходимое для движения по прифронтовой зоне, и с пропуском в руках поехал навестить приятеля на отправлявшейся в ту сторону фурманке.

Возчик, белорус или литовец, говорил по-русски. Страх шпиономании сводил все слова к одному казенному, наперед известному образцу. Показная благонамеренность бесед не располагала к разговорам. Большую часть пути едущий и возница молчали.

В штабе, где привыкли передвигать целые армии и меряли расстояния стоверстными переходами, уверяли, будто деревня где-то рядом, верстах в двадцати или двадцати пяти. На самом деле до нее оказалось больше восьмидесяти.

Всю дорогу в части горизонта, приходившейся налево к направлению их движения, недружелюбно урчало и погромыхивало.

Гордон ни разу в жизни не был свидетелем землетрясения. Но он правильно рассудил, что угрюмое и за отдаленностью еле различимое брюзжание вражеской артиллерии более всего сравнимо с подземными толчками и гулами вулканического происхождения.

Когда завечерело, низ неба в той стороне вспыхнул розовым трепещущим огнем, который не потухал до самого утра.

Возница вез Гордона мимо разрушенных деревень. Часть их была покинута жителями. В других — люди ютились в погребах глубоко под землею. Такие деревни представляли груды мусора и щебня, которые тянулись так же в линию, как когда-то дома. Эти сгоревшие селения были сразу обозримы из конца в конец, как пустыри без растительности. На их поверхности копошились старухи погорелки, каждая на своем собственном пепелище, что-то откапывая в золе и все время куда-то припрятывая, и воображали себя укрытыми от посторонних взоров, точно вокруг них были прежние стены. Они встречали и провожали Гордона взглядом, как бы вопрошавшим, скоро ли опомнятся на свете и вернутся в жизни покой и порядок.

Ночью навстречу едущим попался разъезд. Им велели своротить с грунтовой дороги обратно и объезжать эти места кружным проселком. Возчик не знал новой дороги. Они часа два проплутали без толку. Перед рассветом путник с возницею приехали в селение, носившее требуемое название. В нем ничего не слыхали о лазарете. Скоро выяснилось, что в округе две одноименных деревни, эта и разыскиваемая. Утром они

достигли цели. Когда Гордон проезжал околицей, издававшей запах аптекарской ромашки и йодоформа, он думал, что не будет заночевывать у Живаго, а, проведя день в его обществе, вечером выедет назад на железнодорожную станцию к оставшимся товарищам. Обстоятельства задержали его тут больше недели.

9

В эти дни фронт зашевелился. На нем происходили внезапные перемены. К югу от местности, в которую заехал Гордон, одно из наших соединений удачной атакой отдельных составлявших его частей прорвало укрепленные позиции противника. Развивая свой удар, группа наступающих все глубже врезалась в его расположение. За нею следовали вспомогательные части, расширявшие прорыв. Постепенно отставая, они оторвались от головной группы. Это повело к её пленению. В этой обстановке взят был в плен прапорщик Антипов, вынужденный к этому сдачею своей полуроты.

О нем ходили превратные слухи. Его считали погибшим и засыпанным землею во взрывной воронке. Так передавали со слов его знакомого, подпоручика одного с ним полка Галиуллина, якобы видевшего его гибель в бинокль с наблюдательного пункта, когда Антипов пошел со своими солдатами в атаку.

Перед глазами Галиуллина было привычное зрелище атакующей части. Ей предстояло пройти быстрыми шагами, почти бегом, разделявшее обе армии осеннее поле, поросшее качающейся на ветру сухою полынью и неподвижно торчащим кверху колючим будяком. Дерзостью своей отваги атакующие должны были выманить на штыки себе или забросать гранатами и уничтожить засевших в противоположных окопах австрийцев. Поле казалось бегущим бесконечным. Земля ходила у них под ногами, как зыбкая болотная почва. Сначала впереди, а потом вперемежку вместе с ними бежал их прапорщик, размахивая над головой револьвером и крича во весь, до ушей разодранный рот «ура», которого ни он, ни бежавшие вокруг солдаты не слыхали. Через правильные промежутки бежавшие ложились на землю, разом подымались на ноги и с возобновленными криками бежали дальше. Каждый раз вместе с ними, но совсем по-другому, нежели они, падали во весь рост, как высокие деревья при валке леса, отдельные подбитые и больше не вставали.

— Перелеты. Телефонируйте на батарею, — сказал встревоженный Галиуллин стоявшему рядом артиллерийскому офицеру. — Да нет. Они правильно делают, что перенесли огонь поглубже.

В это время атакующие подошли на сближение с неприятелем.

Огонь прекратили. В наставшей тишине у стоявших на наблюдательном заколотились сердца явственно и часто, словно они были на месте Антипова и, как он, подведя людей к краю австрийской щели, в

следующую минуту должны были выказать чудеса находчивости и храбрости. В это мгновение впереди один за другим взорвались два немецких шестнадцатидюймовых снаряда.

Черные столбы земли и дыма скрыли все последующее.

— Йэ алла! Готово! Кончал базар! — побледневшими губами прошептал Галиуллин, считая прапорщика и солдат погибшими.

Третий снаряд лег совсем около наблюдательного. Низко пригибаясь к земле, все поспешили убраться с него подальше.

Галиуллин спал в одном блиндаже с Антиповым. Когда в полку примирились с мыслью, что он убит и больше не вернется, Галиуллину, хорошо знавшему Антипова, поручили взять на хранение его имущество для передачи в будущем его жене, фотографические карточки которой во множестве попадались среди вещей Антипова.

Недавний прапорщик из вольноопределяющихся, механик Галиуллин, сын дворника Гимазетдина с тиверзинского двора и в далеком прошлом — слесарский ученик, которого избивал мастер Худолеев, своим возвышением обязан был своему былому истязателю.

Выйдя в прапорщики, Галиуллин неизвестно как и помимо своей воли попал на теплое и укромное место в один из тыловых захолустных гарнизонов. Там он распоряжался командой полуинвалидов, с которыми такие же дряхлые инструктора-ветераны по утрам проходили забытый ими строй.

Кроме того, Галиуллин проверял, правильно ли они расставляют караулы у интендантских складов. Это было беззаботное житье — больше ничего от него не требовалось. Как вдруг вместе с пополнением, состоявшим из ополченцев старых сроков и поступившим из Москвы в его распоряжение, прибыл слишком хорошо ему известный Петр Худолеев.

— А, старые знакомые! — проговорил, хмуро усмехаясь, Галиуллин.

— Так точно, ваше благородие, — ответил Худолеев, стал во фронт и откозырял.

Так просто это не могло кончиться. При первой же строевой оплошности прапорщик наорал на нижнего чина, а когда ему показалось, что солдат смотрит не прямо во все глаза на него, а как-то неопределенно в сторону, хряснул его по зубам и отправил на двое суток на хлеб и воду на гауптвахту.

Теперь каждое движение Галиуллина пахло отместкою за старое. А сводить счеты таким способом в условиях палочной субординации было игрой слишком беспроигрышной и неблагородной. Что было делать? Оставаться обоим в одном месте было дальше невозможно. Но под каким

предлогом и куда мог офицер переместить солдата из назначенной ему части, кроме отдачи его в дисциплинарную? С другой стороны, какие основания мог придумать Галиуллин для просьбы о собственном переводе?

Оправдываясь скукой и бесполезностью гарнизонной службы, Галиуллин отпросился на фронт. Это зарекомендовало его с хорошей стороны, а когда в ближайшем деле он показал другие свои качества, выяснилось, что это отличный офицер, и он быстро был произведен из прапорщиков в подпоручики.

Галиуллин знал Антипова с тиверзинских времен. В девятьсот пятом году, когда Паша Антипов полгода прожил у Тиверзиных, Юсупка ходил к нему в гости и играл с ним по праздникам. Тогда же он раз или два видел у них Лару. С тех пор он ничего о них не слыхал. Когда в их полк попал Павел Павлович из Юрятина, Галиуллин поражен был происшедшею со старым приятелем переменой. Из застенчивого, похожего на девушку и смешливого чистюли-шалуна вышел нервный, все на свете знающий, презрительный ипохондрик. Он был умен, очень храбр, молчалив и насмешлив. Временами, глядя на него, Галиуллин готов был поклясться, что видит в тяжелом взгляде Антипова, как в глубине окна, кого-то второго, прочно засевшую в нем мысль, или тоску по дочери, или лицо его жены. Антипов казался заколдованным, как в сказке. И вот его не стало, и на руках Галиуллина остались бумаги и фотографии Антипова и тайна его превращения.

Рано или поздно до Галиуллина должны были дойти Ларины запросы. Он собрался ответить ей. Но было горячее время.

Ответить по-настоящему он был не в силах. А ему хотелось подготовить её к ожидавшему её удару. Так он все откладывал большое обстоятельное письмо к ней, пока не узнал, будто она сама где-то на фронте, сестрою. И было неизвестно, куда адресовать ей теперь письмо.

10

— Ну как? Будут сегодня лошади? — спрашивал Гордон доктора Живаго, когда тот приходил днем домой обедать в галицийскую избу, в которой они стояли.

— Да какие там лошади? И куда ты поедешь, когда ни вперед ни назад. Кругом страшная путаница. Никто ничего не понимает.

На юге мы обошли или прорвали немцев в нескольких местах, причем, говорят, несколько наших распыленных единиц попали при этом в мешок, а на севере немцы перешли Свенту, считавшуюся в этом месте

непроходимой. Это кавалерия, численностью до корпуса. Они портят железные дороги, уничтожают склады и, по-моему, окружают нас. Видишь, какая картина. А ты говоришь — лошади. Ну, живее, Карпенко, накрывай и поворачивайся. Что у нас сегодня? А, телячьи ножки. Великолепно.

Санитарная часть с лазаретом и всеми подведомственными отделами была разбросана по деревне, которая чудом уцелела.

Дома ее, поблескивавшие на западный манер узкими многостворчатыми окнами во всю стену, были до последнего сохранны.

Стояло бабье лето, последние ясные дни жаркой золотой осени. Днем врачи и офицеры растворяли окна, били мух, черными роями ползавших по подоконникам и белой оклейке низких потолков, и, расстегнув кителя и гимнастерки, обливались потом, обжигаясь горячими щами или чаем, а ночью садились на корточки перед открытыми печными заслонками, раздували потухающие угли под неразгорающимися сырыми дровами и со слезящимися от дыма глазами ругали денщиков, не умеющих топить по-человечески.

Была тихая ночь. Гордон и Живаго лежали друг против друга на лавках у двух противоположных стен. Между ними был обеденный стол и длинное, узенькое, от стены к стене тянувшееся окно. В комнате было жарко натоплено и накурено.

Они открыли в окне две крайних оконницы и вдыхали ночную осеннюю свежесть, от которой потели стекла.

По обыкновению они разговаривали, как все эти дни и ночи.

Как всегда, розовато пламенел горизонт в стороне фронта, и когда в ровную, ни на минуту не прекращавшуюся воркотню обстрела падали более низкие, отдельно отличимые и увесистые удары, как бы сдвигавшие почву чуть-чуть в сторону, Живаго прерывал разговор из уважения к звуку, выдерживал паузу и говорил:

— Это Берта, немецкое шестнадцатидюймовое, в шестьдесят пудов весом штучка, — и потом возобновлял беседу, забывая о чем был разговор.

— Чем это так все время пахнет в деревне? — спрашивал Гордон. — Я с первого дня заметил. Так слащаво-приятно и противно. Как мышами.

— А, я знаю, о чем ты. Это — конопля. Тут много конопляников. Конопля сама по себе издает томящий и назойливый запах падали. Кроме того, в районе военных действий, когда в коноплю заваливаются убитые, они долго остаются необнаруженными и разлагаются. Трупный запах очень распространен здесь, это естественно. Опять Берта. Ты слышишь?

В течение этих дней они переговорили обо всем на свете.

Гордон знал мысли приятеля о войне и о духе времени. Юрий Андреевич рассказал ему, с каким трудом он привыкал к кровавой логике взаимоистребления, к виду раненых, в особенности к ужасам некоторых современных ранений, к изуродованным выживающим, превращенным нынешнею техникой боя в куски обезображенного мяса.

Каждый день Гордон куда-нибудь попадал, сопровождая Живаго, и благодаря ему что-нибудь видел. Он, понятно, сознавал всю безнравственность праздного разглядывания чужого мужества и того, как другие нечеловеческим усилием воли побеждают страх смерти и чем при этом жертвуют и как рискуют. Но бездеятельные и беспоследственные вздохи по этому поводу казались ему ничуть не более нравственными. Он считал, что нужно вести себя сообразно положению, в которое ставит тебя жизнь, честно и естественно.

Что от вида раненых можно упасть в обморок, он проверил на себе при поездке в летучий отряд Красного Креста, который работал к западу от них, на полевом перевязочном пункте почти у самых позиций.

Они приехали на опушку большого леса, наполовину срезанного артиллерийским огнем. В поломанном и вытоптанном кустарнике валялись вверх тормашками разбитые и покореженные орудийные передки. К дереву была привязана верховая лошадь. С деревянной постройки лесничества, видневшейся в глубине, была снесена половина крыши. Перевязочный пункт помещался в конторе лесничества и в двух больших серых палатках, разбитых через дорогу от лесничества, посреди леса.

— Напрасно я взял тебя сюда, — сказал Живаго. — Окопы совсем рядом, верстах в полутора или двух, а наши батареи вон там, за этим лесом. Слышишь, что творится? Не изображай, пожалуйста, героя — не поверю. У тебя душа теперь в пятках, и это естественно. Каждую минуту может измениться положение. Сюда будут залетать снаряды.

На земле у лесной дороги, раскинув ноги в тяжелых сапогах, лежали на животах и спинах запыленные и усталые молодые солдаты в пропотевших на груди и лопатках гимнастерках — остаток сильно поредевшего отделения. Их вывели из продолжающегося четвертые сутки боя и отправляли в тыл на короткий отдых. Солдаты лежали как каменные, у них не было сил улыбаться и сквернословить, и никто не повернул головы, когда в глубине леса на дороге загромыхало несколько быстро приближающихся таратаек. Это на рысях, в безрессорных тачанках, которые подскакивали кверху и доламывали несчастным кости и выворачивали внутренности, подвозили раненых к перевязочному пункту, где им подавали первую помощь, наспех бинтовали и в некоторых, особо

экстренных случаях оперировали на скорую руку. Всех их полчаса тому назад, когда огонь стих на короткий промежуток, в ужасающем количестве вынесли с поля перед окопами. Добрая половина их была без сознания.

Когда их подвезли к крыльцу конторы, с него спустились санитары с носилками и стали разгружать тачанки. Из палатки, придерживая её полости снизу рукою, выглянула сестра милосердия. Это была не её смена. Она была свободна. В лесу за палатками громко бранились двое. Свежий высокий лес гулко разносил отголоски их спора, но слов не было слышно. Когда привезли раненых, спорящие вышли на дорогу, направляясь к конторе. Горячащийся офицерик кричал на врача летучего отряда, стараясь добиться от него, куда переехал ранее стоявший тут в лесу артиллерийский парк. Врач ничего не знал, это его не касалось. Он просил офицера отстать и не кричать, потому что привезли раненых и у него есть дело, а офицерик не унимался и разносил Красный Крест и артиллерийское ведомство и всех на свете. К врачу подошел Живаго. Они поздоровались и поднялись в лесничество. Офицер с чуть-чуть татарским акцентом, продолжая громко ругаться, отвязал лошадь от дерева, вскочил на нее и ускакал по дороге в глубину леса. А сестра все смотрела и смотрела.

Вдруг лицо её исказилось от ужаса.

— Что вы делаете? Вы с ума сошли, — крикнула она двум легко раненным, которые шли без посторонней помощи между носилками на перевязку, и, выбежав из палатки, бросилась к ним на дорогу.

На носилках несли несчастного, особенно страшно и чудовищно изуродованного. Дно разорвавшегося стакана, развороти вшего ему лицо, превратившего в кровавую кашу его язык и зубы, но не убившего его, засело у него в раме челюстных костей, на месте вырванной щеки. Тоненьким голоском, не похожим на человеческий, изувеченный испускал короткие, обрывающиеся стоны, которые каждый должен был понять как мольбу поскорее прикончить его и прекратить его немыслимо затянувшиеся мучения.

Сестре милосердия показалось, что под влиянием его стонов шедшие рядом легко раненные собираются голыми руками тащить из его щеки эту страшную железную занозу.

— Что вы, разве можно так? Это хирург сделает, особыми инструментами. Если только придется. (Боже, Боже, прибери его, не заставляй меня сомневаться в твоем существовании!) В следующую минуту при поднятии на крыльцо изуродованный вскрикнул, содрогнулся всем телом и испустил дух.

Скончавшийся изуродованный был рядовой запаса Гимазетдин,

кричавший в лесу офицер — его сын, подпоручик Галиуллин, сестра была Лара, Гордон и Живаго — свидетели, все они были вместе, все были рядом, и одни не узнали друг друга, другие не знали никогда, и одно осталось навсегда неустановленным, другое стало ждать обнаружения до следующего случая, до новой встречи.

11

В этой полосе чудесным образом сохранились деревни. Они составляли необъяснимо уцелевший островок среди моря разрушений. Гордон и Живаго возвращались вечером домой.

Садилось солнце. В одной из деревень, мимо которой они проезжали, молодой казак при дружном хохоте окружающих подбрасывал кверху медный пятак, заставляя старого седобородого еврея в длинном сюртуке ловить его. Старик неизменно упускал монету. Пятак, пролетев мимо его жалко растопыренных рук, падал в грязь. Старик нагибался за медяком, казак шлепал его при этом по заду, стоявшие кругом держались за бока и стонали от хохота, В этом и состояло все развлечение. Пока что оно было безобидно, но никто не мог поручиться, что оно не примет более серьезного оборота. Из-за противоположной избы выбегала на дорогу, с криками протягивала руки к старику и каждый раз вновь боязливо скрывалась его старуха. В окно избы смотрели на дедушку и плакали две девочки.

Ездовой, которому все это показалось черезвычайно уморительным, повел лошадей шагом, чтобы дать время господам позабавиться. Но Живаго, подозвав казака, выругал его и велел прекратить глумление.

— Слушаюсь, ваше благородие, — с готовностью ответил тот.

— Мы ведь не знамши, только так, для смеха.

Всю остальную дорогу Гордон и Живаго молчали.

— Это ужасно, — начал в виду их собственной деревни Юрий Андреевич. — Ты едва ли представляешь себе, какую чашу страданий испило в эту войну несчастное еврейское население.

Ее ведут как раз в черте его вынужденной оседлости. И за изведанное, за перенесенные страдания, поборы и разорение ему еще вдобавок платят погромами, издевательствами и обвинением в том, что у этих людей недостаточно патриотизма. А откуда быть ему, когда у врага они пользуются всеми правами, а у нас подвергаются одним гонениям. Противоречива самая ненависть к ним, её основа. Раздражает как раз то, что должно было бы трогать и располагать. Их бедность и скученность, их

слабость и неспособность отражать удары. Непонятно. Тут что-то роковое.

Гордон ничего не отвечал ему.

12

И вот опять они лежали по обе стороны длинного узкого окна, была ночь, и они разговаривали.

Живаго рассказывал Гордону, как он видел на фронте государя. Он хорошо рассказывал.

Это было в его первую весну на фронте. Штаб части, к которой он был прикомандирован, стоял в Карпатах, в котловине, вход в которую со стороны Венгерской долины запирала эта войсковая часть.

На дне котловины была железнодорожная станция. Живаго описывал Гордону внешний вид местности, горы, поросшие могучими елями и соснами, с белыми клоками зацепившихся за них облаков и каменными отвесами серого шифера и графита, которые проступали среди лесов, как голые проплешины, вытертые в густой шкуре. Было сырое, серое, как этот шифер, темное апрельское утро, отовсюду спертое высотами и оттого неподвижное и душное. Парило. Пар стоял над котловиной, и все курилось, все струями дыма тянулось вверх — паровозный дым со станции, серая испарина лугов, серые горы, темные леса, темные облака.

В те дни государь объезжал Галицию. Вдруг стало известно, что он посетит часть, расположенную тут, шефом которой он состоял.

Он мог прибыть с минуты на минуту. На перроне выставили почетный караул для его встречи. Прошли час или два томительного ожидания. Потом быстро один за другим прошли два свитских поезда. Спустя немного подошел царский.

В сопровождении великого князя Николая Николаевича государь обошел выстроившихся гренадер. Каждым слогом своего тихого приветствия он, как расплясавшуюся воду в качающихся ведрах, поднимал взрывы и всплески громоподобно прокатывавшегося ура.

Смущенно улыбавшийся государь производил впечатление более старого и опустившегося, чем на рублях и медалях. У него было вялое, немного отекшее лицо. Он поминутно виновато косился на Николая Николаевича, не зная, что от него требуется в данных обстоятельствах, и Николай Николаевич, почтительно наклоняясь к его уху, даже не словами, а движением брови или плеча выводил его из затруднения.

Царя было жалко в это серое и теплое горное утро, и было жутко при мысли, что такая боязливая сдержанность и застенчивость могут быть

сущностью притеснителя, что этою слабостью казнят и милуют, вяжут и решают.

— Он должен был произнесть что-нибудь такое вроде: я, мой меч и мой народ, как Вильгельм, или что-нибудь в этом духе. Но обязательно про народ, непременно. Но, понимаешь ли ты, он был по-русски естественен и трагически выше этой пошлости. Ведь в России немыслима эта театральщина. Потому что ведь это театральщина, не правда ли? Я еще понимаю, чем были народы при Цезаре, галлы там какие-нибудь, или свевы, или иллирийцы. Но ведь с тех пор это только выдумка, существующая для того, чтобы о ней произносили речи цари, и деятели, и короли: народ, мой народ.

Теперь фронт наводнен корреспондентами и журналистами.

Записывают «наблюдения», изречения народной мудрости, обходят раненых, строят новую теорию народной души. Это своего рода новый Даль, такой же выдуманный, лингвистическая графомания словесного недержания. Это один тип. А есть еще другой.

Отрывистая речь, «штрихи и сценки», скептицизм, мизантропия. К примеру, у одного (я сам читал) такие сентенции: «Серый день, как вчера. С утра дождь, слякоть. Гляжу в окно на дорогу. По ней бесконечной вереницей тянутся пленные. Везут раненых. Стреляет пушка. Снова стреляет, сегодня, как вчера, завтра, как сегодня, и так каждый день и каждый час…» Ты подумай только, как проницательно и остроумно!

Однако почему он обижается на пушку? Какая странная претензия требовать от пушки разнообразия! Отчего вместо пушки лучше не удивится он самому себе, изо дня в день стреляющему перечислениями, запятыми и фразами, отчего не прекратит стрельбы журнальным человеколюбием, торопливым, как прыжки блохи? Как он не понимает, что это он, а не пушка, должен быть новым и не повторяться, что из блокнотного накапливания большого количества бессмыслицы никогда не может получиться смысла, что фактов нет, пока человек не внес в них чего-то своего, какой-то доли вольничающего человеческого гения, какой-то сказки.

— Поразительно верно, — прервал его Гордон. — Теперь я тебе отвечу по поводу сцены, которую мы сегодня видали. Этот казак, глумившийся над бедным патриархом, равно как и тысячи таких же случаев, это, конечно, примеры простейшей низости, по поводу которой не философствуют, а бьют по морде, дело ясно.

Но к вопросу о евреях в целом философия приложима, и тогда она оборачивается неожиданной стороной. Но ведь тут я не скажу тебе ничего

нового. Все эти мысли у меня, как и у тебя, от твоего дяди.

Что такое народ? — спрашиваешь ты. Надо ли нянчиться с ним и не больше ли делает для него тот, кто, не думая о нем, самою красотой и торжеством своих дел увлекает его за собой во всенародность и, прославив, увековечивает? Ну конечно, конечно. Да и о каких народах может быть речь в христианское время? Ведь это не просто народы, а обращенные, претворенные народы, и все дело именно в превращении, а не в верности старым основаниям. Вспомним Евангелие. Что оно говорило на эту тему? Во-первых, оно не было утверждением: так-то, мол, и так-то. Оно было предложением наивным и несмелым. Оно предлагало: хотите существовать по-новому, как не бывало, хотите блаженства духа? И все приняли предложение, захваченные на тысячелетия.

Когда оно говорило, в царстве Божием нет эллина и иудея, только ли оно хотело сказать, что перед Богом все равны? Нет, для этого оно не требовалось, это знали до него философы Греции, римские моралисты, пророки Ветхого завета. Но оно говорило: в том сердцем задуманном новом способе существования и новом виде общения, которое называется царством Божиим, нет народов, есть личности.

Вот ты говорил, факт бессмысленен, если в него не внести смысла. Христианство, мистерия личности и есть именно то самое, что надо внести в факт, чтобы он приобрел значение для человека.

И мы говорили о средних деятелях, ничего не имеющих сказать жизни и миру в целом, о второразрядных силах, заинтересованных в узости, в том, чтобы все время была речь о каком-нибудь народе, предпочтительно малом, чтобы он страдал, чтобы можно было судить и рядить и наживаться на жалости. Полная и безраздельная жертва этой стихии — еврейство. Национальной мыслью возложена на него мертвящая необходимость быть и оставаться народом и только народом в течение веков, в которые силою, вышедшей некогда из его рядов, весь мир избавлен от этой принижающей задачи. Как это поразительно! Как это могло случиться? Этот праздник, это избавление от чертовщины посредственности, этот взлет над скудоумием будней, все это родилось на их земле, говорило на их языке и принадлежало к их племени. И они видели и слышали это и это упустили? Как могли они дать уйти из себя душе такой поглощающей красоты и силы, как могли думать, что рядом с её торжеством и воцарением они останутся в виде пустой оболочки этого чуда, им однажды сброшенной. В чьих выгодах это добровольное мученичество, кому нужно, чтобы веками покрывалось осмеянием и истекало кровью столько ни в чем не повинных стариков, женщин и детей, таких тонких и способных к добру и

сердечному общению! Отчего так лениво бездарны пишущие народолюбцы всех народностей? Отчего властители дум этого народа не пошли дальше слишком легко дающихся форм мировой скорби и иронизирующей мудрости? Отчего, рискуя разорваться от неотменимости своего долга, как рвутся от давления паровые котлы, не распустили они этого, неизвестно за что борющегося и за что избиваемого отряда? Отчего не сказали: «Опомнитесь. Довольно. Больше не надо. Не называйтесь, как раньше. Не сбивайтесь в кучу, разойдитесь. Будьте со всеми. Вы первые и лучшие христиане мира. Вы именно то, чему вас противопоставляли самые худшие и слабые из вас».

13

На другой день, придя к обеду, Живаго сказал:

— Вот тебе не терпится уехать, вот ты и накликал. Не могу сказать «твое счастье», ибо какое же это счастье, что нас опять теснят или поколотили? Дорога на восток свободна, а с запада нас жмут. Приказ всем военно-санитарным учреждениям сворачиваться. Снимаемся завтра или послезавтра. Куда — неизвестно. А белье Михаила Григорьевича, Карпенко, конечно, не стирано. Вечная история. Кума, кума, а спроси его толком, какая это кума, так он сам не знает, болван.

Он не слушал, что плел в свое оправдание денщик-санитар, и не обращал внимания на Гордона, огорченного тем, что он заносил живаговское белье и уезжает в его рубашке. Живаго продолжал:

— Эх, походное наше житье, цыганское кочевье. Когда сюда въезжали, все было не по мне — и печь не тут, и низкий потолок, и грязь, и духота. А теперь, хоть убей, не могу вспомнить, где мы до этого стояли. И, кажется, век бы тут прожил, глядя на этот угол печи с солнцем на изразцах и движущейся по ней тенью придорожного дерева.

Они стали, не торопясь, укладываться.

Ночью их разбудили шум и крики, стрельба и беготня. Деревня была зловеще озарена. Мимо окна мелькали тени. За стеной проснулись и задвигались хозяева.

— Сбегай на улицу, Карпенко, спроси, по какому случаю содом, — сказал Юрий Андреевич.

Скоро все стало известно. Сам Живаго, наскоро одевшись, ходил в лазарет, чтобы проверить слухи, которые оказались правильными. Немцы сломили на этом участке сопротивление.

Линия обороны передвинулась ближе к деревне и все приближалась.

Деревня была под обстрелом. Лазарет и учреждения спешно вывозили, не дожидаясь приказа об эвакуации. Всё предполагали закончить до рассвета.

— Ты поедешь с первым эшелоном, линейка сейчас отходит, но я сказал, чтобы тебя подождали. Ну прощай. Я провожу тебя и посмотрю, как тебя усадят.

Они бежали на другой конец деревни, где снаряжали отряд.

Пробегая мимо домов, они нагибались и прятались за их выступами. По улице пели и жужжали пули. С перекрестков, пересекаемых дорогами в поле, было видно, как над ним зонтами пламени раскидывались разрывы шрапнели.

— А ты как же? — на бегу спрашивал Гордон.

— Я потом. Надо будет еще вернуться домой, за вещами. Я со второй партией.

Они простились у околицы. Несколько телег и линейка, из которых состоял обоз, двинулись, наезжая друг на друга и постепенно выравниваясь. Юрий Андреевич помахал рукой уезжающему товарищу. Их освещал огонь загоревшегося сарая.

Так же стараясь идти вдоль изб, под прикрытием их углов, Юрий Андреевич быстро направился к себе назад. За два дома до его крыльца его свалила с ног воздушная волна разрыва и ранила шрапнельная пулька. Юрий Андреевич упал посреди дороги, обливаясь кровью, и потерял сознание.

14

Эвакуационный госпиталь был затерян в одном из городков Западного края у железной дороги, по соседству со ставкою.

Стояли теплые дни конца февраля. В офицерской палате для выздоравливающих по просьбе Юрия Андреевича, находившегося тут на излечении, было отворено окно близ его койки.

Приближался час обеда. Больные коротали оставшееся до него время кто чем мог. Им сказали, что в госпиталь поступила новая сестра и сегодня в первый раз будет их обходить. Лежавший против Юрия Андреевича Галиуллин просматривал только что полученные «Речь» и «Русское слово» и возмущался пробелами, оставленными в печати цензурою. Юрий Андреевич читал письма от Тони, доставленные полевою почтой сразу в том количестве, в каком они там накопились. Ветер шевелил страницами писем и листами газеты. Послышались легкие шаги. Юрий Андреевич поднял от письма глаза. В палату вошла Лара.

Юрий Андреевич и подпоручик каждый порознь, не зная этого друг о друге, её узнали. Она не знала никого из них. Она сказала:

— Здравствуйте. Зачем окно открыто? Вам не холодно? — и подошла к Галиуллину.

— На что жалуетесь? — спросила она и взяла его за руку, чтобы сосчитать пульс, но в ту же минуту выпустила её и села на стул у его койки, озадаченная.

— Какая неожиданность, Лариса Федоровна, — сказал Галиуллин. — Я служил в одном полку с вашим мужем и знал Павла Павловича. У меня для вас собраны его вещи.

— Не может быть, не может быть, — повторяла она. — Какая поразительная случайность. Так вы его знали? Расскажите же скорее, как все было? Ведь он погиб, засыпан землей? Ничего не скрывайте, не бойтесь. Ведь я все знаю.

У Галиуллина не хватило духу подтвердить её сведения, почерпнутые из слухов. Он решил соврать ей, чтобы её успокоить.

— Антипов в плену, — сказал он. — Он забрался слишком далеко вперед со своей частью во время наступления и очутился в одиночестве. Его окружили. Он был вынужден сдаться.

Но Лара не поверила Галиуллину. Ошеломляющая внезапность разговора взволновала ее. Она не могла справиться с нахлынувшими слезами и не хотела плакать при посторонних. Она быстро встала и вышла из палаты, чтобы овладеть собою в коридоре.

Через минуту она вернулась внешне спокойная. Она нарочно не глядела в угол на Галиуллина, чтобы снова не расплакаться.

Подойдя прямо к койке Юрия Андреевича, она сказала рассеянно и заученно:

— Здравствуйте. На что жалуетесь?

Юрий Андреевич наблюдал её волнение и слезы, хотел спросить ее, что с ней, хотел рассказать ей, как дважды в жизни видел ее, гимназистом и студентом, но он подумал, что это выйдет фамильярно и она поймет его не правильно. Потом он вдруг вспомнил мертвую Анну Ивановну в гробу и Тонины крики тогда в Сивцевом, и сдержался, и вместо всего этого сказал:

— Благодарю вас. Я сам врач и лечу себя собственными силами. Я ни в чем не нуждаюсь.

— За что он на меня обиделся? — подумала Лара и удивленно посмотрела на этого курносого, ничем не замечательного незнакомца.

Несколько дней была переменная, неустойчивая погода, теплый, заговаривающийся ветер ночами, которые пахли мокрой землею.

И все эти дни поступали странные сведения из ставки, приходили тревожные слухи из дому, изнутри страны. Прерывалась телеграфная связь с Петербургом. Всюду, на всех углах заводили политические разговоры.

В каждое дежурство сестра Антипова производила два обхода, утром и вечером, и перекидывалась ничего не значащими замечаниями с больными из других палат, с Галиуллиным, с Юрием Андреевичем. — Странный любопытный человек, — думала она. — Молодой и нелюбезный. Курносый и нельзя сказать, чтобы очень красивый. Но умный в лучшем смысле слова, с живым, подкупающим умом. Но дело не в этом. А дело в том, что надо поскорее заканчивать свои обязанности здесь и переводиться в Москву, поближе к Катеньке. А в Москве надо подавать на увольнение из сестер милосердия и возвращаться к себе в Юрятин на службу в гимназии. Ведь про бедного Патулечку все ясно, никакой надежды, тогда больше не к чему и оставаться в полевых героинях, ради его розысков только и было это нагорожено.

Что теперь там с Катенькой? Бедная сиротка (тут она принималась плакать). Замечаются очень резкие перемены в последнее время. Недавно были святы долг перед родиной, военная доблесть, высокие общественные чувства. Но война проиграна, это — главное бедствие, и от этого всё остальное, все развенчано, ничто не свято.

Вдруг все переменилось, тон, воздух, неизвестно как думать и кого слушаться. Словно водили всю жизнь за руку, как маленькую, и вдруг выпустили, учись ходить сама. И никого кругом, ни близких, ни авторитетов. Тогда хочется довериться самому главному, силе жизни или красоте или правде, чтобы они, а не опрокинутые человеческие установления управляли тобой, полно и без сожаления, полнее, чем бывало в мирной привычной жизни, закатившейся и упраздненной. Но в её случае, — вовремя спохватилась Лара, — такой целью и безусловностью будет Катенька. Теперь, без Патулечки, Лара только мать и отдаст все силы Катеньке, бедной сиротке.

Юрию Андреевичу писали, что Гордон и Дудоров без его разрешения выпустили его книжку, что её хвалят и пророчат ему большую литературную будущность, и что в Москве сейчас очень интересно и тревожно, нарастает глухое раздражение низов, мы накануне чего-то важного, близятся серьезные политические события.

Была поздняя ночь. Юрия Андреевича одолевала страшная сонливость. Он дремал с перерывами и воображал, что, наволновавшись за день, он не может уснуть, что он не спит. За окном позевывал и ворочался сонный, сонно дышащий ветер. Ветер плакал и лепетал: «Тоня, Шурочка, как я по

вас соскучился, как мне хочется домой, за работу!» И под бормотание ветра Юрий Андреевич спал, просыпался и засыпал в быстрой смене счастья и страданья, стремительной и тревожной, как эта переменная погода, как эта неустойчивая ночь.

Лара подумала: «Он проявил столько заботливости, сохранив эту память, эти бедные Патулечкины вещи, а я, такая свинья, даже не спросила, кто он и откуда».

В следующий же утренний обход, восполняя упущенное и заглаживая след своей неблагодарности, она расспросила обо всем этом Галиуллина и заохала и заахала.

«Господи, святая твоя воля! Брестская двадцать восемь, Тиверзины, революционная зима тысяча девятьсот пятого года!

Юсупка? Нет. Юсупки не знала или не помню, простите. Но год-то, год-то и двор! Ведь это правда, ведь действительно были такой двор и такой год! О как живо она вдруг все это опять ощутила! И стрельбу тогда, и (как это, дай Бог памяти) «Христово мнение»! О с какою силою, как проницательно чувствуют в детстве, впервые! Простите, простите, как вас, подпоручик? Да, да, вы мне раз уже сказали. Спасибо, о какое спасибо вам, Осип Гимазетдинович, какие воспоминания, какие мысли вы во мне пробудили!»

Весь день она ходила с «тем двором» в душе и все охала и почти вслух размышляла.

Подумать только, Брестская, двадцать восемь! И вот опять стрельба, но во сколько раз страшней! Это тебе не «мальчики стреляют». А мальчики выросли и все тут, в солдатах, весь простой народ с тех дворов и из таких же деревень.

Поразительно! Поразительно!

В помещение, стуча палками и костылями, вошли, вбежали и приковыляли инвалиды и не носилочные больные из соседних палат, и наперебой закричали:

— События чрезвычайной важности. В Петербурге уличные беспорядки. Войска петербургского гарнизона перешли на сторону восставших. Революция.

ЧАСТЬ пятая.

ПРОЩАНЬЕ СО СТАРЫМ

1

Городок назывался Мелюзеевым. Он стоял на черноземе. Тучей саранчи висела над его крышами черная пыль, которую поднимали валившие через него войска и обозы. Они двигались с утра до вечера в обоих направлениях, с войны и на войну, и нельзя было толком сказать, продолжается ли она, или уже кончилась.

Каждый день без конца, как грибы, вырастали новые должности. И на все их выбирали. Его самого, поручика Галиуллина, и сестру Антипову, и еще несколько человек из их компании, наперечет жителей больших городов, людей сведущих и видавших виды.

Они замещали посты в городском самоуправлении, служили комиссарами на мелких местах в армии и по санитарной части и относились к чередованию этих занятий, как к развлечению на открытом воздухе, как к игре в горелки. Но все чаще им хотелось с этих горелок домой, к своим постоянным занятиям.

Работа часто и живо сталкивала Живаго с Антиповой.

2

В дожди черная пыль в городе превращалась в темно-коричневую слякоть кофейного цвета, покрывавшую его улицы, в большинстве немощеные.

Городок был невелик. С любого места в нем тут же за поворотом открывалась хмурая степь, темное небо, просторы войны, просторы революции.

Юрий Андреевич писал жене:

«Развал и анархия в армии продолжаются. Предпринимают меры к поднятию у солдат дисциплины и боевого духа. Объезжал расположенные поблизости части.

Наконец вместо постскриптума, хотя об этом я мог бы написать тебе гораздо раньше, — работаю я тут рука об руку с некоей Антиповой, сестрой милосердия из Москвы, уроженкой Урала.

Помнишь, на елке в страшную ночь кончины твоей мамы девушка стреляла в прокурора? Ее, кажется, потом судили. Помнится, я тогда же

сказал тебе, что эту курсистку, когда она еще была гимназисткою, мы с Мишей видели в одних дрянных номерах, куда ездили с твоим папой, не помню с какою целью, ночью в трескучий мороз, как мне теперь кажется, во время вооруженного восстания на Пресне. Это и есть Антипова.

Несколько раз порывался домой. Но это не так просто.

Задерживают главным образом не дела, которые мы без ущерба могли бы передать другим. Трудности заключаются в самой поездке. Поезда то не ходят совсем, то проходят до такой степени переполненные, что сесть на них нет возможности.

Однако, разумеется, так не может продолжаться до бесконечности, и потому несколько человек вылечившихся, ушедших со службы и освобожденных, в том числе я, Галиуллин и Антипова, решили во что бы то ни стало разъезжаться с будущей недели, а для удобства посадки отправляться в разные дни поодиночке.

В любой день могу нагрянуть как снег на голову. Впрочем, постараюсь дать телеграмму».

Но еще до отъезда Юрий Андреевич успел получить ответное письмо Антонины Александровны.

В этом письме, в котором рыдания нарушали построения периодов, а точками служили следы слез и кляксы, Антонина Александровна убеждала мужа не возвращаться в Москву, а проследовать прямо на Урал за этой удивительной сестрою, шествующей по жизни в сопровождении таких знамений и стечений обстоятельств, с которыми не сравняться ее, Тониному, скромному жизненному пути.

«О Сашеньке и его будущем не беспокойся, — писала она. — Тебе не придется за него стыдиться. Обещаю воспитать его в тех правилах, пример которых ты ребенком видел в нашем доме».

«Ты с ума сошла, Тоня, — бросился отвечать Юрий Андреевич, — какие подозрения! Разве ты не знаешь, или знаешь недостаточно хорошо, что ты, мысль о тебе и верность тебе и дому спасали меня от смерти и всех видов гибели в течение этих двух лет войны, страшных и уничтожающих? Впрочем, к чему слова. Скоро мы увидимся, начнется прежняя жизнь, все объяснится.

Но то, что ты мне могла ответить так, пугает меня совсем по-другому. Если я подал повод для такого ответа, может быть, я веду себя действительно двусмысленно, и тогда виноват также перед этой женщиной, которую ввожу в заблуждение и перед которой должен буду извиниться. Я это сделаю, как только она вернется из объезда нескольких близлежащих деревень. Земство, прежде существовавшее только в

губерниях и уездах, теперь вводят в более мелких единицах, в волостях. Антипова уехала помогать своей знакомой, которая работает инструкторшей как раз по этим законодательным нововведениям.

Замечательно, что живя с Антиповой в одном доме, я до сих пор не знаю, где её комната, и никогда этим не интересовался».

3

Из Мелюзеева на восток и запад шли две большие дороги.

Одна, грунтовая, лесом, вела в торговавшее хлебом местечко Зыбушино, административно подчиненное Мелюзееву, но во всех отношениях его обогнавшее. Другая, насыпная из щебня, была проложена через высыхавшие летом болотистые луга и шла к Бирючам, узловой станции двух, скрещивавшихся невдалеке от Мелюзеева, железных дорог.

В июне в Зыбушине две недели продолжалась независимая Зыбушинская республика, провозглашенная зыбушинским мукомолом Блажейко.

Республика опиралась на дезертиров из двести двенадцатого пехотного полка, с оружием в руках покинувших позиции и через Бирючи пришедших в Зыбушино к моменту переворота.

Республика не признавала власти Временного правительства и отделилась от остальной России. Сектант Блажейко, в юности переписывавшийся с Толстым, объявил новое тысячелетнее зыбушинское царство, общность труда и имущества и переименовал волостное правление в апостолат.

Зыбушино всегда было источником легенд и преувеличений. Оно стояло в дремучих лесах, упоминалось в документах Смутного времени, и его окрестности кишели разбойниками в более позднюю пору. Притчей во языцех были состоятельность его купечества и фантастическое плодородие его почвы. Некоторые поверья, обычаи и особенности говора, отличавшие эту, западную, часть прифронтовой полосы, шли именно из Зыбушина.

Теперь такие же небылицы рассказывали про главного помощника Блажейко. Утверждали, будто это глухонемой от рождения, под влиянием вдохновения обретающий дар слова и по истечении озарения его снова теряющий.

В июле Зыбушинская республика пала. В местечко вошла верная Временному правительству часть. Дезертиров выбили из Зыбушина, и они отошли к Бирючам.

Там за путями на несколько верст кругом тянулись лесные вырубки, на

которых торчали заросшие земляникою пни, стояли наполовину растащенные штабеля старых невывезенных дров и разрушались землянки работавших тут когда-то сезонников лесорубов. Здесь и засели дезертиры.

4

Госпиталь, в котором лежал, а потом служил, и который собирался теперь покинуть доктор, помещался в особняке графини Жабринской, с начала войны пожертвованном владелицей в пользу раненых.

Двухэтажный особняк занимал одно из лучших мест в Мелюзееве. Он стоял на скрещении главной улицы с центральной площадью города, так называемым плацем, на котором раньше производили учение солдат, а теперь вечерами происходили митинги.

Положение на перекрестке с нескольких сторон открывало из особняка хорошие виды. Кроме главной улицы и площади, из него был виден двор соседей, к которому он примыкал, — бедное провинциальное хозяйство, ничем не отличавшееся от деревенского. Открывался также из него старый графинин сад, куда дом выходил заднею стеной.

Особняк никогда не представлял для Жабринской самостоятельной ценности. Ей принадлежало в уезде большое имение «Раздольное», и дом в городе служил только опорным пунктом для деловых наездов в город, а также сборным местом для гостей, съезжавшихся летом со всех сторон в имение.

Теперь в доме был госпиталь, а владелица была арестована в Петербурге, месте своего постоянного жительства.

Из прежней челяди в особняке оставались две любопытные женщины, старая гувернантка графининых дочерей, ныне замужних, мадемуазель Флери, и бывшая белая кухарка графини, Устинья.

Седая и румяная старуха, мадемуазель Флери, шаркая туфлями, в просторной поношенной кофте, неряхой и растрепой расхаживала по всему госпиталю, с которым была теперь на короткой ноге, как когда-то с семейством Жабринских, и ломаным языком что-нибудь рассказывала, проглатывая окончанья русских слов на французский лад. Она становилась в позу, размахивала руками и к концу болтовни разражалась хриплым хохотом, кончавшимся затяжным, неудержимым кашлем.

Мадемуазель знала подноготную сестры Антиповой. Ей казалось, что доктор и сестра должны друг другу нравиться.

Подчиняясь страсти к сводничанью, глубоко коренящейся в романской природе, мадемуазель радовалась, заставая обоих вместе,

многозначительно грозила им пальчиком и шаловливо подмигивала. Антипова недоумевала, доктор сердился, но мадемуазель, как все чудачки, больше всего ценила свои заблуждения и ни за что с ними не расставалась.

Еще более любопытную натуру представляла собою Устинья. Это была женщина с нескладно суживавшеюся кверху фигурою, которая придавала ей сходство с наседкой. Устинья была суха и трезва до ехидства, но с этой рассудительностью сочетала фантазию, необузданную по части суеверий.

Устинья знала множество народных заговоров и не ступала шагу, не зачуравшись от огня в печи и не зашептав замочной скважины от нечистой силы при уходе из дому. Она была родом зыбушинская. Говорили, будто она дочь сельского колдуна.

Устинья могла молчать годами, но до первого приступа, пока её не прорывало. Тут уж нельзя было её остановить. Ее страстью было вступаться за правду.

После падения Зыбушинской республики Мелюзеевский исполком стал проводить кампанию по борьбе с анархическими веяниями, шедшими из местечка. Каждый вечер на плацу сами собой возникали мирные и малолюдные митинги, на которые незанятые мелюзеевцы стекались, как в былое время летом на посиделки под открытым небом у ворот пожарной части. Мелюзеевский культпросвет поощрял эти собрания и посылал на них своих собственных или приезжих деятелей в качестве руководителей бесед. Те считали наиболее вопиющей нелепостью в россказнях о Зыбушине говорящего глухонемого, и особенно часто сводили на него речь в своих разоблачениях. Но мелкие мелюзеевские ремесленники, солдатки и бывшая барская прислуга были другого мнения. Говорящий глухонемой не казался им верхом бессмыслицы.

За него вступались.

Среди разрозненных возгласов, раздавшихся из толпы в его защиту, часто слышался голос Устиньи. Сначала она не решалась вылезать наружу, бабий стыд удерживал ее. Но постепенно, набираясь храбрости, она начала все смелее наскакивать на ораторов с неугодными в Мелюзееве мнениями. Так незаметно стала она заправской говоруньей с трибуны.

Из особняка в открытые окна было слышно слитное гудение голосов на площади, а в особенно тихие вечера и обрывки отдельных выступлений. Часто, когда говорила Устинья, в комнату вбегала мадемуазель, уговаривала присутствующих прислушаться и, коверкая слова, добродушно передразнивала:

— Распу! Распу! Сарск брийан! Зыбуш! Глюконемой! Измен! Измен!

Втайне мадемуазель гордилась этой острой на язык бой-бабой.

Женщины были нежно привязаны друг к другу и без конца друг на друга ворчали.

5

Постепенно Юрий Андреевич стал готовиться к отъезду, обходил дома и учреждения, где надо было с кем-нибудь проститься, и выправлял необходимые бумаги.

В это время проездом в армию в городе остановился новый комиссар этой части фронта. Про него рассказывали, будто он еще совершенный мальчик.

То были дни подготовки нового большого наступления.

Старались добиться перелома в настроениях солдатских масс.

Войска подтягивали. Были учреждены военно-революционные суды и восстановлена смертная казнь, недавно отмененная.

Перед отъездом доктору надо было отметиться у коменданта, должность которого в Мелюзееве исполнял воинский начальник, «уездный», как его звали для краткости.

Обычно у него бывала страшная толчея. Столпотворение не умещалось в сенях и на дворе и занимало пол-улицы перед окнами присутствия. К столам нельзя было протиснуться. За гулом сотни голосов никто ничего не понимал.

В этот день не было приема. В пустой и тихой канцелярии писаря, недовольные всё усложняющимся делопроизводством, молча писали, иронически переглядываясь. Из кабинета начальника доносились веселые голоса, точно там, расстегнув кителя, освежались чем-то прохладительным.

Оттуда на общую половину вышел Галиуллин, увидал Живаго и движением всего корпуса, словно собираясь разбежаться, поманил доктора разделить царившее там оживление.

Доктору все равно надо было в кабинет за подписью начальника. Там нашел он все в самом художественном беспорядке.

Сенсация городка и герой дня, новый комиссар, вместо следования к цели своего назначения находился тут, в кабинете, никакого отношения не имеющем к жизненным разделам штаба и вопросам оперативным, находился перед администраторами военно-бумажного царства, стоял перед ними и ораторствовал.

— А вот еще одна наша звезда, — сказал уездный, представляя доктора комиссару, который и не посмотрел на него, всецело поглощенный собою, а уездный, изменив позу только для того, чтобы подписать протянутую

доктором бумагу, вновь её принял и любезным движением руки показал Живаго на стоявший посередине комнаты низкий мягкий пуф.

Из присутствующих только один доктор расположился в кабинете по-человечески. Остальные сидели один другого чуднее и развязнее. Уездный, подперев рукой голову, по-печорински полулежал возле письменного стола, его помощник громоздился напротив на боковом валике дивана, подобрав под себя ноги, как в дамском седле, Галиуллин сидел верхом на стуле, поставленном задом наперед, обняв спинку и положив на нее голову, а молоденький комиссар то подтягивался на руках в проем подоконника, то с него соскакивал и, как запущенный волчок, ни на минуту не умолкая и все время двигаясь, маленькими частыми шагами расхаживал по кабинету. Он говорил не переставая. Речь шла о бирючевских дезертирах.

Слухи о комиссаре оправдались. Это был тоненький и стройный, совсем еще неоперившийся юноша, который как свечечка, горел самыми высшими идеалами. Говорили, будто он из хорошей семьи, чуть ли не сын сенатора, и в феврале один из первых повел свою роту в Государственную думу. Фамилия его была Гинце или Гинц, доктору его назвали неясно, когда их знакомили. У комиссара был правильный петербургский выговор, отчетливый-преотчетливый, чуть-чуть остзейский.

Он был в тесном френче. Наверное, ему было неловко, что он еще так молод, и, чтобы казаться старше, он брюзгливо кривил лицо и напускал на себя деланную сутулость. Для этого он запускал руки глубоко в карманы галифе и подымал углами плечи в новых, негнущихся погонах, отчего его фигура становилась действительно по-кавалерийски упрощенной, так что от плеч к ногам её можно было вычертить с помощью двух книзу сходящихся линий.

— На железной дороге, в нескольких перегонах отсюда стоит казачий полк. Красный, преданный. Их вызовут, бунтовщиков окружат и дело с концом. Командир корпуса настаивает на их скорейшем разоружении, — осведомлял уездный комиссара.

— Казаки? Ни в коем случае! — вспыхивал комиссар. — Какой-то девятьсот пятый год, дореволюционная реминисценция! Тут мы на разных полюсах с вами, тут ваши генералы перемудрили.

— Ничего еще не сделано. Все еще только в плане, в предположении.

— Имеется соглашение с военным командованием не вмешиваться в оперативные распоряжения. Я казаков не отменяю. Допустим. Но я со своей стороны предприму шаги, подсказанные благоразумием. У них там бивак?

— Как сказать. Во всяком случае, лагерь. Укрепленный.

— Прекрасно. Я хочу к ним поехать. Покажите мне эту грозу, этих лесных разбойников. Пусть бунтовщики, пусть даже дезертиры, но это народ, господа, вот что вы забываете. А народ ребенок, надо его знать, надо знать его психику, тут требуется особый подход. Надо уметь задеть за его лучшие, чувствительнейшие струны так, чтобы они зазвенели. Я к ним поеду на вырубки и по душам с ними потолкую. Вы увидите, в каком образцовом порядке они вернутся на брошенные позиции. Хотите пари? Вы не верите?

— Сомнительно. Но дай Бог!

— Я скажу им: «Братцы, поглядите на меня. Вот я, единственный сын, надежда семьи, ничего не пожалел, пожертвовал именем, положением, любовью родителей, чтобы завоевать вам свободу, равной которой не пользуется ни один народ в мире. Это сделал я и множество таких же молодых людей, не говоря уж о старой гвардии славных предшественников, о каторжанах-народниках и народовольцах-шлиссельбуржцах. Для себя ли мы старались? Нам ли это было нужно? Теперь вы больше не рядовые, как были раньше, а воины первой в мире революционной армии. Спросите себя честно, оправдали ли вы это высокое звание? В то время как родина, истекая кровью, последним усилием старается сбросить с себя гидрою обвившегося вокруг нее врага, вы дали одурманить себя шайке безвестных проходимцев и превратились в несознательный сброд, в скопище разнузданных негодяев, обожравшихся свободой, которым, что ни дай, им все мало, вот уж подлинно, пусти свинью за стол, а она и ноги на стол» — о, я пройму, я пристыжу их!

— Нет, нет, это рискованно, — пробовал возразить уездный, украдкой многозначительно переглядываясь с помощником.

Галиуллин отговаривал комиссара от его безумной затеи. Он знал сорви-голов из двести двенадцатого по дивизии, куда полк входил, и где он раньше служил. Но комиссар его не слушал.

Юрий Андреевич все время порывался встать и уйти. Наивность комиссара конфузила его. Но немногим выше была и лукавая искушенность уездного и его помощника, двух насмешливых и скрытых проныр. Эта глупость и эта хитрость друг друга стоили.

И все это извергалось потоком слов, лишнее, несуществующее, неяркое, без чего сама жизнь так жаждет обойтись.

О как хочется иногда из бездарно-возвышенного, беспросветного человеческого словоговорения в кажущееся безмолвие природы, в каторжное беззвучие долгого, упорного труда, в бессловесность крепкого сна, истинной музыки и немеющего от полноты души тихого сердечного

прикосновения!

Доктор вспомнил, что ему предстоит объяснение с Антиповой, как бы то ни было, неприятное. Он был рад необходимости её увидеть, пусть и такой ценой. Но едва ли она уже приехала.

Воспользовавшись первою удобной минутой, доктор встал и незаметно вышел из кабинета.

6

Оказалось, что она уже дома. О её приезде доктору сообщила мадемуазель и прибавила, что Лариса Федоровна вернулась усталою, наспех поужинала и ушла к себе, попросив её не беспокоить.

— Впрочем, постучитесь к ней, — посоветовала мадемуазель. — Она, наверное, еще не спит.

— А как к ней пройти? — спросил доктор, несказанно удивив вопросом мадемуазель.

Выяснилось, что Антипова помещается в конце коридора наверху, рядом с комнатами, куда под ключом был сдвинут весь здешний инвентарь Жабринской, и куда доктор никогда не заглядывал.

Между тем быстро темнело. На улицах стало теснее. Дома и заборы сбились в кучу в вечерней темноте. Деревья подошли из глубины дворов к окнам, под огонь горящих ламп. Была жаркая и душная ночь. От каждого движения бросало в пот. Полосы керосинового света, падавшие во двор, струями грязной испарины стекали по стволам деревьев.

На последней ступеньке доктор остановился. Он подумал, что даже стуком наведываться к человеку, утомленному дорогой, неудобно и навязчиво. Лучше разговор отложить до следующего дня. В рассеянности, всегда сопровождающей передуманные решения, он прошел по коридору до другого конца. Там в стене было окно, выходившее в соседний двор. Доктор высунулся в него.

Ночь была полна тихих, таинственных звуков. Рядом в коридоре капала вода из рукомойника, мерно, с оттяжкою. Где-то за окном шептались. Где-то, где начинались огороды, поливали огурцы на грядках, переливая воду из ведра в ведро, и гремели цепью, набирая её из колодца.

Пахло всеми цветами на свете сразу, словно земля днем лежала без памяти, а теперь этими запахами приходила в сознание. А из векового графининого сада, засоренного сучьями валежника так, что он стал непроходим, заплывало во весь рост деревьев огромное, как стена большого здания, трущобно-пыльное благоуханье старой зацветающей

липы.

Справа из-за забора с улицы неслись крики. Там буянил отпускной, хлопали дверью, бились крыльями обрывки какой-то песни.

За вороньими гнездами графининого сада показалась чудовищных размеров исчерна-багровая луна. Сначала она была похожа на кирпичную паровую мельницу в Зыбушине, а потом пожелтела, как бирючевская железнодорожная водокачка.

А внизу под окном во дворе к запаху ночной красавицы примешивался душистый, как чай с цветком, запах свежего сена.

Сюда недавно привели корову, купленную в дальней деревне. Ее вели весь день, она устала, тосковала по оставленному стаду и не брала корма из рук новой хозяйки, к которой еще не привыкла.

— Но-но, не балуй, тпрусеня, я те дам, дьявол, бодаться, — шопотом уламывала её хозяйка, но корова то сердито мотала головой из стороны в сторону, то, вытянув шею, мычала надрывно и жалобно, а за черными мелюзеевскими сараями мерцали звезды, и от них к корове протягивались нити невидимого сочувствия, словно то были скотные дворы других миров, где её жалели.

Всё кругом бродило, росло и всходило на волшебных дрожжах существования. Восхищение жизнью, как тихий ветер, широкой волной шло не разбирая куда по земле и городу, через стены и заборы, через древесину и тело, охватывая трепетом все по дороге. Чтобы заглушить действие этого тока, доктор пошел на плац послушать разговоры на митинге.

7

Луна стояла уже высоко на небе. Все было залито её густым, как пролитые белила, светом.

У порогов казенных каменных зданий с колоннами, окружавших площадь, черными коврами лежали на земле их широкие тени.

Митинг происходил на противоположной стороне площади. При желании, вслушавшись, можно было различить через плац все, что там говорилось. Но великолепие зрелища захватило доктора. Он присел на лавочку у ворот пожарной части без внимания к голосам, слышавшимся через дорогу, и стал смотреть по сторонам.

С боков площади на нее вливались маленькие глухие улочки. В глубине их виднелись ветхие, покосившиеся домишки. На этих улицах была непролазная грязь, как в деревне. Из грязи торчали длинные, плетенные из

ивовых прутьев изгороди, словно то были закинутые в пруд верши, или затонувшие корзины, которыми ловят раков.

В домишках подслеповато поблескивали стекла в рамах растворенных окошек. Внутрь комнат из палисадников тянулась потная русоголовая кукуруза с блестящими, словно маслом смоченными метелками и кистями. Из-за провисающих плетней одиночками смотрели вдаль бледные, худощавые мальвы, похожие на хуторянок в рубахах, которых жара выгнала из душных хат подышать свежим воздухом.

Озаренная месяцем ночь была поразительна, как милосердие или дар ясновиденья, и вдруг в тишину этой светлой, мерцающей сказки стали падать мерные, рубленые звуки чьего-то знакомого, как будто только что слышанного голоса. Голос был красив, горяч и дышал убеждением. Доктор прислушался и сразу узнал, кто это. Это был комиссар Гинц. Он говорил на площади.

Власти, наверное, просили его поддержать их своим авторитетом, и он с большим чувством упрекал мелюзеевцев в дезорганизованности, в том, что они так легко поддаются растлевающему влиянию большевиков, истинных виновников, как уверял он, зыбушинских событий. В том же духе, как он говорил у воинского, он напоминал о жестоком и могущественном враге и пробившем для родины часе испытаний. С середины речи его начали перебивать.

Просьбы не прерывать оратора чередовались с выкриками несогласия. Протестующие заявления учащались и становились громче. Кто-то, сопровождавший Гинца и в эту минуту взявший на себя задачу председателя, кричал, что замечания с места не допускаются, и призывал к порядку. Одни требовали, чтобы гражданке из толпы дали слово, другие шикали и просили не мешать.

К перевернутому вверх дном ящику, служившему трибуной, через толпу пробиралась женщина. Она не имела намерения влезать на ящик, а, протиснувшись к нему, стала возле сбоку.

Женщину знали. Наступила тишина. Женщина овладела вниманием толпившихся. Это была Устинья.

— Вот вы говорите Зыбушино, товарищ комиссар, и потом насчет глаз, глаза, говорите, надо иметь и не попадаться в обман, а между прочим сами, я вас послушала, только знаете большевиками-меньшевиками шпыняться, большевики и меньшевики, ничего другого от вас не услышишь. А чтобы больше не воевать и всё как между братьями, это называется по-божески, а не меньшевики, и чтобы фабрики и заводы бедным, это опять не большевики, а человеческая жалость. А глухонемым и без вас нам глаза

кололи, надоело слушать. Дался он вам, право! И чем это он вам не угодил? Что ходил-ходил немой, да вдруг, не спросясь, и заговорил? Подумаешь, невидаль. То ли еще бывает!

Ослица эта, например, известная. «Валаам, Валаам, говорит, честью прошу, не ходи туда, сам пожалеешь». Ну, известное дело, он не послушал, пошел. Вроде того как вы: «Глухонемой».

Думает, что её слушать — ослица, животное. Побрезговал скотиной. А как потом каялся. Небось сами знаете, чем кончилось.

— Чем? — полюбопытствовали из публики.

— Ладно, — огрызнулась Устинья. — Много будешь знать, скоро состаришься.

— Нет, так не годится. Ты скажи, чем, — не унимался тот же голос.

— Чем да чем, репей неотвязчивый! В соляной столб обратился.

— Шалишь, кума! Это Лот. Лотова жена, — раздались выкрики.

Все засмеялись. Председатель призывал собрание к порядку.

Доктор пошел спать.

8

На другой день вечером он увиделся с Антиповой. Он её нашел в буфетной. Перед Ларисой Федоровной лежала груда катаного белья. Она гладила.

Буфетная была одной из задних комнат верха и выходила в сад. В ней ставили самовары, раскладывали по тарелкам кушанья, поднятые из кухни на ручном подъемнике, спускали грязную посуду судомойке. В буфетной хранилась материальная отчетность госпиталя. В ней проверяли посуду и белье по спискам, отдыхали в часы досуга и назначали друг другу свидания.

Окна в сад были отворены. В буфетной пахло липовым цветом, тминной горечью сухих веток, как в старых парках, и легким угаром от двух духовых утюгов, которыми попеременно гладила Лариса Федоровна, ставя то один, то другой в вытяжную трубу, чтобы они разгорелись.

— Что же вы вчера не постучались? Мне мадемуазель рассказывала. Впрочем, вы поступили правильно. Я прилегла уже и не могла бы вас впустить. Ну, здравствуйте. Осторожно, не запачкайтесь. Тут уголь просыпан.

— Видно, вы на весь госпиталь белье гладите?

— Нет, тут много моего. Вот вы всё меня дразнили, что я никогда отсюда не выберусь. А на этот раз я всерьез. Видите, вот собираюсь,

укладываюсь. Уложусь — и айда. Я на Урал, вы в Москву. А потом спросят когда-нибудь Юрия Андреевича: «Вы про такой городишко Мелюзеев не слыхали?» — «Что-то не помню». — «А кто такая Антипова?» — «Понятия не имею».

— Ну, это положим. — Как вам по волостям ездилось? Хорошо в деревне?

— Так в двух словах не расскажешь. — Как быстро утюги стынут! Новый мне, пожалуйста, если вам нетрудно. Вон в вытяжной трубе торчит. А этот назад, в вытяжку. Так. Спасибо.

— Разные деревни. Все зависит от жителей. В одних население трудолюбивое, работящее. Там ничего. А в некоторых, верно, одни пьяницы. Там запустение. На те страшно смотреть.

— Глупости. Какие пьяницы? Много вы понимаете. Просто нет никого, мужчины все забраны в солдаты. Ну хорошо. А земство как новое революционное?

— Насчет пьяниц вы не правы, я с вами поспорю. А земство?

С земством долго будет мука. Инструкции неприложимы, в волости не с кем работать. Крестьян в данную минуту интересует только вопрос о земле. Заезжала в Раздольное. Вот красота! Вы бы съездили. Весной немного пожгли, пограбили. Сгорел сарай, фруктовые деревья обуглены, часть фасада попорчена копотью. А в Зыбушино не попала, не удалось. Однако везде уверяют, будто глухонемой не выдумка. Описывают наружность. Говорят — молодой, образованный.

— Вчера за него на плацу Устинья распиналась. — Только приехала, из Раздольного опять целый воз хламу. Сколько раз просила, чтобы оставили в покое. Мало у нас своего! А сегодня утром сторожа из комендантского с запиской от уездного. Чайное серебро и винный хрусталь графини им до зареза. Только на один вечер, с возвратом. Знаем мы этот возврат. Половины вещей не доищешься. Говорят, вечеринка. Какой-то приезжий.

— А, догадываюсь. Приехал новый комиссар фронта. Я его случайно видел. За дезертиров собирается взяться, оцепить и разоружить. Комиссар совсем еще зеленый, в делах младенец.

Здешние предлагают казаков, а он думает взять слезой. Народ, говорит, это ребенок и так далее и думает, что все это детские игрушки. Галиуллин упрашивает, не будите, говорит, задремавшего зверя, предоставьте это нам, но разве такого уговоришь, когда ему втемяшится. Слушайте. На минуту оставьте утюги и слушайте. Скоро тут произойдет невообразимая свалка.

Предотвратить её не в наших силах. Как бы я хотел, чтобы вы уехали до этой каши!

— Ничего не будет. Вы преувеличиваете. Да ведь я и уезжаю.

Но нельзя же так: шик-брык — и будьте здоровы. Надо сдать инвентарь по описи, а то похоже будет, будто я что-то украла.

А кому его сдать? Вот ведь вопрос. Сколько я настрадалась с этим инвентарем, а в награду одни попреки. Я записала имущество Жабринской на госпиталь, потому что таков был смысл декрета. А теперь выходит, будто я это сделала притворно, чтобы таким способом сберечь вещи владелице. Какая гадость!

— Ах, да плюньте вы на эти ковры и фарфор, пропади они пропадом. Есть из-за чего расстраиваться! Да, да, в высшей степени досадно, что мы вчера с вами не свиделись. Я в таком ударе был! Я бы вам всю небесную механику объяснил, на все проклятые вопросы ответил! Нет, не шутя, меня так и подмывало выговориться. Про жену свою рассказать, про сына, про свою жизнь. Чорт возьми, неужели нельзя взрослому мужчине заговорить со взрослой женщиной, чтобы тотчас не заподозрили какую-то «подкладку»? Брр! Чорт бы драл все эти материи и подкладки!

Вы гладьте, гладьте, пожалуйста, то есть белье гладьте, и не обращайте на меня внимания, а я буду говорить. Я буду говорить долго.

Вы подумайте, какое сейчас время! И мы с вами живем в эти дни! Ведь только раз в вечность случается такая небывальщина.

Подумайте: со всей России сорвало крышу, и мы со всем народом очутились под открытым небом. И некому за нами подглядывать.

Свобода! Настоящая, не на словах и в требованиях, а с неба свалившаяся, сверх ожидания. Свобода по нечаянности, по недоразумению.

И как все растерянно-огромны! Вы заметили? Как будто каждый подавлен самим собою, своим открывшимся богатырством.

Да вы гладьте, говорю я. Молчите. Вам не скучно? Я вам утюг сменю.

Вчера я ночной митинг наблюдал. Поразительное зрелище.

Сдвинулась Русь матушка, не стоится ей на месте, ходит не находится, говорит не наговорится. И не то чтоб говорили одни только люди. Сошлись и собеседуют звезды и деревья, философствуют ночные цветы и митингуют каменные здания. Что-то евангельское, не правда ли? Как во времена апостолов. Помните, у Павла? «Говорите языками и пророчествуйте. Молитесь о даре истолкования».

— Про митингующие деревья и звезды мне понятно. Я знаю, что вы хотите сказать. У меня самой бывало.

— Половину сделала война, остальное довершила революция.

Война была искусственным перерывом жизни, точно существование

можно на время отсрочить (какая бессмыслица!). Революция вырвалась против воли, как слишком долго задержанный вздох.

Каждый ожил, переродился, у всех превращения, перевороты.

Можно было бы сказать: с каждым случилось по две революции, одна своя, личная, а другая общая. Мне кажется, социализм — это море, в которое должны ручьями влиться все эти свои, отдельные революции, море жизни, море самобытности. Море жизни, сказал я, той жизни, которую можно видеть на картинах, жизни гениализированной, жизни, творчески обогащенной. Но теперь люди решили испытать её не в книгах, а на себе, не в отвлечении, а на практике.

Неожиданное дрожание голоса выдало начинающееся волнение доктора. Прервав на минуту глаженье, Лариса Федоровна посмотрела на него серьезно и удивленно. Он смешался и забыл, о чем он говорил. После короткой паузы он заговорил снова.

Очертя голову он понес Бог знает что. Он сказал:

— В эти дни так тянет жить честно и производительно! Так хочется быть частью общего одушевления! И вот среди охватившей всех радости я встречаю ваш загадочно невеселый взгляд, блуждающий неве домо где, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве. Что бы я дал за то, чтобы его не было, чтобы на вашем лице было написано, что вы довольны судьбой и вам ничего ни от кого не надо. Чтобы какой-нибудь близкий вам человек, ваш друг или муж (самое лучшее, если бы это был военный) взял меня за руку и попросил не беспокоиться о вашей участи и не утруждать вас своим вниманием. А я вырвал бы руку, размахнулся, и… Ах, я забылся! Простите, пожалуйста.

Голос опять изменил доктору. Он махнул рукой и с чувством непоправимой неловкости встал и отошел к окну. Он стал спиной к комнате, подпер щеку ладонью, облокотясь о подоконник, и устремил вглубь покрытого темнотою сада рассеянный, ищущий умиротворения, невидящий взгляд.

Обойдя гладильную доску, «перекинутую со стола на край другого окна, Лариса Федоровна остановилась в нескольких шагах от доктора позади него, в середине комнаты.

— Ах, как я всегда этого боялась! — тихо, как бы про себя сказала она. — Какое роковое заблуждение! Перестаньте, Юрий Андреевич, не надо. Ах, смотрите, что я из-за вас наделала! — громко воскликнула она и подбежала к доске, где под забытым на белье утюгом тонкой струйкой едкого дыма курилась прожженная кофточка. — Юрий Андреевич, — продолжала она, с сердитым стуком опуская утюг на конфорку. — Юрий

Андреевич, будьте умницей, выйдите на минуту к мадемуазель, выпейте воды, голубчик, и возвращайтесь сюда таким, каким я вас привыкла и хотела бы видеть. Слышите, Юрий Андреевич? Я знаю, это в ваших силах. Сделайте это, я прошу вас.

Больше таких объяснений между ними не повторялось. Через неделю Лариса Федоровна уехала.

9

Еще через некоторое время стал собираться в дорогу Живаго.

Ночью перед его отъездом в Мелюзееве была страшная буря.

Шум урагана сливался с шумом ливня, который то отвесно обрушивался на крыши, то под напором изменившегося ветра двигался вдоль улицы, как бы отвоевывая шаг за шагом своими хлещущими потоками.

Раскаты грома следовали один за другим без перерыва, переходя в одно ровное рокотание. При сверкании частых молний показывалась убегающая вглубь улица с нагнувшимися и бегущими в ту же сторону деревьями.

Ночью мадемуазель Флери разбудил тревожный стук в парадное.

Она в испуге присела на кровати и прислушалась. Стук не прекращался.

Неужели во всем госпитале не найдется ни души, чтобы выйти и отпереть, подумала она, и за всех должна отдуваться она одна, несчастная старуха, только потому, что природа сделала её честной и наделила чувством долга?

Ну хорошо. Жабринские были богачи, аристократы. Но госпиталь, это ведь их собственное, народное. На кого же они его бросили? Например, куда, интересно знать, провалились санитары? Все разбежались, ни начальства, ни сестер, ни докторов. А в доме есть еще раненые, два безногих наверху в хирургической, где прежде была гостиная, да полная кладовая дизентериков внизу, рядом с прачешной. И чертовка Устинья ушла куда-то в гости. Видит, дура, что гроза собирается, нет, понесла нелегкая. Теперь хороший предлог ночевать у чужих.

Ну, слава Богу, перестали, угомонились. Видят — не отпирают, и ушли, махнули рукой. Тоже носит чорт в такую погоду. А может быть, это Устинья? Нет, у той свой ключ. Боже мой, как страшно, опять стучат!

Но ведь все-таки какое свинство! Допустим, с Живаго нечего взять. Он завтра уезжает, и мыслями уже в Москве или в дороге.

Но каков Галиуллин! Как может он дрыхнуть или спокойно лежать, слыша такой стук, в расчете, что в конце концов подымется она, слабая и

беззащитная старуха, и пойдет отпирать неизвестно кому в эту страшную ночь в этой страшной стране.

Галиуллин! — вдруг спохватилась она. — Какой Галиуллин?

Нет, такая нелепость могла прийти ей в голову только спросонья! Какой Галиуллин, когда его и след простыл? И не сама ли она вместе с Живаго прятала и переодевала его в штатское, а потом объясняла, какие дороги и деревни в округе, чтобы он знал, куда ему бежать, когда случился этот страшный самосуд на станции и убили комиссара Гинца, а за Галиуллиным гнались из Бирючей до самого Мелюзеева, стреляя вдогонку, и шарили по всему городу. Галиуллин!

Если бы тогда не эти самокатчики, камня на камне не осталось бы от города. Броневой дивизион проходил по случайности через город. Заступились за жителей, обуздали негодяев.

Гроза слабела, удалялась. Гром гремел реже и глуше, издали.

Дождь переставал временами, а вода с тихим плеском продолжала стекать вниз по листве и желобам. Бесшумные отсветы молний западали в комнату мадемуазель, озаряли её и задерживались в ней лишний миг, словно что-то разыскивая.

Вдруг надолго прекратившийся стук в дверь возобновился.

Кто-то нуждался в помощи и стучался в дом отчаянно и учащенно.

Снова поднялся ветер. Опять хлынул дождь.

— Сейчас! — неизвестно кому крикнула мадемуазель и сама испугалась своего голоса.

Неожиданная догадка осенила ее. Спустив ноги с кровати и сунув их в туфли, она накинула халат и побежала будить Живаго, чтобы не было так страшно одной. Но он тоже слышал стук и сам спускался со свечою навстречу. У них были одинаковые предположения.

— Живаго, Живаго! Стучат в наружную дверь, я боюсь отпереть одна, — кричала она по-французски и по-русски прибавила:

— Вы увийт, это Лар или поручик Гайуль.

Юрия Андреевича тоже разбудил этот стук, и он подумал, что это непременно кто-то свой, либо остановленный каким-то препятствием Галиуллин, вернувшийся в убежище, где его спрячут, либо возвращенная какими-то трудностями из путешествия сестра Антипова.

В сенях доктор дал мадемуазель подержать свечу, а сам повернул ключ в двери и отодвинул засов. Порыв ветра вырвал дверь из его рук, задул свечу и обдал обоих с улицы холодными брызгами дождя.

— Кто там? Кто там? Есть ли тут кто-нибудь? — кричали наперерыв во тьму мадемуазель и доктор, но им никто не отвечал.

Вдруг они услышали прежний стук в другом месте, со стороны черного хода или, как им стало теперь казаться, в окно из сада.

— По-видимому, это ветер, — сказал доктор. — Но для очистки совести сходите все-таки на черный, удостоверьтесь, а я тут подожду, чтобы нам не разминуться, если это действительно кто-нибудь, а не какая-нибудь другая причина.

Мадемуазель удалилась вглубь дома, а доктор вышел наружу под навес подъезда. Глаза его, привыкнув к темноте, различили признаки занимающегося рассвета.

Над городом, как полоумные, быстро неслись тучи, словно спасаясь от погони. Их клочья пролетали так низко, что почти задевали за деревья, клонившиеся в ту же сторону, так что похоже было, будто ими, как гнущимися вениками, подметают небо. Дождь охлестывал деревянную стену дома, и она из серой становилась черною.

— Ну как? — спросил доктор вернувшуюся мадемуазель.

— Вы прав. Никого. — И она рассказала, что обошла весь дом. В буфетной выбито окно обломком липового сука, бившегося о стекло, и на полу огромные лужи, и то же самое в комнате, оставшейся от Лары, море, форменное море, целый океан.

— А тут ставня оторвалась и бьется о наличник. Видите? Вот и все объяснение.

Они поговорили еще немного, заперли дверь и разошлись спать, оба сожалея, что тревога оказалась ложной.

Они были уверены, что отворят парадное и в дом войдет так хорошо им известная женщина, до нитки вымокшая и иззябшая, которую они засыплют расспросами, пока она будет отряхиваться.

А потом она придет, переодевшись, сушиться у вчерашнего не остывшего жара в печи на кухне и будет им рассказывать о своих бесчисленных злоключениях, поправлять волосы, и смеяться.

Они были так уверены в этом, что когда они заперли дверь, след этой уверенности остался за углом дома на улице, в виде водяного знака этой женщины или её образа, который продолжал им мерещиться за поворотом.

10

Косвенным виновником солдатских волнений на станции считали бирючевского телеграфиста Колю Фроленко.

Коля был сыном известного мелюзеевского часовщика. В Мелюзееве его знали с пеленок. Мальчиком он гостил у кого-то из раздольненской дворни и играл под наблюдением мадемуазель с двумя её питомицами, дочерьми графини. Мадемуазель хорошо знала Колю. Тогда же он стал немного понимать по-французски.

В Мелюзееве привыкли видеть Колю в любую погоду налегке, без шапки, в летних парусиновых туфлях, на велосипеде. Не держась за руль, откинувшись и скрестив на груди руки, он катил по шоссе и городу и поглядывал на столбы и провода, проверяя состояние сети.

Ответвлением железнодорожного телефона некоторые дома в городе были соединены со станцией. Управление веткой находилось в Колиных руках в аппаратной вокзала.

Там у него работы было по горло: железнодорожный телеграф, телефон, а иногда, в моменты недолгих отлучек начальника станции Поварихина, также и сигнализация и блокировка, приборы к которым тоже помещались в аппаратной.

Необходимость следить сразу за действием нескольких механизмов выработала у Коли особую манеру речи, темную, отрывистую и полную загадок, к которой Коля прибегал, когда не желал кому-нибудь отвечать или не хотел вступать с кем-нибудь в разговоры. Передавали, что он слишком широко пользовался этим правом в день беспорядков.

Своими умолчаниями он и правда лишил силы все добрые намерения Галиуллина, звонившего из города, и, может быть, против воли дал роковой ход последовавшим событиям.

Галиуллин просил подозвать к аппарату комиссара, находившегося где-то на вокзале или поблизости, чтобы сказать ему, что он выезжает сейчас к нему на вырубки, и попросить, чтобы он подождал его и без него ничего не предпринимал. Коля отказал Галиуллину в вызове Гинца под тем предлогом, что линия у него занята передачей сигналов идущему к Бирючам поезду, а сам в это время всеми правдами и не правдами задерживал на соседнем разъезде этот поезд, который вез в Бирючи вызванных казаков.

Когда эшелон все же прибыл, Коля не мог скрыть неудовольствия.

Паровоз медленно подполз под темный навес дебаркадера и

остановился как раз против огромного окна аппаратной. Коля широко отдернул тяжелую вокзальную занавеску из темно-синего сукна с вытканными по бортам инициалами железной дороги. На каменном подоконнике стоял огромный графин с водой и стакан толстого стекла с простыми гранями на большом подносе. Коля налил воды в стакан, отпил несколько глотков и посмотрел в окно.

Машинист заметил Колю и дружески кивнул ему из будки. «У, дрянь вонючая, древесный клоп!» — с ненавистью подумал Коля, высунул машинисту язык и погрозил ему кулаком. Машинист не только понял Колину мимику, но сумел и сам пожатием плеч и поворотом головы в сторону вагонов дать понять: «А что делать? Сам попробуй. Его сила». «Все равно, дрянь и гадина», — мимически ответил Коля.

Лошадей стали выводить из вагонов. Они упирались, не шли. Глухой стук копыт по деревянному настилу сходней сменился звяканьем подков по камню перрона. Взвивающихся на дыбы лошадей перевели через рельсы нескольких путей.

Они кончались двумя рядами вагонного брака, на двух ржавых, заросших травой колеях. Разрушение дерева, с которого дожди смывали краску и которое точили червь и сырость, возвращало разбитым теплушкам былое родство с сырым лесом, начинавшимся по ту сторону составов, с грибом трутовиком, которым болела береза, с облаками, которые над ним громоздились.

На опушке казаки по команде сели в седла и поскакали на вырубки. Непокорных из двести двенадцатого окружили. Верховые среди деревьев всегда кажутся выше и внушительнее, чем на открытом месте. Они произвели впечатление на солдат, хотя у них самих были винтовки в землянках. Казаки вынули шашки.

Внутри конной цепи на сложенные дрова, которые утрясли и выровняли, вскочил Гинц и обратился с речью к окруженным.

Опять он по своему обыкновению говорил о воинском долге, о значении родины и многих других высоких предметах. Здесь эти понятия не находили сочувствия. Сборище было слишком многочисленно. Люди, составлявшие его, натерпелись многого за войну, огрубели и устали. Слова, которые произносил Гинц, давно навязли у них в ушах. Четырехмесячное заискивание справа и слева развратило эту толпу. Простой народ, из которого она состояла, расхолаживала нерусская фамилия оратора и его остзейский выговор.

Гинц чувствовал, что говорит длинно, и досадовал на себя, но думал, что делает это ради большей доступности для слушателей, которые вместо

благодарности платят ему выражением равнодушия и неприязненной скуки. Раздражаясь все больше, он решил заговорить с этой публикой более твердым языком и пустить в ход угрозы, которые держал в запасе. Не слыша поднявшегося ропота, он напомнил солдатам, что военно-революционные суды введены и действуют, и под страхом смерти требовал сложения оружия и выдачи зачинщиков. Если они этого не сделают, говорил Гинц, то докажут, что они подлые изменники, несознательная сволочь, зазнавшиеся хамы. От такого тона эти люди отвыкли.

Поднялся рев нескольких сот голосов. «Поговорил. Будет. ропота,он Ладно», — кричали одни басом и почти беззлобно. Но раздавались истерические выкрики на надсаженных ненавистью дискантах. К ним прислушивались. Эти кричали:

— Слыхали, товарищи, как обкладывает? По-старому! Не вывелись офицерские повадки! Так это мы изменники? А сам ты из каковских, ваше благородие? Да что с ним хороводиться. Не видишь что ли, немец, подосланный. Эй ты, предъяви документ, голубая кровь! А вы чего рот разинули, усмирители? Нате, вяжите, ешьте нас!

Но и казакам неудачная речь Гинца нравилась все меньше и меньше. «Все хамы да свиньи. Экой барин!» — перешептывались они. Сначала поодиночке, а потом все в большем количестве они стали вкладывать шашки в ножны. Один за другим слезали с лошади. Когда их спешилось достаточно, они беспорядочно двинулись на середину прогалины навстречу двести двенадцатому.

Все перемешалось. Началось братание.

«Вы должны исчезнуть как-нибудь незаметно, — говорили Гинцу встревоженные казачьи офицеры. — У переезда ваша машина. Мы пошлем сказать, чтобы её подвели поближе. Уходите скорее».

Гинц так и поступил, но так как удирать потихоньку казалось ему недостойным, он без требующейся осторожности, почти открыто направился к станции. Он шел в страшном волнении, из гордости заставляя себя идти спокойно и неторопливо.

До станции было уже близко, лес примыкал к ней. На опушке, уже в виду путей, он в первый раз оглянулся. За ним шли солдаты с ружьями. «Что им надо?» — подумал Гинц и прибавил шагу.

То же самое сделали его преследователи. Расстояние между ним и погоней не изменилось. Впереди показалась двойная стена поломанных вагонов. Зайдя за них, Гинц пустился бежать.

Доставивший казаков поезд отведен был в парк. Пути были свободны. Гинц бегом пересек их.

Он вскочил с разбега на высокий перрон. В это время из-за разбитых вагонов выбежали гнавшиеся за ним солдаты. Поварихин и Коля что-то кричали Гинцу и делали знаки, приглашая внутрь вокзала, где они спасли бы его.

Но опять поколениями воспитанное чувство чести, городское, жертвенное и здесь неприменимое, преградило ему дорогу к спасению. Нечеловеческим усилием воли он старался сдержать трепет расходившегося сердца. — Надо крикнуть им: «Братцы, опомнитесь, какой я шпион?» — подумал он. — Что-нибудь отрезвляющее, сердечное, что их бы остановило.

В последние месяцы ощущение подвига, крика души бессознательно связалось у него с помостами и трибунами, со стульями, вскочив на которые можно было бросить толпящимся какой-нибудь призыв, что-нибудь зажигательное.

У дверей вокзала под станционным колоколом стояла высокая пожарная кадка. Она была плотно прикрыта. Гинц вскочил на её крышку и обратил к приближающимся несколько за душу хватающих слов, нечеловеческих и бессвязных. Безумная смелость его обращения, в двух шагах от распахнутых вокзальных дверей, куда он так легко мог бы забежать, ошеломила и приковала их к месту. Солдаты опустили ружья.

Но Гинц стал на край крышки и перевернул ее. Одна нога провалилась у него в воду, другая повисла на борту кадки. Он оказался сидящим верхом на её ребре.

Солдаты встретили эту неловкость взрывом хохота, и первый спереди выстрелом в шею убил наповал несчастного, а остальные бросились штыками докалывать мертвого.

11

Мадемуазель звонила Коле по телефону, чтобы он устроил доктора в поезде поудобнее, угрожая в противном случае неприятными для Коли разоблачениями.

Отвечая мадемуазель, Коля по обыкновению вел какой-то другой телефонный разговор и, судя по десятичным дробям, пестрившим его речь, передавал в третье место по телеграфу что-то шифрованное.

— Псков, комосев, слушаешь меня? Каких бунтовщиков? Какую руку? Да что вы, мамзель? Вранье, хиромантия. Отстаньте, положите трубку, вы мне мешаете. Псков, комосев, Псков.

Тридцать шесть запятая ноль ноль пятнадцать. Ах, чтоб вас собаки

съели, обрыв ленты. А? А? Не слышу. Это опять вы, мамзель? Я вам сказал русским языком, нельзя, не могу.

Обратитесь к Поварихину. Вранье, хиромантия. Тридцать шесть… а, чорт… отстаньте, не мешайте, мамзель.

А мадемуазель говорила:

— Ты мне не пускай пыль в глаз кироман, Псков, Псков, кироман, я тебя насквозь буду водить на чистую воду, ты будешь завтра сажать доктора в вагон, и больше я не разговариваю со всяких убийц и маленький Иуда предатель.

12

Парило, когда уезжал Юрий Андреевич. Опять собиралась гроза, как третьего дня.

Глиняные мазанки и гуси в заплеванной подсолнухами привокзальной слободе испуганно белели под неподвижным взглядом черного грозового неба.

К зданию станции прилегала широкая, далеко в обе стороны тянувшаяся поляна. Трава на ней была вытоптана, и всю её покрывала несметная толпа народа, неделями дожидавшегося поездов в разных, нужных каждому, направлениях.

В толпе были старики в серых сермягах, на палящем солнце переходившие от кучки к кучке за слухами и сведениями.

Молчаливые подростки лет четырнадцати лежали, облокотившись, на боку, с каким-нибудь очищенным от листьев прутом в руке, словно пасли скотину. Задирая рубашонки, под ногами шмыгали их младшие розовозадые братишки и сестренки. Вытянув плотно сдвинутые ноги, на земле сидели их матери с замотанными за пазуху криво стянутых коричневых зипунов грудными детьми.

— Как бараны кинулись врассыпную, когда пальба началась. Не понравилось! — неприязненно говорил начальник станции Поварихин, ломаными обходами пробираясь с доктором через ряды тел, лежавшие вповалку снаружи перед дверьми и внутри на полу вокзала.

— Вдруг газон опростался! Опять увидали, какая земля бывает. Обрадовались! Четыре месяца ведь не видали под этим табором, — забыли. — Вот тут он лежал. Удивительное дело, навидался я за войну всяких ужасов, пора бы привыкнуть. А тут такая жалость взяла! Главное — бессмыслица. За что? Что он им сделал плохого? Да разве это люди? Говорят, любимец семьи. А теперь направо, так, так, сюда, пожалуйста, в

мой кабинет. На этот поезд и не думайте, затолкают насмерть. Я вас на другой устрою, местного сообщения. Мы его сами составляем, сейчас начнем формировать. Только вы до посадки молчок, никому! А то на части разнесут до сцепки, если проговоритесь. Ночью в Сухиничах вам будет пересадка.

13

Когда хранимый в секрете поезд составили и стали из-за здания депо задом подавать к станции, всё что было народу на лужайке, толпой бросились наперерез к медленно пятящемуся составу. Люди горохом скатывались с пригорков и взбегали на насыпь. Оттесняя друг друга, одни скакали на ходу на буфера и подножки, а другие лезли в окна и на крыши вагонов. Поезд вмиг и еще в движении наполнился до отказа, и когда его подали к перрону, был набит битком, и сверху донизу увешан едущими.

Чудом доктор протиснулся на площадку и потом еще более необъяснимым образом проник в коридор вагона.

В коридоре он и остался в продолжение всей дороги, и путь до Сухиничей совершил, сидя на полу на своих вещах.

Грозовые тучи давно разошлись. По полям, залитым жгучими лучами солнца, перекатывалось из края в край несмолкаемое, заглушавшее ход поезда стрекотание кузнечиков.

Пассажиры, стоявшие у окна, застили свет остальным. От них на пол, на лавки и на перегородки падали длинные, вдвое и втрое сложенные тени. Эти тени не умещались в вагоне. Их вытесняло вон через противоположные окна, и они бежали вприпрыжку по другой стороне откоса вместе с тенью всего катящегося поезда.

Кругом галдели, горланили песни, ругались и резались в карты. На остановках к содому, стоявшему внутри, присоединялся снаружи шум осаждавшей поезд толпы. Гул голосов достигал оглушительности морской бури. И как на море, в середине стоянки наступала вдруг необъяснимая тишина. Становились слышны торопливые шаги по платформе вдоль всего поезда, беготня и спор у багажного вагона, отдельные слова провожающих вдалеке, тихое квохтанье кур и шелестение деревьев в станционном палисаднике.

Тогда, как телеграмма, поданная в дороге, или как поклон из Мелюзеева, вплывало в окно знакомое, точно к Юрию Андреевичу адресующееся благоухание. Оно с тихим превосходством обнаруживало себя где-то в стороне и приходило с высоты, для цветов в полях и на

клумбах необычной.

Доктор не мог подойти к окну вследствие давки. Но он и не глядя видел в воображении эти деревья. Они росли, наверно, совсем близко, спокойно протягивая к крышам вагонов развесистые ветки с пыльной от железнодорожной толкотни и густой, как ночь, листвой, мелко усыпанной восковыми звездочками мерцающих соцветий.

Это повторялось весь путь. Всюду шумела толпа. Всюду цвели липы.

Вездесущее веяние этого запаха как бы опережало шедший к северу поезд, точно это был какой-то все разъезды, сторожки и полустанки облетевший слух, который едущие везде заставали на месте, распространившимся и подтвержденным.

14

Ночью в Сухиничах услужливый носильщик старого образца, пройдя с доктором по неосвещенным путям, посадил его с задней стороны в вагон второго класса какого-то, только что подошедшего и расписанием не предусмотренного поезда.

Едва носильщик, отомкнув кондукторским ключом заднюю дверцу, вскинул на площадку докторские вещи, как должен был выдержать короткий бой с проводником, который мгновенно стал их высаживать, но, будучи умилостивлен Юрием Андреевичем, стушевался и провалился как сквозь землю.

Таинственный поезд был особого назначения и шел довольно быстро, с короткими остановками, под какой-то охраной. В вагоне было совсем свободно.

Купе, куда вошел Живаго, ярко освещалось оплывшею свечой на столике, пламя которой колыхала струя воздуха из приспущенного окна.

Свеча принадлежала единственному пассажиру в купе. Это был белокурый юноша, наверное, очень высокого роста, судя по его длинным рукам и ногам. Они слишком легко ходили у него на сгибах, как плохо скрепленные составные части складных предметов. Молодой человек сидел на диване у окна, непринужденно откинувшись. При появлении Живаго он вежливо приподнялся и переменил свою полулежачую позу на более приличную сидячую.

У него под диваном валялось что-то вроде половой тряпки.

Вдруг кончик ветоши зашевелился, и из-под дивана с хлопотливою вознею вылезла вислоухая лягавая собака. Она обнюхала и оглядела Юрия Андреевича и стала бегать по купе из угла в угол, раскидывая лапы так же

гибко, как закидывал ногу на ногу её долговязый хозяин. Скоро по его требованию она хлопотливо залезла под диван и приняла свой прежний вид скомканной полотерной суконки.

Тут только Юрий Андреевич заметил двустволку в чехле, кожаный патронташ и туго набитую настрелянной птицей охотничью сумку, висевшие на крюках в купе.

Молодой человек был охотник.

Он отличался чрезвычайной разговорчивостью и поспешил с любезной улыбкой вступить с доктором в беседу. При этом он не в переносном, а в самом прямом смысле все время смотрел доктору в рот.

У молодого человека оказался неприятный высокий голос, на повышениях впадавший в металлический фальцет. Другая странность: по всему русский, он одну гласную, а именно «у», произносил мудреннейшим образом. Он её смягчал наподобие французского «u» или немецкого «u Umlaut». Мало того, это испорченное «у» стоило ему больших трудов, он со страшной натугой, несколько взвизгивая, выговаривал этот звук громче всех остальных. Почти в самом начале он огорошил Юрия Андреевича такой фразой:

«Еще только вчера utrom я охотился на utok».

Минутами, когда, видимо, он больше следил за собой, он преодолевал эту не правильность, но стоило ему забыться, как она вновь проскальзывала.

«Что за чертовщина? — подумал Живаго, — что-то читанное, знакомое. Я, как врач, должен был бы это знать, да вот вылетело из головы. Какое-то мозговое явление, вызывающее дефект артикуляции. Но это подвывание так смешно, что трудно оставаться серьезным. Совершенно невозможно разговаривать. Лучше полезу наверх и лягу».

Так доктор и сделал. Когда он стал располагаться на верхней полке, молодой человек спросил, не потушить ли ему свечу, которая, пожалуй, будет мешать Юрию Андреевичу. Доктор с благодарностью принял предложение. Сосед погасил огонь. Стало темно. Оконная рама в купе была наполовину спущена.

— Не закрыть ли нам окно? — спросил Юрий Андреевич. — Вы воров не боитесь?

Сосед ничего не ответил. Юрий Андреевич очень громко повторил вопрос, но тот опять не отозвался.

Тогда Юрий Андреевич зажег спичку, чтобы посмотреть, что с его соседом, не вышел ли он из купе в такое короткое мгновение и не спит ли, что было бы еще невероятнее.

Но нет, тот сидел с открытыми глазами на своем месте и улыбнулся свесившемуся сверху доктору.

Спичка потухла. Юрий Андреевич зажег новую и при её свете в третий раз повторил, что ему желательно было выяснить.

— Поступайте, как знаете, — без замедления ответил охотник. — У меня нечего красть. Впрочем, лучше было бы не закрывать. Душно.

«Вот так фунт! — подумал Живаго. — Чудак, по-видимому, привык разговаривать только при полном освещении. И как он чисто все сейчас произнес, без своих не правильностей! Уму непостижимо!»

15

Доктор чувствовал себя разбитым событиями прошедшей недели, предотъездными волнениями, дорожными сборами и утренней посадкой на поезд. Он думал, что уснет, чуть растянется на удобном месте. Но не тут-то было. Чрезмерное переутомление нагнало на него бессонницу. Он заснул только на рассвете.

Как ни хаотичен был вихрь мыслей, роившихся в его голове в течение этих долгих часов, их, собственно говоря, было два круга, два неотвязных клубка, которые то сматывались, то разматывались.

Один круг составляли мысли о Тоне, доме и прежней налаженной жизни, в которой все до мельчайших подробностей было овеяно поэзией и проникнуто сердечностью и чистотою.

Доктор тревожился за эту жизнь и желал ей целости и сохранности и, летя в ночном скором поезде, нетерпеливо рвался к этой жизни обратно, после более чем двухлетней разлуки.

Верность революции и восхищение ею были тоже в этом круге.

Это была революция в том смысле, в каком принимали её средние классы, и в том понимании, какое придавала ей учащаяся молодежь девятьсот пятого года, поклонявшаяся Блоку.

В этот круг, родной и привычный, входили также те признаки нового, те обещания и предвестия, которые показались на горизонте перед войной, между двенадцатым и четырнадцатым годами, в русской мысли, русском искусстве и русской судьбе, судьбе общероссийской и его собственной, Живаговской.

После войны хотелось обратно к этим веяниям, для их возобновления и продолжения, как тянуло из отлучки назад домой.

Новое было также предметом мыслей второго круга, но насколько другое, насколько отличное новое! Это было не свое, привычное, старым

подготовленное новое, а непроизвольное, неотменимое, реальностью предписанное новое, внезапное, как потрясение.

Таким новым была война, её кровь и ужасы, её бездомность и одичание. Таким новым были её испытания и житейская мудрость, которой война учила. Таким новым были захолустные города, куда война заносила, и люди, с которыми она сталкивала. Таким новым была революция, не по-университетски идеализированная под девятьсот пятый год, а эта, нынешняя, из войны родившаяся, кровавая, ни с чем не считающаяся солдатская революция, направляемая знатоками этой стихии, большевиками.

Таким новым была сестра Антипова, войной заброшенная Бог знает куда, с совершенно ему неведомой жизнью, никого ни в чем не укоряющая и почти жалующаяся своей безгласностью, загадочно немногословная и такая сильная своим молчанием. Таким новым было честное старание Юрия Адреевича изо всех сил не любить ее, так же как всю жизнь он старался относиться с любовью ко всем людям, не говоря уже о семье и близких.

Поезд несся на всех парах. Встречный ветер через опущенное окно трепал и пылил волосы Юрия Андреевича. На ночных остановках творилось то же самое, что на дневных, бушевала толпа и шелестели липы.

Иногда из глубины ночи к станциям со стуком подкатывали телеги и таратайки. Голоса и гром колес смешивались с шумом деревьев.

В эти минуты казалось понятным, что заставляло шелестеть и клониться друг к другу эти ночные тени, и что они шепчут друг другу, еле ворочая сонными отяжелевшими листьями, как заплетающимися шепелявыми языками. Это было то же самое, о чем думал, ворочаясь у себя на верхней полке, Юрий Адреевич, весть об охваченной все ширящимися волнениями России, весть о революции, весть о её роковом и трудном часе, о её вероятном конечном величии.

16

На другой день доктор проснулся поздно. Был двенадцатый час. «Маркиз, Маркиз!» — вполголоса сдерживал сосед свою разворчавшуюся собаку. К удивлению Юрия Андреевича, они с охотником оставались одни в купе, никто не подсел дорогой.

Названия станций попадались с детства знакомые. Поезд, оставив Калужскую губернию, врезался в глубь Московской.

Совершив свой дорожный туалет с довоенным удобством, доктор

вернулся в купе к утреннему завтраку, который предложил ему его любопытный спутник. Теперь Юрий Андреевич лучше к нему присмотрелся.

Отличительными чертами этой личности были крайняя разговорчивость и подвижность. Неизвестный любил поговорить, причем главным для него было не общение и обмен мыслей, а самая деятельность речи, произнесение слов и издавание звуков.

Разговаривая, он как на пружинах подскакивал на диване, оглушительно и беспричинно хохотал, быстро-быстро потирал от удовольствия руки, а когда и этого оказывалось недостаточно для выражения его восторга, бил себя ладонями по коленкам, смеясь до слез.

Разговор возобновился со всеми вчерашними странностями.

Незнакомец был удивительно непоследователен. Он то вдавался в признания, на которые никто не толкал его, то, и ухом не ведя, оставлял без ответа самые невинные вопросы.

Он вывалил целую кучу сведений о себе, самых фантастических и бессвязных. Грешным делом он, наверное, привирал. Он с несомненностью бил на эффект крайностями своих взглядов и отрицанием всего общепризнанного.

Все это напоминало что-то давно знакомое. В духе такого радикализма говорили нигилисты прошлого века и немного спустя некоторые герои Достоевского, а потом совсем еще недавно их прямые продолжения, то есть вся образованная русская провинция, часто идущая впереди столиц, благодаря сохранившейся в глуши основательности, в столицах устаревшей и вышедшей из моды.

Молодой человек рассказал, что он племянник одного известного революционера, родители же его, напротив, неисправимые ретрограды, зубры, как он выразился. У них в одной из прифронтовых местностей было порядочное имение. Там молодой человек и вырос. Его родители были с дядей всю жизнь на ножах, но он не злопамятен и теперь своим влиянием избавляет их от многих неприятностей.

Сам он по своим убеждениям в дядю, сообщил словоохотливый субъект, — экстремист-максималист во всем: в вопросах жизни, политики и искусства. Опять запахло Петенькой Верховенским, не в смысле левизны, а в смысле испорченности и пустозвонства.

«Сейчас он футуристом отрекомендуется», — подумал Юрий Андреевич, и действительно, речь шла о футуристах. «А сейчас о спорте заговорит, — продолжал загадывать вперед доктор, — о рысаках, или скетинг-рингах, или о французской борьбе». И правда, разговор перешел

на охоту.

Молодой человек сказал, что в родных местах он и охотился, и похвастал, что он великолепный стрелок, и если бы не его физический порок, помешавший ему попасть в солдаты, он на войне бы выделился меткостью.

Уловив вопрошающий взгляд Живаго, он воскликнул:

— Как? Разве вы ничего не заметили? Я думал, вы догадались о моем недостатке.

И он достал из кармана и протянул Юрию Андреевичу две карточки. Одна была его визитная. У него была двойная фамилия.

Его звали Максим Аристархович Клинцов-Погоревших, или просто Погоревших, как он просил звать в честь его, так именно называвшего себя дяди.

На другой карточке была разграфленная на клетки таблица с изображением разнообразно соединенных рук со сложенными по-разному пальцами. Это была ручная азбука глухонемых. Вдруг все объяснилось.

Погоревших был феноменально способным воспитанником школы Гартмана или Остроградского, то есть глухонемым, с невероятным совершенством выучившимся говорить не по слуху, а на глаз, по движению горловых мышц учителя, и таким же образом понимавшим речь собеседника.

Тогда, сопоставив в уме, откуда он и в каких местах охотился, доктор спросил:

— Простите за нескромность, но вы можете не отвечать, — скажите, вы не имели отношения к Зыбушинской республике и её созданию?

— А откуда… Позвольте… Так вы знали Блажейко?.. Имел, имел! Конечно, имел, — радостно затараторил Погоревших, хохоча, раскачиваясь всем корпусом из стороны в сторону и неистово колотя себя по коленям. И опять пошла фантасмагория.

Погоревших сказал, что Блажейко был для него поводом, а Зыбушино безразличной точкой приложения его собственных идей.

Юрию Андреевичу трудно было следить за их изложением.

Философия Погоревших наполовину состояла из положений анархизма, а наполовину из чистого охотничьего вранья.

Погоревших невозмутимым тоном оракула предсказывал гибельные потрясения на ближайшее время. Юрий Андреевич внутренне соглашался, что, может быть, они неотвратимы, но его взрывало авторитетное спокойствие, с каким цедил свои предсказания этот неприятный мальчишка.

— Постойте, постойте, — несмело возражал он. — Все это так, может статься. Но, по-моему, не время таким рискованным экспериментам среди нашего хаоса и развала, перед лицом напирающего врага. Надо дать стране прийти в себя и отдышаться от одного переворота, прежде чем отваживаться на другой. Надо дождаться какого-нибудь, хотя бы относительного успокоения и порядка.

— Это наивно, — говорил Погоревших. — То, что вы зовете развалом, такое же нормальное явление, как хваленый ваш и излюбленный порядок. Эти разрушения — закономерная и предварительная часть более широкого созидательного плана.

Общество развалилось еще недостаточно. Надо, чтобы оно распалось до конца, и тогда настоящая революционная власть по частям соберет его на совершенно других основаниях.

Юрию Андреевичу стало не по себе. Он вышел в коридор.

Поезд, набирая скорость, несся подмосковными. Каждую минуту навстречу к окнам подбегали и проносились мимо березовые рощи с тесно расставленными дачами. Пролетали узкие платформы без навесов с дачниками и дачницами, которые отлетали далеко в сторону в облаке пыли, поднятой поездом, и вертелись как на карусели. Поезд давал свисток за свистком, и его свистом захлебывалось, далеко разнося его, полое, трубчатое и дуплистое лесное эхо.

Вдруг в первый раз за все эти дни Юрий Андреевич с полной ясностью понял, где он, что с ним и что его встретит через какой-нибудь час или два с лишним.

Три года перемен, неизвестности, переходов, война, революция, потрясения, обстрелы, сцены гибели, сцены смерти, взорванные мосты, разрушения, пожары — все это вдруг превратилось в огромное пустое место, лишенное содержания.

Первым истинным событием после долгого перерыва было это головокружительное приближение в поезде к дому, который цел и есть еще на свете, и где дорог каждый камушек. Вот что было жизнью, вот что было переживанием, вот за чем гонялись искатели приключений, вот что имело в виду искусство — приезд к родным, возвращение к себе, позобновление существования.

Рощи кончились. Поезд вырвался из лиственных теснин на волю. Отлогая поляна широким бугром уходила вдаль, подымаясь из оврага. Вся она была покрыта продольными грядами темно-зеленой картошки. На вершине поляны, в конце картофельного поля, лежали на земле стеклянные рамы, вынутые из парников. Против поляны за хвостом идущего поезда в

полнеба стояла огромная черно-лиловая туча. Из-за нее выбивались лучи солнца, расходясь колесом во все стороны, и по пути задевали за парниковые рамы, зажигая их стекла нестерпимым блеском.

Вдруг из тучи косо посыпался крупный, сверкающий на солнце грибной дождь. Он падал торопливыми каплями в том же самом темпе, в каком стучал колесами и громыхал болтами разбежавшийся поезд, словно стараясь догнать его или боясь от него отстать.

Не успел доктор обратить на это внимание, как из-за горы показался храм Христа Спасителя и в следующую минуту — купола, крыши, дома и трубы всего города.

— Москва, — сказал он, возвращаясь в купе. — Пора собираться.

Погоревших вскочил, стал рыться в охотничьей сумке и выбрал из нее утку покрупнее.

— Возьмите, — сказал он. — На память. Я провел целый день в таком приятном обществе.

Как ни отказывался доктор, ничего не помогало.

— Ну хорошо, — вынужден он был согласиться, — я принимаю это от вас в подарок жене.

— Жене! Жене! В подарок жене, — радостно повторял Погоревших, точно слышал это слово впервые, и стал дергаться всем телом и хохотать так, что выскочивший Маркиз принял участие в его радости.

Поезд подходил к дебаркадеру. В вагоне стало темно, как ночью. Глухонемой протягивал доктору дикого селезня, завернутого в обрывок какого-то печатного воззвания.

ЧАСТЬ шестая.

МОСКОВСКОЕ СТАНОВИЩЕ

1

В дороге, благодаря неподвижному сидению в тесном купе, казалось, что идет только поезд, а время стоит, и что все еще пока полдень.

Но уже вечерело, когда извозчик с доктором и его вещами с трудом выбрался шагом из несметного множества народа, толпившегося на Смоленском.

Может быть, так оно и было, а может быть, на тогдашние впечатления доктора наслоился опыт позднейших лет, но потом в воспоминаниях ему казалось, что уже и тогда на рынке сбивались в кучу только по привычке, а толпиться на нем не было причины, потому что навесы на пустых ларях были спущены и даже не прихвачены замками, и торговать на загаженной площади, с которой уже не сметали нечистот и отбросов, было нечем.

И ему казалось, что уже и тогда он видел жавшихся на тротуаре худых, прилично одетых старух и стариков, стоявших немой укоризною мимоидущим, и безмолвно предлагавших на продажу что-нибудь такое, чего никто не брал и что никому не было нужно: искусственные цветы, круглые спиртовые кипятильники для кофе со стеклянной крышкой и свистком, вечерние туалеты из черного газа, мундиры упраздненных ведомств.

Публика попроще торговала вещами более насущными: колючими, быстро черствевшими горбушками черного пайкового хлеба, грязными, подмокшими огрызками сахара и перерезанными пополам через всю обертку пакетиками махорки в пол-осьмушки.

И по всему рынку шел в оборот какой-то неведомый хлам, который рос в цене по мере того, как обходил все руки.

Извозчик свернул в один из прилегавших к площади переулков.

Сзади садилось солнце и било им в спину. Перед ними громыхал ломовик на подскакивавшей порожней подводе. Он подымал столбы пыли, горевшей бронзою в лучах заката.

Наконец им удалось объехать ломового, преграждавшего им дорогу. Они поехали быстрее. Доктора поразили валявшиеся всюду на мостовых и тротуарах вороха старых газет и афиш, сорванных с домов и заборов. Ветер тащил их в одну сторону, а копыта, колеса и ноги встречных едущих и

идущих — в другую.

Скоро после нескольких пересечений показался на углу двух переулков родной дом. Извозчик остановился.

У Юрия Андреевича захватило дыхание и громко забилось сердце, когда, сойдя с пролетки, он подошел к парадному и позвонил в него. Звонок не произвел действия. Юрий Андреевич дал новый. Когда ни к чему не привела и эта попытка, он с поднявшимся беспокойством стал с небольшими перерывами звонить раз за разом. Только на четвертый внутри загремели крюком и цепью, и вместе с отведенной вбок входною дверью он увидел державшую её на весь отлет Антонину Александровну. От неожиданности оба в первое мгновение остолбенели и не слышали, что вскрикнули. Но так как настежь откинутая дверь в руке Антонины Александровны наполовину представляла настежь раскрытое объятие, то это вывело их из столбняка, и они как безумные бросились друг другу на шею. Через минуту они заговорили одновременно, друг друга перебивая.

— Первым делом: все ли здоровы?

— Да, да, успокойся. Всё в порядке. Я тебе написала глупости. Прости. Но надо будет поговорить. Отчего ты не телеграфировал? Сейчас Маркел тебе вещи снесет. А, я понимаю, тебя встревожило, что не Егоровна дверь отворила? Егоровна в деревне.

— А ты похудела. Но какая молодая и стройная! Сейчас я извозчика отпущу.

— Егоровна за мукой уехала. Остальных распустили. Сейчас только одна новая, ты её не знаешь, Нюша, девчонка при Сашеньке, и больше никого. Всех предупредили, что ты должен приехать, все в нетерпении. Гордон, Дудоров, все.

— Сашенька как?

— Ничего, слава Богу. Только что проснулся. Если бы ты не с дороги, можно было бы сейчас пройти к нему.

— Папа дома?

— Разве тебе не писали? С утра до поздней ночи в районной думе. Председателем. Да, представь себе. Ты расплатился с извозчиком? Маркел! Маркел!

Они стояли с корзиной и чемоданом посреди тротуара, загородив дорогу, и прохожие, обходя их, оглядывали их с ног до головы и долго глазели на отъезжающего извозчика и на широко растворенное парадное, ожидая, что будет дальше.

Между тем от ворот уже бежал к молодым господам Маркел в жилетке поверх ситцевой рубахи, с дворницким картузом в руке и на бегу кричал:

— Силы небесные, никак Юрочка? Ну как же! Так и есть, он, соколик! Юрий Андреевич, свет ты наш, не забыл нас, молитвенников, припожаловал на родимое запечье! А вам чего надо? Ну? Чего не видали? — огрызался он на любопытных. — Проходите, достопочтенные. Вылупили белки!

— Здравствуй, Маркел, давай обнимемся. Да надень ты, чудак, картуз. Что нового, хорошенького? Как жена, дочки?

— Что им делается. Произрастают. Благодарствуем. А нового — покамест ты там богатырствовал, и мы, видишь, не зевали.

Такой кабак и бедлант развели, что чертям, брат, тошно, не разбери-бери — что! Улицы не метены, дома-крыши не чинены, в животах, что в пост, чистота, без анекцый и контрибуцый.

— Я на тебя Юрию Андреевичу пожалуюсь, Маркел. Вот всегда он так, Юрочка. Терпеть не могу его дурацкого тона. И наверное он ради тебя старается, думает тебе угодить. А сам, между тем, себе на уме. Оставь, оставь, Маркел, не оправдывайся. Темная ты личность, Маркел. Пора бы поумнеть. Чай, живешь не у лабазников.

Когда Маркел внес вещи в сени и захлопнул парадное, он продолжал тихо и доверительно:

— Антонина Александровна серчают, слыхал вот. И так завсегда. Говорят, ты, говорит, Маркел, весь черный изнутре, вот все равно как сажа в трубе. Теперь, говорит, не то что дитя малое, теперь, может, мопс, болонка комнатная и то стали понимающие со смыслом. Это, конечно, кто спорит, ну только, Юрочка, хошь верь, хошь не верь, а только знающие люди книгу видали, масон грядущий, сто сорок лет под камнем пролежала, и теперь мое такое мнение, продали нас, Юрочка, понимаешь, продали, продали ни за грош, ни за полушку, ни за понюшку табаку. Не дадут, смотри, мне Антонина Александровна слово сказать, опять, видишь, машут ручкой.

— А как не махать. Ну хорошо. Поставь вещи на пол и спасибо, ступай, Маркел. Надо будет, Юрий Андреевич опять кликнет.

2

— Отстал, наконец, отвязался. Ты верь ему, верь. Чистейший балаган один. При других всё дурачком, дурачком, а сам втайне на всякий случай ножик точит. Да вот не решил еще, на кого, казанская сирота.

— Ну, это ты хватила! По-моему, просто он пьян, вот и паясничает, больше ничего.

— А ты скажи, когда он трезв бывает? Да ну его, право, к чорту. Я чего боюсь, как бы Сашенька опять не уснул. Если бы не этот тиф железнодорожный… На тебе нет вшей?

— Думаю, что нет. Я ехал с комфортом, как до войны. Разве немного умыться? Кое-как, наскоро. А потом поосновательней. Но куда ты? Почему не через гостиную? Вы теперь по-другому подымаетесь?

— Ах да! Ты ведь ничего не знаешь. Мы с папой думали, думали, и часть низа отдали Сельскохозяйственной академии. А то зимой самим не отопить. Да и верх слишком поместительный.

Предлагаем им. Пока не берут. У них тут кабинеты ученые, гербарии, коллекции семян. Не развели бы крыс. Все-таки — зерно. Но пока содержат комнаты в опрятности. Теперь это называется жилой площадью. Сюда, сюда. Какой несообразительный! В обход по черной лестнице. Понял? Иди за мной, я покажу.

— Очень хорошо сделали, что уступили комнаты. Я работал в госпитале, который был тоже размещен в барском особняке. Бесконечные анфилады, кое-где паркет уцелел. Пальмы в кадках по ночам над койками пальцы растопыривали, как привидения. Раненые, бывалые, из боев, пугались и со сна кричали. Впрочем, не вполне нормальные, контуженные. Пришлось вынести. Я хочу сказать, что в жизни состоятельных было, правда, что-то нездоровое. Бездна лишнего. Лишняя мебель и лишние комнаты в доме, лишние тонкости чувств, лишние выражения. Очень хорошо сделали, что потеснились. Но еще мало. Надо больше.

— Что это у тебя из свертка высовывается? Птичий клюв, голова утиная. Какая красота! Дикий селезень! Откуда? Глазам своим не верю! По нынешним временам это целое состояние!

— В вагоне подарили. Длинная история, потом расскажу. Как ты советуешь, развернуть и оставить на кухне?

— Да, конечно. Сейчас пошлю Нюшу ощипать и выпотрошить. К зиме предсказывают всякие ужасы, голод, холод.

— Да, об этом везде говорят. Сейчас смотрел я в окно вагона и думал. Что может быть выше мира в семье и работы?

Остальное не в нашей власти. Видимо, правда, многих ждут несчастья. Некоторые думают спастись на юг, на Кавказ, пробуют пробраться куда-нибудь подальше. Это не в моих правилах.

Взрослый мужчина должен, стиснув зубы, разделять судьбу родного края. По-моему, это очевидность. Другое дело вы. Как бы мне хотелось уберечь вас от бедствий, отправить куда-нибудь в место понадежнее, в Финляндию, что ли. Но если мы так по полчаса будем стоять на каждой

ступеньке, мы никогда не доберемся доверху.

— Постой. Слушай. Новость. И какая! А я и забыла. Николай Николаевич приехал.

— Какой Николай Николаевич?

— Дядя Коля.

— Тоня! Быть не может! Какими судьбами?

— Да вот, как видишь. Из Швейцарии. Кружным путем на Лондон. Через Финляндию.

— Тоня! Ты не шутишь? Вы его видали? Где он? Нельзя ли его раздобыть немедленно, сию минуту?

— Какое нетерпение! Он за городом у кого-то на даче.

Обещал послезавтра вернуться. Очень изменился, ты разочаруешься. Проездом застрял в Петербурге, обольшевичился.

Папа с ним до хрипоты спорит. Но почему мы, правда, останавливаемся на каждом шагу? Пойдем. Значит, ты тоже слышал, что впереди ничего хорошего, трудности, опасности, неизвестность?

— Я и сам так думаю. Ну что же. Будем бороться. Не всем же обязательно конец. Посмотрим, как другие.

— Говорят, без дров будем сидеть, без воды, без света.

Отменят деньги. Прекратится подвоз. И опять мы стали. Пойдем.

Слушай. Хвалят плоские железные печурки в мастерской на Арбате. На огне газеты обед можно сварить. Мне достали адрес.

Надо купить, пока не расхватали.

— Правильно. Купим. Умница, Тоня! Но дядя Коля, дядя Коля!

Ты подумай! Не могу опомниться!

— У меня такой план. Выделить наверху с краю какой-нибудь угол, поселиться нам с папой, Сашенькой и Нюшей, скажем, в двух или трех комнатах, непременно сообщающихся, где-нибудь в конце этажа, и совершенно отказаться от остального дома.

Отгородиться, как от улицы. Одну такую железную печурку в среднюю комнату, трубку в форточку, стирку, варку пищи, обеды, прием гостей, всё сюда же, чтобы оправдать топку, и, как знать, может, Бог даст, перезимуем.

— А то как же? Разумеется, перезимуем. Вне всякого сомнения. Ты это превосходно придумала. Молодчина. И знаешь что? Отпразднуем принятие твоего плана. Зажарим мою утку и позовем дядю Колю на новоселье.

— Великолепно. А Гордона попрошу спирту принести. Он в какой-то лаборатории достает. А теперь погляди. Вот комната, о которой я говорила. Вот что я выбрала. Одобряешь? Поставь на пол чемодан и спустись за корзиной. Кроме дяди и Гордона, можно также попросить Иннокентия и

Шуру Шлезингер. Не возражаешь? Ты не забыл еще, где наша умывальная? Побрызгайся там чем-нибудь дезинфицирующим. А я пройду к Сашеньке, пошлю Нюшу вниз и, когда можно будет, позову тебя.

3

Главной новостью в Москве был для него этот мальчик. Едва Сашенька родился, как Юрия Андреевича призвали. Что он знал о сыне?

Однажды, будучи уже мобилизованным, Юрий Андреевич перед отъездом пришел в клинику проведать Тоню. Он пришел к моменту кормления детей. Его к ней не пустили.

Он сел дожидаться в прихожей. В это время дальний детский коридор, шедший под углом к акушерскому, вдоль которого лежали матери, огласился плаксивым хором десяти или пятнадцати младенческих голосов, и нянюшки стали поспешно, чтобы не простудить спеленутых новорожденных, проносить их по двое под мышками, как большие свертки с какими-то покупками, матерям на кормление.

— Уа, уа, — почти без чувства, как по долгу службы, пищали малютки на одной ноте, и только один голос выделялся из этого унисона. Ребенок тоже кричал «уа, уа», и тоже без оттенка страдания, но, как казалось, не по обязанности, а с каким-то впадающим в бас, умышленным, угрюмым недружелюбием.

Юрий Андреевич тогда уже решил назвать сына в честь тестя Александром. Неизвестно почему он вообразил, что так кричит его мальчик, потому что это был плач с физиономией, уже содержавший будущий характер и судьбу человека, плач со звуковой окраской, заключавшей в себе имя мальчика, имя Александр, как вообразил Юрий Андреевич.

Юрий Андреевич не ошибся. Как потом выяснилось, это действительно плакал Сашенька. Вот то первое, что он знал о сыне.

Следующее знакомство с ним Юрий Андреевич составил по карточкам, которые в письмах посылали ему на фронт. На них веселый хорошенький бутуз с большой головой и губами бантиком стоял раскорякой на разостланном одеяле и, подняв обе ручки кверху, как бы плясал вприсядку. Тогда ему был год, он учился ходить, теперь исполнялся второй, он начинал говорить.

Юрий Андреевич поднял чемодан с полу и, распустив ремни, разложил его на ломберном столе у окна. Что это была в прошлом за комната? Доктор не узнавал ее. Видно, Тоня вынесла из нее мебель или переклеила

её как-нибудь по-новому.

Доктор раскрыл чемодан, чтобы достать из него бритвенный прибор. Между колонками церковной колокольни, высившейся как раз против окна, показалась ясная, полная луна. Когда её свет упал внутрь чемодана на разложенное сверху белье, книги и туалетные принадлежности, комната озарилась как-то по-другому и доктор узнал ее.

Это была освобожденная кладовая покойной Анны Ивановны. Она в былое время сваливала в нее поломанные столы и стулья, ненужное канцелярское старье. Тут был её семейный архив, тут же и сундуки, в которые прятали на лето зимние вещи. При жизни покойной углы комнаты были загромождены до потолка, и обыкновенно в нее не пускали. Но по большим праздникам, в дни многолюдных детских сборищ, когда им разрешали беситься и бегать по всему верху, отпирали и эту комнату, и они играли в ней в разбойников, прятались под столами, мазались жженой пробкой и переодевались по-маскарадному.

Некоторое время доктор стоял, все это припоминая, а потом сошел в нижние сени за оставленной там корзиною.

Внизу на кухне Нюша, робкая и застенчивая девушка, став на корточки, чистила перед плитою утку над разостланным листом газеты. При виде Юрия Андреевича с тяжестью в руках она вспыхнула, как маков цвет, гибким движением выпрямилась, сбивая с передника приставшие перья, и, поздоровавшись, предложила свою помощь. Но доктор поблагодарил и сказал, что сам донесет корзину.

Едва вошел он в бывшую кладовую Анны Ивановны, как из глубины второй или третьей комнаты жена позвала его:

— Можно, Юра!

Он отправился к Сашеньке.

Теперешняя детская помещалась в прежней его и Тониной классной. Мальчик в кроватке оказался совсем не таким красавчиком, каким его изображали снимки, зато это была вылитая мать Юрия Андреевича, покойная Мария Николаевна Живаго, разительная её копия, похожая на нее больше всех сохранившихся после нее изображений.

— Это папа, это твой папа, сделай папочке ручкой, — твердила Антонина Александровна, опуская сетку кроватки, чтобы отцу было удобнее обнять мальчика и взять его на руки.

Сашенька близко подпустил незнакомого и небритого мужчину, который, может быть, пугал и отталкивал его, и когда тот наклонился, порывисто встал, ухватился за мамину кофточку и злобно с размаху шлепнул его по лицу. Собственная смелость так ужаснула Сашеньку, что

он тут же бросился к матери на грудь, зарыл лицо в её платье и заплакал навзрыд горькими и безутешными детскими слезами.

— Фу, фу, — журила его Антонина Александровна. — Нельзя так, Сашенька. Папа подумает, Саша нехороший, Саша бяка.

Покажи, как ты целуешься, поцелуй папу. Не плачь, не надо плакать, о чем ты, глупый?

— Оставь его в покое, Тоня, — попросил доктор. — Не мучь его и не расстраивайся сама. Я знаю, какая дурь лезет тебе в голову. Что это неспроста, что это дурной знак. Это такие пустяки. И так естественно. Мальчик никогда не видал меня.

Завтра присмотрится, водой не разольешь.

Но он и сам вышел из комнаты как в воду опущенный, с чувством недоброго предзнаменования.

4

В течение нескольких следующих дней обнаружилось, до какой степени он одинок. Он никого в этом не винил. Видно, сам он хотел этого и добился.

Странно потускнели и обесцветились друзья. Ни у кого не осталось своего мира, своего мнения. Они были гораздо ярче в его воспоминаниях. По-видимому, он раньше их переоценивал.

Пока порядок вещей позволял обеспеченным блажить и чудесить на счет необеспеченных, как легко было принять за настоящее лицо и самобытность эту блажь и право на праздность, которым пользовалось меньшинство, пока большинство терпело!

Но едва лишь поднялись низы, и льготы верхов были отменены, как быстро все полиняли, как без сожаления расстались с самостоятельной мыслью, которой ни у кого, видно, не бывало!

Теперь Юрию Андреевичу были близки одни люди без фраз и пафоса, жена и тесть, да еще два-три врача сослуживца, скромные труженики, рядовые работники.

Вечер с уткой и со спиртом в свое время состоялся, как предполагалось, на второй или третий день его приезда, когда он успел перевидаться со всеми приглашенными, так что это не было их первой встречей.

Жирная утка была невиданной роскошью в те, уже голодные, времена, но к ней недоставало хлеба, и это обессмысливало великолепие закуски, так что даже раздражало.

Гордон принес спирту в аптечной склянке с притертой пробкой. Спирт был любимым меновым средством мешочников.

Антонина Александровна не выпускала бутылки из рук и по мере надобности разводила спирт небольшими порциями, по вдохновению, то слишком крепко, то слишком слабо. При этом оказалось, что неровный хмель от меняющегося раствора многим тяжелее сильного и определенного. Это тоже сердило.

Всего же грустнее было, что вечеринка их представляла отступление от условий времени. Нельзя было предположить, чтобы в домах напротив по переулку так же пили и закусывали в те же часы. За окном лежала немая, темная и голодная Москва.

Лавки её были пусты, а о таких вещах, как дичь и водка, и думать позабыли.

И вот оказалось, что только жизнь, похожая на жизнь окружающих и

среди нее бесследно тонущая, есть жизнь настоящая, что счастье обособленное не есть счастье, так что утка и спирт, которые кажутся единственными в городе, даже совсем не спирт и не утка. Это огорчало больше всего.

Гости тоже наводили на невеселые размышления. Гордон был хорош, пока тяжело мыслил и изъяснялся уныло и нескладно. Он был лучшим другом Юрия Андреевича. В гимназии его любили.

Но вот он себе разонравился и стал вносить неудачные поправки в свой нравственный облик. Он бодрился, корчил весельчака, все время что-то рассказывал с претензией на остроумие, и часто говорил «занятно» и «забавно», слова не из своего словаря, потому что Гордон никогда не понимал жизни, как развлечения.

До прихода Дудорова он рассказал смешную, как ему казалось, историю дудоровской женитьбы, ходившую между товарищами. Юрий Андреевич её не знал.

Оказывается, Дудоров был женат около года, а потом разошелся с женой. Малоправдоподобная соль этого приключения заключалась в следующем.

Дудорова по ошибке взяли в солдаты. Пока он служил и выясняли недоразумение, он больше всего штрафных нарядов получил за ротозейство и неотдание чести на улице. Когда его освободили, у него долго при виде офицеров рука подскакивала кверху, рябило в глазах и всюду мерещились погоны.

В этот период он все делал невпопад, совершал разные промахи и оплошности. Именно в это время он будто бы на одной волжской пристани познакомился с двумя девушками, сестрами, дожидавшимися того же парохода, и якобы из рассеянности, проистекавшей от мелькания многочисленных военных кругом и от пережитков своего солдатского козыряния, не доглядел, влюбился по недосмотру и второпях сделал младшей сестре предложение.

«Забавно, не правда ли?» — спрашивал Гордон. Но он должен был скомкать описание. За дверью послышался голос героя рассказа.

В комнату вошел Дудоров.

С ним произошла обратная перемена. Прежний неустойчивый и взбалмошный ветрогон превратился в сосредоточенного ученого.

Когда юношей его исключили из гимназии за участие в подготовке политического побега, он некоторое время скитался по разным художественным училищам, но в конце концов его прибило к классическому берегу. С запозданием против товарищей Дудоров в годы

войны кончил университет и был оставлен по двум кафедрам, русской и всеобщей истории. По первой он писал что-то о земельной политике Ивана Грозного, а по второй исследование о Сен-Жюсте.

Он обо всем любезно рассуждал теперь негромким и как бы простуженным голосом, мечтательно глядя в одну точку и не опуская и не подымая глаз, как читают лекции.

К концу вечера, когда ворвалась со своими нападками Шура Шлезингер, а все, и без того разгоряченные, кричали наперебой, Иннокентий, с которым Юрий Андреевич со школьных лет был на «вы», несколько раз спросил:

— Вы читали «Войну и мир» и «Флейту-позвоночник»?

Юрий Андреевич давно сказал ему, что думает по этому поводу, но Дудоров не расслышал из-за закипевшего общего спора и потому, немного погодя, спросил еще раз:

— Вы читали «Флейту-позвоночник» и «Человека»?

— Ведь я вам ответил, Иннокентий. Ваша вина, что не слышали. Ну, будь по-вашему. Скажу снова. Маяковский всегда мне нравился. Это какое-то продолжение Достоевского. Или вернее, это лирика, написанная кем-то из его младших бунтующих персонажей, вроде Ипполита, Раскольникова или героя «Подростка». Какая всепожирающая сила дарования! Как сказано это раз навсегда, непримиримо и прямолинейно! А главное, с каким смелым размахом шваркнуто это все в лицо общества и куда-то дальше, в пространство!

Но главным гвоздем вечера был, конечно, дядя. Антонина Александровна ошибалась, говоря, что Николай Николаевич на даче. Он вернулся в день приезда племянника и был в городе.

Юрий Андреевич видел его уже два или три раза и успел наговориться с ним, наохаться, наахаться и нахохотаться.

Первое их свидание произошло вечером серого пасмурного дня.

Мелкой водяной пылью моросил дождик. Юрий Андреевич пришел к Николаю Николаевичу в номер. В гостиницу уже принимали только по настоянию городских властей. Но Николая Николаевича везде знали. У него оставались старые связи.

Гостиница производила впечатление желтого дома, покинутого сбежавшей администрацией. Пустота, хаос, власть случайности на лестницах и в коридорах.

В большое окно неприбранного номера смотрела обширная безлюдная площадь тех сумасшедших дней, чем-то пугавшая, словно она привиделась ночью во сне, а не лежала на самом деле перед глазами под окном

гостиницы.

Это было поразительное, незабываемое, знаменательное свидание! Кумир его детства, властитель его юношеских дум, живой во плоти опять стоял перед ним.

Николаю Николаевичу очень шла седина. Заграничный широкий костюм хорошо сидел на нем. Для своих лет он был еще очень моложав и смотрел красавцем.

Конечно, он сильно терял в соседстве с громадностью совершавшегося. События заслоняли его. Но Юрию Андреевичу и не приходило в голову мерить его таким мерилом.

Его удивило спокойствие Николая Николаевича, хладнокровно шутливый тон, которым он говорил на политические темы. Его умение держать себя превышало нынешние русские возможности. В этой черте сказывался человек приезжий. Черта эта бросалась в глаза, казалась старомодною и вызывала неловкость.

Ах, но ведь совсем не то, не то наполняло первые часы их встречи, заставило бросаться друг другу на шею, плакать и, задыхаясь от волнения, прерывать быстроту и горячность первого разговора частыми паузами.

Встретились два творческих характера, связанные семейным родством, и хотя встало и второй жизнью зажило минувшее, нахлынули воспоминания и всплыли на поверхность обстоятельства, происшедшие за время разлуки, но едва лишь речь зашла о главном, о вещах, известных людям созидательного склада, как исчезли все связи, кроме этой единственной, не стало ни дяди, ни племянника, ни разницы в возрасте, а только осталась близость стихии со стихией, энергии с энергией, начала и начала.

За последнее десятилетие Николаю Николаевичу не представлялось случая говорить об обаянии авторства и сути творческого предназначения в таком соответствии с собственными мыслями и так заслуженно к месту, как сейчас. С другой стороны, и Юрию Андреевичу не приходилось слышать отзывов, которые были бы так проницательно метки и так окрыляюще увлекательны, как этот разбор.

Оба поминутно вскрикивали и бегали по номеру, хватаясь за голову от безошибочности обоюдных догадок, или отходили к окну и молча барабанили пальцами по стеклу, потрясенные доказательствами взаимного понимания.

Так было у них при первом свидании, но потом доктор несколько раз видел Николая Николаевича в обществе, и среди людей он был другим, неузнаваемым.

Он сознавал себя гостем в Москве и не желал расставаться с этим сознанием. Считал ли он при этом своим домом Петербург или какое-нибудь другое место, оставалось неясным. Ему льстила роль политического краснобая и общественного очарователя.

Может быть, он вообразил, что в Москве откроются политические салоны, как в Париже перед конвентом у мадам Ролан.

Он захаживал к своим приятельницам, хлебосольным жительницам тихих московских переулков, и премило высмеивал их и их мужей за их половинчатость и отсталость, за привычку судить обо всем со своей колокольни. И он щеголял теперь газетной начитанностью, точно так же, как когда-то отреченными книгами и текстами орфиков.

Говорили, что в Швейцарии у него осталась новая молодая пассия, недоконченные дела, недописанная книга и что он только окунется в бурный отечественный водоворот, а потом, если вынырнет невредимым, снова махнет в свои Альпы, только и видали.

Он был за большевиков и часто называл два левоэсеровских имени в качестве своих единомышленников: журналиста, писавшего под псевдонимом Мирошка Помор, и публицистки Сильвии Котери.

Александр Александрович ворчливо упрекал его:

— Просто страшно, куда вы съехали, Николай Николаевич! Эти Мирошки ваши. Какая яма! А потом эта ваша Лидия Покори.

— Котери, — поправлял Николай Николаевич. — И — Сильвия.

— Ну все равно, Покори или Попурри, от слова не станется.

— Но все же, виноват, Котери, — терпеливо настаивал Николай Николаевич. Он и Александр Александрович обменивались такими речами:

— О чем мы спорим? Подобные истины просто стыдно доказывать. Это азбука. Основная толща народа веками вела немыслимое существование. Возьмите любой учебник истории. Как бы это ни называлось, феодализм ли и крепостное право, или капитализм и фабричная промышленность, все равно неестественность и несправедливость такого порядка давно замечена, и давно подготовлен переворот, который выведет народ к свету и всё поставит на свое место.

Вы знаете, что частичное подновление старого здесь непригодно, требуется его коренная ломка. Может быть, она повлечет за собой обвал здания. Ну так что же? Из того, что это страшно, ведь не следует, что этого не будет? Это вопрос времени. Как можно это оспаривать?

— Э, да ведь не о том разговор. Разве я об этом? Я что говорю? — сердился Александр Александрович, и спор возгорался.

— Ваши Попурри и Мирошки люди без совести. Говорят одно, а делают другое. И затем, где тут логика? Никакого соответствия.

Да нет, погодите, вот я вам покажу сейчас.

И он принимался разыскивать какой-нибудь журнал с противоречивою статьею, со стуком вдвигая и выдвигая ящики письменного стола и этой громкою возней пробуждая свое красноречие.

Александр Александрович любил, чтобы ему что-нибудь мешало при разговоре, и чтобы препятствия оправдывали его мямлющие паузы, его эканье и меканье. Разговорчивость находила на него во время розысков чего-нибудь потерянного, например, при подыскивании второй калоши к первой в полумраке передней, или когда с полотенцем через плечо он стоял на пороге ванной, или при передаче тяжелого блюда за столом, или во время разливания вина гостям по бокалам.

Юрий Андреевич с наслаждением слушал тестя. Он обожал эту хорошо знакомую старомосковскую речь нараспев, с мягким, похожим на мурлыканье громековским подкартавливаньем.

Верхняя губа у Александра Александровича с подстриженными усиками чуть-чуть выдавалась над нижней. Так же точно оттопыривался галстук бабочкой на его груди. Было нечто общее между этою губой и галстуком, и оно придавало Александру Александровичу что-то трогательное, доверчиво-детское.

Поздно ночью почти перед уходом гостей явилась Шура Шлезингер. Она прямо с какого-то собрания пришла в жакетке и рабочем картузе, решительными шагами вошла в комнату и, по очереди здороваясь со всеми за руку, тут же на ходу предалась упрекам и обвинениям.

— Здравствуй, Тоня. Здравствуй, Санечка. Все-таки свинство, согласитесь. Отовсюду слышу, приехал, об этом вся Москва говорит, а от вас узнаю последнею. Ну да чорт с вами.

Видно, не заслужила. Где он, долгожданный? Дайте пройду.

Обступили стеной. Ну, здравствуй! Молодец, молодец. Читала.

Ничего не понимаю, но гениально. Это сразу видно.

Здравствуйте, Николай Николаевич. Сейчас я вернусь к тебе, Юрочка. У меня с тобой большой, особый разговор. Здравствуйте, молодые люди. А, и ты тут, Гогочка? Гуси, гуси, га-га-га, есть хотите, да-да-да?

Последнее восклицание относилось к громековской седьмой воде на киселе Гогочке, ярому поклоннику всякой подымающейся силы, которого за глупость и смешливость звали Акулькой, а за рост и худобу — ленточной глистой.

— А вы тут пьете и закусываете? Сейчас я догоню вас. Ах, господа,

господа. Ничего-то вы не знаете, ничего не ведаете!

Что на свете делается! Какие вещи творятся! Пойдите на какое-нибудь настоящее низовое собрание с невыдуманными рабочими, с невыдуманными солдатами, не из книжек. Попробуйте пикнуть там что-нибудь про войну до победного конца. Вам там пропишут победный конец! Я матроса сейчас слышала! Юрочка, ты бы с ума сошел! Какая страсть! Какая цельность!

Шуру Шлезингер перебивали. Все орали кто в лес, кто по дрова. Она подсела к Юрию Андреевичу, взяла его за руку и, приблизив к нему лицо, чтобы перекричать других, кричала без повышений и понижений, как в разговорную трубку:

— Пойдем как-нибудь со мной, Юрочка. Я тебе людей покажу.

Ты должен, должен, понимаешь ли, как Антей, прикоснуться к земле. Что ты выпучил глаза? Я тебя, кажется, удивляю? Разве ты не знаешь, что я старый боевой конь, старая бестужевка, Юрочка. С предварилкой знакомилась, сражалась на баррикадах.

Конечно! А ты что думал? О, мы не знаем народа! Я только что оттуда, из их гущи. Я им библиотеку налаживаю.

Она уже хлебнула и явно хмелела. Но и у Юрия Андреевича шумело в голове. Он не заметил, как Шура Шлезингер оказалась в одном углу комнаты, а он в другом, в конце стола. Он стоял и по всем признакам, сверх собственного ожидания, говорил. Он не сразу добился тишины.

— Господа… Я хочу… Миша! Гогочка!.. Но что же делать, Тоня, когда они не слушают? Господа, дайте мне сказать два слова. Надвигается неслыханное, небывалое. Прежде чем оно настигнет нас, вот мое пожелание вам. Когда оно настанет, дай нам Бог не растерять друг друга и не потерять души. Гогочка, вы после будете кричать ура. Я не кончил. Прекратите разговоры по углам и слушайте внимательно.

На третий год войны в народе сложилось убеждение, что рано или поздно граница между фронтом и тылом сотрется, море крови подступит к каждому и зальет отсиживающихся и окопавшихся.

Революция и есть это наводнение.

В течение её вам будет казаться, как нам на войне, что жизнь прекратилась, всё личное кончилось, что ничего на свете больше не происходит, а только убивают и умирают, а если мы доживем до записок и мемуаров об этом времени, и прочтем эти воспоминания, мы убедимся, что за эти пять или десять лет пережили больше, чем иные за целое столетие.

Я не знаю, сам ли народ подымется и пойдет стеной, или всё сделается его именем. От события такой огромности не требуется драматической

доказательности. Я без этого ему поверю. Мелко копаться в причинах циклопических событий. Они их не имеют.

Это у домашних ссор есть свой генезис, и после того как оттаскают друг друга за волосы и перебьют посуду, ума не приложат, кто начал первый. Все же истинно великое безначально, как вселенная. Оно вдруг оказывается налицо без возникновения, словно было всегда или с неба свалилось.

Я тоже думаю, что России суждено стать первым за существование мира царством социализма. Когда это случится, оно надолго оглушит нас, и, очнувшись, мы уже больше не вернем утраченной памяти. Мы забудем часть прошлого и не будем искать небывалому объяснения. Наставший порядок обступит нас с привычностью леса на горизонте или облаков над головой. Он окружит нас отовсюду. Не будет ничего другого.

Он еще что-то говорил и тем временем совершенно протрезвился. Но по-прежнему он плохо слышал, что говорилось кругом, и отвечал невпопад. Он видел проявления общей любви к нему, но не мог отогнать печали, от которой был сам не свой. И вот он сказал:

— Спасибо, спасибо. Я вижу ваши чувства. Я их не заслуживаю. Но не надо любить так запасливо и торопливо, как бы из страха, не пришлось бы потом полюбить еще сильней.

Все захохотали и захлопали, приняв это за сознательную остроту, а он не знал куда деваться от чувства нависшего несчастья, от сознания своей невластности в будущем, несмотря на всю свою жажду добра и способность к счастью.

Гости расходились. У всех от усталости были вытянувшиеся лица. Зевота смыкала и размыкала им челюсти, делая их похожими на лошадей.

Прощаясь, отдернули оконную занавесь. Распахнули окно.

Показался желтоватый рассвет, мокрое небо в грязных, землисто-гороховых тучах.

— А ведь видно гроза была, пока мы пустословили, — сказал кто-то.

— Меня дорогой к вам дождь захватил. Насилу добежала, — подтвердила Шура Шлезингер.

В пустом и еще темном переулке стояло перестукиванье капающих с деревьев капель вперемежку с настойчивым чириканьем промокших воробьев.

Прокатился гром, будто плугом провели борозду через все небо, и все стихло. А потом раздались четыре гулких, запоздалых удара, как осенью вываливаются большие картофелины из рыхлой, лопатою сдвинутой гряды.

Гром прочистил емкость пыльной протабаченной комнаты.

Вдруг, как электрические элементы, стали ощутимы составные части существования, вода и воздух, желание радости, земля и небо.

Переулок наполнился голосами расходящихся. Они продолжали что-то громко обсуждать на улице, точь-в-точь как препирались только что об этом в доме. Голоса удалялись, постепенно стихали и стихли.

— Как поздно, — сказал Юрий Андреевич. — Пойдем спать.

Изо всех людей на свете я люблю только тебя и папу.

5

Прошел август, кончался сентябрь. Нависало неотвратимое.

Близилась зима, а в человеческом мире то, похожее на зимнее обмирание, предрешенное, которое носилось в воздухе и было у всех на устах.

Надо было готовиться к холодам, запасать пищу, дрова. Но в дни торжества материализма материя превратилась в понятие, пищу и дрова заменил продовольственный и топливный вопрос.

Люди в городах были беспомощны, как дети перед лицом близящейся неизвестности, которая опрокидывала на своем пути все установленные навыки и оставляла по себе опустошение, хотя сама была детищем города и созданием горожан.

Кругом обманывались, разглагольствовали. Обыденщина еще хромала, барахталась, колченого плелась куда-то по старой привычке. Но доктор видел жизнь неприкрашенной. От него не могла укрыться её приговоренность. Он считал себя и свою среду обреченными. Предстояли испытания, может быть, даже гибель.

Считанные дни, оставшиеся им, таяли на его глазах.

Он сошел бы с ума, если бы не житейские мелочи, труды, и заботы. Жена, ребенок, необходимость добывать деньги были его спасением, — насущное, смиренное, бытовой обиход, служба, хожденье по больным.

Он понимал, что он пигмей перед чудовищной махиной будущего, боялся его, любил это будущее и втайне им гордился, и в последний раз, как на прощание, жадными глазами вдохновения смотрел на облака и деревья, на людей, идущих по улице, на большой, перемогающийся в несчастиях русский город, и был готов принести себя в жертву, чтобы стало лучше, и ничего не мог.

Это небо и прохожих он чаще всего видел с середины мостовой, переходя Арбат у аптеки русского общества врачей, на углу

Староконюшенного.

Он опять поступил на службу в свою старую больницу. Она по старой памяти называлась Крестовоздвиженской, хотя община этого имени была распущена. Но больнице еще не придумали подходящего названия:

В ней уже началось расслоение. Умеренным, тупоумие которых возмущало доктора, он казался опасным, людям, политически ушедшим далеко, недостаточно красным. Так очутился он ни в тех, ни в сих, от одного берега отстал, к другому не пристал.

В больнице, кроме его прямых обязанностей, директор возложил на него наблюдение над общей статистической отчетностью. Каких только анкет, опросных листов и бланков ни просматривал он, каких требовательных ведомостей ни заполнял!

Смертность, рост заболеваемости, имущественное положение служащих, высота их гражданской сознательности и степень участия в выборах, неудовлетворимая нужда в топливе, продовольствии, медикаментах, всё интересовало центральное статистическое управление, на всё требовался ответ.

Доктор занимался всем этим за своим старым столом у окна ординаторской. Графленая бумага разных форм и образцов кипами лежала перед ним, отодвинутая в сторону. Иногда урывками, кроме периодических записей для своих медицинских трудов, он писал здесь свою «Игру в людей», мрачный дневник или журнал тех дней, состоявший из прозы, стихов и всякой всячины, внушенной сознанием, что половина людей перестала быть собой и неизвестно что рызыгрывает.

Светлая солнечная ординаторская со стенами, выкрашенными в белую краску, была залита кремовым светом солнца золотой осени, отличающим дни после Успения, когда по утрам ударяют первые заморозки и в пестроту и яркость поределых рощ залетают зимние синицы и сороки. Небо в такие дни подымается в предельную высоту и сквозь прозрачный столб воздуха между ним и землей тянет с севера ледяной темно-синею ясностью.

Повышается видимость и слышимость всего на свете, чего бы ни было. Расстояния передают звук в замороженной звонкости, отчетливо и разъединенно. Расчищаются дали, как бы открывши вид через всю жизнь на много лет вперед. Этой разреженности нельзя было бы вынести, если бы она не была так кратковременна и не наступала в конце короткого осеннего дня на пороге ранних сумерек.

Такой свет озарял ординаторскую, свет рано садящегося осеннего солнца, сочный, стеклянный и водянистый, как спелое яблоко белый налив.

Доктор сидел у стола, обмакивая перо в чернила, задумывался и писал,

а мимо больших окон ординаторской близко пролетали какие-то тихие птицы, забрасывая в комнату бесшумные тени, которые покрывали движущиеся руки доктора, стол с бланками, пол и стены ординаторской и так же бесшумно исчезали.

— Клен опадает, — сказал вошедший прозектор, плотный когда-то мужчина, на котором кожа от похудания висела теперь мешками. — Поливали его ливни, ветры трепали и не могли одолеть. А что один утренник сделал!

Доктор поднял голову. Действительно, сновавшие мимо окна загадочные птицы оказались винно-огненными листьями клена, которые отлетали прочь, плавно держась в воздухе, и оранжевыми выгнутыми звездами ложились в стороне от деревьев на траву больничного газона.

— Окна замазали? — спросил прозектор.

— Нет, — сказал Юрий Андреевич и продолжал писать.

— Что так? Пора.

Юрий Андреевич ничего не отвечал, поглощенный писанием.

— Эх, Тарасюка нет, — продолжал прозектор. — Золотой был человек. И сапоги починит. И часы. И всё сделает. И всё на свете достанет. А замазывать пора. Надо самим.

— Замазки нет.

— А вы сами. Вот рецепт. — И прозектор объяснил, как приготовить замазку из олифы и мела. — Впрочем, ну вас. Я вам мешаю.

Он отошел к другому окну и занялся своими склянками и препаратами. Стало темнеть. Через минуту он сказал:

— Глаза испортите. Темно. А огня не дадут. Пойдемте домой.

— Еще немного поработаю. Минут двадцать.

— Его жена тут в больничных няньках.

— Чья?

— Тарасюка.

— Знаю.

— А сам он неизвестно где. По всей земле рыщет. Летом два раза проведывал. В больницу заходил. Теперь где-нибудь в деревне. Основывает новую жизнь. Это из тех солдат-большевиков, которых вы на бульварах видите и в поездах. А хотите знать разгадку? Тарасюка, например? Слушайте. Это мастер на все руки. Ничего не может делать плохо. За что ни возьмется, дело в руках горит. То же самое случилось с ним на войне. Изучил и ее, как всякое ремесло. Оказался чудным стрелком. В окопах, в секрете. Глаз, рука — первый сорт! Все знаки отличия не за лихость, а за бой без промаха. Ну. Всякое дело становится у него страстью.

Полюбил и военное. Видит, оружие это сила, вывозит его. Самому захотелось стать силою. Вооруженный человек это уже не просто человек. В старину такие шли из стрельцов в разбойники. Отыми у него теперь винтовку, попробуй. И вдруг подоспевает клич: «Повернуть штык» и так далее. Он и повернул. Вот вам и весь сказ. И весь марксизм.

— И притом пренастоящий, из самой жизни. А вы что думали?

Прозектор отошел к своему подоконнику, покопался над пробирками. Потом спросил:

— Ну как печник?

— Спасибо, что рекомендовали. Преинтересный человек. Около часа беседовали о Гегеле и Бенедетто Кроче.

— Ну как же! Доктор философии гейдельбергского университета. А печка?

— И не говорите.

— Дымит?

— Одно горе.

— Трубу не туда вывел. Надо вмазать в печь, а он верно выпустил в форточку.

— Да он в голландку вставил. А дымит.

— Значит дымового рукава не нашел, повел вентиляционным каналом. А то в отдушину. Эх, Тарасюка нет! А вы потерпите. Не в один день Москва построилась. Печку топить это вам не на рояли играть. Надо поучиться. Дров запасли?

— А где их взять?

— Я вам церковного сторожа пришлю. Дровяной вор. Разбирает заборы на топливо. Но предупреждаю. Надо торговаться. Запрашивает. Или бабу-морильщицу.

Они спустились в швейцарскую, оделись, вышли на улицу.

— Зачем морильщицу? — сказал доктор. — У нас клопов не водится.

— При чем тут клопы? Я про Фому, а вы про Ерему. Не клопы, а дрова. У этой всё поставлено на коммерческую ногу. Дома и срубы скупает на топливо. Серьезная поставщица. Смотрите, не оступитесь, темь какая. Бывало, я с завязанными глазами мог по этому району пройти. Каждый камушек знал. Пречистенский уроженец. А стали заборы валить, и с открытыми глазами ничего не узнаю, как в чужом городе. Зато какие уголки обнажились!

Ампирные домики в кустарнике, круглые садовые столы, полусгнившие скамейки. На днях прохожу мимо такого пустырька, на пересечении трех переулков. Смотрю, столетняя старуха клюкой землю

ковыряет. «Бог в помощь, — говорю, — бабушка. Червей копаешь, рыболовствуешь?» Разумеется, в шутку. А она пресерьезнейше: «Никак нет, батюшка, — шампиньоны». И, правда, стало в городе, как в лесу. Пахнет прелым листом, грибами.

— Я знаю это место. Это между Серебряным и Молчановкой, не правда ли? Со мной там мимоходом всё неожиданности. То кого-нибудь встречу, кого двадцать лет не видал, то что-нибудь найду. И говорят, грабят на углу. Да и неудивительно. Место сквозное. Целая сеть ходов к сохранившимся притонам Смоленского. Оберут, разденут, и фюить, ищи ветра в поле.

— А фонари как слабо светят. Не зря синяки фонарями зовут. Как раз нашибешь.

6

Действительно, всевозможные случайности преследовали доктора в названном месте. Поздней осенью, незадолго до октябрьских боев, темным холодным вечером он на этом углу наткнулся на человека, лежавшего без памяти поперек тротуара.

Человек лежал, раскинув руки, приклонив голову к тумбе и свесив ноги на мостовую. Изредка с перерывами он слабо постанывал. В ответ на громкие вопросы доктора, пробовавшего привести его в чувство, он пробормотал что-то несвязное и снова на некоторое время потерял сознание. Голова его была разбита и окровавлена, но черепные кости при беглом осмотре оказались целы. Лежавший был несомненно жертвой вооруженного грабежа. «Портфель. Портфель», — два-три раза прошептал он.

По телефону из ближней арбатской аптеки доктор вызвал прикомандированного к Крестовоздвиженской старика извозчика и отвез неизвестного в больницу.

Потерпевший оказался видным политическим деятелем. Доктор вылечил его и в его лице приобрел на долгие годы покровителя, избавлявшего его в это полное подозрений и недоверчивое время от многих недоразумений.

7

Было воскресенье. Доктор был свободен. Ему не надо было на службу. В Сивцевом уже разместились по-зимнему в трех комнатах, как предполагала Антонина Александровна.

Был холодный ветреный день с низкими снеговыми облаками, темный-претемный.

С утра затопили. Стало дымить. Антонина Александровна, ничего не понимавшая в топке, давала Нюше, бившейся с сырыми неразгоравшимися дровами, бестолковые и вредные советы.

Доктор, видевший это и понимавший, что надо сделать, пробовал вмешаться, но жена тихо брала его за плечи и выпроваживала из комнаты со словами:

— Ступай к себе. Когда голова и без того кругом и всё мешается, у тебя привычка непременно говорить под руку. Как ты не понимаешь, что твои замечания только подливают масла в огонь.

— О, масло, Тонечка, это было бы превосходно! Печка мигом бы запылала. То-то и горе, что не вижу я ни масла, ни огня.

— И для каламбуров не время. Бывают, понимаешь, моменты, когда не до них.

Неудачная топка разрушила воскресные планы. Все надеялись, исполнив необходимые дела до темноты, освободиться к вечеру, а теперь это отпадало. Оттягивался обед, чье-то желание помыть горячей водой голову, какие-то другие намерения.

Скоро задымило так, что стало невозможно дышать. Сильный ветер загонял дым назад в комнату. В ней стояло облако черной копоти, как сказочное чудище посреди дремучего бора.

Юрий Андреевич разогнал всех по соседним комнатам и отворил форточку. Половину дров из печки он выкинул вон, а между оставшимися проложил дорожку из мелких щепок и берестяной растопки.

В форточку ворвался свежий воздух. Колыхнувшаяся оконная занавесь взвилась вверх. С письменного стола слетело несколько бумажек. Ветер хлопнул какою-то дальнею дверью и, кружась по всем углам, стал, как кошка за мышью, гоняться за остатками дыма.

Разгоревшиеся дрова вспыхнули и затрещали. Печурка захлебнулась пламенем. В её железном корпусе пятнами чахоточного румянца зарделись кружки красного накала. Дым в комнате поредел и потом исчез совсем.

В комнате стало светлее. Заплакали окна, недавно замазанные Юрием Андреевичем по наставлениям прозектора. Волною хлынул теплый жирный запах замазки. Запахло сушащимися около печки мелко напиленными дровами: горькой, дерущей горло гарью еловой коры и душистой, как туалетная вода, сырой свежею осиной.

В это время в комнату так же стремительно, как воздух в форточку, ворвался Николай Николаевич с сообщением:

— На улицах бой. Идут военные действия между юнкерами, поддерживающими Временное правительство, и солдатами гарнизона, стоящими за большевиков. Стычки чуть ли не на каждом шагу, очагам восстания нет счета. По дороге к вам я два или три раза попал в переделку, раз на углу Большой Дмитровки и другой — у Никитских ворот. Прямого пути уже нет, приходится пробираться обходом. Живо, Юра! Одевайся и пойдем.

Это надо видеть. Это история. Это бывает раз в жизни.

Но сам же он заболтался часа на два, потом сели обедать, а когда, собравшись домой, он потащил с собой доктора, их предупредил приход Гордона. Этот влетел так же, как Николай Николаевич, с теми же самыми сообщениями.

Но события за это время подвинулись вперед. Имелись новые подробности. Гордон говорил об усилившейся стрельбе и убитых прохожих, случайно задетых шальною пулею. По его словам, движение в городе приостановилось. Он чудом проник к ним в переулок, но путь назад закрылся за его спиной.

Николай Николаевич не послушался и попробовал сунуть нос на улицу, но через минуту вернулся. Он сказал, что из переулка нет выхода, по нему свищут пули, отбивая с углов кусочки кирпича и штукатурки. На улице ни души, сообщение по тротуару прервано.

В эти дни Сашеньку простудили.

— Я сто раз говорил, чтобы ребенка не подносили к топящейся печке, — сердился Юрий Андреевич. — Перегрев в сорок раз вреднее выстуживания.

У Сашеньки разболелось горло и появился сильный жар. Его отличительным свойством был сверхъестественный, мистический страх перед тошнотой и рвотой, приближение которых ему ежеминутно мерещилось.

Он отталкивал руку Юрия Андреевича с ларингоскопом, не давал ввести его в горло, закрывал рот, кричал и давился.

Никакие уговоры и угрозы не действовали. Вдруг по неосторожности Сашенька широко и сладко зевнул, и этим воспользовался доктор, чтобы молниеносным движением сунуть сыну в рот ложечку, придержать его язык и успеть разглядеть малиновую гортань Сашеньки и его осыпанные налетами опухшие миндалины. Их вид встревожил Юрия Андреевича.

Немного погодя, путем таких же манипуляций, доктору удалось снять у Сашеньки мазок. У Александра Александровича был свой микроскоп. Юрий Андреевич взял его и с грехом пополам сам произвел исследование.

По счастью, это не был дифтерит.

Но на третью ночь у Сашеньки сделался припадок ложного крупа. Он горел и задыхался. Юрий Андреевич не мог смотреть на бедного ребенка, бессильный избавить его от страданий.

Антонине Александровне казалось, что мальчик умирает. Его брали на руки, носили по комнате, и ему становилось легче.

Надо было достать молока, минеральной воды или соды для его отпаиванья. Но это был разгар уличных боев. Пальба, также и орудийная, ни на минуту не прекращалась. Если бы даже Юрий Андреевич с опасностью для жизни отважился пробраться за пределы простреливаемой полосы, он и за чертою огня не встретил бы жизни, которая замерла во всем городе, пока положение не определится окончательно.

Но оно было уже ясно. Отовсюду доходили слухи, что рабочие берут перевес. Бились еще отдельные кучки юнкеров, разобщенные между собой и потерявшие связь со своим командованием.

Район Сивцева входил в круг действий солдатских частей, наседавших на центр с Дорогомилова. Солдаты германской войны и рабочие подростки, сидевшие в окопе, вырытом в переулке, уже знали население окрестных домов и по-соседски перешучивались с их жителями, выглядывавшими из ворот или выходившими на улицу.

Движенье в этой части города восстанавливалось.

Тогда ушли из своего трехдневного плена Гордон и Николай Николаевич, застрявшие у Живаго на трое суток. Юрий Андреевич был рад их присутствию в трудные дни Сашенькиной болезни, а Антонина Александровна прощала им ту бестолочь, которую вносили они в придачу к общему беспорядку. Но в благодарность за гостеприимство оба считали долгом занимать хозяев неумолкаемыми разговорами, и Юрий Андреевич так устал от троесуточного переливания из пустого в порожнее, что был счастлив расстаться с ними.

8

Были сведения, что они добрели домой благополучно, хотя именно при этой проверке оказалось, что толки об общем замирении преждевременны. В разных местах военные действия еще продолжались, через некоторые районы нельзя было пройти, и доктор все не мог пока попасть к себе в больницу, по которой успел соскучиться и где в ящике стола в ординаторской лежали его «Игра» и ученые записи.

Лишь внутри отдельных околотков люди выходили по утрам на

небольшое расстояние от дома за хлебом, останавливали встречных, несших молоко в бутылках, и толпой расспрашивали, где они его достали.

Иногда возобновлялась перестрелка по всему городу, снова разгоняя публику. Все догадывались, что между сторонами идут какие-то переговоры, успешный или неуспешный ход которых отражается на усилении или ослаблении шрапнельной стрельбы.

Как-то в конце старого октября, часов в десять вечера Юрий Андреевич быстро шел по улице, направляясь без особой надобности к одному близко жившему сослуживцу. Места эти, обычно бойкие, были малолюдны. Встречных почти не попадалось.

Юрий Андреевич шел быстро. Порошил первый реденький снежок с сильным и все усиливающимся ветром, который на глазах у Юрия Андреевича превращался в снежную бурю.

Юрий Андреевич загибал из одного переулка в другой и уже утерял счет сделанным поворотам, как вдруг снег повалил густо-густо и стала разыгрываться метель, та метель, которая в открытом поле с визгом стелется по земле, а в городе мечется в тесном тупике, как заблудившаяся.

Что-то сходное творилось в нравственном мире и в физическом, вблизи и вдали, на земле и в воздухе. Где-то, островками, раздавались последние залпы сломленного сопротивления. Где-то на горизонте пузырями вскакивали и лопались слабые зарева залитых пожаров. И такие же кольца и воронки гнала и завивала метель, дымясь под ногами у Юрия Андреевича на мокрых мостовых и панелях.

На одном из перекрестков с криком «Последние известия!» его обогнал пробегавший мимо мальчишка газетчик с большой кипой свежеотпечатанных оттисков под мышкой.

— Не надо сдачи, — сказал доктор. Мальчик еле отделил прилипший к кипе сырой листок, сунул его доктору в руки и канул в метель так же мгновенно, как из нее вынырнул.

Доктор подошел к горевшему в двух шагах от него уличному фонарю, чтобы тут же, не откладывая, пробежать главное.

Экстренный выпуск, покрытый печатью только с одной стороны, содержал правительственное сообщение из Петербурга об образовании Совета Народных Комиссаров, установлении в России советской власти и введении в ней диктатуры пролетариата.

Далее следовали первые декреты новой власти и публиковались разные сведения, переданные по телеграфу и телефону.

Метель хлестала в глаза доктору и покрывала печатные строчки газеты серой и шуршащей снежной крупою. Но не это мешало его чтению.

Величие и вековечность минуты потрясли его и не давали опомниться.

Чтобы все же дочитать сообщения, он стал смотреть по сторонам в поисках какого-нибудь освещенного места, защищенного от снега. Оказалось, что он опять очутился на своем заколдованном перекрестке и стоит на углу Серебряного и Молчановки, у подъезда высокого пятиэтажного дома со стеклянным входом и просторным, освещенным электричеством, парадным.

Доктор вошел в него и в глубине сеней под электрической лампочкой углубился в телеграммы.

Наверху над его головой послышались шаги. Кто-то спускался по лестнице, часто останавливаясь, словно в какой-то нерешительности. Действительно, спускавшийся вдруг раздумал, повернул назад и взбежал наверх. Где-то отворили дверь, и волною разлились два голоса, обесформленные гулкостью до того, что нельзя было сказать, какие они, мужские или женские. После этого хлопнула дверь, и ранее спускавшийся стал сбегать вниз гораздо решительнее.

Глаза Юрия Андреевича, с головой ушедшего в чтение, были опущены в газету. Он не собирался подымать их и разглядывать постороннего. Но, добежав донизу, тот с разбега остановился.

Юрий Андреевич поднял голову и посмотрел на спускавшегося.

Перед ним стоял подросток лет восемнадцати в негнущейся оленьей дохе, мехом наружу, как носят в Сибири, и такой же меховой шапке. У мальчика было смуглое лицо с узкими киргизскими глазами. Было в этом лице что-то аристократическое, та беглая искорка, та прячущаяся тонкость, которая кажется занесенной издалека и бывает у людей со сложной, смешанной кровью.

Мальчик находился в явном заблуждении, принимая Юрия Андреевича за кого-то другого. Он с дичливою растерянностью смотрел на доктора, как бы зная, кто он, и только не решаясь заговорить. Чтобы положить конец недоразумению, Юрий Андреевич смерил его взглядом и обдал холодом, отбивающим охоту к сближению.

Мальчик смешался и, не сказав ни слова, направился к выходу. Здесь, оглянувшись еще раз, он отворил тяжелую, расшатанную дверь и, с лязгом её захлопнув, вышел на улицу.

Минут через десять последовал за ним и Юрий Андреевич. Он забыл о мальчике и о сослуживце, к которому собирался. Он был полон прочитанного и направился домой. По пути другое обстоятельство, бытовая мелочь, в те дни имевшая безмерное значение, привлекла и поглотила его внимание.

Немного не доходя до своего дома, он в темноте наткнулся на огромную кучу досок и бревен, сваленную поперек дороги на тротуаре у края мостовой. Тут в переулке было какое-то учреждение, которому, вероятно, привезли казенное топливо в виде какого-то разобранного на окраине бревенчатого дома.

Бревна не умещались во дворе и загромождали прилегавшую часть улицы. Эту гору стерег часовой с ружьем, ходивший по двору и от времени до времени выходивший в переулок.

Юрий Андреевич, не задумываясь, улучил минуту, когда часовой завернул во двор, а налетевший вихрь закрутил в воздухе особенно густую тучу снежинок. Он зашел к куче балок с той стороны, где была тень и куда не падал свет фонаря, и медленным раскачиванием высвободил лежавшую с самого низа тяжелую колоду. С трудом вытащив её из-под кучи и взвалив на плечо, он перестал чувствовать её тяжесть (своя ноша не тянет) и украдкой вдоль затененных стен притащил к себе в Сивцев.

Это было кстати, дома кончились дрова. Колоду распилили и накололи из нее гору мелких чурок. Юрий Андреевич присел на корточки растапливать печь. Он молча сидел перед вздрагивавшей и дребезжавшей дверцей. Александр Александрович подкатил к печке кресло и подсел греться. Юрий Андреевич вытащил из бокового кармана пиджака газету и протянул тестю со словами:

— Видали? Полюбуйтесь. Прочтите.

Не вставая с корточек и ворочая дрова в печке маленькой кочережкой, Юрий Андреевич громко разговаривал с собой.

— Какая великолепная хирургия! Взять и разом артистически вырезать старые вонючие язвы! Простой, без обиняков, приговор вековой несправедливости, привыкшей, чтобы ей кланялись, расшаркивались перед ней и приседали.

В том, что это так без страха доведено до конца, есть что-то национально-близкое, издавна знакомое. Что-то от безоговорочной светоносности Пушкина, от невиляющей верности фактам Толстого.

— Пушкина? Что ты сказал? Погоди. Сейчас я кончу. Не могу же я сразу и читать и слушать, — прерывал зятя Александр Александрович, ошибочно относя к себе монолог, произносимый Юрием Андреевичем себе под нос.

— Главное, что гениально? Если бы кому-нибудь задали задачу создать новый мир, начать новое летоисчисление, он бы обязательно нуждался в том, чтобы ему сперва очистили соответствующее место. Он бы ждал, чтобы сначала кончились старые века, прежде чем он приступит к

постройке новых, ему нужно было бы круглое число, красная строка, неисписанная страница.

А тут, нате пожалуйста. Это небывалое, это чудо истории, это откровение ахнуто в самую гущу продолжающейся обыденщины, без внимания к её ходу. Оно начато не с начала, а с середины, без наперед подобранных сроков, в первые подвернувшиеся будни, в самый разгар курсирующих по городу трамваев. Это всего гениальнее. Так неуместно и несвоевременно только самое великое.

9

Настала зима, какую именно предсказывали. Она еще не так пугала, как две наступившие вслед за нею, но была уже из их породы, темная, голодная и холодная, вся в ломке привычного и перестройке всех основ существования, вся в нечеловеческих усилиях уцепиться за ускользающую жизнь.

Их было три подряд, таких страшных зимы, одна за другой, и не всё, что кажется теперь происшедшим с семнадцатого на восемнадцатый год, случилось действительно тогда, а произошло, может статься, позже. Эти следовавшие друг за другом зимы слились вместе, и трудно отличимы одна от другой.

Старая жизнь и молодой порядок еще не совпадали. Между ними не было ярой вражды, как через год, во время гражданской войны, но недоставало и связи. Это были стороны, расставленные отдельно, одна против другой, и не покрывавшие друг друга.

Производили перевыборы правлений везде: в домовладениях, в организациях, на службе, в обслуживающих население учреждениях. Состав их менялся. Во все места стали назначать комиссаров с неограниченными полномочиями, людей железной воли, в черных кожаных куртках, вооруженных мерами устрашения и наганами, редко бривших и еще реже спавших.

Они хорошо знали порождение мещанства, среднего держателя мелких государственных бумаг, пресмыкающегося обывателя, и, ничуть не щадя его, с мефистофельской усмешкой разговаривали с ним, как с пойманным воришкой.

Эти люди ворочали всем, как приказывала программа, и начинание за начинанием, объединение за объединением становились большевицкими.

Крестовоздвиженская больница теперь называлась Второй преобразованной. В ней произошли перемены. Часть персонала уволили, а

многие ушли сами, найдя, что им служить невыгодно.

Это были хорошо зарабатывавшие доктора с модной практикой, баловни света, фразеры и краснобаи. Свой уход по корыстным соображениям они не преминули выдать за демонстративный, по мотивам гражданственности, и стали относиться пренебрежительно к оставшимся, чуть ли не бойкотировать их. В числе этих оставшихся, презираемых был и Живаго.

Вечерами между мужем и женою происходили такие разговоры:

— В среду не забудь в подвал общества врачей за мороженой картошкой. Там два мешка. Я выясню точно, в котором часу я освобождаюсь, чтобы помочь. Надо будет вдвоем на салазках.

— Хорошо. Успеется, Юрочка. Ты бы скорее лег. Поздно. Всех дел все равно не переделаешь. Надо тебе отдохнуть.

— Повальная эпидемия. Общее истощение ослабляет сопротивляемость. На тебя и папу страшно смотреть. Надо что-то предпринять. Да, но что именно? Мы недостаточно бережемся. Надо быть осторожнее. Слушай. Ты не спишь?

— Нет.

— Я за себя не боюсь, я двужильный, но если бы, паче чаяния, я свалился, не глупи, пожалуйста, и дома не оставляй. Моментально в больницу.

— Что ты, Юрочка! Господь с тобой. Зачем каркать раньше времени?

— Помни, больше нет ни честных, ни друзей, ни тем более знающих. Если бы что-нибудь случилось, доверяй только Пичужкину. Разумеется, если сам он уцелеет. Ты не спишь?

— Нет.

— Сами, черти, ушли на лучший паек, а теперь, оказывается, это были гражданские чувства, принципиальность. Встречают, едва руку подают. «Вы у них служите?» И подымают брови. «Служу, — говорю, — и прошу не прогневаться: нашими лишениями я горжусь, и людей, которые делают нам честь, подвергая нас этим лишениям, уважаю».

10

На долгий период постоянной пищей большинства стало пшено на воде и уха из селедочных головок. Туловище селедки в жареном виде шло на второе. Питались немолотою рожью и пшеницей в зерне. Из них варили кашу.

Знакомая профессорша учила Антонину Александровну печь заварной

хлеб на поду комнатной голландки, частью на продажу, чтобы припеком и выручкой оправдать пользование кафельной печью, как в старые годы. Это позволило бы отказаться от мучительницы времянки, которая дымила, плохо грела и совсем не держала тепла.

Хлеб хорошо выпекался у Антонины Александровны, но из её торговли ничего не вышло. Пришлось пожертвовать несбыточными планами и опять ввести в действие оставленную печурку. Живаго бедствовали.

Однажды утром Юрий Андреевич по обыкновению ушел по делам.

Дров в доме оставалось два полена. Надевши шубку, в которой она зябла от слабости даже в теплую погоду, Антонина Александровна вышла «на добычу».

Она с полчаса пробродила по ближайшим переулкам, куда иногда заворачивали мужички с овощами и картошкой из пригородных деревень. Их надо было ловить. Крестьян с кладью задерживали.

Скоро она напала на цель своих розысков. Молодой здоровенный детина в армяке, шагая в сопровождении Антонины Александровны рядом с легкими, как игрушка, санями, осторожно отвел их за угол во двор к Громекам.

В лубяном кузове саней под рогожей лежала небольшая кучка березового кругляку, не толще старомодных усадебных перилец на фотографиях прошлого века. Антонина Александровна знала им цену, — одно званье, что береза, а то сырье худшего сорта, свежей резки, непригодное для топки. Но выбора не было, рассуждать не приходилось.

Молодой крестьянин в пять-шесть приемов снес ей дровишки на жилой верх, а в обмен на них поволок на себе вниз и уложил в сани малый зеркальный шкал Антонины Александровны, в подарок своей молодке. Мимоходом, договариваясь на будущее время о картошке, он приценился к стоявшему у дверей пианино.

Вернувшись, Юрий Андреевич не стал обсуждать жениной покупки. Разрубить отданный шкап на щепки было выгодней и целесообразней, но у них рука не поднялась бы на это.

— Ты видел записку на столе? — спросила жена.

— От заведующего больницей? Мне говорили, я знаю. Это приглашение к больной. Непременно пойду. Вот отдохну немного и пойду. Но порядочная даль. Где-то у Триумфальных ворот. У меня записан адрес.

— Странный гонорар предлагают. Ты видел? Ты все-таки прочти. Бутылку германского коньяку или пару дамских чулок за визит. Чем заманивают. Кто это может быть? Какой-то дурной тон и полное неведение о нашей современной жизни. Нувориши какие-нибудь.

— Да, это к заготовщику.

Таким именем, вместе с концессионерами и уполномоченными, назывались мелкие частные предприниматели, которым государственная власть, уничтожив частную торговлю, делала в моменты хозяйственных обострений маленькие послабления, заключая с ними договоры и сделки на разные поставки.

В их число уже не попадали сваленные главы старых фирм, собственники крупного почина. От полученного удара они уже не оправлялись. В эту категорию шли дельцы однодневки, поднятые со дна войной и революцией, новые и пришлые люди без корня.

Выпив забеленного молоком кипятку с сахарином, доктор направился к больной.

Тротуары и мостовые были погребены под глубоким снегом, покрывавшим улицы от одного ряда домов до другого. Снежный покров местами доходил до окон первых этажей. Во всю ширину этого пространства двигались молчаливые полуживые тени, тащившие на себе или везшие на салазках какое-нибудь тощее продовольствие. Едущих почти не попадалось.

На домах кое-где еще оставались прежние вывески.

Размещенные под ними без соответствия с их содержанием потребиловки и кооперативы стояли запертые, с окнами под решеткою, или заколоченные, и пустовали.

Они были заперты и пустовали не только вследствие отсутствия товаров, но также оттого, что переустройство всех сторон жизни, охватившее и торговлю, совершалось еще в самых общих чертах и этих заколоченных лавок, как мелких частностей, еще не коснулось.

11

Дом, куда был приглашен доктор, оказался в конце Брестской, близ Тверской заставы.

Это было кирпичное казарменное здание допотопной стройки, с двором внутри и деревянными галереями, шедшими в три яруса вдоль задних надворных стен строения.

У жильцов происходило ранее назначенное общее собрание при участии представительницы из райсовета, как вдруг в дом явилась с обходом военная комиссия, проверявшая разрешения на хранение оружия и изымавшая неразрешенное. Руководивший обходом начальник просил делегатку не удаляться, уверив, что обыск не займет много времени,

освобождаемые квартиранты постепенно сойдутся, и прерванное заседание можно будет скоро возобновить.

Обход приближался к концу и на очереди была как раз та квартира, куда ждали доктора, когда он подошел к воротам дома.

Солдат с винтовкой на веревочке, который стоял на часах у одной из лестниц, ведших на галереи, наотрез отказался пропустить Юрия Андреевича, но в их спор вмешался начальник отряда. Он не велел чинить препятствий доктору и согласился подождать с обыском квартиры, пока он осмотрит больную.

Доктора встретил хозяин квартиры, вежливый молодой человек с матовым смуглым лицом и темными меланхолическими глазами. Он был взволнован многими обстоятельствами: болезнью жены, нависавшим обыском и сверхъестественным уважением, которое он питал к медицине и её представителям.

Чтобы сократить доктору труд и время, хозяин старался говорить как можно короче, но именно эта торопливость делала его речь длинной и сбивчивой.

Квартира со смесью роскоши и дешевки обставлена была вещами, наспех скупленными с целью помещения денег во что-нибудь устойчивое. Мебель из расстроенных гарнитуров дополняли единичные предметы, которым до полноты комплекта недоставало парных.

Хозяин квартиры считал, что у его жены какая-то болезнь нервов от перепуга. Со многими не идущими к делу околичностями он рассказал, что им продали за бесценок старинные испорченные куранты с музыкой, давно уже не шедшие. Они купили их только как достопримечательность часового мастерства, как редкость (муж больной повел доктора в соседнюю комнату показывать их).

Сомневались даже, можно ли их починить. И вдруг часы, годами не знавшие завода, пошли сами собой, пошли, вызвонили на колокольчиках свой сложный менуэт и остановились. Жена пришла в ужас, рассказывал молодой человек, решив, что это пробил её последний час, и вот теперь лежит, бредит, не ест, не пьет, не узнает его.

— Так вы думаете, что это нервное потрясение? — с сомнением в голосе спросил Юрий Андреевич. — Проводите меня к больной.

Они вошли в соседнюю комнату с фарфоровой люстрой и двумя тумбочками красного дерева по бокам широкой двуспальной кровати. На её краю, натянув одеяло выше подбородка, лежала маленькая женщина с большими черными глазами. При виде вошедших она погнала их прочь взмахом выпростанной из-под одеяла руки, с которой скользнул к

подмышке широкий рукав халата. Она не узнавала мужа и, словно никого не было в комнате, тихим голосом запела начало какой-то грустной песенки, которая так её разжалобила, что она расплакалась и, всхлипывая по-детски, стала проситься куда-то домой. С какого бока ни заходил к ней доктор, она противилась осмотру, каждый раз поворачиваясь к нему спиной.

— Надо бы посмотреть ее, — сказал Юрий Андреевич. — Но всё равно, мне и так ясно. Это сыпняк, и притом в довольно тяжелой форме. Она порядком мучится, бедняжка. Я бы советовал поместить её в больницу. Дело не в удобствах, которых вы ей предоставите, а в постоянном врачебном присмотре, который необходим в первые недели болезни. Можете ли вы обеспечить что-нибудь перевозочное, раздобыть извозчика, или в крайнем случае ломовые дровни, чтобы отвезти больную, разумеется, предварительно хорошо закутав? Я вам выпишу направление.

— Могу. Постараюсь. Но погодите. Неужели правда это тиф? Какой ужас!

— К сожалению.

— Я боюсь потерять ее, если отпущу от себя. Вы никак не могли бы лечить её дома, по возможности участив посещения? Я предложил бы вам какое угодно вознаграждение.

— Я ведь объяснил вам. Важно непрерывное наблюдение за ней. Послушайте. Я даю вам хороший совет. Хоть из-под земли достаньте извозчика, а я составлю ей препроводительную записку. Лучше всего сделать это в вашем домовом комитете. Под направлением потребуется печать дома и еще кое-какие формальности.

12

Прошедшие опрос и обыск жильцы один за другим возвращались в теплых платках и шубах в неотапливаемое помещение бывшего яичного склада, теперь занятое домкомом.

В одном конце комнаты стоял конторский стол и несколько стульев, которых, однако, было недостаточно, чтобы рассадить столько народу. Поэтому в придачу к ним кругом поставлены были наподобие скамей длинные, перевернутые вверх дном пустые ящики из-под яиц. Гора таких ящиков до потолка громоздилась в противоположном конце помещения. Там в углу были кучей сметены к стене промерзшие стружки, склеенные в комки вытекшей из битых яиц сердцевиной. В этой куче с шумом возились крысы, иногда выбегая на свободное пространство каменного пола и снова

скрываясь в стружках.

Каждый раз при этом на один из ящиков с визгом вскакивала крикливая и заплывшая жиром жилица. Она подбирала уголок подола кокетливо оттопыренными пальчиками, дробно топотала ногами в модных дамских ботинках с высокими голенищами и намеренно хрипло, под пьяную, кричала:

— Олька, Олька, у тебя тут крысы бегают. У, пошла, поганая! Ай-ай-ай, понимает сволочь! Обозлилась. Аяяй, по ящику ползет! Как бы под юбку не залезла. Ой боюсь, ой боюсь!

Отвернитесь, господа мужчины. Виновата, я забыла, что теперь не мужчины, а товарищи граждане.

На шумевшей бабе был расстегнутый каракулевый сак. Под ним в три слоя зыбким киселем колыхались её двойной подбородок, пышный бюст и обтянутый шелковым платьем живот. Видно, когда-то она слыла львицею среди третьеразрядных купцов и купеческих приказчиков. Щелки её свиных глазок с припухшими веками едва открывались. Какая-то соперница замахнулась на нее в незапамятные времена склянкой с кислотою, но промазала, и только два-три брызга протравили на левой щеке и в левом углу рта два легких следа, по малозаметности почти обольстительных.

— Не ори, Храпугина. Просто работать нет возможности, — говорила женщина за столом, представительница райсовета, выбранная на собрании председательницей.

Ее еще с давних времен хорошо знали старожилы дома, и она сама хорошо их знала. Она перед началом собрания неофициально вполголоса беседовала с теткой Фатимой, старой дворничихой дома, когда-то с мужем и детьми ютившейся в грязном подвале, а теперь переселенной вдвоем с дочерью на второй этаж в две светлых комнаты.

— Ну так как же, Фатима? — спрашивала председательница.

Фатима жаловалась, что она одна не справляется с таким большим и многолюдным домом, а помощи ниоткуда, потому что разложенной на квартиры повинности по уборке двора и улицы никто не соблюдает.

— Не тужи, Фатима, мы им рога обломаем, будь покойна. Что за комитет? Мыслимое ли дело? Уголовный элемент скрывается, сомнительная нравственность живет без прописки. Мы этим по шапке, а выберем другой. Я тебя в управдомши проведу, ты только не брыкайся.

Дворничиха взмолилась, чтобы председательница этого не делала, но та и не стала слушать. Она окинула взглядом комнату, нашла, что народу набралось достаточно, потребовала установить тишину и коротким

вводным словом открыла собрание.

Осудив бездеятельность прежнего домового комитета, она предложила наметить кандидатов для перевыбора нового и перешла к другим вопросам. Покончив с этим, она, между прочим, сказала:

— Так вот как, стало быть, товарищи. Будем говорить начистоту. Ваше здание поместительное, подходящее для общежития. Бывает, делегаты съезжаются на совещания, некуда рассовать людей. Есть решение взять здание в распоряжение райсовета под дом для приезжающих и присвоить ему имя товарища Тиверзина, как проживавшего в данном доме до ссылки, факт общеизвестный. Возражений не имеется? Теперь к порядку очищения дома. Эта мера нескорая, у вас еще год времени.

Трудовое население будем переселять с предоставлением площади, нетрудовое предупреждаем, чтоб подыскали сами, и даем двенадцать месяцев сроку.

— А кто у нас нетрудовой? У нас нет нетрудовых! Все трудовые, — закричали отовсюду, и один голос надрывался:

— Это великодержавный шовинизм! Все национальности теперь равны. Я знаю, на что вы намекаете!

— Не все сразу! Просто не знаю, кому отвечать. Какие национальности? При чем тут национальность, гражданин Валдыркин? Например, Храпугина совсем не национальность, а тоже выселим.

— Высели! Посмотрим, как ты меня выселишь. Продавленная кушетка! Десять должностей! — выкрикивала Храпугина бессмысленные прозвища, которые она давала делегатке в разгаре спора.

— Какая змея! Какая шайтанка! Стыда в тебе нет! — возмущалась дворничиха.

— Не связывайся, Фатима. Сама за себя постою. Перестань, Храпугина. Тебе дай повадку, так ты на шею сядешь! Замолчи, говорю, а то немедленно сдам тебя органам, не дожидаясь, когда тебя на самогоне накроют и за содержание притона.

Шум достиг предела. Никому не давали говорить. В это время на склад вошел доктор. Он попросил первого попавшегося у двери указать кого-нибудь из домового комитета. Тот сложил руки рупором и, перекрывая шум и гам, по слогам прочитал:

— Га-ли-уль-ли-на! Поди сюда. Тут спрашивают. Доктор ушам своим не поверил. Подошла худая, чуть сгорбленная женщина, дворничиха. Доктора поразило сходство матери с сыном. Но он себя еще не выдавал. Он сказал:

— У вас тут одна квартирантка тифом заболела (он назвал её по

фамилии). Требуются предосторожности, чтобы не разнести заразу. Кроме того больную надо будет отвезти в больницу. Я ей составлю бумагу, которую домком должен будет удостоверить. Как и где это сделать?

Дворничиха поняла так, что вопрос относится к перевозке больной, а не к составлению препроводительной бумаги.

— За товарищем Деминой из райсовета пролетка придет, — сказала Галиуллина. — Товарищ Демина добрый человек, я скажу, она уступит пролетку. Не тужи, товарищ доктор, перевезем твою больную.

— О, я не о том! Я только об уголке, где можно было бы написать направление. Но если будет и пролетка… Простите, вы не мать будете поручику Галиуллину, Осипу Гимазетдиновичу? Я с ним вместе на фронте служил.

Дворничиха вздрогнула всем телом и побледнела. Схватив доктора за руку, она сказала:

— Пойдем наружу. На дворе поговорим.

Едва выйдя за порог, она быстро заговорила.

— Тише, оборони Бог услышат. Не губи меня. Юсупка плохой дорожка пошел. Ты сам посуди, Юсупка кто? Юсупка из учеников, мастеровой. Юсуп должен понимать, простой народ теперь много лучше стало, это слепому видно, какой может быть разговор. Я не знаю, как ты думаешь, тебе, может, можно, а Юсупке грех, Бог не простит. Юсупа отец в солдатах пропал, убили, да как, ни лица не оставили, ни рук, ни ног.

Она была не в силах говорить дальше и, махнув рукой, стала ждать, пока уймется волнение. Потом продолжала:

— Пойдем. Я тебе сейчас пролетку справлю. Я знаю, кто ты.

Он тут был два дня, сказывал. Ты, говорит, Лару Гишарову знаешь. Хорошая была девушка. Сюда к нам ходила, помню. А теперь какая будет, кто вас знает. Разве можно, чтобы господа против господ пошли? А Юсупке грех. Пойдем, пролетку выпросим.

Товарищ Демина даст. А товарищ Демина знаешь кто? Оля Демина, у Лары Гишаровой мамаши в мастерицах служила. Вот кто. И тоже отсюда. С этого двора. Пойдем.

13

Уже совсем стемнело. Кругом была ночь. Только белый кружок света из карманного фонарика Деминой шагах в пяти перед ними скакал с сугроба на сугроб и больше сбивал с толку, чем освещал идущим дорогу. Кругом была ночь, и дом остался позади, где столько людей знало ее, где

она бывала девочкой, где, по рассказам, мальчиком воспитывался её будущий муж, Антипов.

Демина покровительственно-шутливо обращалась к нему:

— Вы правда дальше без фонарика дойдете? А? А то бы я дала, товарищ доктор. Да. Я когда-то не на шутку в нее врезамшись была, любила без памяти, когда девочками мы были. У них швейное заведение было, мастерская. Я у них в ученицах жила. Нынешний год видались с ней. Проезжала. Проездом в Москве была. Я ей говорю, куда ты, дура? Оставалась бы. Вместе бы жили, нашлась бы тебе работа. Куда там! Не хочет. Ее дело.

Головой она за Пашку вышла, а не сердцем, с тех пор и шалая.

Уехала.

— Что вы о ней думаете?

— Осторожно. Скользко тут. Сколько раз говорила, чтобы не выливали помоев перед дверью, — как об стену горох. Что о ней думаю? Как это думаю? А чего тут думать. Некогда. Вот тут я живу. Я от нее скрыла, брата ее, военного, похоже, расстреляли. А мать ее, прежнюю мою хозяйку, я наверное выручу, хлопочу за нее. Ну, мне сюда, до свидания.

И вот они расстались. Свет Деминского фонарика ткнулся внутрь узкой каменной лестницы и побежал вперед, освещая испачканные стены грязного подъема, а доктора обступила тьма.

Направо легла Садовая-Триумфальная, налево Садовая-Каретная. В черной дали на черном снегу это уже были не улицы в обычном смысле слова, а как бы две лесные просеки в густой тайге тянущихся каменных зданий, как в непроходимых дебрях Урала или Сибири.

Дома были свет, тепло.

— Что так поздно? — спросила Антонина Александровна и, не дав ему ответить, продолжала:

— А тут без тебя курьез произошел. Необъяснимая странность. Я забыла тебе сказать. Вчера папа будильник сломал и был в отчаянии. Последние часы в доме. Стал чинить, ковырял, ковырял, ничего не выходит. Часовщик на углу три фунта хлеба запросил, неслыханная цена. Что тут делать? Папа совсем голову повесил. И вдруг, представь, час тому назад пронзительный, оглушительный звон. Будильник! Взял, понимаешь, и пошел!

— Это мой тифозный час пробил, — пошутил Юрий Андреевич и рассказал родным про больную с курантами.

14

Но тифом он заболел гораздо позднее. В промежутке бедствия семьи Живаго достигли крайности. Они нуждались и погибали.

Юрий Андреевич разыскал спасенного однажды партийца, жертву ограбления. Тот делал что мог для доктора. Однако началась гражданская война. Его покровитель все время был в разъездах.

Кроме того, в согласии со своими убеждениями этот человек считал тогдашние трудности естественными и скрывал, что сам голодает.

Пробовал Юрий Андреевич обратиться к заготовщику близ Тверской заставы. Но за истекшие месяцы того и след простыл, и о его выздоровевшей жене тоже не было ни слуху, ни духу.

Состав жильцов в доме переменился. Демина была на фронте, управляющей Галиуллиной Юрий Андреевич не застал.

Однажды он по ордеру получил по казенной цене дрова, которые надо было вывезти с Виндавского вокзала. По бесконечной Мещанской он конвоировал возчика и клячу, тащившую это нежданное богатство. Вдруг доктор заметил, что Мещанская немного перестает быть Мещанской, что его шатает и ноги не держат его. Он понял, что он готов, дело дрянь, и это — тиф.

Возчик подобрал упавшего. Доктор не помнил, как его довезли до дому, кое-как примостивши на дровах.

15

У него был бред две недели с перерывами. Ему грезилось, что на его письменный стол Тоня поставила две Садовые, слева Садовую Каретную, а справа Садовую Триумфальную и придвинула близко к ним его настольную лампу, жаркую, вникающую, оранжевую. На улицах стало светло. Можно работать. И вот он пишет.

Он пишет с жаром и необыкновенной удачей то, что он всегда хотел и должен был давно написать, но никогда не мог, а вот теперь оно выходит. И только иногда мешает один мальчик с узкими киргизскими глазами в распахнутой оленьей дохе, какие носят в Сибири или на Урале.

Совершенно ясно, что мальчик этот — дух его смерти или, скажем просто, его смерть. Но как же может он быть его смертью, когда он помогает ему писать поэму, разве может быть польза от смерти, разве может быть в помощь смерть?

Он пишет поэму не о воскресении и не о положении во гроб, а о днях, протекших между тем и другим. Он пишет поэму «Смятение».

Он всегда хотел написать, как в течение трех дней буря черной червивой земли осаждает, штурмует бессмертное воплощение любви, бросаясь на него своими глыбами и комьями, точь-в-точь как налетают с разбега и хоронят под собою берег волны морского прибоя. Как три дня бушует, наступает и отступает черная земная буря. И две рифмованные строчки преследовали его:

Рады коснуться и Надо проснуться.

Рады коснуться и ад, и распад, и разложение, и смерть, и, однако, вместе с ними рада коснуться и весна, и Магдалина, и жизнь. И — надо проснуться. Надо проснуться и встать. Надо воскреснуть.

16

Он стал выздоравливать. Сначала, как блаженный, он не искал между вещами связи, все допускал, ничего не помнил, ничему не удивлялся. Жена кормила его белым хлебом с маслом и поила чаем с сахаром, давала ему кофе. Он забыл, что этого не может теперь быть, и радовался вкусной пище, как поэзии и сказке, законным и полагающимся при выздоровлении. Но в первый же раз, что он стал соображать, он спросил жену:

— Откуда это у тебя?

— Да всё твой Граня.

— Какой Граня?

— Граня Живаго.

— Граня Живаго?

Ну да, твой омский брат Евграф. Сводный брат твой. Ты без сознания лежал, он нас всё навещал.

— В оленьей дохе?

— Да, да. Ты сквозь беспамятство, значит, замечал? Он в каком-то доме на лестнице с тобой столкнулся, я знаю, он рассказывал. Он знал, что это ты, и хотел представиться, но ты на него такого страху напустил! Он тебя обожает, тобой зачитывается. Он из-под земли такие вещи достает! Рис, изюм, сахар. Он уехал опять к себе. И нас зовет. Он такой чудной, загадочный. По-моему, у него какой-то роман с властями. Он говорит, что на год, на два надо куда-нибудь уехать из больших городов, «на земле посидеть». Я с ним советовалась насчет Крюгеровских мест. Он очень рекомендует. Чтобы можно было огород развести, и чтобы лес был под рукой. А то нельзя же погибать так покорно, по-бараньи.

В апреле того же года Живаго всей семьей выехали на далекий Урал, в бывшее имение Варыкино, близ города Юрятина.

ЧАСТЬ седьмая.

В ДОРОГЕ

1

Настали последние дни марта, дни первого в году тепла, ложные предвестники весны, за которыми каждый год наступает сильное похолодание.

В доме Громеко шли спешные сборы в дорогу. Перед многочисленными жильцами, которых в уплотненном доме теперь было больше, чем воробьев на улице, эти хлопоты выдавали за генеральную уборку перед Пасхой.

Юрий Андреевич был против поездки. Он не мешал приготовлениям, потому что считал затею неосуществимой и надеялся, что в решающую минуту она провалится. Но дело подвигалось вперед и близилось к завершению. Пришло время поговорить серьезно.

Он еще раз высказал жене и тестю свои сомнения на устроенном для этого семейном совете.

— Итак, вы считаете, что я не прав, и, следовательно, мы едем? — закончил он свои возражения. Слово взяла жена:

— Ты говоришь, перебиться год-другой, тем временем упорядочатся новые земельные отношения, можно будет испросить полоску под Москвой, развести огород. А как продержаться в промежутке, ты не советуешь. Между тем это самое интересное, вот что именно желательно было бы услышать.

— Абсолютный бред, — поддержал дочь Александр Александрович.

— Хорошо, я сдаюсь, — соглашался Юрий Андреевич. — Меня останавливает только полная неизвестность.

Мы пускаемся, зажмурив глаза, неведомо куда, не имея о месте ни малейшего представления. Из трех человек, живших в Варыкине, двух, мамы и бабушки, нет в живых, а третий, дедушка Крюгер, если он только и жив, в заложниках и за решеткой.

В последний год войны он что-то проделал с лесами и заводом, для видимости продал какому-то подставному лицу или банку или на кого-то условно переписал. Что мы знаем об этой сделке? Чьи это теперь земли, не в смысле собственности, пропади она пропадом, а кто за них отвечает? За каким они ведомством? Рубят ли лес? Работают ли заводы? Наконец, какая

там власть, и какая будет, пока мы туда доберемся?

Для вас якорь спасения в Микулицыне, имя которого вы так любите повторять. Но кто вам сказал, что этот старый управляющий жив и по-прежнему в Варыкине? Да и что мы знаем о нем, кроме того, что дедушка с трудом выговаривал эту фамилию, отчего мы её и запомнили?

Однако к чему спорить? Вы решили ехать. Я присоединяюсь. Надо выяснить, как это теперь делают. Нечего откладывать.

2

Для того чтобы об этом справиться, Юрий Андреевич пошел на Ярославский вокзал.

Поток уезжающих сдерживали мостки с перилами, протянутые через залы, на каменных полах которых лежали люди в серых шинелях, ворочались с боку на бок, кашляли и сплевывали, а когда заговаривали друг с другом, то каждый раз несоответственно громко, не рассчитавши силы, с какой отдавались голоса под гулкими сводами.

В большинстве это были больные, перенесшие сыпной тиф. Ввиду переполнения больниц, их выписывали на другой день после кризиса. Как врач, Юрий Андреевич сам сталкивался с такой необходимостью, но он не знал, что этих несчастных так много и что приютом им служат вокзалы.

— Добывайте командировку, — говорил ему носильщик в белом фартуке. Надо каждый день наведываться. Поезда теперь редкость, дело случая. И само собой разумеется… (носильщик потер большой палец о два соседних)… Мучицы там или чего-нибудь. Не подмажешь — не поедешь. Ну, а это самое… (он щелкнул себя по горлу)… совсем святое дело.

3

Около этого времени Александра Александровича пригласили на несколько разовых консультаций в Высший Совет Народного Хозяйства, а Юрия Андреевича — к тяжело заболевшему члену правительства. Обоим выдали вознаграждение в наилучшей по тому времени форме — ордерами в первый учрежденный тогда закрытый распределитель.

Он помещался в каких-то гарнизонных складах у Симонова монастыря. Доктор с тестем пересекли два проходных двора, церковный и казарменный и прямо с земли, без порога, вошли под каменные своды глубокого, постепенно понижавшегося подвала.

Расширяющийся конец его был перегорожен длинной поперечной

стойкой, у которой, изредка отлучаясь в кладовую за товаром, развешивал и отпускал продовольствие спокойный неторопливый кладовщик, по мере выдачи вычеркивая широким взмахом карандаша выданное из списка.

Получающих было немного.

— Вашу тару, — сказал кладовщик профессору и доктору, беглым взглядом окинув их накладные. У обоих глаза вылезли на лоб, когда в подставленные чехлы от дамских подушечек, называемых думками, и более крупные наволочки им стали сыпать муку, крупу, макароны и сахар, насовали сала, мыла и спичек и положили каждому еще по куску чего-то завернутого в бумагу, что потом, дома, оказалось кавказским сыром.

Зять и тесть торопились увязать множество своих мелких узелков в два больших заплечных мешка как можно скорее, чтобы своей неблагодарной возней не мозолить глаза кладовщику, который подавил их своим великодушием.

Они поднялись из подвала на воздух пьяные не от животной радости, а от сознания того, что и они не зря живут на свете и, не коптя даром неба, заслужат дома, у молодой хозяйки Тони, похвалу и признание.

4

Тем временем как мужчины пропадали по учреждениям, выхлопатывая командировки и закрепительные бумаги на оставляемые комнаты, Антонина Александровна занималась отбором вещей для упаковки.

Она озабоченно похаживала по трем комнатам, числившимся теперь в доме за семьей Громеко, и без конца взвешивала на руке каждую мелочь, перед тем как отложить её в общую кучу вещей, подлежавших укладке.

Только незначительная часть добра шла в личный багаж едущих, остальное предназначалось в запас меновых средств, нужных в дороге и по прибытии на место.

В растворенную форточку тянуло весенним воздухом, отзывавшимся свеженадкушенной французской булкой. На дворе пели петухи и раздавались голоса играющих детей. Чем больше проветривали комнату, тем яснее становился в ней запах нафталина, которым пахла вынутая из сундуков зимняя рухлядь.

Насчет того, что следует брать с собой и от чего воздерживаться существовала целая теория, разработанная ранее уехавшими, наблюдения которых распространялись в кругу их оставшихся знакомых.

Эти наставления, отлившиеся в краткие, непререкаемые указания, с такой отчетливостью стояли в голове у Антонины Александровны, что она

воображала, будто слышит их со двора вместе с чириканьем воробьев и шумом играющей детворы, словно их подсказывал ей с улицы какой-то тайный голос.

«Ткани, ткани, — гласили эти соображения, — лучше всего в отрезе, но по дороге досматривают, и это опасно. Благоразумнее в кусках, для вида сшитых на живуху. Вообще материи, мануфактуру, можно одежду, предпочтительно верхнюю, не очень ношенную. Поменьше хламу, никаких тяжестей. При частой надобности перетаскивать все на себе, забыть о корзинах и чемоданах. Немногое, сто раз просмотренное, увязывать в узлы, посильные женщине и ребенку. Целесообразны соль и табак, как показала практика, при значительном, однако, риске. Деньги в керенках. Самое трудное — документы». И так далее, и так далее.

5

Накануне отъезда поднялась снежная буря. Ветер взметал вверх к поднебесью серые тучи вертящихся снежинок, которые белым вихрем возвращались на землю, улетали в глубину темной улицы и устилали её белой пеленою.

Все в доме было уложено. Надзор за комнатами и остающимся в них имуществом поручили пожилой супружеской чете, московским родственникам Егоровны, с которыми Антонина Александровна познакомилась истекшею зимою, когда она через них пристраивала для сбыта старье, тряпки и ненужную мебель в обмен на дрова и картошку.

На Маркела нельзя было положиться. В милиции, которую он избрал себе в качестве политического клуба, он не жаловался, что бывшие домовладельцы Громеко пьют его кровь, но задним числом упрекал их в том, что все прошедшие годы они держали его в темноте неведения, намеренно скрывая от него происхождение мира от обезьяны.

Эту пару, родню Егоровны, бывшего торгового служащего и его жену, Антонина Александровна в последний раз водила по комнатам, показывала, какие ключи к каким замкам и куда что положено, отпирала и запирала вместе с ними дверцы шкапов, выдвигала и вдвигала ящики, всему их учила и все объясняла.

Столы и стулья в комнатах были сдвинуты к стенам, дорожные узлы оттащены в сторону, со всех окон сняты занавески. Снежная буря беспрепятственнее, чем в обрамлении зимнего уюта, заглядывала в опустелые комнаты сквозь оголенные окна. Каждому она что-нибудь напоминала. Юрию Андреевичу — детство и смерть матери, Антонине

Александровне и Александру Александровичу — кончину и похороны Анны Ивановны. Всё им казалось, что это их последняя ночь в доме, которого они больше не увидят. В этом отношении они ошибались, но под влиянием заблуждения, которого они не поверяли друг другу, чтобы друг друга не огорчать, каждый про себя пересматривал жизнь, протекшую под этим кровом, и боролся с навертывавшимися на глаза слезами.

Это не мешало Антонине Александровне соблюдать перед посторонними светские приличия. Она поддерживала несмолкаемую беседу с женщиной, надзору которой всё поручала. Антонина Александровна преувеличивала значение оказываемой ей услуги.

Чтобы не платить за одолжение черной неблагодарностью, она каждую минуту с извинениями отлучалась в соседнюю комнату, откуда тащила этой особе в подарок то какой-нибудь платок, то блузку, то кусок ситцу или полушифона. И все материи были темные в белую клетку или горошком, как в белую крапинку была темная снежная улица, смотревшая в этот прощальный вечер в незанавешенные голые окна.

6

На вокзал уходили рано на рассвете. Население дома в этот час еще не подымалось. Жилица Зевороткина, обычная застрельщица всяких дружных действий миром и навалом, обежала спящих квартирантов, стуча в двери и крича:

— Внимание, товарищи! Прощаться! Веселее, веселее! Бывшие Гарумековы уходят.

Прощаться высыпали в сени и на крыльцо черной лестницы (парадное стояло теперь круглый год заколоченным) и облепили его ступеньки амфитеатром, словно собираясь сниматься группой.

Зевающие жильцы нагибались, чтобы накинутые на плечи тощие пальтишки, под которыми они ежились, не сползли с них, и зябко перебирали голыми ногами, наспех сунутыми в широченные валенки.

Маркел умудрился нахлестаться чего-то смертоубийственного в это безалкогольное время, валился как подкошенный на перила и грозил их обрушить. Он вызывался нести вещи на вокзал и обижался, что отвергают его помощь. Насилу от него отвязались.

На дворе еще было темно. Снег в безветренном воздухе валил гуще, чем накануне. Крупные мохнатые хлопья падали, ленясь, и невдалеке от земли как бы еще задерживались, словно колеблясь, ложиться ли им на землю, или нет.

Когда из переулка вышли на Арбат, немного посветлело.

Снегопад завешивал улицу до полу своим белым сползающим пологом, бахромчатые концы которого болтались и путались в ногах у пешеходов. так что пропадало ощущение движения и им казалось, что они топчутся на месте.

На улице не было ни души. Путникам из Сивцева никто не подался навстречу. Скоро их обогнал, весь в снегу, точно вывалянный в жидком тесте, извозчик порожняком на убеленной снегом кляче, и за баснословную, копейки не стоившую сумму тех лет, усадил всех с вещами в пролетку, кроме Юрия Андреевича, которого по его просьбе отпустили налегке, без вещей, на вокзал пешком.

7

На вокзале Антонина Александровна с отцом уже занимали место в несметной очереди, стиснутой барьерами деревянного ограждения. Посадку производили теперь не с перронов, а с добрых полверсты от них вглубь путей у выходного семафора, потому что на расчистку подходов к дебаркадеру не хватало рук, половина вокзальной территории была покрыта льдом и нечистотами, и паровозы не доезжали до этой границы.

Нюши и Шурочки не было в толпе с матерью и дедом. Они прогуливались на воле под огромным навесом наружного входа, лишь изредка наведываясь из вестибюля, не пора ли им присоединиться к старшим. От них сильно пахло керосином, которым, в предохранение от тифозных вшей, были густо смазаны у них щиколотки, запястья и шеи.

Завидев подоспевшего мужа, Антонина Александровна поманила его рукою, но не дав ему приблизиться, прокричала ему издали, в какой кассе компостируют командировочные мандаты. Он туда направился.

— Покажи, какие печати тебе поставили, — спросила она его по возвращении. Доктор протянул пучок сложенных бумажек за загородку.

— Это литер в делегатский, — сказал сосед Антонины Александровны сзади, разобрав через её плечо штамп, поставленный на удостоверении. Ее сосед спереди, из формалистов-законников, знающих при любых обстоятельствах все правила на свете, пояснил подробнее:

— С этой печатью вы вправе требовать места в классном, другими словами в пассажирском вагоне, если таковые окажутся в составе.

Случай подвергся обсуждению всей очереди. Раздались голоса:

— Поди вперед найди их, классные. Больно жирно будет. Теперь сел на товарный буфер, скажи спасибо.

— Вы их не слушайте, командировочный. Вы послушайте, что я вам объясню. Как в настоящее время отдельные поезда аннулированные, а имеется один сборный, он тебе и воинский, он и арестантский, он и для скотины, он и людской. Говорить что угодно можно, язык — место мягкое, а чем человека с толку сбивать, надо объяснить, чтоб было ему понятно.

— Ты-то объяснил. Какой умник нашелся. Это полдела, что у них литер в делегатский. Ты вперед на них погляди, а тогда толкуй. Нешто можно с такой бросающею личностью в делегатский?

В делегатском полно братишков. У моряка наметанный глаз, и притом наган на шнуре. Он сразу видит — имущий класс и тем более — доктор, из бывших господ. Матрос хвать наган, и хлоп его как муху.

Неизвестно куда завело бы сочувствие к доктору и его семье, если бы не новое обстоятельство.

Из толпы давно бросали взгляды вдаль за широкие вокзальные окна из толстого зеркального стекла. Длинные, тянущиеся вдаль, навесы дебаркадера до последней степени удаляли зрелище падающего над путями снега. В таком отдалении казалось, что снежинки, почти не двигаясь, стоят в воздухе, медленно оседая в нем, как тонут в воде размокшие крошки хлеба, которым кормят рыбу.

В эту глубину давно кучками и поодиночке направлялись какие-то люди. Пока они проходили в небольшом количестве, эти фигуры, неотчетливые за дрожащею сеткою снега, принимали за железнодорожников, по своей обязанности расхаживающих по шпалам. Но вот они повалили кучею. В глубине, куда они направлялись, задымил паровоз.

— Отпирай двери, мошенники! — заорали в очереди. Толпа всколыхнулась и подалась к дверям. Задние стали напирать на передних.

— Гляди, что делается! Тут стеной загородили, а там лезут без очереди в обход! Набьют вагоны доверху, а мы стой тут, как бараны! Отпирай, дьяволы, — выломаем! Эй, ребята, навались, нажми!

— Кому, дурачье, завидуют, — говорил всезнающий законник.

— Мобилизованные это, привлеченные к трудовой повинности из Петрограда. Их было в Вологду на Северный направили, а теперь гонят на Восточный фронт. Не своей волей. Под конвоем. На рытье окопов.

8

В пути были уже три дня, но недалеко отъехали от Москвы.

Дорожная картина была зимняя: рельсы путей, поля, леса, крыши

деревень — всё под снегом.

Семье Живаго посчастливилось попасть в левый угол верхних передних нар, к тусклому продолговатому окошку под самым потолком, где они и разместились своим домашним кругом, не дробя компании.

Антонина Александровна в первый раз путешествовала в товарном вагоне. При погрузке в Москве Юрий Андреевич на руках поднял женщин на высоту вагонного пола, по краю которого ходила тяжелая выдвижная дверца. Дальше в пути женщины приноровились и взбирались в теплушку сами.

Вагоны на первых порах показались Антонине Александровне хлевами на колесах. Эти клетушки должны были, по её мнению, развалиться при первом толчке или сотрясении. Но вот уже третий день их бросало вперед и назад и валило на бок при перемене движения и на поворотах, и третий день под полом часто-часто перестукивались колесные оси, как палочки заводного игрушечного барабанчика, а поездка протекала благополучно, и опасения Антонины Александровны не оправдывались.

Вдоль станций с короткими платформами длинный эшелон, состоявший из двадцати трех вагонов (Живаго сидели в четырнадцатом), вытягивался только одной какой-нибудь частью, головой, хвостом или середкой.

Передние вагоны были воинские, в средних ехала вольная публика, в задних — мобилизованные на трудовую повинность.

Пассажиров этого разряда было человек до пятисот, люди всех возрастов и самых разнообразных званий и занятий.

Восемь вагонов, занятых этой публикой, представляли пестрое зрелище. Рядом с хорошо одетыми богачами, петербургскими биржевиками и адвокатами можно было видеть отнесенных к эксплуататорскому классу лихачей-извозчиков, полотеров, банщиков, татар-старьевщиков, беглых сумасшедших из распущенных желтых домов, мелочных торговцев и монахов.

Первые сидели вокруг докрасна раскаленных печурок без пиджаков на коротко спиленных чурках, поставленных стоймя, наперерыв друг другу что-то рассказывали и громко хохотали.

Это были люди со связями. Они не унывали. За них дома хлопотали влиятельные родственники. В крайнем случае дальше в пути они могли откупиться.

Вторые, в сапогах и расстегнутых кафтанах или в длинных распоясанных рубахах поверх портов и босиком, бородатые и без бород, стояли у раздвинутых дверей душных теплушек, держась за косяки и

наложенные поперек пролетов перекладины, угрюмо смотрели на придорожные места и их жителей и ни с кем не разговаривали. У этих не было нужных знакомств. Им не на что было надеяться.

Не все эти люди помещались в отведенных им вагонах. Часть рассовали в середине состава вперемешку с вольной публикой.

Люди этого рода имелись и в четырнадцатой теплушке.

9

Обыкновенно, когда поезд приближался к какой-нибудь станции, лежавшая наверху Антонина Александровна приподымалась в неудобной позе, к которой принуждал низкий, не позволявший разогнуться потолок, свешивала голову с полатей и через щелку приотодвинутой двери определяла, представляет ли место интерес с точки зрения товарообмена и стоит ли спускаться с нар и выходить наружу.

Так было и сейчас. Замедлившийся ход поезда вывел её из дремоты. Многочисленность переводных стрелок, на которых подскакивала теплушка с учащающимся стуком, говорила о значительности станции и продолжительности предстоящей остановки.

Антонина Александровна села согнувшись, протерла глаза, поправила волосы и, запустив руку в глубину вещевого мешка, вытащила, до дна перерыв его, вышитое петухами, парубками, дугами и колесами полотенце.

Тем временем проснулся доктор, первым соскочил вниз с полатей и помог жене спуститься на пол.

Между тем мимо растворенной вагонной дверцы вслед за будками и фонарями уже плыли станционные деревья, отягченные целыми пластами снега, который они как хлеб-соль протягивали на выпрямленных ветвях навстречу поезду, и с поезда первыми на скором еще ходу соскакивали на нетронутый снег перрона матросы, и бегом, опережая всех, бежали за угол станционного строения, где обыкновенно, под защитой боковой стены, прятались торговки запрещенным съестным.

Черная форма моряков, развевающиеся ленты их бескозырок и их раструбом книзу расширяющиеся брюки придавали их шагу натиск и стремительность, и заставляли расступаться перед ними, как перед разбежавшимися лыжниками или несущимися во весь дух конькобежцами.

За углом станции, прячась друг за друга и волнуясь, как на гадании, выстраивались гуськом крестьянки ближних деревень с огурцами, творогом, вареной говядиной и ржаными ватрушками, хранившими на холоде дух и тепло под стегаными покрышками, под которыми их

выносили. Бабы и девки в заправленных под полушубки платках вспыхивали, как маков цвет, от иных матросских шуток, и в то же время боялись их пуще огня, потому что из моряков, преимущественно, формировались всякого рода отряды по борьбе со спекуляцией и запрещенною свободною торговлей.

Смущение крестьянок продолжалось недолго. Поезд останавливался. Прибывали остальные пассажиры. Публика перемешивалась. Закипала торговля.

Антонина Александровна производила обход торговок, перекинув через плечо полотенце с таким видом, точно шла на станционные задворки умыться снегом. Ее уже несколько раз окликнули из рядов:

— Эй, эй, городская, что просишь за ширинку?

Но Антонина Александровна, не останавливаясь, шла с мужем дальше.

В конце ряда стояла женщина в черном платке с пунцовыми разводами. Она заметила полотенце с вышивкой. Ее дерзкие глаза разгорелись. Она поглядела по бокам, удостоверилась, что опасность не грозит ниоткуда, быстро подошла вплотную к Антонине Александровне и, откинув попонку со своего товара, прошептала горячей скороговоркой:

— Эвона что. Небось такого не видала? Не соблазнишься? Ну, долго не думай — отымут.

Отдай полотенце за полоток.

Антонина Александровна не разобрала последнего слова. Ей подумалось, что речь о каком-то платке. Она переспросила:

— Ты что, голубушка?

Полотком крестьянка назвала пол-зайца, разрубленного пополам и целиком зажаренного от головы до хвоста, которого она держала в руках. Она повторила:

— Отдай, говорю, полотенце за полоток. Ты что глядишь?

Чай, не собачина. Муж у меня охотник. Заяц это, заяц.

Мена состоялась. Каждой стороне казалось, что она в великом барыше, а противная в таком же большом накладе. Антонине Александровне было стыдно так нечестно объегоривать бедную крестьянку. Та же, довольная сделкой, поспешила скорее прочь от греха и, кликнув расторговавшуюся соседку, зашагала вместе с нею домой по протоптанной в снегу, вдаль уводившей стежке.

В это время в толпе произошел переполох. Где-то закричала старуха:

— Куда, кавалер? А деньги? Когда ты мне дал их, бессовестный? Ах ты, кишка ненасытная, ему кричат, а он идет, не оглядывается. Стой, говорю, стой, господин товарищ! Караул!

Разбой! Ограбили! Вон он, вон он, держи его!
— Это какой же?
— Вон, голомордый, идет, смеется.
— Это который драный локоть?
— Ну да, ну да. Держи его, басурмана!
— Это который на рукаве заплатка?
— Ну да, ну да. Ай, батюшки, ограбили!
— Что тут попритчилось?
— Торговал у бабки пироги да молоко, набил брюхо и фьють.
Вот, плачет, убивается.
— Нельзя этого так оставить. Поймать надо.
— Поди поймай. Весь в ремнях и патронах. Он тебе поймает.

10

В четырнадцатой теплушке следовало несколько набранных в трудармию. Их стерег конвойный Воронюк. Из них по разным причинам выделялись трое. Это были: бывший кассир петроградской казенной винной лавки Прохор Харитонович Притульев, кАстер, как его звали в теплушке; шестнадцатилетний Вася Брыкин, мальчик из скобяной лавки, и седой революционер-кооператор Костоед-Амурский, перебывавший на всех каторгах старого времени и открывший новый ряд их в новое время.

Все эти завербованные были люди друг другу чужие, нахватанные с бору да с сосенки и постепенно знакомившиеся друг с другом только в дороге. Из таких вагонных разговоров выяснилось, что кассир Притульев и торговый ученик Вася Брыкин — земляки, оба — вятские и, кроме того, уроженцы мест, которые поезд должен был миновать по прошествии некоторого времени.

Мещанин города Малмыжа Притульев был приземистый, стриженный бобриком, рябой, безобразный мужчина. Серый, до черноты пропотевший под мышками китель плотно облегал его, как охватывает мясистый бюст женщины надставка сарафана. Он был молчалив, как истукан, и, часами о чем-то задумываясь, расковыривал до крови бородавки на своих веснущатых руках, так что они начинали гноиться.

Год тому назад он как-то шел осенью по Невскому и на углу Литейного угодил в уличную облаву. У него спросили документы.

Он оказался держателем продовольственной карточки четвертой категории, установленной для нетрудового элемента и по которой никогда ничего не выдавали. Его задержали по этому признаку и вместе со

многими, остановленными на улице на том же основании, отправили под стражею в казармы. Собранную таким образом партию, по примеру ранее составленной, рывшей окопы на Архангельском фронте, вначале предполагали двинуть в Вологду, но с дороги вернули, и через Москву направили на Восточный фронт.

У Притульева была жена в Луге, где он работал в предвоенные годы, до своей службы в Петербурге. Стороной узнав о его несчастии, жена кинулась разыскивать его в Вологду, чтобы вызволить из труд-армии. Но пути отряда разошлись с её розысками. Ее труды пропали даром. Всё перепуталось.

В Петербурге Притульев проживал с сожительницей Пелагеей Ниловной Тягуновой. Его остановили на перекрестке Невского как раз в ту минуту, когда он простился с нею на углу, собравшись идти по делу в другую сторону, и среди мелькавших по Литейному пешеходов видел еще вдалеке её спину, вскоре скрывшуюся.

Эта Тягунова, полнотелая осанистая мещанка с красивыми руками и толстою косой, которую она с глубокими вздохами перебрасывала то через одно, то через другое плечо себе на грудь, сопровождала по доброй воле Притульева в эшелоне.

Непонятно было, что хорошего находили в таком идоле, как Притульев, липнувшие к нему женщины. Кроме Тягуновой, в другой теплушке эшелона, несколькими вагонами ближе к паровозу, ехала неведомо как очутившаяся в поезде другая знакомая Притульева, белобрысая и худая девица Огрызкова, «ноздря» и «спрынцовка», как, наряду с другими оскорбительными кличками, бранно называла её Тягунова.

Соперницы были на ножах и остерегались попадаться на глаза друг другу. Огрызкова никогда не показывалась в теплушке. Было загадкою, где ухитрялась она видеться с предметом своего обожания. Может быть, она довольствовалась его лицезрением издали на общих погрузках дров и угля силами всех едущих.

11

История Васи была иная. Его отца убили на войне. Мать послала Васю из деревни в учение к дяде в Питер.

Зимой дядю, владельца скобяной лавки в Апраксином дворе, вызвали для объяснений в Совет. Он ошибся дверью и вместо комнаты, указанной в повестке, попал в другую, соседнюю.

Случайно это была приемная комиссия по трудовой повинности. В ней

было очень людно. Когда народу, явившегося в этот отдел по вызову, набралось достаточно, пришли красноармейцы, окружили собравшихся и отвели их ночевать в Семеновские казармы, а утром препроводили на вокзал для погрузки в Вологодский поезд.

Весть о задержании такого большого числа жителей распространилась в городе. На другой день множество домашних потянулось прощаться с родственниками на вокзал. В их числе пошли провожать дядю и Вася с теткой.

На вокзале дядя стал просить часового выпустить его на минутку за решетку к жене. Часовым этим был ныне сопровождавший группу в четырнадцатой теплушке Воронюк. Без верного ручательства, что дядя вернется, Воронюк не соглашался отпустить его. В виде такого ручательства дядя с тетей предложили оставить под стражей племянника. Воронюк согласился. Васю ввели в ограду, дядю из нее вывели. Больше дядя с тетей не возвращались.

Когда подлог обнаружился, не подозревавший обмана Вася заплакал. Он валялся в ногах у Воронюка и целовал ему руки, умоляя освободить его, но ничего не помогало. Конвойный был неумолим не по жестокости характера. Время было тревожное, порядки суровые. Конвойный жизнью отвечал за численность вверенных ему сопровождаемых, установленную перекличкой. Так Вася и попал в труд-армию.

Кооператор Костоед-Амурский, пользовавшийся уважением всех тюремщиков при царском и нынешнем правительстве и всегда сходившийся с ними на короткую ногу, не раз обращал внимание начальника конвоя на нетерпимое положение с Васей. Тот признавал, что это действительно вопиющее недоразумение, но говорил, что формальные затруднения не позволяют касаться этой путаницы в дороге, и он надеется распутать её на месте.

Вася был хорошенький мальчик с правильными чертами лица, как пишут царских рынд и Божьих ангелов. Он был на редкость чист и неиспорчен. Излюбленным развлечением его было, сев на пол в ногах у старших, охватив переплетенными руками колени и закинув голову, слушать, что они говорят или рассказывают.

Тогда по игре его лицевых мускулов, которыми он сдерживал готовые хлынуть слезы или боролся с душившим его смехом, можно было восстановить содержание сказанного. Предмет беседы отражался на лице впечатлительного мальчика, как в зеркале.

12

Кооператор Костоед сидел наверху в гостях у Живаго и со свистом обсасывал заячью лопатку, которой его угощали. Он боялся сквозняков и простуды. — «Как тянет! Откуда это?» — спрашивал он, и все пересаживался, ища защищенного места.

Наконец он уселся так, чтоб на него не дуло, сказал: «Теперь хорошо», доглодал лопатку, облизал пальцы, обтер их носовым платком и, поблагодарив хозяев, заметил:

— Это у вас из окна. Необходимо заделать. Однако вернемся к предмету спора. Вы не правы, доктор. Жареный заяц — вещь великолепная. Но выводить отсюда, что деревня благоденствует, это, простите, по меньшей мере смело, это скачок весьма рискованный.

— Ах, оставьте, — возражал Юрий Андреевич. — Посмотрите на эти станции. Деревья не спилены. Заборы целы. А эти рынки!

Эти бабы! Подумайте, какое удовлетворение! Где-то есть жизнь.

Кто-то рад. Не все стонут. Этим всё оправдано.

— Хорошо, кабы так. Но ведь это неверно. Откуда вы это взяли? Отъезжайте на сто верст в сторону от полотна. Всюду непрекращающиеся крестьянские восстания. Против кого, спросите вы? Против белых и против красных, смотря по тому, чья власть утвердилась. Вы скажете, ага, мужик враг всякого порядка, он сам не знает, чего хочет. Извините, погодите торжествовать. Он знает это лучше вас, но хочет он совсем не того, что мы с вами.

Когда революция пробудила его, он решил, что сбывается его вековой сон о жизни особняком, об анархическом хуторском существовании трудами рук своих, без зависимости и обязательств кому бы то ни было. А он из тисков старой, свергнутой государственности попал под еще более тяжкий пресс нового революционного сверхгосударства. И вот деревня мечется и нигде не находит покоя. А вы говорите, крестьянство благоденствует. Ничего вы, батенька, не знаете и, сколько вижу, и знать не хотите.

— А что ж, и правда не хочу. Совершенно верно. Ах, подите вы! Зачем мне всё знать и за всё распинаться? Время не считается со мной и навязывает мне что хочет. Позвольте и мне игнорировать факты. Вы говорите, мои слова не сходятся с действительностью. А есть ли сейчас в России действительность?

По-моему, её так запугали, что она скрывается. Я хочу верить, что деревня выиграла и процветает. Если и это заблуждение, то что мне тогда

делать? Чем мне жить, кого слушаться? А жить мне надо, я человек семейный.

Юрий Андреевич махнул рукой и, предоставив Александру Александровичу доводить до конца спор с Костоедом, придвинулся к краю полатей и, свесив голову, стал смотреть, что делается внизу.

Там шел общий разговор между Притульевым, Воронюком, Тягуновой и Васей. В виду приближения родных мест, Притульев припоминал способ сообщения с ними, до какой станции доезжают, где сходят и как движутся дальше, пешком или на лошадях, а Вася при упоминании знакомых сел и деревень вскакивал с горящими глазами и восхищенно повторял их названия, потому что их перечисление звучало для него волшебной сказкой.

— На Сухом броде слезаете? — захлебываясь, переспрашивал он. — Ну как же! Наш разъезд! Наша станция! А потом, небось, берете на Буйское?

— Потом — Буйским проселком.

— Я и то говорю — Буйским. Село Буйское. Как не знать!

Наш поворот. Оттеда пойдет к нам всё вправо, вправо. К Веретенникам. А к вам, дядя Харитоныч, видать, влево, прочь от реки? Реку Пелгу слыхали? Ну как же! Наша река. А к нам будет берегом, берегом. И на этой самой реке, на реке Пелге повыше, наши Веретенники, наша деревня! На самом яру! Берег кру-у-той!

По-нашему — залавок. Станешь наверху, страшно вниз взглянуть, такая круть. Как бы не свалиться: ей-Богу правда. Камень ломают. Жернова. И в тех Веретенниках маменька моя. И две сестренки. Сестра Аленка. И Аришка сестра. Маменька моя, тетя Палаша, Пелагея Ниловна, вроде сказать как вы, молодая, белая.

Дядя Воронюк! Дядя Воронюк! Христом Богом молю вас… Дядя Воронюк!

— Ну шо? Шо ты задолбыв, як зозуля: «дядя Воронюк, дядя Воронюк»? Хиба я не знаю, шо я не тетя? Шо ты хочешь, шо тоби треба? Шоб я пустив тебе тикать? Шо ты, сказивсь? Ты дашь винта, а мни за то будет аминь, стенка?

Пелагея Тягунова рассеянно глядела куда-то вдаль, в сторону, и молчала. Она гладила Васю по голове и, о чем-то думая, перебирала его русые волосы. Изредка она наклонениями головы, глазами и улыбками делала мальчику знаки, смысл которых был таков, чтобы он не глупил и вслух при всех не заговаривал с Воронюком о таких вещах. Дай, мол, срок, всё устроится само собой, будь покоен.

13

Когда от Среднерусской полосы удалились на восток, посыпались неожиданности. Стали пересекать неспокойные местности, области хозяйничанья вооруженных банд, места недавно усмиренных восстаний.

Участились остановки поезда среди поля, обход вагонов заградительными отрядами, досмотр багажа, проверка документов.

Однажды поезд застрял где-то ночью. В вагоны не заглядывали, никого не подымали. Полюбопытствовав, не случилось ли несчастья, Юрий Андреевич спрыгнул вниз с теплушки.

Была темная ночь. Поезд без видимой причины стоял на какой-то случайной версте обыкновенного, обсаженного ельником полевого перегона. Соскочившие ранее Юрия Андреевича соседи, топтавшиеся перед теплушкой, сообщили, что по их сведениям ничего не случилось, а, кажется, машинист сам остановил поезд под тем предлогом, что данная местность — угрожаемая, и пока исправность перегона не будет удостоверена на дрезине, отказывается вести состав дальше. Представители пассажиров, говорят, отправились его упрашивать и, в случае необходимости, подмазать. По слухам, в дело вмешались матросы. Эти уломают.

Пока это объясняли Юрию Андреевичу, снежная гладь впереди полотна возле паровоза, словно дышащим отблеском костра, озарялась огненными вспышками из трубы и подтопочного зольника паровоза. Вдруг один из таких языков ярко осветил кусок снежного поля, паровоз и несколько пробежавших по краю паровозной рамы черных фигур.

Впереди промелькнул, видимо, машинист. Добежав до конца мостков, он подпрыгнул вверх и, перелетев через буферный брус, скрылся из виду. Те же движения проделали гнавшиеся за ним матросы. Они тоже пробежали до конца решетки, прыгнули, мелькнули в воздухе и провалились как сквозь землю.

Привлеченный виденным, Юрий Андреевич вместе с несколькими любопытными прошел вперед к паровозу.

В свободной, открывшейся перед поездом части пути им представилось следующее зрелище. В стороне от полотна в цельном снегу торчал до половины провалившийся машинист. Как загонщики — зверя, его полукругом обступали так же, как он, по пояс застрявшие в снегу матросы.

Машинист кричал:

— Спасибо, буревестнички! Дожил! С наганом на своего брата, рабочего! Зачем я сказал, состав дальше не пойдет.

Товарищи пассажиры, будьте свидетели, какая это сторона. Кто хочет шляется, отвинчивают гайки. Я, мать вашу пополам с бабушкой, об чем, мне что? Я, сифон вам под ребра, не об себе, об вас, чтоб вам чего не сделалось. И вот мне что за мое попечение. Ну что ж, стреляй меня, минная рота! Товарищи пассажиры, будьте свидетели, вот он — я, не хоронюсь.

Из кучки на железнодорожной насыпи слышались разнообразные голоса. Одни восклицали оторопело:

— Да что ты?.. Опомнись… Да нешто… Да кто им даст? Это они так… Для острастки…

Другие громко подзадоривали:

— Так их, гаврилка! Не сдавай, паровая тяга!

Матрос, первым высвободившийся из снега и оказавшийся рыжим великаном с такой огромной головой, что лицо его казалось плоским, спокойно повернулся к толпе и тихим басом, с украинизмами, как Воронюк, сказал несколько слов, смешных своим совершенным спокойствием в необычайной ночной обстановке:

— Звиняюсь, шо це за гормидор? Як бы вы не занедужили на витру, громадяне. Ать с холоду до вагонив!

Когда начавшая разбредаться толпа постепенно разошлась по теплушкам, рыжий матрос приблизился к машинисту, который еще не совсем пришел в себя, и сказал:

— Фатит катать истерику, товарищ механик. Вылазть з ямы.

Даешь поихалы.

14

На другой день на тихом ходу с поминутными замедлениями, опасаясь схода со слегка завеянных метелью и неразметенных рельс, поезд остановился на покинутом жизнью пустыре, в котором не сразу узнали остатки разрушенной пожаром станции.

На её закоптелом фасаде можно было различить надпись «Нижний Кельмес».

Не только железнодорожное здание хранило следы пожара.

Позади за станцией виднелось опустелое и засыпанное снегом селение, видимо разделившее со станцией её печальную участь.

Крайний дом в селении был обуглен, в соседнем несколько бревен было подшиблено с угла и повернуто торцами внутрь, всюду на улице валялись обломки саней, поваленных заборов, рваного железа, битой домашней утвари. Перепачканный гарью и копотью снег чернел насквозь

выжженными плешинами и залит был обледенелыми помоями со вмерзшими головешками, следами огня и его тушения.

Безлюдие в селении и на станции было неполное. Тут и там имелись отдельные живые души.

— Всей слободой горели? — участливо спрашивал соскочивший на перрон начальник поезда, когда из-за развалин навстречу вышел начальник станции.

— Здравствуйте. С благополучным прибытием. Гореть горели, да дело похуже пожара будет.

— Не понимаю.

— Лучше не вникать.

— Неужели Стрельников?

— Он самый.

— В чем же вы провинились?

— Да не мы. Дорога сбоку припеку. Соседи. Нам заодно досталось. Видите, селение в глубине? Вот виновники. Село Нижний Кельмес Усть-Немдинской волости. Всё из-за них.

— А те что?

— Да без малого все семь смертных грехов. Разогнали у себя комитет бедноты, это вам раз; воспротивились декрету о поставке лошадей в Красную армию, а заметьте, поголовно татары — лошадники, это два; и не подчинились приказу о мобилизации, это — три, как видите.

— Так, так. Тогда всё понятно. И за это получили из артиллерии?

— Вот именно.

— С бронепоезда?

— Разумеется.

— Прискорбно. Достойно сожаления. Впрочем, это не нашего ума дело.

— Притом дело минувшее. Новым мне нечем вас порадовать.

Сутки-другие у нас простоите.

— Бросьте шутки. У меня — не что-нибудь: маршевые пополнения на фронт. Я привык — чтоб без простоя.

— Да какие тут шутки. Снежный занос, сами видите. Неделю буран свирепствовал по всему перегону. Замело. А разгребать некому. Половина села разбежалась. Ставлю остальных, не справляются.

— Ах, чтоб вам пусто было! Пропал, пропал! Ну что теперь делать?

— Как-нибудь расчистим, поедете.

— Большие завалы?

— Нельзя сказать, чтобы очень. Полосами. Буран косяком шел, под углом к полотну. Самый трудный участок в середине.

Три километра выемки. Тут действительно промучаемся. Место основательно забито. А дальше ничего, тайга, — лес предохранил. Также до выемки, открытая полоса, не страшно.

Ветром передувало.

— Ах, чтоб вас чорт побрал. Что за наваждение! Я поезд поставлю на ноги, пусть помогают.

— Я и сам так думал.

— Только матросов не трогайте и красногвардейцев. Целый эшелон трудармии. Вместе с вольноедущими человек до семисот.

— Более чем достаточно. Вот только лопаты привезут, и поставим. Нехватка лопат. В соседние деревни послали.

Раздобудемся.

— Вот беда, ей-Богу! Думаете, осилим?

— А как же. Навалом, — говорится, — города берут.

Железная дорога. Артерия. Помилуйте.

15

Расчистка пути заняла трое суток. Все Живаго, до Нюши включительно, приняли в ней деятельное участие. Это было лучшее время их поездки.

В местности было что-то замкнутое, недосказанное. От нее веяло пугачевщиной в преломлении Пушкина, азиатчиной Аксаковских описаний.

Таинственность уголка довершали разрушения и скрытность немногих оставшихся жителей, которые были запуганы, избегали пассажиров с поезда и не сообщались друг с другом из боязни доносов.

На работы водили по категориям, не все роды публики одновременно. Территорию работ оцепляли охраной.

Линию расчищали со всех концов сразу, отдельными в разных местах расставленными бригадами. Между освобождаемыми участками до самого конца оставались горы нетронутого снега, отгораживавшие соседние группы друг от друга. Эти горы убрали только в последнюю минуту, по завершении расчистки на всем требующемся протяжении.

Стояли ясные морозные дни. Их проводили на воздухе, возвращаясь в вагон только на ночевку. Работали короткими сменами, не причинявшими усталости, потому что лопат не хватало, а работающих было слишком много. Неутомительная работа доставляла одно удовольствие.

Место, куда ходили копать Живаго, было открытое, живописное.

Местность в этой точке сначала опускалась на восток от полотна, а потом шла волнообразным подъемом до самого горизонта.

На горе стоял одинокий, отовсюду открытый дом. Его окружал сад, летом, вероятно, разраставшийся, а теперь не защищавший здания своей узорной, заиндевелой редизной.

Снеговая пелена всё выравнивала и закругляла. Но судя по главным неровностям склона, которые она была бессильна скрыть своими увалами, весной наверное сверху в трубу виадука под железнодорожной насыпью сбегал по извилистому буераку ручей, плотно укрытый теперь глубоким снегом, как прячется под горою пухового одеяла с головой укрытый ребенок.

Жил ли кто-нибудь в доме, или он стоял пустым и разрушался, взятый на учет волостным или уездным земельным комитетом? Где были его прежние обитатели и что с ними сталось? Скрылись ли они заграницу? Погибли ли от руки крестьян? Или, заслужив добрую память, пристроились в уезде образованными специалистами? Пощадил ли их Стрельников, если они оставались тут до последнего времени, или их вместе с кулаками затронула его расправа?

Дом дразнил с горы любопытство и печально отмалчивался. Но вопросов тогда не задавали и никто на них не отвечал. А солнце зажигало снежную гладь таким белым блеском, что от белизны снега можно было ослепнуть. Какими правильными кусками взрезала лопата его поверхность! Какими сухими, алмазными искрами рассыпался он на срезах! Как напоминало эти дни далекого детства, когда в светлом галуном обшитом башлыке и тулупчике на крючках, туго вшитых в курчавую, черными колечками завивавшуюся овчину, маленький Юра кроил на дворе из такого же ослепительного снега пирамиды и кубы, сливочные торты, крепости и пещерные города! Ах как вкусно было тогда жить на свете, какое всё кругом было заглядение и объяденье!

Но и эта трехдневная жизнь на воздухе производила впечатление сытости. И не без причины. Вечерами работающих оделяли горячим сеяным хлебом свежей выпечки, который неведомо откуда привозили неизвестно по какому наряду. Хлеб был с обливной, лопающейся по бокам вкусною горбушкой и толстой, великолепно пропеченной нижней коркой со впекшимися в неё маленькими угольками.

16

Развалины станции полюбили, как можно привязаться к

кратковременному пристанищу в экскурсии по снеговым горам.

Запомнилось её расположение, внешний облик постройки, особенности некоторых повреждений.

На станцию возвращались вечерами, когда садилось солнце.

Как бы из верности прошлому, оно продолжало закатываться на прежнем месте, за старою березой, росшей у самого окна перед дежурной комнатой телеграфиста.

Наружная стена в этом месте обрушилась внутрь и завалила комнату. Но обвал не задел заднего угла помещения, против уцелевшего окна. Там всё сохранилось: обои кофейного цвета, изразцовая печь с круглою отдушиной под медной крышкой на цепочке, и опись инвентаря в черной рамке на стене.

Опустившись до земли, солнце точь-в-точь как до несчастия, дотягивалось до печных изразцов, зажигало коричневым жаром кофейные обои и вешало на стену, как женскую шаль, тень березовых ветвей.

В другой части здания имелась заколоченная дверь в приемный покой с надписью такого содержания, сделанной, вероятно, в первые дни февральской революции или незадолго до нее:

«Ввиду медикаментов и перевязочных средств просят господ больных временно не беспокоиться. По наблюдающейся причине дверь опечатываю, о чем до сведения довожу старший фельдшер Усть-Немды такой-то».

Когда отгребли последний снег, буграми остававшийся между расчищенными пролетами, открылся весь насквозь и стал виден ровный, стрелою вдаль разлетевшийся рельсовый путь. По бокам его тянулись белые горы откинутого снега, окаймленные во всю длину двумя стенами черного бора.

Насколько хватал глаз, в разных местах на рельсах стояли кучки людей с лопатами. Они в первый раз увидали друг друга в полном сборе и удивились своему множеству.

17

Стало известно, что поезд отойдет через несколько часов, несмотря на позднее время и близость ночи. Перед его отправлением Юрий Андреевич и Антонина Александровна пошли в последний раз полюбоваться красотой расчищенной линии. На полотне уже никого не было. Доктор с женой постояли, посмотрели вдаль, обменялись двумя-тремя замечаниями и повернули назад к своей теплушке.

На обратном пути они услышали злые, надсаженные выкрики двух бранящихся женщин. Они в них тотчас узнали голоса Огрызковой и Тягуновой. Обе женщины шли в том же направлении, что и доктор с женою, от головы к хвосту поезда, но вдоль его противоположной стороны, обращенной к станции, между тем как Юрий Андреевич и Антонина Александровна шагали по задней, лесной стороне. Между обеими парами, закрывая их друг от друга, тянулась непрерывная стена вагонов. Женщины почти не попадали в близость к доктору и Антонине Александровне, а намного обгоняли их или сильно отставали.

Обе они были в большом волнении. Им поминутно изменяли силы. Вероятно, на ходу у них проваливались в снег или подкашивались ноги, судя по голосам, которые вследствие неровности походки то подскакивали до крика, то спадали до шопота. Видимо, Тягунова гналась за Огрызковой и, настигая ее, может быть, пускала в ход кулаки. Она осыпала соперницу отборной руганью, которая в мелодических устах такой павы и барыни звучала во сто раз бесстыднее грубой и немузыкальной мужской брани.

— Ах ты шлюха, ах ты задрёпа, — кричала Тягунова. — Шагу ступить некуда, тут как тут она, юбкой пол метет, глазолупничает! Мало тебе, суке, колпака моего, раззевалась на детскую душеньку, распустила хвост, малолетнего ей надо испортить.

— А ты, знать, и Васеньке законная?

— Я те покажу законную, хайло, зараза! Ты живой от меня не уйдешь, не доводи меня до греха!

— Но, но размахалась! Убери руки-то, бешеная! Чего тебе от меня надо?

— А надо чтобы сдохла ты, гнида-шеламура, кошка шелудивая, бесстыжие глаза!

— Обо мне какой разговор. Я, конечно, сука и кошка, дело известное. Ты вот у нас титулованная. Из канавы рожденная, в подворотне венчанная, крысой забрюхателa, ежом разродилась…

Караул, караул, люди добрые! Ай убьет меня до смерти лиходейка-пагуба. Ай спасите девушку, заступитесь за сироту…

— Пойдем скорее. Не могу этого слышать, так противно, — стала торопить мужа Антонина Александровна. — Не кончится это добром.

18

Вдруг все изменилось, места и погода. Равнина кончилась, дорога пошла между гор, — холмами и возвышенностями.

Прекратился северный ветер, дувший все последнее время. С юга, как из печки, пахнуло теплом.

Леса росли тут уступами по горным склонам. Когда железнодорожное полотно их пересекало, поезду сначала приходилось брать большой подъем, сменявшийся с середины отлогим спуском. Поезд кряхтя вползал в чащу и еле тащился по ней, точно это был старый лесник, который пешком вел за собой толпу пассажиров, осматривавшихся по сторонам и все замечавших.

Но смотреть еще было не на что. В глубине леса был сон и покой, как зимой. Лишь изредка некоторые кусты и деревья с шорохом высвобождали нижние сучья из постепенно оседавшего снега, как из снятых ошейников или расстегнутых воротников.

На Юрия Андреевича напала сонливость. Все эти дни он пролеживал у себя наверху, спал, просыпался, размышлял и прислушивался. Но слушать пока еще было нечего.

19

Пока отсыпался Юрий Андреевич, весна плавила и перетапливала всю ту уйму снега, которая выпала в Москве в день отъезда и продолжала падать всю дорогу; весь тот снег, который они трое суток рыли и раскапывали в Усть-Немде, и который необозримыми и толстыми пластами лежал на тысячеверстных пространствах.

Первое время снег подтаивал изнутри, тихомолком и вскрытную. Когда же половина богатырских трудов была сделана, их стало невозможно долее скрывать. Чудо вышло наружу. Из-под сдвинувшейся снеговой пелены выбежала вода и заголосила.

Непроходимые лесные трущобы встрепенулись. Все в них пробудилось.

Воде было где разгуляться. Она летела вниз с отвесов, прудила пруды, разливалась вширь. Скоро чаща наполнилась её гулом, дымом и чадом. По

лесу змеями расползались потоки, увязали и грузли в снегу, теснившем их движение, с шипением текли по ровным местам и, обрываясь вниз, рассыпались водяною пылью. Земля влаги уже больше не принимала. Ее с головокружительных высот, почти с облаков пили своими корнями вековые ели, у подошв которых сбивалась в клубы обсыхающая белобурая пена, как пивная пена на губах у пьющих.

Весна ударяла хмелем в голову неба, и оно мутилось от угара и покрывалось облаками. Над лесом плыли низкие войлочные тучи с отвисающими краями, через которые скачками низвергались теплые, землей и потом пахнувшие ливни, смывавшие с земли последние куски пробитой черной ледяной брони.

Юрий Андреевич проснулся, подтянулся к квадратному оконному люку, из которого вынули раму, подперся локтем и стал слушать.

С приближением к горнозаводскому краю местность стала населеннее, перегоны короче, станции чаще. Едущие сменялись не так редко. Больше народу садилось и выходило на небольших промежуточных остановках. Люди, совершавшие переезды на более короткие расстояния, не обосновывались надолго и не заваливались спать, а примащивались ночью где-нибудь у дверей в середине теплушки, толковали между собой вполголоса о местных, только им понятных делах и высаживались на следующем разъезде или полустанке.

Из обмолвок здешней публики, чередовавшейся в теплушке последние три дня, Юрий Андреевич вывел заключение, что на севере белые берут перевес и захватили или собираются взять Юрятин. Кроме того, если его не обманывал слух и это не был какой-нибудь однофамилец его товарища по Мелюзеевскому госпиталю, силами белых в этом направлении командовал хорошо известный Юрию Андреевичу Галиуллин.

Юрий Андреевич ни слова не сказал своим об этих толках, чтобы не беспокоить их понапрасну, пока слухи не подтвердятся.

21

Юрий Андреевич проснулся в начале ночи от смутно переполнявшего его чувства счастья, которое было так сильно, что разбудило его. Поезд стоял на какой-то ночной остановке.

Станцию обступал стеклянный сумрак белой ночи. Эту светлую тьму пропитывало что-то тонкое и могущественное. Оно было свидетельством шири и открытости места. Оно подсказывало, что разъезд расположен на высоте с широким и свободным кругозором.

По платформе, негромко разговаривая, проходили мимо теплушки неслышно ступающие тени. Это тоже умилило Юрия Андреевича. Он усмотрел в осторожности шагов и голосов уважение к ночному часу и заботу о спящих в поезде, как это могло быть в старину, до войны.

Доктор ошибался. На платформе галдели и громыхали сапогами, как везде. Но в окрестности был водопад. Он раздвигал границы белой ночи веяньем свежести и воли. Он внушил доктору чувство счастья во сне. Постоянный, никогда не прекращающийся шум его водяного обвала царил над всеми звуками на разъезде и придавал им обманчивую видимость тишины.

Не разгадав его присутствия, но усыпленный неведомой упругостью здешнего воздуха, доктор снова крепко заснул.

Внизу в теплушке разговаривали двое. Один спрашивал другого:

— Ну как, угомонили своих? Доломали хвосты им?

— Это лавочников, что ли?

— Ну да, лабазников.

— Утихомирили. Как шелковые. Из которых для примеру вышибли дух, ну остальные и присмирели. Забрали контрибуцию.

— Много сняли с волости?

— Сорок тысяч.

— Врешь!

— Зачем мне врать?

— Ядрена репа, сорок тысяч!

— Сорок тысяч пудов.

— Ну, бей вас кобыла задом, молодцы! Молодцы!

— Сорок тысяч мелкого помола.

— А положим какое диво. Места — первый сорт. Самая мучная торговля. Тут по Рыньве пойдет теперь вверх к Юрятину, село к селу, пристанЯ, ссыпные пункты. Братья Шерстобитовы, Перекатчиков с сыновьями, оптовик на оптовике!

— Тише ори. Народ разбудишь.

— Ладно.

Говоривший зевнул. Другой предложил:

— Залечь подремать, что ли? Похоже, поедем.

В это время сзади, стремительно разрастаясь, накатил оглушительный шум, перекрывший грохот водопада, и по второму пути разъезда мимо стоящего без движения эшелона промчался на всех парах и обогнал его курьерский старого образца, отгудел, отгрохотал и, мигнув в последний раз огоньками, бесследно скрылся впереди.

Разговор внизу возобновился.

— Ну, теперь шабаш. Настоимся.

— Теперь не скоро.

— Надо быть, Стрельников. Броневой особого назначения.

— Стало быть, он.

— Насчет контры это зверь.

— Это он на Галеева побежал.

— Это на какого же?

— Атаман Галеев. Сказывают, стоит с чехом заслоном у Юрятина. Забрал, ядрена репа, под себя пристанЯ и держит.

Атаман Галеев.

— А може князь Галилеев. Запамятовал.

— Не бывает таких князьев. Видно, Али Курбан. Перепутал ты. — Може и Курбан.

— Это другое дело.

22

Ближе к утру Юрий Андреевич проснулся в другой раз. Опять ему снилось что-то приятное. Чувство блаженства и освобождения, преисполнившее его, не прекращалось. Опять поезд стоял, может статься на новом полустанке, а может быть и на старом. Опять шумел водопад, скорее всего тот самый, а возможно и другой.

Юрий Андреевич тут же стал засыпать, и сквозь дрему ему мерещились беготня и суматоха. Костоед сцепился с начальником конвоя, и оба кричали друг на друга. Наружи стало еще лучше, чем было. Веяло чем-то новым, чего не было прежде. Чем-то волшебным, чем-то весенним, черняво-белым, редким, неплотным, таким, как налет снежной бури в мае, когда мокрые, тающие хлопья, упав на землю, не убеляют ее, а делают еще чернее.

Чем-то прозрачным, черняво-белым, пахучим. «Черемуха!» — угадал Юрий Андреевич во сне.

23

Утром Антонина Александровна говорила:

— Удивительный ты, все-таки, Юра. Весь соткан из противоречий. Бывает, муха пролетит, ты проснешься и до утра глаз не сомкнешь, а тут шум, споры, переполох, а тебя не добудиться. Ночью бежали кассир

Притульев и Вася Брыкин. Да, подумай! И Тягунова и Огрызкова. Погоди, это еще не всё. И Воронюк. Да, да, бежал, бежал. Да, представь себе. Теперь слушай. Как они скрылись, вместе или врозь, и в каком порядке — абсолютная загадка. Ну, допустим, Воронюк, этот, естественно, решил спастись от ответственности, обнаружив побег остальных. А остальные? Все ли именно исчезли по доброй воле, или кто-нибудь устранен насильственно? Например, подозрение падает на женщин. Но кто кого убил, Тягунова ли Огрызкову или Огрызкова Тягунову, никому неизвестно. Начальник конвоя бегает с одного конца поезда на другой. «Как вы смеете, — кричит, — давать свисток к отправлению. Именем закона требую задержать эшелон до поимки бежавших». А начальник эшелона не сдается. «Вы с ума, говорит, сошли, У меня маршевые пополнения на фронт, срочная первоочередность. Дожидаться вашей вшивой команды! Ишь что выдумали!» И оба, понимаешь, с упреками на Костоеда. Как это он, кооператор, человек с понятиями, был тут рядом и не удержал солдата, темное, несознательное существо, от рокового шага. «А еще народник», — говорят. Ну, Костоед, конечно, в долгу не остается.

«Интересно! — говорит. — Значит, по-вашему, за конвойным арестант должен смотреть? Вот уж действительно когда курица петухом запела». Я тебя и в бок, и за плечо. «Юра, — кричу, — вставай, побег!» Какое! Из пушки не добудиться… Но прости, об этом потом. А пока… Не могу!.. Папа, Юра, смотрите, какая прелесть!

Перед отверстием окна, у которого, вытянув головы, они лежали, раскинулась местность, без конца и краю затянутая разливом. Где-то вышла из берегов река, и вода её бокового рукава подступила близко к насыпи. В укорочении, получившемся при взгляде с высоты полатей, казалось, что плавно идущий поезд скользит прямо по воде.

Ее гладь в очень немногих местах была подернута железистой синевой. По остальной поверхности жаркое утро гоняло зеркальные маслянистые блики, как мажет стряпуха перышком, смоченным в масле, корочку горячего пирога.

В этой заводи, казавшейся безбрежной, вместе с лугами, ямами и кустами, были утоплены столбы белых облаков, сваями уходившие на дно.

Где-то в середине этой заводи виднелась узкая полоска земли с двойными, вверх и вниз между небом и землей висевшими деревьями.

— Утки! Выводок! — вскрикнул Александр Александрович, глядя в ту сторону.

— Где?

— У острова. Не туда смотришь. Правее, правее. Эх, чорт, полетели,

спугнули.

— Ах да, вижу. Мне надо будет кое о чем поговорить с вами, Александр Александрович. Как-нибудь в другой раз. — А наши трудармейцы и дамы, молодцы, что удрали. И, я думаю, — мирно, никому не сделавши зла. Просто бежали, как вода бежит.

24

Кончалась северная белая ночь. Всё было видно, но стояло словно не веря себе, как сочиненное: гора, рощица и обрыв.

Рощица едва зазеленела. В ней цвело несколько кустов черемухи. Роща росла под отвесом горы, на неширокой, так же обрывавшейся поодаль площадке.

Невдалеке был водопад. Он был виден не отовсюду, а только по ту сторону рощицы, с края обрыва. Вася устал ходить туда глядеть на водопад, чтобы испытывать ужас и восхищение.

Водопаду не было кругом ничего равного, ничего под пару. Он был страшен в этой единственности, превращавшей его в нечто одаренное жизнью и сознанием, в сказочного дракона или змея-полоза этих мест, собиравшего с них дань и опустошавшего окрестность.

В полувысоте падения водопад обрушивался на выдавшийся зубец утеса и раздваивался. Верхний столб воды почти не двигался, а в двух нижних ни на минуту не прекращались еле уловимое движение из стороны в сторону, точно водопад всё время поскальзывался и выпрямлялся, поскальзывался и выпрямлялся, и сколько ни пошатывался, всё время оставался на ногах.

Вася, подостлав кожух, лежал на опушке рощи. Когда рассвет стал заметнее, с горы слетела вниз большая, тяжелокрылая птица, плавным кругом облетела рощу и села на вершину пихты возле места, где лежал Вася. Он поднял голову, посмотрел на синее горло и серо-голубую грудь сизоворонки и зачарованно прошептал вслух: «Роньжа» — её уральское имя. Потом он встал, поднял с земли кожух, накинул его на себя и, перейдя полянку, подошел к своей спутнице. Он сказал:

— Пойдемте, тетя. Ишь озябли, зуб на зуб не попадает. Ну что вы глядите, чисто пуганая? Говорю вам человеческим языком, надо итить. Войдите в положение, к деревням надо держать. В деревне своих не обидят, схоронют. Эдаким манером, два дня не евши, мы с голоду помрем. Небось дядя Воронюк какой содом поднял, кинулись искать. Уходить нам надо, тетя Палаша, просто скажем, драть. Беда мне с вами, тетя, хушь бы

вы слово сказали за цельные сутки! Это вы с тоски без языка, ей-Богу. Ну об чем вы тужите? Тетю Катю, Катю Огрызкову, вы без зла толканули с вагона, задели бочком, я сам видал. Встала она потом с травы целехонька, встала и побежала. И тоже самое дядя Прохор, Прохор Харитоныч. Догонют они нас, все опять вместе будем, вы что думаете? Главная вещь, не надо себя кручинить, тогда и язык у вас в действие произойдет.

Тягунова поднялась с земли и, подав руку Васе, тихо сказала:

— Пойдем, касатик.

25

Скрипя всем корпусом, вагоны шли в гору по высокой насыпи.

Под ней рос молодой мешаный лес, вершинами не достигавший её уровня. Внизу были луга, с которых недавно сошла вода. Трава, перемешанная с песком, была покрыта шпальными бревнами, в беспорядке лежавшими в разных направлениях. Вероятно их заготовили для сплава на какой-нибудь ближней деляне, откуда их смыло и принесло сюда полою водой.

Молодой лес под насыпью был почти еще гол, как зимой.

Только в почках, которыми он был сплошь закапан, как воском, завелось что-то лишнее, какой-то непорядок, вроде грязи или припухлости, и этим лишним, этим непорядком и грязью была жизнь, зеленым пламенем листвы охватившая первые распустившиеся в лесу деревья.

Там и сям мученически прямились березы, пронзенные зубчиками и стрелами парных раскрывшихся листиков. Чем они пахли, можно было определить на глаз. Они пахли тем же, чем блистали. Они пахли древесными спиртами, на которых варят лаки.

Скоро дорога поровнялась с местом, откуда могли быть смытые бревна. На повороте в лесу показалась прогалина, засыпанная дровяной трухой и щепками, с кучей бревен тройника посредине.

У лесосеки машинист затормозил. Поезд дрогнул и остановился в том положении, какое он принял, легко наклонившись на высокой дуге большого закругления.

С паровоза дали несколько коротких лающих свистков и что-то прокричали. Пассажиры и без сигналов знали: машинист остановил поезд, чтобы запастись топливом.

Дверцы теплушек раздвинулись. На полотно высыпало доброе население небольшого города, кроме мобилизованных из передних вагонов, которые всегда освобождались от авральной работы и сейчас не

приняли в ней участия.

Груды швырка на прогалине не могло хватить для загрузки тендера. В придачу требовалось распилить некоторое количество длинного тройника.

В хозяйстве паровозной бригады имелись пилы. Их распределили между желающими, разбившимися на пары. Получили пилу и профессор с зятем.

Из воинских теплушек в раздвинутые дверцы высовывались веселые рожи. Не бывавшие в огне подростки, старшие ученики мореходных классов, казалось, по ошибке затесавшиеся в вагон к суровым семейным рабочим, тоже не нюхавшим пороху и едва прошедшим военную подготовку, нарочно шумели и дурачились вместе с более взрослыми матросами, чтобы не задумываться. Все чувствовали, что час испытания близок.

Шутники провожали пильщиков и пильщиц раскатистым зубоскальством:

— Эй, дедушка! Скажи, — я грудной, меня мамка не отлучила, я к физическому труду неспособный. Эй, Мавра! Мотри пилой подола не отпили, продувать будет. — Эй, молодая! Не ходи в лес, лучше поди за меня замуж.

26

В лесу торчало несколько козел, сделанных из связанных крест на крест кольев, концами вбитых в землю. Одни оказались свободными. Юрий Андреевич и Александр Александрович расположились пилить на них.

Это была та пора весны, когда земля выходит из-под снега почти в том виде, в каком полгода тому назад она ушла под снег. Лес обдавал сыростью и весь был завален прошлогодним листом, как неубранная комната, в которой рвали на клочки квитанции, письма и повестки за много лет жизни, и не успели подмести.

— Не так часто, устанете, — говорил доктор Александру Александровичу, направляя движение пилы реже и размереннее, и предложил отдохнуть.

По лесу разносился хриплый звон других пил, ходивших взад и вперед то в лад у всех, то вразнобой. Где-то далеко-далеко пробовал силы первый соловей. С еще более долгими перерывами свистал, точно продувая засоренную флейту, черный дрозд. Даже пар из паровозного клапана подымался к небу с певучей воркотнею, словно это было молоко, закипающее в детской на спиртовке.

— Ты о чем-то хотел побеседовать, — напомнил Александр Александрович. — Ты не забыл? Дело было так: мы разлив проезжали, утки летели, ты задумался и сказал: «Мне надо будет поговорить с вами».

— Ах да. Не знаю, как бы это выразить покороче. Видите, мы всё больше углубляемся… Тут весь край в брожении. Мы скоро приедем. Неизвестно, что мы застанем у цели. На всякий случай надо бы сговориться. Я не об убеждениях. Было бы нелепостью выяснять или устанавливать их в пятиминутной беседе в весеннем лесу. Мы знаем друг друга хорошо. Мы втроем, вы, я и Тоня, вместе со многими в наше время составляем один мир, отличаясь друг от друга только степенью его постижения. Я не об этом.

Это азбука. Я о другом. Нам надо уговориться заранее, как нам вести себя при некоторых обстоятельствах, чтобы не краснеть друг за друга и не накладывать друг на друга пятна позора.

— Довольно. Я понял. Мне нравится твоя постановка вопроса.

Ты нашел именно нужные слова. Вот что я скажу тебе. Помнишь ночь, когда ты принес листок с первыми декретами, зимой в метель. Помнишь, как это было неслыханно безоговорочно. Эта прямолинейность покоряла. Но такие вещи живут в первоначальной чистоте только в головах создателей и то только в первый день провозглашения. Иезуитство политики на другой же день выворачивает их наизнанку. Что мне сказать тебе? Эта философия чужда мне. Эта власть против нас. У меня не спрашивали согласия на эту ломку. Но мне поверили, а мои поступки, даже если я совершил их вынужденно, меня обязывают.

Тоня спрашивает, не опоздаем ли мы к огородным срокам, не прозеваем ли времени посадки. Что ей ответить? Я не знаю здешней почвы. Каковы климатические условия? Слишком короткое лето. Вызревает ли тут вообще что-нибудь?

Да, но разве мы едем в такую даль огородничать? Тут нельзя даже скаламбурить «за семь верст киселя хлебать», потому что верст этих, к сожалению, три или четыре тысячи. Нет, откровенно говоря, тащимся мы так далеко совсем с другой целью. Едем мы попробовать прозябать по современному, и как-нибудь примазаться к разбазариванию бывших дедушкиных лесов, машин и инвентаря. Не к восстановлению его собственности, а к её расточению, к обобществленному просаживанию тысяч, чтобы просуществовать на копейку, и непременно как все, в современной, не укладывающейся в сознании, хаотической форме. Озолоти меня, я на старых началах не приму завода даже в подарок. Это было бы так же дико, как начать бегать голышом, или перезабыть грамоту. Нет,

история собственности в России кончилась. А лично мы, Громеко, расстались со страстью стяжательства уже в прошлом поколении.

27

Спать не было возможности от духоты и спертого воздуха.

Голова доктора плавала в поту на промокшей от пота подушке.

Он осторожно спустился с края полатей и тихонько, чтобы никого не будить, приотодвинул вагонную дверь.

В лицо ему пахнуло сыростью, липкой, как когда в погребе лицом попадешь в паутину. «Туман», — догадался он. — «Туман.

День наверное будет знойный, палящий. Вот почему так трудно дышать и на душе такая давящая тяжесть».

Перед тем как сойти на полотно, доктор постоял в дверях, вслушиваясь кругом.

Поезд стоял на какой-то очень большой станции, разряда узловых. Кроме тишины и тумана, вагоны были погружены еще в какое-то небытие и заброшенность, точно о них забыли, — знак того, что состав стоял на самых задворках, и что между ним и далеким вокзальным зданием было большое расстояние, занятое бесконечною сетью путей.

Два рода звуков слабо раздавались в отдалении.

Сзади, откуда они приехали, слышалось мерное шлепанье, словно там полоскали белье, или ветер щелкал о древко флагштока мокрым полотнищем флага.

Спереди доносился рокот, заставивший доктора, побывавшего на войне, вздрогнуть и напречь слух.

«Дальнобойные орудия», — решил он, прислушавшись к ровному, спокойно прокатывающемуся гулу на низкой, сдержанной ноте.

«Вот как. К самому фронту подъехали», — подумал доктор, покачал головой и спрыгнул с вагона вниз на землю.

Он прошел несколько шагов вперед. За двумя следующими вагонами поезд обрывался. Состав стоял без паровоза, который куда-то ушел вместе с отцепленными передними вагонами.

«То-то они вчера храбрились, — подумал доктор. — Чувствовали видно, что лишь довезут их, с места бросят в самый огонь».

Он обошел конец поезда в намерении пересечь пути и разыскать дорогу на станцию. За углом вагона как из-под земли вырос часовой с ружьем. Он негромко отрезал:

— Куда? Пропуск!

— Какая это станция?

— Станция никакая. Сам ты кто такой?

— Я доктор из Москвы. Следую с семьей в этом эшелоне. Вот мой документ.

— Лыковое кульё твой документ. Дурак я впотьмах бумажки читать, глаза портить. Видишь, туман. Тебя без документа за версту видно, какой ты есть доктор. Вон доктора твои из двенадцатидюймовых содют. По-настоящему стукнуть бы тебя, да рано. Марш назад, пока цел.

«Меня за кого-то принимают», — подумал доктор. Вступать в пререкания с часовым было бессмысленно. Лучше, правда, было удалиться, пока не поздно. Доктор повернул в противоположную сторону.

Орудийная стрельба смолкла за его спиной. В том направлении был восток. Там в дымке тумана взошло солнце и тускло проглядывало между обрывками проплывающей мглы, как мелькают голые в бане в облаках мыльного пара.

Доктор шел вдоль вагонов поезда. Он миновал их все и продолжал идти дальше. Ноги его с каждым шагом уходили всё глубже в рыхлый песок.

Звуки равномерного шлепанья приближались. Местность отлого спускалась. Через несколько шагов доктор остановился перед неясными очертаниями, которым туман придавал несоответственно большие размеры. Еще шаг, и навстречу Юрию Андреевичу вынырнули из мглы кормовые выступы вытащенных на берег лодок.

Он стоял на берегу широкой реки, медленно и устало шлепавшей ленивой зыбью в борта рыбачьих баркасов и доски береговых причальных мостков.

— Тебе кто тут позволил шляться? — спросил, отделившись от берега, другой часовой.

— Какая это река? — против воли выпалил доктор, хотя всеми силами души не хотел ничего спрашивать после недавнего опыта.

Вместо ответа часовой сунул в зубы свисток, но не успел им воспользоваться. Первый часовой, которого он хотел подозвать свистком и который, как оказалось, незаметно шел по пятам за Юрием Андреевичем, сам подошел к товарищу. Оба заговорили.

— Тут и думать нечего. Видно птицу по полету. «Это какая станция, это какая река?» Чем вздумал глаза отводить.

По-твоему как, прямо на мысок, или вперед в вагон?

— Я полагаю, в вагон. Как начальник скажет. — Удостоверение личности, — рявкнул второй часовой и схватил в горсть пачку протянутых доктором свидетельств.

— Постереги, земляк, — неизвестно кому сказал он и вместе с первым часовым пошел вглубь путей к станции.

Тогда для уяснения положения крякнул и задвигался лежавший на песке человек, видимо, рыбак:

— Твое счастье, что они тебя к самому хотят. Может, милый человек, тут твое спасение. А только ты их не вини. Такая у них должность. Время народное. Может, оно и к лучшему. А пока, и не говори. Они, видишь, обознались. Они лавят, лавят одного.

Ну, думают, — ты. Думают, вот он, злодей рабочей власти, — поймали. Ошибка. Ты, в случае чего, добивайся главного. А этим не давайся. Эти — сознательные, беда, не приведи Бог.

Порешить тебя это им полкопейки не стоит. Они скажут, — пойдем, а ты не ходи. Ты говори — мне чтобы главного.

От рыбака Юрий Андреевич узнал, что река, перед которой он стоял, — знаменитая судоходная Рыньва, что железнодорожная станция близ реки — Развилье, речное фабричное предместье города Юрятина. Он узнал, что самый Юрятин, лежащий в двух или трех верстах выше, все время отбивали и, кажется, уже отбили от белых. Рыбак рассказал ему, что и в Развилье были беспорядки и тоже, кажется, подавлены и что кругом царит такая тишина, потому что прилегающая к станции полоса очищена от гражданского населения и окружена строжайшим кордоном. Он узнал, наконец, что среди поездов, стоящих на путях с размещенными в них военными учреждениями, находится особый поезд краевого военкома Стрельникова, в вагон которого понесли докторовы бумаги.

Оттуда за доктором через некоторое время явился новый часовой, отличавшийся от предшественников тем, что волочил ружье прикладом по земле или переставлял его перед собой, точно тащил под руку выпившего приятеля, который без него свалился бы наземь. Он повел доктора в вагон к военкому.

28

В одном из двух, соединенных между собою крытых кожаным переходом салон-вагонов, в который, сказав караулу пропуск, поднялся часовой с доктором, слышались смех и движение, мгновенно смолкшие при их появлении.

Часовой по узкому коридору провел доктора в широкое среднее отделение. Тут были тишина и порядок. В чистом удобном помещении работали опрятные, хорошо одетые люди. Совсем другой представлял себе

доктор штабквартиру беспартийного военспеца, ставшего в короткое время славой и грозой целой области.

Но наверное центр его деятельности лежал не тут, а где-нибудь впереди, в штабе фронта, ближе к месту военных действий, здесь же находилась его личная часть, его небольшая домашняя канцелярия и его передвижная походная койка.

Вот отчего тут было покойно, как в коридорах горячих морских купален, устланных пробкою и ковриками, по которым неслышно ступают служащие в мягких туфлях.

Среднее отделение вагона представляло бывший обеденный зал, покрытый ковром и превращенный в экспедиторскую. В нем стояло несколько столов.

«Сейчас», — сказал молодой военный, сидевший всего ближе ко входу. После этого все за столами сочли себя вправе забыть о докторе и перестали обращать на него внимание. Этот же военный рассеянным наклоном головы отпустил часового, и тот удалился, гремя ружейным прикладом по металлическим поперечинам коридора.

Доктор с порога увидал свои бумаги. Они лежали на краю последнего стола перед более пожилым военным старой полковничьей складки. Это был какой-то военный статистик.

Мурлыча что-то под нос, он заглядывал в справочники, рассматривал военные карты, что-то сличал, сближал, вырезывал и наклеивал. Он обвел взглядом все окна в помещении, одно за другим, и сказал: «Жарко будет сегодня», точно получил этот вывод из обзора всех окон, и это не было одинаково ясно из каждого.

По полу между столами ползал военный техник, восстанавливая какую-то нарушенную проводку. Когда он подполз под стол молодого военного, тот встал, чтобы не мешать ему. Рядом билась над испорченной пишущей машинкой переписчица в мужской защитной куртке. Движущаяся каретка заскочила у нее слишком вбок и её защемило в раме. Молодой военный стал за её табуретом и исследовал вместе с нею причину поломки сверху. К машинистке переполз военный техник и рассматривал рычажки и передачу снизу. Встав со своего места, к ним перешел командир полковничьей складки. Все занялись машинкой.

Это успокаивало доктора. Нельзя было предположить, чтобы люди, лучше его посвященные в его вероятную участь, так беспечно предавались пустякам в присутствии человека обреченного.

«Впрочем, кто их знает?» — думал он. — «Откуда их безмятежность? Рядом ухают пушки, гибнут люди, а они составляют прогноз жаркого дня

не в смысле жаркой схватки, а жаркой погоды. Или они столького насмотрелись, что все в них притупилось?»

И от нечего делать он стал со своего места смотреть через все помещение в противоположные окна.

29

Перед поездом с этой стороны тянулся остаток путей и виднелась станция Развилье на горе в одноименном предместье.

С путей к станции вела некрашеная деревянная лестница с тремя площадками.

Рельсовые пути с этой стороны представляли большое паровозное кладбище. Старые локомотивы без тендеров с трубами в форме чаш и сапожных голенищ стояли обращенные труба к трубе среди груд вагонного лома.

Паровозное кладбище внизу и кладбище пригорода, мятое железо на путях и ржавые крыши и вывески окраины сливались в одно зрелище заброшенности и ветхости под белым небом, обваренным раннею утреннею жарою.

В Москве Юрий Андреевич забыл, как много в городах попадалось вывесок, и какую большую часть фасада они закрывали. Здешние вывески ему об этом напомнили. Половину надписей по величине букв можно было прочесть с поезда. Они так низко налезали на кривые оконца покосившихся одноэтажных строений, что приземистые домишки под ними исчезали, как головы крестьянских ребятишек в низко надвинутых отцовских картузах.

К этому времени туман совершенно рассеялся. Следы его оставались только в левой стороне неба, вдали на востоке. Но вот и они шевельнулись, двинулись и разошлись, как полы театрального занавеса.

Там, верстах в трех от Развилья, на горе, более высокой, чем предместье, выступил большой город, окружной или губернский. Солнце придавало его краскам желтоватость, расстояние упрощало его линии. Он ярусами лепился на возвышенности, как гора Афон или скит пустынножителей на дешевой лубочной картинке, дом на доме и улица над улицей, с большим собором посередине на макушке.

«Юрятин!» — взволнованно сообразил доктор. — «Предмет воспоминаний покойницы Анны Ивановны и частых упоминаний сестры Антиповой! Сколько раз я слышал от них название города и при каких обстоятельствах вижу его впервые!»

В эту минуту внимание военных, склонившихся над машинкой, было привлечено чем-то за окном. Они повернули туда головы.

Последовал за их взглядом и доктор.

По лестнице на станцию вели несколько захваченных в плен или арестованных, среди них гимназиста, раненного в голову.

Его где-то уже перевязали, но из-под повязки сочилась кровь, которую он раз мазывал ладонью по загорелому, потному лицу.

Гимназист между двумя красноармейцами, замыкавший шествие, останавливал внимание не только решительностью, которою дышало его красивое лицо, и жалостью, которую вызывал такой молодой мятежник. Он и двое его сопровождающих притягивали взгляды бестолковостью своих действий. Они все время делали не то, что надо было делать.

С обмотанной головы гимназиста поминутно сваливалась фуражка. Вместо того чтобы снять её и нести в руках, он то и дело поправлял её и напяливал ниже, во вред перевязанной ране, в чем ему с готовностью помогали оба красноармейца.

В этой нелепости, противной здравому смыслу, было что-то символическое. И уступая её многозначительности, доктору тоже хотелось выбежать на площадку и остановить гимназиста готовым, рвавшимся наружу изречением. Ему хотелось крикнуть и мальчику, и людям в вагоне что спасение не в верности формам, а в освобождении от них.

Доктор перевел взгляд в сторону. Посреди помещения стоял Стрельников, только что сюда вошедший прямыми, стремительными шагами.

Как мог он, доктор, среди такой бездны неопределенных знакомств, не знать до сих пор такой определенности, как этот человек? Как не столкнула их жизнь? Как их пути не скрестились?

Неизвестно почему, сразу становилось ясно, что этот человек представляет законченное явление воли. Он до такой степени был тем, чем хотел быть, что и всё на нем и в нем неизбежно казалось образцовым. И его соразмерно построенная и красиво поставленная голова, и стремительность его шага, и его длинные ноги в высоких сапогах, может быть грязных, но казавшихся начищенными, и его гимнастерка серого сукна, может быть мятая, но производившая впечатление глаженой, полотняной.

Так действовало присутствие одаренности, естественной, не знающей натянутости, чувствующей себя, как в седле, в любом положении земного существования.

Этот человек должен был обладать каким-то даром, не обязательно самобытным. Дар, проглядывавший во всех его движениях, мог быть даром

подражания. Тогда все кому-нибудь подражали. Прославленным героям истории. Фигурам, виденным на фронте или в дни волнений в городах, и поразившим воображение.

Наиболее признанным народным авторитетам. Вышедшим в первые ряды товарищам. Просто друг другу.

Он из вежливости не показал, что присутствие постороннего удивляет его или стесняет. Наоборот, он обратился ко всем с таким видом, точно он и доктора относил к их обществу. Он сказал:

— Поздравляю. Мы их отогнали. Это кажется военною игрою, а не делом, потому что они такие же русские, как мы, только с дурью, с которой они сами не желают расстаться и которую нам придется выбивать силой. Их командующий был моим другом. Он еще более пролетарского происхождения, чем я. Мы росли на одном дворе. Он много в жизни для меня сделал, я ему обязан. А я рад, что отбросил его за реку, а может быть, и дальше.

Скорей налаживайте связь, Гурьян. Нет возможности держаться на одних вестовых и телеграфе. Вы обратили внимание, какая жара?

Часа полтора я все-таки поспал. Ах да… — спохватился он и повернулся к доктору. Ему вспомнилась причина его пробуждения.

Его разбудили какой-то чепухой, в силу которой стоит тут этот задержанный.

«Этот?» — подумал Стрельников, смерив доктора с головы до ног испытующим взглядом. — «Ничего похожего. Вот дураки!» — Он рассмеялся и обратился к Юрию Андреевичу.

— Простите, товарищ. Вас приняли за другого. Мои часовые напутали. Вы свободны. Где трудовая книжка товарища? Ага, вот ваши документы. Извините за нескромность, мимоходом позволю себе заглянуть. Живаго… Живаго… Доктор Живаго… Что-то московское… Пройдемте, знаете, все же на минуту ко мне. Это — секретариат, а мой вагон рядом. Пожалуйте. Я вас долго не задержу.

30

Кто же был, однако, этот человек? Удивительно, как на такие посты выдвинулся и мог на них удержаться беспартийный, которого никто не знал, потому что, будучи родом из Москвы, он по окончании университета уехал учительствовать в провинцию, а с войны попал надолго в плен, до недавнего времени отсутствовал и считался погибшим.

Передовой железнодорожник Тиверзин, в семье которого Стрельников

воспитывался мальчиком, рекомендовал его и за него поручился. Люди, от которых зависели назначения того времени, ему поверили. В дни неумеренного пафоса и самых крайних взглядов, революционность Стрельникова, тоже ни перед чем не останавливавшегося, выделялась своей подлинностью, фанатизмом, не напетым с чужого голоса, а подготовленным всею его жизнью и не случайным.

Стрельников оправдал оказанное ему доверие.

Его послужной список последнего периода содержал Усть-Немдинское и Нижне-Кельмесское дела, дело Губасовских крестьян, оказавших вооруженное сопротивление продовольственному отряду, и дело о разграблении маршрута с продовольствием четырнадцатым пехотным полком на станции Медвежья пойма. В его формуляр входило дело о солдатах-разинцах, поднявших восстание в городе Туркатуе и с оружием в руках перешедших на сторону белогвардейцев, и дело о военном мятеже на речной пристани Чиркин ус, с убийством командира, оставшегося верным советской власти.

Во все эти места он сваливался, как снег на голову, судил, приговаривал, приводил приговоры в исполнение, быстро, сурово, бестрепетно.

Разъездами его поезда был положен предел повальному дезертирству в крае. Ревизия рекрутирующих организаций все изменила. Набор в Красную армию пошел успешно. Приемочные комиссии заработали лихорадочно.

Наконец, в последнее время, когда белые стали наседать с севера и положение было признано угрожающим, на Стрельникова возложили новые задачи, непосредственно военные, стратегические и оперативные. Результаты его вмешательства не замедлили сказаться.

Стрельников знал, что молва дала ему прозвище Расстрельникова. Он спокойно перешагнул через это, он ничего не боялся.

Он был родом из Москвы и был сыном рабочего, принимавшего в девятьсот пятом году участие в революции и за это пострадавшего. Сам он остался в эти годы в стороне от революционного движения по причине малолетства, а в последующие годы, когда он учился в университете, вследствие того, что молодые люди из бедной среды, попадая в высшую школу, дорожат ею больше и занимаются прилежнее, чем дети богатых. Брожение обеспеченного студенчества его не затронуло.

Из университета он вышел с огромными познаниями. Свое историко-филологическое образование он собственными силами пополнил математическим.

По закону он не обязан был идти в армию, но пошел на войну

добровольцем, в чине прапорщика взят был в плен и бежал в конце семнадцатого года на родину, узнав, что в России революция.

Две черты, две страсти отличали его.

Он мыслил незаурядно ясно и правильно. И он в редкой степени владел даром нравственной чистоты и справедливости, он чувствовал горячо и благородно.

Но для деятельности ученого, пролагающего новые пути, его уму недоставало дара нечаянности, силы, непредвиденными открытиями нарушающей бесплодную стройность пустого предвидения.

А для того чтобы делать добро, его принципиальности недоставало беспринципности сердца, которое не знает общих случаев, а только частные, и которое велико тем, что делает малое.

Стрельников с малых лет стремился к самому высокому и светлому. Он считал жизнь огромным ристалищем, на котором, честно соблюдая правила, люди состязаются в достижении совершенства.

Когда оказалось, что это не так, ему не пришло в голову, что он не прав, упрощая миропорядок. Надолго загнав обиду внутрь, он стал лелеять мысль стать когда-нибудь судьей между жизнью и коверкающими её темными началами, выйти на её защиту и отомстить за нее.

Разочарование ожесточило его. Революция его вооружила.

31

— Живаго, Живаго, — продолжал повторять Стрельников у себя в вагоне, куда они перешли. — Что-то купеческое. Или дворянское. Ну да: доктор из Москвы. В Варыкино. Страшно. Из Москвы и вдруг в такой медвежий угол.

— Именно с этой целью. В поисках тишины. В глушь, в неизвестность.

— Скажите, какая поэзия. Варыкино? Здешние места мне знакомы. Бывшие Крюгеровские заводы. Часом не родственнички?

Наследники?

— К чему этот насмешливый тон? Причем тут «наследники»?

Хотя жена действительно…

— Ага, вот видите. По белым стосковались? Разочарую.

Опоздали. Округ очищен.

— Вы продолжаете издеваться?

— И затем — доктор. Военный. А время военное. Это уже прямо по моей части. Дезертир. Зеленые тоже уединяются в лесах. Ищут тишины. Основание?

— Дважды ранен и освобожден вчистую по негодности.

— Сейчас вы представите записку Наркомпроса или Наркомздрава, рекомендующую вас как «вполне советского человека». Сейчас страшный суд на земле, милостивый государь, существа из апокалипсиса с мечами и крылатые звери, а не вполне сочувствующие и лояльные доктора. Впрочем, я сказал вам, что вы свободны, и не изменю своему слову. Но только на этот раз. Я предчувствую, что мы еще встретимся, и тогда разговор будет другой, берегитесь.

Угроза и вызов не смутили Юрия Андреевича. Он сказал:

— Я знаю все, что вы обо мне думаете. Со своей стороны вы совершенно правы. Но спор, в который вы хотите втянуть меня, я мысленно веду всю жизнь с воображаемым обвинителем и, надо думать, имел время притти к какому-то заключению. В двух словах этого не скажешь. Позвольте мне удалиться без объяснений, если я действительно свободен, а если нет — распоряжайтесь мною. Оправдываться мне перед вами не в чем.

Их прервало верещанье гудка. Телефонная связь была восстановлена.

— Спасибо, Гурьян, — сказал Стрельников, подняв трубку и дунув в нее несколько раз. — Пришлите, голубчик, какого-нибудь провожатого товарищу Живаго. Как бы опять чего-нибудь не случилось. И развильевскую уточку мне, пожалуйста, управление транспортным чека в Развилье.

Оставшись один, Стрельников протелефонировал на вокзал:

— Мальчика тут провели, насовывает шапку на уши, а голова забинтована, безобразие. Да. Подать медицинскую помощь, если нужно. Да, как зеницу ока, лично будете отвечать передо мной.

Паек, если потребуется. Так. А теперь о делах. Я говорю, я не кончил. Ах, чорт, кто-то третий затесался. Гурьян! Гурьян!

Разъединили.

«Может быть из моих приготовишек», — думал он, на минуту отложив попытку докончить разговор с вокзалом. — «Вырос и бунтует против нас». — Стрельников мысленно подсчитал года своего учительства и войны и плена, сойдется ли сумма с возрастом мальчика. Потом через вагонное окно стал разыскивать в видневшейся на горизонте панораме тот район над рекой, у выезда из Юрятина, где была их квартира. А вдруг жена и дочь до сих пор там! Вот бы к ним! Сейчас, сию минуту! Да, но разве это мыслимо? Это ведь из совсем другой жизни. Надо сначала кончить эту, новую, прежде чем вернуться к той, прерванной.

Это будет когда-нибудь, когда-нибудь. Да, но когда, когда?

ВТОРАЯ КНИГА

ЧАСТЬ восьмая.

ПРИЕЗД

1

Поезд, довезший семью Живаго до этого места, еще стоял на задних путях станции, заслоненный другими составами, но чувствовалось, что связь с Москвою, тянувшаяся всю дорогу, в это утро порвалась, кончилась.

Начиная отсюда открывался другой территориальный пояс, иной мир провинции, тяготевший к другому, своему, центру притяжения.

Здешние люди знали друг друга ближе, чем столичные. Хотя железнодорожная зона Юрятин-Развилье была очищена от посторонних и оцеплена красными войсками, местные пригородные пассажиры непонятным образом проникали на пути, «просачивались», как сейчас бы сказали. Они уже набились в вагон, ими полны были дверные пролеты теплушек, они ходили по путям вдоль поезда и стояли на насыпи у входов в свои вагоны.

Эти люди были поголовно между собою знакомы, переговаривались издали, здоровались, поровнявшись друг с другом. Они немного иначе одевались и разговаривали, чем в столицах, ели не одно и то же, имели другие привычки.

Занимательно было узнать, чем они жили, какими нравственными и материальными запасами питались, как боролись с трудностями, как обходили законы?

Ответ не замедлил явиться в самой живой форме.

2

В сопровождении часового, тащившего ружье по земле и подпиравшегося им, как посохом, доктор возвращался к своему поезду.

Парило. Солнце раскаляло рельсы и крыши вагонов. Черная от нефти земля горела желтым отливом, как позолотой.

Часовой бороздил прикладом пыль, оставляя на песке след за собой. Ружье со стуком задевало за шпалы. Часовой говорил:

— Установилась погода. Яровые сеять, овес, белотурку или, скажем, просо, самое золотое время. А гречиху рано. Гречиху у нас на Акулину сеют. Моршанские мы, Тамбовской губернии, нездешние, Эх, товарищ доктор! Кабы сейчас не эта гидра гражданская, моровая контра, нешто я

стал бы в такую пору на чужой стороне пропадать? Черной кошкой классовою она промеж нас пробежала, и вишь, что делает!

3

— Спасибо. Я сам, — отказывался Юрий Андреевич от предложенной помощи. Из теплушки нагибались, протягивали ему руки, чтобы подсадить. Он подтянулся, прыжком поднялся в вагон, стал на ноги и обнялся с женою.

— Наконец-то. Ну слава, слава Богу, что все так кончилось, — твердила Антонина Александровна. — Впрочем, этот счастливый исход для нас не новость.

— Как не новость?

— Мы всё знали.

— Откуда?

— Часовые доносили. А то разве вынесли бы мы неизвестность? Мы и так с папой чуть с ума не сошли. Вон спит, не добудишься. Как сноп повалился от перенесенного волнения, — не растолкать. Есть новые пассажиры. Сейчас я тебя кое с кем познакомлю. Но вперед послушай, что кругом говорят. Весь вагон поздравляет тебя со счастливым избавлением. — Вот он у меня какой! — неожиданно переменила она разговор, повернула голову — и через плечо представила мужа одному из вновь насевших пассажиров сдавленному соседями, сзади, в глубине теплушки.

— Самдевятов, — послышалось оттуда, над скоплением чужих голов поднялась мягкая шляпа и назвавшийся стал протискиваться через гущу сдавивших его тел к доктору.

«Самдевятов», — размышлял Юрий Андреевич тем временем. — «Я думал, что-то старорусское, былинное, окладистая борода, поддевка, ремешок наборный. А это общество любителей художеств какое-то, кудри с проседью, усы, эспаньолка».

— Ну что, задал вам страху Стрельников? Сознайтесь.

— Нет, отчего же? Разговор был серьезный. Во всяком случае человек сильный, значительный.

— Еще бы. Имею представление об этой личности. Не наш уроженец. Ваш, московский. Равно как и наши новшества последнего времени. Тоже ваши столичные, завозные. Своим умом бы не додумались.

— Это Анфим Ефимович, Юрочка, — всевед — всезнайка. Про тебя слыхал, про твоего отца, дедушку моего знает, всех, всех.

Знакомьтесь. — И Антонина Александровна спросила мимоходом, без выражения:

— Вы наверное и учительницу здешнюю Антипову знаете? — На что Самдевятов ответил так же невыразительно:

— А на что вам Антипова? — Юрий Андреевич слышал это и не поддержал разговора, Антонина Александровна продолжала:

— Анфим Ефимович — большевик. Берегись, Юрочка. Держи с ним ухо востро.

— Нет, правда? Никогда бы не подумал. По виду скорее что-то артистическое.

— Отец постоялый двор держал. Семь троек в разгоне ходило.

А я с высшим образованием. И, действительно, социал-демократ.

— Послушай, Юрочка, что Анфим Ефимович говорит. Между прочим, не во гнев вам будь сказано, имя отчество у вас — язык сломаешь. — Да, так слушай, Юрочка, что я тебе скажу.

Нам ужасно повезло. Юрятин-город нас не принимает. В городе пожары и мост взорван, нельзя проехать. Поезд передадут обходом по соединительной ветке на другую линию, и как раз на ту, которая нам требуется, на которой стоит Торфяная. Ты подумай! И не надо пересаживаться и с вещами тащиться через город с вокзала на вокзал. Зато нас здорово помотают из стороны в сторону, пока по-настоящему поедем. Будем долго маневрировать. Мне это все Анфим Ефимович объяснил.

4

Предсказания Антонины Александровны сбылись. Перецепляя свои вагоны и добавляя новые, поезд без конца разъезжал взад и вперед по забитым путям, вдоль которых двигались и другие составы, долго заграждавшие ему выход в открытое поле.

Город наполовину терялся вдали, скрытый покатостями местности. Он лишь изредка показывался над горизонтом крышами домов, кончиками фабричных труб, крестами колоколен. В нем горело одно из предместий. Дым пожара относило ветром. Он развевающейся конскою гривою тянулся по всему небу.

Доктор и Самдевятов сидели на полу теплушки с краю, свесив за порог ноги. Самдевятов все время что-то объяснял Юрию Андреевичу, показывая вдаль рукою. Временами грохот раскатившейся теплушки заглушал его, так что нельзя было расслышать. Юрий Андреевич переспрашивал. Анфим Ефимович приближал лицо к доктору и, надрываясь от крика, повторял

сказанное прямо ему в уши.

— Это иллюзион «Гигант» зажгли. Там юнкеры засели. Но они раньше сдались. Вообще, бой еще не кончился. Видите черные точки на колокольне. Это наши. Чеха снимают.

— Ничего не вижу. Как это вы все различаете?

— А это Хохрики горят, ремесленная окраина. А Колодеево, где находятся торговые ряды, в стороне. Меня почему это интересует. В рядах двор наш. Пожар небольшой. Центр пока не затронут.

— Повторите. Не слышу.

— Я говорю, — центр, центр города. Собор, библиотека.

Наша фамилия, Самдевятовы, это переделанное на русский лад Сан Донато. Будто из Демидовых мы.

— Опять ничего не разобрал.

— Я говорю, — Самдевятовы это видоизмененное Сан Донато.

Будто из Демидовых мы. Князья Демидовы Сан Донато. А может, так, вранье. Семейная легенда. А эта местность называется Спирькин низ. Дачи, места увеселительных прогулок. Правда, странное название?

Перед ними простиралось поле. Его в разных направлениях перерезали ветки железных дорог. По нему семимильными шагами удалялись, уходя за небосклон, телеграфные столбы. Широкая мощеная дорога извивалась лентою, соперничая красотою с рельсовым путем.

Она то скрывалась за горизонтом, то на минуты выставлялась волнистою дугой поворота. И пропадала вновь.

— Тракт наш знаменитый. Через всю Сибирь проложен.

Каторгой воспет. Плацдарм партизанщины нынешней. Вообще, ничего у нас. Обживетесь, привыкнете. Городские курьезы полюбите. Водоразборные будки наши. На перекрестках. Зимние клубы женские под открытым небом.

— Мы не в городе поселимся. В Варыкине.

— Знаю. Мне жена ваша говорила. Все равно. По делам будете в город ездить. Я с первого взгляда догадался, кто она. Глаза.

Нос. Лоб. Вылитый Крюгер. Вся в дедушку. В этих краях все Крюгера помнят.

По концам поля краснели высокие круглостенные нефтехранилища. Торчали промышленные рекламы на высоких столбах. Одна из них, два раза попавшаяся на глаза доктору, была со словами:

«Моро и Ветчинкин. Сеялки. Молотилки».

— Солидная фирма была. Отличные сельскохозяйственные орудия производила.

— Не слышу. Что вы сказали?

— Фирма, говорю. Понимаете, — фирма. Сельскохозяйственные орудия выпускала. Товарищество на паях. Отец акционером состоял.

— А вы говорили, — двор постоялый.

— Двор двором. Одно другому не мешает. А он, не будь дурак, в лучшие предприятия деньги помещал. В иллюзион «Гигант» были вложены.

— Вы, кажется, этим гордитесь?

— Смекалкой отцовой? Еще бы!

— А как же социал-демократия ваша?

— А она при чем, помилуйте? Где это сказано, что человек, рассуждающий по-марксистски, должен размазнею быть и слюни распускать? Марксизм — положительная наука, учение о действительности, философия исторической обстановки.

— Марксизм и наука? Спорить об этом с человеком мало знакомым по меньшей мере неосмотрительно. Но куда ни шло.

Марксизм слишком плохо владеет собой, чтобы быть наукою. Науки бывают уравновешеннее. Марксизм и объективность? Я не знаю течения, более обособившегося в себе и далекого от фактов, чем марксизм. Каждый озабочен проверкою себя на опыте, а люди власти ради басни о собственной непогрешимости всеми силами отворачиваются от правды. Политика ничего не говорит мне. Я не люблю людей, безразличных к истине.

Самдевятов считал слова доктора выходками чудака-острослова. Он только посмеивался и не возражал ему.

Тем временем поезд маневрировал. Каждый раз, как он доезжал до выходной стрелки у семафора, пожилая стрелочница с привязанным к кушаку молочным бидоном, перекладывала вязание, которым была занята, из одной руки в другую, нагибалась, перекидывала диск переводной стрелки и возвращала поезд задним ходом обратно. Пока он мало-по-малу откатывался, она выпрямлялась и грозила кулаком вслед ему.

Самдевятов принимал её движение на собственный счет. «Кому это она?» — задумывался он. — «Что-то знакомое. Не Тунцева ли? Похоже — она. Впрочем, что я? Едва ли. Больно стара для Глашки. И при чем я тут? На Руси-матушке перевороты, бестолочь на железных дорогах, ей, сердяге, наверное трудно, а я виноват и мне кулаком. А ну её к чорту, из-за нее еще голову ломать!»

Наконец, помахав флагом и что-то крикнув машинисту, стрелочница пропустила поезд за семафор, на простор пути его следования, и когда

мимо нее пронеслась четырнадцатая теплушка, показала язык намозолившим ей глаза болтунам на полу вагона. И опять Самдевятов задумался.

5

Когда окрестности горящего города, цилиндрические баки, телеграфные столбы и торговые рекламы отступили в даль и скрылись, и пошли другие виды, перелески, горки, между которыми часто показывались извивы тракта, Самдевятов сказал:

— Встанем и разойдемся. Мне скоро слезать. Да и вам через перегон. Смотрите не прозевайте.

— Здешние места вы, верно, знаете основательно?

— До умопомрачения. На сто верст в окружности. Я ведь юрист. Двадцать лет практики. Дела. Разъезды.

— И до настоящего времени?

— А как же.

— Какого порядка дела могут совершаться сейчас?

— А какие пожелаете. Старых незавершенных сделок, операций, невыполненных обязательств — по горло, до ужаса.

— Разве отношения такого рода не аннулированы?

— По имени, разумеется. А на деле в одно и то же время требуются вещи, друг друга исключающие. И национализация предприятий, и топливо горсовету, и гужевая тяга губсовнархозу. И вместе с тем всем хочется жить. Особенности переходного периода, когда теория еще не сходится с практикой.

Тут и нужны люди сообразительные, оборотистые, с характером, вроде моего. Блажен муж, иже не йде, возьму куш, ничего не видя. А часом и по мордасам, как отец говаривал. Полгубернии мною кормится. К вам буду наведываться, по делам лесоснабжения. На лошади, разумеется, только выходится.

Последняя охромела. А то, была бы здорова, стал бы я на этой завали трястись! Ишь чорт, тащится, а еще машиной называется.

В наезды свои в Варыкино вам пригожусь. Микулицыных ваших знаю как свои пять пальцев.

— Известна вам цель нашего путешествия, наши намерения?

— Приблизительно. Догадываюсь. Имею представление.

Извечная тяга человека к земле. Мечта пропитаться своими руками.

— И что же? Вы, кажется, не одобряете? Что вы скажете?

— Мечта наивная, идиллическая. Но отчего же? Помоги вам Бог. Но не верю. Утопично. Кустарщина.

— Не пустит на порог, выгонит помелом и будет прав. Тут у него и без вас содом, тысяча и одна ночь, бездействующие заводы, разбежавшиеся рабочие, в смысле средств к существованию ни хрена, бескормица, и вдруг вы, извольте радоваться, принесла нелегкая. Да ведь если он и убьет вас, я его оправдаю.

— Вот видите, вы — большевик и сами не отрицаете, что это не жизнь, а нечто беспримерное, фантасмагория, несуразица.

— Разумеется. Но ведь это историческая неизбежность. Через нее надо пройти.

— Почему же неизбежность?

— Что вы, маленький, или притворяетесь? С луны вы свалились, что ли? Обжоры тунеядцы на голодающих тружениках ездили, загоняли до смерти и так должно было оставаться? А другие виды надругательства и тиранства? Неужели непонятна правомерность народного гнева, желание жить по справедливости, поиски правды? Или вам кажется, что коренная ломка была достижима в думах, путем парламентаризма, и что можно обойтись без диктатуры?

— Мы говорим о разном и, хоть век проспорь, ни о чем не столкуемся. Я был настроен очень революционно, а теперь думаю, что насильственностью ничего не возьмешь. К добру надо привлекать добром. Но дело не в этом. Вернемся к Микулицыну.

Если таковы ожидающие нас вероятия, то зачем нам ехать? Нам надо повернуть оглобли.

— Какой вздор. Во-первых, разве только и свету в окошке, что Микулицыны? Во-вторых, Микулицын преступно добр, добр до крайности. Пошумит, покобенится и размякнет, рубашку с себя снимет, последнею коркою поделится. — И Самдевятов рассказал.

6

Двадцать пять лет тому назад Микулицын студентом Технологического института приехал из Петербурга. Он был выслан сюда под надзор полиции. Микулицын приехал, получил место управляющего у Крюгера и женился. Тут у нас были четыре сестры Тунцевы, на одну больше, чем у Чехова, — за ними ухаживали все Юрятинские учащиеся, — Агриппина, Евдокия, Глафира и Серафима Севериновны. Перефразируя их отчество, девиц прозвали северянками. На старшей северянке Микулицын и

женился.

Скоро у супругов родился сын. Из поклонения идее свободы дурак отец окрестил мальчика редким именем Ливерий. Ливерий, в просторечии Ливка, рос сорванцом, обнаруживая разносторонние и незаурядные способности. Грянула война. Ливка подделал года в метрике и пятнадцатилетним юнцом удрал добровольцем на фронт.

Аграфена Севериновна, вообще болезненная, не вынесла удара, слегла, больше не вставала и умерла позапрошлой зимой, перед самой революцией.

Кончилась война. Вернулся Ливерий. Кто он? Это герой прапорщик с тремя крестами и, ну конечно, в лоск распропагандированный фронтовой делегат-большевик. Про «Лесных братьев» вы слыхали?

— Нет, простите.

— Ну тогда нет смысла рассказывать. Половина эффекта пропадает. Тогда незачем вам из вагона на тракт глазеть. Чем он замечателен? В настоящее время — партизанщиной. Что такое партизаны? Это главные кадры гражданской войны. Два начала участвовали в создании этой силы. Политическая организация, взявшая на себя руководство революцией, и низовая солдатчина, после проигранной войны отказывающая в повиновении старой власти. Из соединения этих двух вещей — получилось партизанское воинство. Состав его пестрый. В основном это крестьяне-середняки. Но наряду с этим вы встретите в нем кого угодно. Есть тут и бедняки, и монахи расстриги, и воюющие с папашами кулацкие сынки. Есть анархисты идейные, и беспаспортные голоштанники, и великовозрастные, выгнанные из средних учебных заведений женихи оболтусы. Есть австрогерманские военнопленные, прельщенные обещанием свободы и возвращения на родину. И вот, одною из частей этой многотысячной народной армии, именуемой «Лесными братьями», командует товарищ Лесных, Ливка, Ливерий Аверкиевич, сын Аверкия Степановича Микулицына.

— Что вы говорите?

— То, что вы слышите. Однако, продолжаю. После смерти жены Аверкий Степанович женился вторично. Новая жена, Елена Прокловна — гимназистка, прямо со школьной скамьи привезенная под венец. Наивная от природы, но и с расчетом наивничающая, молоденькая, но уже и молодящаяся. В этих видах трещит, щебечет, корчит из себя невинность, дурочку, полевого жаворонка. Только вас увидит, начнет экзаменовать. «В каком году родился Суворов?», «Перечислите случаи равенства треугольников». И будет ликовать, срезав вас и посадив в калошу. Но через

несколько часов вы сами её увидите и проверите мое описание.

У «самого» другие слабости: трубка и семинарская славянщина: «ничтоже сумняшеся, еже и понеже». Его поприщем должно было быть море. В институте он шел по кораблестроительной части. Это осталось во внешности, в привычках. Бреется, по целым дням не вынимает трубки изо рта, цедит слова сквозь зубы любезно, неторопливо. Выступающая нижняя челюсть курильщика, холодные серые глаза. Да чуть не забыл подробности: эсер, выбран от края в Учредительное собрание.

— Так ведь это очень важно. Значит, отец и сын на ножах?

Политические противники?

— Номинально, разумеется. А в действительности тайга с Варыкиным не воюет. Однако, продолжаю. Остальные Тунцевы, свояченицы Аверкия Степановича, по сей день в Юрятине. Девы вековуши. Переменились времена, переменились и девушки.

Старшая из оставшихся, Авдотья Севериновна — библиотекаршей в городской читальне. Милая, черненькая барышня, конфузливая до чрезвычайности. Ни с того ни с сего зардеется как пион. Тишина в читальном зале могильная, напряженная. Нападет хронический насморк, расчихается раз до двадцати, со стыда готова сквозь землю провалиться. А что вы поделаете? От нервности.

Средняя, Глафира Севериновна, благословение сестер.

Бой-девка, чудо-работница. Никаким трудом не гнушается. Общее мнение, в один голос, что партизанский вожак Лесных в эту тетку. Вот её видели в швейной артели или чулочницей. Не успеешь оглянуться, ан она уже парикмахерша. Вы обратили внимание, на юрятинских путях стрелочница нам кулаком грозила?

Вот те фунт, думаю, в сторожихи на дорогу Глафира определилась. Но, кажется, не она. Слишком стара.

Младшая, Симушка, — крест семьи, испытание. Ученая девушка начитанная. Занималась философией, любила стихи. И вот в годы революции, под влиянием общей приподнятости, уличных шествий, речей на площадях с трибуны, тронулась, впала в религиозное помешательство. Уйдут сестры на службу, дверь на ключ, а она шасть в окно и пойдет махать по улицам, публику собирает, второе пришествие проповедует, конец света. Но я заговорился, к своей станции подъезжаю. Вам на следующей. Готовьтесь.

Когда Анфим Ефимович сошел с поезда, Антонина Александровна сказала:

— Я не знаю, как ты на это смотришь, но по-моему человек этот послан

нам судьбой. Мне кажется, он сыграет какую-то благодетельную роль в нашем существовании.

— Очень может быть, Тонечка. Но меня не радует, что тебя узнают по сходству с дедушкой, и что его тут так хорошо помнят. Вот и Стрельников, едва я назвал Варыкино, ввернул язвительно: «Варыкино, заводы Крюгера. Часом не родственнички?

Не наследники?»

Я боюсь, что тут мы будем больше на виду, чем в Москве, откуда бежали в поисках незаметности.

Конечно, делать теперь нечего. Снявши голову, по волосам не плачут. Но лучше не выказываться, скрадываться, держаться скромнее. Вообще у меня недобрые предчувствия. Давай будить наших, уложим вещи, стянем ремнями и приготовимся к высадке.

7

Антонина Александровна стояла на перроне в Торфяной, в несчетный раз пересчитывая людей и вещи, чтобы убедиться, что в вагоне ничего не забыли. Она чувствовала утоптанный песок платформы под ногами, а между тем страх, как бы не проехать остановки, не покинул ее, и стук идущего поезда продолжал шуметь в её ушах, хотя глазами она убеждалась, что он стоит перед нею у перрона без движения. Это мешало ей что-либо видеть, слышать и соображать.

Дальние попутчики прощались с нею сверху, с высоты теплушки. Она их не замечала. Она не заметила, как ушел поезд, и обнаружила его исчезновение только после того, как обратила внимание на открывшиеся по его отбытии вторые пути с зеленым полем и синим небом по ту сторону.

Здание станции было каменное. У входа в него стояли по обеим сторонам две скамейки. Московские путники из Сивцева были единственными пассажирами, высадившимися в Торфяной. Они положили вещи и сели на одну из скамеек.

Приезжих поражала тишина на станции, безлюдие, опрятность.

Им казалось непривычным, что кругом не толпятся, не ругаются. Жизнь по-захолустному отставала тут от истории, запаздывала. Ей предстояло еще достигнуть столичного одичания.

Станция пряталась в березовой роще. В поезде стало темно, когда он к ней подходил. По рукам и лицам, по чистому, сыровато-желтому песочку платформы, по земле и крышам сновали движущиеся тени, отбрасываемые её едва колышащимися вершинами.

Птичий свист в роще соответствовал её свежести. Неприкрыто чистые, как неведение, полные звуки раздавались на весь лес и пронизывали его. Рощу прорезали две дороги, железная и проселочная, и она одинаково завешивала обе своими разлетающимися, книзу клонящимися ветвями, как концами широких, до полу ниспадающих рукавов.

Вдруг у Антонины Александровны открылись глаза и уши. До её сознания дошло все сразу. Звонкость птиц, чистота лесного уединения, безмятежность разлитого кругом покоя. У нее в уме была составлена фраза: «Мне не верилось, что мы доедем невредимыми. Он мог, понимаешь ли, твой Стрельников, свеликодушничать перед тобой и отпустить тебя, а сюда дать телеграфное распоряжение, чтобы всех нас задержали при высадке. Не верю я, милый мой, в их благородство. Все только показное». Вместо этих заготовленных слов она сказала другое.

— Какая прелесть! — вырвалось у нее при виде окружающего очарования. Больше она не могла ничего выговорить. Ее стали душить слезы. Она громко расплакалась.

Заслышав её всхлипывания, из здания вышел старичок начальник станции. Он мелкими шажками просеменил к скамейке, вежливо приложил руку к козырьку красноверхой форменной фуражки и спросил:

— Может быть, успокаивающих капель барышне? Из вокзальной аптечки.

— Пустяки. Спасибо. Обойдется.

— Путевые заботы, тревоги. Вещь известная, распространенная. Притом жара африканская, редкая в наших широтах. И вдобавок события в Юрятине.

— Мимоездом пожар из вагона наблюдали.

— Стало быть сами из России будете, если не ошибаюсь.

— Из Белокаменной.

— Московские? Тогда нечего удивляться, что нервы не в порядке у сударыни. Говорят, камня на камне не осталось?

— Преувеличивают. Но, правда, всего навидались. Вот это дочь моя, это зять. Вот малыш их. А это нянюшка наша молодая, Нюша.

— Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Отчасти предуведомлен. Самдевятов Анфим Ефимович с разъезда Сакмы по дорожному телефону навертел. Доктор Живаго с семьей из Москвы, прошу, говорит, окажите всемерное содействие. Этот самый доктор, стало быть, вы и будете?

— Нет, доктор Живаго это он вот, мой зять, а я по другой части, по сельскому хозяйству, профессор агроном Громеко.

— Виноват, обознался. Извините. Очень рад познакомиться.

— Значит, судя по вашим словам, вы знаете Самдевятова?

— Как не знать его, волшебника. Надежа наша и кормилец.

Без него давно бы мы тут ноги протянули. Да, говорит, окажи всемерное содействие. Слушаюсь, говорю. Пообещал. Так что лошадку, если потребуется, или иным чем поспособствовать. Вы куда намерены?

— Нам в Варыкино. Это как, далеко отсюда?

— В Варыкино? То-то я никак ума не приложу, кого ваша дочь напоминает так. А вам в Варыкино! Тогда все объясняется. Ведь мы с Иваном Эрнестовичем дорогу эту вместе строили. Сейчас похлопочу, снарядим. Человека кликну, раздобудем подводу.

Донат! Донат! Вещи снеси вот, пока суд да дело, в пассажирский зал, в ожидальную. Да как бы насчет лошади? Сбегай, брат, в чайную, спроси, нельзя ли? Словно бы утром Вакх тут маячил.

Спроси, может не уехал? Скажи, в Варыкино свезти четверых, поклажи все равно что никакой. Новоприезжие. Живо. А вам отеческий совет, сударыня. Я намеренно не спрашиваю вас о степени вашего родства с Иваном Эрнестовичем, но поосторожнее на этот счет. Не со всеми нараспашку. Времена какие, сами подумайте.

При имени Вакх приезжие изумленно переглянулись. Они еще помнили рассказы покойной Анны Ивановны о сказочном кузнеце, выковавшем себе неразрушающиеся внутренности из железа, и прочие местные россказни и небылицы.

8

Их вез на белой ожеребившейся кобыле лопоухий, лохматый, белый, как лунь, старик. Все на нем было белое по разным причинам. Новые его лапти не успели потемнеть от носки, а порты и рубаха вылиняли и побелели от времени.

За белою кобылой, вскидывая хрящеватые, неокостеневшие ноги, бежал вороной, черный, как ночь, жеребенок с курчавой головкой, похожий на резную кустарную игрушку.

Сидя по краям подскакивавшей на колдобинах телеги, путники держались за грядки, чтобы не свалиться. Мир был на душе у них. Их мечта сбывалась, они приближались к цели путешествия.

Со щедрой широтой и роскошью медлили, задерживались предвечерние часы чудесного, ясного дня.

Дорога шла то лесом, то открытыми полями. В лесу толчки от коряг

сбивали едущих в кучу, они горбились, хмурились, тесно прижимались друг к другу. На открытых местах, где само пространство от полноты души как бы снимало шапку, путники разгибали спины, располагались просторнее, встряхивали головами.

Места были гористые. У гор, как всегда, был свой облик, своя физиономия. Они могучими, высокомерными тенями темнели вдали, молчаливо рассматривая едущих. Отрадно розовый свет следовал по полю за путешественниками, успокаивая, обнадеживая их.

Все нравилось им, все их удивляло, и больше всего неумолчная болтовня их старого чудаковатого возницы, в которой следы исчезнувших древнерусских форм, татарские наслоения и областные особенности перемешивались с невразумительностями его собственного изобретения.

Когда жеребенок отставал, кобыла останавливалась и поджидала его. Он плавно нагонял её волнообразными, плещущими скачками. Неумелым шагом длинных, сближенных ног он подходил сбоку к телеге и, просунув крошечную головку на длинной шее за оглоблю, сосал матку.

— Я все-таки не понимаю, — стуча зубами от тряски, с расстановкою, чтобы при непредвиденном толчке не откусить себе кончик языка, кричала мужу Антонина Александровна. — Возможно ли, чтобы это был тот самый Вакх, о котором рассказывала мама.

Ну, помнишь, белиберда всякая. Кузнец, кишки в драке отбили, он смастерил себе новые. Одним словом, кузнец Вакх Железное брюхо. Я понимаю, что все это сказки. Но неужели это сказка о нем? Неужели этот тот самый?

— Конечно, нет. Во-первых, ты сама говоришь, что это сказка, фольклор. Во-вторых, и фольклору-то в мамины годы, как она говорила, было уже лет за сто. Но к чему так громко?

Старик услышит, обидится.

— Ничего он не услышит, — туг на ухо. А и услышит, не возьмет в толк, — с придурью.

— Эй, Федор Нефедыч! — неизвестно почему, мужским величаньем понукал старик кобылу, прекрасно, и лучше седоков, сознавая, что она кобыла. — Инно жара кака анафемска! Яко во пещи авраамстии отроци персидстей! Но, чорт, непасёный! Тебе говорят, мазепа!

Неожиданно он затягивал обрывки частушек, в былые времена сложенных на здешних заводах.

Прощай главная контора,

Прощай щегерь, рудный двор,
Мне хозяйской хлеб приелси,
Припилась в пруду вода.
Нимо берег плыве лебедь,
Под себе воду гребё,
Не вино мене шатая,
Сдают Ваню в некрута.
А я, Маша, сам не промах,
А я, Маша, не дурак.
Я пойду в Селябу город,
К Сентетюрихе наймусь.

— Эй, кобыла, Бога забыла! Поглядите, люди, кака падаль, бестия! Ты её хлесь, а она тебе: слезь. Но, Федя-Нефедя, когда поедя? Энтот лес прозвание ему тайга, ему конца нет. Тама сила народу хресьянского, у, у! Тама лесная братия. Эй, Федя-Нефедя, опять стала, чорт, шиликун!

Вдруг он обернулся и, глядя в упор на Антонину Александровну, сказал:

— Ты как мозгушь, молода, аль я не учул, откеда ты таковская? А и проста ты, мать, погляжу. Штоб мне скрезь землю провалиться, признал! Признал! Шарам своим не верю, живой Григов! (Шарами старик называл глаза, а Григовым — Крюгера.) Быват случаем не внука? У меня ли на Григова не глаз? Я у ем свой век отвековал, я на ем зубы съел. Во всех рукомествах — предолжностях! И крепежником, и у валка, и на конном дворе. — Но, шевелись! Опять стала, безногая! Анделы в Китаях, тебе говорят, аль нет?

Ты вот башь, какой энто Вакх, не оной кузнец ли? А и проста ты, мать, така глазаста барыня, а дура. Твой-от Вакх, Постаногов ему прозвище. Постаногов Железно брюхо, он лет за полета тому в землю, в доски ушел. А мы теперь, наоборот, Мехоношины. Име одна, — тезки, а фамилие разная, Федот, да не тот.

Постепенно старик своими словами рассказал седокам все, что они уже раньше знали о Микулицыных от Самдевятова. Его он называл Микуличем, а её Микуличной. Нынешнюю жену управляющего звал второбрачною, а про «первеньку, упокойницу» говорил, что та была мед-женщина, белый херувим. Когда он дошел до предводителя партизан Ливерия, и узнал, что до Москвы его слава не докатилась, и в Москве ничего о лесных братьях не слыхали, это показалось ему невероятным:

— Не слыхали? Про Лесного товарища не слыхали? Анделы в Китаях,

тады на что Москве уши?

Начинало вечереть. Перед едущими, все более удлиняясь, бежали их собственные тени. Их путь лежал по широкому пустому простору. Там и сям одинокими пучками с кистями цветений на концах, росли деревенистые, высоко торчащие стебли лебеды, чертополоха, Иван-чая. Озаряемые снизу, с земли, лучами заката, они призрачно вырастали в очертаниях, как редко расставленные в поле для дозора недвижные сторожевые верхами.

Далеко впереди, в конце, равнина упиралась в поперечную, грядой поднимавшуюся возвышенность. Она стеною, под которой можно было предположить овраг или реку, стояла поперек дороги.

Точно небо было обнесено там оградою, к воротам которой подводил проселок.

Наверху кручи обозначился белый, удлиненной формы одноэтажный дом.

— Видишь вышку на шихане? — спросил Вакх. — Микулич твой и Микулишна. А под ними распадок, лог, прозвание ему Шутьма.

Два ружейных выстрела, один вслед за другим, прокатились в той стороне, рождая дробящиеся, множащиеся отголоски.

— Что это? Никак партизаны, дедушка? Не в нас ли?

— Христос с вами. Каки партижане. Степаныч в Шутьме волков пужая.

9

Первая встреча приехавших с хозяевами произошла на дворе директорского домика. Разыгралась томительная, по началу молчаливая, а потом — сбивчиво-шумная, бестолковая сцена.

Елена Прокловна возвращалась по двору из лесу с вечерней про гулки. Вечерние лучи солнца тянулись по её следам через весь лес от дерева к дереву почти того же цвета, что её золотистые волосы. Елена Прокловна одета была легко, по-летнему. Она раскраснелась и утирала платком разгоряченное ходьбою лицо. Ее открытую шею перехватывала спереди резинка, на которой болталась её скинутая на спину соломенная шляпа.

Ей навстречу шел с ружьем домой её муж, поднявшийся из оврага и предполагавший тотчас же заняться прочисткой задымленных стволов, в виду замеченных при разрядке недочетов.

Вдруг, откуда ни возьмись, по камням мощеного въезда во двор лихо и громко вкатил Вакх со своим подарком.

Очень скоро, слезши с телеги со всеми остальными, Александр

Александрович, с запинками, то снимая, то надевая шляпу, дал первые объяснения.

Несколько мгновений длилось истинное, не показное остолбенение поставленных втупик хозяев, и непритворная, искренняя потерянность сгорающих со стыда несчастных гостей.

Положение было понятно без разъяснений не только участникам, Вакху, Нюше и Шурочке. Ощущение тягостности передавалось кобыле и жеребенку, золотистым лучам солнца и комарам, вившимся вокруг Елены Прокловны и садившимся на её лицо и шею.

— Не понимаю, — прервал, наконец, молчание Аверкий Степанович. — Не понимаю, ничего не понимаю, и никогда не пойму. Что у нас юг, белые, хлебная губерния? Почему именно на нас пал выбор, почему вас сюда, сюда, к нам угораздило?

— Интересно, подумали ли вы, какая это ответственность для Аверкия Степановича?

— Леночка, не мешай. Да, вот именно. Она совершенно права.

Подумали ли вы, какая это для меня обуза?

— Бог с вами. Вы нас не поняли. О чем речь? Об очень малом, ничтожном. Никакого покушения на вас, на ваш покой.

Угол какой-нибудь в пустой развалившейся постройке. Клинушек никому не нужной, даром пропадающей земли под огород. Да возик дровец из лесу, когда никто не увидит. Неужели это так много, такое посягательство?

— Да, но свет широк. Причем мы тут? Почему этой чести удостоились именно мы, а не кто-нибудь другой?

— Мы о вас знаем и надеялись, что и вы о нас слышали. Что мы не чужие для вас и сами попадем не к чужим.

— А, так дело в Крюгере, в том, что вы его родня? Да как у вас язык поворачивается признаваться в таких вещах в наше время?

Аверкий Степанович был человек с правильными чертами лица, откидывавший назад волосы, широко ступавший на всю ногу и летом тесьмяным снурком с кисточкой подпоясывавший косоворотку. В древности такие люди ходили в ушкуйниках, в новое время они сложили тип вечного студента, учительствующего мечтателя.

Свою молодость Аверкий Степанович отдал освободительному движению, революции, и только боялся, что он не доживет до нее или, что разразившись, она своей умеренностью не удовлетворит его радикальных и кровавых вожделений. И вот она пришла, перевернув вверх дном все самые смелые его предположения, а он, прирожденный и постоянный

рабочелюбец, один из первых учредивший на «Святогоре Богатыре» фабрично-заводский комитет и установивший на нем рабочий контроль, очутился на бобах, не у дел, в опустевшем поселке, из которого разбежались рабочие, частью шедшие тут за меньшевиками. И теперь эта нелепость, эти непрошенные крюгеровские последыши казались ему насмешкою судьбы, её намеренной каверзой, и переполняли чашу его терпения.

— Нет, это чудеса в решете. Уму непостижимо. Понимаете ли вы какая вы для меня опасность, в какое положение вы меня ставите? Я, видно, право, с ума сошел. Не понимаю, ничего не понимаю и никогда не пойму.

— Интересно, постигаете ли вы, на каком мы тут и без вас вулкане?

— Погоди, Леночка. Жена совершенно права. И без вас не сладко. Собачья жизнь, сумасшедший дом. Все время меж двух огней, никакого выхода. Одни собак вешают, отчего такой красный сын, большевик, народный любимец. Другим не нравится, зачем самого выбрали в Учредительное собрание. Ни на какого не угодишь, вот и барахтайся. А тут еще вы. Очень весело будет за вас под расстрел идти.

— Да что вы! Опомнитесь! Бог с вами! Через некоторое время, переложив гнев на милость, Микулицын говорил:

— Ну, полаялись на дворе и ладно. Можно в доме продолжать. Хорошего, конечно, впереди ничего не вижу, но сие есть темна вода во облацех, сеннописаный мрак гаданий. Одначе, не янычары мы, не басурмане. В лес на съедение Михайло Потапычу не погоним. Я думаю, Ленок, лучше всего их в пальмовую, рядом с кабинетом. А там потолкуем, где им обосноваться, мы их, я думаю, в парке водворим. Пожалуйте в дом. Милости просим. Вноси вещи, Вакх. Пособи приезжим.

Исполняя приказание, Вакх только вздыхал:

— Мати безневестная! Добра, что у странников. Одни узелки. Ни единого чумадала!

10

Наступила холодная ночь. Приезжие умылись. Женщины занялись устройством ночлега в отведенной комнате. Шурочка, бессознательно привыкший к тому, что его ребяческие изречения на детском языке принимаются взрослыми восторженно, и потому, подлаживаясь под их вкус, с увлечением и охотно несший околесину, был не в своей тарелке. Сегодня его болтовня не имела успеха, на него не обращали внимания. Он был недоволен, что в дом не взяли черного жеребеночка, а когда на него

прикрикнули, чтобы он угомонился, он разревелся, опасаясь, как бы его, как плохого и неподходящего мальчика, не отправили назад в детишный магазин, откуда, по его представлениям, его при появлении на свет доставили на дом родителям. Свои искренние страхи он громко выражал окружающим, но его милые нелепости не производили привычного впечатления. Стесненные пребыванием в чужом доме, старшие двигались торопливее обычного и были молчаливо погружены в свои заботы. Шурочка обижался и квелился, как говорят няни. Его накормили и с трудом уложили спать. Наконец, он уснул. Нюшу увела к себе кормить ужином и посвящать в тайны дома Микулицынская Устинья.

Антонину Александровну и мужчин попросили к вечернему чаю.

Александр Александрович и Юрий Андреевич попросили разрешения отлучиться на минуту и вышли на крыльцо подышать свежим воздухом.

— Сколько звезд! — сказал Александр Александрович.

Было темно. Стоя на расстоянии двух шагов на крыльце, зять и тесть не видели друг друга. А сзади из-за угла дома падал свет лампы из окна в овраг. В его столбе туманились на сыром холоде кусты, деревья и еще какие-то неясные предметы. Светлая полоса не захватывала беседовавших, и еще больше сгущала темноту вокруг них.

— Завтра надо будет с утра осмотреть пристройку, которую он нам наметил, и если она пригодна для жилья, разом за её починку. Тем временем как будем приводить угол в порядок, почва отойдет, земля согреется. Тогда, не теряя ни минуты, за грядки. Мне послышалось, будто он между слов, в разговоре обещал помочь семенною картошкой. Или я ослышался?

— Обещал, обещал. И другими семенами. Я своими ушами слышал. А угол, который он предлагает, мы видели проездом, когда пересекали парк. Знаете, где? Это зады господского дома, утонувшие в крапиве. Деревянные, а сам он каменный. Я вам с телеги показывал, помните? Там бы стал я рыть и грядки.

По-моему, там остатки цветника. Так мне показалось издали.

Может быть, я ошибаюсь. Дорожки надо будет обходить, пропускать, а земля старых клумб наверное основательно унаваживалась и богата перегноем.

— Завтра посмотрим. Не знаю. Грунт наверное страшно затравянел и тверд, как камень. При усадьбе был, должно быть, огород. Может быть, участок сохранился и пустует. Все это выяснится завтра. По утрам тут еще наверное заморозки. Ночью мороз будет наверняка. Какое счастье, что мы уже здесь, на месте. С этим можно поздравить друг друга. Тут хорошо.

Мне нравится.

— Очень приятные люди. В особенности он. Она немного ломака. Она чем-то недовольна собой, ей что-то в себе самой не нравится. Отсюда эта неутомимая, притворно-вздорная говорливость. Она как бы торопится отвлечь внимание от своей внешности, предупредить невыгодное впечатление. И то, что она шляпу забывает снять и на плечах таскает, тоже не рассеянность. Это действительно к лицу ей.

— Пойдем однако в комнаты. Мы слишком тут застряли.

Неудобно.

По пути в освещенную столовую, где за круглым столом под висячею лампой сидели за самоваром и распивали чай хозяева с Антониной Александровной, зять и тесть прошли через темный директорский кабинет.

В нем было широкое цельного стекла окно во всю стену, возвышавшееся над оврагом. Из окна, насколько успел заметить доктор еще вначале, пока было светло, открывался вид на далекое заовражье и равнину, по которой провозил их Вакх. У окна стоял широкий, также во всю стену, стол проектировщика или чертежника. Вдоль него лежало, в длину положенное, охотничье ружье, оставляя свободные борта слева и справа, и тем оттеняя большую ширину стола.

Теперь, минуя кабинет, Юрий Андреевич снова с завистью отметил окно с обширным видом, величину и положение стола и поместительность хорошо обставленной комнаты, и это было первое, что в виде восклицания хозяину вырвалось у Юрия Андреевича, когда он и Александр Александрович подошли к чайному столу, войдя в столовую.

— Какие у вас замечательные места. И какой у вас кабинет превосходный, побуждающий к труду, вдохновляющий.

— Вам в стакане или в чашке? И какой вы любите, слабый или крепкий?

— Смотри, Юрочка, какой стереоскоп сын Аверкия Степановича смастерил, когда был маленький.

— Он до сих пор еще не вырос, не остепенился, хотя отвоевывает Советской власти область за областью у Комуча.

— Как вы сказали?

— Комуч.

— Что это такое?

— Это войска Сибирского правительства, стоящие за восстановление власти Учредительного собрания.

— Мы весь день, не переставая, слышим похвалы вашему сыну.

Можете по всей справедливости им гордиться.

— Эти виды Урала, двойные, стереоскопические, тоже его работа и сняты его самодельным объективом.

— На сахарине лепешки? Замечательное печенье.

— О что вы! Такая глушь и сахарин! Куда нам! Честнейший сахар. Ведь я вам в чай из сахарницы клала. Неужели не заметили.

— Да, действительно. Я фотографии рассматривала. И, кажется, чай натуральный?

— С цветком. Само собой.

— Откуда?

— Скатерть самобранка такая. Знакомый. Современный деятель. Очень левых убеждений. Официальный представитель Губсовнархоза. От нас лес возит в город, а нам по знакомству крупу, масло, муку. Сиверка (так она звала своего Аверкия), Сиверка, пододвинь мне сухарницу. А теперь интересно, ответьте, в котором году умер Грибоедов?

— Родился, кажется, в тысяча семьсот девяносто пятом. А когда убит, в точности не помню.

— Еще чаю.

— Нет, спасибо.

— А теперь такая штука. Скажите, когда и между какими странами заключен Нимвегенский мир?

— Да не мучай их, Леночка. Дай людям очухаться с дороги.

— Теперь вот что мне интересно. Перечислите, пожалуйста, каких видов бывают увеличительные стекла, и в каких случаях получаются изображения действительные, обращенные, прямые и мнимые?

— Откуда у вас такие познания по физике?

— Великолепный математик был у нас в Юрятине. В двух гимназиях преподавал, в мужской и у нас. Как объяснял, как объяснял! Как бог! Бывало, все разжует и в рот положит.

Антипов. На здешней учительнице был женат. Девочки были без ума от него, все в него влюблялись. Пошел добровольцем на войну и больше не возвращался, был убит. Утверждают, будто бич божий наш и кара небесная, комиссар Стрельников, это оживший Антипов. Легенда, конечно. И непохоже. А впрочем, кто его знает. Все может быть. Еще чашечку.

ЧАСТЬ девятая.

ВАРЫКИНО

1

Зимою, когда времени стало больше, Юрий Андреевич стал вести разного рода записи. Он записал у себя:

«Как часто летом хотелось сказать вместе с Тютчевым:

Какое лето, что за лето!
Ведь это, право, волшебство,
И как, спрошу, далось нам это,
Так, ни с того и ни с сего?

Какое счастье работать на себя и семью с зари до зари, сооружать кров, возделывать землю в заботе о пропитании, создавать свой мир, подобно Робинзону, подражая творцу в сотворении вселенной, вслед за родной матерью производя себя вновь и вновь на свет!

Сколько мыслей проходит через сознание, сколько нового передумаешь, пока руки заняты мускульной, телесной, черной или плотничьей работой: пока ставишь себе разумные, физически разрешимые задачи, вознаграждающие за исполнение радостью и удачей; пока шесть часов кряду тешешь что-нибудь топором или копаешь землю под открытым небом, обжигающим тебя своим благодатным дыханием. И то, что эти мысли, догадки и сближения не заносятся на бумагу, а забываются во всей их попутной мимолетности, не потеря, а приобретение. Городской затворник, крепким черным кофе или табаком подхлестывающий упавшие нервы и воображение, ты не знаешь самого могучего наркотика, заключающегося в непритворной нужде и крепком здоровье.

Я не иду дальше сказанного, не проповедую Толстовского опрощения и перехода на землю, я не придумываю своей поправки к социализму по аграрному вопросу. Я только устанавливаю факт и не возвожу нашей, случайно подвернувшейся, судьбы в систему.

Наш пример спорен и не пригоден для вывода. Наше хозяйство слишком неоднородного состава. Только небольшою его частью, запасом овощей и картошки, мы обязаны трудам наших рук. Все остальное — из другого источника.

Наше пользование землею беззаконно. Оно самочинно скрыто от

установленного государственною властью учета. Наши лесные порубки — воровство, не извинимое тем, что мы воруем из государственного кармана, в прошлом — крюгеровского. Нас покрывает попустительство Микулицына, живущего приблизительно тем же способом, нас спасают расстояния, удаленность от города, где пока, по счастью, ничего не знают о наших проделках.

Я отказался от медицины и умалчиваю о том, что я доктор, чтобы не связывать своей свободы. Но всегда какая-нибудь добрая душа на краю света проведает, что в Варыкине поселился доктор, и верст за тридцать тащится за советом, какая с курочкой, какая с яичками, какая с маслицем или еще с чем-нибудь. Как я ни отбояриваюсь от гонораров, от них нельзя отделаться, потому что люди не верят в действенность безвозмездных, даром доставшихся, советов. Итак, кое-что дает мне врачебная практика. Но главная наша и Микулицынская опора — Самдевятов.

Уму непостижимо, какие противоположности совмещает в себе этот человек. Он искренне за революцию и вполне достоин доверия, которым облек его Юрятинский горсовет. Со всесильными своими полномочиями он мог бы реквизировать и вывозить Варыкинский лес, нам и Микулицыным даже не сказываясь, и мы бы и бровью не повели. С другой стороны, пожелай он обкрадывать казну, он мог бы преспокойно класть в карман, что и сколько бы захотел, и тоже никто бы не пикнул. Ему не с кем делиться и некого задаривать. Так что же заставляет его заботиться о нас, помогать Микулицыным и поддерживать всех в округе, как, например, начальника станции в Торфяной? Он все время ездит и что-то достает и привозит, и разбирает и толкует «Бесов» Достоевского и Коммунистический Манифест одинаково увлекательно и, мне кажется, если бы он не осложнял своей жизни без надобности так нерасчетливо и очевидно, он умер бы со скуки».

2

Несколько позднее доктор записал:

«Мы поселились в задней части старого барского дома, в двух комнатах деревянной пристройки, в детские годы Анны Ивановны предназначавшейся Крюгером для избранной челяди, для домашней портнихи, экономки и отставной няни.

Этот угол порядком обветшал. Мы довольно быстро починили его. С помощью понимающих мы переложили выходящую в обе комнаты печку по-новому. С теперешним расположением оборотов она дает больше

нагрева.

В этом месте парка следы прежней планировки исчезли под новой растительностью, все заполнившей. Теперь, зимой, когда всё кругом помертвело и живое не закрывает умершего, занесенные снегом черты былого выступают яснее.

Нам посчастливилось. Осень выдалась сухая и теплая.

Картошку успели выкопать до дождей и наступления холодов. За вычетом задолженной и возвращенной Микулицыным, её у нас до двадцати мешков, и вся она в главном закроме погреба, покрытая сверху, поверх пола, сеном и старыми рваными одеялами. Туда же в подполье спустили две бочки огурцов, которые засолила Тоня, и столько же бочек наквашенной ею капусты. Свежая развешана по столбам крепления, вилок с вилком, связанная попарно. В сухой песок зарыты запасы моркови. Здесь же достаточное количество собранной редьки, свеклы и репы, а наверху в доме множество гороху и бобов. Навезенных дров в сарае хватит до весны. Я люблю зимою теплое дыхание подземелья, ударяющее в нос кореньями, землей и снегом, едва подымешь опускную дверцу погреба, в ранний час, до зимнего рассвета, со слабым, готовым угаснуть и еле светящимся огоньком в руке.

Выйдешь из сарая, день еще не занимается. Скрипнешь дверью, или нечаянно чихнешь, или просто снег хрустнет под ногою, и с дальней огородной гряды с торчащими из-под снега капустными кочерыжками порснут и пойдут улепетывать зайцы, размашистыми следами которых вдоль и поперек изборожден снег кругом. И в окрестностях, одна за другой, надолго разлаются собаки.

Последние петухи пропели уже раньше, им теперь не петь. И начнет светать.

Кроме заячьих следов, необозримую снежную равнину пересекают рысьи, ямка к ямке, тянущиеся аккуратно низанными нитками. Рысь ходит как кошка, лапка за лапку, совершая, как утверждают, за ночь многоверстные переходы.

На них ставят капканы, слопцы, как их тут называют. Вместо рысей в ловушки попадают бедные русаки, которых вынимают из капканов мороженными, окоченелыми и полузанесенными снегом.

Вначале, весною и летом, было очень трудно. Мы выбивались из сил. Теперь, зимними вечерами, отдыхаем. Собираемся, благодаря Анфиму, снабжающему нас керосином, вокруг лампы.

Женщины шьют или вяжут, я или Александр Александрович читаем вслух. Топится печка, я, как давний признанный истопник, слежу за ней,

чтобы вовремя закрыть вьюшку и не упустить жару. Если недогоревшая головешка задерживает топку, выношу ее, бегом, всю в дыму, за порог и забрасываю подальше в снег. Рассыпая искры, она горящим факелом перелетает по воздуху, озаряя край черного спящего парка с белыми четырехугольниками лужаек, и шипит и гаснет, упав в сугроб.

Без конца перечитываем «Войну и мир», «Евгения Онегина» и все поэмы, читаем в русском переводе «Красное и Черное» Стендаля, «Повесть о двух городах» Диккенса и коротенькие рассказы Клейста».

3

Ближе к весне доктор записал:

«Мне кажется, Тоня в положении. Я ей об этом сказал. Она не разделяет моего предположения, а я в этом уверен. Меня до появления более бесспорных признаков не могут обмануть предшествующие, менее уловимые.

Лицо женщины меняется. Нельзя сказать, чтобы она подурнела.

Но её внешность, раньше всецело находившаяся под её наблюдением, уходит из-под её контроля. Ею распоряжается будущее, которое выйдет из неё и уже больше не есть она сама.

Этот выход облика женщины из-под её надзора носит вид физической растерянности, в которой тускнеет её лицо, грубеет кожа и начинают по другому, не так, как ей хочется, блестеть глаза, точно она всем этим не управилась и запустила.

Мы с Тоней никогда не отдалялись друг от друга. Но этот трудовой год нас сблизил еще тесней. Я наблюдал, как расторопна, сильна и неутомима Тоня, как сообразительна в подборе работ, чтобы при их смене терялось как можно меньше времени.

Мне всегда казалось, что каждое зачатие непорочно, что в этом догмате, касающемся Богоматери, выражена общая идея материнства.

На всякой рожающей лежит тот же отблеск одиночества, оставленности, предоставленности себе самой. Мужчина до такой степени не у дел сейчас, в это существеннейшее из мгновений, что точно его и в заводе не было и все как с неба свалилось.

Женщина сама производит на свет свое потомство, сама забирается с ним на второй план существования, где тише, и куда без страха можно поставить люльку. Она сама в молчаливом смирении вскармливает и выращивает его.

Богоматерь просят: «Молися прилежно Сыну и Богу Твоему». Ей

вкладывают в уста отрывки псалма: «И возрадовася дух мой о Бозе Спасе моем. Яко воззри на смирение рабы своея, се бо отныне ублажат мя вси роди». Это она говорит о своем младенце, он возвеличит её («Яко сотвори мне величие сильный»), он — её слава. Так может сказать каждая женщина. Ее бог в ребенке.

Матерям великих людей должно быть знакомо это ощущение. Но все решительно матери — матери великих людей, и не их вина, что жизнь потом обманывает их».

4

«Без конца перечитываем Евгения Онегина и поэмы. Вчера был Анфим, навез подарков. Лакомимся, освещаемся. Бесконечные разговоры об искусстве.

Давнишняя мысль моя, что искусство не название разряда или области, обнимающей необозримое множество понятий и разветвляющихся явлений, но наоборот, нечто узкое и сосредоточенное, обозначение начала, входящего в состав художественного произведения, название примененной в нем силы или разработанной истины. И мне искусство никогда не казалось предметом или стороною формы, но скорее таинственной и скрытой частью содержания. Мне это ясно, как день, я это чувствую всеми своими фибрами, но как выразить и сформулировать эту мысль?

Произведения говорят многим: темами, положениями, сюжетами, героями. Но больше всего говорят они присутствием содержащегося в них искусства. Присутствие искусства на страницах «Преступления и наказания» потрясает больше, чем преступление Раскольникова.

Искусство первобытное, египетское, греческое, наше, это, наверное, на протяжении многих тысячелетий одно и то же, в единственном числе остающееся искусство. Это какая-то мысль, какое-то утверждение о жизни, по всеохватывающей своей широте на отдельные слова не разложимое, и когда крупица этой силы входит в состав какой-нибудь более сложной смеси, примесь искусства перевешивает значение всего остального и оказывается сутью, душой и основой изображенного».

5

«Немного простужен, кашель и, наверное, небольшой жар. Весь день перехватывает дыхание где-то у гортани, комком подкатывая к горлу. Плохо мое дело. Это аорта. Первые предупреждения наследственности со

стороны бедной мамочки, пожизненной сердечницы. Неужели правда? Так рано? Не долгий я в таком случае жилец на белом свете.

В комнате легкий угар. Пахнет глаженым. Гладят и, то и дело, из непротопившейся печки подкладывают жаром пламенеющий уголь в ляскающий крышкой, как зубами, духовой утюг. Что-то напоминает. Не могу вспомнить, что. Забывчив по нездоровью.

На радостях, что Анфим привез ядрового мыла, закатили генеральную стирку, и Шурочка два дня без присмотра.

Забирается, когда я пишу, под стол, садится на перекладину между ножками и, подражая Анфиму, который в каждый приезд катает его на санях, изображает, будто тоже вывозит меня в розвальнях.

Как выздоровею, надо будет поездить в город, почитать кое-что по этнографии края, по истории. Уверяют, будто здесь замечательная городская библиотека, составленная из нескольких богатых пожертвований. Хочется писать. Надо торопиться. Не оглянешься, и весна. Тогда будет не до чтения и писания.

Все усиливается головная боль. Я плохо спал. Я видел сумбурный сон, один из тех, которые забываются тут же на месте, по пробуждении. Сон вылетел из головы, в сознании осталась только причина пробуждения. Меня разбудил женский голос, который слышался во сне, которым во сне оглашался воздух. Я запомнил его звук и, воспроизводя его в памяти, перебирал мысленно знакомых женщин, доискиваясь, какая из них могла быть обладательницей этого грудного, тихого от тяжести, влажного голоса. Он не принадлежал ни одной. Я подумал, что, может быть, чрезмерная привычка к Тоне стоит между нами и притупляет у меня слух по отношению к ней. Я попробовал забыть, что она моя жена, и отнес её образ на расстояние, достаточное для выяснения истины. Нет, это был также не её голос. Так это и осталось невыясненным.

Кстати о снах. Принято думать, что ночью снится обыкновенно то, что днем, в бодрствовании, произвело сильнейшее впечатление. У меня как раз обратные наблюдения.

Я не раз замечал, что именно вещи, едва замеченные днем, мысли, не доведенные до ясности, слова, сказанные без души и оставленные без внимания, возвращаются ночью, облеченные в плоть и кровь, и становятся темами сновидений, как бы в возмещение за дневное к ним пренебрежение».

6

«Ясная морозная ночь. Необычайная яркость и цельность видимого. Земля, воздух, месяц, звезды скованы вместе, склепаны морозом. В парке поперек аллей лежат отчетливые тени деревьев, кажущиеся выточенными и выпуклыми. Все время кажется, будто какие-то черные фигуры в разных местах без конца переходят через дорогу. Крупные звезды синими слюдяными фонарями висят в лесу между ветвями. Мелкими, как летние луга ромашками, усеяно все небо.

Продолжающиеся по вечерам разговоры о Пушкине. Разбирали лицейские стихотворения первого тома. Как много зависело от выбора стихотворного размера!

В стихах с длинными строчками пределом юношеского честолюбия был Арзамас, желание не отстать от старших, пустить дядюшке пыль в глаза мифологизмами, напыщенностью, выдуманной испорченностью и эпикурейством, преждевременным, притворным здравомыслием.

Но едва с подражаний Оссиану или Парни или с «Воспоминаний в Царском Селе» молодой человек нападал на короткие строки «Городка» или «Послания к сестре» или позднейшего кишиневского «К моей чернильнице», или на ритмы «Послания к Юдину», в подростке пробуждался весь будущий Пушкин.

В стихотворение, точно через окно в комнату, врывались с улицы свет и воздух, шум жизни, вещи, сущности. Предметы внешнего мира, предметы обихода, имена существительные, теснясь и наседая, завладевали строчками, вытесняя вон менее определенные части речи. Предметы, предметы, предметы рифмованной колонною выстраивались по краям стихотворения.

Точно этот, знаменитый впоследствии, Пушкинский четырехстопник явился какой-то измерительной единицей русской жизни, её линейной мерой, точно он был меркой, снятой со всего русского существования подобно тому, как обрисовывают форму ноги для сапожной выкройки, или называют номер перчатки для приискания её по руке, впору.

Так позднее ритмы говорящей России, распевы её разговорной речи были выражены в величинах длительности Некрасовским трехдольником и Некрасовской дактилической рифмой».

7

«Как хотелось бы наряду со службой, сельским трудом или врачебной практикой вынашивать что-нибудь остающееся, капитальное, писать какую-нибудь научную работу или что-нибудь художественное.

Каждый родится Фаустом, чтобы все обнять, все испытать, все выразить. О том, чтобы Фаусту быть ученым, позаботились ошибки предшественников и современников. Шаг вперед в науке делается по закону отталкивания, с опровержения царящих заблуждений и ложных теорий.

О том, чтобы Фаусту быть художником, позаботились заразительные примеры учителей. Шаг вперед в искусстве делается по закону притяжения, с подражания, следования и поклонения любимым предтечам.

Что же мешает мне служить, лечить и писать? Я думаю, не лишения и скитания, не неустойчивость и частые перемены, а господствующий в наши дни дух трескучей фразы, получивший такое распространение, — вот это самое: заря грядущего, построение нового мира, светочи человечества. Послушать это, и по началу кажется, — какая широта фантазии, какое богатство!

А на деле оно именно и высокопарно по недостатку дарования.

Сказочно только рядовое, когда его коснется рука гения.

Лучший урок в этом отношении Пушкин. Какое славословие честному труду, долгу, обычаям повседневности! Теперь у нас стало звучать укорительно мещанин, обыватель. Этот упрек предупрежден строками из «Родословной».

«Я мещанин, я мещанин».

И из «Путешествия Онегина»:

Мой идеал теперь — хозяйка,
Мои желания — покой,
Да щей горшок, да сам большой.

Изо всего русского я теперь больше всего люблю русскую детскость Пушкина и Чехова, их застенчивую неозабоченность насчет таких громких вещей, как конечные цели человечества и их собственное спасение. Во всем этом хорошо разбирались и они, но куда им было до таких нескромностей, — не до того и не по чину! Гоголь, Толстой, Достоевский готовились к смерти, беспокоились, искали смысла, подводили итоги, а эти до конца были отвлечены текущими частностями артистического призвания, и за их чередованием незаметно прожили жизнь, как такую же личную, никого не касающуюся частность, и теперь эта частность оказывается общим делом и подобно снятым с дерева дозревающим яблокам сама доходит в преемственности, наливаясь все большею сладостью и смыслом».

8

«Первые предвестия весны, оттепель. Воздух пахнет блинами и водкой, как на масляной, когда сам календарь как бы каламбурит. Сонно, масляными глазками жмурится солнце в лесу, сонно, ресницами игл щурится лес, маслянисто блещут в полдень лужи. Природа зевает, потягивается, переворачивается на другой бок и снова засыпает.

В седьмой главе Евгения Онегина — весна, пустующий за выездом Онегина господский дом, могила Ленского внизу, у воды, под горою.

И соловей, весны любовник,
Поет всю ночь.
Цветет шиповник.

Почему — любовник? Вообще говоря, эпитет естественный, уместный. Действительно — любовник. Кроме того — рифма к слову «шиповник». Но звуковым образом не сказался ли также былинный «соловей-разбойник»?

В былине он называется Соловей-разбойник, Одихмантьев сын.

Как хорошо про него говорится!

От него ли то от посвисту соловьего,
От него ли то от покрику звериного,
То все травушки-муравушки уплетаются,
Все лазоревы цветочки отсыпаются,
Темны лесушки к земле все преклоняются,
А что есть людей, то все мертвы лежат.

Мы приехали в Варыкино раннею весной. Вскоре все зазеленело, особенно в Шутьме, как называется овраг под Микулицынским домом, — черемуха, ольха, орешник. Спустя несколько ночей защелкали соловьи.

И опять, точно слушая их в первый раз, я удивился тому, как выделяется этот напев из остальных птичьих посвистов, какой скачок, без постепенного перехода, совершает природа к богатству и исключительности этого щелканья. Сколько разнообразия в смене колен и какая сила отчетливого, далеко разносящегося звука! У Тургенева описаны где-то эти высвисты, дудка лешего, юлиная дробь. Особенно выделялись два оборота.

Учащенно-жадное и роскошное «тёх-тёх-тёх», иногда трехдольное, иногда без счета, в ответ на которое заросль, вся в росе, отряхивалась и охорашивалась, вздрагивая, как от щекотки. И другое, распадающееся на

два слога, зовущее, проникновенное, умоляющее, похожее на просьбу или увещание: «Оч-нись! Оч-нись! Оч-нись!»

9

«Весна. Готовимся к сельским работам. Стало не до дневника.

А приятно было вести эти записки. Придется отложить их до зимы.

На днях, на этот раз действительно на масляницe, в распутицу, въезжает на санях во двор, по воде и грязи больной крестьянин. Понятно, отказываюсь принять. «Не взыщи, милый, перестал этим заниматься, — ни настоящего подбора лекарств, ни нужных приспособлений». Да разве так отвяжешься. «Помоги. Кожею скудаем. Помилосердствуй. Телесная болезнь».

Что делать? Сердце не камень. Решил принять. «Раздевайся».

Осматриваю. «У тебя волчанка». Вожусь с ним, искоса поглядывая в окно, на бутыль с карболкой. (Боже правый, не спрашивайте, откуда она у меня, и еще кое-что, самое необходимое! Все это — Самдевятов.) Смотрю, — на двор другие сани, с новым больным, как мне кажется в первую минуту. И сваливается, как с облаков, брат Евграф. На некоторое время он поступает в распоряжение дома, Тони, Шурочки, Александра Александровича.

Потом, когда я освобождаюсь, присоединяюсь к остальным.

Начинаются расспросы, — как, откуда? По обыкновению увертывается, уклоняется, ни одного прямого ответа, улыбки, чудеса, загадки.

Он прогостил около двух недель, часто отлучаясь в Юрятин, и вдруг исчез, как сквозь землю провалился. За это время я успел отметить, что он еще влиятельнее Самдевятова, а дела и связи его еще менее объяснимы. Откуда он сам? Откуда его могущество?

Чем он занимается? Перед исчезновением обещал облегчить нам ведение хозяйства, так, чтобы у Тони освобождалось время для воспитания Шуры, а у меня — для занятий медициной и литературой. Полюбопытствовали, что он для этого собирается сделать. Опять отмалчиванье и улыбки. Но он не обманул.

Имеются признаки, что условия жизни у нас действительно переменятся.

Удивительное дело! Это мой сводный брат. Он носит одну со мною фамилию. А знаю я его, собственно говоря, меньше всех.

Вот уже второй раз вторгается он в мою жизнь добрым гением, избавителем, разрешающим все затруднения. Может быть, состав каждой

биографии наряду со встречающимися в ней действующими лицами требует еще и участия тайной неведомой силы, лица почти символического, являющегося на помощь без зова, и роль этой благодетельной и скрытой пружины играет в моей жизни мой брат Евграф?»

На этом кончались записи Юрия Андреевича. Больше он их не продолжал.

10

Юрий Андреевич просматривал в зале Юрятинской городской читальни заказанные книги. Многооконный читальный зал на сто человек был уставлен несколькими рядами длинных столов, узенькими концами к окнам. С наступлением темноты читальня закрывалась. В весеннее время город по вечерам не освещался.

Но Юрий Андреевич и так никогда не досиживал до сумерек и не задерживался в городе позже обеденного времени. Он оставлял лошадь, которую ему давали Микулицыны, на постоялом дворе у Самдевятова, читал все утро, и с середины дня возвращался верхом домой в Варыкино.

До этих наездов в библиотеку Юрий Андреевич редко бывал в Юрятине. У него не было никаких особенных дел в городе. Доктор плохо знал его. И когда на его глазах зал постепенно наполнялся юрятинскими жителями, садившимися то поодаль от него, то совсем по соседству, у Юрия Андреевича являлось чувство, будто он знакомится с городом, стоя на одном из его людных скрещений, и будто в зал стекаются не читающие юрятинцы, а стягиваются дома и улицы, на которых они проживают.

Однако и действительный Юрятин, настоящий и невымышленный, виднелся в окнах зала. У среднего, самого большого окна стоял бак с кипяченою водой. Читающие в виде отдыха выходили покурить на лестницу, окружали бак, пили воду, сливая остатки в полоскательницу, и толпились у окна, любуясь видами города.

Читающих было два рода, старожилы из местной интеллигенции, — их было большинство, — и люди из простого народа.

У первых, среди которых преобладали женщины, бедно одетые, переставшие следить за собой и опустившиеся, были нездоровые, вытянувшиеся лица, обрюзгшие по разным причинам, — от голода, от разлития желчи, от отеков водянки. Это были завсегдатаи читальни, лично-знакомые с библиотечными служащими и чувствовавшие себя здесь, как дома.

Люди из народа с красивыми здоровыми лицами, одетые опрятно, по праздничному, входили в зал смущенно и робко, как в церковь, и появлялись шумнее, чем было принято, не от незнания порядков, а вследствие желания войти совершенно бесшумно и неумения соразмерить свои здоровые шаги и голоса.

Напротив окон в стене было углубление. В этой нише на возвышении, отделенные высокою стойкой от остального зала, занимались своим делом служащие читальни, старший библиотекарь и две его помощницы. Одна из них, сердитая, в шерстяном платке, без конца снимала и напяливала на нос пенсне, руководствуясь, по-видимому, не надобностями зрения, а переменчивостью своих душевных состояний. Другая, в черной шелковой кофте, вероятно, страдала грудью, потому что почти не отнимала носового платка от рта и носа, говорила и дышала в платок.

У библиотечных служащих были такие же опухшие, книзу удлиненные, оплывшие лица, как у половины читающих, та же дряблая, обвислая кожа, землистая с прозеленью, цвета соленого огурца и серой плесени, и все они втроем делали попеременно одно и то же, шопотом разъясняли новичкам правила пользования книгами, разбирали билетики с требованиями, выдавали и принимали обратно возвращаемые книги и в промежутках трудились над составлением каких-то годовых отчетов.

И странно, по непонятному сцеплению идей, перед лицом действительного города за окном и воображаемого в зале, а также по какому-то сходству, вызываемому всеобщей мертвенной одутловатостью, точно все заболели зобами, Юрий Андреевич вспомнил недовольную стрелочницу на железнодорожных путях Юрятина в утро их приезда и общую панораму города вдали, и Самдевятова рядом на полу вагона, и его объяснения. И эти объяснения, данные далеко за пределами местности на большом расстоянии, Юрию Андреевичу хотелось связать с тем, что он видел теперь вблизи, в сердцевине картины. Но он не помнил обозначений Самдевятова, и у него ничего не выходило.

Юрий Андреевич сидел в дальнем конце зала, обложившись книгами. Перед ним лежали журналы по местной земской статистике и несколько работ по этнографии края. Он попробовал затребовать еще два труда по истории Пугачева, но библиотекарша в шелковой кофте шопотом через прижатый к губам платок заметила ему, что так много книг не выдают сразу в одни руки и что для получения интересующих его исследований он должен вернуть часть взятых справочников и журналов.

Поэтому Юрий Андреевич стал прилежнее и торопливее знакомиться с неразобранными книгами с тем, чтобы выделить и удержать из их груды

самое необходимое, а остальное выменять на занимавшие его исторические работы. Он быстро перелистывал сборники и пробегал глазами оглавления, ничем не отвлекаемый и не глядя по сторонам. Людность зала не мешала ему и не рассеивала его. Он хорошо изучил своих соседей и видел их мысленным взором справа и слева от себя, не подымая глаз от книги, с тем чувством, что состав их не изменится до самого его ухода, как не сдвинутся с места церкви и здания города, видневшиеся в окне.

Между тем солнце не стояло. Все время перемещаясь, оно обошло за эти часы восточный угол библиотеки. Теперь оно светило в окна южной стены, ослепляя наиболее близко сидевших, и мешая им читать.

Простуженная библиотекарша сошла с огороженного возвышения и направилась к окнам. На них были складчатые, напускные занавески из белой материи, приятно смягчавшие свет.

Библиотекарша опустила их на всех окнах, кроме одного. Это, крайнее, затененное, она оставила незавешенным. Потянув за шнур, она отворила в нем откидную форточку и расчихалась.

Когда она чихнула в десятый или двенадцатый раз, Юрий Андреевич догадался, что это свояченица Микулицына, одна из Тунцевых, о которых рассказывал Самдевятов. Вслед за другими читающими Юрий Андреевич поднял голову и посмотрел в её сторону.

Тогда он заметил происшедшую в зале перемену. В противоположном конце прибавилась новая посетительница. Юрий Андреевич сразу узнал Антипову. Она сидела, повернувшись спиной к передним столам, за одним из которых помещался доктор, и вполголоса разговаривала с простуженной библиотекаршей, которая стояла, наклонившись к Ларисе Федоровне, и перешептывалась с ней. Вероятно, этот разговор имел благодетельное влияние на библиотекаршу. Она излечилась мигом не только от своего досадного насморка, но и от нервной настороженности. Кинув Антиповой теплый, признательный взгляд, она отняла от губ носовой платок, который все время к ним прижимала и, сунув его в карман, вернулась на свое место за загородку счастливая, уверенная в себе и улыбающаяся.

Эта, отмеченная трогательною мелочью сцена не укрылась от некоторых присутствовавших. Со многих концов зала смотрели сочувственно на Антипову и тоже улыбались. По этим ничтожным признакам Юрий Андреевич установил, как её знают и любят в городе.

12

Первое намерение Юрия Андреевича было встать и подойти к Ларисе

Федоровне. Но затем чуждые его природе, но установившиеся у него по отношению к ней принужденность и отсутствие простоты взяли верх. Он решил не мешать ей, а также не прерывать собственной работы. Чтобы защитить себя от искушения глядеть в её сторону, он поставил стул боком к столу, почти задом к занимающимся, и углубился в свои книги, держа одну в руке перед собой, а другую развернутою на коленях.

Однако мысли его витали за тридевять земель от предмета его занятий. Вне всякой связи с ними он вдруг понял, что голос, который однажды он слышал зимнею ночью во сне в Варыкине, был голосом Антиповой. Его поразило это открытие и, привлекая внимание окружающих, он порывисто переставил стул в прежнее положение, так чтобы с его места было видно Антипову, и стал смотреть на нее.

Он видел её со спины, вполоборота, почти сзади. Она была в светлой клетчатой блузе, перехваченной кушаком, и читала увлеченно, с самозабвением, как дети, склонив голову немного набок, к правому плечу. Иногда она задумывалась, поднимая глаза к потолку, или, щурясь, заглядывалась куда-то перед собой, а потом снова облокачивалась, подпирала голову рукой, и быстрым размашистым движением записывала карандашом в тетрадь выноски из книги.

Юрий Андреевич проверял и подтверждал свои старые мелюзеевские наблюдения. «Ей не хочется нравиться, — думал он, — быть красивой, пленяющей. Она презирает эту сторону женской сущности и как бы казнит себя за то, что так хороша. И эта гордая враждебность к себе удесятеряет её неотразимость.

Как хорошо все, что она делает. Она читает так, точно это не высшая деятельность человека, а нечто простейшее, доступное животным. Точно она воду носит или чистит картошку».

За этими размышлениями доктор успокоился. Редкий мир сошел ему в душу. Мысли его перестали разбегаться и перескакивать с предмета на предмет. Он невольно улыбнулся. Присутствие Антиповой оказывало на него такое же действие, как на нервную библиотекаршу.

Не заботясь о том, как стоит его стул, и не боясь помех и рассеянии, он час или полтора проработал еще усидчивей и сосредоточенней, чем до прихода Антиповой. Он перерыл высившуюся перед ним гору книг, отобрал самое нужное и даже попутно успел проглотить две встретившиеся в них существенные статьи. Решив удовольствоваться сделанным, он стал собирать книги, чтобы отнести их к столу выдач. Всякие посторонние соображения, порочащие сознание, покинули его. С чистою совестью и совершенно без задних мыслей он подумал, что честно

отработанным уроком он заслужил право встретиться со старой доброю знакомою и на законном основании позволить себе эту радость. Но когда, поднявшись, он окинул взглядом читальню, он не обнаружил Антиповой, в зале её больше не было.

На стойке, куда доктор перенес свои тома и брошюры, еще лежала неубранною литература, возвращенная Антиповой. Все это были руководства по марксизму. Вероятно, как бывшая, вновь переопределяющаяся учительница, она своими силами на дому проходила политическую переподготовку.

В книжки заложены были требования Ларисы Федоровны в каталожную. Билетики торчали концами наружу. В них проставлен был адрес Ларисы Федоровны. Его легко можно было прочесть.

Юрий Андреевич списал его, удивившись странности обозначения.

«Купеческая, против дома с фигурами».

Тут же, у кого-то осведомившись, Юрий Андреевич узнал, что выражение «дом с фигурами» в Юрятине настолько же ходячее, как наименование околотков по церковным приходам в Москве или название «у пяти углов» в Петербурге.

Так назывался темно-серый стального цвета дом с кариатидами и статуями античных муз с бубнами, лирами и масками в руках, выстроенный в прошлом столетии купцом театралом для своего домашнего театра. Наследники купца продали дом Купеческой управе, давшей название улице, угол которой дом занимал. По этому дому с фигурами обозначали всю прилегавшую к нему местность. Теперь в доме с фигурами помещался Горком партии, и на стене его косого, спускавшегося под гору и понижавшегося фундамента, где в прежние времена расклеивали театральные и цирковые афиши, теперь вывешивали декреты и постановления правительства.

13

Был холодный ветреный день начала мая. Потолкавшись по делам в городе, и на минуту заглянув в библиотеку, Юрий Андреевич неожиданно отменил все планы и пошел разыскивать Антипову.

Ветер часто останавливал его в пути, преграждая ему дорогу облаками поднятого песку и пыли. Доктор отворачивался, жмурился, нагибал голову, пережидая, пока пыль пронесется мимо, и отправлялся дальше.

Антипова жила на углу Купеческой и Новосвалочного переулка, против темного, впадавшего в синеву дома с фигурами, теперь впервые

увиденного доктором. Дом действительно отвечал своему прозвищу и производил странное, тревожное впечатление.

Он по всему верху был опоясан женскими мифологическими кариатидами в полтора человеческих роста. Между двумя порывами ветра, скрывшими его фасад, доктору на мгновение почудилось, что из дома вышло всё женское население на балкон и, перегнувшись через перила, смотрит на него и на расстилающуюся внизу Купеческую.

К Антиповой было два хода, через парадное с улицы и двором с переулка. Не зная о существовании первого пути, Юрий Андреевич избрал второй.

Когда он свернул из переулка в ворота, ветер взвил к небу землю и мусор со всего двора, завесив двор от доктора. За эту черную завесу с квохтаньем бросились куры из-под его ног, спасаясь от догонявшего их петуха.

Когда облако рассеялось, доктор увидел Антипову у колодца.

Вихрь застиг её с уже набранной водой в обоих ведрах, с коромыслом на левом плече. Она была наскоро повязана косынкой, чтобы не пылить волос, узлом на лоб, «кукушкой», и зажимала коленями подол пузырившегося капота, чтобы ветер не подымал его. Она двинулась было с водою к дому, но остановилась, удержанная новым порывом ветра, который сорвал с её головы платок, стал трепать ей волосы и понес платок к дальнему концу забора, ко всё еще квохтавшим курам.

Юрий Андреевич побежал за платком, поднял его и у колодца подал опешившей Антиповой. Постоянно верная своей естественности, она ни одним возгласом не выдала, как она изумлена и озадачена. У нее только вырвалось:

— Живаго!

— Лариса Федоровна!

— Каким чудом? Какими судьбами?

— Опустите ведра наземь. Я снесу.

— Никогда не сворачиваю с полдороги, никогда не бросаю начатого. Если вы ко мне, пойдемте.

— А то к кому же?

— Кто вас знает.

— Всё же позвольте я переложу коромысло с вашего плеча на свое. Не могу я оставаться в праздности, когда вы трудитесь.

— Подумаешь, труд. Не дам. Лестницу заплещете. Лучше скажите, каким вас ветром занесло? Больше года тут, и все не могли собраться, удосужиться?

— Откуда вы знаете?

— Слухом земля полнится. Да и видела я вас, наконец, в библиотеке.

— Что же вы меня не окликнули?

— Вы не заставите меня поверить, что сами меня не видели.

За слегка покачивавшейся под качавшимися ведрами Ларисой Федоровной доктор прошел под низкий свод. Это были черные сени нижнего этажа. Тут, быстро опустившись на корточки, Лариса Федоровна поставила ведра на земляной пол, высвободила плечо из-под коромысла, выпрямилась и стала утирать руки неизвестно откуда взявшимся крошечным платочком.

— Пойдемте, я вас внутренним ходом на парадную выведу. Там светло. Там подождете. А я воду с черного хода внесу, немного приберу наверху, приоденусь. Видите, какая у нас лестница.

Чугунные ступени с узором. Сверху сквозь них все видно. Старый дом. Тряхнуло его слегка в дни обстрела. Из пушек ведь.

Видите, камни разошлись. Между кирпичами дыры, отверстия. Вот в эту дыру мы с Катенькой квартирный ключ прячем и кирпичом закладываем, когда уходим. Имейте это в виду. Может быть, как-нибудь наведаетесь, меня не застанете, тогда милости просим, отпирайте, входите, будьте как дома. А я тем временем подойду. Вот он и сейчас тут, ключ. Но мне не нужно, я сзади войду и отворю дверь изнутри. Одно горе — крысы. Тьма тьмущая, отбою нет. По головам скачут. Ветхая постройка, стены расшатанные, везде щели. Где могу, заделываю, воюю с ними.

Мало помогает. Может быть, как-нибудь зайдете, поможете?

Вместе забьем полы, плинтусы. А? Ну, оставайтесь на площадке, поразмышляйте о чем-нибудь. Я недолго протомлю вас, скоро кликну.

В ожидании зова Юрий Андреевич стал блуждать глазами по облупленным стенам входа и литым чугунным плитам лестницы. Он думал: «В читальне я сравнивал увлеченность её чтения с азартом и жаром настоящего дела, с физической работой. И наоборот, воду она носит, точно читает, легко, без труда. Эта плавность у нее во всем. Точно общий разгон к жизни она взяла давно, в детстве, и теперь всё совершается у нее с разбегу, само собой, с легкостью вытекающего следствия. Это у нее и в линии её спины, когда она нагибается, и в её улыбке, раздвигающей её губы и округляющей подбородок, и в её словах и мыслях».

— Живаго! — раздалось с порога квартиры на верхней площадке. Доктор поднялся по лестнице.

14

— Дайте руку и покорно следуйте за мной. Тут будут две комнаты, где темно и вещи навалены до потолка. Наткнетесь и ушибетесь.

— Правда, лабиринт какой-то. Я не нашел бы дороги. Почему это? В квартире ремонт?

— О нет, нисколько. Дело не в этом. Квартира чужая. Я даже не знаю, чья. У нас была своя, казенная, в здании гимназии.

Когда гимназию занял жилотдел Юрсовета, меня с дочерью переселили в часть этой, покинутой. Здесь была обстановка старых хозяев. Много мебели. Я в чужом добре не нуждаюсь. Я их вещи составила в эти две комнаты, а окна забелила. Не выпускайте моей руки, а то заблудитесь. Ну так. Направо.

Теперь дебри позади. Вот дверь ко мне. Сейчас станет светлее.

Порог. Не оступитесь.

Когда Юрий Андреевич с провожатой вошел в комнату, в стене против двери оказалось окно. Доктора поразило, что он в нем увидел. Окно выходило на двор дома, на зады соседних и на городские пустыри у реки. На них паслись и точно полами расстегнутых шуб подметали пыль своей длиннорунной шерстью овцы и козы. На них, кроме того, торчала на двух столбах, лицом к окну, знакомая доктору вывеска: «Моро и Ветчинкин. Сеялки. Молотилки».

Под влиянием увиденной вывески доктор с первых же слов стал описывать Ларисе Федоровне свой приезд с семьей на Урал. Он забыл о том отождествлении, которое проводила молва между Стрельниковым и её мужем, и не задумываясь, рассказал о своей встрече с комиссаром в вагоне. Эта часть рассказа произвела особенное впечатление на Ларису Федоровну.

— Вы видали Стрельникова?! — живо переспросила она. — Я пока вам больше ничего не скажу. Но как знаменательно! Просто какое-то предопределение, что вы должны были встретиться. Я вам после когда-нибудь объясню, вы просто ахнете. Если я вас правильно поняла, он произвел на вас скорее благоприятное, чем невыгодное впечатление?

— Да, пожалуй. Он должен был бы меня оттолкнуть. Мы проезжали места его расправ и разрушений. Я ждал встретить карателя солдафона или революционного маниака душителя, и не нашел ни того, ни другого. Хорошо, когда человек обманывает ваши ожидания, когда он расходится с заранее составленным представлением о нем. Принадлежность к типу есть конец человека, его осуждение. Если его не подо что подвести, если он не

показателен, половина требующегося от него налицо. Он свободен от себя, крупица бессмертия достигнута им.

— Говорят, он беспартийный.

— Да, мне кажется. Чем он располагает к себе? Это обреченный. Я думаю, он плохо кончит. Он искупит зло, которое он принес. Самоуправцы революции ужасны не как злодеи, а как механизмы без управления, как сошедшие с рельсов машины.

Стрельников такой же сумасшедший, как они, но он помешался не на книжке, а на пережитом и выстраданном. Я не знаю его тайны, но уверен, что она у него есть. Его союз с большевиками случаен. Пока он им нужен, его терпят, им по пути. Но по первом миновении надобности его отшвырнут без сожаления прочь и растопчут, как многих военных специалистов до него.

— Вы думаете?

— Обязательно.

— А нет ли для него спасения? В бегстве, например?

— Куда, Лариса Федоровна? Это прежде, при царях водилось.

А теперь попробуйте.

— Жалко. Своим рассказом вы пробудили во мне сочувствие к нему. А вы изменились. Раньше вы судили о революции не так резко, без раздражения.

— В том-то и дело, Лариса Федоровна, что всему есть мера.

За это время пора было прийти к чему-нибудь. А выяснилось, что для вдохновителей революции суматоха перемен и перестановок единственная родная стихия, что их хлебом не корми, а подай им что-нибудь в масштабе земного шара. Построения миров, переходные периоды это их самоцель. Ничему другому они не учились, ничего не умеют. А вы знаете, откуда суета этих вечных приготовлений? От отсутствия определенных готовых способностей, от неодаренности. Человек рождается жить, а не готовиться к жизни. И сама жизнь, явление жизни, дар жизни так захватывающе нешуточны! Так зачем подменять её ребяческой арлекинадой незрелых выдумок, этими побегами чеховских школьников в Америку? Но довольно. Теперь моя очередь спрашивать. Мы подъезжали к городу в утро вашего переворота.

Вы были тогда в большой переделке?

— О, еще бы! Конечно. Кругом пожары. Сами чуть не сгорели.

Дом, я вам говорила, как покачнуло! На дворе до сих пор неразорвавшийся снаряд у ворот. Грабежи, бомбардировка, безобразия. Как при всякой смене властей. К той поре мы уже были ученые,

привычные. Не впервой было. А во время белых что творилось! Убийства из-за угла по мотивам личной мести, вымогательства, вакханалия! Да, но ведь я главного вам не сказала. Галиуллин-то наш! Преважною шишкой тут оказался при чехах. Чем-то вроде генерал-губернатора.

— Знаю. Слышал. Вы с ним видались?

— Очень часто. Скольким я жизнь спасла благодаря ему!

Скольких укрыла! Надо отдать ему справедливость. Держал он себя безупречно, по-рыцарски, не то что всякая мелкая сошка, казачьи там есаулы и полицейские урядники. Но ведь тогда тон задавала именно эта мелкота, а не порядочные люди. Галиуллин мне во многом помог, спасибо ему. Мы ведь старые знакомые. Я часто девочкой на дворе бывала, где он рос. В доме жили рабочие с железной дороги. Я в детстве близко видела бедность и труд. От этого мое отношение к революции иное, чем у вас.

Она ближе мне. В ней для меня много родного. И вдруг он полковником становится, этот мальчик, сын дворника. Или даже белым генералом. Я из штатской среды и плохо разбираюсь в чинах. А по специальности я учительница историчка. Да, так вот как, Живаго. Многим я помогла. Ходила к нему. Вас вспоминали.

У меня ведь во всех правительствах связи и покровители, и при всех порядках огорчения и потери. Это ведь только в плохих книжках живущие разделены на два лагеря и не соприкасаются. А в действительности все так переплетается! Каким непоправимым ничтожеством надо быть, чтобы играть в жизни только одну роль, занимать одно лишь место в обществе, значить всего только одно и то же!

— А, так ты здесь, оказывается?

В комнату вошла девочка лет восьми с двумя мелкозаплетенными косичками. Узко разрезанные, уголками врозь поставленные глаза придавали ей шаловливый и лукавый вид.

Когда она смеялась, она их приподнимала. Она уже за дверью обнаружила, что у матери гость, но показавшись на пороге, сочла нужным изобразить на лице нечаянное удивление, сделала книксен и устремила на доктора немигающий, безбоязненный взгляд рано задумывающегося, одиноко вырастающего ребенка.

— Моя дочь Катенька. Прошу любить и жаловать.

— Вы в Мелюзееве карточки показывали. Как выросла и изменилась!

— Так ты, оказывается, дома? А я думала, — гуляешь. Я и не слышала, как ты вошла.

— Вынимаю из дыры ключ, а там вот такой величины крысина!

Я закричала и в сторону! Думала, умру со страху.

Катенька говорила, корча премилые рожицы, тараща плутовские глаза и растягивая кружком ротик, как вытащенная из воды рыбка.

— Ну ступай к себе. Вот уговорю дядю к обеду остаться, выну кашу из духовой и позову тебя.

— Спасибо, но вынужден отказаться. У нас вследствие моих наездов в город стали в шесть обедать. Я привык не опаздывать, а езды три часа с чем-то, если не все четыре. Потому-то я к вам так рано, — простите, — и скоро подымусь.

— Только полчаса еще.

— С удовольствием.

15

— А теперь, — откровенность за откровенность.

Стрельников, о котором вы рассказывали, это муж мой Паша, Павел Павлович Антипов, которого я ездила разыскивать на фронт, и в мнимую смерть которого с такою правотой отказывалась верить.

— Я не поражен и подготовлен. Я слышал эту басню и считаю её вздорной. Оттого-то я и забылся до такой степени, что со всей свободой и неосторожностью говорил с вами о нем, точно этих толков не существует. Но эти слухи бессмыслица. Я видел этого человека. Как могут вас связывать с ним? Что между вами общего?

— И всё же это так, Юрий Андреевич. Стрельников это Антипов, муж мой. Я согласна с общим мнением. Катенька это тоже знает и гордится своим отцом. Стрельников это его подставное имя, псевдоним, как у всех революционных деятелей.

Из каких-то соображений он должен жить и действовать под чужим именем.

Вот он Юрятин брал, забрасывал нас снарядами, знал, что мы тут, и ни разу не осведомился, живы ли мы, чтобы не нарушить своей тайны. Это был его долг, разумеется. Если бы он спросил, как ему быть, мы бы ему то же посоветовали. Вы также скажете, что моя неприкосновенность, сносность жилищных условий, предоставленных горсоветом и прочая, — косвенные доказательства его тайной заботы о нас! всё равно вы мне этого не втолкуете. Быть тут рядом и устоять против искушения повидать нас! Это в моем мозгу не укладывается, это выше моего разумения. Это нечто мне недоступное, не жизнь, а какая-то римская гражданская доблесть, одна из нынешних премудростей.

Но я подпадаю под ваше влияние и начинаю петь с вашего голоса.

Я бы этого не хотела. Мы с вами не единомышленники. Что-то неуловимое, необязательное мы понимаем одинаково. Но в вещах широкого значения, в философии жизни лучше будем противниками.

Но вернемся к Стрельникову.

Теперь он в Сибири, и вы правы, до меня тоже доходили сведения о нареканиях на него, от которых у меня холодеет сердце. Теперь он в Сибири, на одном из сильно продвинувшихся наших участков, наносит поражение своему дворовому дружку и впоследствии фронтовому товарищу, бедняжке Галиуллину, от которого не скрыт секрет его имени и моего супружества, и который по неоценимой тонкости никогда не давал

мне этого почувствовать, хотя при имени Стрельникова рвет и мечет и выходит из себя. Да, так, значит, теперь он в Сибири.

А когда он тут был (он тут долго пробыл и жил всё время на путях в вагоне, где вы его видели), я всё порывалась столкнуться с ним как-нибудь случайно, непредвиденно. Иногда он в штаб ездил, помещавшийся там, где прежде находилось Военное управление Комуча, войск Учредительного собрания. И странная игра судьбы. Вход в штаб был в том же флигеле, где меня раньше Галиуллин принимал, когда я приходила за других хлопотать. Например, была нашумевшая история в кадетском корпусе, кадеты стали неугодных преподавателей подстерегать и пристреливать под предлогом их приверженности большевизму. Или когда начались преследования и избиения евреев. Кстати. Если мы городские жители и люди умственного труда, половина наших знакомых из их числа. И в такие погромные полосы, когда начинаются эти ужасы и мерзости, помимо возмущения, стыда и жалости, нас преследует ощущение тягостной двойственности, что наше сочувствие наполовину головное, с неискренним неприятным осадком.

Люди, когда-то освободившие человечество от ига идолопоклонства и теперь в таком множестве посвятившие себя освобождению его от социального зла, бессильны освободиться от самих себя, от верности отжившему допотопному наименованию, потерявшему значение, не могут подняться над собою и бесследно раствориться среди остальных, религиозные основы которых они сами заложили и которые были бы им так близки, если бы они их лучше знали.

Наверное, гонения и преследования обязывают к этой бесполезной и гибельной позе, к этой стыдливой, приносящей одни бедствия, самоотверженной обособленности, но есть в этом и внутреннее одряхление, историческая многовековая усталость.

Я не люблю их иронического самоподбадривания, будничной бедности понятий, несмелого воображения. Это раздражает, как разговоры стариков о старости и больных о болезни. Вы согласны?

— Я об этом не думал. У меня есть товарищ, некий Гордон, он тех же взглядов.

— Так вот сюда я Пашу стеречь ходила. В надежде на его приезд или выход. Когда-то во флигеле была канцелярия генерал-губернатора. Теперь на двери табличка: «Бюро претензий». Вы, может быть, видели? Это красивейшее место в городе. Площадь перед дверью вымощена брусчаткой. Перейдя площадь, городской сад. Калина, клен, боярышник. Становилась на тротуаре в кучке просителей и поджидала. Разумеется, не

ломилась на прием, не говорила, что жена. Фамилии-то ведь разные. Да и при чем тут голос сердца? У них совсем другие правила. Например, родной его отец Павел Ферапонтович Антипов, бывший политический ссыльный, из рабочих, где-то тут совсем недалеко на тракте в суде работает. В месте своей прежней ссылки. И друг его, Тиверзин. Члены революционного трибунала.

Так что вы думаете? Сын отцу тоже не открывается, и тот принимает это как должное, не обижается. Раз сын зашифрован, значит, нельзя. Это кремни, а не люди. Принципы. Дисциплина.

Да, наконец, если бы и доказала я, что жена, подумаешь, важность! До жен ли было тут? Такие ли были времена? Мировой пролетариат, переделка вселенной, это другой разговор, это я понимаю. А отдельное двуногое вроде жены там какой-то, это так, тьфу, последняя блоха или вошь.

Адъютант обходил, опрашивал. Некоторых впускал. Я не называла фамилии, на вопрос о деле отвечала, что по личному.

Наперед можно было сказать, что штука пропащая, отказ.

Адъютант пожимал плечами, оглядывал подозрительно. Так ни разу и не видала.

И вы думаете, он гнушается нами, разлюбил, не помнит? О, напротив! Я так его знаю! У него от избытка чувств такое задумано! Ему надо все эти военные лавры к нашим ногам положить, чтобы не с пустыми руками вернуться, а во всей славе, победителем! Обессмертить, ослепить нас! Как ребенок!

В комнату снова вошла Катенька, Лариса Федоровна подхватила недоумевающую девочку на руки, стала раскачивать ее, щекотать, целовать и душить в объятиях.

16

Юрий Андреевич возвращался верхом из города в Варыкино. Он в несчетный раз проезжал эти места. Он привык к дороге, стал нечувствителен к ней, не замечал ее.

Он приближался к лесному перекрестку, где от прямого пути на Варыкино ответвлялась боковая дорога в рыбачью слободу Васильевское на реке Сакме. В месте их раздвоения стоял третий в окрестностях столб с сельскохозяйственной рекламою. Близ этого перепутья застигал доктора обыкновенно закат. Сейчас тоже вечерело.

Прошло более двух месяцев с тех пор, как в одну их своих поездок в

город он не вернулся к вечеру домой и остался у Ларисы Федоровны, а дома сказал, что задержался по делу в городе и заночевал на постоялом дворе у Самдевятова. Он давно был на ты с Антиповой и звал её Ларою, а она его — Живаго.

Юрий Андреевич обманывал Тоню и скрывал от нее вещи, всё более серьезные и непозволительные. Это было неслыханно.

Он любил Тоню до обожания. Мир её души, её спокойствие были ему дороже всего на свете. Он стоял горой за её честь, больше чем её родной отец и чем она сама. В защиту её уязвленной гордости он своими руками растерзал бы обидчика. И вот этим обидчиком был он сам.

Дома в родном кругу он чувствовал себя неуличенным преступником. Неведение домашних, их привычная приветливость убивали его. В разгаре общей беседы он вдруг вспоминал о своей вине, цепенел и переставал слышать что-либо кругом и понимать.

Если это случалось за столом, проглоченный кусок застревал в горле у него, он откладывал ложку в сторону, отодвигал тарелку. Слезы душили его. «Что с тобой?» — недоумевала Тоня.

— «Ты, наверное, узнал в городе что-нибудь нехорошее?

Кого-нибудь посадили? Или расстреляли? Скажи мне. Не бойся меня расстроить. Тебе будет легче».

Изменил ли он Тоне, кого-нибудь предпочтя ей? Нет, он никого не выбирал, не сравнивал. Идеи «свободной любви», слова вроде «прав и запросов чувства» были ему чужды. Говорить и думать о таких вещах казалось ему пошлостью. В жизни он не срывал «цветов удовольствия», не причислял себя к полубогам и сверхчеловекам, не требовал для себя особых льгот и преимуществ. Он изнемогал под тяжестью нечистой совести.

Что будет дальше? — иногда спрашивал он себя, и не находя ответа, надеялся на что-то несбыточное, на вмешательство каких-то непредвиденных, приносящих разрешение, обстоятельств.

Но теперь было не так. Он решил разрубить узел силою. Он вез домой готовое решение. Он решил во всем признаться Тоне, вымолить у нее прощение и больше не встречаться с Ларою.

Правда, тут не всё было гладко. Осталось, как ему теперь казалось, недостаточно ясным, что с Ларою он порывает навсегда, на веки вечные. Он объявил ей сегодня утром о желании во всем открыться Тоне и о невозможности их дальнейших встреч, но теперь у него было такое чувство, будто сказал он это ей слишком смягченно, недостаточно решительно.

Ларисе Федоровне не хотелось огорчать Юрия Андреевича тяжелыми сценами. Она понимала, как он мучится и без того. Она постаралась выслушать его новость как можно спокойнее. Их объяснение происходило в пустой, необжитой Ларисой Федоровной комнате прежних хозяев, выходившей на Купеческую. По Лариным щекам текли неощутимые, несознаваемые ею слезы, как вода шедшего в это время дождя по лицам каменных статуй напротив, на доме с фигурами. Она искренне, без напускного великодушия, тихо приговаривала: «Делай, как тебе лучше, не считайся со мною. Я всё переборю». И не знала, что плачет, и не утирала слез.

При мысли о том, что Лариса Федоровна поняла его превратно и что он оставил её в заблуждении, с ложными надеждами, он готов был повернуть и скакать обратно в город, чтобы договорить оставшееся недосказанным, а главное распроститься с ней гораздо горячее и нежнее, в большем соответствии с тем, чем должно быть настоящее расставание на всю жизнь, навеки. Он едва пересилил себя и продолжал путь.

По мере того, как низилось солнце, лес наполнялся холодом и темнотой. В нем запахло лиственною сыростью распаренного веника, как при входе в предбанник. В воздухе, словно поплавки на воде, недвижно распластались висячие рои комаров, тонко нывшие в унисон, все на одной ноте. Юрий Андреевич без числа хлопал их на лбу и шее, и звучным шлепкам ладони по потному телу удивительно отвечали остальные звуки верховой езды: скрип седельных ремней, тяжеловесные удары копыт наотлет, вразмашку, по чмокающей грязи, и сухие лопающиеся залпы, испускаемые конскими кишками. Вдруг вдали, где застрял закат, защелкал соловей.

«Очнись! Очнись!» — звал и убеждал он, и это звучало почти как перед Пасхой: «Душе моя, душе моя! Восстани, что спиши!»

Вдруг простейшая мысль осенила Юрия Андреевича. К чему торопиться? Он не отступит от слова, которое он дал себе самому. Разоблачение будет сделано. Однако, где сказано, что оно должно произойти сегодня? Еще Тоне ничего не объявлено.

Еще не поздно отложить объяснение до следующего раза. Тем временем он еще раз съездит в город. Разговор с Ларой будет доведен до конца, с глубиной и задушевностью, искупающей все страдания. О как хорошо! Как чудно! Как удивительно, что это раньше не пришло ему в голову!

При допущении, что он еще увидит Антипову, Юрий Андреевич обезумел от радости. Сердце часто забилось у него. Он всё снова пережил в

предвосхищении.

Бревенчатые закоулки окраины, деревянные тротуары. Он идет к ней. Сейчас, в Новосвалочном, пустыри и деревянная часть города кончится, начнется каменная. Домишки пригорода мелькают, проносятся мимо, как страницы быстро перелистываемой книги, не так, как когда их переворачиваешь указательным пальцем, а как когда мякишем большого по их обрезу с треском прогоняешь их все. Дух захватывает! Вот там живет она, в том конце. Под белым просветом к вечеру прояснившегося дождливого неба. Как он любит эти знакомые домики по пути к ней! Так и подхватил бы их с земли на руки и расцеловал! Эти, поперек крыш нахлобученные одноглазые мезонины! Ягодки отраженных в лужах огоньков и лампад! Под той белой полосой дождливого уличного неба. Там он опять получит в дар из рук творца эту Богом созданную белую прелесть. Дверь отворит в темное закутанная фугура. И обещание её близости, сдержанной, холодной, как светлая ночь севера, ничьей, никому не принадлежащей, подкатит навстречу, как первая волна моря, к которому подбегаешь в темноте по песку берега.

Юрий Андреевич бросил поводья, подался вперед с седла, обнял коня за шею, зарыл лицо в его гриве. Приняв эту нежность за обращение ко всей его силе, конь пошел вскачь.

На плавном полете галопа, в промежутке между редкими, еле заметными прикосновениями коня к земле, которая все время отрывалась от его копыт и отлетала назад, Юрий Андреевич, кроме ударов сердца, бушевавшего от радости, слышал еще какие-то крики, которые, как он думал, мерещились ему.

Близкий выстрел оглушил его. Доктор поднял голову, схватившись за поводья, и натянул их. Конь с разбега сделал раскорякой несколько скачков вбок, попятился и стал садиться на круп, собираясь стать на дыбы.

Впереди дорога разделялась надвое. Около нее в лучах зари горела вывеска «Моро и Ветчинкин. Сеялки, Молотилки». Поперек дороги, преграждая ее, стояли три вооруженных всадника.

Реалист в форменной фуражке и поддевке, перекрещенной пулеметными лентами, кавалерист в офицерской шинели и кубанке и странный, как маскарадный ряженый, толстяк в стеганых штанах, ватнике и низко надвинутой поповской шляпе с широкими полями.

— Ни с места, товарищ доктор, — ровно и спокойно сказал старший между троими, кавалерист в кубанке. — В случае повиновения гарантируем вам полную невредимость. В противном случае, не прогневайтесь, пристрелим. У нас убит фельдшер в отряде. Принудительно

вас мобилизуем, как медицинского работника. Слезьте с лошади и передайте поводья младшему товарищу. Напоминаю. При малейшей мысли о побеге церемониться не будем.

— Вы сын Микулицына Ливерий, товарищ Лесных?

— Нет, я его начальник связи Каменнодворский.

ЧАСТЬ десятая.

НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ

1

Стояли города, села, станки. Город Крестовоздвиженск, станица Омельчино, Пажинск, Тысяцкое, починок Яглинское, Звонарская слобода, станок Вольное, Гуртовщики, Кежемская заимка, станица Казеево, слобода Кутейный посад, село Малый Ермолай.

Тракт пролегал через них, старый-престарый, самый старый в Сибири, старинный почтовый тракт. Он, как хлеб, разрезал города пополам ножом главной улицы, а села пролетал не оборачиваясь, раскидав далеко позади шпалерами выстроившиеся избы, или выгнув их дугой или крюком внезапного поворота.

В далеком прошлом, до прокладки железной дороги через Ходатское, проносились по тракту почтовые тройки. Тянулись в одну сторону обозы с чаями, хлебом и железом фабричной выделки, а в другую прогоняли под конвоем по этапу пешие партии арестантов. Шагали в ногу, все разом позвякивая железом накандальников, пропащие, отчаянные головушки, страшные, как молнии небесные. И леса шумели кругом, темные, непроходимые.

Тракт жил одной семьей. Знались и роднились город с городом, селенье с селеньем. В Ходатском, на его пересечении с железною дорогой были паровозоремонтные мастерские, механические заведения, подсобные железной дороге, мыкала горе голытьба, скученная в казармах, болела, мерла. Отбывшие каторгу политические ссыльные с техническими познаниями выходили сюда в мастера, оставались тут на поселении.

Вдоль всей этой линии первоначальные Советы давно были свергнуты. Некоторое время держалась власть Сибирского временного правительства, а теперь сменена была по всему краю властью верховного правителя Колчака.

2

На одном из перегонов дорога долго подымалась в гору. Обзор открывавшихся далей все расширялся. Казалось, конца не будет подъему и росту кругозора. И когда лошади и люди уставали и останавливались, чтобы перевести дыхание, подъем кончался.

Впереди под дорожный мост бросалась быстрая река Кежма.

За рекой на еще более крутой высоте показывалась кирпичная стена Воздвиженского монастыря. Дорога низом огибала монастырский косогор и в несколько поворотов между задними дворами окраины пробиралась внутрь города.

Там она еще раз захватывала край монастырского владения на главной площади, куда растворялись железные, крашенные в зеленую краску монастырские ворота. Вратную икону на арке входа полувенком обрамляла надпись золотом: «Радуйся живоносный кресте, благочестия непобедимая победа».

Была зима в исходе, Страстная, конец великого поста. Снег на дорогах чернел, обличая начавшееся таяние, а на крышах был еще бел и нависал плотными высокими шапками.

Мальчишкам, лазившим к звонарям на Воздвиженскую колокольню, дома внизу казались сдвинутыми в кучу маленькими ларцами и ковчежцами. К домам подходили величиной в точечку маленькие черные человечки. Некоторых с колокольни узнавали по движениям. Подходившие читали расклеенный по стенам указ Верховного правителя о призыве в армию трех очередных возрастов.

3

Ночь принесла много непредвиденного. Стало тепло, необычно для такого времени. Моросил бисерный дождь, такой воздушный, что казалось, он не достигал земли, и дымкой водяной пыли расплывался в воздухе. Но это была видимость. Его теплых, ручьями растекавшихся вод было достаточно, чтобы смыть дочиста снег с земли, которая теперь вся чернела, лоснясь, как от пота.

Малорослые яблони, все в почках, чудесным образом перекидывали из садов ветки через заборы на улицу. С них, недружно перестукиваясь, падали капли на деревянные тротуары.

Барабанный разнобой их раздавался по всему городу.

Лаял и скулил во дворе фотографии до утра посаженный на цепь щенок Томик. Может быть, раздраженная его лаем, на весь город каркала ворона в саду у Галузиных.

В нижней части города купцу Любезнову привезли три телеги клади. Он отказывался её принять, говоря, что это ошибка и он такого товару никогда не заказывал. Ссылаясь на поздний час, молодцы ломовики просились к нему на ночлег. Купец ругался с ними, гнал их прочь и не

отворял им ворот. Перебранка их тоже была слышна во всем городе.

В час седьмЫй по церковному, а по общему часоисчислению в час ночи, от самого грузного, чуть шевельнувшегося колокола у Воздвиженья отделилась и поплыла, смешиваясь с темною влагой дождя, волна тихого, темного и сладкого гудения. Она оттолкнулась от колокола, как отрывается от берега и тонет, и растворяется в реке отмытая половодьем земляная глыба.

Это была ночь на Великий четверг, день Двенадцати евангелий. В глубине за сетчатою пеленою дождя двинулись и поплыли еле различимые огоньки и озаренные ими лбы, носы, лица. Говеющие прошли к утрене.

Через четверть часа от монастыря послышались приближающиеся шаги по мосткам тротуара. Это возвращалась к себе домой лавочница Галузина с едва начавшейся заутрени. Она шла неровною походкою, то разбегаясь, то останавливаясь, в накинутом на голову платке и расстегнутой шубе. Ей стало нехорошо в духоте церкви и она вышла на воздух, а теперь стыдилась и сожалела, что не достояла службы и второй год не говеет. Но не в этом была причина её печали. Днем её огорчил расклеенный всюду приказ о мобилизации, действию которого подлежал её бедный дурачок сын Тереша. Она гнала это неудовольствие из головы, но всюду белевший в темноте клок объявления напоминал ей о нем.

Дом был за углом, рукой подать, но на воле ей было лучше.

Ей хотелось побыть на воздухе, её не тянуло домой, в духоту.

Грустные мысли обуревали ее. Если бы она взялась продумать их вслух по порядку, у нее не хватило бы слов и времени до рассвета. А тут, на улице, эти нерадостные соображения налетали целыми комками, и со всеми ими можно было разделаться в несколько минут, в два-три конца от угла монастыря до угла площади.

Светлый праздник на носу, а в доме ни живой души, все разъехались, оставили её одну. А что, разве не одну? Конечно, одну. Воспитанница Ксюша не в счет. Да и кто она? Чужая душа потемки. Может, она друг, может, враг, может, тайная соперница. Перешла она в наследство от первого мужнина брака, Власушкина приемная дочь. А может, не приемная, а незаконная?

А может, и вовсе не дочь, а совсем из другой оперы! Разве в мужскую душу влезешь? А впрочем, ничего не скажешь против девушки. Умная, красивая, примерная. Куда умнее дурачка Терешки и отца приемного.

Вот и одна она на пороге Святой, покинули, разлетелись, кто куда.

Муж Власушка вдоль по тракту пустился новобранцам речи говорить, напутствовать призванных на ратный подвиг. А лучше бы, дурак, о родном

сыне позаботился, выгородил от смертельной опасности.

Сын Тереша тоже не утерпел, бросился наутек, накануне великого праздника. В Кутейный посад укатил к родне, развлечься, утешиться после перенесенного. Исключили малого из реального. В половине классов по два года высидел без последствий, а в восьмом не пожалели, выперли.

Ах какая тоска! О Господи! Отчего стало так плохо, просто руки опускаются. Всё из рук валится, не хочется жить! Отчего это так сделалось? В том ли сила, что революция? Нет, ах нет!

От войны это всё. Перебили на войне весь цвет мужской, и осталась одна гниль никчемная, никудышная.

То ли было в батюшкином дому, у отца подрядчика? Отец был непьющий, грамотный, дом был полная чаша. И две сестры Поля и Оля. И так имена складно сходились, такие же обе они были согласные, под пару красавицы. И плотничьи десятники к отцу ходили видные, статные, авантажные. Или вдруг вздумали они, — нужды в доме не знали — вздумали шести шерстей шарфы вязать, затейницы. И что же, такие оказались вязальщицы, по всему уезду шарфы славились. И всё, бывало, радовало густотой и стройностью, — церковная служба, танцы, люди, манеры, даром что из простых была семья, мещане, из крестьянского и рабочего звания. И Россия тоже была в девушках, и были у ней настоящие поклонники, настоящие защитники, не чета нынешним. А теперь сошел со всего лоск, одна штатская шваль адвокатская, да жидова день и ночь без устали слова жует, словами давится.

Власушка со приятели думает замануть назад золотое старое времячко шампанским и добрыми пожеланиями. Да разве так потерянной любви добиваются? Камни надо ворочать для этого, горы двигать, землю рыть!

4

Галузина уже не раз доходила до привоза, торговой площади Крестовоздвиженска. Отсюда в дом к ней было налево. Но каждый раз она передумывала, поворачивала назад и опять углублялась в прилегавшие к монастырю закоулки.

Привозная площадь была величиной с большое поле. В прежнее время по базарным дням крестьяне уставляли её всю своими телегами. Одним концом она упиралась в конец Еленинской.

Другая сторона по кривой дуге была застроена небольшими домами в один этаж или два. Все они были заняты амбарами, конторами, торговыми помещениями, мастерскими ремесленников.

Здесь, в спокойные времена, бывало, за чтением газеты-копейки восседал на стуле у порога своей широченной, на четыре железных раствора раскидывавшейся двери, грубиян-медведь в очках и длиннополом сюртуке, женоненавистник Брюханов, торговавший кожами, дегтем, колесами, конской сбруей, овсом и сеном.

Здесь на выставке маленького тусклого оконца годами пылилось несколько картонных коробок с парными, убранными лентами и букетиками, свадебными свечами. За оконцем в пустой комнатке без мебели и почти без признаков товара, если не считать нескольких наложенных один на другой вощаных кругов, совершались тысячные сделки на мастику, воск и свечи неведомыми доверенными неведомо где проживавшего свечного миллионера.

Здесь в середине уличного ряда находилась большая в три окна колониальная лавка Галузиных. В ней три раза в день подметали щепяшийся некрашеный пол спитым чаем, который пили без меры весь день приказчики и хозяин. Здесь молодая хозяйка охотно и часто сиживала за кассой. Любимый её цвет был лиловый, фиолетовый, цвет церковного, особо торжественного облачения, цвет нераспустившейся сирени, цвет лучшего бархатного её платья, цвет её столового винного стекла. Цвет счастья, цвет воспоминаний, цвет закатившегося дореволюционного девичества России казался ей тоже светлосиреневым. И она любила сидеть в лавке за кассой, потому что благоухавший крахмалом, сахаром и темнолиловой черносмородинной карамелью в стеклянной банке фиолетовый сумрак помещения подходил под её излюбленный цвет.

Здесь на углу, рядом с лесным складом стоял старый, рассевшийся на четыре стороны, как подержанный рыдван, двухэтажный дом из серого теса. Он состоял из четырёх квартир.

В них было два входа, по обоим углам фасада. Левую половину низа занимал аптекарский магазин Залкинда, правую — контора нотариуса. Над аптекарским магазином проживал старый многосемейный дамский портной Шмулевич. Против портного, над нотариусом, ютилось много квартирантов, о профессиях которых говорили покрывавшие всю входную дверь вывески и таблички.

Здесь производилась починка часов и принимал заказы сапожник.

Здесь держали фотографию компаньоны Жук и Штродах, здесь помещалась гравировальня Каминского.

Ввиду тесноты переполненной квартиры молодые помощники фотографов, ретушер Сеня Магидсон и студент Блажеин соорудили себе род лаборатории во дворе, в проходной конторке дровяного сарая. Они и

сейчас там, по-видимому, занимались, судя по злому глазу красного проявительного фонаря, подслеповато мигавшего в оконце конторки. Под этим оконцем и сидел на цепи повизгивавший на всю Еленинскую песик Томка.

«Сбились всем кагалом», — подумала Галузина, проходя мимо серого дома. — «Притон нищеты и грязи». Но тут же она рассудила, что не прав Влас Пахомович в своем юдофобстве. Не велика спица в колеснице эти люди, чтобы что-то значить в судьбах державы. Впрочем, спроси старика Шмулевича, отчего непорядок и смута, изогнется, скривит рожу и скажет, осклабившись: «Лейбочкины штучки».

Ах, но о чем, но о чем она думает, чем забивает голову?

Разве в этом дело? В том ли беда? Беда в городах. Не ими Россия держится. Польстившись на образованность, потянулись за городскими и не вытянули. От своего берега отстали, к чужому не пристали.

А, может быть, наоборот, весь грех в невежестве. Ученый сквозь землю видит, обо всем заранее догадается. А мы когда голову снимут, тогда шапки хватимся. Как в темном лесу. Оно положим не сладко теперь и образованным. Вон из городов погнало бесхлебье. Ну вот и разберись. Сам чорт ногу сломит.

А все-таки то ли дело наша родня деревенская? Селитвины, Шелабурины, Памфил Палых, братья Нестор и Панкрат Модых? Своя рука владыка, себе головы, хозяева. Дворы по тракту новые, залюбуешься. Десятин по пятнадцати засева у каждого, лошади, овцы, коровы, свиньи. Хлеба запасено вперед года на три.

Инвентарь — загляденье. Уборочные машины. Перед ними Колчак лебезит, к себе зазывает, комиссары в лесное ополчение сманивают. С войны пришли в Георгиях, и сразу нарасхват в инструктора. Хушь ты с погонами, хушь без погон. Коли ты человек знающий, везде на тебя спрос. Не пропадешь.

Однако пора домой. Просто неприлично так долго женщине разгуливать. Добро бы у себя в саду. Да там развезло, увязнешь в грязи. Как будто маленько отлегло.

И окончательно запутавшись в рассуждениях и потеряв их нить, Галузина подошла к дому. Но перед тем как переступить его порог, она в минуту топтания перед крыльцом еще охватила мысленным взором много всякой всячины.

Она вспомнила теперешних верховодов в Ходатском, о которых имела близкое представление, политических ссыльных из столиц, Тиверзина, Антипова, анархиста Вдовиченко-Черное знамя, здешнего слесаря

Горшеню Бешеного. Всё это были люди себе на уме. Много они на своем веку перебаламутили, что-то верно опять замышляют, готовят. Без этого не могут. Жизнь провели при машинах и сами безжалостные, холодные, как машины. Ходят в коротких, поверх фуфаек, пиджаках, папиросы курят в костяных мундштуках, чтобы чем не заразиться, пьют кипяченую воду.

Ничего не выйдет у Власушки, эти всё перевернут по-своему, всегда поставят на своем.

И она задумалась о себе. Она знала, что она женщина славная и самобытная, хорошо сохранившаяся и умная, не плохой человек.

Ни одно из этих качеств не встречало признания в этой захолустной дыре, да и нигде, может быть. И непристойные куплеты о дуре Сентетюрихе, известные по всему Зауралью, из которых можно было привести только начальные строчки:

Сентетюриха телегу продала,
На те деньги балалайку завела,

А дальше шли скабрезности, в Крестовоздвиженске пелись, как она подозревала, с намеком на нее.

И, горько вздохнув, она вошла в дом.

5

Не останавливаясь в передней, она прошла в шубе к себе в спальню. Окна комнаты выходили в сад. Теперь, ночью, нагромождения теней перед окном внутри, и за окном снаружи, почти повторяли друг друга. Обвисавшие мешки оконных драпировок были почти как обвисающие мешки деревьев на дворе, голых и черных, с неясными очертаниями. Тафтяную ночную тьму кончавшейся зимы в саду согревал пробившийся сквозь землю чернолиловый жар надвинувшейся весны. В комнате приблизительно в такое же сочетание вступали два сходных начала, и пыльную духоту плохо выбитых занавесей смягчал и скрашивал темнофиолетовый жар приближающегося праздника.

Богородица на иконе выпрастывала из серебряной ризы оклада узкие, кверху обращенные, смуглые ладони. Она держала в каждой как бы по две начальных и конечных греческих буквы своего византийского наименования: метер неу, Матерь Божия. Вложенная в золотой подлампадник темная, как чернильница, лампада гранатового стекла разбрасывала по ковру спальни звездообразное, зубчиками чашки расщепленное мерцание.

Скидывая платок и шубу, Галузина неловко повернулась и её опять кольнуло в бок и стало подпирать лопатку. Она вскрикнула, испугалась, стала лепетать: «Великое заступление печальным, Богородице чистая, скорая помощница, миру покров», — и заплакала. Потом, выждав, когда боль улеглась, стала раздеваться. Задние крючки воротника и на спинке лифа выскальзывали из-под её рук и зарывались в морщинки дымчатой ткани. Она с трудом нашаривала их.

В комнату вошла разбуженная её приходом воспитанница Ксюша.

— Что же вы в потемках, маменька? Хотите, я лампу принесу?

— Не надо. И так видно.

— Мамочка Ольга Ниловна, дайте я расстегну. Не надо мучиться.

— Не слушаются пальцы, хоть плачь. Не хватило ума у порхатого крючки пришить по-человечески, слепая курица.

Спороть донизу и всей кромкой в рожу.

— Хорошо пели у Воздвиженья. Ночь тихая. Сюда доносило воздухом.

— Пели-то хорошо. Да мне, мать моя, плохо. Опять колотье и тут и тут. Везде. Вот какой грех. Не знаю, что делать.

— Гомеопат Стыдобский вам помогал.

— Всегда советы неисполнимые. Коновал твой гомеопат оказался. Ни в дудочку, ни в сопелочку. Это во-первых. А во-вторых, уехал он. Уехал, уехал. Да не он один. Перед праздником все кинулись из города. Землетрясение ли какое предвидится?

— Ну тогда пленный доктор венгерский хорошо вас пользовал.

— Опять ерунда с горохом. Говорю тебе, никого не осталось, все разбрелись. Очутился Керени Лайош с другими мадьярами за демаркационной линией. Служить заставили голубчика. Взяли в Красную армию.

— Ведь это у вас одна мнительность. Сердечный невроз.

Простое внушение народное здесь чудеса производит. Помните, солдатка шептунья вас с успехом заговаривала. Как рукой снимало. Забыла, как ее, солдатку. Имя забыла.

— Нет, ты положительно считаешь меня темною дурой. Еще чего доброго про меня за глаза Сентетюриху поешь.

— Побойтесь Бога! Грех вам, маменька. Лучше напомните, как солдатку зовут. На языке вертится. Не успокоюсь, пока не вспомню.

— А у нее больше имен, чем юбок. Не знаю, какое тебе.

Кубарихой её зовут и Медведихой, и Злыдарихой. И еще прозвищ с десяток. Нет поблизости и ее. Кончились гастроли, ищи ветра в поле. Заперли рабу Божию в Кежемскую тюрьму. За вытравление плода и

порошки какие-то. А она, вишь, чем в остроге скучать, из тюрьмы дала драла куда-то на Дальний Восток. Я ведь тебе говорю, все разбежались. Влас Пахомыч, Тереша, тетя Поля сердце податливое. Честных женщин одни мы с тобой две дуры во всем городе, разве я шучу. И никакой врачебной помощи. Случись что, и конец, никого не докличешься. Говорили, знаменитость из Москвы в Юрятине, профессор, сын самоубийцы купца сибирского.

Пока я раздумывала выписать, двадцать красных кордонов на дороге наставили, чихнуть некуда. А теперь о другом. Ступай спать и я лечь попробую. Тебе студент Блажеин голову кружит.

Зачем отпираться. Всё равно не ухоронишься, покраснела как рак. Трудится твой студент несчастный над карточками во святую ночь, карточки мои проявляет и печатает. Сами не спят и другим спать не дают. Томик у них на весь город заливается. И ворона стерьва раскаркалась у нас на яблоне, видно опять не уснуть мне всю ночь. Да что ты, право, обижаешься, недотрога ты этакая? На то и студенты, чтобы девушкам нравиться.

6

— Что это там собака надрывается? Надо бы посмотреть, в чем дело. Даром она лаять не станет. Погоди, Лидочка, дуй тебя в хвост, помолчи минуту. Надо выяснить обстановку. Неровён час, ащеулы нагрянут. Ты не уходи, Устин. И ты стой тут, Сивоблюй. Без вас обойдется.

Не слышавший просьб, чтобы он повременил и остановился, представитель из центра продолжал устало ораторской скороговоркой:

— Существующая в Сибири буржуазно-военная власть политикой грабежа, поборов, насилия, расстрелов и пыток должна открыть глаза заблуждающимся. Она враждебна не только рабочему классу, но по сути вещей и всему трудовому крестьянству. Сибирское и Уральское трудовое крестьянство должно понять, что только в союзе с городским пролетариатом и солдатами, в союзе с киргизской и бурятской беднотой…

Наконец, он расслышал, что его обрывают, остановился, утер платком потное лицо, утомленно опустил опухшие веки, закрыл глаза.

Близстоявшие к нему обращались вполголоса:

— Передохни маненько. Водицы испей.

Беспокоившемуся партизанскому главарю сообщали:

— Да чего ты волнуешься? Всё в порядке. Сигнальный фонарик на окне. Сторожевой пост, говоря картинно, пожирает глазами пространство. Я полагаю, можно возобновить слово по докладу.

Говорите, товарищ Лидочка.

Внутренность большого сарая была освобождена от дров. В очищенной части происходило нелегальное собрание. Ширмою собравшимся служила дровяная кладь до потолка, отгораживавшая эту порожнюю половину от проходной конторки и входа. В случае опасности собравшимся был обеспечен спуск под пол и выход из-под земли на глухие задворки Константиновского тупика за монастырскою стеною.

Докладчик, в черной коленкоровой шапочке, прикрывавшей его лысину во всю голову, с матовым бледнооливковым лицом и черной бородою до ушей, страдал нервною испариной и всё время обливался потом. Он жадно разжигал недокуренный окурок о горячую воздушную струю горевшей на столе керосиновой лампы, и низко нагибался к разбросанным на столе бумажкам. Нервно и быстро бегая по ним близорукими глазками и точно их обнюхивая, он продолжал тусклым и усталым голосом:

— Этот союз городской и деревенской бедноты осуществим только через советы. Волею неволей сибирское крестьянство будет теперь

стремиться к тому же, за что уже давно начал борьбу сибирский рабочий. Их общая цель есть свержение ненавистного народу самодержавия адмиралов и атаманов и установление власти советов крестьян и солдат посредством всенародного вооруженного восстания. При этом в борьбе с вооруженными до зубов офицерско-казачьими наемниками буржуазии восставшим придется вести правильную фронтовую войну, упорную и продолжительную.

Опять он остановился, утер пот, закрыл глаза. Противно регламенту кто-то встал, поднял руку, пожелал вставить замечание.

Партизанский главарь, точнее военачальник Кежемского объединения партизан Зауралья, сидел перед самым носом докладчика в вызывающе-небрежной позе, и грубо перебивал его, не выказывая ему никакого уважения. С трудом верилось, чтобы такой молодой военный, почти мальчик, командовал целыми армиями и соединениями, и его слушались и перед ним благоговели. Он сидел, кутая руки и ноги в борта кавалерийской шинели. Сброшенный шинельный верх и рукава, перекинутые на спинку стула, открывали туловище в гимнастерке с темными следами споротых прапорщицких погон.

По его бокам стояли два безмолвных молодца из его охраны, однолетки ему, в белых, успевших посереть овчинных коротайках с курчавой мерлушковой выпушкой. Их каменные красивые лица ничего не выражали, кроме слепой преданности начальнику и готовности ради него на что угодно. Они оставались безучастными к собранию, затронутым на нем вопросам, ходу прений, не говорили и не улыбались.

Кроме этих людей, в сарае было еще человек десять-пятнадцать народу. Одни стояли, другие сидели на полу, вытянув ноги в длину или задрав кверху колени и прислонившись к стене и её кругло выступающим проконопаченным бревнам.

Для почетных гостей были расставлены стулья. Их занимали три-четыре человека рабочих, старые участники первой революции, среди них угрюмый, изменившийся Тиверзин и всегда ему поддакивавший друг его, старик Антипов. Сопричисленные к божественному разряду, к ногам которого революция положила все дары свои и жертвы, они сидели молчаливыми, строгими истуканами, из которых политическая спесь вытравила все живое, человеческое.

Были еще в сарае фигуры, достойные внимания. Не зная ни минуты покоя, вставал с полу и садился на пол, расхаживал и останавливался посреди сарая столп русского анархизма Вдовиченко-Черное знамя, толстяк и великан с крупной головой, крупным ртом и львиною гривой, из

офицеров чуть ли не последней Русско-Турецкой войны и, во всяком случае, — Русско-Японской, вечно поглощенный своими бреднями мечтатель.

По причине беспредельного добродушия и исполинского роста, который мешал ему замечать явления неравного и меньшего размера, он без достаточного внимания относился к происходившему и, понимая всё превратно, принимал противные мнения за свои собственные и со всеми соглашался.

Рядом с его местом на полу сидел его знакомый, лесной охотник и зверолов Свирид. Хотя Свирид не крестьянствовал, его земляная, черносошная сущность проглядывала сквозь разрез темной суконной рубахи, которую он сгребал в комок вместе с крестиком у ворота и скреб и возил ею по телу, почесывая грудь. Это был мужик полубурят, душевный и неграмотный, с волосами узкими косицами, редкими усами и еще более редкой бородой в несколько волосков. Монгольский склад старил его лицо, всё время морщившееся сочувственной улыбкой.

Докладчик, объезжавший Сибирь с Военною инструкцией Центрального комитета, витал мыслями в ширях пространств, которые ему еще предстояло охватить. К большинству присутствовавших на собрании он относился безразлично. Но, революционер и народолюбец от младых ногтей, он с обожанием смотрел на сидевшего против него юного полководца. Он не только прощал мальчику все его грубости, представлявшиеся старику голосом почвенной подспудной революционности, но относился с восхищением к его развязным выпадам, как может нравиться влюбленной женщине наглая бесцеремонность её повелителя.

Партизанский вождь был сын Микулицына Ливерий, докладчик из центра — бывший трудовик-кооператор, в прошлом примыкавший к социалистам революционерам, Костоед-Амурский. В последнее время он пересмотрел свои позиции, признал ошибочность своей платформы, в нескольких развернутых заявлениях принес покаяние, и не только был принят в коммунистическую партию, но вскоре по вступлении в нее, послан на такую ответственную работу.

Эту работу поручили ему, человеку отнюдь не военному, в уважение к его революционному стажу, к его тюремным мытарствам и отсидкам, а также из предположения, что ему, как бывшему кооператору, должны быть хорошо известны настроения крестьянских масс в охваченной восстаниями Западной Сибири. А в данном вопросе это предполагаемое знакомство было важнее военных знаний.

Перемена политических убеждений сделала Костоеда неузнаваемым. Она изменила его внешность, движения, манеры.

Никто не помнил, чтобы в прежние времена он когда-либо был лыс и бородат. Но может быть, все это было накладное? Партия предписала ему строгую зашифрованность. Подпольные его клички были Берендей и товарищ Лидочка.

Когда улегся шум, вызванный несвоевременным заявлением Вдовиченки о его согласии с зачитанными пунктами инструкции, Костоед продолжал:

— В целях возможно полного охвата нарастающего движения крестьянских масс, необходимо немедленно установить связь со всеми партизанскими отрядами, находящимися в районе губернского комитета.

Далее Костоед заговорил об устройстве явок, паролей, шифров и способов сообщения. Затем опять он перешел к подробностям.

— Сообщить отрядам, в каких пунктах имеются оружейные, обмундировочные и продовольственные склады белых учреждений и организаций, где хранятся крупные денежные средства и система их хранения.

Надобно детально, во всех подробностях разработать вопросы о внутреннем устройстве отрядов, о начальниках, о военно-товарищеской дисциплине, о конспирации, о связи отрядов с внешним миром, об отношении к местному населению, о полевом военно-революционном суде, о подрывной тактике на территории противника, как-то: о разрушении мостов, железнодорожных линий, пароходов, барж, станций, мастерских с их технологическими приспособлениями, телеграфа, шахт, предметов продовольствия.

Ливерий терпел-терпел и не выдержал. Всё это казалось ему не относящимся к делу дилетантским бредом. Он сказал:

— Прекрасная лекция. Намотаю на ус. Видимо, всё это надо принять без возражения, чтобы не лишиться опоры Красной армии.

— Разумеется.

— А что же мне делать, распрекрасная моя Лидочка, с детскою твоей шпаргалкою, когда, дуй тебя в хвост, силы мои, в составе трех полков, в том числе артиллерии и конницы, давно в походе и великолепно бьют противника?

«Какая прелесть! Какая сила!» — думал Костоед.

Спорящих перебил Тиверзин. Ему не нравился неуважительный тон Ливерия. Он сказал:

— Извините, товарищ докладчик. Я не уверен. Может быть, я не

правильно записал один из пунктов инструкции. Я зачту его. Я хотел бы удостовериться: «Весьма желательно привлечение в комитет старых фронтовиков, бывших во время революции на фронте и состоявших в солдатских организациях. Желательно иметь в составе комитета одного или двух унтер-офицеров и военного техника». Товарищ Костоед, это правильно записано?

— Правильно. Слово в слово. Правильно.

— В таком случае позвольте заметить следующее. Этот пункт о военных специалистах беспокоит меня. Мы, рабочие, участники революции девятьсот пятого года не привыкли верить армейщине.

Всегда пролезает с ней контрреволюция.

Кругом раздавались голоса:

— Довольно! Резолюцию! Резолюцию! Пора расходиться.

Поздно.

— Я согласен с мнением большинства, — ввернул громыхающим басом Вдовиченко. — Выражаясь поэтически, вот именно.

Гражданские институции должны расти снизу, на демократических основаниях, как посаженные в землю и принявшиеся древесные отводки. Их нельзя вбивать сверху, как столбы частокола. В этом была ошибка якобинской диктатуры, отчего конвент и был раздавлен термидорианцами.

— Это как божий день, — поддержал приятеля по скитаниям Свирид, — это ребенок малый понимает. Надо было раньше думать, а теперь поздно. Теперь наше дело воевать да переть напролом. Кряхти да гнись. А то что ж это будет, размахались и на попят? Сам сварил, сам и кушай. Сам полез в воду, не кричи — утоп.

— Резолюцию! Резолюцию! — требовали со всех сторон. Еще немного поговорили, со всё менее наблюдающейся связью, кто в лес, кто по дрова, и на рассвете закрыли собрание. Расходились с предосторожностями поодиночке.

7

Было одно живописное место на тракте. Расположенные по крутому скату, разделенные быстрой речкой Пажинкой почти соприкасались: спускавшаяся сверху деревня Кутейный посад и пестревшее под нею село Малый Ермолай. В Кутейном провожали забранных на службу новобранцев, в Малом Ермолае — под председательством полковника Штрезе продолжала работу приемочная комиссия, свидетельствуя, после пасхального перерыва, подлежащую призыву молодежь Малоермолаевской и нескольких прилегавших волостей. По случаю набора в селе была конная милиция и казаки.

Был третий день не по времени поздней Пасхи и не по времени ранней весны, тихий и теплый. Столы с угощением для снаряжаемых рекрутов стояли в Кутейном на улице, под открытым небом, с краю тракта, чтобы не мешать езде. Их составили вместе не совсем в линию, и они длинной не правильной кишкою вытягивались под белыми, спускавшимися до земли скатертями.

Новобранцев угощали в складчину. Основой угощения были остатки пасхального стола, два копченых окорока, несколько куличей, две-три пасхи. Во всю длину столов стояли миски с солеными грибами, огурцами и квашеной капустой, тарелки своего, крупно нарезанного деревенского хлеба, широкие блюда крашеных, высокою горкою выложенных яиц. В их окраске преобладали розовые и голубые.

Наколупанной яичной скорлупой, голубой, розовой и с изнанки — белой, было намусорено на траве около столов. Голубого и розового цвета были высовывавшиеся из-под пиджаков рубашки на парнях. Голубого и розового цвета — платья девушек. Голубого цвета было небо. Розового — облака, плывшие по небу так медленно и стройно, словно небо плыло вместе с ними.

Розового цвета была подпоясанная семишолковым кушаком рубашка на Власе Пахомовиче Галузине, когда он бегом, дробно стуча каблуками сапог и выкидывая ногами направо-налево, сбежал с высокой лесенки Пафнуткинского крыльца к столам, — дом Пафнуткиных стоял над столами на горке, — и начал:

— Этот стакан народного самогона я заместо шампанского опустошаю за вас, ребятушки. Исполать вам и многая лета, отъезжающие молодые люди! Господа новобранцы! Я желаю проздравить вас еще во многих других моментах и отношениях.

Прошу внимания. Крестный путь, который расстилается перед вами дальнею дорогой, грудью стать на защиту родины от насильников, заливших поля родины братоубийственной кровью. Народ лелеял бескровно обсудить завоевания революции, но как партия большевиков будучи слуги иностранного капитала, его заветная мечта, Учредительное собрание, разогнано грубою силою штыка и кровь льется беззащитною рекою. Молодые отъезжающие люди! Выше подымите поруганную честь русского оружия, как будучи в долгу перед нашими честными союзниками, мы покрыли себя позором, наблюдая вслед за красными опять нагло подымающую голову Германию и Австрию. С нами Бог, ребятушки, — еще говорил Галузин, а уже крики ура и требования качать Власа Пахомовича заглушали его слова. Он поднес стакан к губам и стал медленными глотками пить сивушную, плохо очищенную жидкость.

Напиток не доставлял ему удовольствия. Он привык к виноградным винам более изысканных букетов. Но сознание приносимой общественной жертвы преисполняло его чувством удовлетворения.

— Орел у тебя родитель. Экий зверь речи отжаривать! Что твой думский Милюков какой-нибудь. Ей-Богу, — полупьяным языком среди поднявшейся пьяной многоголосицы нахваливал Гошка Рябых своему дружку и соседу за столом, Терентию Галузину, его папашу. — Право слово, орел. Видно не зря старается. Тебя хочет языком от солдатчины отхлопотать.

— Что ты, Гошка! Посовестился бы. Выдумает тоже, «отхлопотать». Подадут повестку в один день с тобой, вот и отхлопочет. В одну часть попадем. Из реального теперь выставили, сволочи. Матушка убивается. Не попасть, чего доброго, в вольноперы. В рядовые пошлют. А папаша, действительно, насчет речей парадных, и не говори. Мастер.

Главная вещь, откуда? Природное. Никакого систематического образования.

— Слыхал про Саньку Пафнуткина?

— Слыхал. Будто правда это такая зараза?

— На всю жизнь. Сухоткой кончит. Сам виноват.

Предупреждали, не ходи. Главная вещь, с кем спутался.

— Что же с ним теперь будет?

— Трагедия. Хотел застрелиться. Нынче на комиссии в Ермолае осматривают, должно возьмут. Пойду, говорит, в партизаны. Отомщу за язвы общества.

— Ты слышь, Гошка. Вот ты говоришь, заразиться. А ежели к им не ходить, можно другим заболеть.

— Я знаю про что ты. Ты, видать, этим занимаешься. Это не болезнь, а тайный порок.

— Я те в морду дам, Гошка, за такие слова. Не смей обижать товарища, врун паршивый!

— Пошутил я, утихомирься. Я что тебе хотел сказать. Я в Пажинске разговлялся. В Пажинске проезжий лекцию читал «Раскрепощение личности». Очень интересно. Мне эта штука нравится. Я, мать твою, в анархисты запишусь. Сила, говорит, внутри нас. Пол, говорит, и характер, это, говорит, пробуждение животного электричества. А? Такой вундеркинт. Но я здорово наклюкался. И орут кругом не разбери бери что, оглохнешь. Не могу больше, Терешка, замолчи. Я говорю, сучье вымя, маменькин передник, заткнись.

— Ты мне, Гошка, только вот что скажи. Еще я про социализм не все слова знаю. К примеру, саботажник. Какое это выражение?

К чему бы оно?

— Я хоша по этим словам профессор, ну как я тебе, Терешка, сказал, отстань, я пьян. Саботажник это кто с другим из одной шайки. Раз сказано соватажник, стало быть ты с ним из одной ватаги. Понял, балда?

— Я так и думал, что слово ругательное. А насчет электрической силы ты правильно. Я по объявлению электрический пояс из Петербурга надумал выписать. Для поднятия деятельности. Наложенным платежом. А тут вдруг новый переворот. Не до поясов.

Терентий не договорил. Гул пьяных голосов заглушил громозвучный раскат недалекого взрыва. Шум за столом на мгновение прекратился. Через минуту он возобновился с еще более беспорядочною силою. Часть сидевших повскакала с мест.

Кто потверже, устояли на ногах. Другие, шатаясь, хотели отбрести в сторону, но не выдержали и, повалившись под стол, тут же захрапели. Завизжали женщины. Начался переполох.

Влас Пахомович бросал взгляды по сторонам в поисках виновника. Вначале он думал, что бабахнуло где-то в Кутейном, совсем рядом, может быть, даже недалеко от столов. Шея его напружилась, лицо побагровело, он заорал во все горло:

— Это какой Иуда затесавший в наши ряды безобразничает?

Это какой материн сын тут гранатами балуется? Чей бы он ни объявился, хушь мой собственный, задушу гадину! Не потерпим, граждане, такие шутки шутить! Требую учинить облаву. Оцепим деревню Кутейный посад! Изловим провоката! Не дадим уйтить суке!

Вначале его слушали. Потом внимание отвлечено было столбом

черного дыма, медленно поднимавшегося к небу из Волостного правления в Малом Ермолае. Все побежали на обрыв посмотреть, что там делается.

Из горящего Ермолаевского Волостного правления выбежало несколько раздетых новобранцев, один совсем босой и голый в едва натянутых штанах, и полковник Штрезе с другими военными, производившими приемочный осмотр и браковку. По селу верхами, замахиваясь нагайками и вытягивая тела и руки на вытягивающихся лошадях, точно на извивающихся змеях, метались из стороны в сторону казаки и милиционеры. Кого-то искали, кого-то ловили. Множество народа бежало по дороге в Кутейный.

Вдогонку бегущим на Ермолаевской колокольне дробно и тревожно забили в набат.

События развивались дальше со страшной быстротой. В сумерки, продолжая свои розыски, Штрезе с казаками поднялся из села в соседний Кутейный. Окружив деревню дозорами, стали обыскивать каждый дом, каждую усадьбу.

К этому времени половина чествуемых были готовы и, перепившись до положения риз, спали непробудным сном, привалясь головами к краям столов или свалившись под них наземь. Когда стало известно, что в деревню пришла милиция, было уже темно.

Несколько ребят кинулись от милиции наутек по деревенским задам и, поторапливая друг друга пинками и толчками, залезли под не доходивший до земли заплот первого попавшегося амбара.

В темноте нельзя было разобрать, чей он, но, судя по запаху рыбы и керосина, это была подызбица потребиловки.

У прятавшихся не было ничего на совести. Было ошибкой, что они хоронились. Большинство сделало это впопыхах, с пьяных глаз, сдуру. У некоторых были знакомства, которые казались им предосудительными и могли, как они думали, погубить их. Теперь всё ведь получало политическую окраску. Озорство и хулиганство в советской полосе оценивалось как признак черносотенства, в полосе белогвардейской буяны казались большевиками.

Оказалось, сунувшихся под избу ребят предупредили.

Пространство между землей и полом амбара было полно народу.

Здесь пряталось несколько человек Кутейниковских и Ермолаевских. Первые были мертвецки пьяны. Часть их храпела со стонущими подголосками, скрежеща зубами и подвывая, других тошнило и рвало. Под амбаром была тьма хоть глаз выколи, духота и вонища. Забравшиеся последними завалили изнутри отверстие, через которое они пролезли,

землею и камнями, чтобы дыра их не выдавала. Скоро храп и стоны захмелевших прекратились совершенно. Наступила полная тишина. Все спали спокойно. Только в одном углу слышался тихий шопот особенно неугомонных, на смерть перепуганного Терентия Галузина и Ермолаевского кулачного драчуна Коськи Нехваленых.

— Тише ори, сука, всех погубишь, чорт сопливый. Слышишь, Штрезенские рыщут — шастают. С околицы свернули, идут по ряду, скоро тут будут. Вот они. Замри, не дхни, удавлю! — Ну, твое счастье, — далеко. Прошли мимо. Кой чорт тебя сюда понес? И он, балда, туда же, прятаться! Кто бы тебя пальцем тронул?

— Слышу я, Гошка орет, — хоронись, лахудра. Я и залез.

— Гошка другое дело. Рябых вся семья на примете, неблагонадежные. У них родня в Ходатском. Мастеровщина, рабочая косточка. Да не дергайся ты, дуролом ты этакий, лежи спокойно. Тут по сторонам куч понаклали и наблевано.

Двинешься, сам вымажешься и, меня дерьмом измажешь. Не слышишь что ли, воняет. Штрезе отчего по деревне носится? Пажинских ищет. Пришлых.

— Как, Коська, это всё подеялось? С чего началось?

— Из-за Саньки весь сыр-бор, из-за Саньки Пафнуткина.

Стоим в линию голые свидетельствоваться. Саньке пора, Санькина очередь. Не раздевается. Санька был выпивши, пришел в присутствие нетрезвый. Писарь ему замечание. Раздевайтесь, говорит. Вежливо. Саньке «вы» говорит. Военный писарь. А Санька ему эдак грубо: Не разденусь. Не желаю части тела всем показывать. Быдто ему совестно. И пододвигается боком к писарю, вроде как развернется и в челюсть. Да. И что же ты думаешь. Никто моргнуть не успел, нагибается Санька, хвать столик канцелярский за ножку и со всем, что на столе, с чернильницей, с военными списками на пол! Из дверей правления Штрезе: «Я, кричит, не потерплю бесчинства, я вам покажу бескровную революцию и неуважение к закону в присутственном месте. Кто зачинщик?»

А Санька к окну. «Караул, кричит, разбирай одежу! Конец нам тут, товарищи!» Я — за одежей, на бегу оделся и к Саньке.

Вышиб Санька кулаком стекло и фьють на улицу, лови ветер в поле. И я за ним. И еще какие-то. И давай бог ноги. А уже за нами улюлю, погоня. А спроси ты меня, из-за чего это все?

Никто ничего не поймет.

— А бомба?

— Чего бомба?

— А кто бомбу бросил? Ну, не бомбу, — гранату?

— Господи, да разве это мы?

— А кто же?

— А почем я знаю. Кто-то другой. Видит, суматоха, дай, думает, под шумок волость взорву. На других, мол, подумают.

Кто-нибудь политический. Политических, Пажинских, полно ведь тут. Тише. Заткнись. Голоса. Слышишь, Штрезенские назад идут.

Ну, пропали. Замри, говорю.

Голоса приближались. Скрипели сапоги, звенели шпоры.

— Не спорьте. Меня не проведешь. Не из таковских. Где-то определенно разговаривали, — раздавался начальственный, всеотчетливый, петербургский голос полковника.

— Могло почудиться, ваше превосходительство, — урезонивал его малоермолаевский сельский староста, рыбопромышленник старик Отвяжистин. — А что удивительного, что разговоры, коли деревня. Не кладбище. Може где и разговаривали. В домах не твари бессловесные. А може кого и домовой во сне душит.

— Но-но! Я вам покажу юродствовать, прикидываться казанской сиротой! Домовой! Больно вы тут распустились. Вот доумничаетесь до международной, тогда поздно будет. Домовой!

— Помилуйте, ваше превосходительство, господин полковник!

Какая тут международная! Олухи еловые, непроезжая темь. В старых требниках спотыкаются из пятого в десятое. Куда им революция.

— Так вы все говорите до первой улики. Осмотреть помещение кооператива сверху донизу. Перетряхнуть все лари, заглянуть под прилавки. Обыскать прилегающие строения.

— Слушаемся, ваше превосходительство.

— Пафнуткина, Рябых, Нехваленых живыми или мертвыми. Хоть со дна морского. И Галузинского пащенка. Это ничего, что папаша патриотические речи произносит, зубы заговаривает.

Наоборот. Это не усыпит нас. Раз лавочник ораторствует, значит дело не ладно. Это подозрительно. Это противно природе. По негласным сведениям у них на дворе в Крестовоздвиженске политических прячут, устраивают тайные собрания. Изловить мальчишку. Я еще не решил, что с ним сделаю, но если что откроется, вздерну без сожаления остальным в назидание.

Обыскивавшие двинулись дальше. Когда они отошли довольно далеко, Коська Нехваленых спросил помертвевшего Терешку Галузина:

— Слыхал?

— Да, — не своим голосом прошептал тот.

— Теперь нам с тобой, с Санькой, с Гошкой в лес одна дорога. Я не говорю, навсегда. Покамест образумятся. А когда опомнятся, тогда видно будет. Может, воротимся.

ЧАСТЬ одиннадцатая.

ЛЕСНОЕ ВОИНСТВО

1

Юрий Андреевич второй год пропадал в плену у партизан.

Границы этой неволи были очень неотчетливы. Место пленения Юрия Андреевича не было обнесено оградой. Его не стерегли, не наблюдали за ним. Войско партизан все время передвигалось.

Юрий Андреевич совершал переходы вместе с ним. Это войско не отделялось, не отгораживалось от остального народа, через поселения и области которого оно двигалось. Оно смешивалось с ним, растворялось в нем.

Казалось, этой зависимости, этого плена не существует, доктор на свободе, и только не умеет воспользоваться ей.

Зависимость доктора, его плен ничем не отличались от других видов принуждения в жизни, таких же незримых и неосязаемых, которые тоже кажутся чем-то несуществующим, химерой и выдумкой. Несмотря на отсутствие оков, цепей и стражи, доктор был вынужден подчиняться своей несвободе, с виду как бы воображаемой.

Три попытки уйти от партизан кончились его поимкой. Они сошли ему даром, но это была игра с огнем. Больше он их не повторял.

Ему мироволил партизанский начальник Ливерий Микулицын, клал его ночевать в свою палатку, любил его общество. Юрий Андреевич тяготился этой навязанной близостью.

2

Это был период почти непрерывного отхода партизан на восток. Временами это перемещение являлось частью общего наступательного плана при оттеснении Колчака из Западной Сибири. Временами, при заходе белых партизанам в тыл и попытке их окружения, движение в том же направлении превращалось в отступление. Доктор долго не мог постигнуть этой премудрости.

Городишки и села по тракту, чаще всего параллельно которому, а иногда и по которому совершалось это отхождение, были разные, смотря по переменам военного счастья, белые и красные. Редко по внешнему их виду можно было определить, какая в них власть.

В момент прохождения через эти городки и селения крестьянского ополчения, главным в них становилась именно эта тянущаяся через них армия. Дома по обеим сторонам дороги словно вбирались и уходили в землю, а месящие грязь всадники, лошади, пушки и толпящиеся рослые стрелки в скатках, казалось, вырастали на дороге выше домов.

Однажды в одном таком городке доктор принимал захваченный в виде военной добычи склад английских медикаментов, брошенный при отступлении офицерским каппелевским формированием.

Был темный дождливый день в две краски. Всё освещенное казалось белым, всё неосвещенное — черным. И на душе был такой же мрак упрощения, без смягчающих переходов и полутеней.

В конец разбитая частыми военными передвижениями дорога представляла поток черной слякоти, через который не везде можно было перейти вброд. Улицу переходили в нескольких, очень удаленных друг от друга местах, к которым по обеим сторонам приходилось делать большие обходы. В таких условиях встретил доктор в Пажинске былую железнодорожную попутчицу Пелагею Тягунову.

Она узнала его первая. Он не сразу установил, кто эта женщина со знакомым лицом, бросающая ему через дорогу, как с одной набережной канала на другую, двойственные взгляды, то полные решимости поздороваться с ним, если он её узнает, то выражающие готовность отступить.

Через минуту он всё вспомнил. Вместе с образами переполненного товарного вагона, толпы согнанных на трудовую повинность, их конвойных, и пассажирки с перекинутыми на грудь косами, он увидел своих в середине картины. Подробности позапрошлогоднего семейного переезда с яркостью обступили его.

Родные лица, по которым он истосковался смертельно, живо возникли перед ним.

Кивком головы он подал знак, чтобы Тягунова поднялась немного вверх по улице, к месту, где её переходили по выступающим из грязи камням, сам достиг этого места, переправился к Тягуновой и поздоровался с ней.

Она ему много рассказала. Напомнив ему о незаконно забранном в партию трудобязанных красивом неиспорченном мальчике Васе, ехавшем вместе с ними в одной теплушке, Тягунова описала доктору свою жизнь в деревне Веретенниках у Васиной мамы. Ей было у них очень хорошо. Но деревня колола ей глаза тем, что она в веретенниковском обществе чужая, пришлая.

Ее попрекали сочиненной её якобы близостью с Васею. Пришлось ей уехать, чтобы окончательно её не заклевали. Она поселилась в городе Крестовоздвиженске у сестры Ольги Галузиной. Слухи о виденном будто в Пажинске Притульеве её сюда сманили. Сведения оказались ложными, а она тут застряла на жительство, получив работу.

Тем временем случились несчастия с людьми, милыми её сердцу. Из Веретенников дошли известия, что деревня подверглась военной экзекуции за неповиновение закону о продразверстке. Видимо, дом Брыкиных сгорел и кто-то из Васиной семьи погиб. В Крестовоздвиженске у Галузиных отняли дом и имущество. Зятя посадили в тюрьму или расстреляли.

Племянник пропал без вести. Первое время разорения сестра Ольга бедствовала и голодала, а теперь прислуживает за харчи крестьянской родне в Звонарской слободе.

По случайности Тягунова работала судомойкой в Пажинской аптеке, имущество которой предстояло реквизировать доктору.

Всем кормившимся при аптеке, в том числе Тягуновой, реквизиция приносила разорение. Но не во власти доктора было отменить ее.

Тягунова присутствовала при операции передачи товара.

Телегу Юрия Андреевича подали на задний двор аптеки к дверям склада. Из помещения выносили тюки, оплетенные ивовыми прутьями бутыли и ящики.

Вместе с людьми на погрузку грустно смотрела из стойла тощая и запаршивевшая кляча аптекаря. Дождливый день клонился к вечеру. На небе чуть расчистило. На минуту показалось стиснутое тучами солнце. Оно садилось. Его лучи темной бронзою брызнули во двор, зловеще золотя лужи жидкого навоза. Ветер не шевелил их. Навозная жижа не двигалась от тяжести. Зато налитая дождями вода на шоссе забилась на ветру и рябила киноварью.

А войско шло и шло по краям дороги, обходя и объезжая самые глубокие озера и колдобины. В захваченной партии лекарств оказалась целая банка кокаину, нюханьем которого грешил в последнее время партизанский начальник.

3

Работ у доктора среди партизан было по горло. Зимой — сыпной тиф, летом — дизентерия и, кроме того, усиливавшееся поступление раненых в боевые дни возобновлявшихся военных действий.

Несмотря на неудачи и преобладающее отступление, ряды партизан

непрерывно пополнялись новыми восстающими в местах, по которым проходили крестьянские полчища, и перебежчиками из неприятельского лагеря. За те полтора года, что доктор пробыл у партизан, их войско удесятерилось. Когда на заседании подпольного штаба в Крестовоздвиженске Ливерий Микулицын называл численность своих сил, он преувеличил их примерно вдесятеро. Теперь они достигли указанных размеров.

У Юрия Андреевича были помощники, несколько новоиспеченных санитаров с подходящим опытом. Правою его рукою по лечебной части были венгерский коммунист и военный врач из пленных Керени Лайош, которого в лагере звали товарищем Лающим, и фельдшер хорват Ангеляр, тоже австрийский военнопленный. С первым Юрий Андреевич объяснялся по-немецки, второй, родом из славянских Балкан, с грехом пополам понимал по-русски.

4

По международной конвенции о Красном кресте военные врачи и служащие санитарных частей не имеют права вооруженно участвовать в боевых действиях воюющих. Но однажды доктору против воли пришлось нарушить это правило. Завязавшаяся стычка застала его на поле и заставила разделить судьбу сражающихся и отстреливаться.

Партизанская цепь, в которой застигнутый огнем доктор залег рядом с телеграфистом отряда, занимала лесную опушку. За спиною партизан была тайга, впереди — открытая поляна, оголенное незащищенное пространство, по которому шли белые, наступая.

Они приближались и были уже близко. Доктор хорошо их видел, каждого в лицо. Это были мальчики и юноши из невоенных слоев столичного общества и люди более пожилые, мобилизованные из запаса. Но тон задавали первые, молодежь, студенты первокурсники и гимназисты восьмиклассники, недавно записавшиеся в добровольцы.

Доктор не знал никого из них, но лица половины казались ему привычными, виденными, знакомыми. Одни напоминали ему былых школьных товарищей. Может статься, это были их младшие братья?

Других он словно встречал в театральной или уличной толпе в былые годы. Их выразительные, привлекательные физиономии казались близкими, своими.

Служение долгу, как они его понимали, одушевляло их восторженным молодечеством, ненужным, вызывающим. Они шли рассыпным редким

строем, выпрямившись во весь рост, превосходя выправкой кадровых гвардейцев и, бравируя опасностью, не прибегали к перебежке и залеганию на поле, хотя на поляне были неровности, бугорки и кочки, за которыми можно было укрыться.

Пули партизан почти поголовно выкашивали их.

Посреди широкого голого поля, по которому двигались вперед белые, стояло мертвое обгорелое дерево. Оно было обуглено молнией или пламенем костра, или расщеплено и опалено предшествующими сражениями. Каждый наступающий добровольческий стрелок бросал на него взгляды, борясь с искушением зайти за его ствол для более безопасного и выверенного прицела, но пренебрегал соблазном и шел дальше.

У партизан было ограниченное число патронов. Их следовало беречь. Имелся приказ, поддержанный круговым уговором, стрелять с коротких дистанций, из винтовок, равных числу видимых мишеней.

Доктор лежал без оружия в траве и наблюдал за ходом боя.

Все его сочувствие было на стороне героически гибнувших детей.

Он от души желал им удачи. Это были отпрыски семейств, вероятно, близких ему по духу, его воспитания, его нравственного склада, его понятий.

Шевельнулась у него мысль выбежать к ним на поляну и сдаться, и таким образом обрести избавление. Но шаг был рискованный, сопряженный с опасностью.

Пока он добежал бы до середины поляны, подняв вверх руки, его могли бы уложить с обеих сторон, поражением в грудь и спину, свои — в наказание за совершенную измену, чужие — не разобрав его намерений. Он ведь не раз бывал в подобных положениях, продумал все возможности и давно признал эти планы спасения непригодными. И мирясь с двойственностью чувств, доктор продолжал лежать на животе, лицом к поляне и без оружия следил из травы за ходом боя.

Однако созерцать и пребывать в бездействии среди кипевшей кругом борьбы не на живот, а на смерть было немыслимо и выше человеческих сил. И дело было не в верности стану, к которому приковала его неволя, не в его собственной самозащите, а в следовании порядку совершавшегося, в подчинении законам того, что разыгрывалось перед ним и вокруг него. Было против правил оставаться к этому в безучастии. Надо было делать то же, что делали другие. Шел бой. В него и товарищей стреляли. Надо было отстреливаться.

И когда телефонист рядом с ним в цепи забился в судорогах и потом

замер и вытянулся, застыв в неподвижности, Юрий Андреевич ползком подтянулся к нему, снял с него сумку, взял его винтовку и, вернувшись на прежнее место, стал разряжать её выстрел за выстрелом.

Но жалость не позволяла ему целиться в молодых людей, которыми он любовался и которым сочувствовал. А стрелять сдуру в воздух было слишком глупым и праздным занятием, противоречившим его намерениям. И выбирая минуты, когда между ним и его мишенью не становился никто из нападающих, он стал стрелять в цель по обгорелому дереву. У него были тут свои приемы.

Целясь и по мере всё уточняющейся наводки незаметно и не до конца усиливая нажим собачки, как бы без расчета когда-нибудь выстрелить, пока спуск курка и выстрел не следовали сами собой как бы сверх ожидания, доктор стал с привычной меткостью разбрасывать вокруг помертвелого дерева сбитые с него нижние отсохшие сучья.

Но о ужас! Как ни остерегался доктор, как бы не попасть в кого-нибудь, то один, то другой наступающий вдвигались в решающий миг между ним и деревом, и пересекали прицельную линию, в момент ружейного разряда. Двух он задел и ранил, а третьему несчастливому, свалившемуся недалеко от дерева, это стоило жизни.

Наконец, белое командование, убедившись в бесполезности попытки, отдало приказ отступить.

Партизан было мало. Их главные силы частью находились на марше, частью отошли в сторону, завязав дело с более крупными силами противника. Отряд не преследовал отступавших, чтобы не выдать своей малочисленности.

Фельдшер Ангеляр привел на опушку двух санитаров с носилками. Доктор велел им заняться ранеными, а сам подошел к лежавшему без движения телефонисту. Он смутно надеялся, что тот, может быть, еще дышит и его можно будет вернуть к жизни.

Но телефонист был мертв. Чтобы в этом удостовериться окончательно, Юрий Андреевич расстегнул на груди у него рубашку и стал слушать его сердце. Оно не работало.

На шее у убитого висела ладанка на снурке. Юрий Андреевич снял ее. В ней оказалась зашитая в тряпицу, истлевшая и стершаяся по краям сгибов бумажка. Доктор развернул её наполовину распавшиеся и рассыпающиеся доли.

Бумажка содержала извлечения из девяностого псалма с теми изменениями и отклонениями, которые вносит народ в молитвы, постепенно удаляющиеся от подлинника от повторения к повторению.

Отрывки церковно-славянского текста были переписаны в грамотке по-русски.

В псалме говорится: Живый в помощи Вышнего. В грамотке это стало заглавием заговора: «Живые помощи». Стих псалма: «Не убоишися… от срелы летящия во дни (днем)» превратился в слова ободрения: «Не бойся стрелы летящей войны». «Яко позна имя мое», — говорит псалом. А грамотка: «Поздно имя мое». «С ним есмь в скорби, изму его…» стало в грамотке «Скоро в зиму его».

Текст псалма считался чудодейственным, оберегающим от пуль.

Его в виде талисмана надевали на себя воины еще в прошлую империалистическую войну. Прошли десятилетия и гораздо позднее его стали зашивать в платье арестованные и твердили про себя заключенные, когда их вызывали к следователям на ночные допросы.

От телефониста Юрий Андреевич перешел на поляну к телу убитого им молодого белогвардейца. На красивом лице юноши были написаны черты невинности и всё простившего страдания. «Зачем я убил его?» — подумал доктор.

Он расстегнул шинель убитого и широко раскинул её полы. На подкладке по каллиграфической прописи, старательно и любящею рукою, наверное, материнскою, было вышито: Сережа Ранцевич, — имя и фамилия убитого.

Сквозь пройму Сережиной рубашки вывалились вон и свесились на цепочке наружу крестик, медальон и еще какой-то плоский золотой футлярчик или тавлинка с поврежденной, как бы гвоздем вдавленной крышкой. Футлярчик был полураскрыт. Из него вывалилась сложенная бумажка. Доктор развернул её и глазам своим не поверил. Это был тот же девяностый псалом, но в печатном виде и во всей своей славянской подлинности.

В это время Сережа застонал и потянулся. Он был жив. Как потом обнаружилось, он был оглушен легкой внутренней контузией. Пуля на излете ударилась в стенку материнского амулета, и это спасло его. Но что было делать с лежавшим без памяти?

Озверение воюющих к этому времени достигло предела. Пленных не доводили живыми до места назначения, неприятельских раненых прикалывали на поле.

При текучем составе лесного ополчения, в которое то вступали новые охотники, то уходили и перебегали к неприятелю старые участники, Ранцевича, при строгом сохранении тайны, можно было выдать за нового, недавно примкнувшего союзника.

Юрий Андреевич снял с убитого телефониста верхнюю одежду и с помощью Ангеляра, которого доктор посвятил в свои замыслы, переодел не приходившего в сознание юношу.

Он и фельдшер выходили мальчика. Когда Ранцевич вполне оправился, они отпустили его, хотя он не таил от своих избавителей, что вернется в ряды колчаковских войск и будет продолжать борьбу с красными.

5

Осенью лагерь партизан стоял в Лисьем отоке, небольшом лесу на высоком бугре, под которым неслась, обтекая его с трех сторон и подрывая берега водороинами, стремительная пенистая речка.

Перед партизанами тут зимовали каппелевцы. Они укрепили лес своими руками и трудами окрестных жителей, а весною его оставили. Теперь в их невзорванных блиндажах, окопах и ходах сообщения разместились партизаны.

Свою землянку Ливерий Аверкиевич делил с доктором. Вторую ночь он занимал его разговорами, не давая ему спать.

— Хотел бы я знать, что теперь поделывает мой достопочтенный родитель, уважаемый фатер — папахен мой.

— Господи, до чего не выношу я этого паяснического тона, — про себя вздыхал доктор. — И ведь вылитый отец!

— Насколько я заключил из наших прошлых бесед, вы Аверкия Степановича достаточно узнали. И, как мне кажется, — довольно неплохого мнения о нем. А, милостивый государь?

— Ливерий Аверкиевич, завтра у нас предвыборная сходка на буйвище. Кроме того, на носу суд над санитарами самогонщиками.

У меня с Лайошем по этому поводу еще не готовы материалы. Мы для этой цели с ним завтра соберемся. А я две ночи не спал.

Отложим собеседование. Помилосердствуйте.

— Нет — всё же, возвращаясь к Аверкию Степановичу. Что вы скажете о старикане?

— У вас еще совсем молодой отец, Ливерий Аверкиевич. Зачем вы так о нем отзываетесь. А теперь я отвечу вам. Я часто говорил вам, что плохо разбираюсь в отдельных градациях социалистического настоя, и особой разницы между большевиками и другими социалистами не вижу. Отец ваш из разряда людей, которым Россия обязана волнениями и беспорядками последнего времени. Аверкий Степанович тип и характер революционный. Так же как и вы, он представитель русского бродильного начала.

— Что это, похвала или порицание?

— Я еще раз прошу отложить спор до более удобного времени.

Кроме того, обращаю ваше внимание на кокаин, который вы опять нюхаете без меры. Вы его самовольно расхищаете из подведомственных мне запасов. Он нам нужен для других целей, не говоря о том, что это яд и я отвечаю за ваше здоровье.

— Опять вы не были на вчерашних занятиях. У вас атрофия общественной жилки, как у неграмотных баб и у заматерелого косного обывателя. Между тем вы — доктор, начитанный и даже, кажется, сами что-то пишете. Объясните, как это вяжется?

— Не знаю, как. Наверное, никак не вяжется, ничего не поделаешь. Я достоин жалости.

— Смирение паче гордости. А чем усмехаться так язвительно, ознакомились бы лучше с программой наших курсов и признали бы свое высокомерие неуместным.

— Господь с вами, Ливерий Аверкиевич! Какое тут высокомерие! Я преклоняюсь перед вашей воспитательной работой.

Обзор вопросов повторяется на повестках. Я читал его. Ваши мысли о духовном развитии солдат мне известны. Я от них в восхищении. Все, что у вас сказано об отношении воина народной армии к товарищам, к слабым, к беззащитным, к женщине, к идее чистоты и чести, это ведь почти то же, что сложило духоборческую общину, это род толстовства, это мечта о достойном существовании, этим полно мое отрочество. Мне ли смеяться над такими вещами?

Но, во-первых, идеи общего совершенствования так, как они стали пониматься с октября, меня не воспламеняют. Во-вторых, это всё еще далеко от существования, а за одни еще толки об этом заплачено такими морями крови, что, пожалуй, цель не оправдывает средства. В-третьих, и это главное, когда я слышу о переделке жизни, я теряю власть над собой и впадаю в отчаяние.

Переделка жизни! Так могут рассуждать люди, хотя может быть и видавшие виды, но ни разу не узнавшие жизни, не почувствовавшие её духа, души ее. Для них существование это комок грубого, не облагороженного их прикосновением материала, нуждающегося в их обработке. А материалом, веществом, жизнь никогда не бывает. Она сама, если хотите знать, непрерывно себя обновляющее, вечно себя перерабатывающее начало, она сама вечно себя переделывает и претворяет, она сама куда выше наших с вами тупоумных теорий.

— И всё же посещение собраний и общение с чудесными,

великолепными нашими людьми подняло бы, смею заметить, ваше настроение. Вы не стали бы предаваться меланхолии. Я знаю, откуда она. Вас угнетает, что нас колотят, и вы не видите впереди просвета. Но никогда, друже, не надо впадать в панику.

Я знаю вещи гораздо более страшные, лично касающиеся меня, — временно они не подлежат огласке, — и то не теряюсь. Наши неудачи временного свойства. Гибель Колчака неотвратима.

Попомните мое слово. Увидите. Мы победим. Утешьтесь.

«Нет, это неподражаемо! — думал доктор. — Какое младенчество! Какая близорукость! Я без конца твержу ему о противоположности наших взглядов, он захватил меня силой и силой держит при себе, и он воображает, что его неудачи должны расстраивать меня, а его расчеты и надежды вселяют в меня бодрость. Какое самоослепление! Интересы революции и существование солнечной системы для него одно и то же».

Юрия Андреевича передернуло. Он ничего не ответил и только пожал плечами, нисколько не пытаясь скрыть, что наивность Ливерия переполняет меру его терпения и он насилу сдерживается. От Ливерия это не укрылось.

— Юпитер, ты сердишься, значит ты не прав, — сказал он.

— Поймите, поймите, наконец, что всё это не для меня.

«Юпитер», «не поддаваться панике», «кто сказал а, должен сказать бе», «Мор сделал свое дело, Мор может уйти», — все эти пошлости, все эти выражения не для меня. Я скажу а, а бе не скажу, хоть разорвитесь и лопните. Я допускаю, что вы светочи и освободители России, что без вас она пропала бы, погрязши в нищете и невежестве, и тем не менее мне не до вас и наплевать на вас, я не люблю вас и ну вас всех к чорту.

Властители ваших дум грешат поговорками, а главную забыли, что насильно мил не будешь, и укоренились в привычке освобождать и осчастливливать особенно тех, кто об этом не просит. Наверное, вы воображаете, что для меня нет лучшего места на свете, чем ваш лагерь и ваше общество. Наверное, я еще должен благословлять вас и спасибо вам говорить за свою неволю, за то, что вы освободили меня от семьи, от сына, от дома, от дела, ото всего, что мне дорого и чем я жив.

Дошли слухи о нашествии неизвестной нерусской части в Варыкино. Говорят, оно разгромлено и разграблено.

Каменнодворский этого не отрицает. Будто моим и вашим удалось бежать. Какие-то мифические косоглазые в ватниках и папахах в страшный мороз перешли Рыньву по льду, не говоря худого слова перестреляли всё живое в поселке, и затем сгинули так же загадочно, как появились. Что вам

об этом известно? Это правда?

— Чушь. Вымыслы. Подхваченные сплетниками непроверенные бредни.

— Если вы так добры и великодушны, как в ваших наставлениях о нравственном воспитании солдат, отпустите меня на все четыре стороны. Я отправлюсь на розыски своих, относительно которых я даже не знаю, живы ли они, и где они. А если нет, то замолчите, пожалуйста, и оставьте меня в покое, потому что всё остальное неинтересно мне, и я за себя не отвечаю. И, наконец, имею же я, чорт возьми, право просто напросто хотеть спать!

Юрий Андреевич лег ничком на койку, лицом в подушку. Он всеми силами старался не слушать оправдывавшегося Ливерия, который продолжал успокаивать его, что к весне белые будут обязательно разбиты. Гражданская война кончится, настанет свобода, благоденствие и мир. Тогда никто не посмеет держать доктора. А до тех пор надо потерпеть. После всего вынесенного, и стольких жертв, и такого ожидания ждать уже осталось недолго. Да и куда пошел бы теперь доктор. Ради его собственного блага нельзя его сейчас отпускать никуда одного.

«Завел шарманку, дьявол! Заработал языком! Как ему не стыдно столько лет пережевывать одну и ту же жвачку?» — вздыхал про себя и негодовал Юрий Андреевич. «Заслушался себя, златоуст, кокаинист несчастный. Ночь ему не в ночь, ни сна, ни житья с ним, проклятым. О, как я его ненавижу! Видит бог, я когда-нибудь убью его.

О, Тоня, бедная девочка моя! Жива ли ты? Где ты? Господи, да ведь она должна была родить давно! Как прошли твои роды?

Кто у нас, мальчик или девочка? Милые мои все, что с вами?

Тоня, вечный укор мой и вина моя! Лара, мне страшно назвать тебя, чтобы вместе с именем не выдохнуть души из себя.

Господи! Господи! А этот все ораторствует, не унимается, ненавистное, бесчувственное животное! О, я когда-нибудь не выдержу и убью его, убью его».

6

Бабье лето прошло. Стояли ясные дни золотой осени. В западном углу Лисьего отока из земли выступала деревянная башенка сохранившегося добровольческого блокгауза. Здесь Юрий Андреевич условился встретиться и обсудить с доктором Лайошом, своим ассистентом, кое-какие общие дела. В назначенный час Юрий Андреевич пришел сюда. В ожидании товарища он стал расхаживать по земляной бровке

обвалившегося окопа, поднимался и заходил в караулку и смотрел сквозь пустующие бойницы пулеметных гнезд на простиравшиеся за рекою лесные дали.

Осень уже резко обозначила в лесу границу хвойного и лиственного мира. Первый сумрачною, почти черною стеною щетинился в глубине, второй винноогненными пятнами светился в промежутках, точно древний городок с детинцем и златоверхими теремами, срубленный в гуще леса из его бревен.

Земля во рву, под ногами у доктора и в колеях лесной, утренниками прохваченной и протвердевшей дороги была густо засыпана и забита сухим, мелким, как бы стриженым, в трубку свернувшимся листом опавшей ивы. Осень пахла этим горьким коричневым листом и еще множеством других приправ. Юрий Андреевич с жадностью вдыхал сложную пряность ледяного моченого яблока, горькой суши, сладкой сырости и синего сентябрьского угара, напоминающего горелые пары обданного водою костра и свежезалитого пожара.

Юрий Андреевич не заметил, как сзади подошел к нему Лайош.

— Здравствуйте, коллега, — сказал он по-немецки. Они занялись делами.

— У нас три пункта. О самогонщиках, о реорганизации лазарета и аптеки, и третий, по моему настоянию, о лечении душевных болезней амбулаторно, в походных условиях. Может быть, вы не видите в этом необходимости, но по моим наблюдениям мы сходим с ума, дорогой Лайош, и виды современного помешательства имеют форму инфекции, заразы.

— Очень интересный вопрос. Я потом перейду к нему. Сейчас вот о чем. В лагере брожение. Судьба самогонщиков вызывает сочувствие. Многих также волнует судьба семейств, бегущих из деревень от белых. Часть партизан отказывается выступать из лагеря ввиду приближения обоза с их женами, детьми и стариками.

— Да, их придется подождать.

— И всё это перед выборами единого командования, общего над другими, нам не подчиненными отрядами. Я думаю, — единственный кандидат товарищ Ливерий. Группа молодежи выдвигает другого, Вдовиченку. За него стоит чуждое нам крыло, которое примыкало к кругу самогонщиков, дети кулаков и лавочников, колчаковские дезертиры. Они особенно расшумелись.

— Что по-вашему будет с санитарами, варившими и продававшими самогон?

— По-моему их приговорят к расстрелу и помилуют, обратив приговор в условный.

— Однако мы с вами заболтались. Займемся делами.

Реорганизация лазарета. Вот что я хотел бы рассмотреть в первую голову.

— Хорошо. Но я должен сказать, что в вашем предложении о психиатрической профилактике не нахожу ничего удивительного. Я сам того же мнения. Появились и распространяются душевные заболевания самого типического свойства, носящие определенные черты времени, непосредственно вызванные историческими особенностями эпохи. У нас есть солдат царской армии, очень сознательный, с прирожденным классовым инстинктом, Памфил Палых. Он именно на этом помешался, на страхе за своих близких, в случае если он будет убит, а они попадут в руки белых и должны будут за него отвечать. Очень сложная психология. Его домашние, кажется, следуют в беженском обозе и нас догоняют. Недостаточное знание языка мешает мне толком расспросить его. Узнайте у Ангеляра или Каменнодворского. Надо бы осмотреть его.

— Я очень хорошо знаю Палых. Как мне не знать его. Одно время вместе сталкивались в армейском совете. Такой черный, жестокий, с низким лбом. Не понимаю, что вы в нем нашли хорошего. Всегда за крайние меры, строгости, казни. И всегда меня отталкивал. Ладно. Я займусь им.

7

Был ясный солнечный день. Стояла тихая сухая, как всю предшествующую неделю, погода.

Из глубины лагеря катился смутный, похожий на отдаленный рокот моря, гул большого людского становища. Попеременно слышались шаги слоняющихся по лесу, голоса людей, стук топоров, звон наковален, ржанье лошадей, тявканье собак и пенье петухов. По лесу двигались толпы загорелого, белозубого, улыбающегося люда. Одни знали доктора и кланялись ему, другие, незнакомые с ним, проходили мимо, не здороваясь.

Хотя партизаны не соглашались уходить из Лисьего отока, пока их не нагонят бегущие за ними следом на телегах партизанские семьи, последние были уже в немногих переходах от лагеря и в лесу шли приготовления к скорому снятию стоянки и перенесению её дальше на восток. Что-то чинили, чистили, заколачивали ящики, пересчитывали подводы и осматривали их исправность.

В середине леса была большая вытоптанная прогалина, род кургана или городища, носившая местное название буйвища. На нем обыкновенно созывали войсковые сходки. Сегодня тут тоже было назначено общее сборище для оглашения чего-то важного.

В лесу было много непожелтевшей зелени. В самой глубине он почти весь еще был свеж и зелен. Низившееся послеобеденное солнце пронизывало его сзади своими лучами. Листья пропускали солнечный свет и горели с изнанки зеленым огнем прозрачного бутылочного стекла.

На открытой лужайке близ своего архива начальник связи Каменнодворский жег просмотренный и ненужный бумажный хлам доставшейся ему каппелевской полковой канцелярии вместе с грудами своей собственной, партизанской отчетности. Огонь костра был разложен так, что приходился против солнца. Оно просвечивало сквозь прозрачное пламя, как сквозь зелень леса.

Огня не было видно, и только по зыбившимся слюдяным струям горячего воздуха можно было заключить, что что-то горит и раскаляется.

Там и сям лес пестрел всякого рода спелыми ягодами: нарядными висюльками сердечника, кирпично-бурой дряблой бузиной, переливчатыми бело-малиновыми кистями калины.

Позванивая стеклянными крылышками, медленно проплывали по воздуху рябые и прозрачные, как огонь и лес, стрекозы.

Юрий Андреевич с детства любил сквозящий огнем зари вечерний лес. В такие минуты точно и он пропускал сквозь себя эти столбы света. Точно дар живого духа потоком входил в его грудь, пересекал все его существо, и парой крыльев выходил из-под лопаток наружу. Тот юношеский первообраз, который на всю жизнь складывается у каждого, и потом навсегда служит и кажется ему его внутренним лицом, его личностью, во всей первоначальной силе пробуждался в нем, и заставлял природу, лес, вечернюю зарю и всё видимое преображаться в такое же первоначальное и всеохватывающее подобие девочки. «Лара»! — закрыв глаза, полушептал или мысленно обращался он ко всей своей жизни, ко всей божьей земле, ко всему расстилавшемуся перед ним, солнцем озаренному пространству.

Но очередное, злободневное продолжалось, в России была Октябрьская революция, он был в плену у партизан. И, сам того не замечая, он подошел к костру Каменнодворского.

— Делопроизводство уничтожаете? До сих пор не сожгли?

— Куда там! Этого добра еще надолго хватит.

Доктор носком сапога спихнул и разрознил одну из сваленных куч. Это была телеграфная штабная переписка белых. Смутное предположение, что

среди бумажек он натолкнется на имя Ранцевича, мелькнуло у него, но обмануло его. Это было неинтересное собрание прошлогодних шифрованных сводок в невразумительных сокращениях вроде следующего: «Омск генкварверх первому копия Омск наштаокр омского карта сорок верст Енисейского не поступало». Он разгреб ногой другую кучку. Из нее расползлись врозь протоколы старых партизанских собраний. Сверху легла бумажка: «Весьма срочно. Об отпусках.

Перевыборы членов ревизионной комиссии. Текущее. Ввиду недоказанности обвинений учительницы села Игнатодворцы, армейский совет полагает…

В это время Каменнодворский вынул что-то из кармана, подал доктору и сказал:

— Вот расписание вашей медицинской части на случай выступления из лагеря. Телеги с партизанскими семьями уже близко. Лагерные разногласия сегодня будут улажены. Со дня на день можно ждать, что мы снимемся.

Доктор бросил взгляд на бумажку и ахнул.

— Это меньше, чем мне дали в последний раз. А сколько раненых прибавилось! Ходячие и перевязочные пешком пойдут. Но их ничтожное количество. А на чем я тяжелых повезу? А медикаменты, а койки, оборудование!

— Как-нибудь сожмитесь. Надо применяться к обстоятельствам. Теперь о другом. Общая ото всех просьба к вам. Тут есть товарищ, закаленный, проверенный, преданный делу и прекрасный боец. Что-то с ним творится неладное.

— Палых? Мне Лайош говорил.

— Да. Сходите к нему. Исследуйте.

— Что-то психическое?

— Предполагаю. Какие-то бегунчики, как он выражается.

По-видимому, галлюцинации. Бессонница. Головные боли.

— Хорошо. Пойду не откладывая. Сейчас у меня свободное время. Когда начало сходки?

— Думаю, уже собираются. Но на что вам? Видите, вот и я не пошел. Обойдутся без нас.

— Тогда я пойду к Памфилу. Хотя я с ног валюсь, так спать хочу. Ливерий Аверкиевич любит по ночам философствовать, заговорил меня. Как пройти к Памфилу? Где он помещается?

— Молодой березнячок за бутовой ямой знаете? Березовый молоднячок.

— Найду.

— Там на полянке командирские палатки. Мы одну Памфилу предоставили. В ожидании семьи. К нему ведь жена и дети едут в обозе. Да, так вот он в одной из командирских палаток. На правах батальонного. За свои революционные заслуги.

8

По пути к Памфилу доктор почувствовал, что не в силах идти дальше. Его одолевала усталость. Он не мог победить сонливости, следствия накопленного за несколько ночей недосыпания. Можно было бы вернуться подремать в блиндаж. Но туда Юрий Андреевич боялся идти. Туда каждую минуту мог прийти Ливерий и помешать ему.

Он прилег на одном из незаросших мест в лесу, сплошь усыпанном золотыми листьями, налетевшими на лужайку с окаймлявших её деревьев. Листья легли в клетку, шашками, на лужайку. Так же ложились лучи солнца на их золотой ковер. В глазах рябило от этой двойной, скрещивающейся пестроты. Она усыпляла, как чтение мелкой печати или бормотание чего-нибудь однообразного.

Доктор лег на шелковисто шуршавшую листву, положив подложенную под голову руку на мох, подушкой облегавший бугристые корни дерева. Он мгновенно задремал. Пестрота солнечных пятен, усыпившая его, клетчатым узором покрыла его вытянувшееся на земле тело, и сделала его необнаружимым, неотличимым в калейдоскопе лучей и листьев, точно он надел шапку невидимку.

Очень скоро излишняя сила, с какой он желал сна и нуждался в нем, разбудила его. Прямые причины действуют только в границах соразмерности. Отклонения от меры производят обратное действие. Не находящее отдыха, недремлющее сознание лихорадочно работало на холостом ходу. Обрывки мыслей неслись вихрем и крутились колесом, почти стуча, как испорченная машина. Эта душевная сумятица мучила и сердила доктора.

«Сволочь Ливерий», — возмущался он. «Мало ему, что на свете сейчас сотни поводов рехнуться человеку. Своим пленом, своей дружбой и дурацкой болтовней он без нужды превращает здорового в неврастеника. Я когда-нибудь убью его».

Цветным складывающимся и раскрывающимся лоскутком пролетела с солнечной стороны коричнево-крапчатая бабочка. Доктор сонными глазами проследил за её полетом. Она села на то, что больше всего

походило на её окраску, на коричнево-крапчатую кору сосны, с которою она и слилась совершенно неотличимо.

Бабочка незаметно стушевалась на ней, как бесследно терялся Юрий Андреевич для постороннего глаза под игравшей на нем сеткой солнечных лучей и теней.

Привычный круг мыслей овладел Юрием Андреевичем. Он во многих работах по медицине косвенно затрагивал его. О воле и целесообразности, как следствии совершенствующегося приспособления. О мимикрии, о подражательной и предохранительной окраске. О выживании наиболее приспособленных, о том, что, может быть, путь, откладываемый естественным отбором, и есть путь выработки и рождения сознания. Что такое субъект? Что такое объект? Как дать определение их тождества? В размышлениях доктора Дарвин встречался с Шеллингом, а пролетевшая бабочка с современной живописью, с импрессионистическим искусством. Он думал о творении, твари, творчестве и притворстве.

И он снова уснул, и через минуту опять проснулся. Его разбудил тихий заглушенный говор невдалеке. Достаточно было нескольких долетевших слов, чтобы Юрий Андреевич понял, что уславливаются о чем-то тайном, противозаконном. Очевидно, сговаривающиеся не заметили его, не подозревали его соседства.

Если бы он теперь пошевельнулся и выдал свое присутствие, это стоило бы ему жизни. Юрий Андреевич притаился, замер и стал прислушиваться.

Часть голосов он знал. Это была мразь, подонки партизанщины, примазавшиеся к ней мальчишки Санька Пафнуткин, Гоша Рябых, Коська Нехваленых и тянувшийся за ними Терентий Галузин, коноводы всех пакостей и безобразий. Был с ними также Захар Гораздых, тип еще более темный, причастный к делу о варке самогона, но временно не привлеченный к ответу, как выдавший главных виновников. Юрия Андреевича удивило присутствие партизана из «серебряной роты» Сивоблюя, состоявшего в личной охране начальника. По преемственности, шедшей от Разина и Пугачева, этого приближенного, за доверие, оказываемое ему Ливерием, звали атамановым ухом. Он, значит, тоже был участником заговора.

Заговорщики сговаривались с подосланными из неприятельских передовых разъездов. Парламентеров совсем не было слышно, так тихо они уславливались с изменниками, и только по перерывам, наступавшим в шопоте сообщников, Юрий Андреевич догадывался, что теперь говорят представители противника.

Больше всего говорил, поминутно матерясь, хриплым сорванным

голосом, пьяница Захар Гораздых. Он был, наверное, главным зачинщиком.

— Теперь, которые прочие, слухай. Главное, — втихаря, потаюхой. Ежели кто ушатнется, съябедничает, видал финку?

Энтою финкой выпущу кишки. Понятно? Теперь нам ни туды, ни сюды, как ни повернись, осиновая вышка. Надо заслужить прощение. Надо исделать штуку, чего свет не видал, из ряду вон. Они требуют его живого, в веревках. Теперь слышишь к энтим лесам подходит ихний сотник Гулевой. (Ему подсказали, как правильно, он не расслышал и поправился: «генерал Галеев».) Такого случая другой раз не будет. Вот ихние делегаты. Они вам всё докажут. Они говорят, беспременно чтобы связанного, живьем. Сами спросите товарищей. Говори, которые прочие. Скажи им что-нибудь, братва.

Стали говорить чужие, подосланные. Юрий Андреевич не мог уловить ни одного слова. По продолжительности общего молчания можно было вообразить обстоятельность сказанного. Опять заговорил Гораздых.

— Слыхали, братцы? Теперь вы сами видите, какое нам попало золотце, какое зельецо. За такого ли платиться? Рази это человек? Это порченый, блаженный вроде как бы недоросток или скитник. Я те дам ржать, Терешка! Ты чего зубы скалишь, содомский грех? Не тебе на зубки говорится. Да. Вроде как во отрочестве скитник. Ты ему поддайся, он тебя в конец обмонашит, охолостит. Какие его речи? Изгоним в среде, долой сквернословие, борьба с пьянством, отношение к женщине. Нешто можно так жить? Окончательное слово. Седни в вечер у речной переправы, где камни сложены. Я его выманю на елань. Кучей навалимся. С ним сладить какая хитрость? Это раз плюнуть. В чем кавычка? Они хочут надо живьем. Связать. А увижу, не выходит по-нашему, сам расправлюсь, пристукну своими руками.

Они своих вышлют, помогут.

Говоривший продолжал развивать план заговора, но вместе с остальными стал удаляться, и доктор перестал их слышать.

«Ведь это они Ливерия, мерзавцы!» — с ужасом и возмущением думал Юрий Андреевич, забывая, сколько раз сам он проклинал своего мучителя и желал ему смерти. — «Негодяи собираются выдать его белым или убить его. Как предотвратить это? Подойти как бы случайно к костру и, никого не называя, поставить в известность Каменнодворского. И как-нибудь предостеречь Ливерия об опасности».

Каменнодворского на прежнем месте не оказалось. Костер догорал. За огнем следил, чтобы он не распространился, помощник Каменнодворского.

Но покушение не состоялось. Оно было пресечено. О заговоре, как оказалось, знали. В этот день он был раскрыт до конца и заговорщики схвачены. Сивоблюй играл тут двойственную роль сыщика и совратителя. Доктору стало еще противнее.

9

Стало известно, что беженки с детьми уже в двух переходах.

В Лисьем отоке готовились к скорому свиданию с домашними и назначенному вслед за этим снятию лагеря и выступлению. Юрий Андреевич пошел к Памфилу Палых.

Доктор застал его у входа в палатку с топором в руке. Перед палаткой высокой кучей были навалены срубленные на жерди молодые березки. Памфил их еще не обтесал. Одни тут и были срублены и, рухнув всею тяжестью, остриями подломившихся сучьев воткнулись в сыроватую почву. Другие он притащил с недалекого расстояния и наложил сверху. Вздрагивая и покачиваясь на упругих подмятых ветвях, березы не прилегали ни к земле, ни одна к другой. Они как бы руками отбивались от срубившего их Памфила и целым лесом живой зелени загораживали ему вход в палатку.

— В ожидании дорогих гостей, — сказал Памфил, объясняя, чем он занят. — Жене, детишкам будет палатка низка. И заливает в дождь. Хочу кольями верх подпереть. Нарубил слег.

— Ты напрасно, Памфил, думаешь, что семью пустят к тебе жить в палатку. Чтобы невоенным, женщинам и детям в самом войске стоять, где это видано? Их где-нибудь на краю в обозе поставят. В свободное время ходи к ним на свидание, сделай одолжение. А чтобы в воинскую палатку, это едва ли. Да не в этом дело. Говорили, худеешь ты, пить-есть перестал, не спишь?

А на вид ничего. Только немного оброс.

Памфил Палых был здоровенный мужик с черными всклокоченными волосами и бородой, и шишковатым лбом, производившим впечатление двойного, вследствие утолщения лобной кости, подобием кольца или медного обруча обжимавшего его виски. Это придавало Памфилу недобрый и зловещий вид человека косящегося и глядящего исподлобья.

В начале революции, когда по примеру девятьсот пятого года опасались, что и на этот раз революция будет кратковременным событием в истории просвещенных верхов, а глубоких низов не коснется и в них не упрочится, народ всеми силами старались распропагандировать, революционизировать, переполошить, взбаламутить и разъярить.

В эти первые дни люди, как солдат Памфил Палых, без всякой агитации, лютой озверелой ненавистью ненавидевшие интеллигентов, бар и офицерство, казались редкими находками восторженным левым

интеллигентам и были в страшной цене. Их бесчеловечность представлялась чудом классовой сознательности, их варварство — образцом пролетарской твердости и революционного инстинкта. Такова была утвердившаяся за Памфилом слава. Он был на лучшем счету у партизанских главарей и партийных вожаков.

Юрию Андреевичу этот мрачный и необщительный силач казался не совсем нормальным выродком вследствие общего своего бездушия, и однообразия и убогости того, что было ему близко и могло его занимать.

— Войдем в палатку, — пригласил Памфил.

— Нет, зачем. И не влезть мне. На воздухе лучше.

— Ладно. Будь по-твоему. И впрямь нора. Побалакаем на должиках (так назвал он сваленные в длину деревья).

И они уселись на ходивших и пружинившихся под ними березовых стволах.

— Скоро, говорят, сказка сказывается, да не скоро дело делается. А и сказку мою не скоро сказать. В три года не выложить. Не знаю, с чего и начать.

Ну, так, что ли. Жили мы с хозяйкой моей. Молодые.

Домовничала она. Не жаловался, крестьянствовал я. Дети. Взяли в солдаты. Погнали фланговым на войну. Ну, война. Что мне об ней тебе рассказывать. Ты её видал, товарищ медврач. Ну, революция. Прозрел я. Открылись глаза у солдата. Не тот немец, который германец, чужой, а который свой. Солдаты мировой революции, штыки в землю, домой с фронта, на буржуёв! И тому подобное. Ты это все сам знаешь, товарищ военный медврач. И так далее. Гражданская. Вливаюсь в партизаны. Теперь много пропущу, а то никогда не кончить. Теперь, долго ли, коротко ли, что я вижу в текущий момент? Он, паразит, с Российского фронта первый и второй Ставропольский снял и первый Оренбургский казачий. Нешто я маленький, не понимаю? Нешто я в армии не служил? Плохо наше дело, военный доктор, наше дело табак. Он что, сволочь, хочет? Он всей этой прорвой на нас навалиться хочет. Он нас хочет взять в кольцо.

Теперь в настоящее время жена у меня, детишки. Ежели он теперь одолеет, куда они от него уйдут? Разве он возьмет в толк, что они всему неповинные, делу сторона? Не станет он на это смотреть. За меня жене руки скрутит, запытает, за меня жену и детей замучит, по суставчикам, по косточкам переберет.

Вот и спи и ешь тут, изволь. Даром что чугунный, сказишься, тронешься.

— Чудак ты, Памфил. Не понимаю тебя. Годы без них обходился,

ничего про них не знал, не тужил. А теперь не сегодня-завтра с ними свидишься, и чем радоваться, панихиду по них поешь.

— То прежде, а то теперь, большая разница. Одолевает нас белопогонная гадина. Да не обо мне речь. Мое дело гроб. Туда, видно, мне и дорога. Да ведь своих-то родименьких я с собой на тот свет не возьму. Достанутся они в лапы поганому. Всю-то кровь он из них выпустит по капельке.

— И от этого бегунчики? Говорят, бегунчики тебе какие-то являются.

— Ну ин ладно, доктор. Я не всё тебе сказал. Не сказал главного. Ну, ладно, слушай мою правду колкую, не взыщи, я тебе всё в глаза скажу.

Много я вашего брата в расход пустил, много на мне крови господской, офицерской, и хоть бы что. Числа, имени не помню, вся вода растеклась. Оголец у меня один из головы нейдет, огольца одного я стукнул, забыть не могу. За что я парнишку погубил? Рассмешил, уморил он меня. Со смеху застрелил, сдуру.

Ни за что.

В февральскую было. При Керенском. Бунтовали мы. На чугунке было дело. Послали к нам мальчишку агитаря, языком нас в атаку подымать. Чтобы воевали мы до победного конца. Приехал кадетик нас языком усмирять. Такой щупленький. Был у него лозунг до победного конца. Вскочил он с этим лозунгом на пожарный ушат, пожарный ушат стоял на станции. Вскочил он, значит, на ушат, чтобы оттуда призывать в бой ему повыше, и вдруг крышка у него под ногами подвернись, и он в воду. Оступился. Ой смехота! Я так и покатился. Думал, помру. Ой умора! А у меня в руках ружье. А я хохочу-хохочу, и все тут, хоть ты что хошь. Ровно он меня защекотал. Ну, приложился я и хлоп его на месте. Сам не понимаю, как это вышло. Точно меня кто под руку толкнул.

Вот, значит, и бегунчики мои. По ночам станция мерещится.

Тогда было смешно, а теперь жалко.

— В городе Мелюзееве было, станция Бирючи?

— Запамятовал.

— С зыбушинскими жителями бунтовали?

— Запамятовал.

— Фронт-то какой был? На каком фронте? На Западном?

— Вроде Западный. Все может быть. Запамятовал.

ЧАСТЬ двенадцатая.

РЯБИНА В САХАРЕ

1

Семьи партизан давно следовали на телегах за общим войском, с детьми и пожитками. За хвостом беженского обоза, совсем позади, гнали несметные гурты скота, преимущественно коров, числом в несколько тысяч голов.

Вместе с женами партизан в лагере появилось новое лицо, солдатка Злыдариха или Кубариха, скотья лекарка, ветеринарка, а в тайне также и ворожея.

Она ходила в шапочке пирожком, надетой набекрень, и гороховой шинели шотландских королевских стрелков из английских обмундировочных поставок Верховному правителю, и уверяла, что эти вещи она перешила из арестантского колпака и халата, и что будто бы красные освободили её из Кежемской централки, где её неизвестно за что держал Колчак.

В это время партизаны стояли на новом месте.

Предполагалось, что это будет стоянка кратковременная, пока не разведают окрестностей и не подыщут места для более долгой и устойчивой зимовки. Но в дальнейшем обстоятельства сложились иначе и заставили партизан остаться тут и зазимовать.

Это новое стойбище ничем не было похоже на недавно покинутый Лисий оток. Это был лес сплошной, непроходимый, таежный. В одну сторону, прочь от дороги и лагеря, ему конца не было. В первые дни, пока войско разбивало новый бивак, и в нем устраивалось на жительство, у Юрия Андреевича было больше досуга. Он углубился в лес в нескольких направлениях с целью его обследования и убедился, как в нем легко заблудиться. Два уголка привлекли его внимание и запомнились ему на этом первом обходе.

У выхода из лагеря и из леса, который был теперь по-осеннему гол и весь виден насквозь, точно в его пустоту растворили ворота, росла одинокая, красивая единственная изо всех деревьев сохранившая неопавшую листву ржавая рыжелистая рябина. Она росла на горке над низким топким кочкарником и протягивала ввысь, к самому небу, в темный свинец предзимнего ненастья плоско расширяющиеся щитки своих

твердых разордевшихся ягод. Зимние пичужки с ярким, как морозные зори, оперением, снегири и синицы, садились на рябину, медленно, с выбором клевали крупные ягоды и, закинув кверху головки и вытянув шейки, с трудом их проглатывали.

Какая-то живая близость заводилась между птицами и деревом. Точно рябина всё это видела, долго упрямилась, а потом сдавалась и, сжалившись над птичками, уступала, расстегивалась и давала им грудь, как мамка младенцу. «Что, мол, с вами поделаешь. Ну, ешьте, ешьте меня. Кормитесь». И усмехалась.

Другое место в лесу было еще замечательнее.

Оно было на возвышенности. Возвышенность эта, род шихана, с одного края круто обрывалась. Казалось, внизу под обрывом предполагалось что-то другое, чем наверху, — река или овраг или глухой, некошеной травой поросший луг. Однако под ним было повторение того же самого, что наверху, но только на головокружительной глубине, на другом, вершинами деревьев под ноги ушедшем, опустившемся уровне. Вероятно, это было следствие обвала.

Точно этот суровый, подоблачный, богатырский лес, как-то споткнувшись, весь как есть, полетел вниз и должен был провалиться в тартарары, сквозь землю, но в решительный момент чудом удержался на земле и вот, цел и невредим, виднеется и шумит внизу.

Но не этим, другой особенностью была замечательна лесная возвышенность. Всю её по краю запирали отвесные, ребром стоявшие гранитные глыбы. Они были похожи на плоские отесанные плиты доисторических дольменов. Когда Юрий Андреевич в первый раз попал на эту площадку, он готов был поклясться, что это место с камнями совсем не природного происхождения, а носит следы рук человеческих. Здесь могло быть в древности какое-нибудь языческое капище неизвестных идолопоклонников, место их священнодействий и жертвоприношений.

На этом месте холодным пасмурным утром приведен был в исполнение смертный приговор одиннадцати наиболее виновным по делу о заговоре и двум санитарам самогонщикам.

Человек двадцать преданнейших революции партизан с ядром из особой охраны штаба привели их сюда. Конвой сомкнулся полукольцом вокруг приговоренных и, взяв винтовки на руку, быстрым теснящим шагом затолкал, загнал их в скалистый угол площадки, откуда им не было выхода, кроме прыжков в пропасть.

Допросы, долгое пребывание под стражей и испытанные унижения лишили их человеческого облика. Они обросли, почернели, были

изможденны и страшны, как призраки.

Их обезоружили в самом начале следствия. Никому не пришло в голову ощупывать их вторично перед казнью. Это представлялось излишней подлостью, глумленьем над людьми перед близкой смертью.

Вдруг шедший рядом с Вдовиченкой друг его и такой же, как он, старый идейный анархист Ржаницкий дал три выстрела по цепи конвойных, целясь в Сивоблюя. Ржаницкий был превосходный стрелок, но рука у него дрожала от волнения, и он промахнулся.

Опять та же деликатность и жалость к былым товарищам не позволила караулу наброситься на Ржаницкого или ответить преждевременным залпом, до общей команды, на его покушение. У Ржаницкого оставалось еще три неистраченных заряда, но, в возбуждении, может быть, забыв о них, и раздосадованный промахом, он шваркнул браунинг о камни. От удара браунинг разрядился в четвертый раз, ранив в ногу приговоренного Пачколю.

Санитар Пачколя вскрикнул, схватился за ногу и упал, часто-часто взвизгивая от боли. Ближайшие к нему Пафнуткин и Гораздых подняли, подхватили его под руки и потащили, чтобы в переполохе его не затоптали товарищи, потому что больше себя никто не помнил. Пачколя шел к каменистому краю, куда теснили смертников, подпрыгивая, хромая, будучи не в состоянии ступить на перешибленную ногу и безостановочно кричал. Его нечеловеческие вопли были заразительны.

Как по сигналу, все перестали владеть собой. Началось нечто невообразимое. Посыпалась ругань, послышались мольбы, жалобы, раздались проклятия.

Подросток Галузин, скинув с головы желтокантовую фуражку реалиста, которую он еще носил, опустился на колени и так, не вставая с них, ползком пятился дальше в толпе к страшным камням. Он часто часто кланялся до земли конвойным, плакал навзрыд и умолял их полубеспамятно, нараспев:

— Виноват, братцы, помилуйте, больше не буду. Не губите.

Не убивайте. Не жил я еще, молод умирать. Пожить бы мне еще, маменьку, маменьку свою еще один разочек увидать. Простите, братцы, помилуйте. Ноги ваши буду целовать. Воду вам буду на себе возить. Ой беда, беда, — пропал, маменька, маменька.

Из середины причитали, не видно было кто:

— Товарищи миленькие, хорошие! Как же это? Опомнитесь.

Вместе на двух войнах кровь проливали. За одно дело стояли, боролись. Пожалейте, отпустите. Мы добра вашего век не забудем, заслужим, делом

докажем. Аль вы оглохли, что не отвечаете? Креста на вас нет!

Сивоблюю кричали:

— Ах ты. Иуда христопродавец! Какие мы против тебя изменники? Сам ты, собака, трижды изменник, чтоб тя удавили!

Царю своему присягал, убил царя своего законного, нам клялся в верности, предал. Целуйся с чортом своим Лесным, пока не предал. Предашь.

Вдовиченко на краю могилы остался верным себе. Высоко держа голову с седыми развевающимися волосами, он громко, во всеуслышание, как коммунар к коммунару, обращался к Ржаницкому.

— Не унижайся, Бонифаций! Твой протест не дойдет до них.

Тебя не поймут эти новые опричники, эти заплечные мастера нового застенка. Но не падай духом. История всё разберет.

Потомство пригвоздит к позорному столбу бурбонов комиссародержавия и их черное дело. Мы умираем мучениками идеи на заре мировой революции. Да здравствует революция духа. Да здравствует всемирная анархия.

Залп двадцати ружей, произведенный по какой-то беззвучной, одними стрелками уловленной команде, скосил половину осужденных, большинство насмерть. Остальных пристрелили вторым залпом. Дольше всех дергался мальчик, Тереша Галузин, но и он в конце концов замер, вытянувшись без движения.

2

От мысли перенести стан на зиму в другое место, подальше на восток отказались не сразу. Долго продолжались разведки и объезды местности по ту сторону тракта вдоль Вытско-Кежемского водораздела. Ливерий часто отлучался из лагеря в тайгу, оставляя доктора одного.

Но перебираться куда-нибудь было уже поздно и некуда. Это было время наибольших партизанских неудач. Перед окончательным своим крушением белые решили одним ударом раз навсегда покончить с лесными нерегулярными отрядами и общими усилиями всех фронтов окружили их. Партизан теснили со всех сторон. Это было бы для них катастрофой, если бы радиус окружения был меньше. Их спасала неощутимая широта охвата. В преддверии зимы неприятель был не в состоянии стянуть свои фланги по непроходимой беспредельной тайге и обложить крестьянские полчища теснее.

Во всяком случае двигаться куда бы то ни было стало невозможно.

Конечно, если бы имелся план перемещения, обещающий определенные военные преимущества, можно было бы пробиться, пройти с боями через черту окружения на новую позицию.

Но такого разработанного замысла не было. Люди выбились из сил. Младшие командиры, и сами упавшие духом, потеряли влияние на подчиненных. Старшие ежевечерне собирались на военный совет, предлагая противоречивые решения.

Надо было оставить поиски другого зимовья и укрепиться на зиму в глубине занятой чащи. В зимнее время по глубокому снегу она становилась непроходимой для противника, плохо снабженного лыжами. Надо было окопаться и заложить большие запасы продовольствия.

Партизан хозяйственник Бисюрин докладывал об остром недостатке муки и картошки. Скота было вдоволь, и Бисюрин предвидел, что зимой главною пищей будет мясо и молоко.

Не хватало зимней одежи. Часть партизан ходила полуодетая.

Передавили всех собак в лагере. Сведущие в скорняжном деле шили партизанам тулупы из собачьих шкур шерстью наружу.

Доктору отказывали в перевозочных средствах. Телеги требовались теперь для более важных надобностей. На последнем переходе самых тяжелых больных несли сорок верст пешком на носилках.

Из медикаментов у Юрия Андреевича оставались только хина, иод и глауберова соль. Иод, требовавшийся для операций и перевязок, был в кристаллах. Их надо было распускать в спирту.

Пожалели об уничтоженном производстве самогона и обратились к наименее виновным, в свое время оправданным винокурам, с поручением починить сломанную перегонную аппаратуру или соорудить новую. Упраздненную фабрикацию самогона снова наладили для врачебных целей В лагере только перемигивались и покачивали головами. Возобновилось пьянство, способствуя развивающемуся развалу в стане.

Выгонку вещества довели почти до ста градусов. Жидкость такой крепости хорошо растворяла кристаллические препараты.

Этим же самогоном, настоенным на хинной корке, Юрий Андреевич позднее, в начале зимы, лечил возобновившиеся с холодами случаи сыпного тифа.

3

В эти дни доктор видел Памфила Палых с семьею. Жена и дети его всё истекшее лето провели в бегах по пыльным дорогам, под открытым небом.

Они были напуганы пережитыми ужасами и ждали новых. Скитания наложили неизгладимый след на них. У жены и троих детей Памфила, сынишки и двух дочерей были светлые, выгоревшие на солнце, льняные волосы и белые, строгие брови на черных, обветренных загорелых лицах. Дети были слишком малы, чтобы носить еще какие-нибудь знаки перенесенного, а с лица матери испытанные потрясения и опасности согнали всякую игру жизни, и оставили только сухую правильность черт, сжатые губы в ниточку, напряженную неподвижность страдания, готового к самозащите.

Памфил любил их всех, в особенности детишек, без памяти, и с ловкостью, изумлявшей доктора, резал им уголком остро отточенного топора игрушки из дерева, зайцев, медведей, петухов.

Когда они приехали, Памфил повеселел, воспрянул духом, стал оправляться. Но вот стало известно, что ввиду вредного влияния, которое оказывало присутствие семей на лагерные настроения, партизан обязательно разлучат с их присными, лагерь освободят от ненужного невоенного придатка и беженский обоз под достаточной охраной поставят табором куда-нибудь подальше на зимовочную стоянку. Толков об этом разделении было больше, чем действительных приготовлений. Доктор в исполнимость этой меры не верил. Но Памфил помрачнел и к нему вернулись его прежние бегунчики.

4

На пороге зимы несколько причин охватили лагерь долгой полосой беспокойств, неизвестности, грозных и запутанных положений, странных несообразностей.

Белые завершили намеченное обложение повстанцев. Во главе законченной операции стояли генералы Вицин, Квадри и Басалыго.

Эти генералы славились твердостью и непреклонной решительностью. Одни имена их наводили ужас на жен повстанцев в лагере и на мирное население, еще не покинувшее родных мест, и остававшееся в своих деревнях позади, за неприятельскою цепью.

Как уже было сказано, нельзя было предвидеть способов, какими мог бы сузиться круг вражеского оцепления. На этот счет можно было быть спокойными. Однако и оставаться безучастными к окружению не было возможности. Покорность обстоятельствам нравственно усиливала противника. Из ловушки, хотя бы и безопасной, надо было постараться вырваться с целью военной демонстрации.

Для этого выделили большие партизанские силы и сосредоточили их против западной дуги круга. В результате многодневных жарких боев партизаны нанесли неприятелю поражение и, прорвав в этом месте его линию, зашли ему в тыл.

Через свободное пространство, образованное прорывом, открылся доступ в тайгу к повстанцам. На соединение с ними хлынули новые толпы бегущих. Прямой партизанской родней этот приток мирного деревенского люда не исчерпывался. Устрашенное карательными мерами белых всё окрестное крестьянство сдвинулось с места, покидало свои пепелища и естественно тяготело к крестьянскому лесному войску, в котором видело свою защиту.

Но в лагере было стремление избавиться от собственных нахлебников. Партизанам было не до чужих и новых. К бегущим выезжали навстречу, останавливали их в дороге и направляли в сторону, к мельнице в Чилимской росчисти, на речке Чилимке.

Это место на кулиге, образовавшееся из разросшихся при мельнице усадеб, называлось Дворы. В этих Дворах предположено было разбить беженское зимовье и расположить склад выделенного для них продовольствия.

Между тем как принимались такие решения, дела шли своим чередом, и лагерное командование за ними не поспевало.

Одержанная над неприятелем победа осложнилась. Пропустив разбившую их партизанскую группу внутрь, края белые сомкнули и восстановили свою прорванную линию. Забравшемуся к ним в тыл и оторвавшемуся отряду возвращение к своим в тайгу из набега было отрезано. С беженками тоже творилось неладное. В густой непроходимой чаще легко было разминуться. Высланные навстречу не нападали на след бегущих и возвращались, разъехавшись с ними, а женщины стихийным потоком двигались вглубь тайги, совершая по пути чудеса находчивости, валили по обе стороны лес, наводили мосты и гати, прокладывали дороги.

Все это противоречило намерениям лесного штаба и переворачивало вверх дном планы Ливерия и его предначертания.

5

По этому поводу и бушевал он, стоя вместе со Свиридом, невдалеке от тракта, который на небольшом протяжении проходил в этом месте тайгою. На дороге стояли его начальники споря, резать или нет провода тянувшегося вдоль дороги телеграфа.

Последнее решающее слово принадлежало Ливерию, а он забалтывался с бродягой-звероловом. Ливерий махал им рукой, что он сейчас к ним подойдет, чтобы они подождали, не уходили.

Свирид долгое время не мог перенести осуждения и расстрела Вдовиченки, ни в чем неповинного, кроме только того, что его влияние, соперничавшее с авторитетом Ливерия, вносило раскол в лагерь. Свирид хотел уйти от партизан, чтобы жить опять своей волей на особицу, по-прежнему. Да не тут-то было. Нанялся, продался, — его ждала участь расстрелянных, если бы он теперь ушел от лесных братьев.

Погода была самая ужасная, какую только можно придумать.

Резкий порывистый ветер нес низко над землею рваные клочья туч, черные, как хлопья летящей копоти. Вдруг из них начинал сыпать снег, в судорожной поспешности какого-то белого помешательства.

В минуту даль заволакивалась белым саваном, земля устилалась белой пеленою. В следующую минуту пелена сгорала, истаивала дотла. Выступала черная, как уголь, земля, черное небо, обданное сверху косыми отеками вдалеке пролившихся ливней. Земля воды больше в себя не принимала. В минуты просветления тучи расходились, точно, проветривая небо, наверху растворяли окна, отливающие холодною стеклянной белизной. Стоячая, невпитываемая почвою, вода отвечала с земли такими же распахнутыми оконницами луж и озер, полными того же блеска.

Ненастье дымом скользило по скипидарно-смолистым иглам хвойного бора, не проникая в них, как не проходит вода в клеенку. Телеграфные провода, как бисером, были унизаны каплями дождя. Они висели тесно-тесно, одна к другой и не отрывались.

Свирид был из числа отправленных вглубь тайги навстречу беженкам. Он хотел рассказать начальнику о том, чему он был свидетелем. О бестолочи, получавшейся из взаимостолкновения разных, равно неисполнимых приказов. Об изуверствах, учиняемых наиболее слабою, изверившеюся частью женских скопищ.

Двигавшиеся пешком с узлами, мешками и грудными детьми на себе, лишившиеся молока, сбившиеся с ног и обезумевшие молодые матери бросали детей на дороге, вытрясали муку из мешков и сворачивали назад. Лучше де скорая смерть, чем долгая от голоду. Лучше врагу в руки, чем лесному зверю в зубы.

Другие, наиболее сильные, являли образцы выдержки и храбрости, неведомые мужчинам. У Свирида было еще множество других сообщений. Он хотел предупредить начальника о нависающей над лагерем опасности нового восстания, более угрожающего, чем подавленное, и не находил

слов, потому что нетерпеливость Ливерия, раздраженно торопившего его, окончательно лишала его дара речи. А Ливерий поминутно обрывал Свирида не только оттого, что его ждали на дороге и кивали и кричали ему, но потому, что две последние недели к нему сплошь обращались с такими соображениями, и Ливерию всё это было известно.

— Ты не гони меня, товарищ начальник. Я и так не речист. У меня слово в зубах застреват, я словом подавлюсь. Я те что говорю? Сходи в беженский обоз, скажи женкам чалдонским закон да дело. Ишь какая у них непуть пошла. Я те спрашиваю, что у нас, «все на Колчака!» или бабье побоище?

— Короче, Свирид. Видишь, кличут меня. Не накручивай.

— Теперь эта лешачиха дейманка Злыдариха, пес её знат, кто она есть, бабенка. Сказывала, припишите меня, говорит, к скотине бабой ветренянкой…

— Ветеринаркой, Свирид.

— А я про что? Я и говорю, — бабой ветренянкой животные поветрия лечить. А ныне куда там тебе твоя скотина, маткой беспоповкой, столоверкой, оборотилась, коровьи обедни служит, новых женок беженских с пути совращат. Вот, говорит, на себя пеняйте, до чего доводит за красным флаком задрамши подол.

Другой раз не бегайте.

— Я не понимаю, про каких ты беженок? Про наших, партизанских, или еще про каких-нибудь других?

— Вестимо про других. Про новых, чужеместных.

— Так ведь было им распоряжение в сельцо Дворы, на Чилимскую мельницу. Как они здесь очутились?

— Эва, сельцо Дворы. От твоих Дворов одно огнище стоит, погорелище. И мельница и вся кулижка в угольках. Они, пришедши на Чилимку, видят, пустошь голая. Половина ума решилась, воймя воет и назад к белякам. А другие оглобли наоборот и сюда всем обозом.

— Через глухую чащу, через топи?

— А топоры-пилы на что? Им мужиков наших послали, охранять, — пособили. Тридцать, говорят, верст дороги прорубили. С мостами, бестии. Говори после этого, — бабы.

Такое сделают, злыдни, не сообразишь в три дни.

— Хорош гусь! Чего же ты радуешься, кобыла, тридцать верст дороги. Это ведь Вицину и Квадри на руку. Открыли проезд в тайгу. Хоть артиллерию кати.

— Заслон. Заслон. Выставь заслон и дело с концом.

— Бог даст без тебя додумаюсь.

6

Дни сократились. В пять часов темнело. Ближе к сумеркам Юрий Андреевич перешел тракт в том месте, где на днях Ливерий пререкался со Свиридом. Доктор направлялся в лагерь. Близ поляны и горки, на которой росла рябина, считавшаяся пограничной вехой лагеря, он услышал озорной задорный голос Кубарихи, своей соперницы, как он в шутку звал лекариху-знахарку. Его конкурентка с крикливым подвизгиванием выводила что-то веселое, разухабистое, наверное какие-то частушки. Ее слушали. Ее прерывали взрывы сочувственного смеха, мужского и женского. Потом всё смолкло. Все наверное разошлись.

Тогда Кубариха запела по-другому, про себя и вполголоса, считая себя в полном одиночестве. Остерегаясь оступиться в болото, Юрий Андреевич в потемках медленно пробирался по стежке, огибавшей топкую полянку перед рябиной, и остановился, как вкопанный. Кубариха пела какую-то старинную русскую песню.

Юрий Андреевич не знал ее. Может быть, это была её импровизация?

Русская песня, как вода в запруде. Кажется, она остановилась и не движется. А на глубине она безостановочно вытекает из вешняков и спокойствие её поверхности обманчиво.

Всеми способами, повторениями, параллелизмами, она задерживает ход постепенно развивающегося содержания. У какого-то предела оно вдруг сразу открывается и разом поражает нас. Сдерживающая себя, властвующая над собою тоскующая сила выражает себя так.

Это безумная попытка словами остановить время.

Кубариха наполовину пела, наполовину говорила:

«Что бежал заюшка по белу́ свету́,
По белу́ свету да по белу́ снегу́.
Он бежал косой мимо рябины дерева,
Он бежал косой, рябине плакался.
У меня ль у зайца сердце робкое,
Сердце робкое, захолончивое,
Я робею, заяц, следу зверьего,
Следу зверьего, несыта волчья черева.
Пожалей меня, рябинов куст,
Что рябинов куст, краса рябина дерево.
Ты не дай красы своей злому ворогу,

Злому ворогу, злому ворону.
Ты рассыпь красны ягоды горстью по́ ветру,
Горстью по ветру, по белу́ свету, по белу́ снегу́.
Закати, закинь их на родиму сторону,
В тот ли крайний дом с околицы.
В то ли крайнее окно да в ту ли горницу,
Там затворница укрывается,
Милая моя, желанная.
Ты скажи на ушко моей жалёнушке
Слово жаркое, горячее.
Я томлюсь во плену, солдат ратничек,
Скучно мне солдату на чужбинушке.
А и вырвусь я из плена горького,
Вырвусь к ягодке моей красавице».

7

Солдатка Кубариха заговаривала больную корову Палихи, Памфиловой жены Агафьи Фотиевны, в просторечии ФатЕвны. Корову вывели из стада и поставили в кустарник, привязав за рога к дереву. У передних ног коровы на пеньке села хозяйка, у задних — на доильной скамеечке, солдатка ворожея.

Остальное несметное стадо теснилось на небольшой прогалине.

Темный бор отовсюду обступал его стеною высоких, как горы, треугольных елей, которые как бы сидели на земле на толстых задах своих врозь растопыренных нижних ветвей.

В Сибири разводили какую-то одну премированную швейцарскую породу. Почти все в одну масть, черные с белыми подпалинами, коровы не меньше людей были измучены лишениями, долгими переходами, нестерпимой теснотой. Прижатые боками одна к другой, они чумели от давки. В своем одурении они забывали о своем поле и с ревом, по-бычьи налезали одна на другую, с трудом взволакивая вверх тяжелые оттянутые вымена. Покрытые ими телицы, задрав хвост, вырывались из-под них и, обламывая кусты и сучья, убегали в чащу, куда за ними с криком бросались старики пастухи и дети подпаски.

И точно запертые в тесном кружке, который вычерчивали еловые верхушки в зимнем небе, так же бурно и беспорядочно теснились, становились на дыбы и громоздились друг на друга снеговые черно-белые облака над лесною прогалиной.

Стоявшие кучкою поодаль любопытные мешали знахарке. Она недобрым взглядом смеривала их с головы до ног. Но было ниже её достоинства признаваться, что они её стесняют. Самолюбие артистки останавливало ее. И она делала вид, что не замечает их. Доктор наблюдал её из задних рядов, скрытый от нее.

Он в первый рай толком разглядел ее. Она была в неизменной английской своей пилотке и гороховой интервентской шинели с небрежно отогнутыми отворотами. Впрочем, высокомерными чертами глухой страстности, молодо вычернившей глаза и брови этой немолодой женщины, на лице её было ясно написано, до чего ей всё равно, в чем и без чего быть ей.

Но вид Памфиловой жены удивил Юрия Андреевича. Он почти не узнал ее. За несколько дней она страшно постарела. Выпученные глаза её готовы были выйти из впадин. На шее, вытянувшейся оглоблей, бился вздувшийся живчик. Вот что сделали с ней её тайные страхи.

— Не доится, милая, — говорила Агафья. — Думала — межмолок, да нет, давно пора бы молоку, а всё безмолочнеет.

— Чего межмолок. Вон на соске у ней болячка антракс.

Травку дам на сале, смазывать. И само собой, нашепчу.

— Другая моя беда — муж.

— Приворожу, чтоб не гулял. Это можно. Пойдет липнуть, не оторвешь. Третью беду сказывай.

— Да не гуляет. Добро бы гулял. То-то и беда, что наоборот, пуще мочи ко мне, к детям прирос, душой по нас сохнет. Знаю я, что он думает. Вот думает, — лагеря разделят, зашлют нас в разные стороны. Достанемся мы басалыжским, а его с нами не будет. Некому будет за нас постоять. Замучат они нас, нашим мукам порадуются. Знаю я его думы. Как бы чего над собой не сделал.

— Подумаем. Уймем печаль. Третью беду сказывай.

— Да нет ее, третьей. Вот и все они, корова да муж.

— Ну и бедна ж ты бедами, мать! Гляди, как Бог тебя милует. Днем с огнем таких поискать. Две беды горести у бедной головушки, а и одна — жалостливый муж. Что дашь за корову?

Начнем отчитывать.

— А ты что хошь?

— Ситного ковригу да мужа.

Кругом захохотали.

— Смеешься, что ли?

— Ну, коли больно дорого, ковригу скину. На одном муже сойдемся.

Хохот кругом удесятерился.

— Как кличка-то? Да не мужняя, — коровы.

— Красава.

— Тут почитай полстада всё красавы. Ну ладно.

Благословясь.

И она начала заговаривать корову. Вначале её ворожба действительно относилась к скотине. Потом она сама увлеклась и прочла Агафье целое наставление о колдовстве и его применениях. Юрий Андреевич как завороженный слушал эту бредовую вязь, как когда-то при переезде из Европейской России в Сибирь прислушивался к цветистой болтовне возницы Вакха.

Солдатка говорила:

— «Тетка Моргосья, приди к нам в гости. Овторник середу, сыми порчу вереду. Сойди восца с коровья сосца. Стой смирно, Красавка, не переверни лавку. Стой горой, дой рекой. Страфила, страшила, слупи наскрозь струп шелудовый в крапиву брось.

Крепко, что царско, слово знахарско.

Всё надоть знать, Агафьюшка, отказы, наказы, слово обежное, слово обережное. Ты вот смотришь и думаешь, лес. А это нечистая сила с ангельским воинством сошлась, рубятся, вот что ваши с басалыжскими.

Или к примеру погляди, куда я кажу. Не туда смотришь, милая. Ты глазами гляди, а не затылком, и гляди куда я пальцем тыкаю. Во, во. Ты думаешь это что? Думаешь, птица гнездо вить задумала? Как бы не так. Это самая настоящая затея бесовская.

Русалка это дочке своей венок плела. Слышит, люди мимо идут, — бросила. Спугнули. Ночью кончит, доплетет, увидишь.

Или опять это ваше знамя красное. Ты что думаешь? Думаешь, это флак? Ан вот видишь совсем оно не флак, а это девки моровухи манкой малиновый платок, манкой, говорю, а отчего манкой? Молодым ребятам платком махать подмигивать, молодых ребят манить на убой, на смерть, насылать мор. А вы поверили, — флак, сходись ко мне всех стран пролета и беднота.

Теперь все надоть знать, мать Агафья, всё, всё, ну как есть всё. Кака птица, какой камень, кака трава. Теперь к примеру птица это будет птица стратим скворец. Зверь будет барсук.

Теперь к примеру вздумаешь с кем полюбавиться, только скажи. Я тебе кого хошь присушу. Хошь твоего над вами начальника, Лесного вашего, хошь Колчака, хошь Ивана царевича.

Думаешь, хвастаю, вру? А вот и не вру. Ну, смотри, слушай.

Придет зима, пойдет метелица в поле вихри толпить, кружить столбунки. И я тебе в тот столб снеговой, в тот снеговорот нож залукну, вгоню нож в снег по самый черенок, и весь красный в крови из снега выну. Что, видала? Ага? А думала, вру. А откеда, скажи, из завирухи буранной кровь? Ветер ведь эта, воздух, снеговая пыль. А то-то и есть, кума, не ветер это буран, а разведенка оборотенка детеныша ведьменочка своего потеряла, ищет в поле, плачет, не может найтить. И в нее мой нож угодит. Оттого кровь. И я тебе тем ножом чей хошь след выну, вырежу и шолком к подолу пришью. И пойдет хошь Колчак, хошь Стрельников, хошь новый царь какой-нибудь по пятам за тобой, куда ты, туда и он. А ты думала — вру, думала — сходись ко мне всех стран босота и пролета.

Или тоже, например, теперь камни с неба падают, падают яко дождь. Выйдет человек за порог из дому, а на него камни. Или иные видеху конники проезжали верхом по небу, кони копытами задевали за крыши. Или какие кудечники в старину открывали: сия жена в себе заключает зерно или мед или куний мех. И латники тем занагощали плечо, яко отмыкают скрынницу, и вынимали мечом из лопатки у какой пшеницы меру, у какой белку, у какой пчелиный сот».

Иногда встречается на свете большое и сильное чувство. К нему всегда примешивается жалость. Предмет нашего обожания тем более кажется нам жертвою, чем более мы любим. У некоторых сострадание к женщине переходит все мыслимые пределы. Их отзывчивость помещает её в несбыточные, не находимые на свете, в одном воображении существующие положения, и они ревнуют её к окружающему воздуху, к законам природы, к протекшим до нее тысячелетиям.

Юрий Андреевич был достаточно образован, чтобы в последних словах ворожеи заподозрить начальные места какой-то летописи, Новгородской или Ипатьевской, наслаивающимися искажениями превращенные в апокриф. Их целыми веками коверкали знахари и сказочники, устно передавая их из поколения в поколения. Их еще раньше путали и перевирали переписчики.

Отчего же тирания предания так захватила его? Отчего к невразумительному вздору, к бессмыслице небылицы отнесся он так, точно это были положения реальные?

Ларе приоткрыли левое плечо. Как втыкают ключ в секретную дверцу железного, вделанного в шкап тайничка, поворотом меча ей вскрыли лопатку. В глубине открывшейся душевной полости показались хранимые её душою тайны. Чужие посещенные города, чужие улицы, чужие дома, чужие просторы потянулись лентами, раскатывающимися мотками лент,

вываливающимися свертками лент наружу.

О как он любил ее! Как она была хороша! Как раз так, как ему всегда думалось и мечталось, как ему было надо! Но чем, какой стороной своей? Чем-нибудь таким, что можно было назвать или выделить в разборе? О нет, о нет! Но той бесподобно простой и стремительной линией, какою вся она одним махом была обведена кругом сверху донизу творцом, и в этом божественном очертании сдана на руки его душе, как закутывают в плотно накинутую простыню выкупанного ребенка.

А теперь где он и что с ним? Лес, Сибирь, партизаны. Они окружены, и он разделит общую участь. Что за чертовщина, что за небывальщина. И опять у Юрия Андреевича стало мутиться в глазах и голове. Всё поплыло перед ним. В это время вместо ожидаемого снега начал накрапывать дождь. Как перекинутый над городской улицей от дома к дому плакат на большущем полотнище, протянулся в воздухе с одной стороны лесной прогалины на другую расплывчатый, во много раз увеличенный призрак одной удивительной боготворимой головы. И голова плакала, а усилившийся дождь целовал и поливал ее.

— Ступай, — говорила ворожея Агафья, — корову твою отчитала я, — выздоровеет. Молись Божьей Матери. Се бо света чертог и книга слова животного.

8

Шли бои у западных границ тайги. Но она была так велика, что на глаз её это разыгрывалось как бы на далеких рубежах государства, а затерявшийся в её дебрях стан был так многолюден, что сколько ни уходило из него народу в бой, еще больше всегда оставалось и он никогда на пустовал.

Гул отдаленного сражения почти не достигал гущи лагеря.

Вдруг в лесу раскатилось несколько выстрелов. Они последовали один за другим совсем близко, и разом перешли в частую беспорядочную стрельбу. Застигнутые пальбою в том же месте, где она слышалась, шарахнулись врассыпную. Люди из вспомогательных лагерных резервов побежали к своим телегам.

Поднялся переполох. Все стали приводить себя в боевую готовность.

Скоро переполох улегся. Тревога оказалась ложной. Но вот опять к тому месту, где стреляли, стал стекаться народ. Толпа росла. К стоявшим подходили новые.

Толпа окружала лежавший на земле окровавленный человеческий

обрубок. Изувеченный еще дышал. У него были отрублены правая рука и левая нога. Было уму непостижимо, как на оставшейся другой руке и ноге несчастный дополз до лагеря. Отрубленная рука и нога страшными кровавыми комками были привязаны к его спине с длинной надписью на дощечке, где между отборными ругательствами было сказано, что это сделано в отплату за зверства такого-то и такого-то красного отряда, к которому партизаны из лесного братства не имели отношения. Кроме того, присовокуплялось, что так будет поступлено со всеми, если к названному в надписи сроку партизаны не покорятся и не сдадут оружия представителям войск Вицынского корпуса.

Истекая кровью, прерывающимся, слабым голосом и заплетающимся языком, поминутно теряя сознание, страдалец-калека рассказал об истязаниях и пытках в тыловых военно-следственных и карательных частях у генерала Вицина.

Повешение, к которому его приговорили, ему заменили, в виде милости, отсечением руки и ноги, чтобы в этом изуродованном виде пустить к партизанам в лагерь для их устрашения. До первых подходов к лагерной сторожевой линии его несли на руках, а потом положили на землю и велели ползти самому, подгоняя его издали выстрелами в воздух.

Замученный еле шевелил губами. Чтобы разобрать его невнятный лепет, его слушали, согнув поясницы и низко наклонившись к нему. Он говорил:

— Берегитесь, братцы. Прорвал он вас.

— Заслон послали. Там великая драка. Задержим.

— Прорыв. Прорыв. Он хочет нечаянно. Я знаю. Ой, не могу, братцы. Видите, кровью исхожу, кровью кашляю. Сейчас кончусь.

— А ты полежи, отдышись. Ты помолчи. Да не давайте говорить ему, ироды. Видите, вредно ему.

— Живого места во мне не оставил, кровопийца, собака.

Кровью, говорит, своей будешь у меня умываться, сказывай, кто ты есть такой. А как я, братцы, это скажу, когда я самый, как есть, настоящий дизельтер. Да. Я от него к вашим перебег.

— Вот ты говоришь, — он. Это кто ж у них над тобой орудовал?

— Ой, братцы, нутро займается. Дайте малость дух переведу.

Сейчас скажу. Атаман Бекешин. Штрезе полковник. Вицинские. Вы тут в лесу ничего не знаете. В городу стон. Из живых людей железо варят. Из живых режут ремни. Втащут за шиворот незнамо куда, тьма кромешная. Обтрогаешься кругом, — клетка, вагон. В клетке человек больше сорока в одном нижнем. И то и знай отпирают клетку, и лапища в вагон. Первого

попавшего. Наружу.

Все равно как курей резать. Ей Богу. Кого вешать, кого под шомпола, кого на допрос. Излупцуют в нитку, посыпают раны солью, поливают кипятком. Когда скинет или сделает под себя на низ, заставляют, — жри. А с детишками, а по женскому делу, о Господи!

Несчастный был уже при последнем издыхании. Он не договорил, вскрикнул и испустил дух. Как-то все сразу это поняли, стали снимать шапки, креститься.

Вечером другая новость, куда страшнее этого случая, облетела весь лагерь.

Памфил Палых был в толпе, стоявшей вокруг умиравшего. Он его видел, слышал его рассказ, прочел полную угроз надпись на дощечке.

Его постоянный страх за судьбу своих в случае его смерти охватил его в небывалых размерах. В воображении он уже видел их отданными на медленную пытку, видел их мукою искаженные лица, слышал их стоны и зовы на помощь. Чтобы избавить их от будущих страданий и сократить свои собственные, он в неистовстве тоски сам их прикончил. Он зарубил жену и трех детей тем самым, острым, как бритва, топором, которым резал им, девочкам и любимцу сыну Фленушке, из дерева игрушки.

Удивительно, что он не наложил на себя рук тотчас после совершенного. О чем он думал? Что у него могло быть впереди?

Какие виды, намерения? Это был явный умопомешанный, бесповоротно конченное существование.

Пока Ливерий, доктор и члены армейского совета заседали, обсуждая, что с ним делать, он бродил на свободе по лагерю, с упавшею на грудь головою, ничего не видя мутно-желтыми, глядящими исподлобья глазами. Тупо блуждающая улыбка нечеловеческого, никакими силами непобедимого страдания не сходила с его лица.

Никто не жалел его. Все от него отшатывались. Раздавались голоса, призывавшие к самосуду над ним. Их не поддерживали.

Больше на свете ему было делать нечего. На рассвете он исчез из лагеря, как бежит от самого себя больное водобоязнью бешеное животное.

9

Давно настала зима. Стояли трескучие морозы. Разорванные звуки и формы без видимой связи появлялись в морозном тумане, стояли, двигались, исчезали. Не то солнце, к которому привыкли на земле, а какое-то другое, подмененное, багровым шаром висело в лесу. От него туго и

медленно, как во сне, или в сказке, растекались лучи густого, как мед, янтарно-желтого света, и по дороге застывали в воздухе и примерзали к деревьям.

Едва касаясь земли круглой стопою и пробуждая каждым шагом свирепый скрежет снега, по всем направлениям двигались незримые ноги в валенках, а дополняющие их фигуры в башлыках и полушубках отдельно проплывали по воздуху, как кружащиеся по небесной сфере светила.

Знакомые останавливались, вступали в разговор. Они приближали друг к другу по-банному побагровевшие лица с обледенелыми мочалками бород и усов. Клубы плотного, вязкого пара облаками вырывались из их ртов и по громадности были несоизмеримы со скупыми, как бы отмороженными, словами их немногосложной речи.

На тропинке столкнулись Ливерий с доктором.

— А, это вы? Сколько лет, сколько зим! Вечером прошу в мою землянку. Ночуйте у меня. Тряхнем стариной, поговорим. Есть сообщение.

— Нарочный вернулся? Есть сведения о Варыкине?

— О моих и о ваших в донесении ни звука. Но отсюда я как раз черпаю утешительные выводы. Значит, они вовремя спаслись.

А то бы о них имелось упоминание. Впрочем, обо всем при встрече. Итак, я жду вас.

В землянке доктор повторил свой вопрос:

— Ответьте только, что вы знаете о наших семьях?

— Опять вы не желаете глядеть дальше своего носа. Наши, по-видимому, живы, в безопасности. Но не в них дело.

Великолепнейшие новости. Хотите мяса? Холодная телятина.

— Нет, спасибо. Не разбрасывайтесь. Ближе к делу.

— Напрасно. А я пожую. Цынга в лагере. Люди забыли, что такое хлеб, зелень. Надо было осенью организованнее собирать орехи и ягоды, пока здесь были беженки. Я говорю, дела наши в наивеликолепнейшем состоянии. То, что я всегда предсказывал, совершилось. Лед тронулся. Колчак отступает на всех фронтах.

Это полное, стихийно развивающееся поражение. Видите? Что я говорил? А вы ныли.

— Когда это я ныл?

— Постоянно. Особенно, когда нас теснил Вицин.

Доктор вспомнил недавно минувшую осень, расстрел мятежников, детоубийство и женоубийство Палых, кровавую колошматину и человекоубоину, которой не предвиделось конца.

Изуверства белых и красных соперничали по жестокости, попеременно

возрастая одно в ответ на другое, точно их перемножали. От крови тошнило, она подступала к горлу и бросалась в голову, ею заплывали глаза. Это было совсем не нытье, это было нечто совсем другое. Но как было объяснить это Ливерию?

В землянке пахло душистым угаром. Он садился на нёбо, щекотал в носу и горле. Землянка освещалась тонко в листик нащепленными лучинками в треногом железном таганце. Когда одна догорала, обгорелый кончик падал в подставленный таз с водой, и Ливерий втыкал в кольцо новую, зажженную.

— Видите, что жгу. Масло вышло. Пересушили полено. Быстро догорает лучина. Да, цынга в лагере. Вы категорически отказываетесь от телятины? Цынга. А вы что смотрите, доктор?

Нет того, чтобы собрать штаб, осветить положение, прочесть руководству лекцию о цынге и мерах борьбы с нею.

— Не томите, ради Бога. Что вам известно в точности о наших близких?

— Я уже сказал вам, что никаких точных сведений о них нет.

Но я не договорил того, что знаю из последних общевоенных сводок. Гражданская война окончена. Колчак разбит на голову.

Красная армия гонит его по железнодорожной магистрали на восток, чтобы сбросить в море. Другая часть Красной армии спешит на соединение с нами, чтобы общими силами заняться уничтожением его многочисленных, повсюду рассеянных тылов. Юг России очищен. Что же вы не радуетесь? Вам этого мало?

— Не правда. Я радуюсь. Но где наши семьи?

— В Варыкине их нет, и это большое счастье. Хотя летние легенды Каменнодворского, как я предполагал, не подтвердились, — помните эти глупые слухи о нашествии в Варыкино какой-то загадочной народности? — но поселок совершенно опустел. Там, видимо, что-то было все-таки, и очень хорошо, что обе семьи заблаговременно оттуда убрались. Будем верить, что они спасены. Таковы, по словам моей разведки, предположения немногих оставшихся.

— А Юрятин? Что там? В чьих он руках?

— Тоже нечто несообразное. Несомненная ошибка.

— А именно?

— Будто в нем еще белые. Это безусловный абсурд, явная невозможность. Сейчас я вам это докажу с очевидностью.

Ливерий вставил в светец новую лучину и, сложив мятую трепаную двухверстку нужными делениями наружу, а лишние края подвернув

внутрь, стал объяснять по карте с карандашом в руке.

— Смотрите. На всех этих участках белые отброшены назад.

Вот тут, тут и тут по всему кругу. Вы следите внимательно?

— Да.

— Их не может быть в Юрятинском направлении. Иначе, при отрезанных коммуникациях, они неизбежно попадают в мешок.

Этого не могут не понимать их генералы, как бы они ни были бездарны. Вы надели шубу? Куда вы?

— Простите, я на минуту. Я вернусь сейчас. Тут начажено махоркой и лучинной гарью. Мне нехорошо. Я отдышусь на воздухе.

Поднявшись из землянки наружу, доктор смел рукавицей снег с толстой колоды, положенной вдоль для сидения у выхода. Он сел на нее, нагнулся и, подперев голову обеими руками, задумался.

Зимней тайги, лесного лагеря, восемнадцати месяцев, проведенных у партизан, как не бывало. Он забыл о них. В его воображении стояли одни близкие. Он строил догадки о них одну другой ужаснее.

Вот Тоня идет полем во вьюгу с Шурочкой на руках. Она кутает его в одеяло, её ноги проваливаются в снег, она через силу вытаскивает их, а метель заносит ее, ветер валит её наземь, она падает и подымается, бессильная устоять на ослабших, подкашивающихся ногах. О, но ведь он все время забывает, забывает. У нее два ребенка, и меньшого она кормит.

Обе руки у нее заняты, как у беженок на Чилимке, от горя и превышавшего их силы напряжения лишавшихся рассудка.

Обе руки её заняты и никого кругом, кто бы мог помочь.

Шурочкин папа неизвестно где. Он далеко, всегда далеко, всю жизнь в стороне от них, да и папа ли это, такими ли бывают настоящие папы? А где её собственный папа? Где Александр Александрович? Где Нюша? Где остальные? О, лучше не задавать себе этих вопросов, лучше не думать, лучше не вникать.

Доктор поднялся с колоды в намерении спуститься назад в землянку. Внезапно мысли его приняли новое направление. Он передумал возвращаться вниз к Ливерию.

Лыжи, мешок с сухарями и все нужное для побега было давно запасено у него. Он зарыл эти вещи в снег за сторожевою чертою лагеря, под большою пихтою, которую для верности еще отметил особою зарубкою. Туда, по проторенной среди сугробов пешеходной стежке он и направился. Была ясная ночь. Светила полная луна. Доктор знал, где расставлены на ночь караулы и с успехом обошел их. Но у поляны с обледенелою рябиной часовой издали окликнул его и, стоя прямо на сильно разогнанных лыжах,

скользком подъехал к нему.

— Стой! Стрелять буду! Кто такой? Говори порядок.

— Да что ты, братец, очумел? Свой. Аль не узнал? Доктор ваш Живаго.

— Виноват! Не серчай, товарищ Желвак. Не признал. А хоша и Желвак, дале не пущу. Надо всё следом правилом.

— Ну, изволь. Пароль Красная Сибирь, отзыв долой интервентов.

— Это другой разговор. Ступай куда хошь. За каким шайтаном ночебродишь? Больные?

— Не спится и жажда одолела. Думал, пройдусь, поглотаю снега. Увидел рябину в ягодах мороженых, хочу пойти, пожевать.

— Вот она, дурь барская, зимой по ягоду. Три года колотим, колотим, не выколотишь. Никакой сознательности. Ступай по свою рябину, ненормальный. Аль мне жалко?

И так же разгоняясь все скорее и скорее, часовой с сильно взятого разбега, стоя отъехал в сторону на длинных свистящих лыжах, и стал уходить по цельному снегу все дальше и дальше за тощие, как поредевшие волосы, голые зимние кусты. А тропинка, по которой шел доктор, привела его к только что упомянутой рябине.

Она была наполовину в снегу, наполовину в обмерзших листьях и ягодах, и простирала две заснеженные ветки вперед навстречу ему. Он вспомнил большие белые руки Лары, круглые, щедрые и, ухватившись за ветки, притянул дерево к себе. Словно сознательным ответным движением рябина осыпала его снегом с ног до головы. Он бормотал, не понимая, что говорит и сам себя не помня:

— Я увижу тебя, красота моя писаная, княгиня моя рябинушка, родная кровинушка.

Ночь была ясная. Светила луна. Он пробрался дальше в тайгу к заветной пихте, откопал свои вещи и ушел из лагеря.

ЧАСТЬ тринадцатая.

ПРОТИВ ДОМА С ФИГУРАМИ

1

По кривой горке к Малой Спасской и Новосвалочному спускалась Большая Купеческая. На нее заглядывали дома и церкви более возвышенных частей города.

На углу стоял темносерый дом с фигурами. На огромных четырехугольных камнях его наклонно скошенного фундамента чернели свежерасклеенные номера правительственных газет, правительственные декреты и постановления. Надолго застаиваясь на тротуаре, литературу в безмолвии читали небольшие кучки прохожих.

Было сухо после недавней оттепели. Подмораживало. Мороз заметно крепчал. Было совсем светло в часы, в которые еще недавно темнело. Недавно ушла зима. Пустоту освободившегося места наполнил свет, который не уходил и задерживался вечерами. Он волновал, влек вдаль, пугал и настораживал.

Недавно из города ушли белые, сдав его красным. Кончились обстрелы, кровопролитие, военные тревоги. Это тоже пугало и настораживало, как уход зимы и прирост весеннего дня.

Извещения, которые при свете удлинившегося дня читали уличные прохожие, гласили:

«К сведению населения. Рабочие книжки для состоятельных получаются за 50 рублей штука в Продотделе Юрсовета, Октябрьская, бывшая Генералгубернаторская, 5, комната 137.

Неимение рабочей книжки или не правильное, а тем более лживое ведение записей карается по всем строгостям военного времени. Точная инструкция к пользованию рабочими книжками распубликована в И. Ю. И. К. № 86 (1013) текущего года и вывешена в Продотделе Юрсовета, комната 137».

В другом объявлении сообщалось о достаточности имеющихся в городе продовольственных запасов, которые якобы только прячет буржуазия, чтобы дезорганизовать распределение и посеять хаос в продовольственном деле. Объявление кончалось словами:

«Уличенные в хранении и сокрытии продовольственных запасов расстреливаются на месте».

Третье объявление предлагало:

«В интересах правильной постановки продовольственного дела непринадлежащие к эксплуататорским элементам объединяются в потребительские коммуны. О подробностях справиться в Продотделе Юрсовета, Октябрьская, бывшая Генералгубернаторская, 5, комната 137».

Военных предупреждали:

«Несдавшие оружие или носящие без соответствующего разрешения нового образца преследуются по всей строгости закона. Разрешения обмениваются в Юрревкоме, Октябрьская, 6, комната 63».

2

К группе читавших подошел исхудалый, давно не мывшийся и оттого казавшийся смуглым человек одичалого вида с котомкой за плечами и палкой. В сильно отросших его волосах еще не было седины, а темнорусая борода, которою он оброс, стала седеть.

Это был доктор Юрий Андреевич Живаго. Шубу, наверное, давно сняли с него дорогою, или он сбыл её в обмен на пищу. Он был в вымененных короткорукавых обносках с чужого плеча, не гревших его.

В мешке у него оставалась недоеденная краюшка хлеба, поданная в последней пройденной подгородной деревне, и кусок сала. Около часу назад он вошел в город со стороны железной дороги, и ему понадобился целый час, чтобы добрести от городской заставы до этого перекрестка, так он был измучен ходьбою последних дней и слаб. Он часто останавливался и еле сдерживался, чтобы не упасть на землю и не целовать каменьев города, которого он больше не чаял когда-нибудь увидеть, и виду которого радовался, как живому существу.

Очень долго, половину своего пешего странствия он шел вдоль линии железной дороги. Она вся находилась в забросе и бездействии, и вся была заметена снегом. Его путь лежал мимо целых белогвардейских составов, пассажирских и товарных, застигнутых заносами, общим поражением Колчака и истощением топлива. Эти, застрявшие в пути, навсегда остановившиеся и погребенные под снегом поезда тянулись почти непрерывною лентою на многие десятки верст. Они служили крепостями шайкам вооруженных, грабившим по дорогам, пристанищем скрывающимся уголовным и политическим беглецам, невольным бродягам того времени, но более всего братскими могилами и сборными усыпальницами умершим от мороза и от сыпняка, свирепствовавшего по линии и выкашивавшего в окрестностях целые деревни.

Это время оправдало старинное изречение: человек человеку волк. Путник при виде путника сворачивал в сторону, встречный убивал встречного, чтобы не быть убитым. Появились единичные случаи людоедства. Человеческие законы цивилизации кончились.

В силе были звериные. Человеку снились доисторические сны пещерного века.

Одиночные тени, кравшиеся иногда по сторонам, боязливо перебегавшие тропинку далеко впереди и которые Юрий Андреевич, когда мог, старательно обходил, часто казались ему знакомыми, где-то виденными. Ему чудилось, что все они из партизанского лагеря. В большинстве случаев это были ошибки, но однажды глаз не обманул его. Подросток, выползший из снеговой горы, скрывавшей корпус международного спального вагона, и по совершении нужды заюркнувший обратно в сугроб, действительно был из лесных братьев. Это был мнимо насмерть расстрелянный Терентий Галузин. Его недострелили, он пролежал в долгом обмороке, пришел в себя, уполз с места казни, скрывался в лесах, оправился от ран и теперь тайком под другой фамилией пробирался к своим в Крестовоздвиженск, хоронясь по пути от людей в засыпанных поездах.

Эти картины и зрелища производили впечатление чего-то нездешнего, трансцендентного. Они представлялись частицами каких-то неведомых, инопланетных существований, по ошибке занесенных на землю. И только природа оставалась верна истории и рисовалась взору такою, какой изображали её художники новейшего времени.

Выдавались тихие зимние вечера, светлосерые, темнорозовые.

По светлой заре вычерчивались черные верхушки берез, тонкие, как письмена. Текли черные ручьи под серой дымкой легкого обледенения, в берегах из белого, горами лежащего, снизу подмоченного темною речною водою снега. И вот такой вечер, морозный, прозрачно серый, сердобольный, как пушинки вербы, через час-другой обещал наступить против дома с фигурами в Юрятине.

Доктор подошел было к доске Центропечати на каменной стене дома, чтобы просмотреть казенные оповещения. Но взгляд его поминутно падал на противоположную сторону, устремленный вверх, в несколько окон второго этажа в доме напротив. Эти выходившие на улицу окна были забелены мелом когда-то. В находившихся за ними двух комнатах была сложена хозяйская мебель. Хотя мороз подернул низы оконниц тонкой хрустальной коркой, было видно, что окна теперь прозрачны и отмыты от мела. Что означала эта перемена? Вернулись ли хозяева? Или Лара

выехала, в квартире новые жильцы, и теперь там все по-другому?

Неизвестность волновала доктора. Он не мог совладать с волнением. Он перешел через дорогу, вошел с парадного подъезда в сени и стал подниматься по знакомой и такой дорогой его сердцу парадной лестнице. Как часто в лесном лагере до последней завитушки вспоминал он решетчатый узор литых чугунных ступеней. На каком-то повороте подъема, при взгляде сквозь решетку под ноги, внизу открывались сваленные под лестницей худые ведра, лохани и поломанные стулья. Так повторилось и сейчас. Ничего не изменилось, все было по-прежнему. Доктор был почти благодарен лестнице за верность прошлому.

Когда-то в двери был звонок. Но он испортился и бездействовал уже в прежние времена, до лесного пленения доктора. Он хотел постучаться в дверь, но заметил, что она заперта по-новому, тяжелым висячим замком, продетым в кольца, грубо ввинченные в облицовку старинной дубовой двери с хорошей и местами выпавшей отделкою. Прежде такого варварства не допускали. Пользовались врезными дверными замками, хорошо запиравшимися, а если они портились, на то были слесаря, чтобы чинить их. Ничтожная эта мелочь по-своему говорила об общем, сильно подвинувшемся вперед ухудшении.

Доктор был уверен, что Лары и Катеньки нет в доме, а может быть, и в Юрятине, а может быть, даже и на свете. Он готов был к самым страшным разочарованиям. Только для очистки совести решил он пошарить в дыре, которой так боялись он и Катенька, и постучал ногой по стене, чтобы не наткнуться рукой на крысу в отверстии. У него не было надежды найти что-нибудь в условном месте. Дыра была заложена кирпичом. Юрий Андреевич вынул кирпич и сунул в углубление руку. О чудо! Ключ и записка.

Записка довольно длинная, на большом листе. Доктор подошел к лестничному окошку на площадке. Еще большее чудо, еще более невероятное! Записка написана ему! Он быстро прочел:

«Господи, какое счастье! Говорят, ты жив и нашелся. Тебя видели в окрестностях, прибежали и сказали мне. Предполагая, что первым делом ты поспешишь в Варыкино, отправляюсь к тебе сама туда с Катенькой. На всякий случай ключ в обычном месте.

Дожидайся моего возвращения, никуда не уходи. Да, ты этого не знаешь, я теперь в передней части квартиры, в комнатах, выходящих на улицу. Впрочем, сам догадаешься. В доме простор, запустение, пришлось продать часть хозяйской мебели. Оставляю немного еды, главным образом, вареной картошки. Придавливай крышку кастрюли утюгом или чем-

нибудь тяжелым, как я сделала, в предохранение от крыс. Без ума от радости».

Тут кончалась лицевая сторона записки. Доктор не обратил внимания, что бумажка исписана и с другой стороны. Он поднес разложенный на ладони листок к губам, а потом, не глядя, сложил и сунул его вместе с ключом в карман. Страшная, ранящая боль примешалась к его безумной радости. Раз она не обинуясь, без всяких оговорок направляется в Варыкино, следовательно, его семьи там нет. Кроме тревоги, которую вызывала эта частность, ему нестерпимо больно и грустно было за своих.

Отчего она ни словом не обмолвилась о них и о том, где они, точно их и вообще не существовало.

Но раздумывать было некогда. На улице начинало темнеть.

Множество дел надо было успеть сделать засветло. Не последнею заботою было ознакомление с развешанными на улице декретами.

Время было нешуточное. Можно было по незнанию заплатить жизнью за нарушение какого-нибудь обязательного постановления. И не отпирая квартиры и не снимая котомки с натруженного плеча, он сошел вниз на улицу и подошел к стене, на большом пространстве сплошь облепленной разнообразною печатью.

3

Эта печать состояла из газетных статей, протоколов речей на заседаниях и декретов. Юрий Андреевич бегло просматривал заглавия. «О порядке реквизиции и обложении имущих классов. О рабочем контроле. О фабрично-заводских комитетах». Это были распоряжения новой, вошедшей в город власти в отмену застигнутых тут предшествующих порядков. Она напоминала о неукоснительности своих устоев, может быть, забытых жителями при временном правлении белых. Но у Юрия Андреевича закружилась голова от нескончаемости этих однообразных повторов. Каких лет были эти заголовки? Времен первого переворота, или последующих периодов, после нескольких белогвардейских восстаний в промежутке? Что это за надписи?

Прошлогодние? Позапрошлогодние? Один раз в жизни он восхищался безоговорочностью этого языка и прямотою этой мысли. Неужели за это неосторожное восхищение он должен расплачиваться тем, чтобы в жизни больше уже никогда ничего не видеть, кроме этих на протяжении долгих лет не меняющихся шалых выкриков и требований, чем дальше, тем более нежизненных, неудобопонятных и неисполнимых? Неужели минутою

слишком широкой отзывчивости он навеки закабалил себя?

Откуда-то вырванный кусок отчета попался ему. Он читал:

«Сведения о голоде показывают невероятную бездеятельность местных организаций. Факты злоупотребления очевидны, спекуляция чудовищна, но что сделало бюро местных профоргов, что сделали городские и краевые фабзавкомы? Пока мы не произведем массовых обысков в пакгаузах Юрятина-товарного, на участке Юрятин-Развилье и Развилье-Рыбалка, пока не применим суровых мер террора вплоть до расстрела на месте к спекулянтам, не будет спасения от голода».

«Какое завидное ослепление! — думал доктор. О каком хлебе речь, когда его давно нет в природе? Какие имущие классы, какие спекулянты, когда они давно уничтожены смыслом предшествующих декретов? Какие крестьяне, какие деревни, когда их больше не су шествует? Какое забвение своих собственных предначертаний и мероприятий, давно не оставивших в жизни камня на камне! Кем надо быть, чтобы с таким неостывающим горячешным жаром бредить из года в год на несуществующие, давно прекратившиеся темы, и ничего не знать, ничего кругом не видеть!»

У доктора закружилась голова. Он лишился чувств и упал на тротуар без памяти. Когда он пришел в сознание и ему помогли встать, ему предложили отвести его, куда он укажет. Он поблагодарил и отказался от помощи, объяснив, что ему только через дорогу, напротив.

4

Он еще раз поднялся наверх и стал отпирать дверь в Ларину квартиру. На площадке лестницы было еще совсем светло, ничуть не темнее, чем в первый его подъем. Он с признательной радостью отметил, что солнце не торопит его.

Щелкание отмыкаемой двери произвело переполох внутри.

Пустующее в отсутствие людей помещение встретило его лязгом и дребезжанием опрокидываемых и падающих жестянок. Всем телом шлепались на пол и врассыпную разбегались крысы. Доктору стало не по себе от чувства беспомощности перед этой мерзостью, которой тут наверное расплодилась тьма тьмущая.

И до какой бы то ни было попытки водворения на ночевку сюда, он первым делом решил оградиться от этой напасти и, укрывшись в какой-нибудь легко отделимой и хорошо затворяющейся комнате, заделать битым стеклом и обрезками железа все крысиные ходы.

Из передней он повернул налево, в неизвестную ему часть квартиры.

Миновав темную проходную комнату, он очутился в светлой, двумя окнами выходившей на улицу. Прямо против окон на другой стороне темнел дом с фигурами. Низ стены его был покрыт расклеенными газетами. Стоя спиною к окнам, газеты читали прохожие.

Свет в комнате и снаружи был один и тот же, молодой, невыстоявшийся вечерний свет ранней весны. Общность света внутри и снаружи была так велика, точно комната не отделялась от улицы. Только в одном была небольшая разница. В Лариной спальне, где стоял Юрий Андреевич, было холоднее, чем снаружи на Купеческой.

Когда Юрий Андреевич приближался к городу на своем последнем переходе и час или два тому назад шел по нему, безмерно увеличившаяся его слабость казалась ему признаком грозящего близкого заболевания и пугала его.

Сейчас же однородность освещения в доме и на воле так же беспричинно радовала его. Столб выхоложенного воздуха, один и тот же, что на дворе, что в жилище, роднил его с вечерними уличными прохожими, с настроениями в городе, с жизнью на свете. Страхи его рассеялись. Он уже не думал, что заболеет.

Вечерняя прозрачность весеннего, всюду проникающего света казалась ему залогом далеких и щедрых надежд. Ему верилось, что все к лучшему, и он всего добьется в жизни, всех разыщет и примирит, все додумает и выразит. И радости свидания с Ларою он ждал как ближайшего доказательства.

Безумное возбуждение и необузданная суетливость сменили его предшествующий упадок сил. Это оживление было более верным симптомом начинающейся болезни, чем недавняя слабость. Юрию Андреевичу не сиделось. Его снова тянуло на улицу, и вот по какому поводу.

Перед тем, как обосноваться тут, ему хотелось постричься и снять бороду. В этих видах он уже проходя через город заглядывал в витрины бывших парикмахерских. Часть помещений пустовала или была занята под другие надобности. Другие, отвечавшие прежнему назначению, были под замком. Постричься и побриться было негде. Своей бритвы у Юрия Андреевича не было.

Ножницы, если бы таковые нашлись у Лары, могли бы вывести его из затруднения. Но в беспокойной торопливости, с какой он перерыл все у нее на туалетном столике, ножниц он не обнаружил.

Он вспомнил, что на Малой Спасской находилась когда-то швейная мастерская. Он подумал, что если заведение не прекратило своего

существования и там до сих пор работают, и если он поспеет к ним до часа их закрытия, ножницы можно будет попросить у какой-нибудь из мастериц. И он еще раз вышел на улицу.

5

Воспоминание его не обмануло. Мастерская осталась на старом месте, в ней работали. Мастерская занимала торговое помещение на уровне тротуара с витринным окном во всю ширину и выходом на улицу. В окно было видно внутрь до противоположной стены.

Мастерицы работали на виду у идущих по улице.

В комнате была страшная теснота. В придачу к настоящим работницам, на работу, наверное, пристроились швеи-любительницы, стареющие дамы из юрятинского общества, для получения рабочих книжек, о которых говорилось в декрете на стене дома с фигурами.

Их движения сразу были отличимы от расторопности действительных портних. В мастерской шили одно военное, ватные штаны, стеганки и куртки, а также сметывали, как Юрий Андреевич это уже видел в партизанском лагере, сборные шутовского вида тулупы из разномастных собачьих шкур.

Неловкими пальцами подсовывая подогнутые для подрубания полы под пробивные иглы швейных машин, швеи-любительницы еле справлялись с непривычною, наполовину скорняжною работой.

Юрий Андреевич постучал в окно и сделал знак рукою, чтобы его впустили. Такими же знаками ему ответили, что от частных людей заказов не берут. Юрий Андреевич не отступал и, повторяя те же движения, настаивал, чтобы его впустили внутрь и выслушали. Отнекивающимися движениями ему дали понять, что у них спешное дело, чтобы он отстал, не мешал и шел дальше. Одна из мастериц изобразила на лице недоумение и в знак досады выставила ладошку лодочкой вперед, глазами спрашивала, что ему, собственно, нужно. Двумя пальцами, указательным и средним, он изобразил чикающее движение ножниц. Его движения не поняли. Решили, что это какая-то непристойность, что он передразнивает их и с ними заигрывает. Оборванным видом и странным поведением он производил впечатление больного или сумасшедшего. В мастерской хихикали, пересмеивались и махали на него руками, гоня его прочь от окна. Наконец он догадался поискать пути через двор дома, нашел его и, отыскав дверь в мастерскую, постучался в нее с черного хода.

6

Дверь отворила пожилая темноликая портниха в темном платье, строгая, может быть, старшая в заведении.

— Вот какой, привязался! Наказание в самом деле. Ну, скорее, что вам? Некогда.

— Ножницы мне требуются, не удивляйтесь. Хочу попросить на минуту на подержание. Я тут же при вас сниму бороду и верну с благодарностью.

В глазах портнихи показалось недоверчивое удивление. Было нескрываемо ясно, что она усомнилась в умственных способностях собеседника.

— Я издалека. Только сейчас прибыл в город, оброс. Хотел бы постричься. И ни одной парикмахерской. Так вот, я бы, пожалуй, и сам, только ножниц нету. Одолжите, пожалуйста.

— Хорошо. Я постригу вас. Только смотрите. Если у вас что-нибудь другое на уме, хитрости какие-нибудь, изменение внешности для маскировки, что-нибудь политическое, уж не взыщите. Жизнью ради вас не будем жертвовать, пожалуемся, куда следует. Не такое теперь время.

— Помилуйте, что за опасения!

Портниха впустила доктора, ввела в боковую комнату не шире чуланчика, и через минуту он сидел на стуле, как в цирюльне, весь обвязанный туго стягивавшей шею, заткнутой за ворот простыней.

Портниха отлучилась за инструментами и немного спустя вернулась с ножницами, гребенкою, несколькими, разных номеров, машинками, ремнем и бритвой.

— Всё в жизни перепробовала, — пояснила она, заметив, как изумлен доктор, что это все оказалось наготове. — Парикмахершей работала. На той войне, в сестрах милосердия, стричь и брить научилась. Бороду предварительно отхватим ножницами, а потом пробреем вчистую.

— Волосы будете стричь, пожалуйста, покороче.

— Постараемся. Такие интеллигентные, а притворяетесь незнающими. Сейчас счет не по неделям, а на декады. Сегодня у нас семнадцатое, а по числам с семеркой парикмахеры выходные.

Будто это вам неизвестно.

— Да честное слово. Зачем мне притворяться? Я ведь сказал.

Я — издалека. Нездешний.

— Спокойнее. Не дергайтесь. Недолго порезаться. Значит, — приезжий? На чем ехали?

— На своих двоих.

— Трактом шли?

— Часть трактом, а остальную по линии. Поездов, поездов под снегом! Всякие, люксы, экстренные.

— Ну вот еще кусочек остался. Отсюда снимем, и готово. По семейным надобностям?

— Какое там по семейным! По делам бывшего союза кредитных товариществ. Инспектором я разъездным. Послали в объезд с ревизией. Чорт знает куда. Застрял в Восточной Сибири. А назад никак. Поездов-то ведь нет. Пришлось пешком, ничего не попишешь. Полтора месяца шел. Такого навидался, в жизни не пересказать.

— А и не надо рассказывать. Я вас научу уму-разуму. А сейчас погодите. Вот вам зеркало. Выпростайте руку из-под простыни и возьмите его. Полюбуйтесь на себя. Ну как находите?

— По-моему, мало сняли. Можно бы покороче.

— Прическа не будет держаться. Я говорю, ничего и не надо рассказывать. Обо всем самое лучшее молчок теперь. Кредитные товарищества, поезда люкс под снегом, инспектора и ревизоры, лучше вам даже слова эти забыть. Еще в такое с ними влопаетесь! Не по внучке онучки, не по сезону это. Лучше врите, что доктор вы или учитель. Ну вот, бороду начерно отхватила, сейчас будем набело брить. Намылимся, чик-чик, и лет на десять помолодеем. Я за кипятком схожу, воды нагрею.

«Кто она, эта женщина!» — между тем думал доктор в её отсутствие. «Какое-то ощущение, будто у нас могут быть точки соприкосновения и я должен её знать. Что-то виденное или слышанное. Вероятно, она кого-то напоминает. Но чорт побери, кого именно?»

Портниха вернулась.

— А теперь, значит, побреемся. Да, стало быть, лучше никогда не говорить лишнего. Это истина вечная. Слово серебро, а молчание золото. Поезда там литерные и кредитные товарищества. Лучше что-нибудь выдумайте, будто доктор или учитель. А что видов навидались, держите про себя. Кого теперь этим удивишь? Не беспокоит бритва-то?

— Немного больно.

— Дерет, должна драть, сама знаю. Потерпите, миленький.

Без этого нельзя. Волос отрос и погрубел, отвыкла кожа. Да.

Видами теперь никого не удивишь. Искусились люди. Хлебнули и мы горюшка. Тут в атамановщину такое творилось! Похищения, убийства, увозы. За людьми охотились. Например, мелкий сатрап один, сапуновец, невзлюбил, понимаете, поручика. Посылает солдат устроить засаду близ

Загородной рощи, против дома Крапульского. Обезоруживают и под конвоем в Развилье. А Развилье у нас было тогда то же самое, что теперь губчека.

Лобное место. Что это вы головой мотаете? Дерет? Знаю, милый, знаю. Ничего не поделаешь. Тут подчищать приходится прямо против волоса, да и волос как щетина. Жесткий. Такое место.

Жена, значит, в истерике. Жена поручика. Коля! Коля мой! И прямо к главному. То есть это только так говорится, что прямо.

Кто её пустит. Протекция. Тут одна особа на соседней улице знала ходы к главному и за всех заступалась. Исключительно гуманный был человек, не чета другим, отзывчивый. Генерал Галиуллин. А кругом самосуды, зверства, драмы ревности.

Совершенно как в испанских романах.

«Это она о Ларе, — догадывался доктор, но из предосторожности молчал и не вступал в более подробные расспросы. — А когда она сказала: „как в испанских романах“, она опять кого-то страшно напомнила. Именно этим неподходящим словом, сказанным ни к селу ни к городу».

— Теперь, конечно, совсем другой разговор. Оно, положим, расследований, доносов, расстрелов и теперь хоть отбавляй. Но в идее это совсем другое. Во-первых, власть новая. Еще без году неделя правит, не вошли во вкус. Во-вторых, что там ни говори, они за простой народ, в этом их сила. Нас, считая со мной, было четыре сестры. И все трудящиеся. Естественно, мы склоняемся к большевикам. Одна сестра умерла, замужем была за политическим. Ее муж управляющим служил на одном из здешних заводов. Их сын, мой племянник, — главарь наших деревенских повстанцев, можно сказать, знаменитость.

«Так вот оно что!» — осенило Юрия Андреевича. — «Это тетка Ливерия, местная притча во языцех и свояченица Микулицына, парикмахерша, швея, стрелочница, всем известная здесь мастерица на все руки. Буду, однако, по-прежнему отмалчиваться, чтобы себя не выдать».

— Тяга к народу у племянника с детства. У отца среди рабочих рос, на Святогоре Богатыре. Варыкинские заводы, может быть, слыхали? Это что же мы такое с вами делаем! Ах я дура беспамятная! Полподбородка гладкие, другая половина небрита.

Вот что значит заговорились. А вы что смотрели, не остановили?

Мыло на лице высохло. Пойду подогрею воду. Остыла.

Когда Тунцева вернулась, Юрий Андреевич спросил:

— Варыкино ведь это какая-то глушь богоспасаемая, дебри, куда не доходят никакие потрясения?

— Ну, как сказать, богоспасаемая. Этим дебрям, пожалуй, посолоней нашего пришлось. Через Варыкино какие-то шайки проходили, неизвестно чьи. По нашему не говорили. Дом за домом на улицу выводили и расстреливали. И уходили не говоря худого слова. Так тела неубранными на снегу и оставались. Зимой ведь было дело. Что же это вы все дергаетесь? Я вас чуть бритвой по горлу не полоснула.

— Вот вы говорили, зять ваш, варыкинский житель. Его тоже не миновали эти ужасы?

— Нет, зачем. Бог милостив. Он с женой вовремя оттуда выбрался. С новой, со второй. Где они, неизвестно, но достоверно, что спаслись. Там в самое последнее время новые люди завелись. Московская семья, приезжие. Те еще раньше уехали. Младший из мужчин, доктор, глава семьи, без вести пропал. Ну что значит без вести! Это ведь только так говорится, что без вести, чтобы не огорчать. А по настоящему, надо полагать, умер, убит. Искали, искали его — не нашли. Тем временем другого, старшего, вытребовали на родину. Профессор он. По сельскому хозяйству. Вызов, я слышала, получил от самого правительства. Через Юрятин они проехали еще до вторых белых. Опять вы за свое, товарищ дорогой? Ежели так под бритвой ерзать и дергаться, недолго и зарезать клиента.

Слишком много вы требуете от парикмахера.

«Значит в Москве они!»

7

«В Москве! В Москве», с каждым шагом отдавалось в душе у него, пока он в третий раз подымался по чугунной лестнице.

Пустая квартира снова встретила его содомом скачущих, падающих, разбегающихся крыс. Юрию Андреевичу было ясно, что рядом с этою гадостью он не сомкнет глаз ни на минуту, как бы он ни был измучен. Приготовления к ночлегу он начал с заделки крысиных дыр. По счастью в спальне их оказалось не так много, гораздо меньше, чем в остальной квартире, где и самые полы и основания стен были в меньшей исправности. Но надо было торопиться. Ночь приближалась. Правда, в кухне на столе его ждала, может быть, в расчете на его приход, снятая со стены и наполовину заправленная лампа, и около нее в незадвинутом спичечном коробке лежало несколько спичек, счетом десять, как насчитал Юрий Андреевич. Но и то и другое, керосин и спички, лучше следовало беречь. В спальне еще обнаружилась ночная плошка со светильней и следами лампадного масла, которое почти до дна, наверное, выпили крысы.

В некоторых местах ребра плинтусов отставали от пола. Юрий Андреевич вбил в щели несколько слоев плашмя положенных стеклянных осколков, остриями внутрь. Дверь спальни хорошо приставала к порогу. Ее можно было плотно притворить и, заперев, наглухо отделить комнату с заделанными скважинами от остальной квартиры. В час с небольшим Юрий Андреевич со всем этим справился.

Угол спальни скашивала кафельная печь с изразцовым, до потолка не доходящим карнизом. В кухне припасены были дрова, вязанок десять. Юрий Андреевич решил ограбить Лару охапки на две и, став на одно колено, стал набирать дрова на левую руку.

Он перенес их в спальню, сложил у печи, ознакомился с её устройством и наскоро проверил, в каком она состоянии. Он хотел запереть комнату на ключ, но дверной замок оказался в неисправности и потому, приперев дверь тугой бумажной затычкой, чтобы она не отворялась, Юрий Андреевич стал не спеша растапливать печку.

Накладывая поленья в топку, он увидал метку на брусовом срезе одной из плах. С удивлением он узнал ее. Это были следы старого клеймления, две начальные буквы «ка» и «де», обозначавшие на нераспиленных деревьях, с какого они склада.

Этими буквами когда-то при Крюгере клеймили концы бревен из Кулабышевской деляны в Варыкине, когда заводы торговали излишками ненужного топливного леса.

Наличие дров этого сорта в хозяйстве у Лары доказывало, что она знает Самдевятова и что он о ней заботится, как когда-то снабжал всем нужным доктора с его семьею. Открытие это было нож в сердце доктору. Его и прежде тяготила помощь Анфима Ефимовича. Теперь стеснительность этих одолжений осложнялась другими ощущениями.

Едва ли Анфим благодетельствует Ларисе Федоровне ради её прекрасных глаз. Юрий Андреевич представил себе свободные манеры Анфима Ефимовича и Ларину женскую опрометчивость. Не может быть, чтобы между ними ничего не было.

В печке с дружным треском бурно разгорались сухие Кулабышевские дрова, и по мере того, как они занимались, ревнивое ослепление Юрия Андреевича, начавшись со слабых предположений, достигло полной уверенности.

Но душа у него была истерзана вся кругом, и одна боль вытесняла другую. Он мог не гнать этих подозрений. Мысли сами, без его усилий, перескакивали у него с предмета на предмет.

Размышления о своих, с новою силой набежавшие на него, заслонили

на время его ревнивые выдумки.

«Итак, вы в Москве, родные мои?» Ему уже казалось, что Тунцева удостоверила его в их благополучном прибытии. «Вы снова, значит, без меня повторили этот долгий, тяжелый путь?

Как вы доехали? Какого рода эта командировка Александра Александровича, этот вызов? Наверное, приглашение из Академии возобновить в ней преподавание? Что нашли вы дома? Да полно, существует ли он еще, этот дом? О как трудно и больно, Господи! О, не думать, не думать! Как путаются мысли! Что со мною, Тоня? Я, кажется, заболеваю. Что будет со мною и всеми вами, Тоня, Тонечка, Тоня, Шурочка, Александр Александрович?

Вскую отринул мя еси от лица Твоего, свете незаходимый? Отчего вас всю жизнь относит прочь, в сторону от меня? Отчего мы всегда врозь? Но мы скоро соединимся, съедемся, не правда ли?

Я пешком доберусь до вас, если никак нельзя иначе. Мы увидимся. Всё снова пойдет на лад, не правда ли?

Но как земля меня носит, если я всё забываю, что Тоня должна была родить и, вероятно, родила? Уже не в первый раз я проявляю эту забывчивость. Как прошли её роды? Как родила она?

По пути в Москву они были в Юрятине. Хотя, правда, Лара незнакома с ними, но вот швее и парикмахерше, совершенно посторонней, их судьбы не остались неизвестны, а Лара ни словом не заикается о них в записке. Какая странная, отдающая безучастием, невнимательность! Такая же необъяснимая, как её умалчивание о её отношениях с Самдевятовым».

Тут Юрий Андреевич другим разборчивым взглядом окинул стены спальни. Он знал, что из стоящих и развешанных кругом вещей нет ни одной, принадлежащей Ларе, и что обстановка прежних неведомых и скрывающихся хозяев ни в какой мере не может свидетельствовать о Лариных вкусах.

Но все равно, как бы то ни было, ему вдруг стало не по себе среди глядевших со стен мужчин и женщин на увеличенных фотографиях. Духом враждебности пахнуло на него от аляповатой меблировки. Он почувствовал себя чужим и лишним в этой спальне.

А он-то, дурень, столько раз вспоминал этот дом, соскучился по нем, и входил в эту комнату не как в помещение, а как в свою тоску по Ларе! Как этот способ чувствования, наверное, смешон со стороны! Так ли живут, ведут и выражают себя люди сильные, практики вроде Самдевятова, красавцы-мужчины? И почему Лара должна предпочитать его бесхарактерность и темный нереальный язык его обожания? Так ли

нуждается она в этом сумбуре? Хочется ли ей самой быть тем, чем она для него является?

А чем является она для него, как он только что выразился?

О, на этот вопрос ответ всегда готов у него.

Вот весенний вечер на дворе. Воздух весь размечен звуками.

Голоса играющих детей разбросаны в местах разной дальности, как бы в знак того, что пространство все насквозь живое. И эта даль — Россия, его несравненная, за морями нашумевшая, знаменитая родительница, мученица, упрямица, сумасбродка, шалая, боготворимая, с вечно величественными и гибельными выходками, которых никогда нельзя предвидеть! О как сладко существовать! Как сладко жить на свете и любить жизнь! О как всегда тянет сказать спасибо самой жизни, самому существованию, сказать это им самим в лицо!

Вот это-то и есть Лара. С ними нельзя разговаривать, а она их представительница, их выражение, дар слуха и слова, дарованный безгласным началом существования.

И не правда, тысячу раз не правда все, что он наговаривал тут о ней в минуту сомнения. Как именно совершенно и безупречно всё в ней!

Слезы восхищения и раскаяния застлали ему взор. Он открыл печную заслонку и помешал печь кочергой. Опламенившийся чистый жар он задвинул в самый зад топки, а недогоревшие головешки подгреб к переду, где была сильнее тяга. Некоторое время он не притворял дверцы. Ему доставляло наслаждение чувствовать игру тепла и света на лице и руках. Движущийся отблеск пламени окончательно отрезвил его. О как ему сейчас недоставало ее, как нуждался он в этот миг в чем-нибудь, осязательно исходящем от нее!

Он вынул из кармана её смятую записку. Он извлек её в перевернутом виде, не в том, в каком читал прежде, и только теперь установил, что листок исписан и с нижней стороны.

Разгладив скомканную бумажку, он при пляшущем свете топящейся печки прочел:

«О ваших ты знаешь. Они в Москве. Тоня родила дочку».

Дальше шло несколько вымаранных строк. Потом следовало:

«Зачеркнула, потому что глупо в записке. Наговоримся с глазу на глаз. Тороплюсь, бегу доставать лошадь. Не знаю, что придумать, если не достану. С Катенькой будет трудно…» Конец фразы стерся и был неразборчив.

«Лошадь она побежала просить у Анфима, и наверное выпросила, раз уехала», — спокойно соображал Юрий Андреевич.

«Если бы совесть её не была совершенно чиста на этот счет, она не упоминала бы об этой подробности».

8

Когда печка истопилась, доктор закрыл трубу и немного закусил. После еды им овладел приступ непреодолимой сонливости. Он лег, не раздеваясь, на диван и крепко заснул.

Он не слышал оглушительного и беззастенчивого крысиного содома, поднявшегося за дверью и стенами комнаты. Два тяжелых сна приснились ему подряд, один вслед за другим.

Он находился в Москве, в комнате перед запертою на ключ стеклянною дверью, которую он еще для верности притягивал на себя, ухватившись за дверную ручку. За дверью бился, плакал и просился внутрь его мальчик Шурочка в детском пальто, матросских брюках и шапочке, хорошенький и несчастный. Позади ребенка, обдавая его и дверь брызгами, с грохотом и гулом обрушивался водопад испорченного ли водопровода или канализации, бытового явления той эпохи, или, может быть, в самом деле здесь кончалась и упиралась в дверь какая-то дикая горная теснина, с бешено мчащимся по ней потоком и веками скопившимися в ущелье холодом и темнотою.

Обвал и грохот низвергающейся воды пугали мальчика до смерти. Не было слышно, что кричал он, гул заглушал крики мальчика. Но Юрий Андреевич видел, что губами он складывал слова: «Папочка! Папочка!»

У Юрия Андреевича разрывалось сердце. Всем существом своим он хотел схватить мальчика на руки, прижать к груди и бежать с ним без оглядки куда глаза глядят.

Но обливаясь слезами, он тянул на себя ручку запертой двери и не пускал мальчика, принося его в жертву ложно понятым чувствам чести и долга перед другой женщиной, которая не была матерью мальчика и с минуты на минуту могла войти с другой стороны в комнату.

Юрий Андреевич проснулся в поту и слезах. «У меня жар. Я заболеваю», — тотчас подумал он. — «Это не тиф. Это какая-то тяжкая, опасная, форму нездоровья принявшая усталость, какая-то болезнь с кризисом, как при всех серьезных инфекциях, и весь вопрос в том, что возьмет верх, жизнь или смерть. Но как хочется спать!» И он опять уснул.

Ему приснилось темное зимнее утро при огнях на какой-то людной улице в Москве, по всем признакам, до революции, судя по раннему уличному оживлению, по перезвону первых вагонов трамвая, по свету

ночных фонарей, желтыми полосами испещрявших серый предрассветный снег мостовых.

Ему снилась длинная вытянувшаяся квартира во много окон, вся на одну сторону, невысоко над улицей, вероятно, во втором этаже, с низко опущенными до полу гардинами. В квартире спали в разных позах по-дорожному нераздетые люди, и был вагонный беспорядок, лежали объедки провизии на засаленных развернутых газетах, обглоданные неубранные кости жареных кур, крылышки и ножки, и стояли снятые на ночь и составленные парами на полу ботинки недолго гостящих родственников и знакомых, проезжих и бездомных. По квартире вся в хлопотах торопливо и бесшумно носилась из конца в конец хозяйка, Лара, в наскоро подпоясанном утреннем халате, и по пятам за ней надоедливо ходил он, что-то все время бездарно и некстати выясняя, а у нее уже не было для него ни минуты, и на его объяснения она на ходу отзывалась только поворотами головы в его сторону, тихими недоумевающими взглядами и невинными взрывами своего бесподобного серебристого смеха, единственными видами близости, которые для них еще остались. И так далека, холодна и притягательна была та, которой он все отдал, которую всему предпочел и противопоставлением которой все низвел и обесценил!

9

Не сам он, а что-то более общее, чем он сам, рыдало и плакало в нем нежными и светлыми, светящимися в темноте, как фосфор, словами. И вместе со своей плакавшей душой плакал он сам. Ему было жаль себя.

«Я заболеваю, я болен», — соображал он в минуты просветления, между полосами сна, жарового бреда и беспамятства. — «Это все же какой-то тиф, не описанный в руководствах, которого мы не проходили на медицинском факультете. Надо бы что-нибудь приготовить, надо поесть, а то я умру от голода».

Но при первой же попытке приподняться на локте он убеждался, что у него нет сил пошевельнуться, и лишался чувств или засыпал.

«Сколько времени я лежу тут, одетый?» — обдумывал он в один из таких проблесков. «Сколько часов? Сколько дней? Когда я свалился, начиналась весна. А теперь иней на окне. Такой рыхлый и грязный, что от него темно в комнате».

На кухне крысы гремели опрокинутыми тарелками, выбегали с той стороны вверх по стене, тяжелыми тушами сваливались на пол, отвратительно взвизгивали контральтовыми плачущими голосами.

И опять он спал и просыпался, и обнаруживал, что окна в снежной сетке инея налиты розовым жаром зари, которая рдеет в них, как красное вино, разлитое по хрустальным бокалам. И он не знал, и спрашивал себя, какая это заря, утренняя или вечерняя?

Однажды ему почудились человеческие голоса где-то совсем близко и он упал духом, решив, что это начало помешательства.

В слезах от жалости к себе, он беззвучным шопотом роптал на небо, зачем оно отвернулось от него, и оставило его. «Вскую отринул мя еси от лица Твоего, свете незаходимый, и покрыла мя есть чуждая тьма окаянного!»

И вдруг он понял, что он не грезит и это полнейшая правда, что он раздет, и умыт, и лежит в чистой рубашке не на диване, а на свеже постланной постели, и что, мешая свои волосы с его волосами и его слезы со своими, с ним вместе плачет, и сидит около кровати и нагибается к нему Лара. И он потерял сознание от счастья.

10

В недавнем бреду он укорял небо в безучастии, а небо всею ширью опускалось к его постели, и две большие, белые до плеч, женские руки протягивались к нему. У него темнело в глазах от радости и, как впадают в беспамятство, он проваливался в бездну блаженства.

Всю жизнь он что-нибудь да делал, вечно бывал занят, работал по дому, лечил, мыслил, изучал, производил. Как хорошо было перестать действовать, добиваться, думать, и на время предоставить этот труд природе, самому стать вещью, замыслом, произведением в её милостивых, восхитительных, красоту расточающих руках!

Юрий Андреевич быстро поправлялся. Его выкармливала, выхаживала Лара своими заботами, своей лебедино-белой прелестью, влажно дышащим горловым шопотом своих вопросов и ответов.

Их разговоры вполголоса, даже самые пустые, были полны значения, как Платоновы диалоги.

Еще более, чем общность душ, их объединяла пропасть, отделявшая их от остального мира. Им обоим было одинаково немило все фатально типическое в современном человеке, его заученная восторженность, крикливая приподнятость и та смертная бескрылость, которую так старательно распространяют неисчислимые работники наук и искусств для того, чтобы гениальность продолжала оставаться большою редкостью.

Их любовь была велика. Но любят все, не замечая небывалости чувства.

Для них же, — и в этом была их исключительность, — мгновения, когда подобно веянью вечности, в их обреченное человеческое существование залетало веяние страсти, были минутами откровения и узнавания все нового и нового о себе и жизни.

11

— Ты должен непременно вернуться к своим. Я тебя лишнего дня не продержу. Но ты видишь, что делается. Едва мы слились с Советской Россией, как нас поглотила её разруха. Сибирью и Востоком затыкают её дыры. Ведь ты ничего не знаешь. За твою болезнь в городе так много изменилось! Запасы с наших складов перевозят в центр, в Москву. Для нее это капля в море, эти грузы исчезают в ней, как в бездонной бочке, а мы остаемся без продовольствия. Почта не ходит, прекратилось пассажирское сообщение, гонят одни маршруты с хлебом. Опять в городе ропот, как перед восстанием Гайды, опять в ответ на проявления недовольства бушует чрезвычайка.

Ну куда ты пустишься такой, кожа да кости, еле душа в теле?

Неужто опять пешком? Да ведь не дойдешь ты! Окрепни, наберись сил, тогда другое дело.

Не смею советовать, но на твоем месте, до отправки к своим, я бы немного послужила, непременно по специальности, это ценят, я пошла бы в наш губздрав, например. Он остался в прежней врачебной управе.

А то сам посуди. Сын застрелившегося сибирского миллионера, жена — дочь здешнего фабриканта и помещика. Был у партизан и бежал. Как там ни толкуй, это уход из военно-революционных рядов, дезертирство. Тебе ни в коем случае нельзя оставаться не у дел, лишенцем. Мое положение тоже не тверже. И я пойду на работу, поступлю в губоно. И подо мною почва горит.

— Как горит? А Стрельников?

— Оттого-то и горит, что Стрельников. Я еще прежде говорила тебе, как много у него врагов. Красная армия победила. Теперь беспартийным военным, которые стояли близко к верхам и слишком много знают, дадут по шапке. Да хорошо, если по шапке, а не под обух, чтобы не оставлять следов. Среди них Паша в первом ряду. Он в большой опасности. Он был на Дальнем Востоке. Я слышала, он бежал, скрывается. Говорят, его разыскивают. Но довольно о нем. Я не люблю плакать, а если прибавлю о нем еще хоть слово, то чувствую, что разревусь.

— Ты любила, ты еще до сих пор очень любишь его?

— Но ведь я пошла за него замуж, он муж мой, Юрочка. Это высокий, светлый характер. Я глубоко виновата перед ним. Я не сделала ему ничего дурного, сказать так было бы не правдой. Но он огромного значения, большой, большой прямоты человек, а я — дрянь, я ничто в сравнении с ним. Вот моя вина. Но пожалуйста, довольно об этом. Как-нибудь в другой раз я сама к этому вернусь, обещаю тебе. Какая она чудная у тебя, эта Тоня твоя. Боттичеллиевская. Я была при её родах. Я с ней страшно сошлась. Но и об этом как-нибудь потом, прошу тебя. Да, так вот давай вместе служить. Будем оба ходить на службу. Каждый месяц получать жалованье миллиардами. У нас до последнего переворота были в ходу сибирские кредитки. Их аннулировали совсем недавно, и долгое время, всю твою болезнь, жили без денежных знаков. Да. Представь себе. Трудно поверить, но как-то обходились. Теперь в бывшее казначейство привезли целый маршрут бумажных денег, говорят, вагонов сорок, не меньше. Они отпечатаны большими листами двух цветов, синего и красного, как почтовые марки, и разбиты на мелкие графы. Синие по пяти миллионов клетка, красные достоинством в десять миллионов каждая. Линючие, плохая печать, краска расплывается.

— Я видел эти деньги. Их ввели перед самым нашим отъездом из Москвы.

12

— Что ты так долго делала в Варыкине? Ведь там никого нет, пусто? Что тебя там задержало?

— Я убирала с Катенькой ваш дом. Я боялась, что ты первым делом наведаешься туда. Мне не хотелось, чтобы ты застал ваше жилище в таком виде.

— В каком? Что же там, развал, беспорядок?

— Беспорядок. Грязь. Я убрала.

— Какая уклончивая односложность. Ты недоговариваешь, ты что-то скрываешь. Но твоя воля, не стану выведывать. Расскажи мне о Тоне. Как крестили девочку?

— Машей. В память твоей матери.

— Расскажи мне о них.

— Позволь как-нибудь потом. Я ведь сказала тебе, я еле сдерживаю слезы.

— Самдевятов этот, который тебе лошадь давал, интересная фигура. Как по-твоему?

— Преинтереснейшая.

— Я ведь очень хорошо знаю Анфима Ефимовича. Он был нашим другом дома здесь, в новых для нас местах, помогал нам.

— Я знаю. Он мне рассказывал.

— Вы наверное дружны? Он и тебе старается быть полезным?

— Он меня просто осыпает благодеяниями. Я не знаю, что бы я стала без него делать.

— Легко представляю себе. У вас наверное короткие, товарищеские отношения, обхождение запросто? Он наверное во всю приударяет за тобою.

— Еще бы. Неотступно.

— А ты? Но виноват. Я захожу за границы дозволенного. По какому праву я расспрашиваю тебя? Прости. Это нескромно.

— О, пожалуйста. Тебя, наверное, интересует другое, — род наших отношений? Ты хочешь знать, не закралось ли в наше доброе знакомство что-нибудь более личное? Нет, конечно. Я обязана Анфиму Ефимовичу неисчислимо многим, я кругом в долгу перед ним, но если бы он и озолотил меня, если бы отдал жизнь за меня, это бы ни на шаг меня к нему не приблизило. У меня от рождения вражда к людям этого неродственного склада. В делах житейских эти предприимчивые, уверенные в себе,

повелительные люди незаменимы. В делах сердечных петушащееся усатое мужское самодовольство отвратительно. Я совсем по-другому понимаю близость и жизнь. Но мало того. В нравственном отношении Анфим напоминает мне другого, гораздо более отталкивающего человека, виновника того, что я такая, благодаря которому я то, что я есть.

— Я не понимаю. А какая ты? Что ты имеешь в виду?

Объяснись. Ты лучше всех людей на свете.

— Ах, Юрочка, можно ли так? Я с тобою всерьез, а ты с комплиментами, как в гостиной. Ты спрашиваешь, какая я. Я — надломленная, я с трещиной на всю жизнь. Меня преждевременно, преступно рано сделали женщиной, посвятив в жизнь с наихудшей стороны, в ложном, бульварном толковании самоуверенного пожилого тунеядца прежнего времени, всем пользовавшегося, все себе позволявшего.

— Я догадываюсь. Я что-то предполагал. Но погоди. Легко представить себе твою недетскую боль того времени, страх напуганной неопытности, первую обиду невзрослой девушки. Но ведь это дело прошлого. Я хочу сказать, — горевать об этом сейчас не твоя печаль, а людей, любящих тебя, вроде меня. Это я должен рвать на себе волосы и приходить в отчаяние от опоздания, от того, что меня не было уже тогда с тобою, чтобы предотвратить случившееся, если оно правда для тебя горе.

Удивительно. Мне кажется, сильно, смертельно, со страстью я могу ревновать только к низшему, далекому. Соперничество с высшим вызывает у меня совсем другие чувства. Если бы близкий по духу и пользующийся моей любовью человек полюбил ту же женщину, что и я, у меня было бы чувство печального братства с ним, а не спора и тяжбы. Я бы, конечно, ни минуты не мог делиться с ним предметом моего обожания. Но я бы отступил с чувством совсем другого страдания, чем ревность, не таким дымящимся и кровавым. То же самое случилось бы у меня при столкновении с художником, который покорил бы меня превосходством своих сил в сходных со мною работах. Я, наверное, отказался бы от своих поисков, повторяющих его попытки, победившие меня.

Но я уклонился в сторону. Я думаю, я не любил бы тебя так сильно, если бы тебе не на что было жаловаться и не о чем сожалеть. Я не люблю правых, не падавших, не оступавшихся. Их добродетель мертва и малоценна. Красота жизни не открывалась им.

— А я именно об этой красоте. Мне кажется, чтобы её увидеть, требуется нетронутость воображения, первоначальность восприятия. А это как раз у меня отнято. Может быть, у меня сложился бы свой взгляд на жизнь, если бы с первых шагов я не увидела её в чуждом опошляющем

отпечатке. Но мало того. Из-за вмешательства в мою начинавшуюся жизнь одной безнравственной самоуслаждавшейся заурядности не сладился мой последующий брак с большим и замечательным человеком, сильно любившим меня и которому я отвечала тем же.

— Погоди. О муже расскажешь мне потом. Я сказал тебе, что ревность вызывает во мне обыкновенно низший, а не равный. К мужу я тебя не ревную. А тот?

— Какой «тот»?

— Тот прожигатель жизни, который погубил тебя. Кто он такой?

— Довольно известный московский адвокат. Он был товарищем моего отца, и после папиной смерти материально поддерживал маму, пока мы бедствовали. Холостой, с состоянием. Наверное, я придаю ему чрезмерный интерес и несвойственную значительность тем, что так черню его. Очень обыкновенное явление. Если хочешь, я назову тебе фамилию.

— Не надо. Я знаю. Я раз его видел.

— В самом деле?

— Однажды в номерах, когда травилась твоя мать. Поздно вечером. Мы были еще детьми, гимназистами.

— А, я помню этот случай. Вы приехали и стояли в темноте, в номерной прихожей. Может быть, сама я никогда не вспомнила бы этой сцены, но ты мне помог уже раз извлечь её из забвения.

Ты мне её напомнил, по-моему, в Мелюзееве.

— Комаровский был там.

— Разве? Вполне возможно. Меня легко было застать с ним.

Мы часто бывали вместе.

— Отчего ты покраснела?

— От звука «Комаровский» в твоих устах. От непривычности и неожиданности.

— Вместе со мною был мой товарищ, гимназист одноклассник.

Вот что тогда же в номерах он мне сообщил. Он узнал в Комаровском человека, которого он раз видел случайно, при непредвиденных обстоятельствах. Однажды в дороге этот мальчик, гимназист Михаил Гордон, был очевидцем самоубийства моего отца, — миллионера промышленника. Миша ехал в одном поезде с ним. Отец бросился на ходу с поезда в намерении покончить с собой и разбился. Отца сопровождал Комаровский, его юрисконсульт. Комаровский спаивал отца, запутал его дела и, доведя его до банкротства, толкнул на путь гибели. Он виновник его самоубийства и того, что я остался сиротой.

— Не может быть! Какая знаменательная подробность! Неужели

правда! Так он был и твоим злым гением? Как это роднит нас!

Просто предопределение какое-то!

— Вот к кому я тебя ревную безумно, непоправимо.

— Что ты? Ведь я не только не люблю его. Я его презираю.

— Так ли хорошо ты всю себя знаешь? Человеческая, в особенности женская природа так темна и противоречива!

Каким-то уголком своего отвращения ты, может быть, в большем подчинении у него, чем у кого бы то ни было другого, кого ты любишь по доброй воле, без принуждения.

— Как страшно то, что ты сказал. И, по обыкновению, сказал так метко, что эта противоестественность кажется мне правдой.

Но тогда как это ужасно!

— Успокойся. Не слушай меня. Я хотел сказать, что ревную тебя к темному, бессознательному, к тому, о чем немыслимы объяснения, о чем нельзя догадаться. Я ревную тебя к предметам твоего туалета, к каплям пота на твоей коже, к носящимся в воздухе заразным болезням, которые могут пристать к тебе и отравить твою кровь. И как к такому заражению я ревную тебя к Комаровскому, который отымет тебя когда-нибудь, как когда-нибудь нас разлучит моя или твоя смерть. Я знаю, тебе это должно казаться нагромождением неясностей. Я не могу сказать это стройнее и понятнее. Я без ума, без памяти, без конца люблю тебя.

13

Расскажи мне побольше о муже. «Мы в книге рока на одной строке», — как говорит Шекспир.

— Откуда это?

— Из «Ромео и Джульетты».

— Я много говорила тебе о нем в Мелюзееве, когда разыскивала его. И потом тут, в Юрятине, в наши первые встречи с тобою, когда с твоих слов узнала, что он хотел арестовать тебя в своем вагоне. Я по-моему рассказывала тебе, а может быть и нет, и мне только так кажется, что я его однажды видела издали, когда он садился в машину. Но можешь себе представить, как его охраняли? Я нашла, что он почти не изменился. То же красивое, честное, решительное лицо, самое честное изо всех лиц, виденных мною на свете. Ни тени рисовки, мужественный характер, полное отсутствие позы. Так всегда было и так осталось. И все же одну перемену я отметила, и она встревожила меня.

Точно что-то отвлеченное вошло в этот облик и обесцветило его.

Живое человеческое лицо стало олицетворением, принципом, изображением идеи. У меня сердце сжалось при этом наблюдении.

Я поняла, что это следствие тех сил, в руки которых он себя отдал, сил возвышенных, но мертвящих и безжалостных, которые и его когда-нибудь не пощадят. Мне показалось, что он отмеченный, и что это перст обречения. Но может быть, я путаюсь. Может быть, в меня запали твои выражения, когда ты мне описывал вашу встречу. Помимо общности наших чувств я ведь так много от тебя перенимаю!

— Нет, расскажи мне о вашей жизни до революции.

— Я рано в детстве стала мечтать о чистоте. Он был её осуществлением. Ведь мы с одного двора почти. Я, он, Галиуллин. Я была его детским увлечением. Он обмирал, холодел при виде меня. Наверное, нехорошо, что я это говорю и знаю. Но было бы еще хуже, если бы я прикидывалась незнающей. Я была его детской пассией, той порабощающей страстью, которую скрывают, которую детская гордость не позволяет обнаружить, и которая без слов написана на лице и видна каждому. Мы дружили.

Мы с ним люди настолько же разные, насколько я одинаковая с тобою. Я тогда же сердцем выбрала его. Я решила соединить жизнь с этим чудесным мальчиком, чуть только мы оба выйдем в люди, и мысленно тогда же помолвилась с ним.

И подумай, каких он способностей! Необычайных! Сын простого стрелочника или железнодорожного сторожа, он одною своей одаренностью и упорством труда достиг, — я чуть не сказала уровня, а должна была бы сказать — вершин современного университетского знания по двум специальностям, математической и гуманитарной. Это ведь не шутка!

— В таком случае, что расстроило ваш домашний лад, если вы так любили друг друга?

— Ах как трудно на это ответить. Я сейчас тебе это расскажу. Но удивительно. Мне ли, слабой женщине, объяснять тебе, такому умному, что делается сейчас с жизнью вообще, с человеческой жизнью в России, и почему рушаться семьи, в том числе твоя и моя? Ах, как будто дело в людях, в сходстве и несходстве характеров, в любви и нелюбви. Все производное, налаженное, все относящееся к обиходу, человеческому гнезду и порядку, все это пошло прахом вместе с переворотом всего общества и его переустройством. Все бытовое опрокинуто и разрушено. Осталась одна небытовая, неприложенная сила голой, до нитки обобранной душевности, для которой ничего не изменилось, потому что она все время

зябла, дрожала и тянулась к ближайшей рядом, такой же обнаженной и одинокой. Мы с тобой как два первых человека Адам и Ева, которым нечем было прикрыться в начале мира, и мы теперь так же раздеты и бездомны в конце его. И мы с тобой последнее воспоминание обо всем том неисчислимо великом, что натворено на свете за многие тысячи лет между ними и нами, и в память этих исчезнувших чудес мы дышим и любим, и плачем, и держимся друг за друга и друг к другу льнем.

14

После некоторого перерыва она продолжала гораздо спокойнее:

— Я скажу тебе. Если бы Стрельников стал снова Пашенькой Антиповым. Если бы он перестал безумствовать и бунтовать. Если бы время повернуло вспять. Если бы где-то вдали, на краю света, чудом затеплилось окно нашего дома с лампою и книгами на Пашином письменном столе, я бы, кажется, на коленях ползком приползла туда. Все бы встрепенулось во мне. Я бы не устояла против зова прошлого, зова верности. Я пожертвовала бы всем.

Даже самым дорогим. Тобою. И моей близостью с тобой, такой легкой, невынужденной, саморазумеющейся. О прости. Я не то говорю. Это не правда.

Она бросилась на шею к нему и разрыдалась. Очень скоро она пришла в себя. Утирая слезы, она говорила:

— Но ведь это тот же голос долга, который гонит тебя к Тоне. Господи, какие мы бедные! Что с нами будет? Что нам делать?

Когда она совсем оправилась, она продолжала:

— Я все-таки не ответила тебе, почему расстроилось наше счастье. Я так ясно это потом поняла. Я расскажу тебе. Это будет рассказ не только о нас. Это стало судьбой многих.

— Говори, моя умница.

— Мы женились перед самой войною, за два года до её начала. И только мы зажили своим умом, устроили дом, объявили войну. Я теперь уверена, что она была виною всего, всех последовавших, доныне постигающих наше поколение несчастий. Я хорошо помню детство. Я еще застала время, когда были в силе понятия мирного предшествующего века. Принято было доверяться голосу разума. То, что подсказывала совесть, считали естественным и нужным. Смерть человека от руки другого была редкостью, чрезвычайным, из ряду вон выходящим явлением.

Убийства, как полагали, встречались только в трагедиях, романах из

мира сыщиков и в газетных дневниках происшествий, но не в обыкновенной жизни.

И вдруг этот скачок из безмятежной, невинной размеренности в кровь и вопли, повальное безумие и одичание каждодневного и ежечасного, узаконенного и восхваляемого смертоубийства.

Наверное, никогда это не проходит даром. Ты лучше меня, наверное, помнишь, как сразу все стало приходить в разрушение.

Движение поездов, снабжение городов продовольствием, основы домашнего уклада, нравственные устои сознания.

— Продолжай. Я знаю, что ты скажешь дальше. Как ты во всем разбираешься! Какая радость тебя слушать.

— Тогда пришла не правда на русскую землю. Главной бедой, корнем будущего зла была утрата веры в цену собственного мнения. Вообразили, что время, когда следовали внушениям нравственного чутья, миновало, что теперь надо петь с общего голоса и жить чужими, всем навязанными представлениями. Стало расти владычество фразы, сначала монархической — потом революционной.

Это общественное заблуждение было всеохватывающим, прилипчивым. Все подпадало под его влияние. Не устоял против его пагубы и наш дом. Что-то пошатнулось в нем. Вместо безотчетной живости, всегда у нас царившей, доля дурацкой декламации проникла и в наши разговоры, какое-то показное, обязательное умничанье на обязательные мировые темы. Мог ли такой тонкий и требовательный к себе человек, как Паша, так безошибочно отличавший суть от видимости, пройти мимо этой закравшейся фальши и её не заметить?

И тут он совершил роковую, все наперед предрешившую ошибку.

Знамение времени, общественное зло он принял за явление домашнее. Неестественность тона, казенную натянутость наших рассуждений отнес к себе, приписал тому, что он — сухарь, посредственность, человек в футляре. Тебе, наверное, кажется невероятным, чтобы такие пустяки могли что-то значить в совместной жизни. Ты не можешь себе представить, как это было важно, сколько глупостей натворил Паша из-за этого ребячества.

Он пошел на войну, чего никто от него не требовал. Он это сделал, чтобы освободить нас от себя, от своего воображаемого гнета. С этого начались его безумства. С каким-то юношеским, ложно направленным самолюбием он разобиделся на что-то такое в жизни, на что не обижаются. Он стал дуться на ход событий, на историю. Пошли его размолвки с ней. Он ведь и по сей день сводит с ней счеты. Отсюда его вызывающие сумасбродства. Он идет к верной гибели из-за этой глупой амбиции. О если

бы я могла спасти его!

— Как неимоверно чисто и сильно ты его любишь! Люби, люби его. Я не ревную тебя к нему, я не мешаю тебе.

15

Незаметно пришло и ушло лето. Доктор выздоровел. Временно, в чаянии предполагаемоего отъезда в Москву, он поступил на три места. Быстро развивающееся обесценение денег заставляло ловчиться на нескольких службах.

Доктор вставал с петухами, выходил на Купеческую и спускался по ней мимо иллюзиона «Гигант» к бывшей типографии Уральского казачьего войска, ныне переименованной в «Красного наборщика». На углу Городской, на двери Управления делами, его встречала дощечка «Бюро претензий». Он пересекал площадь наискось и выходил на Малую Буяновку. Миновав завод Стенгопа, он через задний двор больницы проходил в амбулаторию Военного госпиталя, место своей главной службы.

Половина его пути лежала под тенистыми, перевешивавшимися над улицей деревьями, мимо замысловатых, в большинстве деревянных домишек с круто заломленными крышами, решетчатыми оградами, узорными воротами и резными наличниками на ставнях.

По соседству с амбулаторией, в бывшем наследственном саду купчихи Гореглядовой, стоял любопытный невысокий дом в старорусском вкусе. Он был облицован граненными изразцами с глазурью, пирамидками граней наружу, наподобие старинных московских боярских палат.

Из амбулатории Юрий Андреевич раза три-четыре в декаду отправлялся в бывший дом Лигетти на Старой Миасской, на заседания помещавшегося там Юрятинского Облздрава.

Совсем в другом, отдаленном районе стоял дом, пожерствованный городу отцом Анфима, Ефимом Самдевятовым, в память покойной жены, которая умерла в родах, дав жизнь Анфиму. В доме помещался основанный Самдевятовым Институт гинекологии и акушерства. Теперь в нем были размещены ускоренные медико-хирургические курсы имени Розы Люксембург.

Юрий Андреевич читал на них общую патологию и несколько необязательных предметов.

Он возвращался со всех этих должностей к ночи измученный и проголодавшийся, и заставал Ларису Федоровну в разгаре домашних

хлопот, за плитою или перед корытом. В этом прозаическом и будничном виде, растрепанная, с засученными рукавами и подоткнутым подолом, она почти пугала своей царственной, дух захватывающей притягательностью, более, чем если бы он вдруг застал её перед выездом на бал, ставшею выше и словно выросшею на высоких каблуках, в открытом платье с вырезом и широких шумных юбках.

Она готовила или стирала, и потом оставшеюся мыльной водой мыла полы в доме. Или спокойная и менее разгоряченная, гладила и чинила свое, его и Катенькино белье. Или, справившись со стряпней, стиркой и уборкой, учила Катеньку. Или, уткнувшись в руководства, занималась собственным политическим переобучением перед обратным поступлением учительницею в новую преобразованную школу.

Чем ближе были ему эта женщина и девочка, тем менее осмеливался он воспринимать их по-семейному, тем строже был запрет, наложенный на род его мыслей долгом перед своими и его болью о нарушенной верности им. В этом ограничении для Лары и Катеньки не было ничего обидного. Напротив, этот несемейный способ чувствования заключал целый мир почтительности, исключавший развязность и амикошонство.

Но это раздвоение всегда мучило и ранило, и Юрий Андреевич привык к нему, как можно привыкнуть к незажившей, часто вскрывающейся ране.

16

Так прошло месяца два или три. Как-то в октябре Юрий Андреевич сказал Ларисе Федоровне:

— Знаешь, кажется, мне придется уйти со службы. Старая вечно повторяющаяся история. Начинается как нельзя лучше. «Мы всегда рады честной работе. А мыслям, в особенности новым, и того более. Как их не приветствовать. Добро пожаловать.

Работайте, боритесь, ищите».

Но на поверку оказывается, что под мыслями разумеется одна их видимость, словесный гарнир к возвеличению революции и властей предержащих. Это утомительно и надоедает. И я не мастер по этой части.

И, наверное, действительно они правы. Конечно, я не с ними.

Но мне трудно примириться с мыслью, что они герои, светлые личности, а я — мелкая душонка, стоящая за тьму и порабощение человека. Слышала ты когда-нибудь имя Николая Веденяпина?

— Ну конечно. До знакомства с тобой, и потом, по частым твоим рассказам. О нем часто упоминает Симочка Тунцева. Она его

последовательница. Но книг его, к стыду своему, я не читала. Я не люблю сочинений, посвященных целиком философии.

По-моему философия должна быть скупою приправой к искусству и жизни. Заниматься ею одною так же странно, как есть один хрен.

Впрочем, прости, своими глупостями я отвлекла тебя.

— Нет, напротив. Я согласен с тобою. Это очень близкий мне образ мыслей. Да, так о дяде. Может быть, я действительно испорчен его влиянием. Но ведь сами они в один голос кричат: гениальный диагност, гениальный диагност. И правда, я редко ошибаюсь в определении болезни. Но ведь это и есть ненавистная им интуиция, которой якобы я грешу, цельное, разом охватывающее картину познание.

Я помешан на вопросе о мимикрии, внешнем приспособлении организмов к окраске окружающей среды. Тут в этом цветовом подлаживании скрыт удивительный переход внутреннего во внешнее.

Я осмелился коснуться этого на лекциях. И пошло! «Идеализм, мистика. Натурфилософия Гёте, неошеллингианство».

Надо уходить. Из губздрава и института я уволюсь по собственному прошению, а в больнице постараюсь продержаться, пока меня не выгонят. Я не хочу пугать тебя, но временами у меня ощущение, будто не сегодня-завтра меня арестуют.

— Сохрани Бог, Юрочка. До этого, по счастью, еще далеко.

Но ты прав. Не мешает быть осторожнее. Насколько я заметила, каждое водворение этой молодой власти проходит через несколько этапов. В начале это торжество разума, критический дух, борьба с предрассудками.

Пока наступает второй период. Получают перевес темные силы «примазавшихся», притворносочувствующих. Растут подозрительность, доносы, интриги, ненавистничество. И ты прав, мы находимся в начале второй фазы.

За примером далеко ходить не приходится. Сюда в коллегию ревтрибунала перевели из Ходатского двух старых политкаторжан, из рабочих, некоего Тиверзина и Антипова.

Оба великолепно меня знают, а один даже просто отец мужа, свекор мой. Но собственно только с перевода их, совсем недавно, я стала дрожать за свою и Катенькину жизнь. От них всего можно ждать. Антипов недолюбливает меня. С них станется, что в один прекрасный день они меня и даже Пашу уничтожат во имя высшей революционной справедливости.

Продолжение этого разговора состоялось довольно скоро. К этому времени произведен был ночной обыск в доме номер сорок восемь по Малой Буяновке, рядом с амбулаторией, у вдовы Гореглядовой. В доме

нашли склад оружия и раскрыли контрреволюционную организацию. Было арестовано много людей в городе, обыски и аресты продолжались. По этому поводу перешептывались, что часть подозреваемых ушла за реку.

Высказывались такие соображения: «А что это им поможет? Река реке рознь. Бывают, надо сказать, реки. В Благовещенске на Амуре, например, на одном берегу советская власть, на другом — Китай. Прыгнул в воду, переплыл, и адью, поминай как звали.

Вот это, можно сказать, река. Совсем другой разговор».

— Атмосфера сгущается, — говорила Лара. — Время нашей безопасности миновало. Нас несомненно арестуют, тебя и меня.

Что тогда будет с Катенькой? Я мать. Я должна предупредить несчастье и что-то придумать. У меня должно быть готово решение на этот счет. Я лишаюсь рассудка при этой мысли.

— Давай подумаем. Чем тут можно помочь? В силах ли мы предотвратить этот удар? Это ведь вещь роковая.

— Бежать нельзя и некуда. Но можно отступить куда-нибудь в тень, на второй план. Например, уехать в Варыкино. Я подумываю о Варыкинском доме. Это порядочная даль и там все заброшено.

Но там мы никому не мозолили бы глаз, как тут. Приближается зима. Я взяла бы на себя труд перезимовать там. Пока бы до нас добрались, мы отвоевали бы год жизни, а это выигрыш.

Поддерживать сношения с городом помог бы Самдевятов. Может быть, согласился бы прятать нас. А? Что ты скажешь? Правда, там теперь ни души, жуть, пустота. По крайней мере, так было в марте, когда я ездила туда. И, говорят, волки. Страшно. Но люди, особенно люди вроде Антипова или Тиверзина, теперь страшнее волков.

— Я не знаю, что сказать тебе. Ведь ты сама меня все время гонишь в Москву, убеждаешь не откладывать поездки. Сейчас это стало легче. Я справлялся на вокзале. На мешочничество, видимо, махнули рукой. Не всех зайцев, видимо, снимают с маршрутов. Устали расстреливать, расстреливают реже.

Меня беспокоит, что все мои письма в Москву остаются без ответа. Надо добраться туда и выяснить, что с домашними. Ты мне сама это твердишь. Но тогда как понять твои слова о Варыкине? Неужели ты одна без меня пустишься в эту страшную глушь?

— Нет, без тебя, конечно, это немыслимо.

— А сама отправляешь меня в Москву?

— Да, это необходимо.

— Послушай. Знаешь что? У меня замечательный план. Поедем в

Москву. Отправляйся с Катенькой вместе со мною.

— В Москву? Да ты с ума сошел. С какой радости? Нет, я должна остаться. Я должна быть наготове где-нибудь поблизости.

Здесь решатся Пашенькины судьбы. Я должна дождаться их развязки, чтобы в случае надобности оказаться под рукою.

— Тогда давай подумаем о Катеньке.

— Ко мне захаживает по временам Симушка, Сима Тунцева. На днях мы с тобой о ней говорили.

— Ну как же. Я часто вижу её у тебя.

— Я тебе удивляюсь. Где у мужчин глаза? На твоем месте я непременно бы в нее влюбилась. Такая прелесть! Какая внешность! Рост. Стройность. Ум. Начитанность. Доброта.

Ясность суждения.

— В день возвращения сюда из плена меня брила её сестра, швея, Глафира.

— Я знаю. Сестры живут вместе со старшею, Авдотьей, библиотекаршей. Честная работящая семья. Я хочу упросить их в случае крайности, если нас с тобой заберут, взять Катеньку на свое попечение. Я еще не решила.

— Но действительно только в случае безвыходности. А до такого несчастья, Бог даст, авось еще далеко.

— Говорят, Сима немного того, не в себе. Действительно, её нельзя признать женщиной вполне нормальной. Но это вследствие её глубины и оригинальности. Она феноменально образована, но не по интеллигентски, а по народному. Твои и её взгляды поразительно сходны. Я с легким сердцем доверила бы Катю её воспитанию.

17

Опять он ходил на вокзал и вернулся ни с чем, не солоно хлебавши. Все осталось нерешенным. Его и Лару ожидала неизвестность. День был холодный и темный, как перед первым снегом. Небо над перекрестками, где оно простиралось шире, чем над вытянутыми в длину улицами, имело зимний вид.

Когда Юрий Андреевич пришел домой, он застал в гостях у Лары Симушку. Между обеими происходила беседа, носившая характер лекции, которую гостья читала хозяйке. Юрий Андреевич не хотел мешать им. Кроме того, ему хотелось побыть немного одному. Женщины разговаривали в соседней комнате. Дверь к ним была приотворена. С

притолоки опускалась до полу портьера, из-за которой были слышны от слова до слова их разговоры.

— Я буду шить, но вы не обращайте на это внимания, Симочка. Я вся превратилась в слух. Я на курсах в свое время слушала историю и философию. Построения вашей мысли очень по душе мне. Кроме того слушать вас для меня такое облегчение. Мы последние ночи недосыпаем вследствие разных забот. Мой долг матери перед Катенькой обезопасить её на случай возможных неприятностей с нами. Надо трезво о ней подумать. Я не особенно сильна в этом. Мне грустно это сознавать. Мне грустно от усталости и недосыпания. Ваши разговоры успокаивают меня.

Кроме того с минуты на минуту должен пойти снег. В снег такое наслаждение слушать длинные умные рассуждения. Если покоситься в окно, когда снег идет, то правда, кажется, будто кто-то направляется двором к дому? Начинайте, Симочка. Я слушаю.

— На чем мы прошлый раз остановились?

Юрию Андреевичу не было слышно, что ответила Лара. Он стал следить за тем, что говорила Сима.

— Можно пользоваться словами: культура, эпохи. Но их понимают так по-разному. Ввиду сбивчивости их смысла не будем прибегать к ним. Заменим их другими выражениями.

Я сказала бы, что человек состоит из двух частей. Из Бога и работы. Развитие человеческого духа распадается на огромной продолжительности отдельные работы. Они осуществлялись поколениями и следовали одна за другою. Такою работою был Египет, такою работой была Греция, такой работой было библейское богопознание пророков. Такая, последняя по времени, ничем другим пока не смененная, всем современным вдохновением совершаемая работа — христианство.

Чтобы во всей свежести, неожиданно, не так, как вы сами знаете и привыкли, а проще, непосредственнее представить вам то новое, небывалое, что оно принесло, я разберу с вами несколько отрывков из богослужебных текстов, самую малость их и то в сокращениях.

Большинство стихир образуют соединение рядом помещенных ветхозаветных и новозаветных представлений. С положениями старого мира, неопалимой купиной, исходом Израиля из Египта, отроками в печи огненной, Ионой во чреве китовом и так далее, сопоставляются положения нового, например, представления о зачатии Богородицы и о воскресении Христове.

В этом частом, почти постоянном совмещении, старина старого, новизна нового и их разница выступают особенно отчетливо.

В целом множестве стихов непорочное материнство Марии сравнивается с переходом иудеями Красного моря. Например, в стихе: «В мори Чермнем неискусобрачные невесты образ написася иногда» говорится: «Море по прошествии Израилеве пребысть непроходно, непорочная по рожестве Еммануилеве пребысть нетленна». То есть море после перехода Израиля стало снова непроходимо, а дева, родив Господа, осталась нетронутой.

Какого рода происшествия поставлены тут в параллель? Оба события сверхъестественны, оба признаны одинаковым чудом. В чем же видели чудо эти разные времена, время древнейшее первобытное, и время новое, послеримское, далеко подвинувшееся вперед?

В одном случае по велению народного вождя, патриарха Моисея и по взмаху его волшебного жезла расступается море, пропускает через себя целую народность, несметное, из сотен тысяч состоящее многолюдство, и когда проходит последний, опять смыкается и покрывает и топит преследователей египтян. Зрелище в духе древности, стихия послушная голосу волшебника, большие толпящиеся численности, как римские войска в походах, народ и вождь, вещи видимые и слышимые, оглушающие.

В другом случае девушка — обыкновенность, на которую древний мир не обратил бы внимания, — тайно и втихомолку дает жизнь младенцу, производит на свет жизнь, чудо жизни, жизнь всех, «Живота всех», как потом его называют. Ее роды незаконны не только с точки зрения книжников, как внебрачные. Они противоречат законам природы. Девушка рожает не в силу необходимости, а чудом, по вдохновению. Это то самое вдохновение, на котором Евангелие, противопоставляющее обыкновенности исключительность и будням праздник, хочет построить жизнь, наперекор всякому принуждению.

Какого огромного значения перемена! Каким образом небу (потому что глазами неба надо это оценивать, перед лицом неба, в священной раме единственности все это совершается) — каким образом небу частное человеческое обстоятельство, с точки зрения древности ничтожное, стало равноценно целому переселению народа?

Что-то сдвинулось в мире. Кончился Рим, власть количества, оружием вмененная обязанность жить всей поголовностью, всем населением. Вожди и народы отошли в прошлое.

Личность, проповедь свободы пришли им на смену. Отдельная человеческая жизнь стала Божьей повестью, наполнила своим содержанием пространство вселенной. Как говорится в одном песнопении на Благовещение, Адам хотел стать Богом и ошибся, не стал им, а теперь

Бог становится человеком, чтобы сделать Адама Богом («человек бывает Бог, да Бога Адама соделает»).

Сима продолжала:

— Сейчас я вам еще кое-что скажу на ту же тему. А пока небольшое отступление. В отношении забот о трудящихся, охраны матери, борьбы с властью наживы, наше революционное время — небывалое, незабвенное время с надолго, навсегда остающимися приобретениями. Что же касается до понимания жизни, до философии счастья, насаждаемой сейчас, просто не верится, что это говорится всерьез, такой это смешной пережиток. Эти декламации о вождях и народах могли бы вернуть нас к ветхозаветным временам скотоводческих племен и патриархов, если бы обладали силой повернуть жизнь вспять и отбросить историю назад на тысячелетия. По счастью это невозможно.

Несколько слов о Христе и Магдалине. Это не из евангельского рассказа о ней, а из молитв на Страстной неделе, кажется, в Великий вторник или среду. Но вы все это и без меня хорошо знаете, Лариса Федоровна. Я просто хочу кое-что напомнить вам, а совсем не собираюсь поучать вас.

Страсть по-славянски, как вы прекрасно знаете, значит прежде всего страдание, страсти Господни, «грядый Господь к вольной страсти» (Господь, идучи на добровольную муку). Кроме того, это слово употребляется в позднейшем русском значении пороков и вожделений. «Страстем поработив достоинство души моея, скот бых», «Изринувшеся из рая, воздержанием страстей потщимся внити», и т. д. Наверное, я очень испорченная, но я не люблю предпасхальных чтений этого направления, посвященных обузданию чувственности и умерщвлению плоти. Мне всегда кажется, что эти грубые, плоские моления, без присущей другим духовным текстам поэзии, сочиняли толстопузые лоснящиеся монахи. И дело не в том, что сами они жили не по правилам и обманывали других. Пусть бы жили они и по совести. Дело не в них, а в содержании этих отрывков. Эти сокрушения придают излишнее значение разным немощам тела и тому, упитано ли оно или изможднено. Это противно. Тут какая-то грязная, несущественная второстепенность возведена на недолжную, несвойственную ей высоту. Извините, что я так оттягиваю главное. Сейчас я вознагражу вас за свое промедление.

Меня всегда занимало, отчего упоминание о Магдалине помещают в самый канун Пасхи, на пороге Христовой кончины и его воскресения. Я не знаю причины, но напоминание о том, что такое есть жизнь, так своевременно в миг прощания с нею и в преддверии её возвращения.

Теперь послушайте, с какой действительной страстью, с какой ни с чем не считающейся прямотой делается это упоминание.

Существует спор, Магдалина ли это, или Мария Египетская, или какая-нибудь другая Мария. Как бы то ни было, она просит Господа: «Разреши долг, якоже и аз власы». То есть: «отпусти мою вину, как я распускаю волосы». Как вещественно выражена жажда прощения, раскаяния! Можно руками дотронуться.

И сходное восклицание в другом тропаре на тот же день, более подробном, и где речь с большею несомненностью идет о Магдалине.

Здесь она со страшной осязательностью сокрушается о прошлом, о том, что каждая ночь разжигает её прежние закоренелые замашки. «Яко нощь мне есть разжение блуда невоздержанна, мрачное же и безлунное рачение греха». Она просит Христа принять её слезы раскаяния и склониться к её воздыханиям сердечным, чтобы она могла отереть пречистые его ноги волосами, в шум которых укрылась в раю оглушенная и пристыженная Ева. «Да облобыжу пречистые Твои нозе и отру сия паки главы моея власы, их же Ева в рай, пополудни шумом уши огласивше, страхом скрыся». И вдруг вслед за этими волосами, вырывающееся восклицание: «Грехов моих множества, судеб твоих бездны кто исследит?» Какая короткость, какое равенство Бога и жизни, Бога и личности, Бога и женщины!

18

Юрий Андреевич пришел с вокзала усталый. Это был его ежедекадный выходной день. Обыкновенно он по этим числам отсыпался за всю неделю. Он сидел, откинувшись на диване, временами принимая полулежачее положение или совсем растягиваясь на нем. Хотя Симу он слушал сквозь приступы набегающей дремоты, её рассуждения доставляли ему наслаждение.

«Конечно, все это от дяди Коли, — думал он. — Но какая талантливая и умница!»

Он соскочил с дивана и подошел к окну. Оно выходило во двор, как в комнате рядом, где Лара с Симушкой теперь невнятно шептались.

Погода портилась. На дворе темнело. На двор залетели и стали летать, высматривая, где им сесть, две сороки. Ветер слегка пушил и раздувал их перья. Сороки опустились на крышу мусорного ящика, перелетели на забор, слетели на землю и стали ходить по двору.

«Сороки к снегу», — подумал доктор. В ту же минуту он услышал из-за

портьеры:

— Сороки к вестям, — обращалась Сима к Ларе. — К вам гости собираются. Или письмо получите.

Спустя немного снаружи позвонили в дверной колокольчик на проволоке, который незадолго перед тем починил Юрий Андреевич.

Из-за портьеры вышла Лариса Федоровна и быстрыми шагами пошла отпирать в переднюю. По её разговору у входной двери Юрий Андреевич понял, что пришла сестра Симы, Глафира Севериновна.

— Вы за сестрою? — спросила Лариса Федоровна. — Симушка у нас.

— Нет, не за ней. А впрочем, что же. Вместе пойдем, если она домой собирается. Нет, я совсем не за тем. Письмо вашему приятелю. Пусть спасибо скажет, что я когда-то на почте служила. Через сколько рук прошло, и по знакомству в мои попало. Из Москвы. Пять месяцев шло. Не могли разыскать адресата. А я ведь знаю, кто он. Брился как-то у меня.

Письмо, длинное, на многих страницах, смятое, замасленное, в распечатанном и истлевшем конверте, было от Тони. До сознания доктора не дошло, как оно у него очутилось, он не заметил, как Лара вручила ему конверт. Когда доктор начал читать письмо, он еще помнил, в каком он городе и у кого в доме, но по мере чтения утрачивал это понимание. Вышла, поздоровалась и стала с ним прощаться Сима. Машинально он отвечал, как полагается, но не обратил на нее внимания. Ее уход выпал из его сознания. Постепенно он все более полно забывал, где он и что кругом него.

«Юра, — писала ему Антонина Александровна, — знаешь ли ты, что у нас есть дочь? Ее крестили Машей, в память мамы покойницы Марии Николаевны.

Теперь совсем о другом. Несколько видных общественных деятелей, профессоров из кадетской партии и правых социалистов, Мельгунова, Кизеветтера, Кускову, некоторых других, а также дядю Николая Александровича Громеко, папу и нас, как членов его семьи, высылают из России за границу.

Это — несчастие, в особенности в отсутствии тебя, но надо подчиниться и благодарить Бога за такую мягкую форму изгнания в такое страшное время, могло ведь быть гораздо хуже. Если бы ты нашелся и был тут, ты поехал бы с нами. Но где ты теперь? Я посылаю это письмо по адресу Антиповой, она передаст его тебе, если разыщет. Меня мучит неизвестность, распространят ли на тебя, как на члена нашей семьи, впоследствии, когда ты, если это суждено, найдешься, разрешение на выезд, полученное всеми нами. Мне верится, что ты жив и отыщешься. Это

мне подсказывает мое любящее сердце и я доверяюсь его голосу.

Возможно, к тому времени, когда ты обнаружишься, условия жизни в России смягчатся, ты сам сможешь исхлопотать себе отдельное разрешение на заграничную поездку, и все мы опять окажемся в сборе в одном месте. Но я пишу это и сама не верю в сбыточность такого счастья.

Все горе в том, что я люблю тебя, а ты меня не любишь. Я стараюсь найти смысл этого осуждения, истолковать его, оправдать, роюсь, копаюсь в себе, перебираю всю нашу жизнь и всё, что я о себе знаю, и не вижу начала и не могу вспомнить, что я сделала и чем навлекла на себя это несчастье. Ты как-то превратно, недобрыми глазами смотришь на меня, ты видишь меня искаженно, как в кривом зеркале.

А я люблю тебя. Ах как я люблю тебя, если бы ты только мог себе представить! Я люблю всё особенное в тебе, всё выгодное и невыгодное, все обыкновенные твои стороны, дорогие в их необыкновенном соединении, облагороженное внутренним содержанием лицо, которое без этого, может быть, казалось бы некрасивым, талант и ум, как бы занявшие место начисто отсутствующей воли. Мне все это дорого, и я не знаю человека лучше тебя.

Но слушай, знаешь, что я скажу тебе? Если бы даже ты не был так дорог мне, если бы ты не нравился мне до такой степени, все равно прискорбная истина моего холода не открылась бы мне, все равно я думала бы, что люблю тебя. Из одного страха перед тем, какое унизительное, уничтожающее наказание нелюбовь, я бессознательно остереглась бы понять, что не люблю тебя. Ни я ни ты никогда этого бы не узнали. Мое собственное сердце скрыло бы это от меня, потому что нелюбовь почти как убийство, и я никому не в силах была бы нанести этого удара.

Хотя ничего не решено еще окончательно, мы, наверное, едем в Париж. Я попаду в далекие края, куда тебя возили мальчиком и где воспитывались папа и дядя. Папа кланяется тебе. Шура вырос, не взял красотой, но стал большим крепким мальчиком и при упоминании о тебе всегда горько безутешно плачет. Не могу больше. Сердце надрывается от слез. Ну прощай. Дай перекрещу тебя на всю нескончаемую разлуку, испытания, неизвестность, на весь твой долгий, долгий, темный путь. Ни в чем не виню, ни одного упрека, сложи жизнь свою так, как тебе хочется, только бы тебе было хорошо.

Перед отъездом с этого страшного и такого рокового для нас Урала я довольно коротко узнала Ларису Федоровну. Спасибо ей, она была безотлучно при мне, когда мне было трудно, и помогла мне при родах. Должна искренне признать, она хороший человек, но не хочу кривить

душой, — полная мне противоположность. Я родилась на свет, чтобы упрощать жизнь и искать правильного выхода, а она, чтобы осложнять её и сбивать с дороги.

Прощай, надо кончать. Пришли за письмом и пора укладываться. О Юра, Юра, милый, дорогой мой, муж мой, отец детей моих, да что же это такое? Ведь мы больше никогда, никогда не увидимся. Вот я написала эти слова, уясняешь ли ты себе их значение? Понимаешь ли ты, понимаешь ли ты? Торопят, и это точно знак, что пришли за мной, чтобы вести на казнь. Юра!

Юра!»

Юрий Андреевич поднял от письма отсутствующие бесслезные глаза, никуда не устремленные, сухие от горя, опустошенные страданием. Он ничего не видел кругом, ничего не сознавал.

За окном пошел снег. Ветер нес его по воздуху вбок, все быстрее и все гуще, как бы этим все время что-то наверстывая, и Юрий Андреевич так смотрел перед собой в окно, как будто это не снег шел, а продолжалось чтение письма Тони и проносились и мелькали не сухие звездочки снега, а маленькие промежутки белой бумаги между маленькими черными буковками, белые, белые, без конца, без конца.

Юрий Андреевич непроизвольно застонал и схватился за грудь.

Он почувствовал, что падает в обморок, сделал несколько ковыляющих шагов к дивану и повалился на него без сознания.

ЧАСТЬ четырнадцатая.

ОПЯТЬ В ВАРЫКИНЕ

1

Установилась зима. Валил снег крупными хлопьями. Юрий Андреевич пришел домой из больницы.

— Комаровский приехал, — упавшим хриплым голосом сказала вышедшая навстречу ему Лара. Они стояли в передней. У нее был потерянный вид, точно у побитой.

— Куда? К кому? Он у нас?

— Нет, конечно. Он был утром и хотел прийти вечером. Он скоро заявится. Ему надо поговорить с тобой.

— Зачем он приехал?

— Я не все поняла из его слов. Говорит, будто он тут проездом на Дальний Восток, и нарочно дал крюку и своротил к нам в Юрятин, чтобы повидаться. Главным образом, ради тебя и Паши. Он много говорил о вас обоих. Он уверяет, что все мы втроем, то есть ты, Патуля и я в смертельной опасности, и что только он может спасти нас, если мы его послушаемся.

— Я уйду. Я не желаю его видеть.

Лара расплакалась, попыталась упасть перед доктором на колени и, обняв его ноги, прижаться к ним головою, но он помешал ей, насильно удержав ее.

— Останься ради меня, умоляю тебя. Я ни с какой стороны не боюсь очутиться с глазу на глаз с ним. Но это тягостно. Избавь меня от встречи с ним наедине. Кроме того, это человек практический, бывалый. Может быть, он действительно посоветует что-нибудь. Твое отвращение к нему естественно. Но прошу тебя, пересиль себя. Останься.

— Что с тобою, ангел мой? Успокойся. Что ты делаешь? Не бросайся на колени. Встань. Развеселись. Прогони преследующее тебя наваждение. Он на всю жизнь запугал тебя. Я с тобою. Если нужно, если ты мне прикажешь, я убью его.

Через полчаса наступил вечер. Стало совершенно темно. Уже с полгода дыры в полу были везде заколочены. Юрий Андреевич следил за образованием новых и во-время забивал их. В квартире завели большого пушистого кота, проводившего время в неподвижной загадочной созерцательности. Крысы не ушли из дому, но стали осторожнее.

В ожидании Комаровского Лариса Федоровна нарезала черного пайкового хлеба и поставила на стол тарелку с несколькими вареными картофелинами. Гостя собирались принять в бывшей столовой старых хозяев, оставшейся в прежнем назначении. В ней стояли больших размеров дубовый обеденный стол и большой тяжелый буфет того же темного дуба. На столе горела касторка в пузырьке с опущенным в нее фитилем, — переносная докторская светильня.

Комаровский пришел из декабрьской темноты весь осыпанный валившим на улице снегом. Снег слоями отваливался от его шубы, шапки и калош и пластами таял, разводя на полу лужи. От налипшего снега мокрые усы и борода, которые Комаровский раньше брил, а теперь отпустил, казались шутовскими, скоморошьими. На нем была хорошо сохранившаяся пиджачная пара и полосатые брюки в складку. Перед тем, как поздороваться и что-нибудь сказать, он долго расчесывал карманною гребенкой влажные примятые волосы и утирал и приглаживал носовым платком мокрые усы и брови. Потом с выражением молчаливой многозначительности одновременно протянул обе руки, левую — Ларисе Федоровне, а правую — Юрию Андреевичу.

— Будем считать, что мы знакомы, — обратился он к Юрию Андреевичу. — Я ведь так хорош был с вашим отцом, — вы, наверное, знаете. На моих руках дух испустил. Все вглядываюсь в вас, ищу сходства. Нет, видимо, вы не в батюшку. Широкой натуры был человек. Порывистый, стремительный. Судя по внешности, вы скорее в матушку. Мягкая была женщина.

Мечтательница.

— Лариса Федоровна просила выслушать вас. По её словам, у вас ко мне какое-то дело. Я уступил её просьбе. Наш разговор поневоле вынужденный. По своей охоте я не искал бы знакомства с нами, и не считаю, что мы познакомились. Поэтому ближе к делу. Что вам угодно?

— Здравствуйте, хорошие мои. Всё, решительно всё чувствую и насквозь, до конца всё понимаю. Простите за смелость, вы страшно друг к другу подходите. В высшей степени гармоническая пара.

— Должен остановить вас. Прошу не вмешиваться в вещи, вас не касающиеся. У вас не спрашивают сочувствия. Вы забываетесь.

— А вы не вспыхивайте так сразу, молодой человек. Нет, пожалуй, вы все же скорее в отца. Такой же пистолет и порох.

Да, так с вашего позволения, поздравляю вас, дети мои. К сожалению однако вы не только по моему выражению, но и на самом деле дети, ничего не ведающие, ни о чем не задумывающиеся. Я тут только два дня и узнал

больше о вас, чем вы сами подозреваете. Вы, не помышляя о том, ходите по краю пропасти. Если чем-нибудь не предотвратить опасности, дни вашей свободы, а может быть, и жизни сочтены.

Есть некоторый коммунистический стиль. Мало кто подходит под эту мерку. Но никто так явно не нарушает этой манеры жить и думать, как вы, Юрий Андреевич. Не понимаю, зачем гусей дразнить. Вы — насмешка над этим миром, его оскорбление.

Добро бы это было вашей тайной. Но тут есть влиятельные люди из Москвы. Нутро ваше им известно досконально. Вы оба страшно не по вкусу здешним жрецам Фемиды. Товарищи Антипов и Тиверзин точат зубы на Ларису Федоровну и на вас.

Вы мужчина, вы — вольный казак, или как это там называется. Сумасбродствовать, играть своею жизнью ваше священное право. Но Лариса Федоровна человек несвободный. Она мать. На руках у нее детская жизнь, судьба ребенка.

Фантазировать, витать за облаками ей не положено.

Я всё утро потерял на уговоры, убеждая её отнестись серьезнее к здешней обстановке. Она не желает меня слушать.

Употребите свой авторитет, повлияйте на Ларису Федоровну. Она не вправе шутить безопасностью Катеньки, не должна пренебрегать моими соображениями.

— Я никогда никого в жизни не убеждал и не неволил. В особенности близких. Лариса Федоровна вольна слушать вас или нет. Это её дело. Кроме того, ведь я совсем не знаю о чем речь. То, что вы называете вашими соображениями, неизвестно мне.

— Нет, вы мне все больше и больше напоминаете вашего отца.

Такой же несговорчивый. Итак, перейдем к главному. Но так как это довольно сложная материя, запаситесь терпением. Прошу слушать и не перебивать.

Наверху готовятся большие перемены. Нет, нет, это у меня из самого достоверного источника, можете не сомневаться. Имеется в виду переход на более демократические рельсы, уступка общей законности, и это дело самого недалекого будущего.

Но именно вследствие этого, подлежащие отмене карательные учреждения будут под конец тем более свирепствовать и тем торопливее сводить свои местные счеты. Ваше уничтожение на очереди, Юрий Андреевич. Ваше имя в списке. Говорю это не шутя, я сам видел, можете мне поверить. Подумайте о вашем спасении, а то будет поздно.

Но все это было пока предисловием. Перехожу к существу дела.

В Приморье, на Тихом океане, происходит стягивание политических сил, оставшихся верными свергнутому Временному правительству и распущенному Учредительному собранию.

Съезжаются думцы, общественные деятели, наиболее видные из былых земцев, дельцы, промышленники. Добровольческие генералы сосредоточивают тут остатки своих армий.

Советская власть сквозь пальцы смотрит на возникновение Дальневосточной республики. Существование такого образования на окраине ей выгодно в качестве буфера между Красной Сибирью и внешним миром. Правительство республики будет смешанного состава. Больше половины мест из Москвы выговорили коммунистам, с тем, чтобы с их помощью, когда это будет удобно, совершить переворот и прибрать республику к рукам.

Замысел совершенно прозрачный, и дело только в том, чтобы суметь воспользоваться остающимся временем.

Я когда-то до революции вел дела братьев Архаровых, Меркуловых и других торговых и банкирских домов во Владивостоке. Меня там знают. Негласный эмиссар составляющегося правительства, наполовину тайно, наполовину при официальном советском попустительстве, привез мне приглашение войти министром юстиции в Дальневосточное правительство. Я согласился и еду туда. Все это, как я только что сказал, происходит с ведома и молчаливого согласия Советской власти, однако не так откровенно, и об этом не надо шуметь.

Я могу взять вас и Ларису Федоровну с собой. Оттуда вы легко проберетесь морем к своим. Вы, конечно, уже знаете об их высылке. Громкая история, об этом говорит вся Москва. Ларисе Федоровне я обещал отвести удар, нависающий над Павлом Павловичем. Как член самостоятельного и признанного правительства я разыщу Стрельникова в Восточной Сибири и буду способствовать его переходу в нашу автономную область. Если ему не удастся бежать, я предложу, чтобы его выдали в обмен на какое-нибудь лицо, задержанное союзниками и представляющее ценность для Московской центральной власти.

Лариса Федоровна с трудом следила за содержанием разговора, смысл которого часто ускользал от нее. Но при последних словах Комаровского, касавшихся безопасности доктора и Стрельникова, Она вышла из состояния задумчивой непричастности, насторожилась и, чуть-чуть покраснев, вставила:

— Ты понимаешь, Юрочка, как эти затеи важны в отношении тебя и Паши?

— Ты слишком доверчива, мой дружок. Нельзя едва задуманное принимать за совершившееся. Я не говорю, что Виктор Ипполитович сознательно нас водит за нос. Но ведь все это вилами на воде писано! А теперь, Виктор Ипполитович, несколько слов от себя. Благодарю вас за внимание к моей судьбе, но неужели вы думаете, что я дам вам устраивать ее? Что же касается вашей заботы о Стрельникове, Ларе следует об этом подумать.

— К чему клонится вопрос? Ехать ли нам с ним, как он предлагает, или нет. Ты прекрасно знаешь, что без тебя я не поеду.

Комаровский часто прикладывался к разведенному спирту, который принес из амбулатории и поставил на стол Юрий Андреевич, жевал картошку и постепенно хмелел.

2

Было уже поздно. Освобождаемый временами от нагара фитилек светильни с треском разгорался, ярко освещая комнату. Потом всё снова погружалось во мрак. Хозяевам хотелось спать и надо было поговорить наедине. А Комаровский всё не уходил. Его присутствие томило, как давил вид тяжелого дубового буфета и как угнетала ледяная декабрьская темнота за окном.

Он смотрел не на них, а куда-то поверх их голов, уставив пьяные округлившиеся глаза в эту далекую точку, и сонным заплетающимся языком молол и молол что-то нескончаемо скучное всё про одно и то же. Его коньком был теперь Дальний Восток.

Об этом он и жевал свою жвачку, развивая Ларе и доктору свои соображения о политическом значении Монголии.

Юрий Андреевич и Лариса Федоровна не уследили, в каком месте разговора он на эту Монголию напал. То, что они прозевали, как он к ней перескочил, увеличивало докучность чуждой посторонней темы.

Комаровский говорил:

— Сибирь, это поистине Новая Америка, как её называют, таит в себе богатейшие возможности. Это колыбель великого русского будущего, залог нашей демократизации, процветания, политического оздоровления. Еще более чревато манящими возможностями будущее Монголии, Внешней Монголии, нашей великой дальневосточной соседки. Что вы о ней знаете? Вы не стыдитесь зевать и без внимания хлопаете глазами, а между тем это поверхность в полтора миллиона квадратных верст, неизведанные ископаемые, страна в состоянии доисторической

девственности, к которой тянутся жадные руки Китая, Японии и Америки, в ущерб нашим русским интересам, признаваемым всеми соперниками, при любом разделе сфер влияния в этом далеком уголке земного шара.

Китай извлекает пользу из феодально-теократической отсталости Монголии, влияя на её лам и хутухт. Япония опирается на тамошних князей крепостников, по-монгольски — хошунов. Красная коммунистическая Россия находит союзника в лице хамджилса, иначе говоря, революционной ассоциации восставших пастухов Монголии. Что касается меня, я хотел бы видеть Монголию действительно благоденствующею, под управлением свободно избранного хурултая. Лично нас должно занимать следующее. Шаг через монгольскую границу, и мир у ваших ног, и вы — вольная птица.

Многословные умствования на назойливую, никакого отношения к ним не имеющую тему раздражали Ларису Федоровну. Доведенная скукой затянувшегося посещения до изнеможения, она решительно протянула Комаровскому руку для прощания и без обиняков, с нескрываемой неприязнью, сказала:

— Поздно. Вам пора уходить. Я хочу спать.

— Надеюсь, вы не будете так негостеприимны, и не выставите меня за дверь в такой час. Я не уверен, найду ли дорогу ночью в чужом неосвещенном городе.

— Надо было раньше об этом думать и не засиживаться. Никто вас не удерживал.

— О, зачем вы говорите со мною так резко? Вы даже не спросили, располагаю ли я тут каким-нибудь пристанищем?

— Решительно неинтересно. Авось себя в обиду не дадите.

Если же вы напрашиваетесь на ночевку, то в общей комнате, где мы спим вместе с Катенькой, я вас не положу. А в остальных с крысами не будет сладу.

— Я не боюсь их.

— Ну, как знаете.

3

— Что с тобою, ангел мой? Которую уже ночь ты не спишь, не дотрагиваешься за столом до пищи, весь день ходишь как шальная. И все думаешь, думаешь. Что преследует тебя? Нельзя давать такой воли тревожным мыслям.

— Опять был из больницы сторож Изот. У него тут в доме шуры-муры

с прачкою. Вот он мимоходом и завернул, утешил.

Страшный, говорит, секрет. Не миновать твоему темной. Так и ждите, не сегодня-завтра упекут. А следом и тебя, горемычную.

Откуда, говорю, Изот, ты это взял? Уж положись, будь покойна, говорит. Из полкана сказывали. Под полканом, как ты, может быть, догадываешься, надо в его парафразе понимать исполком.

Лариса Федоровна и доктор рассмеялись.

— Он совершенно прав. Опасность назрела и уже у порога.

Надо немедленно исчезнуть. Вопрос только в том, куда именно.

Пытаться уехать в Москву нечего и думать. Это слишком сложные сборы, и они привлекут внимание. А надо шито-крыто, чтобы никто ничего не увидел. Знаешь что, моя радость? Пожалуй, воспользуемся твоей мыслью. На какое-то время нам надо провалиться сквозь землю. Пускай этим местом будет Варыкино.

Уедем туда недели на две, на месяц.

— Спасибо, родной, спасибо. О как я рада. Я понимаю, как все в тебе должно быть против этого решения. Но речь ведь не о вашем доме. Жизнь в нем была бы для тебя действительно немыслима. Вид опустелых комнат, укоры, сравнения. Разве я не понимаю? Строить счастье на чужом страдании, топтать то, что душе дорого и свято. Я никогда не приняла бы от тебя такой жертвы. Но дело не в этом. Ваш дом в таком разрушении что едва ли можно было бы привести комнаты в жилое состояние. Я скорее имела в виду покинутое Микулицынское жилище.

— Все это правда. Спасибо за чуткость. Но погоди минуту. Я все время хочу спросить и все забываю. Где Комаровский? Он еще тут или уже уехал? С моей ссоры с ним и после того, как я спустил его с лестницы, я больше ничего о нем не слышал.

— Я тоже ничего не знаю. А Бог с ним. На что он тебе?

— Я все больше прихожу к мысли, что нам по разному надо было отнестись к его предложению. Мы не в одинаковом положении. На твоем попечении дочь. Даже если бы ты хотела разделить мою гибель, ты не вправе себе это позволить.

Но перейдем к Варыкину. Разумеется, забираться в эту одичалую глушь суровой зимой без запасов, без сил, без надежд — безумие из безумий. Но давай и безумствовать, сердце мое, если ничего, кроме безумства, нам не осталось. Унизимся еще раз. Выклянчим у Анфима лошадь. Попросим у него, или даже не у него, а у состоящих под его начальством спекулянтов, муки и картошки в некий, никакою верою не оправдываемый долг.

Уговорим его не сразу, не тотчас возмещать своим приездом оказанное

нам благодеяние, а приехать только к концу, когда лошадь понадобится ему обратно. Побудем немного одни. Поедем, сердце мое. Сведем и спалим в неделю лесной косяк, которого хватило бы на целый год более совестливого хозяйничанья.

И еще и еще раз. Прости меня за прорывающееся в моих словах смятение. Как бы мне хотелось говорить с тобою без этого дурацкого пафоса! Но ведь у нас действительно нет выбора.

Называй её как хочешь, гибель действительно стучится в наши двери. Только считанные дни в нашем распоряжении.

Воспользуемся же ими по своему. Потратим их на проводы жизни, на последнее свидание перед разлукою. Простимся со всем, что нам было дорого, с нашими привычными понятиями, с тем, как мы мечтали жить и чему нас учила совесть, простимся с надеждами, простимся друг с другом. Скажем еще раз друг другу наши ночные тайные слова, великие и тихие, как название азиатского океана.

Ты недаром стоишь у конца моей жизни, потаенный, запретный мой ангел, под небом войн и восстаний, ты когда-то под мирным небом детства так же поднялась у её начала.

Ты тогда ночью, гимназисткой последних классов в форме кофейного цвета, в полутьме за номерной перегородкой, была совершенно тою же, как сейчас, и так же ошеломляюще хороша.

Часто потом в жизни я пробовал определить и назвать тот свет очарования, который ты заронила в меня тогда, тот постепенно тускнеющий луч и замирающий звук, которые с тех пор растеклись по всему моему существованию и стали ключом проникновения во все остальное на свете, благодаря тебе.

Когда ты тенью в ученическом платье выступила из тьмы номерного углубления, я, мальчик, ничего о тебе не знавший, всей мукой отозвавшейся тебе силы понял: эта щупленькая, худенькая девочка заряжена, как электричеством, до предела, всей мыслимою женственностью на свете. Если подойти к ней близко или дотронуться до нее пальцем, искра озарит комнату и либо убьет на месте, либо на всю жизнь наэлектризует магнетически влекущейся, жалующейся тягой и печалью. Я весь наполнился блуждающими слезами, весь внутренне сверкал и плакал. Мне было до смерти жалко себя, мальчика, и еще более жалко тебя, девочку. Все мое существо удивлялось и спрашивало: если так больно любить и поглощать электричество, как, вероятно, еще больнее быть женщиной, быть электричеством, внушать любовь.

Вот, наконец, я это высказал. От этого можно с ума сойти. И я весь в

этом.

Лариса Федоровна лежала на краю кровати, одетая и недомогающая. Она свернулась калачиком и накрылась платком.

Юрий Андреевич сидел на стуле рядом и говорил тихо, с большими перерывами. Иногда Лариса Федоровна приподнималась на локте, подпирала подбородок ладонью и, разинув рот, смотрела на Юрия Андреевича. Иногда прижималась к его плечу и, не замечая своих слез, плакала тихо и блаженно. Наконец она потянулась к нему, перевесившись за борт кровати, и радостно прошептала:

— Юрочка! Юрочка! Какой ты умный. Ты всё знаешь, обо всем догадываешься. Юрочка, ты моя крепость и прибежище и утверждение, да простит Господь мое кощунство. О как я счастлива! Едем, едем, дорогой мой. Там на месте я скажу тебе, что меня беспокоит.

Он решил, что она намекает на свои предположения о беременности, вероятно, мнимой, и сказал:

— Я знаю.

4

Они выехали из города утром серого зимнего дня. День был будничный. Люди шли по улицам по своим делам. Часто попадались знакомые. На бугристых перекрестках, у старых водоразборных будок вереницами стояли бесколодезные жительницы с отставленными в сторону ведрами и коромыслами, дожидаясь очереди за водою. Доктор сдерживал рвавшуюся вперед Самдевятовскую Савраску, желтовато-дымчатую курчавую вятку, которою он правил, осторожно объезжая толпившихся хозяек.

Разогнавшиеся сани скатывались боком с горбатой, заплесканной водою и обледенелой мостовой и наезжали на тротуары, стукаясь санными отводами о фонари и тумбы.

На всем скаку нагнали шедшего по улице Самдевятова, пролетели мимо и не оглянулись, чтобы удостовериться, узнал ли он их и свою лошадь и не кричит ли чего-нибудь вдогонку. В другом месте таким же образом, не здороваясь, обогнали Комаровского, попутно установив, что он еще в Юрятине.

Глафира Тунцева прокричала через всю улицу с противоположного тротуара:

— А говорили, вы вчера уехали. Вот и верь после этого людям. За картошкой? — и, выразив рукою, что она не слышит ответа, она помахала

ею вслед напутственно.

Ради Симы попробовали задержаться на горке, в неудобном месте, где трудно было остановиться. Лошадь и без того все время приходилось осаживать, туго натягивая возжи. Сима сверху донизу была обмотана двумя или тремя платками, придававшими окоченелость круглого полена её фигуре. Прямыми негнущимися шагами она подошла к саням на середину мостовой и простилась, пожелав им счастливо доехать.

— Когда воротитесь, надо будет поговорить, Юрий Андреевич.

Наконец, выехали из города. Хотя Юрий Андреевич, бывало, ездил по этой дороге зимою, он преимущественно помнил её в летнем виде и теперь не узнавал.

Мешки с провизией и остальную кладь засунули глубоко в сено, к переду саней, под головки, и там надежно приторочили.

Юрий Андреевич правил, либо стоя на коленях на дне развалистых пошевней, по местному — кошовки, либо сидя боком на ребре кузова и свесив ноги в Самдевятовских валенках наружу.

После полудня, когда с зимней обманчивостью задолго до заката стало казаться, что день клонится к концу, Юрий Андреевич стал немилосердно нахлестывать Савраску. Она понеслась стрелою. Кошовка лодкою взлетала вверх и вниз, ныряя по неровностям разъезженной дороги. Катя и Лара были в шубах, сковывавших движения. На боковых наклонах и ухабах они вскрикивали и смеялись до колик, перекатываясь с одного края саней на другой и неповоротливыми кулями зарываясь в сено.

Иногда доктор нарочно, для смеху, переворачивал сани набок и, без всякого вреда для них, вываливал Лару и Катю в снег. Сам он, протащившись несколько шагов на возжах по дороге, останавливал Савраску, выравнивал и ставил сани на оба полоза и получал нахлобучку от Лары и Кати, которые отряхивались, садились в сани, смеялись и сердились.

— Я покажу вам место, где меня остановили партизаны, — пообещал им доктор, когда отъехали достаточно от города, но не мог сделать обещанного, потому что зимняя голизна лесов, мертвый покой и пустота кругом меняли местность до неузнаваемости. — Вот! — вскоре воскликнул он, по ошибке приняв первый дорожный столб Моро и Ветчинкина, стоявший в поле, за второй, в лесу, у которого его захватили. Когда же они промчались мимо этого второго, остававшегося на прежнем месте, в чаще у Сакминского распутья, столба нельзя было распознать сквозь рябившую в глазах решетку густого инея, филигранно разделявшего лес под серебро с чернью. И столба не заметили.

В Варыкино влетели засветло и стали у старого Живаговского дома, так как по дороге он был первым, ближе Микулицынского.

Ворвались в дом торопливо, как грабители, — скоро должно было стемнеть. Внутри было уже темно. Половины разрушений и мерзости Юрий Андреевич второпях не разглядел. Часть знакомой мебели была цела. В пустом Варыкине уже некому было доводить до конца начатое разрушение. Из домашнего имущества Юрий Андреевич ничего не обнаружил. Но его ведь не было при отъезде семьи, он не знал, что они взяли с собою, что оставили. Лара между тем говорила:

— Надо торопиться. Сейчас настанет ночь. Некогда раздумывать. Если располагаться тут, то — лошадь в сарай, провизию в сени, а нам сюда, в эту комнату. Но я противница такого решения. Мы достаточно об этом говорили. Тебе, а значит и мне, будет тяжело. Что тут такое, ваша спальня? Нет, детская. Кроватка твоего сына. Для Кати будет мала. С другой стороны, — окна целы, стены и потолок без щелей. Кроме того, великолепная печь, я уже восхищалась ею в прошлый приезд. И если ты настаиваешь, чтобы все-таки тут, хотя я против этого, тогда я — шубу долой и мигом за дело. И первым делом за топку. Топить, топить и топить. Первые сутки день и ночь не переставая. Но что с тобою, мой милый. Ты ничего не отвечаешь.

— Сейчас. Ничего. Прости пожалуйста. Нет, знаешь, действительно посмотрим лучше у Микулицыных.

И они проехали дальше.

5

Дом Микулицыных был заперт на висячий замок, навешенный в уши дверного засова. Юрий Андреевич долго отбивал его и вырвал с мясом, вместе с оставшеюся на винтах отщепившейся древесиной. Как и в предшествующий дом, внутрь ввалились второпях, не раздеваясь, и в шубах, шапках и валенках прошли вглубь комнат.

В глаза сразу бросилась печать порядка, лежавшая на вещах в некоторых углах дома, например, в кабине Аверкия Степановича.

Тут кто-то жил, и совсем еще недавно. Но кто именно? Если хозяева или кто-нибудь один из них, то куда они девались и почему наружную дверь заперли не на врезанный в нее замок, а приделанный висячий? Кроме того, если бы это были хозяева и жили тут долго и постоянно, дом убран был бы весь сплошь, а не отдельными частями. Что-то говорило вторгшимся, что это не Микулицыны. В таком случае кто же? Доктора и

Лару неизвестность не беспокоила. Они не стали ломать над этим голову. Мало ли было теперь брошенных жилищ с наполовину растащенной движимостью? Мало укрывающихся преследуемых?

«Какой-нибудь разыскиваемый белый офицер», — единодушно решили они. — «Придет, уживемся, столкуемся».

И опять, как когда-то, Юрий Андреевич застыл, как вкопанный, на пороге кабинета, любуясь его поместительностью и удивляясь ширине и удобству рабочего стола у окна. И опять подумал, как располагает, наверное, и приохочивает такой строгий уют к терпеливой, плодотворной работе.

Среди служб во дворе у Микулицыных имелась вплотную к сараю пристроенная конюшня. Но она была на запоре, Юрий Андреевич не знал, в каком она состоянии. Чтобы не терять времени, он решил на первую ночь поставить лошадь в легко отворившийся незапертый сарай. Он распряг Савраску, и когда она остыла, напоил её принесенною из колодца водою. Юрий Андреевич хотел задать ей сена со дна саней, но оно стерлось под седоками в труху, и в корм лошади не годилось. По счастью, на широком, помещавшемся над сараем и конюшнею, сеновале нашлось достаточно сена вдоль стен и по углам.

Ночь проспали под шубами, не раздеваясь, блаженно, крепко и сладко, как спят дети после целого дня беготни и проказ.

6

Когда встали, Юрий Андреевич стал с утра заглядываться на соблазнительный стол у окна. У него так и чесались руки засесть за бумагу. Но это право он облюбовал себе на вечер, когда Лара и Катенька лягут спать. А до тех пор, чтобы привести хотя две комнаты в порядок, дела было по уши.

В мечтах о вечерней работе он не задавался важными целями.

Простая чернильная страсть, тяга к перу и письменным занятиям владела им.

Ему хотелось помарать, построчить что-нибудь. На первых порах он удовлетворился бы припоминаньем и записью чего-нибудь старого, незаписанного, чтобы только размять застоявшиеся от бездействия и, в перерыве дремлющие, способности. А там, — надеялся он, — ему и Ларе удастся задержаться тут подольше и времени будет вволю приняться за что-нибудь новое, значительное.

— Ты занят? Что ты делаешь?

— Топлю и топлю. А что?

— Корыто мне.

— Дров по такой топке здесь больше, чем на три дня не хватит. Надо наведаться в наш бывший Живаговский сарай. А ну как там есть еще? Если их осталось порядочно, я в несколько заездов перетащу их сюда. Займусь этим завтра. Ты просила корыто. Представь, попалось где-то на глаза, а где, — из головы вон, ума не приложу.

— И у меня то же самое. Где-то видела и забыла. Верно где-нибудь не на месте, оттого и забывается. Но Бог с ним.

Имей в виду, я много воды грею для уборки. Оставшеюся постираю кое-что для себя и Кати. Давай заодно и всё свое грязное.

Вечером, когда уберемся и уясним ближайшие виды, все перед сном помоемся.

— Сейчас соберу белье. Спасибо. Шкафы и тяжести везде от стен отодвинуты, как ты просила.

— Хорошо. Вместо корыта прополощу в посудной лохани.

Только очень сальная. Надо отмыть жир со стенок.

— Как печка протопится, закрою и вернусь к разборке остальных ящиков. Что ни шаг, то новые находки в столе и комоде. Мыло, спички, карандаши, бумага, письменные принадлежности. И открыто на виду такие же неожиданности.

Например, лампа на столе, налитая керосином. Это не Микулицынское, я ведь знаю. Это из какого-то другого источника.

— Удивительная удача! Это всё он, жилец таинственный. Как из Жюль Верна. Ах, ну что ты скажешь в самом деле! Опять мы заболтались и точим лясы, а у меня бак перекипает.

Они суетились, бросаясь туда и сюда по комнатам, с несвободными, занятыми руками, и набегу натыкались друг на друга или налетали на Катеньку, которая торчала поперек дороги и вертелась под ногами. Девочка слонялась из угла в угол, мешая уборке, и дулась в ответ на замечания. Она зябла и жаловалась на холод.

«Бедные современные дети, жертвы нашей цыганщины, маленькие безропотные участники наших скитаний», — думал доктор, а сам говорил девочке:

— Ну, извини, милая. Нечего ежиться. Вранье и капризы.

Печка раскалена докрасна.

— Печке, может быть, тепло, а мне холодно.

— Тогда потерпи Катюша. Вечером я вытоплю её жарко-прежарко во второй раз, а мама говорит, к тому же искупает еще тебя, ты слышала? А

пока на вот, лови. — И он валил в кучу на пол старые Ливериевы игрушки из выхоложенной кладовой, целые и поломанные, кирпичики и кубики, вагоны и паровозы, и разграфленные на клетки, разрисованные и размеченные цифрами куски картона к играм с фишками и игральными костями.

— Ну, что вы, Юрий Андреевич, — как взрослая, обижалась Катенька. — Это всё чужое. И для маленьких. А я большая.

А через минуту она усаживалась поудобнее на середину ковра, и под её руками игрушки всех видов сплошь превращались в строительный материал, из которого Катенька воздвигала привезенной из города кукле Нинке жилище куда с большим смыслом и более постоянное, чем те чужие меняющиеся пристанища, по которым её таскали.

— Какой инстинкт домовитости, неистребимое влечение к гнезду и порядку! — говорила Лариса Федоровна, из кухни наблюдая игру дочери. — Дети искренни без стеснения и не стыдятся правды, а мы из боязни показаться отсталыми готовы предать самое дорогое, хвалим отталкивающее и поддакиваем непонятному.

— Нашлось корыто, — входя с ним из темных сеней, прерывал доктор. — Действительно не на месте было. На полу под протекавшим потолком, с осени, видно, стояло.

7

На обед, изготовленный впрок на три дня из свеже начатых запасов, Лариса Федоровна подала вещи небывалые, картофельный суп и жареную баранину с картошкой. Разлакомившаяся Катенька не могла накушаться, заливалась смехом и шалила, а потом, наевшись и разомлев от тепла, укрылась маминым пледом и сладко уснула на диване.

Лариса Федоровна, прямо от плиты, усталая, потная, полусонная, как дочь, и удовлетворенная впечатлением, произведенным её стряпнею, не торопилась убирать со стола и присела отдохнуть. Убедившись, что девочка спит, она говорила, навалившись грудью на стол и подперши голову рукою:

— Я бы сил не щадила и в этом находила бы счастье, только бы знать, что это не попусту и ведет к какой-то цели. Ты мне должен ежеминутно напоминать, что мы тут для того, чтобы быть вместе. Подбадривай меня и не давай опомниться. Потому что, строго говоря, если взглянуть трезво, чем мы заняты, что у нас происходит? Налет на чужое жилище, вломились, распоряжаемся и все время подхлестываем себя спешкой, чтобы не видеть,

что это не жизнь, а театральная постановка, не всерьез, а «нарочно», как говорят дети, кукольная комедия, курам на смех.

— Но, мой ангел, ты ведь сама настаивала на этой поездке.

Вспомни, как я долго противился и не соглашался.

— Верно. Не спорю. Но вот я уже и провинилась. Тебе можно колебаться, задумываться, а у меня всё должно быть последовательно и логично. Мы вошли в дом, ты увидел детскую кроватку сына и тебе стало дурно, ты чуть не упал в обморок от боли. У тебя на это есть право, а мне это не позволено, страх за Катеньку, мысли о будущем должны отступать перед моею любовью к тебе.

— Ларуша, ангел мой, приди в себя. Одуматься, отступить от решения никогда не поздно. Я первый советовал тебе отнестись к словам Комаровского серьезней. У нас есть лошадь. Хочешь завтра слетаем в Юрятин. Комаровский еще там, не уехал. Ведь мы его видели с саней на улице, причем он нас, по-моему, не заметил. Мы его наверное еще застанем.

— Я почти ничего еще не сказала, а у тебя уже недовольные нотки в голосе. Но скажи, разве я не права? Прятаться так ненадежно, наобум, можно было и в Юрятине. А если уже искать спасения, то надо было наверняка, с продуманным планом, как, в конце концов, предлагал этот сведущий и трезвый, хотя и противный, человек. Ведь здесь мы, я просто не знаю, насколько ближе к опасности, чем где бы то ни было. Беспредельная, вихрям открытая равнина. И мы одни как перст. Нас на ночь снегом занесет, к утру не откопаемся. Или наш таинственный благодетель, наведывающийся в дом, нагрянет, окажется разбойником, и нас зарежет. Есть ли у тебя хотя оружие? Нет, вот видишь. Меня страшит твоя беспечность, которою ты меня заражаешь. От нее у меня сумятица в мыслях.

— Но что ты в таком случае хочешь? Что прикажешь мне делать?

— Я и сама не знаю, как тебе ответить. Держи меня все время в подчинении. Беспрестанно напоминай мне, что я твоя слепо тебя любящая, не рассуждающая раба. О, я скажу тебе.

Наши близкие, твои и мои, в тысячу раз лучше нас. Но разве в этом дело? Дар любви, как всякий другой дар. Он может быть и велик, но без благословения он не проявится. А нас точно научили целоваться на небе и потом детьми послали жить в одно время, чтобы друг на друге проверить эту способность. Какой-то венец совместности, ни сторон, ни степеней, ни высокого, ни низкого, равноценность всего существа, всё доставляет радость, всё стало душою. Но в этой дикой, ежеминутно подстерегающей

нежности есть что-то по-детски неукрощенное, недозволенное.

Это своевольная, разрушительная стихия, враждебная покою в доме. Мой долг бояться и не доверять ей.

Она обвивала ему шею руками и, борясь со слезами, заканчивала:

— Понимаешь, мы в разном положении. Окрыленность дана тебе, чтобы на крыльях улетать за облака, а мне, женщине, чтобы прижиматься к земле и крыльями прикрывать птенца от опасности.

Ему страшно нравилось все, что она говорила, но он не показывал этого, чтобы не впасть в приторность. Сдерживаясь, он замечал:

— Бивуачность нашего жилья действительно фальшива и взвинченна. Ты глубоко права. Но не мы её придумали. Угорелое метание — участь всех, это в духе времени.

Я сам с утра думал сегодня приблизительно о том же. Я хотел бы приложить всё старание, чтобы остаться тут подольше. Не могу сказать, как я соскучился по работе. Я имею в виду не сельскохозяйственную. Мы однажды тут всем домом вложили себя в нее, и она удалась. Но я был бы не в силах повторить это еще раз. У меня не то на уме.

Жизнь со всех сторон постепенно упорядочивается. Может быть когда-нибудь снова будут издавать книги.

Вот о чем я раздумывал. Нельзя ли было бы сговориться с Самдевятовым, на выгодных для него условиях, чтобы он полгода продержал нас на своих хлебах, под залог труда, который я обязался бы написать тем временем, руководства по медицине, предположим, или чего-нибудь художественного, книги стихотворений, к примеру. Или, скажем, я взялся бы перевести с иностранного что-нибудь прославленное, мировое. Языки я знаю хорошо, я недавно прочел объявление большого петербургского издательства, занимающегося выпуском одних переводных произведений. Работы такого рода будут, наверное, представлять меновую ценность, обратимую в деньги. Я был бы счастлив заняться чем-нибудь в этом роде.

— Спасибо, что ты мне напомнил. Я тоже сегодня думала о чем-то подобном. Но у меня нет веры, что мы тут продержимся.

Наоборот, я предчувствую, что нас унесет скоро куда-то дальше.

Но пока в нашем распоряжении эта остановка, у меня есть к тебе просьба. Пожертвуй мне несколько часов в ближайшие ночи и запиши, пожалуйста, все из того, что ты читал мне в разное время на память. Половина этого растеряна, а другая не записана, и я боюсь, что потом ты всё забудешь и оно пропадет, как, по твоим словам, с тобой уже часто случалось.

8

К концу дня все помылись горячею водой, в изобилии оставшейся от стирки. Лара выкупала Катеньку. Юрий Андреевич с блаженным чувством чистоты сидел за оконным столом спиной к комнате, в которой Лара, благоухающая, запахнутая в купальный халат, с мокрыми, замотанными мохнатым полотенцем в тюрбан волосами, укладывала Катеньку и устраивалась на ночь. Весь уйдя в предвкушение скорой сосредоточенности, Юрий Андреевич воспринимал всё совершавшееся сквозь пелену разнеженного и всеобобщающего внимания.

Был час ночи, когда, притворявшаяся до тех пор, будто спит, Лара действительно уснула. Смененное на ней, на Катеньке и на постели белье сияло, чистое, глаженое, кружевное. Лара и в те годы ухитрялась каким-то образом его крахмалить.

Юрия Андреевича окружала блаженная, полная счастья, сладко дышащая жизнью, тишина. Свет лампы спокойной желтизною падал на белые листы бумаги и золотистым бликом плавал на поверхности чернил внутри чернильницы. За окном голубела зимняя морозная ночь. Юрий Андреевич шагнул в соседнюю холодную и неосвещенную комнату, откуда было виднее наружу, и посмотрел в окно. Свет полного месяца стягивал снежную поляну осязательной вязкостью яичного белка или клеевых белил.

Роскошь морозной ночи была непередаваема. Мир был на душе у доктора. Он вернулся в светлую, тепло истопленную комнату и принялся за писание.

Разгонистым почерком, заботясь, чтобы внешность написанного передавала живое движение руки и не теряла лица, обездушиваясь и немея, он вспомнил и записал в постепенно улучшающихся, уклоняющихся от прежнего вида редакциях наиболее определившееся и памятное, «Рождественскую звезду», «Зимнюю ночь» и довольно много других стихотворений близкого рода, впоследствии забытых, затерявшихся и потом никем не найденных.

Потом от вещей отстоявшихся и законченных перешел к когда-то начатым и брошенным, вошел в их тон и стал набрасывать их продолжение, без малейшей надежды их сейчас дописать. Потом разошелся, увлекся и перешел к новому.

После двух-трех легко вылившихся строф и нескольких, его самого поразивших сравнений, работа завладела им, и он испытал приближение того, что называется вдохновением. Соотношение сил, управляющих

творчеством, как бы становится на голову.

Первенство получает не человек и состояние его души, которому он ищет выражения, а язык, которым он хочет его выразить.

Язык, родина и вместилище красоты и смысла, сам начинает думать и говорить за человека и весь становится музыкой, не в отношении внешне слухового звучания, но в отношении стремительности и могущества своего внутреннего течения. Тогда подобно катящейся громаде речного потока, самым движением своим обтачивающей камни дна и ворочающей колеса мельниц, льющаяся речь сама, силой своих законов создает по пути, мимоходом, размер и рифму, и тысячи других форм и образований еще более важных, но до сих пор неузнанных, неучтенных, неназванных.

В такие минуты Юрий Андреевич чувствовал, что главную работу совершает не он сам, но то, что выше его, что находится над ним и управляет им, а именно: состояние мировой мысли и поэзии, и то, что ей предназначено в будущем, следующий по порядку шаг, который предстоит ей сделать в её историческом развитии. И он чувствовал себя только поводом и опорной точкой, чтобы она пришла в это движение.

Он избавлялся от упреков самому себе, недовольство собою, чувство собственного ничтожества на время оставляло его. Он оглядывался, он озирался кругом.

Он видел головы спящих Лары и Катеньки на белоснежных подушках. Чистота белья, чистота комнат, чистота их очертаний, сливаясь с чистотою ночи, снега, звезд и месяца в одну равнозначительную, сквозь сердце доктора пропущенную волну, заставляла его ликовать и плакать от чувства торжествующей чистоты существования.

«Господи! Господи!» — готов был шептать он. — «И все это мне! За что мне так много? Как подпустил ты меня к себе, как дал забрести на эту бесценную твою землю, под эти твои звезды, к ногам этой безрассудной, безропотной, незадачливой, ненаглядной?»

Было три часа ночи, когда Юрий Андреевич поднял глаза от стола и бумаги. Из отрешенной сосредоточенности, в которую он ушел с головой, он возвращался к себе, к действительности, счастливый, сильный, спокойный. Вдруг в безмолвии далеких пространств, раскинувшихся за окном, он услышал заунывный, печальный звук.

Он прошел в соседнюю неосвещенную комнату, чтобы из нее посмотреть в окно. За те часы, что он провел за писанием, стекла успели сильно заиндеветь, через них нельзя было ничего разглядеть. Юрий Андреевич оттащил скатанный ковер, которым заложен был низ выходной двери, чтобы из-под нее не дуло, накинул на плечи шубу и вышел на

крыльцо.

Белый огонь, которым был объят и полыхал незатененный снег на свету месяца, ослепил его. Вначале он не мог ни во что вглядеться и ничего не увидел. Но через минуту расслышал ослабленное расстоянием протяжное утробно-скулящее завывание и тогда заметил на краю поляны за оврагом четыре вытянутые тени, размером не больше маленькой черточки.

Волки стояли рядом, мордами по направлению к дому и, подняв головы, выли на луну или на отсвечивающие серебряным отливом окна Микулицынского дома. Несколько мгновений они стояли неподвижно, но едва Юрий Андреевич понял, что это волки, они по-собачьи, опустив зады, затрусили прочь с поляны, точно мысль доктора дошла до них. Доктор не успел доискаться, в каком направлении они скрылись.

«Неприятная новость!» — подумал он. — «Только их недоставало. Неужели где-то под боком, совсем близко, их лежка? Может быть, даже в овраге. Как страшно! И на беду еще эта Савраска Самдевятовская в конюшне. Лошадь, наверное, они и почуяли».

Он решил до поры до времени ничего не говорить Ларе, чтобы не пугать ее, вошел внутрь, запер наружную дверь, притворил промежуточные, ведшие с холодной половины на теплую, заткнул их щели и отверстия, и подошел к столу.

Лампа горела ярко и приветливо, по-прежнему. Но больше ему не писалось. Он не мог успокоиться. Ничего, кроме волков и других грозящих осложнений, не шло в голову. Да и устал он. В это время проснулась Лара.

— А ты все горишь и теплишься, свечечка моя яркая! — влажным, заложенным от спанья шопотом тихо сказала она. — На минуту сядь поближе, рядышком. Я расскажу тебе, какой сон видела.

И он потушил лампу.

9

Опять день прошел в помешательстве тихом. В доме отыскались детские салазки. Раскрасневшаяся Катенька в шубке, громко смеясь, скатывалась на неразметенные дорожки палисадника с ледяной горки, которую ей сделал доктор, плотно уколотив лопатой и облив водою. Она без конца, с застывшей на лице улыбкой, взбиралась назад на горку и втаскивала вверх санки за веревочку.

Морозило, мороз заметно крепчал. На дворе было солнечно.

Снег желтел под лучами полдня и в его медовую желтизну сладким осадком вливалась апельсиновая гуща рано наступавшего вечера.

Вчерашнею стиркой и купаньем Лара напустила в дом сырости.

Окна затянуло рыхлым инеем, отсыревшие от пара обои с потолка до полу покрывались черными струистыми отеками. В комнатах стало темно и неуютно. Юрий Андреевич носил дрова и воду, продолжая недовершенный осмотр дома со всё время непрекращающимися открытиями, и помогал Ларе, с утра занятой беспрестанно возникавшими перед ней домашними делами.

Снова в разгаре какой-нибудь работы их руки сближались и оставались одна в другой, поднятую для переноски тяжесть опускали на пол, не донеся до цели, и приступ туманящей непобедимой нежности обезоруживал их. Снова все валилось у них из рук и вылетало из головы. Опять шли минуты и слагались в часы и становилось поздно, и оба с ужасом спохватывались, вспомнив об оставленной без внимания Катеньке, или о некормленой и непоеной лошади, и сломя голову бросались наверстывать и исправлять упущенное и мучились угрызениями совести.

У доктора от недосыпу ломило голову. Сладкий туман, как с похмелья, стоял в ней и ноющая, блаженная слабость во всем теле. Он с нетерпением ждал вечера, чтобы вернуться к прерванной ночной работе.

Предварительную половину дела совершала за него та сонная дымка, которою был полон он сам, и подернуто было все кругом, и окутаны были его мысли. Обобщенная расплывчатость, которую она всему придавала, шла в направлении, предшествующем точности окончательного воплощения. Подобно смутности первых черновых набросков, томящая праздность целого дня служила трудовой ночи необходимой подготовкой.

Безделье усталости ничего не оставляло нетронутым, непретворенным. Все претерпевало изменения и принимало другой вид.

Юрий Андреевич чувствовал, что мечтам его о более прочном

водворении в Варыкине не сбыться, что час его расставания с Ларою близок, что он её неминуемо потеряет, а вслед за ней и побуждение к жизни, а может быть и жизнь. Тоска сосала его сердце. Но еще больше томило его ожидание вечера, и желание выплакать эту тоску в таком выражении, чтобы заплакал всякий.

Волки, о которых он вспоминал весь день, уже не были волками на снегу под луною, но стали темой о волках, стали представлением вражьей силы, поставившей себе целью погубить доктора и Лару или выжить их из Варыкина. Идея этой враждебности, развиваясь, достигла к вечеру такой силы, точно в Шутьме открылись следы допотопного страшилища и в овраге залег чудовищных размеров сказочный, жаждущий докторовой крови и алчущий Лары дракон.

Наступил вечер. По примеру вчерашнего доктор засветил на столе лампу. Лара с Катенькой легли спать раньше, чем накануне.

Написанное ночью распадалось на два разряда. Знакомое, перебеленное в новых видоизменениях было записано чисто, каллиграфически. Новое было набросано сокращенно, с точками, неразборчивыми каракулями.

Разбирая эту мазню, доктор испытал обычное разочарование.

Ночью эти черновые куски вызывали у него слезы и ошеломляли неожиданностью некоторых удач. Теперь как раз эти мнимые удачи остановили и огорчили его резко выступающими натяжками.

Всю жизнь мечтал он об оригинальности сглаженной и приглушенной, внешне неузнаваемой и скрытой под покровом общеупотребительной и привычной формы, всю жизнь стремился к выработке того сдержанного, непритязательного слога, при котором читатель и слушатель овладевают содержанием, сами не замечая, каким способом они его усваивают. Всю жизнь он заботился о незаметном стиле, не привлекающем ничьего внимания, и приходил в ужас от того, как он еще далек от этого идеала.

Во вчерашних набросках ему хотелось средствами, простотою доходящими до лепета и граничащими с задушевностью колыбельной песни, выразить свое смешанное настроение любви и страха и тоски и мужества, так чтобы оно вылилось как бы помимо слов, само собою.

Теперь, на другой день, просматривая эти пробы, он нашел, что им недостает содержательной завязки, которая сводила бы воедино распадающиеся строки. Постепенно перемарывая написанное, Юрий Андреевич стал в той же лирической манере излагать легенду о Егории Храбром. Он начал с широкого, предоставляющего большой простор, пятистопника. Независимое от содержания, самому размеру свойственное благозвучие раздражало его своей казенной фальшивою певучестью. Он

бросил напыщенный размер с цензурою, стеснив строки до четырех стоп, как борются в прозе с многословием. Писать стало труднее и заманчивее.

Работа пошла живее, но все же излишняя болтливость проникала в нее. Он заставил себя укоротить строчки еще больше. Словам стало тесно в трехстопнике, последние следы сонливости слетели с пишущего, он пробудился, загорелся, узость строчных промежутков сама подсказывала, чем их наполнить. Предметы, едва названные на словах, стали не шутя вырисовываться в раме упоминания. Он услышал ход лошади, ступающей по поверхности стихотворения, как слышно спотыкание конской иноходи в одной из баллад Шопена. Георгий Победоносец скакал на коне по необозримому пространству степи, Юрий Андреевич видел сзади, как он уменьшается, удаляясь. Юрий Андреевич писал с лихорадочной торопливостью, едва успевая записывать слова и строчки, являвшиеся сплошь к месту и впопад.

Он не заметил, как встала с постели и подошла к столу Лара.

Она казалась тонкой и худенькой и выше, чем на самом деле, в своей длинной ночной рубашке до пят. Юрий Андреевич вздрогнул от неожиданности, когда она выросла рядом, бледная, испуганная и, вытянув руку вперед, шопотом спросила:

— Слышишь? Собака воет. Даже две. Ах как страшно, какая дурная примета! Как-нибудь дотерпим до утра, и едем, едем. Ни минуты тут дольше не останусь.

Через час, после долгих уговоров, Лариса Федоровна успокоилась и снова уснула. Юрий Андреевич вышел на крыльцо.

Волки были ближе, чем прошлую ночь, и скрылись еще скорее. И опять Юрий Андреевич не успел уследить, в какую сторону они ушли. Они стояли кучей, он не успел их сосчитать. Ему показалось, что их стало больше.

10

Наступил тринадцатый день их обитания в Варыкине, не отличавшийся обстоятельствами от первых. Так же накануне выли волки, исчезнувшие было в середине недели. Снова приняв их за собак, Лариса Федоровна так же положила уехать на другое утро, напуганная дурной приметой. Так же чередовались у нее состояния равновесия с приступами тоскливого беспокойства, естественного у трудолюбивой женщины, не привыкшей к целодневным излияниям души и праздной, непозволительной роскоши неумеренных нежностей.

Всё повторялось в точности, так что когда в это утро на второй неделе Лариса Федоровна опять, как столько раз перед этим, стала собираться в обратную дорогу, можно было подумать, что прожитых в перерыве полутора недель как не бывало.

Опять было сыро в комнатах, в которых было темно вследствие хмурости серого пасмурного дня. Мороз смягчился, с темного неба, покрытого низкими тучами, с минуты на минуту должен был повалить снег. Душевная и телесная усталость от затяжного недосыпания подкашивала Юрия Андреевича. Мысли путались у него, силы были подорваны, он ощущал сильную зябкость от слабости и, ежась и потирая руки от холода, ходил по нетопленной комнате, не зная, что решит Лариса Федоровна и за что, соответственно её решению, ему надо будет приняться.

Ее намерения были неясны. Сейчас она полжизни отдала бы за то, чтобы оба они не были так хаотически свободны, а вынужденно подчинялись какому угодно строгому, но раз навсегда заведенному порядку, чтобы они ходили на службу, чтобы у них были обязанности, чтобы можно было жить разумно и честно.

Она начала день, как обычно, оправила постели, убрала и подмела комнаты, подала завтракать доктору и Кате. Потом стала укладываться и попросила доктора заложить лошадь. Решение уехать было принято ею твердо и неуклонно.

Юрий Андреевич не пробовал её отговаривать. Возвращение их в город в разгар тамошних арестов после их недавнего исчезновения было совершенным безрассудством. Но едва ли разумнее было отсиживаться одним без оружия среди этой, полной своих собственных угроз, страшной зимней пустыни.

Кроме того, последние охапки сена, которые доктор сгребал по соседним сараям, подходили к концу, а новых не предвиделось. Конечно, будь возможность водвориться тут попрочнее, доктор объездил бы окрестности и позаботился о пополнении фуражных и продовольственных запасов. Но для короткого и гадательного пребывания не стоило пускаться на такие разведки. И махнув на всё рукой, доктор пошел запрягать.

Он запрягал неумело. Его этому учил Самдевятов. Юрий Андреевич забывал его наставления. Неопытными руками он сделал однако всё что нужно. Наборный кованый кончик ремня, которым он прикрутил дугу к оглоблям, он затянул узлом на одной из оглобель, намотав его в несколько оборотов на её конец, потом, упершись ногой в бок лошади, туго стянул расходящиеся клешни хомута, после чего, доделав все остальное, подвел

лошадь к крыльцу, привязал её к нему и пошел сказать Ларе, что можно собираться.

Он застал её в крайнем замешательстве. Она и Катенька были одеты к выезду, все уложено, но Лариса Федоровна ломала руки и, сдерживая слезы и прося Юрия Андреевича присесть на минуту, бросалась в кресло и вставала, и часто прерывая себя восклицанием «Не правда ли?» на высокой, певучей и жалующейся ноте, говорила быстро-быстро, бессвязною скороговоркой:

— Я не виновата. Я сама не знаю, как это получилось. Но разве можно сейчас ехать? Скоро стемнеет. Ночь застанет нас в дороге. И как раз в твоем страшном лесу. Не правда ли? Я поступлю, как ты прикажешь, но сама, собственною волей, не решусь. Что-то удерживает меня. У меня сердце не на месте. А ты как знаешь. Не правда ли? Что же ты молчишь и не скажешь ни слова? Мы проротозейничали целое утро, неизвестно на что потратили половину дня. Завтра это больше не повторится, мы будем поосторожнее, не правда ли? Может быть, остаться еще на сутки? Встанем завтра пораньше, снимемся чуть свет, часов в семь или шесть утра. Как ты думаешь? Ты затопишь печку, попишешь здесь один лишний вечер, переночуем здесь еще одну ночь. Ах это было бы так неповторимо, волшебно! Что же ты ничего не отвечаешь? Опять я в чем-то виновата, несчастная!

— Ты преувеличиваешь. До сумерек еще далеко. Еще совсем рано. Но будь по-твоему. Хорошо. Останемся. Только успокойся.

Смотри, как ты возбуждена. Действительно, разложимся, снимем шубы. Вот Катенька говорит, что проголодалась. Закусим. Твоя правда, нынешний отъезд был бы слишком неподготовленным, внезапным. Только не волнуйся и не плачь, ради Бога. Сейчас я затоплю. Но перед тем, благо лошадь запряжена и сани у крыльца, съезжу за последними дровами к бывшему Живаговскому сараю, а то у меня тут больше ни полена. А ты не плачь. Я скоро вернусь.

11

На снегу перед сараем в несколько кругов шли санные следы прежних заездов и заворотов Юрия Андреевича. Снег у порога был затоптан и замусорен позавчерашнею таскою дров.

Облака, заволакивавшие небо с утра, разошлись. Оно очистилось. Подморозило. Варыкинский парк, на разных расстояниях окружавший эти места, близко подступал к сараю, как бы для того, чтобы заглянуть в лицо

доктора и что-то ему напомнить. Снег в эту зиму лежал глубоким слоем, выше порога сарая. Его дверная притолока как бы опустилась, сарай точно сгорбился. С его крыши почти на голову доктору шапкой исполинского гриба свисал пласт наметенного снега. Прямо над свесом крыши, точно воткнутый острием в снег, стоял и горел серым жаром по серпяному вырезу молодой, только что народившийся полумесяц.

Хотя был еще день и совсем светло, у доктора было такое чувство, точно он поздним вечером стоит в темном дремучем лесу своей жизни. Такой мрак был у него на душе, так ему было печально. И молодой месяц предвестием разлуки, образом одиночества почти на уровне его лица горел перед ним.

Усталость валила с ног Юрия Андреевича. Швыряя дрова через порог сарая в сани, он забирал меньше поленьев за один раз, чем обыкновенно. Браться на холоде за обледенелые плахи с приставшим снегом даже сквозь рукавицы было больно. Ускоренная подвижность не разогревала его. Что-то остановилось внутри его и порвалось. Он клял на чем свет стоит бесталанную свою судьбу и молил Бога сохранить и уберечь жизнь красоты этой писаной, грустной, покорной, простодушной. А месяц всё стоял над сараем и горел и не грел, светился и не освещал.

Вдруг лошадь, повернувшись в том направлении, откуда её привели, подняла голову и заржала сначала тихо и робко, а потом громко и уверенно.

«Чего это она?» — подумал доктор. «С какой это радости? Не может быть, чтобы со страху. Со страху кони не ржут, какие глупости. Дура она что ли голосом волкам знак подавать, если она их почуяла. И как весело. Это видно в предвкушении дома, домой захотелось. Погоди, сейчас тронем».

В придачу к наложенным дровам Юрий Андреевич набрал в сарае щепы и крупной, сапожным голенищем выгнутой, целиком с полена отвалившейся бересты для растопки, перехватил покрытую рогожей дровяную кучу веревкой и, шагая рядом с санями, повез дрова в сарай к Микулицыным.

Опять лошадь заржала, в ответ на явственное конское ржание где-то вдали, в другой стороне. «У кого бы это? — встрепенувшись, подумал доктор. — Мы считали, что Варыкино пусто. Значит, мы ошибались». Ему в голову не могло прийти, что у них гости, и что ржание коня доносится со стороны Микулицынского крыльца, из сада. Он вел Савраску обходом, задами, к службам заводских усадеб, и за буграми, скрывавшими дом, не видел его передней части.

Не спеша (зачем ему было торопиться?), побросал он дрова в сарай, выпряг лошадь, сани оставил в сарае, а лошадь отвел в пустующую рядом выхоложенную конюшню. Он поставил её в правый угловой станок, где меньше продувало, и принесши из сарая несколько охапок оставшегося сена, навалил его в наклонную решетку яслей.

С неспокойной душою шел он к дому. У крыльца стоял запряженный в очень широкие крестьянские сани с удобным кузовом раскормленный вороной жеребец. Вокруг коня похаживал, похлопывая его по бокам и осматривая щетки его ног, такой же гладкий и сытый, как он, незнакомый малый в хорошей поддевке.

В доме слышался шум. Не желая подслушивать и не будучи в состоянии что-нибудь услышать, Юрий Андреевич невольно замедлил шаг и остановился как вкопанный. Не разбирая слов, он узнавал голоса Комаровского, Лары и Катеньки. Вероятно, они были в первой комнате, у выхода. Комаровский спорил с Ларою, и, судя по звуку её ответов, она волновалась, плакала и то резко возражала ему, то с ним соглашалась. По какому-то непреодолимому признаку Юрий Андреевич вообразил, что Комаровский завел в эту минуту речь именно о нем, предположительно в том духе, что он человек ненадежный («слуга двух господ» — почудилось Юрию Андреевичу), что неизвестно, кто ему дороже, семья или Лара, и что Ларе нельзя на него положиться, потому что доверившись доктору, она «погонится за двумя зайцами и останется между двух стульев». Юрий Андреевич вошел в дом.

В первой комнате, действительно, в шубе до полу стоял, не раздеваясь Комаровский. Лара держала Катеньку за верхние края шубки, стараясь стянуть ворот и не попадая крючком в петлю.

Она сердилась на девочку, крича, чтобы дочь не вертелась и не вырывалась, а Катенька жаловалась: «Мамочка, тише, ты меня задушишь». Все стояли одетые, готовые к выезду. Когда вошел Юрий Андреевич, Лара и Виктор Ипполитович наперерыв бросились к нему навстречу. — Где ты пропадал? Ты нам так нужен!

— Здравствуйте, Юрий Андреевич! Несмотря на грубости, которые мы наговорили в последний раз друг другу, я снова, как видите, к вам без приглашения.

— Здравствуйте, Виктор Ипполитович.

— Куда ты пропал так надолго? Выслушай, что он скажет, и скорей решай за себя и меня. Времени нет. Надо торопиться.

— Что же мы стоим? Садитесь, Виктор Ипполитович. Как куда я пропал, Ларочка? Ты ведь знаешь, я за дровами ездил, а потом о лошади

позаботился. Виктор Ипполитович, прошу вас, садитесь.

— Ты не поражен? Отчего ты не выказываешь удивления? Мы жалели, что этот человек уехал и что мы не ухватились за его предложения, а он тут перед тобой и ты не удивляешься. Но еще поразительнее его свежие новости. Расскажите их ему, Виктор Ипполитович.

— Я не знаю, что разумеет Лариса Федоровна, а в свою очередь скажу следующее. Я нарочно распространил слух, что уехал, а сам остался еще на несколько дней, чтобы дать вам и Ларисе Федоровне время по-новому передумать затронутые нами вопросы, и по зрелом размышлении прийти, может быть, к менее опрометчивому решению.

— Но дальше откладывать нельзя. Сейчас для отъезда самое удобное время. Завтра утром, — но лучше пусть Виктор Ипполитович сам расскажет тебе.

— Минуту, Ларочка. Простите, Виктор Ипполитович. Почему мы стоим в шубах? Разденемся и присядем. Разговор-то ведь серьезный. Нельзя так с бухты-барахты. Извините, Виктор Ипполитович. Наши препирательства затрагивают некоторые душевные тонкости. Разбирать эти предметы смешно и неудобно. Я никогда не помышлял о поездке с вами. Другое дело Лариса Федоровна. В тех редких случаях, когда наши беспокойства бывали отделимы одно от другого, и мы вспоминали, что мы не одно существо, а два, с двумя отдельными судьбами, я считал, что Ларе надо, особенно ради Кати, внимательнее задуматься о ваших планах. Да она не переставая это и делает, возвращаясь вновь и вновь к этим возможностям.

— Но только при условии, если бы ты поехал.

— Нам одинаково трудно представить себе наше разъединение, но, может быть, надо пересилить себя и принести эту жертву.

Потому что о моей поездке не может быть и речи.

— Но ведь ты еще ничего не знаешь. Сначала выслушай.

Завтра утром… Виктор Ипполитович!

— Видно, Лариса Федоровна имеет в виду сведения, которые я привез и уже сообщил ей. На путях в Юрятине стоит под парами служебный поезд Дальневосточного правительства. Вчера он прибыл из Москвы и завтра отправляется дальше. Это поезд нашего министерства путей сообщения. Он наполовину состоит из международных спальных вагонов.

Я должен ехать в этом поезде. Мне предоставлены места для лиц, приглашенных в мою рабочую коллегию. Мы покатили бы со всем комфортом. Такой случай больше не представится. Я знаю, вы слов на ветер не бросаете и отказа поехать с нами не отмените. Вы человек

твердых решений, я знаю. Но все же.

Сломите себя ради Ларисы Федоровны. Вы слышали, без вас она не поедет. Поедемте с нами, если не во Владивосток, то хотя бы в Юрятин. А там увидим. Но в таком случае надо торопиться.

Нельзя терять ни минуты. Со мною человек, я плохо правлю.

Впятером с ним нам в моих розвальнях не уместиться. Если не ошибаюсь, Самдевятовская лошадь у вас. Вы говорили, что ездили на ней за дровами. Она еще не разложена?

— Нет, я распряг ее.

— Тогда запрягите поскорее снова. Мой кучер вам поможет.

Впрочем, знаете. Ну их к чорту, вторые сани. Как-нибудь доедем на моих. Только ради Бога скорее. В дорогу с собой самое необходимое, что под руку попадется. Дом пусть остается как есть, незапертым. Надо спасать жизнь ребенка, а не ключи к замкам подбирать.

— Я не понимаю вас, Виктор Ипполитович. Вы так разговариваете, точно я согласился поехать. Поезжайте с Богом, если Лара так хочет. А о доме не беспокойтесь. Я останусь, и после вашего отъезда уберу и запру его.

— Что ты говоришь, Юра? К чему этот заведомый вздор, в который ты сам не веришь. «Если Лариса Федоровна решила». И сам прекрасно знает, что без его участия в поездке Ларисы Федоровны и в заводе нет и никаких её решений. Тогда к чему эта фраза: «А дом я уберу и обо всем позабочусь»?

— Значит, вы неумолимы. Тогда другая просьба. С разрешения Ларисы Федоровны мне вас на два слова и, если можно, с глазу на глаз.

— Хорошо. Если это так нужно, пойдемте на кухню. Ты не возражаешь, Ларуша?

12

— Стрельников схвачен, приговорен к высшей мере и приговор приведен в исполнение.

— Какой ужас. Неужели правда?

— Так я слышал. Я в этом уверен.

— Не говорите Ларе. Она с ума сойдет.

— Еще бы. Для этого я позвал вас в другую комнату. После этого расстрела она и дочь в близкой непосредственно придвинувшейся опасности. Помогите мне спасти их. Вы наотрез отказываетесь сопутствовать нам?

— Я ведь сказал вам. Конечно.

— Но без вас она не уедет. Просто не знаю, что делать.

Тогда от вас требуется другая помощь. Изобразите на словах, обманно, готовность уступить, сделайте вид, будто вас можно уговорить. Я не представляю себе вашего прощания. Ни здесь, на месте, ни на вокзале, в Юрятине, если бы вы действительно поехали нас провожать. Надо добиться, чтобы она поверила, что вы тоже едете. Если не сейчас, вместе с нами, то спустя некоторое время, когда я предоставлю вам новую возможность, которою вы пообещаете воспользоваться. Тут вы должны быть способны дать ей ложную клятву. Но с моей стороны это не пустые слова. Честью вас заверяю, при первом выраженном вами желании я берусь в любое время доставить вас отсюда к нам и переправить дальше, куда бы вы ни пожелали. Лариса Федоровна должна быть уверена, что вы нас провожаете. Удостоверьте её в этом со всею силой убедительности. Скажем, притворно побегите запрягать лошадь, и уговорите нас трогаться немедленно, не дожидаясь, пока вы её заложите и следом нагоните нас в дороге.

— Я потрясен известием о расстреле Павла Павловича и не могу прийти в себя. Я с трудом слежу за вашими словами. Но я с вами согласен. После расправы со Стрельниковым по нашей нынешней логике жизнь Ларисы Федоровны и Кати тоже под угрозой. Кого-то из нас наверняка лишат свободы, и, следовательно, так или иначе все равно разлучат. Тогда, правда, лучше разлучите вы нас и увезите их куда-нибудь подальше, на край света. Сейчас, когда я говорю вам это, все равно дела идут уже по-вашему. Наверное, мне станет невмоготу, и поступившись гордостью и самолюбием, я покорно приползу к вам, чтобы получить из ваших рук и ее, и жизнь, и морской путь к своим и собственное спасение. Но дайте мне во всем этом разобраться. Сообщенная вами новость ошеломила меня. Я раздавлен страданием, которое отнимает у меня способность думать и рассуждать. Может быть, покорясь вам, я совершаю роковую, непоправимую ошибку, которой буду ужасаться всю жизнь, но в тумане обессиливающей меня боли единственное, что я могу сейчас, это машинально поддакивать вам и слепо, безвольно вам повиноваться. Итак я для вида, ради её блага, объявлю ей сейчас, что иду запрягать лошадь и догоню вас, а сам останусь тут один. Одна только мелочь. Как вы теперь поедете, на ночь глядя? Дорога лесом, кругом волки, берегитесь.

— Я знаю. Со мной ружье и револьвер. Не беспокойтесь. Да кстати и спиртику малость прихватил, на случай мороза.

Достаточное количество. Поделюсь, хотите?

13

«Что я наделал? Что я наделал? Отдал, отрекся, уступил.

Броситься бегом вдогонку, догнать, вернуть. Лара! Лара!

Не слышат. Ветер в обратную сторону. И, наверное, громко разговаривают. У нее все основания быть веселой, спокойной.

Она далась в обман и не подозревает, в каком она заблуждении.

Вот её вероятные мысли. Она думает. Все сложилось как нельзя лучше, по её желанию. Ее Юрочка, фантазер и упрямец, наконец, смягчился, слава Создателю, и отправляется вместе с ней куда-то в верное место, к людям поумнее их, под защиту законности и порядка. Если даже, чтобы настоять на своем и выдержать характер, он покобенится и не сядет завтра в их поезд, то Виктор Ипполитович пришлет за ним другой, он к ним подъедет в самом непродолжительном времени.

А сейчас он, конечно, уже на конюшне, дрожащими от волнения и спешки, путающимися, не слушающимися руками запрягает Савраску и немедленно во весь дух пустится нахлестывать следом, так что нагонит их еще в поле, до въезда в лес».

Вот как, наверное, она думает. А они даже и не простились толком, только Юрий Андреевич рукой махнул и отвернулся, стараясь сглотнуть колом в горле ставшую боль, точно он подавился куском яблока.

Доктор в накинутой на одно плечо шубе стоял на крыльце.

Свободною, не покрытой шубою рукой он под самым потолком сжимал с такой силою шейку точеного крылечного столбика, точно душил его. Всем своим сознанием он был прикован к далекой точке в пространстве. Там, на некотором протяжении, небольшой кусок подымавшегося в гору пути открывался между несколькими, отдельно росшими березами. В это открытое место падал в данное мгновение свет низкого, готового к заходу, солнца. Туда, в полосу этого освещения должны были с минуты на минуту вынестись разогнавшиеся сани из неглубокой ложбины, куда они ненадолго занырнули.

— Прощай,прощай, — предваряя эту минуту, беззвучно-беспамятно твердил доктор, выталкивая из груди эти чуть дышащие звуки в вечеревший морозный воздух. — Прощай, единственно любимая, навсегда утраченная!

— Едут! Едут! — стремительно сухо зашептал он побелевшими губами, когда сани стрелой вылетели снизу, минуя березы одну за другою, и стали сдерживать ход и, о радость, остановились у последней.

О как забилось его сердце, о как забилось его сердце, ноги подкосились

у него, он от волнения стал весь мягкий, войлочный, как сползающая с плеча шуба! «О Боже, Ты, кажется, положил вернуть её мне? Что там случилось? Что там делается, на далекой закатной этой черте? Где объяснение? Зачем стоят они? Нет. Пропало. Взяли. Понеслись. Это она верно попросила стать на минуту, чтобы еще раз взглянуть на прощание на дом.

Или может быть, ей захотелось удостовериться, не выехал ли уже Юрий Андреевич и не мчится ли за ними вдогонку? Уехали.

Уехали.

Если успеют, если солнце не сядет раньше (в темноте он не разглядит их), они промелькнут еще раз, и на этот раз в последний, по ту сторону оврага, на поляне, где позапрошлою ночью стояли волки».

И вот пришла и прошла и эта минута. Темнопунцовое солнце еще круглилось над синей линией сугробов. Снег жадно всасывал ананасную сладость, которою оно его заливало. И вот они показались, понеслись, промчались. «Прощай, Лара, до свидания на том свете, прощай краса моя, прощай радость моя, бездонная, неисчерпаемая, вечная». И вот они скрылись. «Больше я тебя никогда не увижу, никогда, никогда в жизни, больше никогда не увижу тебя».

Между тем темнело. Стремительно выцветали, гасли разбросанные по снегу багрово-бронзовые пятна зари. Пепельная мягкость пространств быстро погружалась в сиреневые сумерки, все более лиловевшие. С их серою дымкой сливалась кружевная, рукописная тонкость берез на дороге, нежно прорисованных по бледно-розовому, точно вдруг обмелевшему небу.

Душевное горе обострило восприимчивость Юрия Андреевича. Он улавливал всё с удесятеренною резкостью. Окружающее приобретало черты редкой единственности, даже самый воздух.

Небывалым участием дышал зимний вечер, как всему сочувствующий свидетель. Точно еще никогда не смеркалось так до сих пор, а завечерело в первый раз только сегодня, в утешение осиротевшему, впавшему в одиночество человеку. Точно не просто поясною панорамою стояли, спинами к горизонту, окружные леса по буграм, но как бы только что разместились на них, выйдя из-под земли для изъявления сочувствия.

Доктор почти отмахивался от этой ощутимой красоты часа, как от толпы навязывающихся сострадателей, почти готовый шептать лучам дотягивавшейся до него зари: «Спасибо. Не надо».

Он продолжал стоять на крыльце, лицом к затворенной двери, отвернувшись от мира. «Закатилось мое солнце ясное», — повторяло и

вытверживало что-то внутри его. У него не было сил выговорить эти слова вслух все подряд, без судорожных горловых схваток, которые прерывали их.

Он вошел в дом. Двойной, двух родов монолог начался и совершался в нем: сухой, мнимо деловой по отношению к себе самому и растекающийся, безбрежный, в обращении к Ларе. Вот как шли его мысли: «Теперь в Москву. И первым делом — выжить.

Не поддаваться бессоннице. Не ложиться спать. Работать ночами до одурения, пока усталость не свалит замертво. И вот еще что.

Сейчас же истопить в спальне, чтобы не мерзнуть ночью без надобности».

Но и вот еще как разговаривал он с собою. «Прелесть моя незабвенная! Пока тебя помнят вгибы локтей моих, пока еще ты на руках и губах моих, я побуду с тобой. Я выплачу слезы о тебе в чем-нибудь достойном, остающемся. Я запишу память о тебе в нежном, нежном, щемяще печальном изображении. Я останусь тут, пока этого не сделаю. А потом и сам уеду. Вот как я изображу тебя. Я положу черты твои на бумагу, как после страшной бури, взрывающей море до основания, ложатся на песок следы сильнейшей, дальше всего доплескивавшейся волны. Ломаной извилистой линией накидывает море пемзу, пробку, ракушки, водоросли, самое легкое и невесомое, что оно могло поднять со дна. Это бесконечно тянущаяся вдаль береговая граница самого высокого прибоя. Так прибило тебя бурей жизни ко мне, гордость моя. Так я изображу тебя».

Он вошел в дом, запер дверь, снял шубу. Когда он вошел в комнату, которую Лара убрала утром так хорошо и старательно и в которой все наново было разворошено спешным отъездом, когда увидал разрытую и неоправленную постель и в беспорядке валявшиеся вещи, раскиданные на полу и на стульях, он, как маленький, опустился на колени перед постелью, всею грудью прижался к твердому краю кровати и, уронив лицо в свесившийся конец перины, заплакал по-детски легко и горько. Это продолжалось недолго. Юрий Андреевич встал, быстро утер слезы, удивленно-рассеянным, устало-отсутствующим взором осмотрелся кругом, достал оставленную Комаровским бутылку, откупорил, налил из нее полстакана, добавил воды, подмешал снегу и с наслаждением, почти равным только что пролитым безутешным слезам, стал пить эту смесь медленными, жадными глотками.

14

С Юрием Андреевичем творилось что-то несообразное. Он медленно сходил с ума. Никогда еще не вел он такого странного существования. Он запустил дом, перестал заботиться о себе, превращал ночи в дни и потерял счет времени, которое прошло с Лариного отъезда.

Он пил и писал вещи, посвященные ей, но Лара его стихов и записей, по мере вымарок и замены одного слова другим, все дальше уходила от истинного своего первообраза, от живой Катенькиной мамы, вместе с Катей находившейся в путешествии.

Эти вычеркивания Юрий Андреевич производил из соображений точности и силы выражения, но они также отвечали внушениям внутренней сдержанности, не позволявшей обнажать слишком откровенно лично испытанное и невымышленно бывшее, чтобы не ранить и не задевать непосредственных участников написанного и пережитого. Так кровное, дымящееся и неостывшее вытеснялось из стихотворений, и вместо кровоточащего и болезнетворного в них появилась умиротворенная широта, подымавшая частный случай до общности всем знакомого. Он не добивался этой цели, но эта широта сама приходила как утешение, лично посланное ему с дороги едущей, как далекий её привет, как её явление во сне или как прикосновение её руки к его лбу. И он любил на стихах этот облагораживающий отпечаток.

За этим плачем по Ларе он также домарывал до конца свою мазню разных времен о всякой всячине, о природе, об обиходном.

Как всегда с ним бывало и прежде, множество мыслей о жизни личной и жизни общества налетало на него за этой работой одновременно и попутно.

Он снова думал, что историю, то, что называется ходом истории, он представляет себе совсем не так, как принято, и ему она рисуется наподобие жизни растительного царства. Зимою под снегом оголенные прутья лиственного леса тощи и жалки, как волоски на старческой бородавке. Весной в несколько дней лес преображается, подымается до облаков, в его покрытых листьями дебрях можно затеряться, спрятаться. Это превращение достигается движением, по стремительности превосходящим движения животных, потому что животное не растет так быстро, как растение, и которого никогда нельзя подсмотреть. Лес не передвигается, мы не можем его накрыть, подстеречь за переменою места. Мы всегда застаем его в неподвижности. И в такой же неподвижности застигаем мы вечно растущую, вечно меняющуюся, неуследимую в своих превращениях жизнь общества, историю.

Толстой не довел своей мысли до конца, когда отрицал роль

зачинателей за Наполеоном, правителями, полководцами. Он думал именно то же самое, но не договорил этого со всею ясностью.

Истории никто не делает, её не видно, как нельзя увидать, как трава растет. Войны, революции, цари, Робеспьеры это её органические возбудители, её бродильные дрожжи. Революции производят люди действенные, односторонние фанатики, гении самоограничения. Они в несколько часов или дней опрокидывают старый порядок. Перевороты длятся недели, много годы, а потом десятилетиями, веками поклоняются духу ограниченности, приведшей к перевороту, как святыне.

За своим плачем по Ларе он оплакивал также то далекое лето в Мелюзееве, когда революция была тогдашним с неба на землю сошедшим богом, богом того лета, и каждый сумасшествовал по-своему, и жизнь каждого существовала сама по себе, а не пояснительно-иллюстративно, в подтверждение правоты высшей политики.

За этим расчерчиванием разных разностей он снова проверил и отметил, что искусство всегда служит красоте, а красота есть счастье обладания формой, форма же есть органический ключ существования, формой должно владеть все живущее, чтобы существовать, и, таким образом, искусство, в том числе и трагическое, есть рассказ о счастье существования. Эти размышления и записи тоже приносили ему счастье, такое трагическое и полное слез, что от него уставала и болела голова.

Приезжал проведать его Анфим Ефимович. Он тоже привез водки и рассказал ему об отбытии Антиповой с дочкой и Комаровским.

Анфим Ефимович приехал на дрезине по железной дороге. Он выбранил доктора за недостаточный уход за лошадью и увел ее, несмотря на просьбу Юрия Андреевича потерпеть еще дня три-четыре. Зато он пообещал самолично заехать за доктором через этот срок и увезти его из Варыкина окончательно.

Иногда записавшись, заработавшись, Юрий Андреевич вдруг вспоминал уехавшую женщину во всей явственности и терял голову от нежности и остроты лишения. Как когда-то в детстве среди великолепия летней природы в пересвисте птиц мерещился ему голос умершей матери, так привыкший к Ларе, сжившийся с её голосом слух теперь иногда обманывал его. «Юрочка», — в слуховой галлюцинации иногда слышалось ему из соседней комнаты.

Бывали с ним случаи и другого обмана чувств за эту неделю.

В конце ее, ночью, он вдруг проснулся после тяжкой привидевшейся ему нелепицы о драконьем логе под домом. Он открыл глаза. Вдруг дно оврага озарилось огнем и огласилось треском и гулом сделанного кем-то

выстрела. Удивительно, что спустя минуту после такого необыкновенного происшествия доктор опять уснул, а утром решил, что все это ему приснилось.

15

Вот что случилось немного позднее в один из тех дней.

Доктор внял, наконец, голосу разума. Он сказал себе, что если поставить себе целью уморить себя во что бы то не стало, можно изыскать способ, скорее действующий и менее мучительный. Он дал себе слово, что как только Анфим Ефимович явится за ним, он немедленно отсюда уедет.

Перед сумерками, когда было еще светло, он услышал громкое хрустение чьих-то шагов по снегу. Кто-то бодрою, решительною походкой спокойно шел к дому.

Странно. Кто бы это мог быть? Анфим Ефимович приехал бы на лошади. Прохожих в пустом Варыкине не водилось. «За мной», — решил Юрий Андреевич. — «Вызов или требование в город. Или чтобы арестовать. Но на чем они повезут меня? И тогда их было бы двое. Это Микулицын, Аверкий Степанович», — обрадовавшись, предположил он, узнав, как ему показалось, гостя по походке.

Человек, пока еще составлявший загадку, на минуту задержался у двери с отбитой задвижкой, не найдя на ней ожидаемого замка, а потом двинулся дальше уверенным шагом, знающим движением, по-хозяйски отворяя встречавшиеся по пути двери и заботливо затворяя их за собою.

Эти странности застали Юрия Андреевича за письменным столом, у которого он сидел спиною ко входу. Пока он поднимался со стула и поворачивался лицом к двери, чтобы встретить чужого, тот уже стоял на пороге, остановившись, как вкопанный.

«Кого вам?» — вырвалось у доктора с бессознательностью, ни к чему не обязывавшей, и когда ответа не последовало, Юрий Андреевич этому не удивлялся.

Вошедший был сильный, статный человек с красивым лицом, в короткой меховой куртке, меховых штанах и теплых козловых сапогах, с висевшей через плечо винтовкой на ремне.

Только миг появления неизвестного был неожиданностью для доктора, а не его приход. Находки в доме и другие признаки подготовили Юрия Андреевича к этой встрече. Вошедший был, очевидно, тем человеком, которому принадлежали попадавшиеся в доме запасы. Его внешность показалась доктору виденной и знакомой. Вероятно посетитель тоже был

предупрежден, что дом не пуст. Он недостаточно удивился его обитаемости. Может быть, его предварили, кого он встретит внутри. Может быть, сам он знал доктора.

«Кто это? Кто это?» — мучительно перебирал в памяти Юрий Андреевич. «Господи твоя воля, где я его раз уже видел?

Возможно ли? Жаркое майское утро незапамятно какого года.

Железнодорожная станция Развилье. Не предвещающий добра вагон комиссара. Ясность понятий, прямолинейность, суровость принципов, правота, правота, правота. Стрельников!»

16

Они разговаривали уже давно, несколько битых часов, как разговаривают одни только русские люди в России, как в особенности разговаривали те устрашенные и тосковавшие, и те бешеные и исступленные, какими были в ней тогда все люди.

Вечерело. Становилось темно.

Помимо беспокойной разговорчивости, которую Стрельников разделял со всеми, он говорил без умолку еще и по какой-то другой, своей причине.

Он не мог наговориться и всеми силами цеплялся за беседу с доктором, чтобы избежать одиночества. Боялся ли он угрызений совести или печальных воспоминаний, преследовавших его, или его томило недовольство собой, в котором человек невыносим и ненавистен себе и готов умереть со стыда? Или у него было принято какое-то страшное, неотменимое решение, с которым ему не хотелось оставаться одному, и исполнение которого он откладывал, насколько возможно, болтовнею с доктором и его обществом?

Так или иначе Стрельников скрывал какую-то важную, тяготившую его тайну, предаваясь во всем остальном тем более расточительным душевным излияниям.

Это была болезнь века, революционное помешательство эпохи.

В помыслах все были другими, чем на словах и во внешних проявлениях. Совесть ни у кого не была чиста. Каждый с основанием мог чувствовать себя во всем виноватым, тайным преступником, неизобличенным обманщиком. Едва являлся повод, разгул самобичующего воображения разыгрывался до последних пределов. Люди фантазировали, наговаривали на себя не только под действием страха, но и вследствие разрушительного болезненного влечения, по доброй воле, в состоянии метафизического транса и той страсти самообсуждения, которой дай

только волю, и её не остановишь.

Сколько таких предсмертных показаний, письменных и устных прочел и выслушал в свое время крупный военный, а иногда и военно-судный деятель Стрельников. Теперь сам он был одержим сходным припадком саморазоблачения, всего себя переоценивал, всему подводил итог, все видел в жаровом, изуродованном, бредовом извращении.

Стрельников рассказывал беспорядочно, перескакивая с признания на признание.

— Это было под Читой. Вас поражали диковинки, которыми я набил шкалы и ящики в этом доме? Это все из военных реквизиций, которые мы производили при занятии Красной Армией Восточной Сибири. Разумеется, я не один это на себе перетащил.

Жизнь всегда баловала меня людьми верными, преданными. Эти свечи, спички, кофе, чай, письменные принадлежности и прочее, частью из чешского военного имущества, частью японские и английские. Чудеса в решете, не правда ли? «Не правда ли» было любимое выражение моей жены, вы наверное заметили. Я не знал, сказать ли вам это сразу, а теперь признаюсь. Я пришел повидаться с нею и дочерью. Мне слишком поздно сообщили, будто они тут. И вот опоздал. Когда из сплетен и донесений я узнал о вашей близости с ней и мне в первый раз назвали имя «доктор Живаго», я из тысячи промелькнувших передо мною за эти годы лиц непостижимейшим образом вспомнил как-то раз приведенного ко мне на допрос доктора с такой фамилией.

— И вы пожалели, что не расстреляли его?

Стрельников оставил это замечание без внимания. Может быть, он даже не расслышал, что собеседник прервал его монолог собственною вставкою. Он продолжал рассеянно и задумчиво.

— Конечно, я её ревновал к вам да и теперь ревную. Могло ли быть иначе? В этих местах я прячусь только последние месяцы, когда провалились другие мои явки, далеко на востоке.

Меня должны были привлечь к военному суду по ложному оговору.

Его исход легко было предугадать. Я не знал никакой вины за собой. У меня явилась надежда оправдаться и отстоять свое доброе имя в будущем, при лучших обстоятельствах. Я решил исчезнуть с поля зрения заблаговременно, до ареста и в промежутке скрываться, скитаться, отшельничать. Может я спасся бы в конце концов. Меня подвел втершийся в мое доверие молодой проходимец.

Я уходил через Сибирь зимой пешком на запад, прятался, голодал. Зарывался в сугробы, ночевал в занесенных снегом поездах, которых целые

нескончаемые цепи стояли тогда под снегом на Сибирской магистрали.

Скитания столкнули меня с мальчишкой бродягой, будто бы недостреленным партизанами в строю остальных казненных, при общем расстреле. Будто бы он выполз из толпы убитых, отдышался, отлежался и потом стал кочевать по разным логовищам и берлогам, как я. По крайней мере так он рассказывал. Негодяй подросток, порочный, отсталый, из реалистов второгодников, выгнанный из училища по неспособности.

Чем подробнее рассказывал Стрельников, тем ближе доктор узнавал мальчика.

— Имя Терентий, по фамилии Галузин?

— Да.

— Ну тогда все о партизанах и расстреле правда. Он ничего не выдумал.

— Единственная хорошая черта была у мальчика, — обожал мать до безумия. Отец его пропал в заложниках. Он узнал, что мать в тюрьме и разделит участь отца, и решил пойти на все, чтобы освободить ее. В уездной Чрезвычайной комиссии, куда он пришел с повинною и предложением услуг, согласились простить ему все грехи, ценой какой-нибудь крупной выдачи. Он указал место, где я отсиживался. Мне удалось предупредить его предательство и во-время исчезнуть.

Сказочными усилиями, с тысячею приключений я прошел Сибирь и перебрался сюда, в места, где меня знают, как облупленного, и меньше всего ожидали встретить, не предполагая с моей стороны такой дерзости. И действительно, меня долго еще разыскивали под Читою, пока я забирался то в этот домик, то в другие убежища здесь в окрестностях. Но теперь конец. Меня и тут выследили. Послушайте. Смеркается. Приближается час, которого я не люблю, потому что давно уже потерял сон. Вы знаете, какая это мука. Если вы спалили еще не все мои свечи — прекрасные, стеариновые, не правда ли? — давайте поговорим еще чуть-чуть. Давайте проговорим сколько вы будете в состоянии, со всею роскошью, ночь напролет, при горящих свечах.

— Свечи целы. Только одна пачка начата. Я жег найденный здесь керосин.

— Хлеб у вас есть?

— Нет.

— Чем же вы жили? Впрочем, что я глупости спрашиваю.

Картошкою. Знаю.

— Да. Ее тут сколько угодно. Здешние хозяева были опытные и запасливые. Знали, как её засыпать. Вся в сохранности в подвале. Не

погнила и не померзла.

Вдруг Стрельников заговорил о революции.

17

Все это не для вас. Вам этого не понять. Вы росли по-другому. Был мир городских окраин, мир железнодорожных путей и рабочих казарм. Грязь, теснота, нищета, поругание человека в труженике, поругание женщины. Была смеющаяся, безнаказанная наглость разврата, маменькиных сынков, студентов белоподкладочников и купчиков. Шуткою или вспышкой пренебрежительного раздражения отделывались от слез и жалоб обобранных, обиженных, обольщенных. Какое олимпийство тунеядцев, замечательных только тем, что они ничем себя не утрудили, ничего не искали, ничего миру не дали и не оставили!

А мы жизнь приняли, как военный поход, мы камни ворочали ради тех, кого любили. И хотя мы не принесли им ничего, кроме горя, мы волоском их не обидели, потому что оказались еще большими мучениками, чем они.

Однако перед тем как продолжать, считаю долгом сказать вам вот что. Дело в следующем. Вам надо уходить отсюда, не откладывая, если только жизнь дорога вам. Облава на меня стягивается, и чем бы она ни кончилась, вас ко мне припутают, вы уже в мои дела замешаны фактом нашего разговора. Кроме того, тут много волков, я на днях от них отстреливался.

— А, так это вы стреляли?

— Да. Вы, разумеется, слышали? Я шел в другое убежище, но не доходя, по разным признакам понял, что оно раскрыто, и тамошние люди, наверное, погибли. Я у вас недолго пробуду, только переночую, а утром уйду. Итак, с вашего позволения, я продолжаю.

Но разве Тверские-Ямские и мчащиеся с девочками на лихачах франты в заломленных фуражках и брюках со штрипками были только в одной Москве, только в России? Улица, вечерняя улица, вечерняя улица века, рысаки, саврасы, были повсюду. Что объединило эпоху, что сложило девятнадцатое столетие в один исторический раздел? Нарождение социалистической мысли.

Происходили революции, самоотверженные молодые люди всходили на баррикады. Публицисты ломали голову, как обуздать животную беззастенчивость денег и поднять и отстоять человеческое достоинство бедняка. Явился марксизм. Он усмотрел, в чем корень зла, где средство исцеления. Он стал могучей силой века. Все это были Тверские-Ямские века, и грязь, и сияние святости, и разврат, и рабочие кварталы, прокламации и баррикады.

Ах, как хороша она была девочкой, гимназисткой! Вы понятия не

имеете. Она часто бывала у своей школьной подруги в доме, заселенном служащими Брестской железной дороги. Так называлась эта дорога вначале, до нескольких последующих переименований.

Мой отец, нынешний член Юрятинского трибунала, служил тогда дорожным мастером на вокзальном участке. Я заходил в тот дом и там её встречал. Она была девочкой, ребенком, а настороженную мысль, тревогу века уже можно было прочесть на её лице, в её глазах. Все темы времени, все его слезы и обиды, все его побуждения, вся его накопленная месть и гордость были написаны на её лице и в её осанке, в смеси её девической стыдливости и её смелой стройности. Обвинение веку можно было вынести от её имени, её устами. Согласитесь, ведь это не безделица. Это некоторое предназначение, отмеченность. Этим надо было обладать от природы, надо было иметь на это право.

— Вы замечательно о ней говорите. Я её видел в то же время, именно такою, как вы её описали. Воспитанница гимназии соединилась в ней с героинею недетской тайны. Ее тень распластывалась по стене движением настороженной самозащиты.

Такою я её видел. Такою помню. Вы это поразительно выразили.

— Видели и помните? А что вы для этого сделали?

— Это совсем другой вопрос.

— Так вот, видите ли, весь этот девятнадцатый век со всеми его революциями в Париже, несколько поколений русской эмиграции, начиная с Герцена, все задуманные цареубийства, неисполненные и приведенные в исполнение, все рабочее движение мира, весь марксизм в парламентах и университетах Европы, всю новую систему идей, новизну и быстроту умозаключений, насмешливость, всю, во имя жалости выработанную вспомогательную безжалостность, все это впитал в себя и обобщенно выразил собою Ленин, чтобы олицетворенным возмездием за все содеянное обрушиться на старое.

Рядом с ним поднялся неизгладимо огромный образ России, на глазах у всего мира вдруг запылавшей свечой искупления за все бездолье и невзгоды человечества. Но к чему я говорю вам это все? Для вас ведь это кимвал бряцающий, пустые звуки.

Ради этой девочки я пошел в университет, ради нее сделался учителем и поехал служить в этот, тогда еще неведомый мне, Юрятин. Я поглотил кучу книг и приобрел уйму знаний, чтобы быть полезным ей и оказаться под рукой, если бы ей потребовалась моя помощь. Я пошел на войну, чтобы после трех лет брака снова завоевать ее, а потом, после войны и возвращения из плена воспользовался тем, что меня считали убитым, и под

чужим, вымышленным именем весь ушел в революцию, чтобы полностью отплатить за все, что она выстрадала, чтобы отмыть начисто эти печальные воспоминания, чтобы возврата к прошлому больше не было, чтобы Тверских-Ямских больше не существовало. И они, она и дочь были рядом, были тут! Скольких сил стоило мне подавлять желание броситься к ним, их увидеть!

Но я хотел сначала довести дело своей жизни до конца. О что бы я сейчас отдал, чтобы еще хоть раз взглянуть на них. Когда она входила в комнату, точно окно распахивалось, комната наполнялась светом и воздухом.

— Я знаю, как она была дорога вам. Но простите, имеете ли вы представление, как она вас любила?

— Виноват. Что вы сказали?

— Я говорю, представляете ли вы себе, до какой степени вы были ей дороги, дороже всех на свете?

— Откуда вы это взяли?

— Она сама мне это говорила.

— Она? Вам?

— Да.

— Простите. Я понимаю, это просьба неисполнимая, но, если это допустимо в рамках скромности, если это в ваших силах, восстановите, пожалуйста, по возможности точно, что именно она вам говорила.

— Очень охотно. Она назвала вас образцом человека, равного которому она больше не видела, единственным по высоте неподдельности, и сказала, что если бы на конце земли еще раз замаячило видение дома, который она когда-то с вами делила, она ползком, на коленях, протащилась бы к его порогу откуда угодно, хоть с края света.

— Виноват. Если это не посягательство на что-то для вас неприкосновенное, припомните, когда, при каких обстоятельствах она это сказала?

— Она убирала эту комнату. А потом вышла на воздух вытряхнуть ковер.

— Простите, какой? Тут два.

— Тот, который больше.

— Ей одной такой не под силу. Вы ей помогали?

— Да.

— Вы держались за противоположные концы ковра, она откидывалась, высоко взмахивая руками, как на качелях, и отворачивалась от летевшей пыли, жмурилась и хохотала? Не правда ли? Как я знаю её привычки! А

потом вы стали сходиться вместе, складывая тяжелый ковер сначала вдвое, потом вчетверо, и она шутила и выкидывала при этом разные штуки? Не правда ли?

Не правда ли?

Они поднялись со своих мест, отошли к разным окнам, стали смотреть в разные стороны. После некоторого молчания Стрельников подошел к Юрию Андреевичу. Ловя его руки и прижимая их к груди, он продолжал с прежней торопливостью.

— Простите, я понимаю, что затрагиваю нечто дорогое, сокровенное. Но если можно, я еще расспрошу вас. Только не уходите. Не оставляйте меня одного. Я скоро сам уйду.

Подумайте, шесть лет разлуки, шесть лет немыслимой выдержки.

Но мне казалось, — еще не вся свобода завоевана. Вот я её сначала добуду, и тогда я весь принадлежу им, мои руки развязаны. И вот все мои построения пошли прахом. Завтра меня схватят. Вы родной и близкий ей человек. Может быть, вы когда-нибудь её увидите. Но нет, о чем я прошу? Это безумие.

Меня схватят и не дадут оправдываться. Сразу набросятся, окриками и бранью зажимая рот. Мне ли не знать, как это делается?

18

Наконец-то он выспится по-настоящему. В первый раз за долгое время Юрий Андреевич не заметил, как заснул, едва только растянулся на постели. Стрельников остался ночевать у него. Юрий Андреевич уложил его спать в соседней комнате. В те короткие мгновения, когда Юрий Андреевич просыпался, чтобы перевернуться на другой бок, или подтянуть сползшее на пол одеяло, он чувствовал подкрепляющую силу своего здорового сна и с наслаждением засыпал снова. Во второй половине ночи ему стали являться короткие, быстро сменяющиеся сновидения из времен детства, толковые и богатые подробностями, которые легко было принять за правду.

Так например, висевшая во сне на стене мамина акварель итальянского взморья вдруг оборвалась, упала на пол и звоном разбившегося стекла разбудила Юрия Андреевича. Он открыл глаза. Нет, это что-то другое. Это, наверное, Антипов, муж Лары, Павел Павлович, по фамилии Стрельников, опять, как говорит Вакх, в Шутьме волков пужая. Да нет, что за вздор.

Конечно, картина сорвалась со стены. Вот она в осколках на полу, — удостоверил он в вернувшемся и продолжающемся сновидении.

Он проснулся с головною болью оттого, что спал слишком долго. Он не сразу сообразил, кто он и где, на каком он свете. Вдруг он вспомнил: «Да ведь у меня Стрельников ночует. Уже поздно. Надо одеваться. Он, наверное, уже встал, а, если нет, подыму его, кофе заварю, будем кофе пить».

— Павел Павлович!

Никакого ответа. «Спит еще, значит. Крепко спит, однако».

Юрий Андреевич, не торопясь, оделся и зашел в соседнюю комнату. На столе лежала военная папаха Стрельникова, а самого его в доме не было. «Видно, гуляет», — подумал доктор. «И без шапки. Закаляется. А надо бы сегодня крест на Варыкине поставить и в город. Да поздно. Опять проспал. И так каждое утро».

Юрий Андреевич развел огонь в плите, взял ведро и пошел к колодцу за водою. В нескольких шагах от крыльца, вкось поперек дорожки, упав и уткнувшись головой в сугруб, лежал застрелившийся Павел Павлович. Снег под его левым виском сбился красным комком, вымокши в луже натекшей крови. Мелкие, в сторону брызнувшие капли крови скатались со снегом в красные шарики, похожие на ягоды мерзлой рябины.

ЧАСТЬ пятнадцатая.

ОКОНЧАНИЕ

1

Остается досказать немногосложную повесть Юрия Андреевича, восемь или девять последних лет его жизни перед смертью, в течение которых он все больше сдавал и опускался, теряя докторские познания и навыки и утрачивая писательские, на короткое время выходил из состояния угнетения и упадка, воодушевлялся, возвращался к деятельности, и потом, после недолгой вспышки, снова впадал в затяжное безучастие к себе самому и ко всему на свете. В эти годы сильно развилась его давняя болезнь сердца, которую он сам у себя установил уже и раньше, но о степени серьезности которой не имел представления.

Он пришел в Москву в начале нэпа, самого двусмысленного и фальшивого из советских периодов. Он исхудал, оброс и одичал еще более, чем во время своего возвращения в Юрятин из партизанского плена. По дороге он опять постепенно снимал с себя все стоящее и выменивал на хлеб с придачею каких-нибудь рваных обносков, чтобы не остаться голым. Так опять проел он в пути свою вторую шубу и пиджачную пару, и на улицах Москвы появился в серой папахе, обмотках и вытертой солдатской шинели, которая превратилась без пуговиц, споротых до одной, в запашной арестантский халат. В этом наряде он ничем не отличался от бесчисленных красноармейцев, толпами наводнивших площади, бульвары и вокзалы столицы.

Он пришел в Москву не один. За ним всюду по пятам следовал красивый крестьянский юноша, тоже одетый во все солдатское, как он сам. В таком виде они появлялись в тех из уцелевших московских гостиных, где протекло детство Юрия Андреевича, где его помнили и принимали вместе с его спутником, предварительно деликатно осведомившись, побывали ли они после дороги в бане, — сыпной тиф еще свирепствовал, — и где Юрию Андреевичу в первые же дни его появления рассказали об обстоятельствах отъезда его близких из Москвы за границу.

Оба дичились людей, но из обостренной застенчивости избегали случаев являться в гости в единственном числе, когда нельзя молчать и надо самим поддерживать беседу. Обыкновенно они двумя долговязыми фигурами вырастали у знакомых, когда у них собиралось общество,

забивались куда-нибудь в угол понезаметнее и молча проводили вечер, не участвуя в общем разговоре.

В сопровождении своего молодого товарища худой рослый доктор в неказистой одежде походил на искателя правды из простонародья, а его постоянный провожатый на послушного, слепо ему преданного ученика и последователя. Кто же был этот молодой спутник?

2

Последнюю часть пути, ближе к Москве, Юрий Андреевич проехал по железной дороге, а первую, гораздо большую, прошел пешком.

Зрелище деревень, через которые он проходил, было ничем не лучше того, что он видел в Сибири и на Урале во время своего бегства из лесного плена. Только тогда он проходил через край зимою, а теперь в конце лета, теплою, сухою осенью, что было гораздо легче.

Половина пройденных им селений была пуста, как после неприятельского похода, поля покинуты и не убраны, да это в самом деле были последствия войны, войны гражданской.

Два или три дня конца сентября его дорога тянулась вдоль обрывистого высокого берега реки. Река, текшая навстречу Юрию Андреевичу, приходилась ему справа. Слева широко, от самой дороги до загроможденной облаками линии небес раскидывались несжатые поля. Их изредка прерывали лиственные леса, с преобладанием дуба, вяза и клена. Леса глубокими оврагами выбегали к реке, и обрывами и крутыми спусками пересекали дорогу.

В неубранных полях рожь держалась в перезревших колосьях, текла и сыпалась из них. Юрий Андреевич пригоршнями набивал зерном рот, с трудом перемалывал его зубами и питался им в тех особо тяжелых случаях, когда не представлялось возможности сварить из хлебных зерен каши. Желудок плохо переваривал сырой, едва прожеванный корм.

Юрий Андреевич никогда в жизни не видал ржи такой зловеще бурой, коричневой, цвета старого потемневшего золота.

Обыкновенно, когда её снимают в срок, она гораздо светлее.

Эти, цвета пламени без огня горевшие, эти, криком о помощи без звука вопиявшие поля холодным спокойствием окаймляло с края большое, уже к зиме повернувшееся небо, по которому, как тени по лицу, безостановочно плыли длинные слоистые снеговые облака с черною серединой и белыми боками.

И все находилось в движении, медленном, равномерном. Текла река. Ей

навстречу шла дорога. По ней шагал доктор. В одном направлении с ним тянулись облака. Но и поля не оставались в неподвижности. Что-то двигалось по ним, они были охвачены мелким неугомонным копошением, вызывавшим гадливость.

В невиданном, до тех пор небывалом количестве в полях развелись мыши. Они сновали по лицу и рукам доктора и пробегали сквозь его штанины и рукава, когда ночь застигала его в поле и ему приходилось залечь где-нибудь у межи на ночлег. Их несметно расплодившиеся, отъевшиеся стаи шмыгали днем по дороге под ногами и превращались в скользкую, пискляво шевелящуюся слякоть, когда их давили.

Страшные, одичалые, лохматые деревенские дворняги, которые так переглядывались между собою, точно совещались, когда им наброситься на доктора и загрызть его, брели скопом за доктором на почтительном расстоянии. Они питались падалью, но не гнушались и мышатиной, какою кишело поле, и поглядывая издали на доктора, уверенно двигались за ним, все время чего-то ожидая. Странным образом они в лес не заходили, с приближением к нему мало по малу начинали отставать, сворачивали назад и пропадали.

Лес и поле представляли тогда полную противоположность.

Поля без человека сиротели, как бы преданные в его отсутствие проклятию. Избавившиеся от человека леса красовались на свободе, как выпущенные на волю узники.

Обыкновенно люди, главным образом, деревенские ребятишки, не дают дозреть орехам и обламывают их зелеными. Теперь лесные склоны холмов и оврагов сплошь были покрыты нетронутой шершаво золотистой листвой, как бы запылившейся и погрубевшей от осеннего загара. Из нее торчали изрядно оттопыренные, точно узлами или бантами завязанные, втрое и вчетверо сросшиеся орехи, спелые, готовые вывалиться из гранок, но еще державшиеся в них. Юрий Андреевич без конца грыз и щелкал их по дороге. Карманы были у него ими набиты, котомка полна ими.

В течение недели орехи были его главным питанием.

Доктору казалось, что поля он видит тяжко заболев, в жаровом бреду, а лес — в просветленном состоянии выздоровления, что в лесу обитает Бог, а по полю змеится насмешливая улыбка диавола.

3

Как раз в эти дни, на этой части пути доктор зашел в сгоревшую до тла, покинутую жителями деревню. В ней до пожара строились только в один

ряд, через дорогу от реки. Речная сторона оставалась незастроенной.

В деревне уцелело несколько считанных домов, почернелых и опаленных снаружи. Но и они были пусты, необитаемы. Прочие избы превратились в кучи угольев, из которых торчали кверху черные стояки закопченных печных труб.

Обрывы речной стороны изрыты были ямами, из которых извлекали жерновой камень деревенские жители, жившие в прежнее время его добычей. Три таких недоработанных мельничных круга лежали на земле против последней в ряду деревенской избы, одной из уцелевших. Она тоже пустовала, как все остальные.

Юрий Андреевич зашел в нее. Вечер был тихий, но точно ветер ворвался в избу, едва доктор ступил в нее. По полу во все стороны поехали клочки валявшегося сена и пакли, по стенам закачались лоскутья отставшей бумаги. Все в избе задвигалось, зашуршало. По ней с писком разбегались мыши, которыми, как вся местность кругом, она кишела.

Доктор вышел из избы. Сзади за полями садилось солнце.

Закат затоплял теплом золотого зарева противоположный берег, отдельные кусты и заводи которого дотягивались до середины реки блеском своих блекнущих отражений. Юрий Андреевич перешел через дорогу и присел отдохнуть на один из лежащих в траве жерновов.

Снизу из-за обрыва высунулась светлорусая волосатая голова, потом плечи, потом руки. С реки подымался кто-то по тропинке с полным ведром воды. Человек увидал доктора и остановился, выставившись над линией обрыва до пояса.

— Хошь, напою, добрый человек? Ты меня не замай и я тебя не трону.

— Спасибо. Дай, напьюсь. Да выходи весь, не бойся. Зачем мне тебя трогать?

Вылезший из-под обрыва водонос оказался молодым подростком.

Он был бос, оборван и лохмат.

Несмотря на свои дружелюбные слова, он впился в доктора беспокойным пронизывающим взором. По необъяснимой причине мальчик странно волновался. Он в волнении поставил ведро наземь, и вдруг, бросившись к доктору, остановился на полдороге и забормотал:

— Никак… Никак… Да нет, нельзя тому быть, привиделось.

Извиняюсь, однако, товарищ, дозвольте спросить. Мне помстилось, точно вы знакомый человек будете. Ну да! Ну да!

Дяденька доктор?!

— А ты сам кто?

— Не признали?

— Нет.

— Из Москвы в эшелоне с вами ехали, в одном вагоне. На трудовую гнали. Под конвоем.

Это был Вася Брыкин. Он повалился перед доктором, стал целовать его руки и заплакал.

Погорелое место оказалось Васиной родной деревней Веретенниками. Матери его не было в живых. При расправе с деревнею и пожаре, когда Вася скрывался в подземной пещере из-под вынутого камня, а мать полагала, что Васю увезли в город, она помешалась с горя и утопилась в той самой реке Пелге, над берегом которой сейчас доктор и Вася, беседуя, сидели. Сестры Васи Аленка и Аришка по неточным сведениям находились в другом уезде в детдоме. Доктор взял Васю с собою в Москву. Дорогою он насказал Юрию Андреевичу разных ужасов.

4

— Это ведь летошней осени озимые сыплются. Только высеялись, и повалили напасти. Когда тетя Поля уехала. Тетю Палашу помните?

— Нет. Да и не знал никогда. Кто такая?

— Как это не знали? Пелагею Ниловну! С нами ехала.

Тягунова. Лицо открытое, полная, белая.

— Это которая всё косы заплетала и расплетала?

— Косы, косы! Ну да! В самую точку. Косы!

— Ах, вспомнил. Погоди. Да ведь я её потом в Сибири встретил, в городе одном, на улице.

— Статочное ли дело! Тетю Палашу?

— Да что с тобой, Вася? Что ты мне руки трясешь, как бешеный. Смотри, не оторви. И вспыхнул, как красная девица.

— Ну как она там? Скорее сказывайте, скорее.

— Да была жива здорова, когда видел. О вас рассказывала.

Точно стояла она у вас или гостила, помнится. А может забыл, путаю.

— Ну как же, ну как же! У нас, у нас! Мамушка её как родную сестру полюбила. Тихая. Работница. Рукодельница. Пока она у нас жила, дом был полная чаша. Сжили её из Веретенников, не дали покоя наговорами.

Мужик Харлам Гнилой был в деревне. Подбивался к Поле.

Безносый ябедник. А она на него и не глядит. Зуб он на меня за это имел. Худое про нас, про меня и Полю сказывал. Ну, и она уехала. Совсем извел. Тут и пошло.

Убийство тут недалеко приключилось одно страшное. Вдову одинокую

убили на лесном хуторе поближе к Буйскому. Одна около лесу жила. В мужских ботинках с ушками ходила, на резиновой перетяжке. Злющая собака на цепи кругом хутора бегала по проволоке. По кличке Горлан. С хозяйством, с землей сама справлялась без помощников. Ну вот, вдруг зима, когда никто не ждал. Рано выпал снег. Не выкопала вдова картошки. Приходит она в Веретенники, — помогите, говорит, возьму в долю или заплачу.

Вызвался я ей копать картошку. Прихожу к ней на хутор, а у нее уже Харлам. Напросился раньше меня. Не сказала она мне. Ну да не драться же из-за этого. Вместе взялись за работу. В самую непогодь копали. Дождь и снег, жижа, грязь. Копали, копали, картофельную ботву жгли, теплым дымом сушили картовь.

Ну выкопали, рассчиталась она с нами по совести. Харлама отпустила, а мне эдак глазком, еще мол у меня дело до тебя, зайди потом или останься.

На другой раз пришел я к ней. Не хочу, говорит, изъятие излишков отдавать, картошку в государственную разверстку. Ты, говорит, парень хороший, знаю, не выдашь. Видишь, я от тебя не таюсь. Я бы сама вырыла яму, схоронить, да вишь что на дворе делается. Поздно я хватилась, — зима. Одной не управиться.

Выкопай мне яму, не пожалеешь. Осушим, ссыпем.

Выкопал я ей яму, как тайничку полагается, книзу шире, кувшином, узким горлом вверх. Яму тоже дымом сушили, обогревали. В самую самую метель. Спрятали картошку честь честью, землей забросали. Комар носу не подточит. Я, понятно, про яму молчок. Ни одной живой душе. Мамушке даже или там сестренкам. Ни Боже мой!

Ну так. Только проходит месяц, — ограбление на хуторе.

Рассказывают которые мимо шли из Буйского, дом настежь, весь очищенный, вдовы след простыл, собака Горлан цепь оборвала, убежала.

Еще прошло время. В первую зимнюю оттепель, под новый год, под Васильев вечер ливни шли, смыли снег с бугров, до земли протаял. Прибежал Горлан и сём лапами землю разгребать в проталине, где была картошка в ямке. Раскопал, раскидал верх, а из ямы хозяйкины ноги в башмаках с перетяжками. Видишь, какие страсти!

В Веретенниках все вдову жалели, поминали. На Харлама никто не думал. Да как и думать-то? Мысленное ли дело? Кабы это он, откуда бы у него прыть оставаться в Веретенниках, по деревне гоголем ходить? Ему бы от нас кубарем, наутек куда подальше.

Обрадовались злодейству на хуторе деревенские кулаки заводилы.

Давай деревню мутить. Вот, говорят, на что городские изловчаются. Это вам урок, острастка. Не прячь хлеба, картошки не зарывай. А они, дурачье, свое заладили, — лесные разбойники, разбойники им на хуторе привиделись. Простота народ! Вы побольше их, городских слушайтесь. Они вам еще не то покажут, голодом выморят. Желаешь, деревня, добра, за нами иди. Мы научим уму разуму. Придут ваше кровное, потом нажитое отымать, а вы, куда мол, излишки, своей ржи ни зернышка. И в случае чего за вилы. А кто против мира, смотри, берегись.

Разгуделись старики, похвальба, сходки. А Харламу ябеднику только того и надо. Шапку в охапку и в город. И там шу-шу-шу.

Вот что в деревне деется, а вы что сидите смотрите? Надо туда комитет бедноты. Прикажите, я там мигом брата с братом размежую. А сам из наших мест лататы и больше глаз не казал.

Все что дальше случилось, само сделалось. Никто того не подстраивал, никто тому не вина. Наслали красноармейцев из города. И суд выездной. И сразу за меня. Харлам натрезвонил. И за побег, и за уклонение от трудовой, и деревню я к бунту подстрекал, и я вдову убил. И под замок. Спасибо я догадался половицу вынуть, ушел. Под землей в пещере скрывался. Над моей головой деревня горела, — не видал, надо мной мамушка родимая в прорубь бросилась, — не знал. Всё само сделалось.

Красноармейцам отдельную избу отвели, вином поили, перепились вмертвую. Ночью от неосторожного обращения с огнем загорелся дом, от него — соседние. Свои, где занялось, вон попрыгали, а пришлые, никто их не поджигал, те, ясное дело, живьем сгорели до одного. Наших погорелых Веретенниковских никто с пепелищ насиженных не гнал. Сами со страху разбежались, как бы опять чего не вышло. Опять жилы-коноводы наустили, — расстреляют каждого десятого. Уж я никого не застал, всех по миру развеяло, где-нибудь мыкаются.

5

Доктор с Васею пришли в Москву весной двадцать второго года, в начале нэпа. Стояли теплые ясные дни. Солнечные блики, отраженные золотыми куполами храма Спасителя, падали на мощенную четырехугольным тесаным камнем, по щелям поросшую травою, площадь.

Были сняты запреты с частной предприимчивости, в строгих границах разрешена была свободная торговля. Совершались сделки в пределах товарооборота старьевщиков на толкучем рынке.

Карликовые размеры, в которых они производились, развивали

спекуляцию и вели к злоупотреблениям. Мелкая возня дельцов не производила ничего нового, ничего вещественного не прибавляла к городскому запустению. На бесцельной перепродаже десятикратно проданного наживали состояния.

Владельцы нескольких очень скромных домашних библиотек стаскивали книги из своих шкафов куда-нибудь в одно место.

Делали заявку в горсовет о желании открыть кооперативную книжную торговлю. Испрашивали под таковую помещение. Получали в пользование пустовавший с первых месяцев революции обувной склад или оранжерею тогда же закрывшегося цветоводства и под их обширными сводами распродавали свои тощие и случайные книжные собрания.

Дамы профессорши, и раньше в трудное время тайно выпекавшие белые булочки на продажу наперекор запрещению, теперь торговали ими открыто в какой-нибудь простоявшей все эти годы под учетом велосипедной мастерской. Они сменили вехи, приняли революцию и стали говорить «есть такое дело» вместо «да» или «хорошо».

В Москве Юрий Андреевич сказал:

— Надо будет, Вася, чем-нибудь заняться.

— Я так располагаю, учиться.

— Это само собой.

— А еще мечтание. Хочу маманин лик по памяти написать.

— Очень хорошо. Но ведь для этого надо рисовать уметь. Ты когда-нибудь пробовал?

— В Апраксином, когда дядя не видел, углем баловался.

— Ну что же. В добрый час. Попытаемся.

Больших способностей к рисованию у Васи не оказалось, но средних достаточно, чтобы пустить его по прикладной части. По знакомству Юрий Андреевич поместил его на общеобразовательное отделение бывшего Строгановского училища, откуда его перевели на полиграфический факультет. Здесь он обучался литографской технике, типографскому и переплетному мастерству и искусству художественного украшения книги.

Доктор и Вася соединили свои усилия. Доктор писал маленькие книжки в один лист по самым различным вопросам, а Вася их печатал в училище в качестве засчитывавшихся ему экзаменационных работ. Книжки, выпуском в немного экземпляров, распространяли в новооткрытых букинистических магазинах, основанных общими знакомыми.

Книжки содержали философию Юрия Андреевича, изложение его медицинских взглядов, его определения здоровья и нездоровья, мысли о трансформизме и эволюции, о личности, как биологической основе

организма, соображения Юрия Андреевича об истории и религии, близкие дядиным и Симушкиным, очерки Пугачевских мест, где побывал доктор, стихи Юрия Андреевича и рассказы.

Работы изложены были доступно, в разговорной форме, далекой, однако, от целей, которые ставят себе популяризаторы, потому что заключали в себе мнения спорные, произвольные, недостаточно проверенные, но всегда живые и оригинальные.

Книжечки расходились. Любители их ценили.

В то время все стало специальностью, стихотворчество, искусство художественного перевода, обо всем писали теоретические исследования, для всего создавали институты.

Возникли разного рода Дворцы мысли, Академии художественных идей. В половине этих дутых учреждений Юрий Андреевич состоял штатным доктором.

Доктор и Вася долгое время дружили и жили вместе. За этот срок они одну за другой сменили множество комнат и полуразрушенных углов, по-разному нежилых и неудобных.

Тотчас по прибытии в Москву Юрий Андреевич наведался в Сивцев, старый дом, в который, как он узнал, его близкие, проездом через Москву, уже больше не заезжали. Их высылка всё изменила. Закрепленные за доктором и его домашними комнаты были заселены, из вещей его собственных и его семьи ничего не оставалось. От Юрия Андреевича шарахались в сторону, как от опасного знакомца.

Маркел пошел в гору и в Сивцевом больше не обретался. Он перевелся комендантом в Мучной городок, где по условиям службы ему с семьей полагалась квартира управляющего. Однако он предпочел жить в старой дворницкой с земляным полом, проведенною водой и огромной русской печью во всё помещение.

Во всех корпусах городка зимой лопались трубы водопровода и отопления, и только в дворницкой было тепло и вода не замерзала.

В это время в отношениях доктора с Васею произошло охлаждение. Вася необычайно развился. Он стал говорить и думать совсем не так, как говорил и думал босой и волосатый мальчик на реке Пелге в Веретенниках. Очевидность, самодоказательность провозглашенных революцией истин всё более привлекала его. Не вполне понятная, образная речь доктора казалась ему голосом не правоты, осужденной, сознающей свою слабость и потому уклончивой.

Доктор ходил по разным ведомствам. Он хлопотал по двум поводам. О политическом оправдании своей семьи и узаконении их возвращения на

родину, и о заграничном паспорте для себя и разрешении выехать за женою и детьми в Париж.

Вася удивлялся тому, как холодны и вялы эти хлопоты. Юрий Андреевич слишком поспешно и рано устанавливал неудачу приложенных стараний, слишком уверенно и почти с удовлетворением заявлял о тщетности дальнейших попыток.

Вася всё чаще осуждал доктора. Тот не обижался на его справедливые порицания. Но его отношения с Васей портились.

Наконец они раздружились и разъехались. Доктор оставил Васе комнату, которую сообща с ним занимал, а сам переселился в Мучной городок, где всесильный Маркел выгородил ему конец бывшей квартиры Свентицких. Эту крайнюю долю квартиры составляли: старая бездействовавшая ванная Свентицких, однооконная комната рядом с ней и покосившаяся кухня с полуобвалившимся и давшим осадку черным ходом. Юрий Андреевич сюда перебрался, и после переезда забросил медицину, превратился в неряху, перестал встречаться с знакомыми и стал бедствовать.

6

Был серый зимний воскресный день. Дым печей подымался не столбами вверх над крышами, а черными струйками курился из оконных форточек, куда, несмотря на запрещение, продолжали выводить железные трубы времянок. Городской быт все еще не налаживался. Жильцы Мучного городка ходили неумытыми замарашками, страдали фурункулезом, зябли, простужались.

По случаю воскресенья семья Маркела Щапова была вся в сборе.

Щаповы обедали за тем самым столом, на котором, во время оно, при нормированной раздаче хлеба по карточкам, по утрам на рассвете, бывало, мелко нарезали ножницами хлебные купоны квартирантов со всего дома, сортировали, подсчитывали, заворачивали в узелки или бумажки по категориям и относили в булочную, а потом, по возвращении из нее, кромсали, кроили, крошили и развешивали хлеб порционно жильцам городка. Теперь всё это отошло в предание. Продовольственную регистрацию сменили другие виды отчетности. За длинным столом ели с аппетитом, так что за ушами трещало, жевали и чавкали.

Половину дворницкой занимала высившаяся посередине широкая русская печь со свисающим с полатей краем стеганого одеяла.

В передней стене у входа торчал над раковиной край действующего

водопровода. По бокам дворницкой тянулись лавки с подсунутыми под них пожитками в мешках и сундуках. Левую сторону занимал кухонный стол. Над столом висел прибитый к стене посудный поставец.

Печь топилась. В дворницкой было жарко. Перед печью, засучив рукава до локтя, стояла Маркелова жена Агафья Тихоновна и длинным, глубоко достающим ухватом передвигала горшки в печи то теснее в кучу, то свободнее, смотря по надобности. Потное лицо её попеременно озарялось светом дышавшего печного жара и туманилось паром готовившегося варева. Отодвинув горшки в сторону, она вытащила из глубины пирог на железном листе, одним махом перевернула его верхней корочкой вниз и на минуту задвинула назад подрумяниться. В дворницкую вошел Юрий Андреевич с двумя ведрами.

— Хлеб да соль.

— Просим вашей милости. Садись, гостем будешь.

— Спасибо, — обедал.

— Знаем мы твои обеды. Сел бы да покушал горячего. Что брезгуешь. Картовь печеная в махотке. Пирог с кашей. Пашано.

— Нет, правда, спасибо. Извини, Маркел, что часто хожу, квартиру тебе стужу. Хочу сразу воды побольше напасти.

Отчистил до блеска ванну цинковую у Свентицких, всю наполню, и в баки натаскаю. Еще раз пять, а то и десять загляну сейчас, а потом долго не буду надоедать. Извини, пожалуйста, что хожу.

Кроме тебя не к кому.

— Лей вволю, не жалко. Сыропу нет, а воды, сколько хошь.

Бери задаром. Не торгуем.

За столом захохотали.

Когда Юрий Андреевич зашел в третий раз за пятым и шестым ведром, тон уже несколько изменился и разговор пошел по-другому.

— Зятья спрашивают, кто такой. Говорю, — не верят. Да ты набирай воду, не сумлевайся. Только на пол не лей, ворона.

Видишь, порог заплескал. Наледенеет, не ты ломом скалывать придешь. Да плотней дверь затворяй, раззява, — со двора тянет. Да, сказываю зятьям, кто ты такой есть, не верят.

Сколько на тебя денег извели! Учился, учился, а какой толк?

Когда Юрий Андреевич зашел в пятый или шестой раз, Маркел нахмурился.

— Ну еще раз изволь, а потом баста. Надо, брат, честь знать. Тебе тут Марина заступница, наша меньшая, а то б я не поглядел, какой ты благородный каменщик, и дверь на запор.

Помнишь Марину-то? Вон она, на конце стола, черненькая. Ишь, заалелась. Не забижайте, говорит, его, папаня. А кто тебя трогает. На главном телеграфе телеграфисткою Марина, по иностранному понимает. Он, говорит, несчастный. За тебя хоть в огонь, так тебя жалеет. А нешто я тебе повинен, что ты не выдался. Не надо было в Сибирь драть, дом в опасный час бросать. Сами виноваты. Вон мы всю эту голодуху, всю эту блокату белую высидели, не пошатнулись, и целы. Сам на себя пеняй. Тоньку не сберег, по заграницам бродяжествует. Мне что.

Твое дело. Только не взыщи, спрошу я, куда тебе воды такую прорву? Ты не двор ли нанялся под каток поливать, чтобы обледенел? Эх ты, как и серчать на тебя, курицыно отродье.

Опять за столом захохотали. Марина недовольным взором обвела своих, вспыхнула, что-то стала им выговаривать. Юрий Андреевич услышал её голос, поразился им, но еще не разобрался в его секрете.

— Мытья много в доме, Маркел. Надо убраться. Полы. Хочу кое-что постирать.

За столом стали удивляться.

— И не страм тебе такое говорить, не то что делать, китайская ты прачешная, незнамо что!

— Юрий Андреевич, вы позвольте я к вам дочку пошлю. Она к вам придет, постирает, помоет. Если что надо, худое починит.

Ты их не бойся, доченька. Видишь, другим не в пример, какие они деликатные. Мухи не обидят.

— Нет, что вы, Агафья Тихоновна, не надо. Никогда я не соглашусь, чтобы Марина для меня маралась, пачкалась. Какая она мне чернорабочая? Обойдусь и сам.

— Вам мараться можно, а что же мне? Какой вы несговорчивый, Юрий Андреевич. Зачем отмахиваетесь? А если я к вам в гости напрошусь, неужто выгоните?

Из Марины могла бы выйти певица. У неё был певучий чистый голос большой высоты и силы. Марина говорила негромко, но голосом, который был сильнее разговорных надобностей и не сливался с Мариною, а мыслился отдельно от нее. Казалось, он доносился из другой комнаты и находился за её спиною. Этот голос был её защитой, её ангелом хранителем. Женщину с таким голосом не хотелось оскорбить или опечалить.

С этого воскресного водоношения и завязалась дружба доктора с Мариною. Она часто заходила к нему помочь по хозяйству.

Однажды она осталась у него и не вернулась больше в дворницкую. Так

она стала третьей не зарегистрированной в загсе женою Юрия Андреевича, при неразведенной первой. У них пошли дети. Отец и мать Щаповы не без гордости стали звать дочку докторшей. Маркел ворчал, что Юрий Андреевич не венчан с Мариною и что они не расписываются. — Да что ты, очумел? — возражала ему жена. — Это что же при живой Антонине получится? Двоебрачие? — Сама ты дура, — отвечал Маркел. — Что на Тоньку смотреть. Тоньки ровно как бы нету. За нее никакой закон не заступится.

Юрий Андреевич иногда в шутку говорил, что их сближение было романом в двадцати ведрах, как бывают романы в двадцати главах или двадцати письмах.

Марина прощала доктору его странные, к этому времени образовавшиеся причуды, капризы опустившегося и сознающего свое падение человека, грязь и беспорядок, которые он заводил.

Она терпела его брюзжание, резкости, раздражительность.

Ее самопожертвование шло еще дальше. Когда по его вине они впадали в добровольную, им самим созданную нищету, Марина, чтобы не оставлять его в эти промежутки одного, бросала службу, на которой её так ценили, и куда снова охотно принимали после этих вынужденных перерывов. Подчиняясь фантазии Юрия Андреевича, она отправлялась с ним по дворам на заработки. Оба сдельно пилили дрова проживающим в разных этажах квартирантам. Некоторые, в особенности разбогатевшие в начале нэпа спекулянты и стоявшие близко к правительству люди науки и искусства, стали обстраиваться и обзаводиться обстановкой. Однажды Марина с Юрием Андреевичем, осторожно ступая по коврам валенками, чтобы не натащить с улицы опилок, нанашивала запас дров в кабинет квартирохозяину, оскорбительно погруженному в какое-то чтение и не удостаивавшему пильщика и пильщицу даже взглядом. С ними договаривалась, распоряжалась и расплачивалась хозяйка.

«К чему эта свинья так прикована?» — полюбопытствовал доктор. — «Что размечает он карандашом так яростно?» — Обходя с дровами письменный стол, он заглянул вниз из-за плеча читающего. На столе лежали книжечки Юрия Андреевича в Васином раннем Вхутемасовском издании.

7

Марина с доктором жила на Спиридоновке, Гордон снимал комнату рядом, на Малой Бронной. У Марины и доктора было две девочки, Капка и Клашка. Капитолине, Капельке, шел седьмой годок, недавно родившейся Клавдии было шесть месяцев.

Начало лета в тысяча девятьсот двадцать девятом году было жаркое. Знакомые без шляп и пиджаков перебегали через две-три улицы друг к другу в гости.

Комната Гордона была странного устройства. На её месте была когда-то мастерская модного портного, с двумя отделениями, нижним и верхним. Оба яруса охватывала с улицы одна цельная зеркальная витрина. По стеклу витрины золотой прописью были изображены фамилия портного и род его занятий. Внутри за витриною шла винтовая лестница из нижнего в верхнее отделение.

Теперь из помещения было выкроено три.

Путем добавочных настилов в мастерской были выгаданы междуярусные антресоли, со странным для жилой комнаты окном.

Оно было в метр вышиной и приходилось на уровне пола. Окно покрывали остатки золотых букв. В пробелы между ними виднелись до колен ноги находящихся в комнате. В комнате жил Гордон. У него сидели Живаго, Дудоров и Марина с детьми. В отличие от взрослых, дети целиком во весь рост умещались в раме окна.

Скоро Марина с девочками ушла. Трое мужчин остались одни.

Между ними шла беседа, одна из тех летних ленивых, неторопливых бесед, какие заводятся между школьными товарищами, годам дружбы которых потерян счет. Как они обыкновенно ведутся?

У кого-нибудь есть достаточный запас слов, его удовлетворяющий. Такой человек говорит и думает естественно и связно. В этом положении был только Юрий Андреевич.

Его друзьям не хватало нужных выражений. Они не владели даром речи. В восполнение бедного словаря они, разговаривая, расхаживали по комнате, затягивались папиросою, размахивали руками, по несколько раз повторяли одно и то же («Это, брат, нечестно; вот именно, нечестно; да, да, нечестно»).

Они не сознавали, что этот излишний драматизм их обращения совсем не означает горячности и широты характера, но, наоборот, выражает несовершенство, пробел.

Гордон и Дудоров принадлежали к хорошему профессорскому кругу. Они проводили жизнь среди хороших книг, хороших мыслителей, хороших композиторов, хорошей, всегда, вчера и сегодня хорошей, и только хорошей музыки, и они не знали, что бедствие среднего вкуса хуже бедствия безвкусицы.

Гордон и Дудоров не знали, что даже упреки, которыми они осыпали Живаго, внушались им не чувством преданности другу и желанием повлиять на него, а только неумением свободно думать и управлять по своей воле разговором. Разогнавшаяся телега беседы несла их куда они совсем не желали. Они не могли повернуть её и в конце концов должны были налететь на что-нибудь и обо что-нибудь удариться. И они со всего разгону расшибались проповедями и наставлениями об Юрия Андреевича.

Ему насквозь были ясны пружины их пафоса, шаткость их участия, механизм их рассуждений. Однако не мог же он сказать им: «Дорогие друзья, о как безнадежно ординарны вы и круг, который вы представляете, и блеск и искусство ваших любимых имен и авторитетов. Единственно живое и яркое в вас, это то, что вы жили в одно время со мной и меня знали». Но что было бы, если бы друзьям можно было делать подобные признания! И чтобы не огорчать их, Юрий Андреевич покорно их выслушивал.

Дудоров недавно отбыл срок первой своей ссылки и из нее вернулся. Его восстановили в правах, в которых он временно был поражен. Он получил разрешение возобновить свои чтения и занятия в университете.

Теперь он посвящал друзей в свои ощущения и состояния души в ссылке. Он говорил с ними искренне и нелицемерно. Замечания его не были вызваны трусостью или посторонними соображениями.

Он говорил, что доводы обвинения, обращение с ним в тюрьме и по выходе из нее, и в особенности собеседования с глазу на глаз со следователем проветрили ему мозги, и политически его перевоспитали, что у него открылись на многое глаза, что как человек он вырос.

Рассуждения Дудорова были близки душе Гордона именно своей избитостью. Он сочувственно кивал головой Иннокентию и с ним соглашался. Как раз стереотипность того, что говорил и чувствовал Дудоров, особенно трогала Гордона. Подражательность прописных чувств он принимал за их общечеловечность.

Добродетельные речи Иннокентия были в духе времени. Но именно закономерность, прозрачность их ханжества взрывала Юрия Андреевича. Несвободный человек всегда идеализирует свою неволю. Так было в средние века, на этом всегда играли иезуиты. Юрий Андреевич не выносил

политического мистицизма советской интеллигенции, того, что было её высшим достижением или, как тогда бы сказали, — духовным потолком эпохи. Юрий Андреевич скрывал от друзей и это впечатление, чтобы не ссориться.

Но его заинтересовало совсем другое, рассказ Дудорова о Вонифатии Орлецове, товарище Иннокентия по камере, священнике тихоновце. У арестованного была шестилетняя дочка Христина.

Арест и дальнейшая судьба любимого отца были для нее ударом.

Слова «служитель культа», «лишенец» и тому подобные казались ей пятном бесчестия. Это пятно она, может быть, поклялась смыть когда-нибудь с доброго родительского имени в своем горячем детском сердце. Так далеко и рано поставленная себе цель, пламеневшая в ней неугасимым решением, делала её уже и сейчас по-детски увлеченной последовательницей всего, что ей казалось наиболее неопровержимым в коммунизме.

— Я уйду, — говорил Юрий Андреевич. — Не сердись на меня, Миша. В комнате душно, на улице жарко. Мне не хватает воздуха.

— Ты видишь, форточка на полу открыта. Прости, мы накурили. Мы вечно забываем, что не надо курить в твоем присутствии. Чем я виноват, что тут такое глупое устройство.

Найди мне другую комнату.

— Вот я и уйду, Гордоша. Мы достаточно поговорили.

Благодарю вас за заботу обо мне, дорогие товарищи. Это ведь не блажь с моей стороны. Это болезнь, склероз сердечных сосудов.

Стенки сердечной мышцы изнашиваются, истончаются и в один прекрасный день могут прорваться, лопнуть. А ведь мне нет сорока еще. Я не пропойца, не прожигатель жизни.

— Рано ты себе поешь отходную. Глупости. Поживешь еще.

— В наше время очень участились микроскопические формы сердечных кровоизлияний. Они не все смертельны. В некоторых случаях люди выживают. Это болезнь новейшего времени. Я думаю, её причины нравственного порядка. От огромного большинства из нас требуют постоянного, в систему возведенного криводушия.

Нельзя без последствий для здоровья изо дня в день проявлять себя противно тому, что чувствуешь; распинаться перед тем, чего не любишь, радоваться тому, что приносит тебе несчастие.

Наша нервная система не пустой звук, не выдумка. Она — состоящее из волокон физическое тело. Наша душа занимает место в пространстве и помещается в нас, как зубы во рту. Ее нельзя без конца насиловать

безнаказанно. Мне тяжело было слышать твой рассказ о ссылке, Иннокентий, о том, как ты вырос в ней и как она тебя перевоспитала. Это как если бы лошадь рассказывала, как она сама объезжала себя в манеже.

— Я вступлюсь за Дудорова. Просто ты отвык от человеческих слов. Они перестали доходить до тебя.

— Легко может статься, Миша. Во всяком случае, извините, отпустите меня. Мне трудно дышать. Ей-богу, я не преувеличиваю.

— Погоди. Это одни увертки. Мы тебя не отпустим, пока ты не дашь нам прямого, чистосердечного ответа. Согласен ли ты, что тебе надо перемениться, исправиться? Что ты собираешься сделать в этом отношении? Ты должен привести в ясность твои дела с Тонею, с Мариной. Это живые существа, женщины, способные страдать и чувствовать, а не бесплотные идеи, носящиеся в твоей голове в произвольных сочетаниях. Кроме того, стыдно, чтобы без пользы пропадал человек, как ты. Тебе надо пробудиться от сна и лени, воспрянуть, разобраться без неоправданного высокомерия, да, да, без этой непозволительной надменности, в окружающем, поступить на службу, заняться практикой.

— Хорошо, я отвечу вам. Я сам часто думаю в этом духе в последнее время, и потому без краски стыда могу обещать вам кое-что. Мне кажется, все уладится. И довольно скоро. Вы увидите. Нет, ей-богу. Всё идет к лучшему. Мне невероятно, до страсти хочется жить, а жить ведь значит всегда порываться вперед, к высшему, к совершенству и достигать его.

Я рад, Гордон, что ты защищаешь Марину, как прежде был всегда Тониным защитником. Но ведь у меня нет с ними разлада, я не веду войны ни с ними, ни с кем бы то ни было. Ты меня упрекал вначале, что она говорит мне вы в ответ на мое ты, и величает меня по имени-отчеству, точно и меня это не угнетало.

Но ведь давно более глубокая нескладица, лежавшая в основе этой неестественности, устранена, всё сглажено, равенство установлено.

Могу сообщить вам другую приятную новость. Мне опять стали писать из Парижа. Дети выросли, чувствуют себя совсем свободно среди французских сверстников. Шура кончает тамошнюю начальную школу, ecole primaire, Маня в нее поступает. Ведь я совсем не знаю своей дочери. Мне почему-то верится, что несмотря на переход во французское подданство, они скоро вернутся, и каким-то неведомым образом все уладится.

По многим признакам тесть и Тоня знают о Марине и девочках.

Сам я не писал им об этом. Эти обстоятельства дошли до них, наверно, стороною. Александр Александрович, естественно, оскорблен и своих

отеческих чувствах, ему больно за Тоню. Этим объясняется почти пятилетний перерыв в нашей переписке. По возвращении в Москву я ведь некоторое время переписывался с ними. И вдруг мне перестали отвечать. Всё прекратилось.

Теперь, совсем недавно, я стал опять получать письма оттуда. Ото всех них, даже от детей. Теплые, ласковые. Что-то смягчилось. Может быть, у Тони какие-нибудь перемены, новый друг какой-нибудь, дай ей бог. Не знаю. Я тоже иногда им пишу.

Но я, правда, больше не могу. Я пойду, а то это кончится припадком удушья. До свиданья.

На другой день утром к Гордону ни жива ни мертва прибежала Марина. Ей не на кого было оставить девочек дома, и младшую, Клашу, туго замотанную в одеяло, она несла, прижимая одной рукою к груди, а другою тянула за руку отставшую и упиравшуюся Капу.

— Юра у вас, Миша? — не своим голосом спросила она.

— Разве он не ночевал дома?

— Нет.

— Ну тогда он у Иннокентия.

— Я была там. Иннокентий на занятиях в университете. Но соседи знают Юру. Он там не появлялся.

— Тогда где же он?

Марина положила запеленутую Клашу на диван. С ней сделалась истерика.

8

Два дня Гордон и Дудоров не отходили от Марины. Они, сменяясь, дежурили при ней, боясь оставить её одну. В промежутке они отправлялись на розыски доктора. Они обегали все места, куда предположительно он мог забрести, побывали в Мучном городке и Сивцевском доме, наведались во все Дворцы Мысли и Дома Идей, где он когда-либо служил, обошли всех старинных его знакомых, о которых они имели хотя бы малейшее понятие и адреса которых можно было найти. Розыски ничего им не дали.

В милицию не заявляли, чтобы не напоминать властям о человеке, хотя и прописанном и не судившемся, но в современном понимании далеко не образцовом. Наводить милицию на его след решили лишь в крайнем случае.

На третий день Марина, Гордон и Дудоров в разные часы получили по

письму от Юрия Андреевича. Они были полны сожалений по поводу доставленных им тревог и страхов. Он умолял простить его и успокоиться, и всем, что есть святого, заклинал их прекратить его розыски, которые всё равно ни к чему не приведут.

Он сообщал им, что в целях скорейшей и полной переделки своей судьбы хочет побыть некоторое время в одиночестве, чтобы в сосредоточенности заняться делами, когда же хоть сколько-нибудь укрепится на новом поприще и убедится, что после совершившегося перелома возврата к старому не будет, выйдет из своего тайного убежища и вернется к Марине и детям.

Гордона он предуведомлял в письме, что переводит на его имя деньги для Марины. Он просил нанять к детям няню, чтобы освободить Марину и дать ей возможность вернуться на службу.

Он объяснял, что остерегается направлять деньги непосредственно по её адресу из боязни, как бы выставленная в извещении сумма не подвергла её опасности ограбления.

Скоро пришли деньги, превышавшие и докторов масштаб и мерила его приятелей. Детям наняли няню. Марину опять приняли на телеграф. Она долго не могла успокоиться, но привыкнув к прошлым странностям Юрия Андреевича, примирилась в конце концов и с этою выходкой. Несмотря на просьбы и предупреждения Юрия Андреевича, приятели и эта близкая ему женщина продолжали его разыскивать, убеждаясь в правильности его предсказания.

Они его не находили.

9

А между тем он жил в нескольких шагах от них, совсем у них под носом и на виду, в теснейшем кругу их поисков.

Когда в день своего исчезновения он засветло, до наступления сумерек вышел от Гордона на Бронную, направляясь к себе домой на Спиридоновку, он тут же, не пройдя и ста шагов по улице, наткнулся на шедшего во встречном направлении сводного брата Евграфа Живаго. Юрий Андреевич не видел его больше трех лет и ничего не знал о нем. Оказалось, Евграф случайно в Москве, куда приехал совсем недавно. По обыкновению он свалился как с неба, и был недоступен расспросам, от которых отделывался молчаливыми улыбочками и шутками. Зато с места в карьер, минуя мелкие бытовые частности, он по двум-трем заданным Юрию Андреевичу вопросам проник во все его печали и неурядицы и тут

же, на узких поворотах кривого переулка, в толкотне обгоняющих их и идущих навстречу пешеходов составил практический план, как помочь брату и спасти его. Пропажа Юрия Андреевича и пребывание в скрытности были мыслью Евграфа, его изобретением.

Он снял Юрию Андреевичу комнату в переулке, тогда еще носившем название Камергерского, рядом с Художественным театром. Он снабдил его деньгами, начал хлопотать о приеме доктора на хорошую службу, открывающую простор научной деятельности, куда-нибудь в больницу. Он всячески покровительствовал брату во всех житейских отношениях.

Наконец, он дал брату слово, что с неустойчивым положением его семьи в Париже так или иначе будет покончено. Либо Юрий Андреевич поедет к ним, либо они сами к нему приедут. За все эти дела Евграф обещал взяться сам и всё устроить. Поддержка брата окрыляла Юрия Андреевича. Как всегда бывало и раньше, загадка его могущества оставалась неразъясненною. Юрий Андреевич и не пробовал проникнуть в эту тайну.

10

Комната обращена была на юг. Она двумя окнами выходила на противоположные театру крыши, за которыми сзади, высоко над Охотным, стояло летнее солнце, погружая в тень мостовую переулка.

Комната была более чем рабочею для Юрия Андреевича, более чем его кабинетом. В этот период пожирающей деятельности, когда его планы и замыслы не умещались в записях, наваленных на столе, и образы задуманного и привидевшегося оставались в воздухе по углам, как загромождают мастерскую художника начатые во множестве и лицом к стене повернутые работы, жилая комната доктора была пиршественным залом духа, чуланом безумств, кладовой откровений.

По счастью переговоры с больничным начальством затягивались, срок поступления на службу отодвигался в неопределенное будущее. Можно было писать, воспользовавшись подвернувшеюся отсрочкой.

Юрий Андреевич стал приводить в порядок то из сочиненного, обрывки чего он помнил и что откуда-то добывал и тащил ему Евграф, частью в собственных рукописях Юрия Андреевича, частью в чьих-то чужих перепечатках. Хаотичность материала заставляла Юрия Андреевича разбрасываться еще больше, чем к этому предрасполагала его собственная природа. Он скоро забросил эту работу и от восстановления неоконченного перешел к сочинению нового, увлеченный свежими набросками.

Он составлял начерно очерки статей, вроде беглых записей времен первой побывки в Варыкине, и записывал отдельные куски напрашивавшихся стихотворений, начала, концы и середки, вперемежку без разбора. Иногда он еле справлялся с набегавшими мыслями, начальные буквы слов и сокращения его стремительной скорописи за ними не поспевали.

Он торопился. Когда воображение уставало и работа задерживалась, он подгонял и подхлестывал их рисунками на полях. На них изображались лесные просеки и городские перекрестки со стоящим посередине рекламным столбом «Моро и Ветчинкин. Сеялки. Молотилки».

Статьи и стихотворения были на одну тему. Их предметом был город.

11

Впоследствии среди его бумаг нашлась запись:

«В двадцать втором году, когда я вернулся в Москву, я нашел её опустевшею, полуразрушенной. Такою она вышла из испытаний первых лет революции, такою осталась и по сей день. Население в ней поредело, новых домов не строят, старых не подновляют.

Но и в таком виде она остается большим современным городом, единственным вдохновителем воистину современного нового искусства.

Беспорядочное перечисление вещей и понятий с виду несовместимых и поставленных рядом как бы произвольно, у символистов, Блока, Верхарна и Уитмана, совсем не стилистическая прихоть. Это новый строй впечатлений, подмеченный в жизни и списанный с натуры.

Так же, как прогоняют они ряды образов по своим строчкам, плывет сама и гонит мимо нас свои толпы, кареты и экипажи деловая городская улица конца девятнадцатого века, а потом, в начале последующего столетия, вагоны своих городских, электрических и подземных железных дорог.

Пастушеской простоте неоткуда взяться в этих условиях. Ее ложная безыскусственность — литературная подделка, неестественное манерничание, явление книжного порядка, занесенное не из деревни, а с библиотечных полок академических книгохранилищ. Живой, живо сложившийся и естественно отвечающий духу нынешнего дня язык — язык урбанизма.

Я живу на людном городском перекрестке. Летняя, ослепляемая солнцем Москва, накаляясь асфальтами дворов, разбрасывая зайчики оконницами верхних помещений и дыша цветением туч и бульваров,

вертится вокруг меня и кружит мне голову и хочет, чтобы я во славу ей кружил голову другим. Для этой цели она воспитала меня и отдала мне в руки искусство.

Постоянно, день и ночь шумящая за стеною улица так же тесно связана с современною душою, как начавшаяся увертюра с полным темноты и тайны, еще спущенным, но уже заалевшимся огнями рампы театральным занавесом. Беспрестанно и без умолку шевелящийся и рокочущий за дверьми и окнами город есть необозримо огромное вступление к жизни каждого из нас. Как раз в таких чертах хотел бы я написать о городе».

В сохранившейся стихотворной тетради Живаго не встретилось таких стихотворений. Может быть стихотворение «Гамлет» относилось к этому разряду?

12

Однажды утром в конце августа Юрий Андреевич с остановки на углу Газетного сел в вагон трамвая, шедший вверх по Никитской, от университета к Кудринской. Он в первый раз направился на службу в Боткинскую больницу, называвшуюся тогда Солдатенковской. Это было чуть ли не первое с его стороны должностное её посещение.

Юрию Андреевичу не повезло. Он попал в неисправный вагон, на который все время сыпались несчастия. То застрявшая колесами в желобах рельсов телега задерживала его, преграждая ему дорогу. То под полом вагона или на крыше портилась изоляция, происходило короткое замыкание и с треском что-то перегорало.

Вагоновожатый часто с гаечными ключами в руках выходил с передней площадки остановившегося вагона и, обойдя его кругом, углублялся, опустившись на корточки, в починку машинных его частей между колесами и задней площадкой.

Злополучный вагон преграждал движение по всей линии. Улицу запружали уже остановленные им трамваи и новые, прибывающие и постепенно накапливающиеся. Их хвост достигал уже Манежа и растягивался дальше. Пассажиры из задних вагонов переходили в передний, по неисправности которого всё это происходило, думая этим переходом что-то выгадать. В это жаркое утро в набитом битком трамвае было тесно и душно. Над толпой перебегающих по мостовой пассажиров от Никитских ворот ползла, всё выше к небу подымавшаяся, черно-лиловая туча. Надвигалась гроза.

Юрий Андреевич сидел на левой одиночной лавочке вагона,

совершенно притиснутый к окну. Левый тротуар Никитской, на котором находится Консерватория, был всё время на виду у него.

Волей-неволей, с притупленным вниманием думающего о другом человека, он глазел на идущих и едущих по этой стороне и никого не пропускал.

Старая седая дама в шляпе из светлой соломки с полотняными ромашками и васильками, и сиреневом, туго стягивавшем ее, старомодном платье, отдуваясь и обмахиваясь плоским свертком, который она несла в руке, плелась по этой стороне. Она затянута была в корсет, изнемогала от жары и, обливаясь потом, утирала кружевным платочком мокрые брови и губы.

Ее путь лежал параллельно маршруту трамвая. Юрий Андреевич уже несколько раз терял её из виду, когда починенный трамвай трогался с места и обгонял ее. И она несколько раз возвращалась в поле его зрения, когда новая поломка останавливала трамвай и дама нагоняла его.

Юрию Андреевичу вспомнились школьные задачи на исчисление срока и порядка пущенных в разные часы и идущих с разною скоростью поездов, и он хотел припомнить общий способ их решения, но у него ничего не вышло, и не доведя их до конца, он перескочил с этих воспоминаний на другие, еще более сложные размышления.

Он подумал о нескольких, развивающихся рядом существованиях, движущихся с разною скоростью одно возле другого, и о том, когда чья-нибудь судьба обгоняет в жизни судьбу другого, и кто кого переживает. Нечто вроде принципа относительности на житейском ристалище представилось ему, но окончательно запутавшись, он бросил и эти сближения.

Сверкнула молния, раскатился гром. Несчастный трамвай в который уже раз застрял на спуске от Кудринской к Зоологическому. Дама в лиловом появилась немного спустя в раме окна, миновала трамвай, стала удаляться. Первые крупные капли дождя упали на тротуар и мостовую, на даму. Порыв пыльного ветра проволокся по деревьям, задевая листьями за листья, стал срывать с дамы шляпу и подворачивать ей юбки, и вдруг улегся.

Доктор почувствовал приступ обессиливающей дурноты.

Преодолевая слабость, он поднялся со скамьи и рывками вверх и вниз за ремни оконницы стал пробовать открыть окно вагона. Оно не поддавалось его усилиям.

Доктору кричали, что рама привинчена к косякам наглухо, но, борясь с припадком и охваченный какою-то тревогою, он не относил этих криков к

себе и не вникал в них. Он продолжал попытки и снова тремя движениями вверх, вниз и на себя рванул раму и вдруг ощутил небывалую, непоправимую боль внутри, и понял, что сорвал что-то в себе, что он наделал что-то роковое и что всё пропало. В это время вагон пришел в движение, но проехав совсем немного по Пресне, остановился.

Нечеловеческим усилием воли, шатаясь и едва пробиваясь сквозь сгрудившийся затор стоящих в проходе между скамейками, Юрий Андреевич достиг задней площадки. Его не пропускали, на него огрызались. Ему показалось, что приток воздуха освежил его, что, может быть, еще не всё потеряно, что ему стало лучше.

Он стал протискиваться через толпу на задней площадке, вызывая новую ругань, пинки и озлобление. Не обращая внимания на окрики, он прорвался сквозь толчею, ступил со ступеньки стоящего трамвая на мостовую, сделал шаг, другой, третий, рухнул на камни и больше не вставал.

Поднялся шум, говор, споры, советы. Несколько человек сошло вниз с площадки и обступило упавшего. Скоро установили, что он больше не дышит и сердце у него не работает. К кучке вокруг тела подходили с тротуаров, одни успокаиваемые, другие разочаровываемые тем, что это не задавленный и что его смерть не имеет никакого отношения к вагону. Толпа росла. Подошла к группе и дама в лиловом, постояла, посмотрела на мертвого, послушала разговоры и пошла дальше. Она была иностранка, но поняла, что одни советуют внести тело в трамвай и везти дальше в больницу, а другие говорят, что надо кликнуть милицию. Она пошла дальше, не дожидаясь, к какому придут решению.

Дама в лиловом была швейцарская подданная мадемуазель Флери из Мелюзеева, старая-престарая. Она в течение двенадцати лет хлопотала письменно о праве выезда к себе на родину. Совсем недавно ходатайство её увенчалось успехом. Она приехала в Москву за выездною визою. В этот день она шла за её получением к себе в посольство, обмахиваясь завернутыми и перевязанными ленточкой документами. И она пошла вперед, в десятый раз обогнав трамвай и, ничуть того не ведая, обогнала Живаго и пережила его.

13

Из коридора в дверь был виден угол комнаты с поставленным в него наискось столом. Со стола в дверь грубо выдолбленным челном смотрел нижний суживающийся конец гроба, в который упирались ноги покойника.

Это был тот же стол, на котором прежде писал Юрий Андреевич. Другого в комнате не было.

Рукописи убрали в ящик, а стол поставили под гроб. Подушки изголовья были взбиты высоко, тело в гробу лежало как на поднятом кверху возвышении, горою.

Его окружали цветы во множестве, целые кусты редкой в то время белой сирени, цикламены, цинерарии в горшках и корзинах.

Цветы загораживали свет из окон. Свет скупо просачивался сквозь наставленные цветы на восковое лицо и руки покойника, на дерево и обивку гроба. На столе лежал красивый узор теней, как бы только что переставших качаться.

Обычай сжигать умерших в крематории к тому времени широко распространился. В надежде на получение пенсии для детей, в заботе об их школьном будущем и из нежелания вредить положению Марины на службе отказались от церковного отпевания и решили ограничиться гражданскою кремацией. В соответствующие организации было заявлено. Ждали представителей.

В их ожидании в комнате было пусто, как в освобожденном помещении между выездом старых и водворением новых жильцов.

Эту тишину нарушали только чинные шаги на цыпочках и неосторожное шарканье прощающихся. Их было немного, но все же гораздо больше, чем можно было предположить. Весть о смерти человека почти без имени с чудесной скоростью облетела весь их круг. Набралось порядочное число людей, знавших умершего в разную пору его жизни и в разное время им растерянных и забытых. У его научной мысли и музы нашлось еще большее количество неизвестных друзей, никогда не видавших человека, к которому их тянуло, и пришедших впервые посмотреть на него и бросить на него последний прощальный взгляд.

В эти часы, когда общее молчание, не заполненное никакою церемонией, давило почти ощутимым лишением, одни цветы были заменой недостающего пения и отсутствующего обряда.

Они не просто цвели и благоухали, но как бы хором, может быть, ускоряя этим тление, источали свой запах, и, оделяя всех своей душистою силой, как бы что-то совершали.

Царство растений так легко себе представить ближайшим соседом царства смерти. Здесь, в зелени земли, между деревьями кладбищ, среди вышедших из гряд цветочных всходов сосредоточены, может быть, тайны превращения и загадки жизни, над которыми мы бьемся. Вышедшего из гроба Иисуса Мария не узнала в первую минуту и приняла за идущего по

погосту садовника. (Она же, мнящи, яко вертоградарь есть…)

14

Когда покойника привезли по месту последнего жительства в Камергерский, и извещенные и потрясенные известием о его смерти друзья вбежали с парадного в настежь раскрытую квартиру с ополоумевшей от страшной новости Мариной, она долгое время была сама не своя, валялась на полу, колотясь головой о край длинного ларя с сиденьем и спинкою, который стоял в передней и на который положили умершего, до прибытия заказанного гроба и пока приводили в порядок неубранную комнату. Она заливалась слезами и шептала и вскрикивала, захлебываясь словами, половина которых ревом голошения вырывалась у нее помимо её воли. Она заговаривалась, как причитают в народе, никого не стесняясь и не замечая. Марина уцепилась за тело и её нельзя было оторвать от него, чтобы перенести покойника в комнату, прибранную и освобожденную от лишней мебели, и обмыть его и положить в доставленный гроб. Всё это было вчера. Сегодня неистовство её страдания улеглось, уступив место тупой пришибленности, но она по-прежнему была невменяема, ничего не говорила и себя не помнила.

Здесь просидела она остаток вчерашнего дня и ночь, никуда не отлучаясь. Сюда приносили ей покормить Клаву и приводили Капу с малолетней нянею, и уносили и уводили.

Ее окружали свои люди, одинаково с нею горевавшие Дудоров и Гордон. На эту скамью к ней присаживался отец, тихо всхлипывавший и оглушительно сморкавшийся Маркел. Сюда подходили к ней плакавшие мать и сестры.

И было два человека в людском наплыве, мужчина и женщина, из всех выделявшиеся. Они не напрашивались на большую близость к умершему, чем перечисленные. Они не тягались горем с Мариною, её дочерьми и приятелями покойного, и оказывали им предпочтение. У этих двух не было никаких притязаний, но какие-то свои, совсем особые права на скончавшегося. Этих непонятных и негласных полномочий, которыми оба каким-то образом были облечены, никто не касался, никто не оспаривал.

Именно эти люди взяли на себя, по-видимому, заботу о похоронах и их устройстве с самого начала, и ими распоряжались с таким ровным спокойствием, точно это приносило им удовлетворение.

Эта высота их духа бросалась всем в глаза и производила странное впечатление. Казалось, что эти люди причастны не только похоронам, но и этой смерти, не как её виновники или косвенные причины, но как лица,

после свершившегося давшие согласие на это событие, с ним примирившиеся, и не в нем видящие главную важность. Немногие знали этих людей, другие догадывались, кто они, третьи, и таких было большинство, не имели о них представления.

Но когда этот человек с пытливыми и возбуждающими любопытство узкими киргизскими глазами, и эта без старания красивая женщина входили в комнату, где находился гроб, все, кто сидел, стоял или двигался в ней, не исключая Марины, без возражения, как по уговору, очищали помещение, сторонились, поднимались с расставленных вдоль стен стульев и табуретов и, теснясь, выходили в коридор и переднюю, а мужчина и женщина оставались одни за притворенными дверьми, как двое сведущих, призванных в тишине, без помех и ничем не обеспокоенно совершить нечто непосредственно относящееся к погребению и насущно важное. Так случилось и сейчас. Оба остались наедине, сели на два стоявших у стены табурета и заговорили по делу:

— Что вы узнали, Евграф Андреевич?

— Кремация сегодня вечером. Через полчаса за телом заедут из профсоюза медработников и отвезут в клуб профсоюза. На четыре назначена гражданская панихида. Ни одна из бумаг не была в порядке. Трудовая книжка оказалась просроченной, профсоюзный билет старого образца не был обменен, взносы несколько лет не уплачивались. Всё это пришлось улаживать.

Отсюда волокита и запоздание. Перед выносом из дому, — кстати эта минута недалека, надо готовиться, — я вас оставлю здесь одну, как вы просили. Простите. Слышите? Телефон. Минуту.

Евграф Живаго вышел в коридор, переполненный незнакомыми сослуживцами доктора, его школьными товарищами, низшими больничными служащими и книжными работниками, и где Марина с детьми, охватив их руками и накрыв полами накинутого пальто (день был холодный и с парадного задувало), сидела на краю скамьи в ожидании, когда снова откроют двери, как пришедшая на свидание с арестованным ждет, когда часовой пустит её в тюремную приемную. В коридоре было тесно. Часть собравшихся не помещалась в нем. Ход на лестницу был раскрыт. Множество народа стояло, расхаживало и курило в передней и на площадке.

На спускающихся ступеньках лестницы разговаривали тем громче и свободнее, чем было ближе к улице. Напрягая слух вследствие сдержанного гула, Евграф приглушенным голосом, как требовало приличие, прикрывая ладонью отверстие трубки, давал ответы по

телефону, вероятно, о порядке похорон и обстоятельствах смерти доктора. Он вернулся в комнату. Разговор продолжался.

— Не исчезайте, пожалуйста, после кремации, Лариса Федоровна. У меня к вам большая просьба. Я не знаю, где вы остановились. Не оставляйте меня в неизвестности, где вас разыскать. Я хочу в самое ближайшее время, завтра или послезавтра, заняться разбором братниных бумаг. Мне нужна будет ваша помощь. Вы так много знаете, наверное, больше всех.

Вы вскользь обронили, будто только второй день из Иркутска, недолгим наездом в Москву, и что в эту квартиру поднялись по другому поводу, случайно, не ведая ни того, что брат жил тут последние месяцы, ни того, что тут произошло. Какой-то части ваших слов я не понял, и не прошу объяснений, но не пропадайте, я не знаю вашего адреса. Всего лучше было бы эти несколько дней, посвященных разборке рукописей, провести под одной крышей или на небольшом расстоянии друг от друга, может быть в двух других комнатах дома. Это можно было бы устроить.

Я знаю домуправа.

— Вы говорите, что меня не поняли. Что же тут непонятного?

Приехала в Москву, сдала вещи в камеру хранения, иду по старой Москве, половины не узнаю, — забыла. Иду и иду, спускаюсь по Кузнецкому, подымаюсь по Кузнецкому переулку и вдруг что-то до ужаса, до крайности знакомое, — Камергерский. Здесь расстрелянный Антипов, покойный муж мой, студентом комнату снимал, именно вот эту комнату, где мы с вами сидим. Дай, думаю, наведаюсь, может быть, на мое счастье живы старые хозяева. Что их и в помине нет и тут все по-другому, это ведь я потом узнала, на другой день и сегодня, постепенно из опросов, но ведь вы были при этом, зачем я рассказываю? Я была как громом сражена, дверь с улицы настежь, в комнате люди, гроб, в гробу покойник. Какой покойник? Вхожу, подхожу, я думала, — с ума сошла, грежу, но ведь вы были всему свидетелем, не правда ли, зачем я вам это рассказываю?

— Погодите, Лариса Федоровна, я перебью вас. Я уже говорил вам, что я и брат и не подозревали того, сколько с этой комнатой связано удивительного. Того, например, что когда-то в ней жил Антипов. Но еще удивительнее одно прорвавшееся у вас выражение. Я сейчас скажу, какое, — простите. Об Антипове, по военно-революционной деятельности Стрельникове, я одно время, в начале Гражданской войны много и часто слышал, чуть не ежедневно, и раз или два видел его лично, не предвидя, как близко он меня когда-нибудь коснется по причинам семейным. Но, извините, может быть, я ослышался, мне показалось, будто вы сказали, и в

таком случае это обмолвка, — «расстрелянный Антипов». Разве вы не знаете, что он застрелился?

— Такая версия ходит, но я ей не верю. Никогда Павел Павлович не был самоубийцей.

— Но ведь это совершенная достоверность. Антипов застрелился в домике, из которого, по рассказам брата, вы направились в Юрятин для следования во Владивосток. Это случилось вскоре после вашего отъезда с дочерью. Брат подобрал застрелившегося, его хоронил. Неужели до вас не дошли эти сведения?

— Нет. У меня были другие. Так значит, правда, что он сам застрелился? Так многие говорили, а я не верила. В том самом домике? Быть не может! Какую важную подробность вы мне сообщили! Простите, вы не знаете, он и Живаго встретились?

Говорили?

— По словам покойного Юрия, у них был долгий разговор.

— Неужели правда? Слава Богу. Так лучше (Антипова медленно перекрестилась). — Какое поразительное, свыше ниспосланное стечение обстоятельств! Вы позволите мне еще раз вернуться к этому и расспросить вас обо всех частностях? Здесь дорога мне каждая мелочь. А сейчас я не в состоянии. Не правда ли? Я слишком взволнована. Я немного помолчу, передохну, соберусь с мыслями. Не правда ли?

— О, конечно, конечно. Пожалуйста.

— Не правда ли?

— Разумеется.

— Ах, ведь я чуть не забыла. Вы просите, чтобы после кремации я не уходила. Хорошо. Обещаю. Я не исчезну. Я вернусь с вами на эту квартиру и останусь, где вы мне укажете и сколько потребуется. Займемся просмотром Юрочкиных рукописей.

Я помогу вам. Я правда, может быть, буду вам полезна. Это мне будет таким утешением! Я кровью сердца, каждой жилкою чувствую все повороты его почерка. Затем ведь у меня есть к вам дело, вы мне понадобитесь, не правда ли? Вы кажется, юрист, или во всяком случае хороший знаток существующих порядков, прежних и нынешних. Кроме того, как важно знать, в какое учреждение надо обращаться за какою справкою. Не все в этом разбираются, не правда ли. Мне потребуется ваш совет по одному страшному, гнетущему поводу. Речь об одном ребенке. Но это после, после возвращения из крематория. Всю жизнь мне приходится кого-нибудь разыскивать, не правда ли. Скажите, если бы в каком-нибудь воображаемом случае было необходимо отыскание детских следов, следов

сданного в чужие руки на воспитание ребенка, есть ли какой-нибудь общий, всесоюзный архив существующих детских домов и делалась ли, предпринималась ли общегосударственная перепись или регистрация беспризорных? Но не отвечайте мне сейчас, умоляю вас. Потом, потом. О, как страшно, страшно! Какая страшная вещь жизнь, не правда ли. Я не знаю, как будет дальше, когда приедет моя дочь, но пока я могу побывать на этой квартире. У Катюши открылись замечательные способности, частью драматические, а с другой стороны и музыкальные, она чудесно всех копирует и разыгрывает целые сцены собственного сочинения, но кроме того, и поет по слуху целые партии из опер, удивительный ребенок, не правда ли. Я хочу отдать её на приготовительные, начальные курсы театрального училища или консерватории, куда примут, и определить в интернат, я для того и приехала, покамест без нее, чтобы все наладить, а потом уеду. Разве всё расскажешь, не правда ли? Но об этом после. А сейчас я пережду, когда уляжется волнение, помолчу, соберусь с мыслями, попробую отогнать страхи. Кроме того, мы чудовищно задержали Юриных близких в коридоре. Мне два раза почудилось, что в дверь стучали. И там какое-то движение, шум. Наверное, приехали из похоронной организации. Пока я посижу и подумаю, растворите двери и впустите публику. Пора, не правда ли. Постойте, постойте. Надо скамеечку под гроб, а то до Юрочки не дотянуться. Я на цыпочках пробовала, очень трудно. А это ведь понадобится Марине Маркеловне и детям. И кроме того, требуется обрядом. «И целуйте меня последним целованием». О не могу, не могу. Как больно. Не правда ли.

— Сейчас я всех впущу. Но раньше вот что. Вы сказали столько загадочного и подняли столько вопросов, видимо, мучающих вас, что я затрудняюсь ответом. Одно хочу, чтобы вы знали. Охотно, от всей души предлагаю вам во всем, что вас заботит, свою помощь. И помните. Никогда, ни в каких случаях не надо отчаиваться. Надеяться и действовать — наша обязанность в несчастии. Бездеятельное отчаяние — забвение и нарушение долга. Сейчас я впущу прощающихся. Насчет скамейки вы правы. Я раздобуду и подставлю.

Но Антипова его уже не слышала. Она не слышала, как Евграф Живаго отворил дверь в комнату и в нее хлынула толпа из коридора, не слышала его переговоров с устроителями похорон и главными провожающими, не слышала шороха движущихся, рыдания Марины, покашливания мужчин, женских слез и вскриков.

Круговорот однообразных звуков укачивал ее, доводил до дурноты. Она крепилась изо всех сил, чтобы не упасть в обморок. Сердце у нее

разрывалось, голову ломило. Поникнув головой, она погрузилась в гадания, соображения, воспоминания.

Она ушла в них, затонула, точно временно, на несколько часов, перенеслась в какой-то будущий возраст, до которого еще неизвестно, доживет ли она, который старил её на десятки лет и делал старухой. Она погрузилась в размышления, точно упала на самую глубину, на самое дно своего несчастия. Она думала:

«Никого не осталось. Один умер. Другой сам себя убил. И только остался жив тот, кого следовало убить, на кого она покушалась, но промахнулась, это чужое, ненужное ничтожество, превратившее её жизнь в цепь ей самой неведомых преступлений.

И это чудище заурядности мотается и мечется по мифическим закоулкам Азии, известным одним собирателям почтовых марок, а никого из близких и нужных не осталось.

Ах, да ведь это на Рождестве, перед задуманным выстрелом в это страшилище пошлости был разговор в темноте с Пашей мальчиком в этой комнате, и Юры, с которым тут сейчас прощаются, тогда еще в её жизни не было в помине».

И она стала напрягать память, чтобы восстановить тот рождественский разговор с Пашенькой, но ничего не могла припомнить, кроме свечи, горевшей на подоконнике, и протаявшего около нее кружка в ледяной коре стекла.

Могла ли она думать, что лежавший тут на столе умерший видел этот глазок проездом с улицы, и обратил на свечу внимание? Что с этого, увиденного снаружи пламени, — «Свеча горела на столе, свеча горела» — пошло в его жизни его предназначение?

Ее мысли рассеялись. Она подумала: «Как жаль все-таки, что его не отпевают по-церковному! Погребальный обряд так величав и торжественен! Большинство покойников недостойны его. А Юрочка такой благодарный повод! Он так всего этого стоил, так бы это „надгробное рыдание творяще песнь аллилуйя“ оправдал и окупил!»

И она ощутила волну гордости и облегчения, как всегда с ней бывало при мысли о Юрии и в недолгие промежутки жизни вблизи его. Веяние свободы и беззаботности, всегда исходившее от него, и сейчас охватило ее. Она нетерпеливо встала с табурета, на котором сидела. Нечто не совсем понятное творилось с ней.

Ей хотелось хоть ненадолго с его помощью вырваться на волю, на свежий воздух из пучины опутывавших её страданий, испытать, как бывало, счастье освобождения. Таким счастьем мечталось, мерещилось ей

счастье прощания с ним, случай и право одной вволю и беспрепятственно поплакать над ним. И с поспешностью страсти она обвела толпу взглядом, надломленным болью, невидящим и полным слез, как от накапанных окулистом жгучих глазных капель, и все задвигались, засморкались, стали сторониться и выходить из комнаты, оставив ее, наконец, одну за прикрытыми дверьми, а она, быстро крестясь на ходу, подошла к столу и гробу, поднялась на подставленную Евграфом скамейку, медленно положила на тело три широких креста и приложилась к холодному лбу и рукам. Она прошла мимо ощущения, что похолодевший лоб как бы уменьшился, как сжатая в кулачок рука, ей удалось этого не заметить. Она замерла, и несколько мгновений не говорила, не думала и не плакала, покрыв середину гроба, цветов и тела собою, головою, грудью, душою и своими руками, большими, как душа.

15

Ее всю сотрясали сдерживаемые рыдания. Пока она могла, она им сопротивлялась, но вдруг это становилось выше её сил, слезы прорывались у нее и она обдавала ими щеки, платье, руки и гроб, к которому она прижималась.

Она ничего не говорила, не думала. Ряды мыслей общности, знания, достоверности привольно неслись, гнали через нее, как облака по небу и как во время их прежних ночных разговоров.

Вот это-то, бывало, и приносило счастье и освобожденье.

Неголовное, горячее, друг другу внушаемое знание.

Инстинктивное, непосредственное.

Таким знанием была полна она и сейчас, темным неотчетливым знанием о смерти, подготовленностью к ней, отсутствием растерянности перед ней. Точно она уже двадцать раз жила на свете, без счета теряла Юрия Живаго и накопила целый опыт сердца на этот счет, так что всё, что она чувствовала и делала у этого гроба, было впопад и кстати.

О какая это была любовь, вольная, небывалая, ни на что не похожая! Они думали, как другие напевают.

Они любили друг друга не из неизбежности, не «опаленные страстью», как это ложно изображают. Они любили друг друга потому, что так хотели все кругом: земля под ними, небо над их головами, облака и деревья. Их любовь нравилась окружающим еще, может быть, больше, чем им самим. Незнакомым на улице, выстраивающимся на прогулке далям, комнатам, в которых они селились и встречались.

Ах вот это, это вот ведь, и было главным, что их роднило и объединяло! Никогда, никогда, даже в минуты самого дарственного, беспамятного счастья не покидало их самое высокое и захватывающее: наслаждение общей лепкою мира, чувство отнесенности их самих ко всей картине, ощущение принадлежности к красоте всего зрелища, ко всей вселенной.

Они дышали только этой совместностью. И потому превознесение человека над остальной природой, модное нянчение с ним и человекопоклонство их не привлекали. Начала ложной общественности, превращенной в политику, казались им жалкой домодельщиной и оставались непонятны.

16

И вот она стала прощаться с ним простыми, обиходными словами бодрого бесцеремонного разговора, разламывающего рамки реальности и не имеющего смысла, как не имеют смысла хоры и монологи трагедий, и стихотворная речь, и музыка и прочие условности, оправдываемые одною только условностью волнения.

Условностью данного случая, оправдывавшего натяжку её легкой, непредвзятой беседы, были её слезы, в которых тонули, купались и плавали её житейские непраздничные слова.

Казалось именно эти мокрые от слез слова сами слипались в её ласковый и быстрый лепет, как шелестит ветер шелковистой и влажной листвой, спутанной теплым дождем.

— Вот и снова мы вместе, Юрочка. Как опять Бог привел свидеться. Какой ужас, подумай! О я не могу! О Господи! Реву и реву! Подумай! Вот опять что-то в нашем роде, из нашего арсенала. Твой уход, мой конец. Опять что-то крупное, неотменимое. Загадка жизни, загадка смерти, прелесть гения, прелесть обнажения, это пожалуйста, это мы понимали. А мелкие мировые дрязги вроде перекройки земного шара, это извините, увольте, это не по нашей части.

Прощай, большой и родной мой, прощай моя гордость, прощай моя быстрая глубокая реченька, как я любила целодневный плеск твой, как я любила бросаться в твои холодные волны.

Помнишь, прощалась я с тобой тогда там, в снегах? Как ты обманул меня! Разве я поехала бы без тебя? О, я знаю, я знаю, ты это сделал через силу, ради моего воображаемого блага. И тогда всё пошло прахом. Господи, что я испила там, что вынесла! Но ведь ты ничего не знаешь. О, что я наделала, Юра, что я наделала! Я такая преступница, ты понятия не

имеешь! Но я не виновата. Я тогда три месяца пролежала в больнице, из них один без сознания. С тех пор не житье мне, Юра. Нет душе покоя от жалости и муки. Но ведь я не говорю, не открываю главного.

Назвать это я не могу, не в силах. Когда я дохожу до этого места своей жизни, у меня шевелятся волосы на голове от ужаса.

И даже, знаешь, я не поручусь, что я вполне нормальна. Но видишь, я не пью, как многие, не вступаю на этот путь, потому что пьяная женщина это уже конец, это что-то немыслимое, не правда ли.

И она что-то говорила еще и рыдала и мучилась. Вдруг она удивленно подняла голову и огляделась. В комнате давно были люди, озабоченность, движение. Она спустилась со скамейки и, шатаясь, отошла от гроба, проведя ладонью по глазам и как бы отжимая недоплаканный остаток слез, чтобы рукой стряхнуть их на пол.

К гробу подошли мужчины и подняли его на трех полотенцах.

Начался вынос.

17

Лариса Федоровна провела несколько дней в Камергерском.

Разбор бумаг, о котором была речь с Евграфом Андреевичем, был начат с её участием, но не доведен до конца. Состоялся и её разговор с Евграфом Андреевичем, о котором она его просила. Он узнал от нее что-то важное. Однажды Лариса Федоровна ушла из дому и больше не возвращалась. Видимо, её арестовали в те дни на улице и она умерла или пропала неизвестно где, забытая под каким-нибудь безымянным номером из впоследствии запропастившихся списков, в одном из неисчислимых общих или женских концлагерей севера.

ЧАСТЬ шестнадцатая.

ЭПИЛОГ

1

Летом тысяча девятьсот сорок третьего года, после прорыва на Курской дуге и освобождения Орла возвращались порознь в свою общую войсковую часть недавно произведенный в младшие лейтенанты Гордон и майор Дудоров, первый из служебной командировки в Москву, а второй оттуда же из трехдневного отпуска.

На обратном пути оба съехались и заночевали в Черни, маленьком городке, хотя и разоренном, но не совершенно уничтоженном, подобно большинству населенных мест этой «зоны пустыни», стертых с лица земли отступавшим неприятелем.

Среди городских развалин, представлявших груды ломаного кирпича и в мелкую пыль истолченного щебня, нашелся неповрежденный сеновал, на котором оба и залегли с вечера.

Им не спалось. Они проговорили всю ночь. На рассвете часа в три задремавшего было Дудорова разбудила копотня Гордона.

Неловкими движениями, как на воде, ныряя и переваливаясь в мягком сене, он собирал в узелок какие-то носильные пожитки, а потом так же косолапо стал сползать с вершины сенной горы к порогу сеновала и выходу.

— Ты куда это снарядился? Рано еще.

— На речку схожу. Хочу кое-что на себе постирать.

— Вот сумасшедший. Вечером будем в части, бельевщица Танька смену выдаст. Зачем нетерплячку подымать.

— Не хочу откладывать. Пропотел, заносился. Утро жаркое.

Наскоро выполощу, хорошо выжму, мигом на солнце высохнет.

Искупаюсь, переоденусь.

— Все-таки знаешь, неудобно. Согласись, офицер ты, как никак.

— Рано. Все спят кругом. Я где-нибудь за кустиком. Никто не увидит. А ты спи, не разговаривай. Сон разгуляешь.

— Я и так больше не усну. Я с тобою пойду.

И они пошли на речку мимо белых, уже успевших накалиться на жарком, только что взошедшем солнце, каменных развалин.

Посреди бывших улиц, на земле, на самом солнцепеке спали потные,

храпящие, раскрасневшиеся люди. Это были в большинстве местные, оставшиеся без крова, старики, женщины и дети, редко — отбившиеся и нагоняющие свои подразделения одиночки красноармейцы. Гордон и Дудоров осторожно, все время глядя под ноги, чтобы не наступить на них, ступали между спящими.

— Говори потише, а то разбудим город и тогда прощай моя стирка.

И они вполголоса продолжали свой ночной разговор.

2

— Что это за река?

— Не знаю. Не спрашивал. Вероятно, Зуша.

— Нет, не Зуша. Какая-то другая.

— Ну тогда не знаю.

— На Зуше-то ведь это все и случилось. С Христиной.

— Да, но в другом месте течения. Где-то ниже. Говорят церковь её к лику святых причла.

— Там было каменное сооружение, получившее имя «Конюшни».

Действительно, совхозная конюшня конского завода, нарицательное название, ставшее историческим. Старинная, толстостенная. Немцы укрепили её и превратили в неприступную крепость. Из нее хорошо простреливалась вся местность, чем задерживалось наше наступление. Конюшню надо было взять.

Христина чудом храбрости и находчивости проникла в немецкое расположение, взорвала конюшню, живою была схвачена и повешена.

— Отчего Христина Орлецова, а не Дудорова?

— Мы ведь еще не были женаты. Летом сорок первого года мы дали друг другу слово пожениться по окончании войны. После этого я кочевал вместе с остальною армией. Мою часть без конца переводили. За этими перемещениями я утерял её из виду. Больше я её не видел. О её доблестном деле и геройской смерти я узнал, как все. Из газет и полковых приказов. Где-то здесь, говорят, думают ей поставить памятник. Брат покойного Юрия, генерал Живаго, я слышал, объезжает эти места и собирает о ней сведения.

— Прости, что я навел тебя на разговор о ней. Для тебя это должно быть тяжело.

— Не в этом дело. Но мы заболтались. Я не хочу мешать тебе. Раздевайся, лезь в воду и займись своим делом. А я растянусь на берегу со стебельком в зубах, пожую — подумаю, может быть, вздремну.

Спустя несколько минут разговор возобновился.

— Где ты так стирать научился?

— Нужда научит. Нам не повезло. Из штрафных лагерей мы попали в самый ужасный. Редкие выживали. Начиная с прибытия.

Партию вывели из вагона. Снежная пустыня. Вдалеке лес. Охрана, опущенные дула винтовок, собаки овчарки. Около того же часа в разное время пригнали другие новые группы. Построили широким многоугольником во все поле, спинами внутрь, чтобы не видали друг друга. Скомандовали на колени и под страхом расстрела не глядеть по сторонам, и началась бесконечная, на долгие часы растянувшаяся, унизительная процедура переклички. И все на коленях. Потом встали, другие партии развели по пунктам, а нашей объявили: «Вот ваш лагерь. Устраивайтесь, как знаете».

Снежное поле под открытым небом, посередине столб, на столбе надпись «Гулаг 92 Я Н 90» и больше ничего.

— Нет, у нас легче было. Нам посчастливилось. Ведь я вторую отсидку отбывал, которую влечет за собой первая. Кроме того, и статья другая, и условия. По освобождении меня снова восстановили, как в первый раз, и сызнова позволили читать в университете. И на войну мобилизовали с полными правами майора, а не штрафным, как тебя.

— Да. Столб с цифрою «Гулаг 92 Я Н 90» и больше ничего.

Первое время в мороз голыми руками жердинник ломали на шалаши.

И что же, не поверишь, постепенно сами обстроились. Нарубили себе темниц, обнеслись частоколами, обзавелись карцерами, сторожевыми вышками, — все сами. И началась лесозаготовка.

Валка леса. Лес валили. Ввосьмером впрягались в сани, на себе возили бревна, по грудь проваливались в снег. Долго не знали, что разразилась война. Скрывали. И вдруг — предложение.

Охотникам штрафными на фронт, и в случае выхода целыми из нескончаемых боев каждому — воля. И затем атаки и атаки, километры колючей проволоки с электрическим током, мины, минометы, месяцы и месяцы ураганного огня. Нас в этих ротах недаром смертниками звали. До одного выкашивало. Как я выжил?

Как я выжил? Однако, вообрази, весь этот кровавый ад был счастьем по сравнению с ужасами концлагеря, и вовсе не вследствие тяжести условий, а совсем по чему-то другому.

— Да, брат, хлебнул ты горя.

— Тут не то что стирать, тут чему хочешь научишься.

— Удивительное дело. Не только перед лицом твоей каторжной доли,

но по отношению ко всей предшествующей жизни тридцатых годов, даже на воле, даже в благополучии университетской деятельности, книг, денег, удобств, война явилась очистительной бурею, струей свежего воздуха, веянием избавления.

Я думаю, коллективизация была ложной, неудавшейся мерою, и в ошибке нельзя было признаться. Чтобы скрыть неудачу, надо было всеми средствами устрашения отучить людей судить и думать и принудить их видеть несуществующее и доказывать обратное очевидности. Отсюда беспримерная жестокость ежовщины, обнародование не рассчитанной на применение конституции, введение выборов, не основанных на выборном начале.

И когда разгорелась война, её реальные ужасы, реальная опасность и угроза реальной смерти были благом по сравнению с бесчеловечным владычеством выдумки, и несли облегчение, потому что ограничивали колдовскую силу мертвой буквы.

Люди не только в твоем положении, на каторге, но все решительно, в тылу и на фронте, вздохнули свободнее, всею грудью, и упоенно, с чувством истинного счастья бросились в горнило грозной борьбы, смертельной и спасительной.

— Война — особое звено в цепи революционных десятилетий.

Кончилось действие причин, прямо лежавших в природе переворота. Стали сказываться итоги косвенные, плоды плодов, последствия последствий. Извлеченная из бедствий закалка характеров, неизбалованность, героизм, готовность к крупному, отчаянному, небывалому. Это качества сказочные, ошеломляющие, и они составляют нравственный цвет поколения.

Эти наблюдения преисполняют меня чувством счастья, несмотря на мученическую смерть Христины, на мои ранения, на наши потери, на всю эту дорогую кровавую цену войны. Снести тяжесть смерти Орлецовой помогает мне свет самопожертвования, которым озарен и её конец, и жизнь каждого из нас.

Как раз, когда ты, бедняга, переносил свои неисчислимые пытки, я вышел на свободу. Орлецова в это время поступила на истфак. Род её научных интересов привел её под мое руководство. Я давно уже раньше, после первого заключения в концлагерь, когда она была ребенком, обратил внимание на эту замечательную девушку. Еще при жизни Юрия, помнишь, я рассказывал. Ну вот, теперь, значит, она попала в число моих слушательниц.

Тогда обычай проработки преподавателей учащимися только что вошел

в моду. Орлецова с жаром на нее набросилась. Одному Богу известно, за что она меня так яростно разносила. Ее нападки были так упорны, воинственны и несправедливы, что остальные студенты кафедры иногда восставали и за меня вступались.

Орлецова была замечательной юмористкой. Она под вымышленной фамилией, под которой все меня узнавали, высмеивала меня сколько душе угодно в стенгазете. Вдруг по совершенной случайности выяснилось, что эта закоренелая вражда есть форма маскировки молодой любви, прочной, прячущейся и давней. Я всегда отвечал ей тем же.

У нас было чудное лето в сорок первом году, первом году войны, в самый канун её и вскоре после её объявления.

Несколько человек молодежи, студентов и студенток, и она в том числе, поселились в дачной местности под Москвой, где потом расположилась моя часть. Наша дружба завязалась и протекала в обстановке их военного обучения, формирования пригородных отрядов ополчения, парашютной тренировки Христины, ночного отражения первых немецких налетов с московских городских крыш.

Я уже говорил тебе, что тут мы отпраздновали нашу помолвку и вскоре разлучены были моими начавшимися передвижениями. Больше я её не видел.

Когда в наших делах наметился благоприятный перелом и немцы стали сдаваться тысячами, меня после дважды полученного ранения и двукратного пребывания в госпитале перевели из зенитной артиллерии в седьмой отдел штаба, где требовались люди со знанием иностранных языков, куда я настоял чтобы и тебя откомандировали, после того как раздобыл тебя как со дна морского.

— Бельевщица Таня хорошо знала Орлецову. Они сошлись на фронте и были подругами. Она много рассказывает про Христину.

У этой Тани манера улыбаться во все лицо, как была у Юрия, ты заметил? На минуту пропадает курносость, угловатость скул, лицо становится привлекательным, миловидным. Это один и тот же тип, очень у нас распространенный.

— Я знаю, о чем ты говоришь. Пожалуй. Я не обращал внимания.

— Какая варварская, безобразная кличка Танька Безочередева. Это во всяком случае не фамилия, а что-то придуманное, искаженное. Как ты думаешь?

— Так ведь она объясняла. Она из беспризорных, неизвестных родителей. Наверное, где-то в глубине России, где еще чист и нетронут язык, звали её безотчею, в том смысле, что без отца.

Улица, которой было непонятно это прозвище и которая все ловит на слух и все перевирает, переделала на свой лад это обозначение, ближе к своему злободневному площадному наречию.

3

Это было в разрушенном до основания городе Карачеве, в скором времени после ночевки Гордона и Дудорова в Черни и их тамошнего ночного разговора. Здесь, нагоняя свою армию, приятели застали кое-какие её тылы, следовавшие за главными силами.

Стояла больше месяца не прерывавшаяся ясная и тихая погода жаркой осени. Обданная жаром синего безоблачного неба, черная, плодородная земля Брынщины, благословенного края между Орлом и Брянском, смуглела на солнце шоколадно-кофейным отливом.

Город прорезала главная прямая улица, сливавшаяся с трассой большой дороги. С одной стороны её лежали обрушенные дома, превращенные минами в кучи строительного мусора, и вывороченные, расщепленные и обгорелые деревья сровненных с землею фруктовых садов. По другую сторону, через дорогу, тянулись пустыри, может быть, мало застроенные и раньше, до разгрома города, и более пощаженные пожаром и пороховыми взрывами, потому что здесь нечего было уничтожать.

На прежде застроенной стороне бесприютные жители ковырялись в кучах недогоревшей золы, что-то откапывали и сносили из дальних углов пожарища в одно место. Другие наскоро рыли себе землянки и резали землю пластами для обкладки верхней части жилья дерном.

На противоположной, незастроенной стороне белели палатки и теснились грузовики и конные фургоны всякого рода служб второго эшелона, оторвавшиеся от своих дивизионных штабов полевые госпитали, заблудившиеся, перепугавшиеся и разыскивающие друг друга отделы всевозможных парков, интендантств и провиантских складов. Тут же опрастывались, примащивались подкрепиться, отсыпались и затем плелись дальше на запад тощие худосочные подростки из маршевых рот пополнения, в серых пилотках и тяжелых серых скатках, с испитыми, землистыми, дизентерией обескровленными лицами.

Наполовину обращенный в пепел и взорванный город продолжал гореть и рваться вдали, в местах залегания мин замедленного действия. То и дело копавшиеся в садах прерывали работу, остановленные отраженным сотрясением земли под ногами, распрямляли согнутые спины, опирались на ручки заступов и, повернувши голову в направлении разразившегося

взрыва, отдыхали, долго глядя в ту сторону.

Там сперва столбами и фонтанами, а потом ленивыми, отяжелевшими наплывами восходили к небу серые, черные, кирпично-красные и дымно-огненные облака поднятого на воздух мусора, расплывались, раскидывались султанами, рассеивались, оседали назад на землю. И работавшие снова брались за работу.

Одну из полян на незастроенной стороне окаймляли кусты и покрывали сплошной тенью росшие на ней старые деревья. Этой растительностью поляна отгораживалась от остального мира, как стоящий особняком и погруженный в прохладный сумрак крытый двор.

На поляне бельевщица Таня с двумя или тремя однополчанами и несколькими напросившимися попутчиками, а также Гордон и Дудоров дожидались с утра грузовика, — высланного за Танею и порученным ей полковым имуществом. Оно размещено было в нескольких стоявших на поляне и горой наставленных ящиках.

Татьяна стерегла их и ни на шаг от них не отходила, но и другие держались вблизи от ящиков, чтобы не проворонить возможности уехать, когда она представится.

Ожидание длилось давно, больше пяти часов. Ожидающим нечего было делать. Они слушали неумолчную трескотню словоохотливой и видавшей виды девушки. Только что она рассказала о своей встрече с генерал-майором Живаго:

— Как же. Вчерашний день. К генералу меня лично водили. К генерал-майору Живаго. Он тут проездом насчет Христи интересовался, опрашивал. Очных свидетелей, которые в лицо её знали. Показали ему на меня. Говорят, — подружка. Велел вызвать. Ну вызвали, привели. Совсем не страшный. Ничего особенного, как все. Косоглазый, черный. Ну, я что знала, выложила. Выслушал, говорит, спасибо. А сама ты, говорит, откуда и каковская? Я, естественное дело, туда-сюда, отнекиваться. Чем похвалиться? Беспризорная. И вообще. Сами знаете. Исправдомы, бродяжество. А он ни в какую, валяй, говорит, без стеснения, какой тут стыд. Ну, я по робости сперва слово-два, дальше больше, кивает он, я осмелела. А мне есть что порассказать. Кабы вы услышали, не поверили, сказали бы, — выдумывает. Ну, то же вот и он. Как я кончила, он встал, по избе шагает из угла в угол. Скажи, говорит, на милость, какие чудеса. Ну вот что, говорит. Теперь мне некогда. А я тебя найду, не беспокойся, найду и еще раз позову. Просто не думал я, что услышу. Я тебя, говорит, так не оставлю. Тут еще надо будет кое-что выяснить, разные подробности. А то, говорит, чего доброго, я еще в дядья тебе запишусь, произведу тебя в

генеральские племянницы. И в обучение отдам в вуз, в какое захочешь. Ей Богу, правда. Такие веселые насмешники.

В это время на поляну въехала длинная порожняя подвода с высокими боками, на каких в Польше и Западной России возят снопы. Парою лошадей в дышельной упряжке правил военнослужащий, по старинной терминологии фурлейт, солдат конного обоза. Он въехал на поляну, соскочил с передка и стал выпрягать лошадей. Все, кроме Татьяны и нескольких солдат, обступили возницу, упрашивая его не распрягать, и повезти их, куда они укажут, конечно, за деньги. Солдат отказывался, потому что не имел права распоряжаться лошадьми и подводой и должен был повиноваться полученным нарядам. Он куда-то увел распряженных лошадей и больше не появлялся. Все сидевшие на земле поднялись и пересели на оставшуюся на поляне пустую подводу. Рассказы Татьяны, прерванные появлением телеги и переговорами с возницею, возобновились.

— Что ты рассказала генералу, — спросил Гордон. — Если можешь, повтори нам.

— Что же, можно.

И она рассказала им свою страшную историю.

4

— А мне правда есть что порассказать. Будто не из простых я, сказывали. Чужие ли мне это сказали, сама ли я это в сердце сберегла, только слышала я, будто маменька моя, Раиса Комарова, женой были скрывающегося министра русского в Беломонголии, товарища Комарова. Не отец, не родной мне был, надо полагать, этот самый Комаров. Ну, конечно, я девушка неученая, без папи, без мами росла сиротой. Вам, может быть, смешно, что я говорю, ну только говорю я, что знаю, надо войти в мое положение.

Да. Так значит было все это, про что я вам дальше расскажу, это было за Крушинцами, на другом конце Сибири, по ту сторону казатчины, поближе к Китайской границе. Когда стали мы, то есть, наши красные, к ихнему главному городу белому подходить, этот самый Комаров министр посадил маменьку со всей ихнею семьей в особенный поезд литерный и приказали увезть, ведь маменька были пуганые и без них не смели шагу ступить.

А про меня он даже не знал, Комаров. Не знал, что я такая есть на свете. Маменька меня в долгой отлучке произвели и смертью обмирали, как бы кто об том ему не проболтался. Он ужасть как того не любил, чтобы дети, и кричал и топал ногами, что это одна грязь в доме и беспокойство. Я, кричал, этого терпеть не могу.

Ну вот, стало быть, как стали подходить красные, послали маменька за сторожихой Марфой на разъезд Нагорную, это от того города в трех перегонах. Я сейчас объясню. Сперва станция Низовая, потом разъезд Нагорная, потом Самсоновский перевал. Я теперь так понимаю откуда маменька знали сторожиху? Думается торговала сторожиха Марфа в городе зеленью, возила молоко. Да.

И вот я скажу. Видно я тут чего-то не знаю. Думается маменьку обманули, не то сказали. Расписали Бог знает что, мол, на время, на два дни, пока суматоха уляжется. А не то чтобы в чужие руки навсегда. Навсегда в воспитание. Не могла бы так маменька отдать родное дитя.

Ну, дело, известно, детское. Подойди к тете, тетя даст пряник, тетя хорошая, не бойся тети. А как я потом в слезах билась, какой тоской сердечко детское изошло, про то лучше не поминать. Вешаться я хотела, чуть я во младенчестве с ума не сошла. Маленькая ведь я еще была. Верно денег дали тете Марфуше на мое пропитание, много денег.

Двор при посту был богатый, корова да лошадь, ну птица там

разумеется разная, под огородом в полосе отчуждения сколько хочешь земли, и само собою даровая квартира, сторожка казенная при самой путе. От родных мест снизу поезд еле-еле взбирался, насилу перемогал подъем, а от вас из Расеи шибко раскатывался, надо было тормоза. Внизу осенью, когда лес редел, видно было станцию Нагорную как на блюдечке.

Самого, дядю Василия, я по крестьянскому тятенькой звала.

Он был человек веселый и добрый, ну только слишком доверяющий и под пьяную руку такой трезвон про себя подымал, как говорится, — свинья борову, а боров всему городу. Всю душу первому встречному выбалтывал.

А сторожихе никогда язык у меня не поворачивался мамка сказать. Маменьку ли я свою забыть не могла или еще почему, ну только была эта тетя Марфуша такая страшная. Да. Звала я, значит, сторожиху тетей Марфушей.

Ну, и шло время. Годы прошли. А сколько, не помню. С флаком я тогда уже к поезду стала выбегать. Лошадь распречь или за коровой сходить было мне не диво. Прясть меня тетя Марфуша учила. А про избу нечего и говорить. Пол там подмести, прибрать, или что-нибудь сготовить, тесто замесить, это было для меня пустое, это все я умела. Да, забыла я сказать, Петеньку я нянчила, Петенька у нас был сухие ножки, трех годков, лежал, не ходил, нянчила я Петеньку. И вот сколько годов прошло, мурашки по мне бегают, как косилась тетя Марфуша на здоровые мои ноги, зачем, дескать, не сухие, лучше бы у меня сухие, а не у Петеньки, будто сглазила, испортила я Петеньку, вы подумайте, какая бывает на свете злость и темнота.

Теперь слушайте, это, как говорится, еще цветочки, дальше что будет, вы просто ахнете.

Тогда нэп был, тогда тысяча рублей в копейку ходила. Продал Василий Афанасьевич внизу корову, набрал два мешка денег, — керенки назывались, виновата, нет, — лимоны, назывались лимоны, — выпил и пошел про свое богатство по всей Нагорной звонить.

Помню, ветреный был день осенний, ветер крышу рвал и с ног валил, паровозы подъема не брали, им навстречу ветер дул. Вижу я, идет сверху старушка странница, ветер юбку и платок треплет.

Идет странница, стонет, за живот хватается, попросилась в дом. Положили её на лавку, — ой, кричит, не могу, живот подвело, смерть моя пришла. И просит: отвезите меня Христа ради в больницу, заплачу я, не пожалею денег. Запрёг тятенька Удалого, положил старушку на телегу и повез в земскую больницу, от нас от линии в сторону пятнадцать верст.

Долго ли, коротко ли, ложимся мы с тетей Марфушей спать, слышим,

заржал Удалой под окном, вкатывает во двор наша телега. Чтой-то больно слишком рано. Ну. Раздула тетя Марфуша огня, кофту накинула, не стала дожидаться, когда тятенька в дверь стукнет, сама откидывает крючок.

Откидывает крючок, а на пороге никакой не тятенька, а чужой мужик черный и страшный, и говорит: «Покажи, говорит, где за корову деньги. Я, говорит, в лесу мужа твоего порешил, а тебя, бабу, пожалею, коли скажешь, где деньги. А коли не скажешь, сама понимаешь, уж не взыщи. Лучше со мной не волынь. Некогда мне тут с тобой проклажаться».

Ой батюшки светы, дорогие товарищи, что с нами сделалось, войдите в наше положение! Дрожим, ни живы ни мертвы, язык отнялся от ужаса, какие страсти! Первое дело Василия Афанасьевича он убил, сам говорит, топором зарубил. А вторая беда: одни мы с разбойником в сторожке, разбойник в доме у нас, ясное дело разбойник.

Тут видно у тети Марфуши мигом разум отшибло, сердце за мужа надорвалось. А надо держаться, нельзя виду показывать.

Тетя Марфуша сначала ему в ноги. Помилуй, говорит, не губи, знать не знаю, ведать не ведаю я про твои деньги, про что говоришь ты, в первый раз слышу. Ну да разве так прост он, окаянный, чтобы от него словами отделаться. И вдруг мысль ей вскочила в голову, как бы его перехитрить. «Ну ин ладно, говорит, будь по твоему. Под полом, говорит, выручка. Вот я творило подыму, лезь, говорит, под пол». А он, нечистый, её хитрости насквозь видит. «Нет, говорит, тебе, хозяйке, ловчей.

Лезь, говорит, сама. Хушь под пол лезь, хушь на крышу лезь, да только чтобы были мне деньги. Только, говорит, помни, со мной не лукавь, со мной шутки плохи».

А она ему: «Да Господь с тобой, что ты сумлеваешься. Я бы рада сама да мне неспособно. Я тебе лучше, говорит, с верхней ступеньки посвечу. Ты не бойся, я для твоей верности вместе с тобой дочку вниз спущу», это, стало быть, меня.

Ой батюшки дорогие товарищи, сами подумайте, что со мной сделалось, как я это услышала! Ну, думаю, конец. В глазах у меня помутилось, чувствую, падаю, ноги подгибаются.

А злодей опять, не будь дурак, на нас обеих один глаз скосил, прищурился и криво так во весь рот оскалился, шалишь, мол, не проведешь. Видит, что не жалко ей меня, стало не родня, чужая кровь, и хвать Петеньку на руку, а другою за кольцо, открывает лаз, — свети, говорит, и ну с Петенькой по лесенке под землю.

И вот я думаю, тетя Марфуша уже тогда спятивши была, ничего не понимала, тогда уже была в повреждении ума. Только он злодей с

Петенькой под выступ пола ушел, она творило, то есть это крышку лаза назад в раму хлоп, и на замок, и тяжеленный сундучище надвигает на люк и мне кивает, пособи, мол, не могу, тяжело. Надвинула, и сама на сундук, сидит, дура, радуется.

Только она на сундук села, изнутри ей разбойник голос подает и снизу в пол стук-стук, дескать, лучше выпусти добром, а то сейчас буду я твоего Петеньку кончать. Слов-то сквозь толстые доски не слышно, да в словах ли толк. Он голосищем хуже лесного зверя ревел, страх наводил. Да, кричит, сейчас твоему Петеньке будет конец. А она ничего не понимает. Сидит, смеется, мне подмигивает. Мели, мол, Емеля, твоя неделя, а я на сундуке и ключи у меня в кулаке. Я тетю Марфушу и так и сяк. В уши ору, с сундука валю, хочу спихнуть. Надо подпол открыть, Петеньку выручить. Да куда мне! Нешто я с ней слажу?

Ну стучит он в пол, стучит, время-то идет, а она с сундука глазами вертит, не слушает.

По прошествии время — ой батюшки, ой батюшки, всего-то я в жизни навидалась-натерпелась, такой страсти не запомню, век буду жить, век буду слышать Петенькин голосок жалостный, — закричал-застонал из-под земли Петенька ангельская душенька, — загрыз ведь он его на смерть, окаянный.

Ну что мне, ну что мне теперь делать, думаю, что мне делать со старухой полоумною и разбойником этим душегубом? А время-то идет. Только я это подумала, слышь под окном Удалой заржал, нераспряженный ведь он все время стоял. Да. Заржал Удалой, словно хочет сказать, давай, Танюша, скорей к добрым людям поскачем, помощь позовем. А я гляжу, дело к рассвету. Будь по-твоему, думаю, спасибо, Удалой, надоумил, — твоя правда, давай слетаем. И только я это подумала, чу, слышу, словно мне опять кто из лесу: «Погоди, не торопись, Танюша, мы это дело по-другому обернем». И опять я в лесу не одна. Словно бы петух по-родному пропел, знакомый паровоз снизу меня свистком аукнул, я этот паровоз по свистку знала, он в Нагорной всегда под парами стоял, толкачем назывался, товарные на подъеме подпихивать, а это смешанный шел, каждую ночь он в это время мимо проходил, — слышу я, стало быть, снизу меня знакомый паровоз зовет. Слышу, а у самой сердце прыгает. Нужли, думаю, и я вместе с тетей Марфушей не в своем уме, что со мной всякая живая тварь, всякая машина бессловесная ясным русским языком говорит?

Ну да где тут думать, поезд-то уж близко, думать некогда.

Схватила я фонарь, не больно-то ведь как развиднело, и как угорелая на рельсы, на самую середку, стою промеж рельс фонарем размахиваю взад и

вперед.

Ну что тут говорить. Остановила я поезд, спасибо он из-за ветра тихо-тихо, ну просто сказать, тихим шагом шел.

Остановила я поезд, машинист знакомый из будки в окошко высунулся, спрашивает, не слышно, что спрашивает, — ветер. Я машинисту кричу, нападение на железнодорожный пост, смертоубийство и ограбление, разбойник в доме, заступитесь, товарищ дяденька, требуется спешная помощь. А пока я это говорю, из теплушек красноармейцы на полотно один за другим, воинский был поезд, да, красноармейцы на полотно, говорят «в чем дело?», удивляются, что за притча поезд в лесу на крутом подъеме ночью остановили, стоит.

Узнали они про все, вытащили разбойника из погреба, он потоньше Петеньки тоненьким голоском пищит, смилуйтесь, говорит, люди добрые, не губите, больше не буду. Вытащили его на шпалы, руки ноги к рельсам привязали и по живому поезд провели — самосуд.

Уж я в дом за одежей не ворочалась, так было страшно.

Попросилась: возьмите меня, дяденьки, на поезд. Взяли они меня на поезд, увезли. Я потом, не соврать, полземли чужой и нашей объездила с беспризорными, где только не была. Вот раздолье, вот счастье узнала я после горя моего детского! Но, правда, и беды всякой много и греха. Да ведь это все потом было, это я в другой раз расскажу. А тогда с поезда служащий железнодорожный в сторожку сошел, казенное имущество принять и об тете Марфуше сделать распоряжение, её жизнь устроить. Говорят, она потом в сумасшедшем доме в безумии померла. А другие говорили, поправилась, выходилась.

Долго после услышанного Гордон и Дудоров в безмолвии расхаживали по лужайке. Потом прибыл грузовик, неуклюже и громоздко завернул с дороги на поляну. На грузовик стали погружать ящики. Гордон сказал:

— Ты понял, кто это, эта бельевщица Таня?

— О, конечно.

— Евграф о ней позаботится. — Потом, немного помолчав, прибавил:

— Так было уже несколько раз в истории. Задуманное идеально, возвышенно, — грубело, овеществлялось. Так Греция стала Римом, так русское просвещение стало русской революцией.

Возьми ты это Блоковское «Мы, дети страшных лет России», и сразу увидишь различие эпох. Когда Блок говорил это, это надо было понимать в переносном смысле, фигурально. И дети были не дети, а сыны, детища, интеллигенция, и страхи были не страшны, а провиденциальны, апокалиптичны, а это разные вещи. А теперь все переносное стало

буквальным, и дети — дети, и страхи страшны, вот в чем разница.

5

Прошло пять или десять лет, и однажды тихим летним вечером сидели они опять, Гордон и Дудоров, где-то высоко у раскрытого окна над необозримою вечернею Москвою. Они перелистывали составленную Евграфом тетрадь Юрьевых писаний, не раз ими читанную, половину которой они знали наизусть. Читавшие перекидывались замечаниями и предавались размышлениям. К середине чтения стемнело, им стало трудно разбирать печать, пришлось зажечь лампу.

И Москва внизу и вдали, родной город автора и половины того, что с ним случилось, Москва казалась им сейчас не местом этих происшествий, но главною героиней длинной повести, к концу которой они подошли с тетрадью в руках в этот вечер.

Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, не наступили вместе с победою, как думали, но все равно, предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание.

Состарившимся друзьям у окна казалось, что эта свобода души пришла, что именно в этот вечер будущее расположилось ощутимо внизу на улицах, что сами они вступили в это будущее и отныне в нем находятся. Счастливое, умиленное спокойствие за этот святой город и за всю землю, за доживших до этого вечера участников этой истории и их детей проникало их и охватывало неслышною музыкой счастья, разлившейся далеко кругом. И книжка в их руках как бы знала все это и давала их чувствам поддержку и подтверждение.

ЧАСТЬ семнадцатая.

СТИХОТВОРЕНИЯ ЮРИЯ ЖИВАГО

1. ГАМЛЕТ

Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

2. МАРТ

Солнце греет до седьмого пота,
И бушует, одурев, овраг.
Как у дюжей скотницы работа,
Дело у весны кипит в руках.

Чахнет снег и болен малокровьем
В веточках бессильно синих жил.
Но дымится жизнь в хлеву коровьем,
И здоровьем пышут зубья вил.

Эти ночи, эти дни и ночи!
Дробь капелей к середине дня,
Кровельных сосулек худосочье,

Ручейков бессонных болтовня!

Настежь все, конюшня и коровник.
Голуби в снегу клюют овес,
И всего живитель и виновник, —
Пахнет свежим воздухом навоз.

3. НА СТРАСТНОЙ

Еще кругом ночная мгла.
Еще так рано в мире,
Что звездам в небе нет числа,
И каждая, как день, светла,
И если бы земля могла,
Она бы Пасху проспала
Под чтение Псалтыри.

Еще кругом ночная мгла.
Такая рань на свете,
Что площадь вечностью легла
От перекрестка до угла,
И до рассвета и тепла
Еще тысячелетье.

Еще земля голым-гола,
И ей ночами не в чем
Раскачивать колокола
И вторить с воли певчим.

И со Страстного четверга
Вплоть до Страстной субботы
Вода буравит берега
И вьет водовороты.

И лес раздет и непокрыт,
И на Страстях Христовых,
Как строй молящихся, стоит
Толпой стволов сосновых.

А в городе, на небольшом
Пространстве, как на сходке,
Деревья смотрят нагишом

В церковные решетки.

И взгляд их ужасом объят.
Понятна их тревога.
Сады выходят из оград,
Колеблется земли уклад:
Они хоронят Бога.

И видят свет у царских врат,
И черный плат, и свечек ряд,
Заплаканные лица —
И вдруг навстречу крестный ход
Выходит с плащаницей,
И две березы у ворот
Должны посторониться.

И шествие обходит двор
По краю тротуара,
И вносит с улицы в притвор
Весну, весенний разговор
И воздух с привкусом просфор
И вешнего угара.

И март разбрасывает снег
На паперти толпе калек,
Как будто вышел человек,
И вынес, и открыл ковчег,
И все до нитки роздал.

И пенье длится до зари,
И, нарыдавшись вдосталь,
Доходят тише изнутри
На пустыри под фонари
Псалтырь или Апостол.

Но в полночь смолкнут тварь и плоть,
Заслышав слух весенний,
Что только-только распогодь,
Смерть можно будет побороть
Усильем Воскресенья.

4. БЕЛАЯ НОЧЬ

Мне далекое время мерещится,
Дом на Стороне Петербургской.
Дочь степной небогатой помещицы,
Ты — на курсах, ты родом из Курска.

Ты — мила, у тебя есть поклонники.
Этой белою ночью мы оба,
Примостясь на твоем подоконнике,
Смотрим вниз с твоего небоскреба.

Фонари, точно бабочки газовые,
Утро тронуло первою дрожью.
То, что тихо тебе я рассказываю,
Так на спящие дали похоже.

Мы охвачены тою же самою
Оробелою верностью тайне,
Как раскинувшийся панорамою
Петербург за Невою бескрайней.

Там вдали, по дремучим урочищам,
Этой ночью весеннею белой,
Соловьи славословьем грохочущим
Оглашают лесные пределы.

Ошалелое щелканье катится,
Голос маленькой птички ледащей
Пробуждает восторг и сумятицу
В глубине очарованной чащи.

В те места босоногою странницей
Пробирается ночь вдоль забора,
И за ней с подоконника тянется
След подслушанного разговора.

В отголосках беседы услышанной
По садам, огороженным тесом,
Ветви яблоновые и вишенные
Одеваются цветом белёсым.

И деревья, как призраки, белые
Высыпают толпой на дорогу,
Точно знаки прощальные делая

Белой ночи, видавшей так много.

5. ВЕСЕННЯЯ РАСПУТИЦА

Огни заката догорали.
Распутицей в бору глухом
В далекий хутор на Урале
Тащился человек верхом.

Болтала лошадь селезенкой,
И звону шлепавших подков
Дорогой вторила вдогонку
Вода в воронках родников.

Когда же опускал поводья
И шагом ехал верховой,
Прокатывало половодье
Вблизи весь гул и грохот свой.

Смеялся кто-то, плакал кто-то,
Крошились камни о кремни,
И падали в водовороты
С корнями вырванные пни.

А на пожарище заката,
В далекой прочерни ветвей,
Как гулкий колокол набата
Неистовствовал соловей.

Где ива вдовий свой повойник
Клонила, свесивши в овраг,
Как древний соловей-разбойник
Свистал он на семи дубах.

Какой беде, какой зазнобе
Предназначался этот пыл?
В кого ружейной крупной дробью
Он по чащобе запустил?

Казалось, вот он выйдет лешим
С привала беглых каторжан
Навстречу конным или пешим
Заставам здешних партизан.

Земля и небо, лес и поле
Ловили этот редкий звук,
Размеренные эти доли
Безумья, боли, счастья, мук.

6. ОБЪЯСНЕНИЕ

Жизнь вернулась так же беспричинно,
Как когда-то странно прервалась
Я на той же улице старинной,
Как тогда, в тот летний день и час.

Те же люди и заботы те же,
И пожар заката не остыл,
Как его тогда к стене Манежа
Вечер смерти наспех пригвоздил.

Женщины в дешевом затрапезе
Так же ночью топчут башмаки.
Их потом на кровельном железе
Так же распинают чердаки.

Вот одна походкою усталой
Медленно выходит на порог
И, поднявшись из полуподвала,
Переходит двор наискосок.

Я опять готовлю отговорки,
И опять все безразлично мне.
И соседка, обогнув задворки,
Оставляет нас наедине.

Не плачь, не морщь опухших губ,
Не собирай их в складки.
Разбередишь присохший струп
Весенней лихорадки.

Сними ладонь с моей груди,
Мы провода под током.
Друг к другу вновь, того гляди,
Нас бросит ненароком.

Пройдут года, ты вступишь в брак,

Забудешь неустройства.
Быть женщиной — великий шаг,
Сводить с ума — геройство.

А я пред чудом женских рук,
Спины, и плеч, и шеи
И так с привязанностью слуг
Весь век благоговею.

Но как ни сковывает ночь
Меня кольцом тоскливым,
Сильней на свете тяга прочь
И манит страсть к разрывам.

7. ЛЕТО В ГОРОДЕ

Разговоры вполголоса
И с поспешностью пылкой
Кверху собраны волосы
Всей копною с затылка.

Из-под гребня тяжелого
Смотрит женщина в шлеме,
Запрокинувши голову
Вместе с косами всеми.

А на улице жаркая
Ночь сулит непогоду,
И расходятся, шаркая,
По домам пешеходы.

Гром отрывистый слышится,
Отдающийся резко,
И от ветра колышится
На окне занавеска.

Наступает безмолвие,
Но по-прежнему парит,
И по-прежнему молнии
В небе шарят и шарят.

А когда светозарное
Утро знойное снова

Сушит лужи бульварные
После ливня ночного,

Смотрят хмуро по случаю
Своего недосыпа
Вековые, пахучие,
Неотцветшие липы.

8. ВЕТЕР

Я кончился, а ты жива.
И ветер, жалуясь и плача,
Раскачивает лес и дачу.
Не каждую сосну отдельно,
А полностью все дерева
Со всею далью беспредельной,
Как парусников кузова
На глади бухты корабельной.
И это не из удальства
Или из ярости бесцельной,
А чтоб в тоске найти слова
Тебе для песни колыбельной.

9. ХМЕЛЬ

Под ракитой, обвитой плющом.
От ненастья мы ищем защиты.
Наши плечи покрыты плащом.
Вкруг тебя мои руки обвиты.

Я ошибся. Кусты этих чаш
Не плющом перевиты, а хмелем
Ну так лучше давай этот плащ
В ширину под собою расстелим.

10. БАБЬЕ ЛЕТО

Лист смородины груб и матерчат.
В доме хохот и стекла звенят,
В нем шинкуют, и квасят, и перчат,
И гвоздики кладут в маринад.

Лес забрасывает, как насмешник,
Этот шум на обрывистый склон,
Где сгоревший на солнце орешник
Словно жаром костра опален.

Здесь дорога спускается в балку,
Здесь и высохших старых коряг,
И лоскутницы осени жалко,
Все сметающей в этот овраг.

И тою, что вселенная проще,
Чем иной полагает хитрец,
Что как в воду опущена роща,
Что приходит всему свой конец.

Что глазами бессмысленно хлопать,
Когда все пред тобой сожжено,
И осенняя белая копоть
Паутиною тянет в окно.

Ход из сада в заборе проломан
И теряется в березняке.
В доме смех и хозяйственный гомон,
Тот же гомон и смех вдалеке.

11. СВАДЬБА

Пересекши край двора,
Гости на гулянку
В дом невесты до утра
Перешли с тальянкой.

За хозяйскими дверьми
В войлочной обивке
Стихли с часу до семи
Болтовни обрывки.

А зарею, в самый сон,
Только спать и спать бы,
Вновь запел аккордеон,
Уходя со свадьбы.

И рассыпал гармонист

Снова на баяне
Плеск ладоней, блеск монист,
Шум и гам гулянья.

И опять, опять, опять
Говорок частушки
Прямо к спящим на кровать
Ворвался с пирушки.

А одна, как снег, бела,
В шуме, свисте, гаме
Снова павой поплыла,
Поводя боками.

Помавая головой
И рукою правой,
В плясовой по мостовой,
Павой, павой, павой.

Вдруг задор и шум игры,
Топот хоровода,
Провалясь в тартарары,
Канули, как в воду.

Просыпался шумный двор.
Деловое эхо
Вмешивалось в разговор
И раскаты смеха.

В необъятность неба, ввысь
Вихрем сизых пятен
Стаей голуби неслись,
Снявшись с голубятен.

Точно их за свадьбой вслед
Спохватясь спросонья,
С пожеланьем многих лет
Выслали в погоню.

Жизнь ведь тоже только миг,
Только растворенье
Нас самих во всех других
Как бы им в даренье.

Только свадьба, вглубь окон
Рвущаяся снизу,
Только песня, только сон,
Только голубь сизый.

12. ОСЕНЬ

Я дал разъехаться домашним,
Все близкие давно в разброде,
И одиночеством всегдашним
Полно все в сердце и природе.

И вот я здесь с тобой в сторожке,
В лесу безлюдно и пустынно.
Как в песне, стежки и дорожки
Позаросли наполовину.

Теперь на нас одних с печалью
Глядят бревенчатые стены.
Мы брать преград не обещали,
Мы будем гибнуть откровенно.

Мы сядем в час и встанем в третьем,
Я с книгою, ты с вышиваньем,
И на рассвете не заметим,
Как целоваться перестанем.

Еще пышней и бесшабашней
Шумите, осыпайтесь, листья,
И чашу горечи вчерашней
Сегодняшней тоской превысьте.

Привязанность, влеченье, прелесть!
Рассеемся в сентябрьском шуме!
Заройся вся в осенний шелест!
Замри, или ополоумей!

Ты так же сбрасываешь платье,
Как роща сбрасывает листья,
Когда ты падаешь в объятье
В халате с шелковою кистью.

Ты — благо гибельного шага,

Когда житье тошней недуга,
А корень красоты — отвага,
И это тянет нас друг к другу.

13. СКАЗКА

Встарь, во время оно,
В сказочном краю
Пробирался конный
Степью по репью.

Он спешил на сечу,
А в степной пыли
Темный лес навстречу
Вырастал вдали.

Ныло ретивое,
На сердце скребло:
Бойся водопоя,
Подтяни седло.

Не послушал конный
И во весь опор
Залетел с разгону
На лесной бугор.

Повернул с кургана,
Въехал в суходол,
Миновал поляну,
Гору перешел.

И забрел в ложбину
И лесной тропой
Вышел на звериный
След и водопой.

И глухой к призыву,
И не вняв чутью,
Свел коня с обрыва
Попоить к ручью.

У ручья пещера,
Пред пещерой — брод.

Как бы пламя серы
Озаряло вход.

И в дыму багровом,
Застилавшем взор,
Отдаленным зовом
Огласился бор.

И тогда оврагом,
Вздрогнув, напрямик
Тронул конный шагом
На призывный крик.

И увидел конный,
И приник к копью,
Голову дракона,
Хвост и чешую.

Пламенем из зева
Рассевал он свет,
В три кольца вкруг девы
Обмотав хребет.

Туловище змея,
Как концом бича,
Поводило шеей
У её плеча.

Той страны обычай
Пленницу-красу
Отдавал в добычу
Чудищу в лесу.

Края населенье
Хижины свои
Выкупало пеней
Этой от змеи.

Змей обвил ей руку
И оплел гортань,
Получив на муку
В жертву эту дань.

Посмотрел с мольбою

Всадник в высь небес
И копье для боя
Взял наперевес.

Сомкнутые веки.
Выси. Облака.
Воды. Броды. Реки.
Годы и века.

Конный в шлеме сбитом,
Сшибленный в бою.
Верный конь, копытом
Топчущий змею.

Конь и труп дракона
Рядом на песке.
В обмороке конный,
Дева в столбняке.

Светел свод полдневный,
Синева нежна.
Кто она? Царевна?
Дочь земли? Княжна?

То в избытке счастья
Слезы в три ручья,
То душа во власти
Сна и забытья.

То возврат здоровья,
То недвижность жил
От потери крови
И упадка сил.

Но сердца их бьются.
То она, то он
Силятся очнуться
И впадают в сон.

Сомкнутые веки.
Выси. Облака.
Воды. Броды. Реки.
Годы и века.

14. АВГУСТ

Как обещало, не обманывая,
Проникло солнце утром рано
Косою полосой шафрановою
От занавеси до дивана.

Оно покрыло жаркой охрою
Соседний лес, дома поселка,
Мою постель, подушку мокрую
И край стены за книжной полкой.

Я вспомнил, по какому поводу
Слегка увлажнена подушка.
Мне снилось, что ко мне на проводы
Шли по лесу вы друг за дружкой.

Вы шли толпою, врозь и парами,
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня
Шестое августа по старому,
Преображение Господне.

Обыкновенно свет без пламени
Исходит в этот день с Фавора,
И осень, ясная как знаменье,
К себе приковывает взоры.

И вы прошли сквозь мелкий, нищенский,
Нагой, трепещущий ольшаник
В имбирно-красный лес кладбищенский,
Горевший, как печатный пряник.

С притихшими его вершинами
Соседствовало небо важно,
И голосами петушиными
Перекликалась даль протяжно.

В лесу казенной землемершею
Стояла смерть среди погоста,
Смотря в лицо мое умершее,
Чтоб вырыть яму мне по росту.

Был всеми ощутим физически

Спокойный голос чей-то рядом.
То прежний голос мой провидческий
Звучал, нетронутый распадом:

«Прощай, лазурь Преображенская
И золото второго Спаса,
Смягчи последней лаской женскою
Мне горечь рокового часа.

Прощайте, годы безвременщины.
Простимся, бездне унижений
Бросающая вызов женщина!
Я — поле твоего сраженья.

Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство».

15. ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Как летом роем мошкара
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.

Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.

И падали два башмачка
Со стуком на пол.

И воск слезами с ночника
На платье капал.

И все терялось в снежной мгле
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздымал, как ангел, два крыла
Крестообразно.

Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

16. РАЗЛУКА

С порога смотрит человек,
Не узнавая дома.
Ее отъезд был как побег,
Везде следы разгрома.

Повсюду в комнатах хаос.
Он меры разоренья
Не замечает из-за слез
И приступа мигрени.

В ушах с утра какой-то шум.
Он в памяти иль грезит?
И почему ему на ум
Все мысль о море лезет?

Когда сквозь иней на окне
Не видно света Божья,
Безвыходность тоски вдвойне
С пустыней моря схожа.

Она была так дорога
Ему чертой любою,
Как морю близки берега

Всей линией прибоя.

Как затопляет камыши
Волненье после шторма,
Ушли на дно его души
Ее черты и формы.

В года мытарств, во времена
Немыслимого быта
Она волной судьбы со дна
Была к нему прибита.

Среди препятствий без числа,
Опасности минуя,
Волна несла ее, несла
И пригнала вплотную.

И вот теперь её отъезд,
Насильственный, быть может.
Разлука их обоих съест,
Тоска с костями сгложет.

И человек глядит кругом:
Она в момент ухода
Все выворотила вверх дном
Из ящиков комода.

Он бродит, и до темноты
Укладывает в ящик
Раскиданные лоскуты
И выкройки образчик.

И наколовшись об шитье
С невынутой иголкой,
Внезапно видит все ее
И плачет втихомолку.

17. СВИДАНИЕ

Засыпет снег дороги,
Завалит скаты крыш.
Пойду размять я ноги:
За дверью ты стоишь.

Одна в пальто осеннем,
Без шляпы, без калош,
Ты борешься с волненьем
И мокрый снег жуешь.

Деревья и ограды
Уходят вдаль, во мглу.
Одна средь снегопада
Стоишь ты на углу.

Течет вода с косынки
За рукава в обшлаг,
И каплями росинки
Сверкают в волосах.

И прядью белокурой
Озарены: лицо,
Косынка и фигура
И это пальтецо.

Снег на ресницах влажен,
В твоих глазах тоска,
И весь твой облик слажен
Из одного куска.

Как будто бы железом,
Обмокнутым в сурьму,
Тебя вели нарезом
По сердцу моему.

И в нем навек засело
Смиренье этих черт,
И оттого нет дела,
Что свет жестокосерд.

И оттого двоится
Вся эта ночь в снегу,
И провести границы
Меж нас я не могу.

Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,

А нас на свете нет?

18. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА

Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было младенцу в вертепе
На склоне холма.

Его согревало дыханье вола.
Домашние звери
Стояли в пещере,
Над яслями теплая дымка плыла.

Доху отряхнув от постельной трухи
И зернышек проса,
Смотрели с утеса
Спросонья в полночную даль пастухи.

Вдали было поле в снегу и погост,
Ограды, надгробья,
Оглобля в сугробе,
И небо над кладбищем, полное звезд.

А рядом, неведомая перед тем,
Застенчивей плошки
В оконце сторожки
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.

Она пламенела, как стог, в стороне
От неба и Бога,
Как отблеск поджога,
Как хутор в огне и пожар на гумне.

Она возвышалась горящей скирдой
Соломы и сена
Средь целой вселенной,
Встревоженной этою новой звездой.

Растущее зарево рдело над ней
И значило что-то,
И три звездочета
Спешили на зов небывалых огней.

За ними везли на верблюдах дары.
И ослики в сбруе, один малорослей
Другого, шажками спускались с горы.
И странным виденьем грядущей поры
Вставало вдали все пришедшее после.
Все мысли веков, все мечты, все миры,
Все будущее галерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы.

Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
Все великолепье цветной мишуры…
…Все злей и свирепей дул ветер из степи…
…Все яблоки, все золотые шары.

Часть пруда скрывали верхушки ольхи,
Но часть было видно отлично отсюда
Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.
Как шли вдоль запруды ослы и верблюды,
Могли хорошо разглядеть пастухи.
— Пойдемте со всеми, поклонимся чуду, —
Сказали они, запахнув кожухи.

От шарканья по снегу сделалось жарко.
По яркой поляне листами слюды
Вели за хибарку босые следы.
На эти следы, как на пламя огарка,
Ворчали овчарки при свете звезды.

Морозная ночь походила на сказку,
И кто-то с навьюженной снежной гряды
Все время незримо входил в их ряды.
Собаки брели, озираясь с опаской,
И жались к подпаску, и ждали беды.

По той же дороге, чрез эту же местность
Шло несколько ангелов в гуще толпы.
Незримыми делала их бестелесность,
Но шаг оставлял отпечаток стопы.

У камня толпилась орава народу.
Светало. Означились кедров стволы.

— А кто вы такие? — спросила Мария.
— Мы племя пастушье и неба послы,
Пришли вознести вам обоим хвалы.
— Всем вместе нельзя. Подождите у входа.

Средь серой, как пепел, предутренней мглы
Топтались погонщики и овцеводы,
Ругались со всадниками пешеходы,
У выдолбленной водопойной колоды
Ревели верблюды, лягались ослы.

Светало. Рассвет, как пылинки золы,
Последние звезды сметал с небосвода.
И только волхвов из несметного сброда
Впустила Мария в отверстье скалы.

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углубленье дупла.
Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.

Стояли в тени, словно в сумраке хлева,
Шептались, едва подбирая слова.
Вдруг кто-то в потемках, немного налево
От яслей рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся: с порога на деву
Как гостья, смотрела звезда Рождества.

19. РАССВЕТ

Ты значил все в моей судьбе.
Потом пришла война, разруха,
И долго-долго о тебе
Ни слуху не было, ни духу.

И через много-много лет
Твой голос вновь меня встревожил.
Всю ночь читал я твой завет
И как от обморока ожил.

Мне к людям хочется, в толпу,
В их утреннее оживленье.

Я все готов разнесть в щепу
И всех поставить на колени.

И я по лестнице бегу,
Как будто выхожу впервые
На эти улицы в снегу
И вымершие мостовые.

Везде встают, огни, уют,
Пьют чай, торопятся к трамваям.
В теченье нескольких минут
Вид города неузнаваем.

В воротах вьюга вяжет сеть
Из густо падающих хлопьев,
И чтобы во-время поспеть,
Все мчатся недоев-недопив.

Я чувствую за них за всех,
Как будто побывал в их шкуре,
Я таю сам, как тает снег,
Я сам, как утро, брови хмурю.

Со мною люди без имен,
Деревья, дети, домоседы.
Я ими всеми побежден,
И только в том моя победа.

20. ЧУДО

Он шел из Вифании в Ерусалим,
Заранее грустью предчувствий томим.

Колючий кустарник на круче был выжжен,
Над хижиной ближней не двигался дым,
Был воздух горяч и камыш неподвижен,
И Мертвого моря покой недвижим.

И в горечи, споривший с горечью моря,
Он шел с небольшою толпой облаков
По пыльной дороге на чье-то подворье,
Шел в город на сборище учеников.

И так углубился он в мысли свои,

Что поле в унынье запахло полынью.
Все стихло. Один он стоял посредине,
А местность лежала пластом в забытьи.
Все перемешалось: теплынь и пустыня,
И ящерицы, и ключи, и ручьи.

Смоковница высилась невдалеке,
Совсем без плодов, только ветки да листья.
И он ей сказал: «Для какой ты корысти?
Какая мне радость в твоем столбняке?

Я жажду и алчу, а ты — пустоцвет,
И встреча с тобой безотрадней гранита.
О, как ты обидна и недаровита!
Останься такой до скончания лет».

По дереву дрожь осужденья прошла,
Как молнии искра по громоотводу.
Смоковницу испепелило до тла.

Найдись в это время минута свободы
У листьев, ветвей, и корней, и ствола,
Успели б вмешаться законы природы.
Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог.
Когда мы в смятеньи, тогда средь разброда
Оно настигает мгновенно, врасплох.

21. ЗЕМЛЯ

В московские особняки
Врывается весна нахрапом.
Выпархивает моль за шкапом
И ползает по летним шляпам,
И прячут шубы в сундуки.

По деревянным антресолям
Стоят цветочные горшки
С левкоем и желтофиолем,
И дышат комнаты привольем,
И пахнут пылью чердаки.

И улица запанибрата

С оконницей подслеповатой,
И белой ночи и закату
Не разминуться у реки.

И можно слышать в коридоре,
Что происходит на просторе,
О чем в случайном разговоре
С капелью говорит апрель.
Он знает тысячи историй
Про человеческое горе,
И по заборам стынут зори,
И тянут эту канитель.
И та же смесь огня и жути
На воле и в жилом уюте,
И всюду воздух сам не свой.
И тех же верб сквозные прутья,
И тех же белых почек вздутья
И на окне, и на распутье,
На улице и в мастерской.

Зачем же плачет даль в тумане,
И горько пахнет перегной?
На то ведь и мое призванье,
Чтоб не скучали расстоянья,
Чтобы за городскою гранью
Земле не тосковать одной.

Для этого весною ранней
Со мною сходятся друзья,
И наши вечера — прощанья,
Пирушки наши — завещанья,
Чтоб тайная струя страданья
Согрела холод бытия.

22. ДУРНЫЕ ДНИ

Когда на последней неделе
Входил он в Иерусалим,
Осанны навстречу гремели,
Бежали с ветвями за ним.

А дни все грозней и суровей,
Любовью не тронуть сердец,
Презрительно сдвинуты брови,
И вот послесловье, конец.

Свинцовою тяжестью всею
Легли на дворы небеса.
Искали улик фарисеи,
Юля перед ним, как лиса.

И темными силами храма
Он отдан подонкам на суд,
И с пылкостью тою же самой,
Как славили прежде, клянут.

Толпа на соседнем участке
Заглядывала из ворот,
Толклись в ожиданье развязки
И тыкались взад и вперед.

И полз шопоток по соседству,
И слухи со многих сторон.
И бегство в Египет и детство
Уже вспоминались, как сон.

Припомнился скат величавый
В пустыне, и та крутизна,
С которой всемирной державой
Его соблазнял сатана.

И брачное пиршество в Кане,
И чуду дивящийся стол,
И море, которым в тумане
Он к лодке, как по суху, шел.

И сборище бедных в лачуге,
И спуск со свечою в подвал,
Где вдруг она гасла в испуге,
Когда воскрешенный вставал…

23. МАГДАЛИНА I

Чуть ночь, мой демон тут как тут,

За прошлое моя расплата.
Придут и сердце мне сосут
Воспоминания разврата,
Когда, раба мужских причуд,
Была я дурой бесноватой
И улицей был мой приют.

Осталось несколько минут,
И тишь наступит гробовая.
Но раньше чем они пройдут,
Я жизнь свою, дойдя до края,
Как алавастровый сосуд,
Перед тобою разбиваю.

О где бы я теперь была,
Учитель мой и мой Спаситель,
Когда б ночами у стола
Меня бы вечность не ждала,
Как новый, в сети ремесла
Мной завлеченный посетитель.

Но объясни, что значит грех
И смерть и ад, и пламень серный,
Когда я на глазах у всех
С тобой, как с деревом побег,
Срослась в своей тоске безмерной.

Когда твои стопы, Исус,
Оперши о свои колени,
Я, может, обнимать учусь
Креста четырехгранный брус
И, чувств лишаясь, к телу рвусь,
Тебя готовя к погребенью.

24. МАГДАЛИНА II

У людей пред праздником уборка.
В стороне от этой толчеи
Обмываю миром из ведерка
Я стопы пречистые твои.

Шарю и не нахожу сандалий.

Ничего не вижу из-за слез.
На глаза мне пеленой упали
Пряди распустившихся волос.

Ноги я твои в подол уперла,
Их слезами облила, Исус,
Ниткой бус их обмотала с горла,
В волосы зарыла, как в бурнус.

Будущее вижу так подробно,
Словно ты его остановил.
Я сейчас предсказывать способна
Вещим ясновиденьем сивилл.

Завтра упадет завеса в храме,
Мы в кружок собьемся в стороне,
И земля качнется под ногами,
Может быть, из жалости ко мне.

Перестроятся ряды конвоя,
И начнется всадников разъезд.
Словно в бурю смерч, над головою
Будет к небу рваться этот крест.

Брошусь на землю у ног распятья,
Обомру и закушу уста.
Слишком многим руки для объятья
Ты раскинешь по концам креста.

Для кого на свете столько шири,
Столько муки и такая мощь?
Есть ли столько душ и жизней в мире?
Столько поселений, рек и рощ?

Но пройдут такие трое суток
И столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток
Я до Воскресенья дорасту.

25. ГЕФСИМАНСКИЙ САД

Мерцаньем звезд далеких безразлично
Был поворот дороги озарен.

Дорога шла вокруг горы Масличной,
Внизу под нею протекал Кедрон.

Лужайка обрывалась с половины.
За нею начинался Млечный путь.
Седые серебристые маслины
Пытались вдаль по воздуху шагнуть.

В конце был чей-то сад, надел земельный.
Учеников оставив за стеной,
Он им сказал: «Душа скорбит смертельно,
Побудьте здесь и бодрствуйте со мной».

Он отказался без противоборства,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства,
И был теперь, как смертные, как мы.

Ночная даль теперь казалась краем
Уничтоженья и небытия.
Простор вселенной был необитаем,
И только сад был местом для житья.

И, глядя в эти черные провалы,
Пустые, без начала и конца,
Чтоб эта чаша смерти миновала,
В поту кровавом он молил отца.

Смягчив молитвой смертную истому,
Он вышел за ограду. На земле
Ученики, осиленные дремой,
Валялись в придорожном ковыле.

Он разбудил их: «Вас Господь сподобил
Жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт.
Час Сына Человеческого пробил.
Он в руки грешников себя предаст».

И лишь сказал, неведомо откуда
Толпа рабов и скопище бродяг,
Огни, мечи и впереди — Иуда
С предательским лобзаньем на устах.

Петр дал мечом отпор головорезам

И ухо одному из них отсек.
Но слышит: «Спор нельзя решать железом,
Вложи свой меч на место, человек.

Неужто тьмы крылатых легионов
Отец не снарядил бы мне сюда?
И, волоска тогда на мне не тронув,
Враги рассеялись бы без следа.

Но книга жизни подошла к странице,
Которая дороже всех святынь.
Сейчас должно написанное сбыться,
Пускай же сбудется оно. Аминь.

Ты видишь, ход веков подобен притче
И может загореться на ходу.
Во имя страшного её величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.

Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты».

Примечания

1

В восторге. (Здесь и далее с французского.)

2

Большой круг! Китайская цепочка!

3

Вальс, пожалуйста!

4

На три счета, на два счета.

5

Шиворот-навыворот.